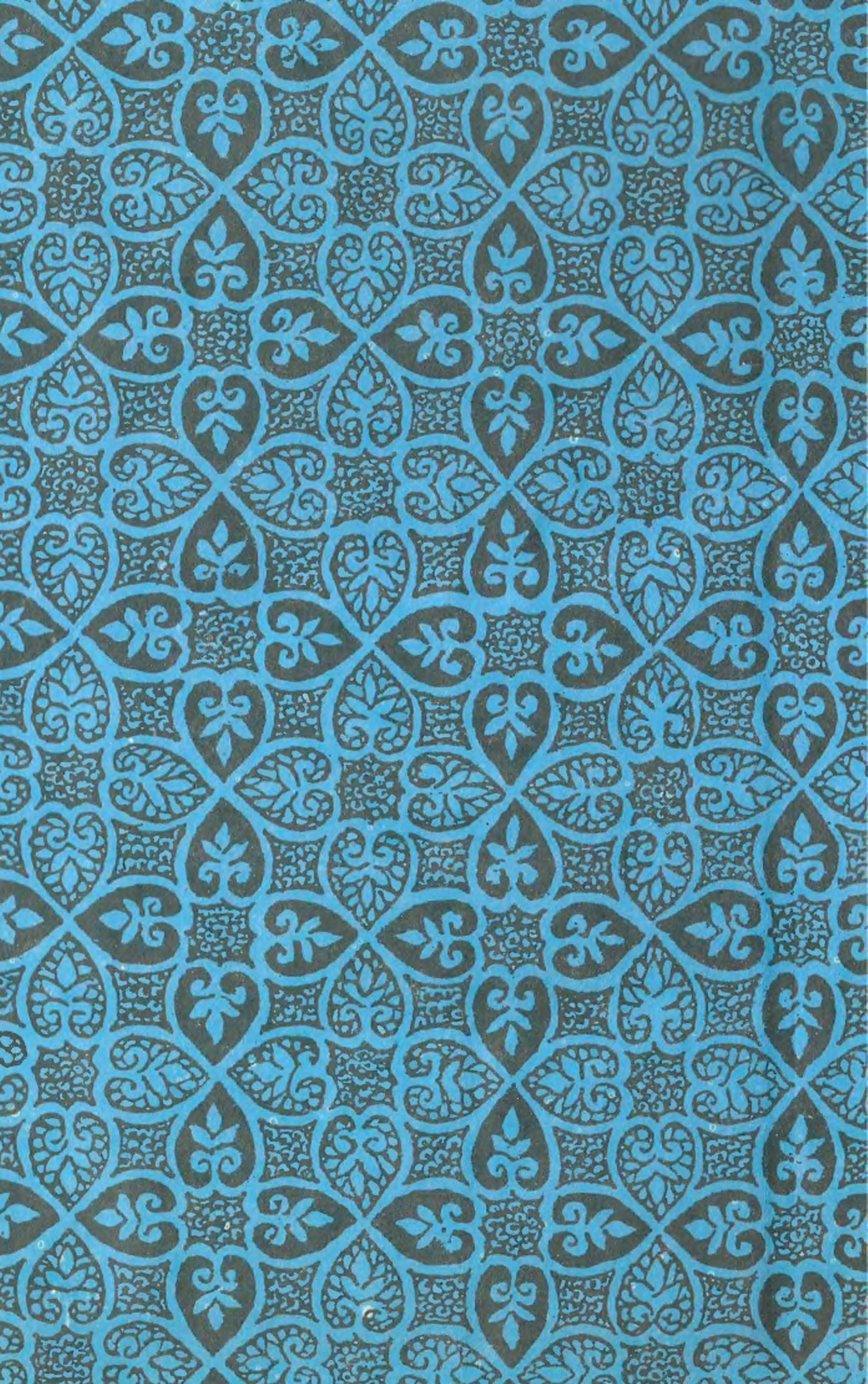
ГЮГ
ВЕСТБЕРИ

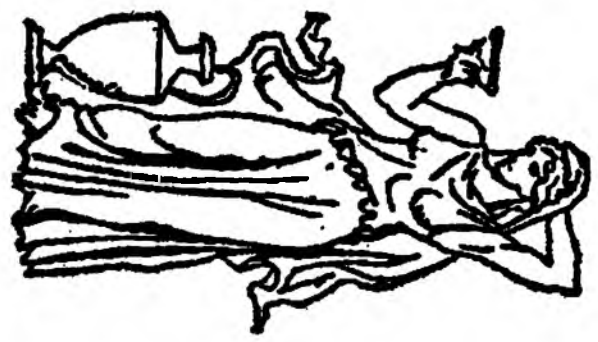
АКТЕЯ





Scan Kreyder - 17.07.2015
STERLITAMAK

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ



ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ПАДЕНИЕ ВЕЛИКИХ ИМПЕРИЙ

МОСКВА
«НОВАЯ КНИГА»

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ГЮГ
ВЕСТБЕРИ

АКТЕЯ

ТЕОДОР
ЕСКЕ-ХОИНСКИЙ

ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДРОФА»

ББК 84.4Вл
84.4П
В38

Серия основана в 1993 году

Вестбери Г. Актея /Пер. с англ.: **Еске-Хоинский Т.**
В38 Последние римляне /Пер. с польск.: Исторические романы.— М.: Дрофа — Новая книга, 1993.— 576 с.

Эту книгу, посвященную гибели Римской империи, составили два увлекательных исторических романа.

«Актея» — это имя гречанки, наложницы Нерона, на глазах которой происходят пожар великого города и закат Рима.

«Последние римляне» — трагическое повествование об одном из последних императоров Рима, Феодосии,

ISBN 5-8474-0204X
ISBN 5-8474-0206-6
ISBN 5-7107-0222-6

© Составление В. Козаченко, С. Тимченко, 1993.
© Оформление Н. Егорова, 1993.

Издание осуществлено при финансовом содействии Пролетарского филиала Московского индустриального банка.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ГЮГ
ВЕСТБЕРИ

АКТЕЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть I

ЮДИФЬ

I

На валу Мамертинской тюрьмы стояли молодой человек и девушка и смотрели на римский Форум.

Площадь кишела народом.

Из толпы доносился глухой гул; временами слышались радостные или жалостливые крики.

Форум был самое деловое место на земном шаре, однако там господствовала атмосфера спокойствия и рассудительности. Во времена Нерона еще не привыкли жить второпях — разве слуга спешил за своим патроном, шедшим в сенат, или беспокойные просители поднимались попарно по ступеням базилики.

Но за немногими исключениями римские граждане и их слуги считали утро достаточно длинным, чтобы не торопиться со своими делами.

Молодой человек, стоявший на валу, носил оружие и форму центуриона преторианской гвардии. Ему было лет двадцать. Он был высокого роста, широкие плечи, длинные руки и ноги показывали большую физическую силу. Чисто выбритое лицо с резкими характерными чертами, с плотно, но без всякого усилия сжатыми губами было волевым. Он не мог назваться красавцем; это

был общий тип того времени, скорее выразительный, чем красивый.

Дух века еще более, чем суровая дисциплина римского войска, подавлял индивидуальность. Ненадежность существования, падение старой веры, новые учения, отчаянный разврат знатнейших представителей империи — все склоняло мыслящих людей к угрюмому фатализму, который отражался и на их лицах.

Впрочем, молодой центурион вовсе не думал об этих вещах. Равнодушно осмотрев Форум, он повернулся к девушке и зевнул:

— Стоит ли еще дожидаться, Юдифь?

Ни одна римлянка не обладала красотой этой еврейки. Ни у кого в Риме не было такого маленького овального лица, кожи белизны слоновой кости, высокого закругленного лба, тонкого носа с изящным изгибом от лба к подвижным ноздрям, больших блестящих черных глаз. Белая туника с широкими рукавами достигала от шеи до пят. Поверх было надето открытое голубое платье, вышитое золотом на груди и вокруг шеи, спускавшееся сзади до земли и опоясанное широким платком более темного цвета. Черные волосы падали из-под тюрбана мелкими косичками, переплетенными лентами и украшенными подвесками; покрывало из материи, подобной газу, почти такой же длины, как платье, было широко, чтобы завернуться в него в случае надобности. В ушах блестели серьги, шея была обвита ниткой жемчуга, руки украшены золотыми браслетами.

Но прежде, чем Юдифь успела ответить, с крутой дороги, ведшей в Капитолию, послышался гул приветственных криков.

Через несколько мгновений на Форуме показались носилки, которые несли шесть рабов в пунцовых ливреях. Занавеси носилок были отдернуты, так что были видны молодой человек и женщина, полулежавшие на белых подушках.

Голова мужчины была обнажена, на плечи накинута тога из тирского пурпура, которую мог носить только Цезарь. Он весело обмахивался женским веером из павлиньих перьев.

Женщина, сидевшая рядом, еще больше Юдифи отличалась от широколобых, полногрудых римлянок. Она была ослепительно хороша собой, но красива знойной красотой Востока, а не холодного, строгого Севера. Ее волосы, свитые кольцами на голове, были золотистого

цвета, но глаза черные, огненные, полузакрытые, с лениво опущенными веками. Белая туника из тонкого шелка гармонировала с розовой кожей. Малиновое верхнее платье, усеянное большими золотыми звездами, было небрежно переброшено через плечо. Ноги ее и императора закрывало вышитое покрывало. Впереди носилок шли ликторы, расчищавшие дорогу.

Когда носилки проследовали мимо, центурион воскликнул:

— Вот правитель мира! — Но, обратившись к сенату, на ступенях которого стояли, разговаривая, двое людей, прибавил вполголоса: — Нет, я ошибся; вот он.

— Он не там и не там,— возразила девушка, и ее голос прозвучал музыкой в ушах молодого солдата.

— Где же он? — спросил он с ленивым удивлением.

— Над небесами. Земля — Его подножие, Его скиния в Салеме, Его обитель в Сионе,— прошептала девушка.

— Скажи-ка это прокуратору Кассию Флору, он живо вытащит его из этой обители,— засмеялся юноша.

Глаза Юдифи наполнились слезами и щеки покраснели.

Центурион, заметив, что обидел ее, поспешил сказать, глядя на площадь:

— Цезарь остановился у ростры, пойдем посмотрим!

На нижнем конце Форума носилки императора наткнулись на погребальную процессию. Хоронили консула, и похороны были торжественны. Масса народа следовала за процессией и столпилась вокруг ростры, так что ликторы не могли сразу расчистить путь для носилок. Впереди шли барабанщики и флейтисты, за ними группа плакальщиц в белых одеждах, далее — толпа шутов и паяцев. Они смеялись над плакальщицами и перебрасывались шутками насчет умершего сановника с толпой. За ними ближайшие родственники покойного, все в черном, несли тело. Одетое в чистую тогу, оно лежало на носилках из слоновой кости, прикрытое покрывалом с золотым шитьем. Шествие замыкалось семьей и друзьями покойного и толпой в несколько сотен римских зевак, старавшихся убить время до начала игр в честь покойного патриция.

Процессия и жители столпились вокруг ростры, когда носилки Цезаря спускались по Виа Сакра. Тело было положено у подножия трибуны, на которую взобрался оратор, чтобы перечислить подвиги и прославить добродетели покойного. Время от времени его прерывали вы-

ходки шутов; всхлипывания женщин заглушались смехом толпы.

Даже ликторы чувствовали, по-видимому, почтение к знатному покойнику, так как расчищали путь для императора с меньшей грубостью, чем обыкновенно.

Как раз в ту минуту, когда носилки готовы уже были удалиться от ростры, оратор воскликнул:

— Он был подобен Катону...

— Как Энобарб Августу! [1] — перебил кто-то из шутов.

Взрыв смеха раздался в толпе, а лицо Нерона посинело. Насмешка попала метко. Нерон не без основания стыдился своего обесславленного отца. Он сделал движение вперед и, казалось, хотел выскочить из носилок, но его спутница схватила его за руку:

— Цезарь! Цезарь!

Он грубо отбросил ее руку. Пурпурное пятно появилось на том месте, где он схватил ее.

— Взять его! Собаки! — крикнул он ликторам, которые бросились в толпу за испуганным шутом.

Толпа заволновалась, плакальщицы подняли крик, оратор сошел с трибуны, родственники с неудовольствием столпились около трупа, и на некоторое время вокруг умершего сенатора поднялось столпотворение.

Между тем двое людей на ступеньках сената продолжали разговор. Один из них был Бурр, пожилой, лет шестидесяти, воин с резкими манерами и загрубевшим от непогоды, но открытым и добродушным лицом. Рядом с ним стоял знаменитый Сенека. Спокойное достоинство его позы и движений было величавым. На лице не проступала римская спесь, и, когда вельможи, проходя в сенат или из сената, кланялись ему — одни почтительно, другие подобострастно,— он отвечал всем вежливо и дружелюбно. Он был тоже немолод, его коротко остриженные волосы, густые и курчавые, были седы, но тщательно расчесанные бакенбарды и усы — подбородок его был выбрит — еще не покрылись сединой. Резкий, орлиный профиль его смягчался ласковой улыбкой и странным, задумчивым выражением больших карих глаз. Лицо его было скорее печально, чем строго, и в сравнении с грубым лицом солдата казалось дряхлее, чем было на самом деле.

Когда носилки Нерона двигались по площади среди приветственных кликов толпы, Бурр улыбнулся:

— Цезарь приобрел сердце народа, Сенека.

— Ты хочешь сказать — желудки,— возразил Сенека.

Это не было насмешкой, в голосе старика звучало сожаление.

— Да,— продолжал он, глядя на шумевшую чернь,— мы с тобой можем смело сказать это, старый друг. Мы слышали на этой площади такие же крики в честь Калигулы и Клавдия [2], а потом видели, как их статуи были низвержены и память их подвергалась оскорблениям.

Бурра как будто передернуло. Этот сильный человек чувствовал глубокое почтение к своему другу, но старался скрыть его, принимая покровительственный вид. Он был достаточно умен, чтобы сознавать превосходство Сенеки, и оно по временам раздражало его. Сенека не испытал упоения битвы, не был прославленным полководцем. Тем не менее в таком трудном и опасном деле, как воспитание молодого императора, доверенное им обоим, Сенека всегда играл главную роль. Горький опыт убедил воина, что, когда он не мог ничего поделать с Нероном, Сенека легко справлялся с ним. Каким образом человек, которого Бурр мог бы убить ударом кулака, приобрел такую власть, оставалось для него тайной, и к его уважению к другу примешивалось чувство суеверного страха. Тем не менее их соединяли искренняя дружба и полное доверие; каждый чувствовал, что другой необходим ему в трудном деле, возложенном на них.

В глубине души Бурр так же не доверял характеру молодого императора, как и Сенека, но не в его характере было соглашаться с подобными взглядами.

— Нерон не Калигула и не Клавдий,— ответил он. Старый воин верил собственным аргументам. В эту пору он склонен был думать, что Нерон в самом деле идеальный император.— Ты забываешь, что мы были его воспитателями.

— Укротители тигра,— медленно произнес Сенека,— всегда убеждаются в конце концов, что тигр остался тигром.

— Положим, мать его действительно тигрица,— проворчал Бурр.— Хорошо, что ты заменил ее этой девушкой,

Сенека улыбнулся, а Бурр продолжал:

— Актея умная женщина.

— Когда женщина хороша собой,— возразил Сенека,— трудно сказать, умна она или нет. Пока Цезарь — ее раб, но наступит день, когда красота ее поблекнет, глаза потускнеют; что будет тогда, Бурр?

— Пользуйся днем, меньше всего веря грядущему,— ответил воин строкой Горация.— Наше оружие блестит сегодня, стоит ли думать о том, что оно покроется ржавчиной завтра?

— Нам-то не стоит,— сказал Сенека,— но Риму и миру очень стоит. Кто ничего не боится, для того нет горя. Мы прожили свою жизнь, Бурр, несколько лишних лет, немного более власти или богатства для нас ничего не значат. Но Рим не может умереть. В какое время приходится нам жить! Судьбы мира зависят от прихоти безумца и власти рабыни.

Бурр начинал чувствовать себя неловко. Стояла такая хорошая погода, Цезарь, казалось, был в духе, и Бурр чувствовал себя в отличном настроении. Но меланхолия товарища невольно передавалась и ему. Он тряхнул головой, как бы желая отогнать это дурное влияние, и направился вместе с Сенекой вниз по ступенькам.

— Семья Гонората, которого сейчас хоронят,— заметил Бурр,— устраивает сегодня игры в цирке. Пятьсот «больших щитов» сразятся с пятьюстами «маленьких щитов». Я пойду смотреть.

Выбор темы для разговора был крайне неудачен, так как Сенека, один среди всех своих современников, всегда осуждал возмутительную жестокость гладиаторских игр.

— Потомство,— сказал он,— упрекнет меня во многом, но никогда не скажет, что я поощрял гнусный обычай, который превращает моих соотечественников в зверей.

Бурр, не обращая внимания на слова Сенеки, уже думал о предстоящей битве. Когда они подходили к трибуне, к своему великому удовольствию, он понял, что «маленькие щиты», за которых он стоял горой, одолеют.

Шум между тем вокруг трибуны все увеличивался, и Сенека, заметив в толпе красные ливреи и услыхав бешеные крики Нерона, ускорил шаги. Бурр, который никогда ни от кого не отставал на поле битвы, теперь держался позади.

Сенека пробился сквозь толпу к императорским носилкам.

— Что случилось, Цезарь? — спросил он спокойно.

Нерон отшатнулся, избегая его взглядов, точно школьник перед разгневанным учителем, и в угрюмом молчании откинулся на подушки.

— Дорогу императору! — крикнул Сенека ликторам и, когда носилки тронулись в путь, указал Бурру на пурпуровую полосу на руке Актеи.

— Твой тигр,— сказал он,— может быть укрощен, но умеет и кусаться.

II

Во дворце Цезаря на Палатинском холме была суматоха. День, так хорошо начавшийся, грозил печально кончиться. Нерон пришел в бешенство и страх. Какой-то негодный шут оскорбил его, и благодаря вмешательству Сенеки он ушел невредимым. Затем, когда носилки поднимались на Палатинский холм, орел — по крайней мере, Нерону показалось, что это был орел — сделал круг над дворцом и полетел на запад. В свите императора зашептали, что это отлетел гений фамилии. Наконец, на самых ступеньках дворца один из рабов оступился и чуть не выронил Нерона и Актею из носилок. Правда, в глазах Нерона это было даже хорошо — появилась жертва, на которой можно сорвать гнев. Но все понимали, что наказание ничтожного раба не могло утолить ярость императора, и во дворце чувствовали тревогу.

Все, кроме Актеи.

На улице девушка держала руку так, что всякий прохожий мог видеть синяк. По прибытии во дворец она тотчас ушла в свою комнату, не удостоив императора ни единым словом или взглядом, и бросилась на ложе. Служанки, окружившие ее, хотели замазать синяк мазями и прикрыть пудрой. Но она не позволила. Тогда служанки натерли ей руку каким-то благовонным маслом, поправили платье, подложили под голову подушки и удалились.

Актея лежала, закрыв глаза и подложив одну руку под голову, тогда как другая, больная, лежала поверх покрывала. Спустя некоторое время в комнату вошел Нерон. Она услышала его шаги, и губы ее задрожали. Трудно было определить ее состояние: может быть, это была досада, может быть, радостное торжество.

Нерон велел наказать раба бичами в своем присутствии, и это смягчило его раздражение. В глубине души он стыдился своего поступка с Актеей и побаивался встречи с ней. Во всяком случае, он решил помириться, и для храбрости выпил цекубинского вина, гораздо менее разведенного водой, чем обыкновенно.

Актея лежала не шевелясь, когда он подошел к ложу и взглянул на нее.

Наконец он взял ее за руку. Она отдернула ее и воскликнула, открыв глаза:

— Разве боги сделали меня красивой для того, чтобы ты уродовал меня?

— Я только дотронулся до тебя, Актея,— сказал Нерон со смущенной улыбкой.

— Собака! — воскликнула она.— Твое прикосновение оставило бы пятно на самой Диане!

В самом деле Нерон походил на собаку, которая машет хвостом, когда ее гладят, рычит, если ее толкнуть, и лижет руки тому, кто ее бьет.

Сначала он пытался зарычать.

— Смотри, женщина,— сказал он.— Разве ты не видела крестов с рабами на холме или зверей на арене? Думаешь, меч не просечет твоей кожи, или что у тебя найдется противоядие против снадобья Локусты? Вспомни, раба, что я твой господин.

Актея закинула руки за голову, и грудь ее поднялась и опустилась под прозрачной туникой.

— Великий Цезарь,— сказала она,— соперник шутов и певцов! Храбрый Цезарь, оскорбляющий женщин! Честолюбивый Цезарь, который желает быть и будет бессмертным!.. Тиверий,— воскликнула она, вскакивая с ложа,— был государственный человек[3], Калигула — вскормлен на поле битвы, Клавдий — грозный император, но ты... ты раб, да, не я, а ты раб своей трусости, раб своих пороков.

В эту минуту Сенека и Бурр вошли в комнату. Лицо Сенеки выражало сильное беспокойство, солдат же смотрел с восхищением на бесстрашную девушку.

Нерон смутился и молча вышел из комнаты.

— Клянусь богами, Актея! — воскликнул Бурр.— Тебе, а не мне следует быть начальником стражи.

— Мужество — добродетель,— заметил Сенека,— но не высшая из добродетелей.

Бурра, видимо, раздражала привычка Сенеки морализировать.

— Я знаю только, что я бы не решился дать такой отпор тигру,— возразил он,— да и ты бы не решился, Сенека.

Сенека уселся на ложе и нежно, как отец, взял руку девушки.

— Актея,— сказал он,— я отыскал тебя среди виноградников и гранатовых деревьев Самоса, чтобы твоя красота избавила Нерона от когтей Агриппины [4]. Дитя, я бы не хотел, чтобы твоя кровь пала на мою голову. Бурр очень ценит мужество, но я больше ценю мудрость.

Никто так хорошо не знал Сенеку, как Актея, и никто так не любил его. Их соединяло еще и то, что только они двое имели действительное влияние на Нерона. Она была обязана Сенеке своим величием, которое ценила больше жизни. Его дружба была для нее опорой, его совет — прибежищем, его участие — утешением.

С улыбкой отвернувшись, Актея взяла из рук служанки шитье и молча сделала несколько стежков. Потом протянула шитье Сенеке:

— Попробуй окончить узор.

— Не могу,— отвечал он.

— Это так легко.

— Но я никогда не учился вышивать,— возразил он.

— Так есть вещи,— сказала Актея со смехом,— которым даже Сенека может поучиться у женщины.

— Актея права,— заметил Бурр.— Оставь ее, Сенека, она сама сумеет окончить свой узор.

Сенека взял шитье из рук девушки и стал рассматривать его.

— Как мило,— заметил он,— но...— Он сильно дернул нитку и выдернул стежки, которые она только что сделала.— Как непрочно!

Актея слегка покраснела, а Сенека спокойно продолжал:

— Бешенство можно подчинить, но не исцелить бешенством. Пойду попробую сделать стежки покрепче.

Он пошел к Нерону, который в это время оканчивал свой обед. Вино привело его в благодушное настроение, и Сенека воспользовался благоприятным случаем, чтобы прочесть ему нравоучение о безумии и безнравственности гнева.

Сенека имел слабость к проповедям. Он не мог представить себе, чтобы философия и мораль, которые так захватывали его, могли показаться кому-нибудь скучными, и вследствие этого Нерону приходилось переживать много тяжелых часов.

Сенека влиял на Нерона как воспитатель. Он был снисходительный воспитатель из-за политического расчета. Он давно убедился в неисправимой порочности Нерона и старался только, чтобы его правление причи-

нило как можно меньше зол Риму и миру. Снисходя к частым безобразиям Нерона, он всеми силами удерживал его от вредных правительственных указов и действий. Поэтому он смотрел сквозь пальцы на распущенность императора, даже потакал ей иногда. Но как общественный деятель Нерон в течение многих лет оставался под руководством Сенеки превосходным правителем, справедливым, умеренным и хорошим политиком.

Возрастающее влияние развратной матери Нерона, Агриппины, впервые пробудило в Сенеке сомнение в мудрости его политики. Он слишком поздно убедился, что вверенный его попечению тигренок сделался лукавым зверем, и по привычке педагога принялся прививать ему хотя бы элементарные понятия нравственности.

Изо дня в день Сенека проповедовал, а Нерон дремал, слушая его проповеди.

Временами император воображал, что он и его наставник — гладиаторы на арене: вот он повергает Сенеку наземь, приставляет меч к горлу, и шумная публика дает знак прикончить его, сжимая кулаки и опуская пальцы книзу. В такие минуты улыбка удовольствия мелькала на его лице, и Сенека воображал, что его проповедь достигла цели.

Должно быть, и теперь нечто подобное представилось ему, потому что на лице появилось выражение удовольствия, и, когда Сенека кончил свою проповедь о гневе, он сказал:

— Спасибо, добрый мой Сенека. Я всегда буду помнить, какие бедствия влечет за собой гнев. А теперь, в доказательство моего раскаяния, я пойду помирюсь с Актеей и спою что-нибудь

Он встал и пошел в комнату Актеи в сопровождении Сенеки и рабов, несших его арфу, зеленое платье, лавровый венок и позолоченное кресло причудливой формы и отделки.

Подойдя к ложу Актеи, он сказал:

— Я пришел получить прощение.

Она отвернулась с лукавым кокетством и продолжала говорить с Бурром.

— Неужели ты хочешь видеть Цезаря на коленях? — жалобно произнес Нерон.

— Перед богами — да! — воскликнула Актея.

— Перед богами и перед тобой, чтобы получить прощение.

Она повернула к нему голову с ленивой негой, говоря:

— Оно твое, если ты заслужишь его.

— Я заслужу его,— воскликнул он весело, обращаясь к рабам, которые поставили его кресло возле ложа Актеи, подали ему арфу, накинули на него зеленую мантию и возложили ему на голову венок. Он был убежден, что не может оказать большей милости и доставить большего удовольствия людям, как позволив слушать свое пение. Он считал, что его пение с избытком вознаградит Актею за синяк.

Голос его был красив от природы, но огрубел от пьянства и беспутной жизни. Он замечательно искусно играл на арфе, обладал тонким вкусом и вкладывал в свое исполнение неподдельное вдохновение. Вообще он был плохой император, еще худший человек, но хороший музыкант.

Актея всегда была рада, когда Нерон пел: она страстно любила музыку, да к тому же в эти минуты с Нероном легко было ладить. Сенека считал музыку безвредной забавой для тех, кто не может придумать ничего лучшего, а увлечение Нерона — полезной слабостью, благодаря которой его можно направить к чему-нибудь путному. Но мужественный воин Бурр чувствовал величайшее отвращение к тому, что считал унижением для императора. Он рассказывал, что его тошнит, когда видит, как Цезарь бренчит на арфе, точно какой-нибудь жалкий греческий музыкант. Когда Нерон уселся в свое позолоченное кресло и тронул струны арфы, Бурр выскользнул из комнаты.

Раздумывая, что сыграть, Нерон легко перебирал струны. Наконец он выбрал плач Андромахи, когда она видит с троянской стены тело Гектора, которое тащит колесница Ахилла. Он начал с того места, где Андромаха слышит крик Гекубы. Полным звучным баритоном он запел:

И Андромаха из терема бросилась, будто Менада,
С сильным трепещущим сердцем и обе прислужницы следом;
Быстро на башню взошла и, сквозь сонм пролетевши народный,
Стала, со стен оглянулась кругом и его увидала
Тело, влачимое в прахе; безжалостно бурные кони
Полем его волокли к кораблям быстролетным Ахелн.
Темная ночь Андромахины ясные очи покрыла;
Навзничь упала она и, казалося, дух испустила...

Он пел, и страстная скорбь Андромахи звучала в его голосе. Когда он дошел до того места, где сирота взывает к друзьям Гектора, слезы брызнули из глаз и голос

его прервался. Это не было притворство, это было неподдельное волнение.

Сенека с любопытством следил за ним и, когда он кончил, разразился громкими аплодисментами.

— Это грустная песня,— сказал Нерон, вытирая глаза рукавом по обычаю певцов.

Когда он поднял руку, Сенека заметил темное пятно на его одежде.

— Что это такое, Цезарь? — спросил он.

Нерон взглянул на пятно.

— Ах, негодяй! — воскликнул он.— Его следует еще раз выпороть.

Сенека взглянул на него вопросительно.

— Один из носильщиков чуть не выкинул из носилок меня и Актею, и я велел высечь его. Жаль, что тебя не было при этом, Сенека. Он извивался, как червяк, и рычал, как собака, а когда бич опустился, кровь брызнула струйками...

— Зверь! — воскликнула Актея.— Довольно!

Девушка задрожала и побледнела как полотно.

— На тебя сегодня трудно угодить, Актея,— сказал Нерон, нахмурившись.

Вдруг он вскочил, схватил ее на руки и закружился с ней по комнате как бешеный, подбрасывая ее точно ребенка. Потом схватил ее за горло.

— Я мог бы задушить ее, Сенека! — крикнул он.— Она моя, и я мог бы задушить ее, как цыпленка.

Сенека вздрогнул, но Нерон с хохотом опустил Актею на ложе, осыпал ее поцелуями и бросился вон из комнаты.

Он отправился в помещение с бассейном. В комнате, служившей для раздевания, он бросился на скамью в ожидании рабов, которые должны были раздеть его. Это была великолепная комната, окруженная мраморными пилястрами, в промежутках между которыми стены были украшены лучшими образцами греко-римского искусства. Потолок со сводами был разукрашен золотом и слоновой костью, мягкий свет лился сквозь высокое окно с разноцветными стеклами. Под окном находилась скульптурная маска, изо рта которой била струя воды в серебряный бассейн. Массивная серебряная лампа спускалась с потолка, вдоль стен стояли мраморные скамьи. На столе из драгоценного мавританского кипариса красовались золотые и алебастровые фиалы с благовониями и душистыми маслами.

Нерон, бросившись на скамью, еще переводил дух и смеялся, когда занавеска у двери отдернулась и вошел молодой человек, с красивым, но женственным лицом и стройной фигурой.

— А, Тигеллин, добро пожаловать! — воскликнул Нерон.— Что нового? Есть ли какая забава на сегодня?

— Никакой,— отвечал Тигеллин,— разве вот что: сенатор Юлий Монтон отправляется сегодня в Вейн и вечером будет переходить через Мильвийский мост.

— И ты говоришь, никакой! — воскликнул Нерон, вскакивая и хлопая в ладоши.— Какой же тебе еще забавы! Тигеллин, мы подстережем сенатора! Как высокомерно он прикрикнет на нас, когда мы его остановим! Как будет стараться сохранить свою важность, когда мы нападем на него! Знаешь, Тигеллин, я хотел бы, чтобы все они имели одну голову и я бы мог свернуть ее! Ах, это веселит меня!

— Ты что-то задержался сегодня,— сказал Тигеллин.

— Сенека был здесь,— отвечал Нерон, с досадой пожимая плечами.

— Старый зануда! — воскликнул молодой человек.

— Я только велел высечь раба,— сказал Нерон,— и за это он целый час читал мне проповедь. Кроме того, какой-то шут оскорбил меня на улице (лицо Нерона омрачилось), и Сенека позволил ему уйти безнаказанным. Если бы ты был императором, Тигеллин, допустил бы ты такое нахальство?

— Допустил бы я командовать надо мной писаку, школьного учителя, если б был потомком бессмертного Юлия, божественного Августа? — Тигеллин поднял руки в знак немого отрицания.— Нет,— продолжал он,— я бы выбирал в советники молодых, красивых, веселых, блестящих...

— Таких, как ты,— насмешливо перебил Нерон.

Тигеллин слегка сконфузился.

— Ну,— сказал император,— сегодня я чувствую себя медведем. Превратимся в медведей, Тигеллин, и на охоту!

Он кликнул рабов и велел им принести медвежьи шкуры и маски. Надев эти костюмы, молодые люди пустились на четвереньках по комнатам, кусая и царапая несчастных рабов, которых удавалось поймать.

Утомившись, они вымылись и пообедали вместе, причем много ели и еще больше пили. После этого рабы

принесли длинные плащи и парики; Нерон и его любимец надели их и, выйдя из дворца, отправились к Мильвийскому мосту.

III

Недалеко от вершины Квиринальского холма стоял простой, но прочной постройки одноэтажный дом. На плоской крыше, над комнатами, выходившими в атриум или центральную залу, был устроен красивый садик. Стены, защищавшие его от посторонних взоров, так же как и беседка, находившаяся в дальнем конце от улицы, были обвиты виноградом. На клумбах росли высокие лилии и розы, окруженные яркими ирисами.

Наступил вечер, яркая луна озаряла сад, когда двое людей, мужчина и женщина, поднялись на крышу из атриума, прошлись между цветущими клумбами и остановились у беседки.

Некоторое время они молча вдыхали аромат цветов, разносившийся далеко по улице.

— Не могу понять твоего беспокойства, Юдифь,— сказал мужчина, продолжая прерванный разговор.— Твой отец пользовался милостью Клавдия и заслужил ее. Ему удалось предупредить восстание евреев во время Феликса. Наверное, Нерон не забудет услуги, оказанной Империи.

— Неужели кто-нибудь может ожидать благодарности от гордых идолопоклонников Рима? — пробормотала Юдифь.— Они живут только убийством и кровью.

— Напрасно ты так отзываешься о моих соотечественниках,— возразил воин,— да и своих, ведь ты родилась в Риме, а твой отец римский гражданин.

— Позор сыну Давидову,— воскликнула она,— вошедшему в семью чужеземцев!

— Нет никакого позора, Юдифь,— гордо возразил центурион,— сделаться приемным сыном Рима.

— Может быть, тут нет позора для британского варвара, для несчастного галла, для низкопоклонного грека, для подлого финикиянина, но позор для сына Израиля. Владыка небесных сил,— воскликнула она в страстном порыве,— вел моих отцов, когда лягушки квакали на площадях Рима и волны плескались о его холмы.

Страстные слова Юдифи всегда забавляли и немного раздражали центуриона.

Он понимал, что слова «я — римский гражданин» могли произноситься с гордостью. Он не удивлялся и тому, что соотечественники Арминия, разбившего Вара[5] и боровшегося против всей римской силы, могли гордиться своей родиной. Он мог воздать должное и парфянам, завоевавшим Персию, унизившим Армению и отражавшим самих римлян, но иудейский народ, насколько было известно центуриону, не мог гордиться своей родиной. Он был сродни несчастным карфагенянам, похороненным Сципионом[6] двести лет тому назад; он выстроил крепкий город и красивый храм, в котором, как говорили, находилось изображение осла, и, когда он пытался упорствовать в своих смешных и нечестивых обычаях, прокуратору ничего не стоило усмирить его при помощи нескольких центурий. Два-три раза они восставали и защищались с яростью, но, по мнению центуриона, все варвары могли случайно выходить из себя, и он не чувствовал уважения к подвигам восточного фанатизма.

Юдифь гордилась своим происхождением от какого-то еврейского вождя, Авраама, как мог бы гордиться центурион родством с Юлием Цезарем. Отец ее был смирный старик, готовый пресмыкаться перед последним рабом; впрочем, проницательный воин считал это смирение притворством. Как бы то ни было, отцу Юдифи удалось достичь влиятельного положения.

Еврей Иаков, имя, под которым он был всюду известен, подобно многим из своих соотечественников явился в Рим в царствование Тиверия. Рим был важнейшим торговым центром в мире, и Иаков нашел в нем прекрасное поле для своей деятельности. Он торговал драгоценными каменьями, продавая их знатным римским дамам. Ему удалось заслужить расположение императрицы Агриппины, доставив ей драгоценности, которых добивалась ее соперница, Лоллия Паулина. Благодаря влиянию Агриппины он был послан для умиротворения евреев, которые подняли восстание из-за бестактности прокуратора Феликса, а вскоре затем получил право римского гражданства. Деньги, добытые торговлей, он пускал в рост и нажил большое состояние. В то время он был единственным евреем в Риме, жившим за пределами еврейского квартала, кишевшего голодными тряпичниками, разносчиками, резкие крики которых нарушали сон граждан, и нищими, которые собирались обыкновенно на Тибрских мостах, возбуждая сострадание прохожих своим жалким видом и лохмотьями.

Еврей Иаков, агент Клавдия и фаворит Агриппины, жил в стороне от этого мира. Получив право римского гражданства, он стал избегать общества своих соотечественников и даже не показывался в синагогах. Строгие блюстители еврейского закона назвали его отступником и идолопоклонником, но так как всем было известно, что значительная часть его доходов идет на поддержку бедного еврейства, то никто не предлагал подвергнуть его высшей степени наказания — отлучению от синагоги. Набожные сыны Израиля сожалели о своем соотечественнике, клали в карман его деньги и благодарили Бога за то, что они не таковы, как он.

Но Юдифь пылала ревностью к вере своих предков. Отец старался найти ей подруг среди молодых римлянок, но она избегала их. Ему было бы приятно, если бы она носила римское платье, но она нарочно носила еврейскую одежду. В ее глазах последний еврейский нищий был знатнее всех цезарей; она презирала римских идолопоклонников и избегала, как заразы, общения с язычниками.

Тем не менее теперь она сидела с центурионом преторианской гвардии в беседке, обвитой виноградом. Зачем она с ним сидела — этого прекрасная еврейка и сама не могла бы объяснить.

В беседке стояла низенькая деревянная скамья, на которую можно было прилечь, опершись левым локтем на подушку, приспособленную для этой цели. Перед скамейкой находился круглый стол, грубо сколоченный гвоздями, и деревянный стул.

Центурион сидел на скамейке, а Юдифь по другую сторону стола на стуле. Она охватила руками колени и слегка покачивалась взад и вперед; при ярком лунном свете лицо ее казалось выточенным из слоновой кости.

— Я не боюсь,— сказала она после молчания,— я только предвижу будущее. Лицо Всемогущего отвратилось от моего народа, и черные дни грозят дому моего отца. Стены Сиона были высоки, их охраняли сильные воины, молились жрецы и жертвенный дым восходил к небесам, и все это не спасло от плена. Как же может одинокий старик спасти свою жизнь и имущество в доме чужеземца?

— У тебя есть друзья, Юдифь,— сказал центурион.

— Правда,— отвечала она, бросая на него ласковый

взгляд,— но есть опасности, против которых твоя рука бессильна, друг мой.

— Я римский воин,— воскликнул молодой человек,— мой отец носил небезызвестное имя, и я сам имею шрамы от ран, полученных за Рим; моя рука была в силах защитить тебя в Субуре...

— Помню, помню, Тит! — воскликнула девушка.— Я несла еду больным детям в дом раби Каиафы. На душе было тяжело, казалось, что все несчастья, которые приходилось выносить израильтянам, ничто в сравнении с бедствиями, которые обрушились на головы моих братьев и сестер в Риме. Я видела нищету, позор, унижение. Двое братьев, в жилах которых течет кровь пророка Давида и великого царя Соломона, грызлись из-за какой-то кости, точно собаки. Неужели ты остался бы равнодушным, если бы увидел сыновей гордых Цезарей униженными, оборванными, голодными, потерявшими образ человеческий, утратившими все, что приличествует избранному народу, думающими только о крохах, которые можно вытребовать или вымолить у римлянина!

Еврейка опустила голову; блеск ее локонов при свете луны был подобен серебряному шитью на траурном платье.

— Я думала обо всем этом,— продолжала она,— как вдруг какой-то юноша, обвитый гирляндами из роз, бросился ко мне, схватил за руку и стал говорить слова, которые неприлично слушать еврейской девушке. Я оттолкнула его, он упал и закричал, что еврейская колдунья напала на него! Поднялся шум, меня окружили, десятки рук протянулись, чтобы меня схватить. Я взмолилась к Всевышнему, и Он услышал меня и послал избавителя. Это был ты. И, может быть, наступит день, когда сын Давида воссядет на престоле Давидовом, и мир преклонится перед мощью Израиля, тогда римский солдат получит награду за свое мужество.

Молодой центурион как бы сквозь сон слушал эти слова, упиваясь музыкой голоса. Из всего монолога он понял только последнюю фразу и понял так, что ему придется дожидаться награды до тех пор, пока еврей Иаков сделается царем иудейским и поведет еврейские легионы на Рим. Это показалось ему слишком отдаленным, и он встал и сказал с той застенчивой нежностью, которая всегда кажется комичной в рослом, сильном мужчине:

— Я не могу так долго дожидаться награды, Юдифь.

Они вышли из беседки, когда он говорил эти слова. Юдифь взглянула на него с удивлением.

— Каким же образом может еврей вознаградить любимого воина Цезаря? Правда, мой отец богат, может быть, воин желает украсить себя драгоценностями?

Тит никогда не отличался сообразительностью, а теперь был так погружен в свои размышления, что не заметил насмешку в словах Юдифи. Он собрался и решительно ответил:

— У твоего отца есть драгоценность, за которую я готов отдать мою жизнь.

Всякая женщина поняла бы смысл его слов.

Юдифь отступила с удивлением на лице.

Хотя ей нечему было удивляться. Уже не первый раз сидели они в этой беседке, но Юдифь не хотела замечать любовь центуриона и потому сделала вид, что удивилась, услышав признание. Огорчение ее было искреннее. Ее руки задрожали, и некоторое время она не могла выговорить ни слова. Наконец она воскликнула:

— Нет, нет, нет! Этого никогда не будет! Это было бы бесчестием для тебя и позором для меня!

— Бесчестием! Позором! — повторил Тит с изумлением.— Юдифь, ты меня не любишь!

Девушка стояла молча и неподвижно, но глаза ее затуманились и краска сбежала с лица. Движением, полным достоинства, она закрыла лицо покрывалом.

— Я люблю тебя, Юдифь! — сказал молодой человек, несколько ободрившись.— И если ты любишь меня хоть немного, что может помешать нашему браку?

Несколько мгновений девушка, казалось, боролась сама с собой, но наконец, как будто стыдясь своей слабости, отбросила покрывало и взглянула на воина.

— Я люблю тебя,— сказала она,— да, люблю. Когда я увидела тебя, мое сердце было свободно, но ты овладел им, и оно будет полно тобою, пока не перестанет биться. И все-таки мы не можем соединиться.

— Но почему, Юдифь, почему?

— Дочери царей не выходят за нищих! — воскликнула она.— И дочь Израиля не может выйти за идолопоклонника! Отвергни свои кумиры, преклони колени перед Единым, посоветуйся с мудрецами моего племени, и тогда, быть может...

— Как! — воскликнул центурион вне себя от удивле-

ния.— Мне сделаться иудеем, изменить присяге, поклониться иерусалимскому ослу!..

Он не хотел быть грубым и не сознавал, что его слова оскорбительны. Он был римлянин, и мысль сделаться иудеем казалась ему нелепой.

Презрительная улыбка мелькнула на губах Юдифи.

— Конечно,— сказала она,— это слишком великая плата за такую жалкую награду.

Тит не мог понять, что он оскорбил Юдифь как еврейку, но понял, что его презрительный отказ от ее предложения оскорбил ее как женщину. Он поспешно сказал:

— Никакая плата не велика за такую награду, но... но есть вещи, которых даже любовь не может исполнить.

— Ты прав, Тит, забудем об этом, как о мимолетном сне. Это был только сон, потому что я прочла нашу судьбу.

Юдифь взглянула на небо, а Тит повторил вполголоса:

— Прочла нашу судьбу? Скажи, Юдифь, правда ли, что твои соплеменники могут предсказывать будущее? Я знаю, девушки из еврейского квартала часто гадают нашим дамам, но всегда думал, что это только способ добывать деньги.

Юдифь улыбнулась.

— Разве тебе не случалось читать в глазах того, кого ты любишь, то, что тебе хочется знать. Звезды — глаза Бога, и тот, кто любит Его, может читать в них свою судьбу.

Тит, как и большинство грубых римлян, был суеверен. Он взглянул на Юдифь с некоторым страхом и боязливо прошептал:

— Прочти же нашу судьбу.

С минуту она стояла молча, потом, подняв руку к небу, сказала:

— Я вижу путь, на который мы оба вступили. Смотри! Он широк и прекрасен и озарен блеском благоприятных звезд. Мы еще стоим на нем. Но скоро он разделится: одна дорога моя, другая — твоя. Одна направляется в беззвездную часть неба, другая идет среди краснова-тых звезд, которые предвещают опасности, войны, пылающие города. Над ней горит небесный залог победы; она кончается у подножия трона.— Голос Юдифи становился все тише и тише.— Я не знаю, которая из дорог моя, которая — твоя. Одно время я думала, Господь освободит свой народ рукой своей рабы, как некогда Он освободил его рукой древней Юдифи. Я думала, побе-

доносное войско пойдет за огненным столбом и сокрушит гордость язычников. Но, быть может, я ошиблась; быть может, мне суждена безвестная и темная дорога, а тебе победный меч и путь славы; быть может, твой народ снова останется победителем и разметет в прах стены Сиона. Наша судьба в руках Господа, и пути Его неисповедимы. Я знаю одно: скоро наши дороги разойдутся.

Прежде чем Тит успел ответить на это, взрыв смеха раздался на улице. Потом послышались звуки отпираемого засова, и через мгновение наружная дверь с треском распахнулась.

Юдифь и Тит поспешили к лестнице; навстречу им выбежали из атриума двое людей. Один бросился на Тита, другой, нетвердо державшийся на ногах, хотел схватить девушку.

Противник воина обладал, по-видимому, бо́льшей смелостью, чем силой, потому что центурион без всякого усилия схватил его поперек туловища, поднял на воздух и перебросил через парапет на улицу. Потом он кинулся к его товарищу и сильным ударом ноги сбросил его с лестницы.

Нападавший вскочил на ноги и выбежал на улицу. Тит бросился за ним, не слушая предостерегающих криков Юдифи, и у входных дверей наткнулся на дюжину вооруженных рабов.

IV

На Мильвийском мосту оживленное движение не прекращалось до позднего вечера. Тут можно было видеть рабов, спешивших с письмами от своих господ, живших в виллах, к их городским знакомым; повозки с товарами, приезжих из Галлии, Германии и даже Британии; патрицев, поспешавших в закрытых носилках на любовное свидание за город, солдат, нищих, выпрашивавших мелкую монету.

Но сенатор Юлий Монтан почему-то не показывался. Нерон и Тигеллин беспокойно расхаживали взад и вперед, ожидая каждую минуту увидеть яркие ливреи рабов сенатора и услышать повелительные голоса, приказывающие очистить дорогу для его носилок. Нерон был в восторге от предстоящей забавы. Он условился с Тигеллином о роли каждого. Нерон должен был схватить жену сенатора, а Тигеллин бросить в Тибр его самого. Тигеллин привык к такому разделению труда, благодаря

которому на его долю доставались побои, тогда как император срывал поцелуй. Впрочем, он был по-своему философ, понимая, что путь славы всегда усеян шипами, и надеялся, что рано или поздно наступит день, когда он будет получать поцелуи, а кто-нибудь другой — удары.

Когда наступила ночь, а жертва еще не показывалась, веселость Нерона исчезла. Он злился на Тигеллина за обман и говорил, что заставит его биться с Спицциллом, знаменитым начальником рециариев — гладиаторов, вооруженных трезубцем и сетью, которую они старались набросить на противника. Эта мысль снова развеселила Нерона.

— Это будет прекрасное зрелище, Тигеллин,— говорил он.— У тебя длинный щит, от которого твоя левая рука скоро устает. Спицилл выступает против тебя с трезубцем, и каждый удар его повергает тебя в озноб. Наконец ты приходишь в бешенство, твои глаза горят, лицо наливается кровью, сердце бьется, голова кружится. Пена выступает на твоих губах, ты замахиваешься кинжалом и бросаешься на Спицилла; но он ожидал этого, подобно внезапному ливню из грозовой тучи летит его сеть, она обвивает тебя, твои руки и ноги запутались, ты падаешь — тогда светлый и блестящий как молния трезубец рассекает воздух и... Ах! Бедный, как мне жаль тебя!

И Нерон, увлеченный живописью собственного воображения, зарыдал над гибелью друга.

Тигеллин привык к причудам Нерона и вовсе не думал, что его царственный покровитель всерьез намерен заставить его биться в цирке. Тем не менее подробности картины, нарисованной Нероном, подействовали на него очень неприятно.

В эту минуту на мосту показался худощавый, длинноногий юноша в коричневой тунике, с деревянными табличками в руках. Это был посол с письмом.

Тигеллин, обратившись к императору, сказал:

— Этот молодой человек очень торопится, Цезарь.

Нерон ответил взглядом, показавшим, что он понял намек, и немного отошел от своего собеседника, так что мальчик должен был пробежать между ними. Едва он поравнялся с ними, Тигеллин подставил ему ногу, а Нерон сильно ударил по левой руке. Таблички упали, и бедняк растянулся на мосту. Прежде чем он успел опомниться, двое грабителей схватили его и перебросили че-

рез перила в Тибр. Было невысоко и недалеко находилась мель, так что если он умел плавать, то мог спастись. Впрочем, Нерон и Тигеллин не интересовались его дальнейшей участью.

Нерон схватил таблички и принялся рассматривать их, когда на реке послышались крики о помощи. Очевидно, мальчик доплыл до мели. Нерон и Тигеллин пустились бежать; за ними на некотором расстоянии следовала толпа вооруженных рабов, без которых император не пускался на ночные подвиги, после того как несколько раз подвергался опасности, а однажды едва ушел живым.

Пробежав немного по Фламиниевой улице, они свернули в узкий переулок, ведший на вершину Пинцийского холма, и скоро скрылись из виду в зеленых садах, раскинувшихся на холме и по его склонам. Поднявшись на холм, они спустились в долину между ним и Квириналом к великолепному саду Саллюстия.

Тут, задыхаясь и изнемогая от усталости, Нерон бросился на траву под густой изгородью из остролиста, а Тигеллин сел рядом. Один из рабов имел при себе бутылку вина и в ответ на свист Нерона подошел к ним и подал два кубка с цекубинским.

Отдохнув и освежившись, Нерон взял таблички и внимательно осмотрел их при ярком свете луны. Таблички состояли из двух половин, сложенных вместе, и письмо было написано на воске. Они были обвязаны красной ниткой, узел которой скреплен восковой печатью. Адрес, по-видимому, был написан углем.

Нерон повернул таблички так, чтобы свет падал на печать. Вдруг он отбросил их, вскрикнув как ужаленный.

— Не укусила ли тебя змея, Цезарь? — воскликнул Тигеллин, вскакивая в беспокойстве.

— Нет,— ответил император, поднимая таблички и боязливо держа их за уголок,— это письмо от Сенеки, его печать! — И бросив опять письмо, он прибавил со стоном: — Письмо к Бурру.

— Только-то? — засмеялся Тигеллин.

— Только-то? — повторил Нерон полугневно-полусмущенно.— Только-то! Да разве этого мало?.. Да что! Я лучше согласен драться с шестью александрийскими крокодилами, которых завтра выпустят в цирке против шести нумидийских львов, чем слушать проповедь, которую Сенека прочтет мне завтра за мои сегодняшние похождения. О! Мне кажется, я уже слышу его.— И Нерон,

передразнивая важный и медленный испанский акцент Сенеки, повторил: — Тот, кто любит зло, уподобляется бешеному зверю. Пьяный делает многое, чего сам устыдится в трезвом виде. Можно положить предел пьянству, обжорству и сребролюбию, но жестокость заставляет молчать самую философию. Как может правитель ожидать добра от подданных, если сам подает им пример разврата? Отвратительно и безумно вечно неистовствовать и убивать!

Нерон катался по траве, повторяя афоризмы своего наставника и проклиная Сенеку, Тигеллина, письмо и свою неосторожность.

Тигеллин смотрел на него с презрительным сожалением.

— Что же ты думаешь предпринять, Цезарь? — спросил он.

Не отвечая на вопрос, Цезарь продолжал передразнивать Сенеку, пересыпая его афоризмы своими проклятиями.

— Мстительность — болезнь ничтожной души!.. Клянусь Геркулесом, я хотел бы видеть его на кресте! Дурные слова, как стрелы на взлете: они бьются о нашу броню, но не пробивают ее. Будь ты проклят, Тигеллин! Ссоры недостойны благородного духа. Хоть бы перуны Юпитера сожгли проклятое письмо! Доброе сердце никому не желает зла! Собака,— вдруг повернулся он к рабу,— ты пролил вино, смотри, чтобы я не пролил твою кровь!

Тигеллин почувствовал к Нерону искреннюю жалость. Он приподнял Нерона, усадил его и сказал:

— Цезарь, мы не можем оставаться здесь всю ночь, вставай и пойдем домой. Дай мне письмо. Я пошлю его Бурру, ничего умнее не придумаешь.

Нерон встал и в припадке пьяной веселости взмахнул табличками и запустил их в Тигеллина. Тот поймал письмо на лету и, отдав его рабу, велел беречь как зеницу ока. Затем они поднялись на Квиринал и молча направились по улице. Проходя мимо дома еврея Иакова, Нерон услышал возбужденный голос Юдифи, доносившийся с низкой крыши. Новая затея мелькнула в его пьяной голове, и, вырвавшись из рук Тигеллина, он подбежал к двери, просунул стальную отмычку между ее створками с ловкостью профессионального мошенника и ловким поворотом отворил засовы. Лунный свет, проникавший в атриум, указывал дорогу; они взбежали по

лестнице в сад, и минуту спустя Тигеллин полетел на улицу, а Нерон, скатившись с лестницы, обратился в бегство, призывая свистом своих телохранителей.

Юдифь с первого взгляда узнала в нападавшем молодого человека, которого она видела утром в носилках на Форуме. Но Тит, взбешенный оскорблением, которое какой-то негодяй осмелился нанести Юдифи, не обращая внимания на ее крики, пустился за беглецом, успел дать ему несколько тумаков вдогонку и в сенях наткнулся на рабов. Двое из них покатились на пол под ударами железных кулаков центуриона, третий, огромный нубиец, по-видимому, начальник отряда, получил удар ногой под колено, от которого отлетел шагов на десять. Если бы Тит был так же благоразумен, как смел и силен, он легко мог бы укрыться в доме, потому что рабы попятились перед кулаками, которые, казалось, могли убить быка. Но центурион вовсе не думал об отступлении, он во что бы то ни стало хотел наказать наглеца, оскорбившего Юдифь.

Нерон, выбежав на улицу, остановился на безопасном расстоянии. Увидев, что рабы отступили, он разразился ругательствами и угрозами, приказывая схватить молодого воина. Услыхав его голос, Тит с бешенством бросился на рабов, свалил еще нескольких, когда тяжелый удар в голову, нанесенный сзади, поверг его на землю без чувств.

Тигеллин, брошенный с крыши, сильно ударился, но кости его остались целы. Он лежал на улице, растирая ушибленные места, проклиная императора и свою неудачу, пока рабы тщетно старались схватить центуриона. Последний обернулся к нему спиной, и лежавший в тени дома Тигеллин не мог быть им замечен. Видя, как рабы валились под ударами взбешенного воина, он почувствовал облегчение и втайне надеялся, что и Нерону придется испытать силу рук, сбросивших его, как ребенка, с крыши.

Но когда рабы уже готовы были обратиться в бегство, Тигеллин увидел недалеко от себя лом. Он быстро сообразил, что император будет более благодарен за помощь, оказанную своевременно, чем после того как получит трепку от центуриона, и, собравшись с силами, встал, схватил лом и, подкравшись сзади к центуриону, нанес ему удар по голове.

К счастью для Тита, Тигеллин отличался скорее изобретательностью в безобразных потехах, чем физиче-

ской силой. Тем не менее удар был настолько силен, что центурион лишился чувств. Рабы немедленно связали его.

Нерон, почти протрезвевший от испуга, подошел к месту драки.

Император сознавал, что роль его была не из славных, и, чтобы скрыть смущение, приняв вид величественного достоинства и толкнув ногой центуриона, воскликнул:

— Он надавал мне пинков, Тигеллин. Он должен умереть!

Тигеллин чувствовал уважение к закону: это была одна из самых замечательных черт римского характера. Совершенный бездельник, гуляка и буян — он принимал без рассуждений традиции римской администрации и преклонялся перед решением самого мелкого должностного лица. Он знал, что вытолкать из своего дома нахала не считалось уголовным преступлением, и он, который собирался бросить в реку сенатора, был смущен при мысли о беззаконном убийстве неизвестного человека на улице.

— Он заслуживает смерти,— сказал он уклончиво.

— И будет казнен,— прибавил Нерон.

— Конечно,— возразил Тигеллин,— когда суд разберет его дело, то найдет его достойным смерти.

— Суд! Дело! — закричал Нерон.— Дурак! Кто я, Цезарь или разносчик? Я тебе говорю, что он поколотил меня, и я велю его сечь, пока он не лишится чувств, а затем отрубить ему голову.

— Мы не знаем еще, кто он такой,— отвечал Тигеллин,— торопиться, во всяком случае, ни к чему.

— Вынесите его на свет! — крикнул Нерон рабам.

Они тотчас вытащили центуриона на освещенное луной место.

Император наклонился к нему и радостно воскликнул:

— Посмотри, посмотри, благоразумнейший и осторожнейший Тигеллин!

Любимец вгляделся в бесчувственное тело.

— Центурион! — воскликнул он.

— Да, центурион,— сказал Нерон,— а я император! Я сегодня же отомщу ему.

Тигеллин знал, что Нерон как император пользовался неограниченным правом жизни и смерти над воинами,

и все его возражения отпадали сами собой. Но, взглянув еще раз на воина, он сказал:

— Цезарь, это центурион преторианской гвардии, сечь его было бы неблагоразумно.

Сила и гордость преторианской гвардии уже в эти ранние времена Империи являлись источником постоянного беспокойства для гражданских властей, и Нерон не был сумасброден настолько, чтобы возбуждать против себя это буйное и непокорное войско.

— Преторианец! — повторил он угрюмо.— Несите его в Мамертинскую тюрьму.

Тут им внезапно овладел порыв. Он схватил за руку Тигеллина и зашептал:

— Нет, лучше мы не будем сечь его. Но правосудие должно быть удовлетворено, кто-нибудь должен быть высечен. Счастливая мысль! Мы отрубим голову этому воину, а высечем тебя. Ни слова, Тигеллин, не нужно благодарности. Я знаю, что ты будешь рад оказать эту маленькую услугу своему другу! Что значит боль и самая смерть для нас, римлян, когда государство, правосудие, дружба взывают к нам! Ты счастливец, я сделаю тебя бессмертным. Лукан прославит твой героизм в поэме. Ты великий, Тигеллин! Тебя будут восхвалять поэты и прославлять историки! В память о тебе будут воздвигаться статуи, потому что ты отдашь себя на бичевание, чтобы удовлетворить правосудие и утолить месть друга.

Тигеллин понимал, что это шутка, но Нерон обладал способностью воспроизводить картины с такой живостью, что у его друга мурашки забегали по телу. Он поспешил подделаться под тон императора и с комической смесью достоинства и пафоса промямлил стих Горация:

— Сладостно и почетно умереть за родину.

Нерон любил дурачить своих подчиненных, заставляя их думать, что сам одурачен ими. Он вздохнул, покачал головой и отвечал:

— Правда, Тигеллин, очень приятно и достойно, но умереть — это еще немного: удар меча или львиной лапы... мгновение — и все кончено. Гораздо славнее подставить свою спину бичам! Мы часто видели, как это делается. Жик-жик-жик... Тяжелый бич свистит в воздухе, падает на спину, брызжет кровь, разрываются кожа, мясо, жилы! Вопли, корчи, агония!..

У Тигеллина душа ушла в пятки. Он не раз сам присутствовал при бичевании рабов.

Нерон заметил ужас любимца и постарался скрыть свое удовольствие.

— Да, Тигеллин,—сказал он,— я завидую твоей славе, друг мой; один удар бича стоит двух смертей, но и сотни ударов недостаточно, чтобы отомстить за побои, нанесенные потомку божественного Августа. Но я не только справедлив, я милосерден. Довольно будет сотни ударов.

Тигеллин, не в силах выносить далее шутки императора, попросил вина. Он подождал, пока один из рабов, несших бесчувственное тело Тита, налил и подал ему кубок.

Нерон так был доволен своей шуткой, что развеселился и хотел было приказать рабам отнести центуриона назад, к дому еврея Иакова.

Тигеллин горячо поддерживал его, понимая, что если воин будет пощажен, то и его спина останется невредимой.

Но Цезарь не хотел испортить свою шутку ради десяти центурионов, и боязливая горячность любимца только заставила его повторить рабам приказание отнести тело в Мамертинскую тюрьму и оставить там для казни на следующий день.

Молодые люди пошли во дворец, и Тигеллин, видя, что Нерон еще не оставил мысли о бичевании, решился на последнее средство. Он уговорил императора приналечь на неразбавленное вино в надежде, что тот напьется и забудет о своем намерении.

Когда первые лучи восходящего солнца уже проникали в окна и лампы чуть-чуть отсвечивались на золотых кубках, Нерон в залитой вином тунике лежал без чувств на шелковых подушках.

Тогда Тигеллин оставил его.

V

Когда Тит бросился за Нероном в атриум, Юдифь последовала за ним, тщетно умоляя вернуться. Она видела, как рабы императора бросились на молодого человека, и с замирающим сердцем, не зная, что делать, ожидала исхода этой драки, спрятавшись за каменным бассейном в центре залы. Когда все исчезли на склоне улицы, она побежала наверх к отцу и разбудила его.

Спальня Иакова находилась в задней половине дома, защищенной от жары утреннего солнца. Его рабы поме-

щались тут же. Появление Нерона и последовавшая затем схватка сопровождались сравнительно небольшим шумом, так что никто из домашних не проснулся.

Иаков с испугом вскочил, но, узнав дочь, сонно спросил, что ей надо.

Когда Юдифь со слезами рассказала ему, в чем дело, умоляя спасти юношу, то Иаков дернул за колокольчик, и через несколько мгновений вошел молодой раб-сириец.

— Разбуди сейчас же привратника,— распорядился Иаков.— Какие-то сорванцы ворвались в дом; вели ему запирать засовы покрепче.

Юдифь задрожала от нетерпения.

— Ну, что ж,— сказала она,— встанешь ты наконец?

— Ты слишком молода, дитя мое,— отвечал Иаков.— Твой молодой друг все равно лишится головы, а я постараюсь сберечь свою ради твоей же пользы.

— Трус! — воскликнула Юдифь.— Этот молодой человек рисковал своей жизнью ради твоей дочери, а ты не хочешь пошевелить пальцем для его спасения.

— Если б, пошевелив пальцем, я мог помочь ему,— сказал Иаков, поднимая свою руку,— я бы с удовольствием пошевелил всеми десятью, но я не знаю, что еще я могу сделать.

— Ты пользуешься милостью императрицы-матери,— вскрикнула Юдифь,— ступай к ней, проси ее заступничества.

— Правда,— отвечал еврей,— я когда-то продал бриллианты блистательнейшей госпоже Агриппине за очень умеренную цену... И,— прибавил он с умильной улыбкой,— может быть, много лет тому назад я заслужил ее милость иными средствами. Но Агриппина не станет вмешиваться в государственные дела ради меня.

Юдифь металась по комнате.

— Неблагодарный, жестокий,— рыдала она,— ты лжешь. Разве не говорят в Риме, что твое слово имеет силу в доме Цезаря?

Иаков развел руками в знак скромного отрицания.

— Если ты не жалеешь его, то пожалей меня. Не допусти отнять у меня защитника. Я тебе говорю, что этот пьяный боров, которого римляне называют своим императором, схватил меня и хотел унести...

Иаков облокотился на локоть и отвечал:

— Властитель мира, отпрыск божественного Августа, трижды славный Нерон удостоил взять тебя на ру-

ки... Что ж, дитя мое, значит, ты красивее прекрасноволосых гречанок.

На мгновение ее лицо исказилось, и тонкие пальцы судорожно сжали рукоятку маленького кинжала, который она носила за поясом.

— Клянусь Богом Авраама,— сказала она низким голосом, и голос зазвучал мрачной силой, как нестройные звуки органа.— Счастье твое, что ты научил меня звать тебя отцом. Но ты солгал, низкий трус! Я отрекаюсь от тебя! Я ненавижу тебя!

Она бросилась вон из комнаты, а Иаков снова улегся, приговаривая вполголоса:

— Отче Авраам! Что за таинственное существо женщина! Императрица Агриппина, владычица мира, увлекается евреем, немолодым и некрасивым. А еврейская девушка, прекрасная, как Савская царица, приходит в бешенство из-за того, что император, властелин мира, вздумал сорвать поцелуй. Да самый мудрый Соломон не мог бы разобрать их затеи, а я... я так мудр, что не стану и пробовать разбирать.

И он спокойно заснул.

Юдифь бросилась в сад, вбежала в беседку, кинулась на скамью, где сидел центурион, и спрятала лицо в подушках.

— О, мой милый,— рыдала она,— как бы я хотела умереть за тебя.— Она подняла лицо, орошенное слезами, и стала громко молиться:— Отец, жалеющий своих детей, пожалей меня! Ты обитаешь высоко, среди херувимов! Мы не можем достигнуть Твоего престола. Но Ты наше прибежище и сила. Я не прошу ничего для себя, только помоги ему!

Юдифь не только верила, но и чувствовала присутствие Бога. Щеки ее разгорелись, когда она произносила молитву. Она с отчаянием закрыла лицо руками и воскликнула:

— Господи, прости мне. Ты знаешь, как я люблю его. Я боролась, я молилась, но я женщина, и я люблю его.

Она встала и устремила пристальный взор в небо.

— Там написано,— сказала она.— Я и теперь читаю: на одном пути тьма, на другом — слава и долгие дни... Мы не можем, как он мечтал, идти рука об руку... Да я и не хочу, если б это даже было возможно.— Девушка гордо выпрямилась.— Потому что кровь Давида не может смешаться с кровью язычника.

— Да,— сказала она со вздохом,— я люблю его. О, пусть дорога тьмы будет моею, а его — путь славы.

Внезапно Юдифь вздрогнула.

«Что я сказала? — подумала она.— Я, которая мечтала об исполнении надежды Израиля, читала в небесах обещание Всевышнего, слышала в бессонные ночи, как гремели трубы Господа и римские стены рассыпались в прах, я пожертвую искуплением моего народа ради любви к римскому воину».

Измученная волнением, она прислонилась к стене беседки, и голова ее опустилась на грудь.

— Я слышала,— сказала она наконец,— что некоторые из иудеев учат, будто Бог есть любовь; быть может, Он понимает и прощает. Даже язычники преклоняются перед силой любви. Сенека, говорят, писал, что любовь сильнее ненависти... Сенека!..— почти вскрикнула она и бросилась через сад в атриум, оттуда в свою комнату. Надев выходное платье, она снова поднялась в сад и, усевшись в беседке, стала ждать.

Луна исчезла, в саду стояла тьма, которая всегда предшествует рассвету. В городе было тихо. В Субурском предместье, где огни еще светились в окнах и двери были убраны зелеными ветками, еще раздавались звуки веселья, но они не достигали спокойной улицы Квиринала, где ждала Юдифь. Только с улицы порой слышались тяжелые шаги стражи, но и они вскоре замирали внизу, у подошвы холма.

Юдифь долго сидела и ждала; наконец тишина прервалась пением какой-то птицы. Юдифь взглянула на небо: на востоке появилась серая полоса. Казалось, Рим пробуждается. Воздух наполнился щебетанием воробьев. Потом послышались чьи-то поспешные шаги на улице. Прошли двое людей, смеясь и разговаривая; закричал разносчик; в одном из домов привратник уже отворял дверь. Звуки сменялись звуками и наконец слились в общий гул и ропот пробудившегося города.

Слуги собрались в атриуме; привратник, старый, хромой еврей, которого Иаков купил из сострадания, осматривал дверь и указывал рабам на повреждения.

— Святые ангелы да защитят нас! — сказал он.— Какой беспокойный, дерзкий народ эти римляне! Два железных болта и дубовый засов разлетелись, точно узы Самсона, я когда-нибудь расскажу вам эту историю, и все из-за шеклей нашего доброго господина. Ах, жад-

ность, жадность, она заставила Ахана[7] прикоснуться к проклятой вещи, и, что хуже всего, из-за нее теперь никто не бросит камнем в наших Аханов. Но я забываю,— пробормотал старик,— что языческие свиньи ничего не знают об этом.

— Ты думаешь, это были воры? — спросил поваренок, забежавший сюда из кухни, где уже готовили стряпню.

— Воры? — повторил старик.— Кто же еще станет врываться ночью в дом богатого человека?

— Ну, мало ли кто? — заметила с усмешкой старая, дряхлая рабыня.— Может быть, кто-нибудь приходил поболтать с Хлоей? — И она указала на одну из горничных Юдифи, стоявшую позади толпы.

— Старая бесстыдница! — воскликнула девушка, вспыхнув.

— А то еще,— продолжала старая ведьма,— когда я была девушкой, а императором был старый Август — я хочу сказать божественный Август,— я служила у жены сенатора Кая Мнеста, и к нам часто заглядывали «воры»; только вот что странно: они никогда не приходили, когда моя госпожа с дочерью были на своей вилле в Байи.

— Так ты думаешь...— воскликнули все в один голос, и толпа расхохоталась.

— Нет,— сказал наконец поваренок,— я не верю этому, она так добра.

— Ха! Ха! — засмеялась старуха.— А откуда ты знаешь, что она добра?

— Я думаю, что она слишком горда для этого,— сказал старый раб, подметавший сени.— Она горда, как Минерва, и холодна, как Диана[8].— Конечно,— повернулся он к старухе,— я не говорю, что ты лжешь, но уверен, что она ничего не знает об этих вещах. Гордость заставляет ее носить свое странное платье и...

— Гордость? — подхватила Хлоя с насмешливой гримасой.

— Ну да, гордость, а то что же? — отвечал старик.

— Тщеславие, глупый! — возразила девушка.— Она ведь не весталка, которые обязаны носить свою одежду. Почему же она так одевается? Просто потому, что это больше бросается в глаза: молодые люди оглядываются на нее и говорят: какая красавица!

— Сомневаюсь,— сказал старик, а поваренок воскликнул, обращаясь к девушке:

— Ревнивица!

Вместо ответа он получил довольно увесистую затрещину.

— Ты тоже,— сказала она полусмеясь, полусердито,— заглядываешься на ее черные глаза и пунцовые губы; только, милый мой, она слишком горда, чтобы связаться с поваренком, а главное — место уже занято! Вообще она самая покладистая девушка в Риме, но теперь на нее ничем не угодишь. Начнет причесываться, никак не может убрать волосы; наденет платье, потом другое, не знает, что ей лучше идет — жемчуг или рубины. Тоже, думает, красиво: жемчуг на темной коже! Мы знаем, что это значит, недаром же к ней повадился какой-то молодчик-центурион, гуляют по ночам в саду, болтают в беседке до утра. Я ничего худого не говорю...

— Молчать! — крикнул привратник, дрожа от гнева.— Он прислушивался к болтовне рабов, но почти ничего не слышал и еще меньше понимал и только благодаря громкому голосу девушки разобрал, в чем дело.— Собаки! Свиньи! — кричал он старческим, разбитым голосом.— И вы смеете осквернять мерзкими устами имя царевны из дома Давидова! Я вас! — И, подняв дрожащей рукой тяжелый засов, он замахнулся.

Не столько испугавшись, сколько развеселившись от этого внезапного взрыва, рабы бросились в стороны, но вдруг в неподдельном ужасе рассыпались по углам: между ними величественно прошла Юдифь. Она не удостоила взглядом никого, даже привратника, который поклонился почти до земли.

Сидя в беседке, она слышала злословие рабов. Но их болтовня не имела в ее глазах никакого значения. Их отзывы, дурные или хорошие, затрагивали ее не больше, чем лай собаки на улице. Правда, когда рабыня упомянула о встречах в саду, она слегка вспыхнула — не от стыда, потому что ей было безразлично, как объяснит девушка ее отношение к Титу, но эти слова пробудили воспоминания, и кровь на мгновение прилила к лицу. Она встала, оправила свое голубое платье, спустилась в атриум, прошла среди испуганных рабов и пошла вниз по улице. Она шла быстрыми шагами, не замечая окружающей суеты. Когда она проходила по узким улицам Субуры, день был уже в полном разгаре. В лавках шла оживленная торговля. В низенькой таверне толпились посетители. Хозяин, подозрительного вида малый, черпал какую-то горячую жидкость из котла, стоявшего над огнем, и разливал ее посетителям, которые с очевидным

удовольствием потягивали напиток. Над прилавком висела вывеска с грубо намалеванным петухом. Напротив таверны какая-то женщина расположилась с тележкой, наполненной овощами, и пронзительным голосом нахваливала свежесть и дешевизну своего товара. Немного далее хлебопек молол муку на маленькой ручной мельнице, и его кирпичная печка разливала теплоту на улице. Далее валяльщик с босыми ногами выжимал грязное платье в чану с мыльной водой; один из его помощников чистил одежду, обшитую пурпуром, другой зажигал серу под тогой, повешенной на станке, устроенном в виде улья; женщина, сидевшая в сторонке, чинила разорванное платье. В следующей лавке цирюльник с подвязанной в виде фартука туникой стриг одного из посетителей. Другие сидели на прилавке и скамьях, смеясь и болтая о вчерашних скандалах. Несколько человек с важными лицами виднелись в книжной лавке, просматривая тома и перелистывая пергаменты. Далее попадались плотники, кожевники, мясники, сапожники, ювелиры. Но Юдифь проходила мимо, не замечая никого.

Прохожие останавливались, оглядываясь на красивую девушку, которая шла как бы в забытьи, что-то шепча. На минуту она остановилась у жалкой, полуразвалившейся таверны. Она помнила, что здесь ее спас Тит, здесь упал пьяный язычник, здесь ее окружила толпа, здесь протянулась для защиты сильная рука.

Наконец она вышла к храму Согласия; перед ней расстилался оживленный Форум, налево возвышался вал Мамертинской тюрмы, где они стояли с Титом, ожидая выхода императора. Закутав лицо покрывалом, она прислонилась к стене, присматриваясь к лицам сенаторов — недостойных потомков славных людей, поднимавшихся по ступенькам сената.

Полчаса прошло в томительном ожидании. Она продолжала стоять неподвижно, вглядываясь в лицо каждого сановника в окаймленной пурпуром тоге. Наконец она заметила высокую фигуру Сенеки, рядом с ним шел какой-то другой сенатор. Когда они переходили через площадку перед сенатом, здоровенный негр, спешивший с каким-то поручением, сбил с ног зазевавшегося мальчишку, который с криком покатился к ногам Сенеки. Правитель властителя мира поднял его, сказал ему несколько ласковых слов и дал какую-то монету. Его спутник смотрел на эту сцену с презрительным удивлением.

Но у Юдифи сердце дрогнуло от радости; она подбежала к великому философу и государственному человеку и, бросившись перед ним на колени, прижала к губам его тогу.

VI

Сенека был римлянин, и, подобно всем римлянам, относился с презрительным равнодушием к обычаям и нравам других рас. Правда, он удивлялся независимому характеру германцев и признавал литературные и философские способности греков. Но при всем свободомыслии, он, как и все его соотечественники, думал, что родиться римлянином значило получить право презирать все остальное человечество.

К евреям римляне питали особенное презрение. Ненависть между этими народами возникла еще в ту эпоху, когда пунические корабли опустошали латинские берега: соотечественники Сенеки считали евреев близкими родственниками финикийцев, сохранившими всю их низость, но не разделявшими славу Тира и Карфагена[9].

Сенека был предубежден против евреев. Стремясь расширить свое образование, он прочел между прочим и некоторые из их философских и исторических книг.

Многие выдающиеся римляне того времени, стремясь заменить какой-нибудь новой системой детскую мифологию древней веры, относились к еврейской религии с некоторым одобрением. Но Сенеке не нравилась положительная и оптимистическая основа еврейской философии. Она шла вразрез с его понятиями о разумном и истинном. А между тем с проницательностью литературного и философского гения он замечал инстинктивное стремление римлян именно к такой философии. Его эклектический стоицизм, казалось ему, гораздо больше подходил к потребностям человечества, и он с досадой думал, что истерические, распущенные азиаты могут совратить римлян с пути здравой философии.

Сенеке очень не нравился еврейский ритуал, тем более что его сведения о нем были неполны и неточны. Их главные обряды казались ему достойными только грязных азиатов. Да и сами евреи казались ему грязными телом, с дикой моралью, с нелепой философией.

Юдифь, разумеется, не знала ничего этого, когда преклонила перед ним колени и поцеловала его платье.

Сенека, как истый римлянин, ненавидел низкопоклонство и, вырвав у нее тогу, спросил суровым тоном:

— Кто ты и зачем становишься на колени передо мною?

— Я дочь Иакова, еврея, живущего среди язычников,— отвечала она,— я умоляю тебя о сострадании.

— Еврейка! — воскликнул Сенека и, впадая в обычную в Риме насмешливость, прибавил:— Зачем может понадобиться мое сострадание такой очаровательной девушке?

Юдифь вскочила на ноги и гордо взглянула на него.

— Я слыхала,— воскликнула она,— что среди римских варваров есть один мудрый и добрый человек! Но меня обманули!

Сенека, улыбнувшись от сконфуженности, возразил:

— Немногие из представительниц твоего пола рассердились бы, если б кто-нибудь назвал их очаровательными. И,— прибавил он ласково,— может быть, еще меньше найдется таких, к которым бы это слово так подходило. Впрочем, я жалею, что пошутил. Скажи же, зачем ты требуешь моего сострадания или, лучше сказать, моей помощи, потому что без помощи нет истинного сострадания.

Манеры Сенеки подкупали. Он не напускал рассеянного вида, как многие философы. На каждого, кто с ним говорил, он производил такое впечатление, как будто предмет разговора возбуждал в нем величайший интерес.

При этом его глаза были так ясны, улыбка так приятна, голос так музыкален, что даже Нерон не мог противостоять его влиянию.

Он выслушал с серьезным вниманием рассказ девушки.

Когда она кончила, он спросил, слегка улыбаясь:

— И этот центурион...

— Мой друг,— отвечала Юдифь, взглянув прямо в глаза Сенеке.

Он слегка покраснел: еврейская девушка пристыдила философа.

— Бедное дитя! — сказал он.— Но я не знаю, что делать.

В нем была странная смесь решительности и нерешительности.

Когда опасность была явна — например, когда Нерон находился в припадке свирепости, он действовал с удивительной быстротой и энергией. Но при отсутствии та-

кого стимула Сенека часто обнаруживал слабость и нерешительность.

Юдифь бросила на него умоляющий взгляд.

— Тит сам говорил мне,— сказала она,— что ты правитель мира. Неужели правитель мира не может спасти жизнь простого воина?

Сенека поспешно ответил:

— Я не правитель мира, и тот, кто желает мне добра, не должен называть меня так даже наедине с самим собой, когда двери заперты и те, кто мог бы подслушать, погружены в сон. Я рад был бы помочь тебе. Возмутительно, что в этом городе, который по справедливости гордится своим порядком и законами, пьяные гуляки могут оскорблять и убивать людей. И все-таки я не знаю, что делать! Может быть, его уже ведут на казнь.

Юдифь вскрикнула и схватила руку сенатора:

— Поспеши же к Цезарю и требуй правосудия. Все говорят, что Рим управляется рукой Нерона и головой Сенеки. Неужели ты заклеймишь себя участием в преступлении! Все говорят, что ты справедлив... Как может справедливость соединяться с трусостью!

Упрек подействовал.

— Ты права, девушка,— сказал он решительным, резким тоном,— ты права. Жизнь какого-то воина не важная вещь, и девическая любовь не должна влиять на государственного человека. Но справедливость и порядок слишком важны; нарушение их не должно остаться без протеста и, если возможно, исправления. Не знаю, удастся ли мне спасти его, но, во всяком случае, попытаюсь.

Он повернулся и пошел вниз по Форуму в сопровождении девушки. Немногие из его современников решились бы доставлять такую пищу сплетням. Он сам пострадал от них в юности; молва связала его имя с именем одной из представительниц императорской фамилии, и Тиверий отправил его в ссылку. Теперь, когда он был стар, римские остряки уверяли, что в число его обязанностей входит не только воспитание и руководство Нерона, но и утешение овдовевшей Агриппины. Он был очень чувствительный человек для римлянина, но громадная власть, которой он пользовался, естественное достоинство, а главное — философия помогали ему равнодушно относиться к злобному жужжанию окружающих.

На Форуме им встретилась группа сенаторов. Сенека не мог не заметить их иронических взглядов, когда они раскланялись с ним. Он отвечал с обычной вежливостью

и потом, как бы подчеркивая свою любезность, обратился к Юдифи и заговорил с ней. Его главной слабостью было стремление позировать: он часто поднимал голову выше, чем обыкновенно, тогда как более скромный человек благоразумно держал бы ее на обычном уровне.

Сенека и Юдифь перешли Форум, повернули и поднялись на Палатин. Перед ними возвышался великолепный дворец Цезаря.

Они вошли в обширное помещение, украшенное рядами статуй членов семьи Юлия и Клавдия. Широкая мраморная лестница вела в атриум, куда Сенека и его спутница прошли мимо группы стражников у подножия лестницы и толпы нубийских рабов, стоявших у фонтана в центре атриума и следивших за теми, кто входил во дворец. Стражники приветствовали Сенеку, а рабы поклонились ему почти до земли.

Несмотря на мучительное отчаяние, наполнявшее ее душу, Юдифь не могла не обратить внимание на окружавшее ее почти варварское великолепие. В доме ее отца было немало золота и драгоценных камней: но сюда, как ей показалось и как было на самом деле, стеклись все богатства мира. Массивная золотая статуя самого Нерона возвышалась на пьедестале из блестящей белой яшмы; ладони его рук были обращены наружу, и гордая фигура, казалось, говорила входящим в атриум так ясно, как только может говорить скульптура: «Все это мое!» Алебастровые колонны поддерживали потолок, разукрашенный золотом и слоновой костью, а коринфские капители, отделенные от колонн полосою черного дерева, были из золота. На каждой стороне табулинума было квадратное пространство, на котором не блистали золото или драгоценные каменья, но рука великого мастера изобразила вакхические танцы. От колонн потолок поднимался в виде изящного свода, окрашенного в небесно-голубой цвет краской, купленной за огромные деньги в Александрии; на нем в виде звезд были разбросаны рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды.

Родина Юдифи была на Востоке, где небо ярче, кожа желтее и страсти сильнее, чем в Риме; и украшение дворца возбудило в ней волнение такое же, как волнение грека при виде божественной чистоты контуров и линий.

Они вошли в коридор, примыкавший к атриуму, и, пройдя несколько пустых комнат, вышли на широкую террасу, возвышавшуюся над садом и искусственным

озером. Здесь, на ложе, помещенном так, чтобы легкий ветерок доносил до него благоухание сада, лежала Актея. Она защищала лицо от солнца опахалом из павлиньих перьев, и ее смеющийся голос раздавался на террасе, когда Сенека и Юдифь подошли к ней.

Она разговаривала с какой-то женщиной, сидевшей на резном кресле из черного дерева. Лицо Сенеки просветлело, когда он увидел собеседницу Актеи, которую назвал, здороваясь с ней, Паулиной.

Паулина была хорошо известна заправилам римского мира как начальница весталок, корпорации, пользовавшейся большим влиянием на государственные дела и сохранившей много старинных привилегий. Ей было под сорок лет, но ее величавая красота принадлежала к тому типу, который достигает расцвета только в зрелых летах. Девочкой она, вероятно, была неуклюжа; но теперь это была пышная, величественная женщина. Голова ее со светлыми золотистыми волосами, заплетенными в косы, широким низким лбом, серыми глазами, прямыми бровями, полными губами и резким круглым подбородком гордо сидела на полных плечах; она была высокого роста с крупными, но не тучными формами.

С раннего возраста, когда она была посвящена служению при храме, она освоилась с государственными делами; ее образование, высокий сан и естественные дарования придавали ей важный, почти надменный вид.

— О, Сенека! — воскликнула Актея, глаза которой блестели детским злорадством.— Слышал ли ты о ночных похождениях Цезаря? Говорят, будто какой-то центурион отколотил его за то, что он поцеловал его возлюбленную. Это плата за мой синяк.

— Где Цезарь?— спросил Сенека с беспокойством.

— Храпит на куче подушек среди пустых кубков и чаш,— отвечала девушка.

— Пора разбудить его! — сказал Сенека.

— Зачем? — возразила она.— Во сне он по крайней мере никому не делает вреда. Да и кто возьмется разбудить его? Не я и не ты; мы знаем, каков он бывает с похмелья.

— У меня есть дело до него,— сказала Паулина,— но, разумеется, будет благоразумнее не будить его.

Актея с любопытством смотрела на Юдифь.

— Кто это, Сенека? — спросила она и прибавила, обращаясь к Юдифи: — Поди сюда!

Юдифь откинула покрывало и подошла к ложу. Она воспитывалась в правилах еврейской морали, совершенно непохожей на римскую. Она знала, какую роль играет Актея в доме Нерона, и губы еврейки искривились презрением, когда она взглянула на этого греческого мотылька. Сенека и Паулина не поняли бы ее презрения, если бы даже она высказала его. В глазах государственного человека и весталки Актея была хорошенькой девушкой, очень полезной вследствие своего влияния на Нерона и их влияния на нее. Что касается самой Актеи, то она не заботилась о вопросах отвлеченной морали и знала только, что она — любимица императора, когда он был трезв, и баловень римского общества. Но Юдифь невольно отшатнулась, когда расшитое золотом легкое покрывало Актеи, подхваченное ветром, коснулось ее.

— Зачем Сенека привел тебя? — спросила Актея, слегка нахмурившись и всматриваясь в нее, как только женщина может всматриваться в другую женщину.

Юдифь коротко рассказала свою историю холодным и сухим тоном. Для нее было пыткой произносить имя Тита перед этой женщиной.

Выслушав рассказ, Актея воскликнула:

— Так ты девушка, которую поцеловал Цезарь!

— Он не целовал меня,— гордо возразила Юдифь.

— Ну, хотел поцеловать. Знаешь, я готова простить ему это, потому что ты почти так же хороша, как я. Да,— прибавила она, приподнимаясь на локте и вглядываясь в лицо Юдифи,— я думаю, что ты совершенно так же хороша. Мне очень жаль тебя и твоего милого.

Надежда долго поддерживала мужество Юдифи, но теперь уступила место внезапному порыву отчаяния. Она судорожно заломила руки, слезы хлынули из ее глаз, и она обратилась с немой, но красноречивой мольбой к Сенеке.

Своенравие ребенка соединялось в Актее с чувствительностью ребенка. Она вскочила со своего ложа, обвила руками Юдифь и сказала:

— Бедняжка! Это ужасно! Это ужасно! У меня тоже был милый в Самосе.— Печальная нотка прозвучала в ее голосе.— Полно, не плачь,— продолжала она,— Цезарь не всегда в дурном расположении духа. Разбудим его, Сенека? Нужно спасти ее возлюбленного.

— Он вовсе не мой возлюбленный,— прошептала Юдифь.

— Нет? — сказала Актея.— Почему же ты плачешь и ломаешь руки? Если он так глуп, что не любит тебя, то я не стану хлопотать за него.

— О, любит, любит! — вскричала Юдифь.

— Он любит тебя, и он не твой любовник. И ты плачешь о нем и просишь спасти его. Я не понимаю этого, но все-таки я думаю, что мы должны разбудить Цезаря.

Она дала знак Сенеке следовать за нею и пошла по террасе, когда Паулина, холодно слушавшая разговор девушек, подозвала Сенеку.

Он подошел к креслу, и она сказала ему так тихо, чтобы только он мог слышать ее:

— Неужели Сенека будет подвергать опасности надежды всех честных римлян ради хорошенького личика?

Он отвечал с упреком:

— Неужели Паулина думает...— и остановился в затруднении.

Его серые глаза продолжали пристально смотреть на нее, и она возразила:

— Паулина думает, что Сенека слишком мягкосердечен для государственного человека. Вспомни,— продолжала она,— что Нерон ищет предлога лишить тебя власти и даже жизни, и на тебе сосредоточены надежды всего, что есть лучшего в Риме.

— Я помню об этом,— сказал он,— но было бы в высшей степени несправедливо допустить казнь этого человека.

— Где он? — спросила она задумчиво.

— В Мамертинской тюрьме,— отвечал Сенека.

Она бросила на него многозначительный взгляд и громко сказала:

— Будить Цезаря скорее вредно, чем полезно.— И оставила террасу.

— Пусть Цезарь спит,— сказал Сенека Актее. Затем, обратившись к плачущей Юдифи, прибавил: — Ступай домой, девушка, может быть, еще есть надежда...

VII

Паулина шла своей мерной походкой по Палатину; впереди нее ликтор расчищал дорогу, так как начальники, государственные люди, знатные и плебеи — все должны были уступать путь весталкам. Девушки, поддерживавшие священное пламя, давно уже оставили свое

затворничество; их орден накопил с течением времени огромные богатства, и его члены мало-помалу заняли выдающееся положение в общественной жизни Рима. Их древние права, личная неприкосновенность и, может быть, добросовестность, с которой почти все они соблюдали свой обет, усиливали влияние, доставляемое богатством.

Под управлением Паулины, честолюбие которой было ненасытно и хитрость равнялась разве только упорству, коллегия весталок сделалась настоящим центром политической интриги. Это учреждение было одним из древнейших и достойнейших в городе. В эпоху, когда римский сенат превратился в раболепное орудие императоров, а императоры, в свою очередь, в игрушку отпущенников, рабов и женщин, искра старого римского духа еще тлела на алтаре Весты [10].

Жажда власти и страсть повелевать были главными чертами характера Паулины. Ей было приятно сознавать, что знатнейшие люди Рима должны уступать ей дорогу; она радостно всходила на священные ступени вслед за верховным жрецом для ежемесячной жертвы, зная, что вокруг нее сосредоточились все лучшие традиции римской жизни и что под ее охраной находилось все, что уцелело от крушения римской веры.

Около тридцати лет прошло с тех пор, как Паулина, на шестом году жизни, была посвящена служению Весты. Через несколько месяцев ее служение должно было кончиться, ее обеты считались исполненными, и ей предстояло или вернуться в мир, или остаться служить в том храме, над которым она владычествовала.

Смутные мечты, долго носившиеся в ее воображении, принимали теперь почти определенную форму.

Ее дорога с каждым днем становилась шире; она лелеяла гордую мысль, что почтение народа к ее сану будет перенесено на нее самое, когда она навсегда расстанется с белой одеждой весталки.

Когда она спускалась с Палатина, ей вспомнились смущение Сенеки, его покорность, и улыбка скользнула по ее надменным чертам.

Паулина дошла до рощи, окружавшей круглый храм Весты, где она жила с остальными жрецами. Она прошла в ворота и, пройдя через рощу, вошла в храм с заднего хода. Минуту спустя она вышла из храма в сопровождении ликтора через передние двери и стала спускаться по ступенькам лестницы, ведшей к Форуму.

Весталка направилась к Капитолию. Толпа праздношатающихся и торговцев почтительно расступилась перед нею: они признавали и уважали римскую доблесть суровой девы. Еще не все моральные и гражданские добродетели сделались предметом насмешки народа.

Но избалованное население Рима в большинстве состояло из неисправимых бездельников.

Слава, а еще более благосостояние столицы мира опьяняли их. Благосклонное государство кормило лентяев, и десятки тысяч здоровых людей без зазрения совести жили ежедневной раздачей бедным.

Тысячи бездельничали на службе у богатых патронов. Развращенные возбуждающими зрелищами в амфитеатре, в цирке, они, как дети, гонялись за самыми пустыми развлечениями. Собака, забежавшая на Форум, или неистовство пьяного раба могли прервать все дела и собрать огромную толпу, веселую и буйную, как школьники, вырвавшиеся из школы.

Когда Паулина выходила на Форум, шумное возбуждение царило в толпе, собравшейся перед Мамертинской тюрьмой. Хриплый смех, насмешливые восклицания, аплодисменты, шутки сыпались со всех сторон. Мясники в балаганах на нижнем конце площади вытягивали шеи и расспрашивали прохожих о причине шума. Некоторые бросили свои лавки и бежали к тюрьме, вокруг которой собиралось все больше и больше народа.

— Пойдем, отец! — кричал какой-то мальчик, мчась во весь дух к старику, прислонившемуся к ростре, который вместе с очень немногими оставался спокойным среди общей суматохи.— Пойдем, сейчас поведут центуриона, который надавал пинков Цезарю; его распнут на Яникулуме. Пойдем скорей, там такая толпа, какой я никогда не видывал.

— Центурион надавал пинков Цезарю! — сказал старик, лениво шагая по Форуму.— Это, конечно, выдумка; с какой стати он станет колотить славнейшего, божественного Цезаря? — Усмешка тронула губы старика.

— Говорят,— отвечал мальчик, нетерпеливо дергая отца,— будто Цезарь поцеловал его любовницу и был бы убит, если б не рабы.

— Мне бы хотелось взглянуть на этого воина, я не думал, что еще остался такой римлянин. Распять прирожденного римского гражданина! — воскликнул старик.— Да это должно было бы камни побудить к вос-

станию!.. Во времена Мария один сенатор, заметь, сенатор из партии Суллы [11], сказал грубость твоей прабабке. Твой прадед пожаловался старому Марию, и сенатор был убит на улице, а его земли, имущество, рабы отданы народу. Но теперь нет более римлян; Рим превратился в псарню.

— Да ну тебя, с твоим старым Марием! — закричал мальчик.— Пойдем скорей, или мы все прозеваем!

* * *

Когда к Титу вернулось сознание, он увидел, что лежит на каменной скамье в темном и незнакомом месте с тяжелым, сырым воздухом. Он хотел встать, но обе руки оказались прикованными к чьим-то чужим рукам. Он стал собираться с мыслями. Мало-помалу он вспомнил происшествие в доме Иакова и, чувствуя сильную боль в голове, догадался, что кто-то нанес ему удар сзади. Он подумал, что воры — он ни на минуту не сомневался, что это были воры,— унесли его в свой притон. Но когда наступило утро и слабый свет проник в темницу, он убедился, что люди, к которым он был прикован, стражники. Он вскочил, заставив их тоже подняться.

— Что это значит? — крикнул он с негодованием.— Где я и почему на мне эти цепи?

Держать в цепях молодого офицера преторианской гвардии доставляло злобное удовольствие стражникам. Но дисциплина была в них так сильна, что повелительный голос центуриона тотчас укротил их.

— В Мамертинской тюрьме, по повелению Цезаря, господин,— отвечали они.

— В Мамертинской тюрьме, по повелению Цезаря? — повторил ошеломленный центурион.— За что?

Один из стражников засмеялся, но Тит схватил его за руку и сдавил ее так сильно, что тот вскрикнул от боли.

— Отвечай, собака! — крикнул центурион.— За какое преступление я сижу здесь?

— Твоя милость сбросила божественную особу Цезаря с лестницы,— отвечали оба стражника и расхохотались.

— Нерона? — вскричал Тит вне себя от изумления.

— Да, господин! — отвечали они.— Цезаря и славнейшего Тигеллина.

Тит упал на скамью, и стражники отнеслись с уважением к его горю. Может быть, они догадались, что он сокрушается не о себе. Нерон видел Юдифь, хотел похитить ее. Центуриону вспомнилось ее пророчество: «Один путь исчезает во мраке, другой ведет к подножию трона».

Наконец римский стоицизм одержал верх.

— На Яникулуме? — спросил он спокойно.

— Да, господин,— отвечали они.

— Когда?

— В полдень.

После этого он сидел молча и неподвижно до тех пор, пока солнце поднялось высоко и лучи его заглянули в узкое окно в потолке тюрьмы. Вошел офицер с отрядом охраны, и минуту спустя Тит, по-прежнему прикованный к своим тюремщикам, вышел на Форум.

Легкое чувство стыда невольно зашевелилось в нем, когда он увидел шумную чернь, толпившуюся на Форуме и на ступеньках храма Согласия, оттесняя сенаторов, которые под предлогом надзора тоже тешили свое праздное любопытство.

Он был воином и всегда считал себя выше неорганизованной, беспорядочной массы. И вот он выведен на потеху толпы. Сама по себе смерть его не пугала. Тысячи римлян прошли на Яникулум до него, рано или поздно надо было умереть; а когда и как, не все ли равно. Но умереть на забаву для толпы было мучительно. Кто-то в толпе крикнул: «Ко львам! Ко львам!» Да, он служил бы таким же точно развлечением для народа в амфитеатре, как и на Яникулуме. Если бы Цезарь прислал ему кинжал, его рука не дрогнула, и он умер бы совершенно спокойно. Было тяжело умирать среди насмешек толпы, гудевшей вокруг него.

Их путь лежал через священную дорогу. Здесь толпа сгустилась до такой степени, что проход для осужденного и стражи становился все более и более затруднительным. Офицер, командовавший отрядом, был коротенький, толстый; из толпы слышались насмешки.

По команде начальника стража направила вперед щиты и, выстроившись клином, оттеснила толпу. Солдаты колотили всех встречных рукоятками своих коротких копий.

После минутной остановки шествие двинулось дальше, и Тит вышел на священную дорогу, когда толпа, находившаяся впереди, раздалась по обе стороны, страж-

ники остановились и расступились, и Тит увидел перед собой величавую фигуру весталки Паулины. Толпа снова обступила их, но в ней воцарилось гробовое молчание.

Порыв удивления и надежды потряс все существо приговоренного к смерти, и он бросил на весталку взгляд, полный жаркой мольбы.

Но он не встретил ответа в холодных глазах весталки.

— Кто ваш начальник?—спросила она у стражников.

— Я начальник,— отвечал толстый воин, подходя к ней.— Я веду этого человека на казнь. Зачем ты задерживаешь нас?

Весталка выпрямилась и отвечала громким голосом, далеко разносившимся в толпе:

— Я, Паулина, девственная жрица Весты, милую и освобождаю этого человека, приговоренного к смерти.

— Помилование! Помилование! — раздалось в толпе, и ветреная чернь, за минуту перед тем жаждавшая увидеть, как обезглавят или, как надеялись некоторые, распнут этого человека, теперь громко выражала свою радость по поводу вмешательства весталки.

Весталки с самых древних времен пользовались правом прощать преступника, случайно встреченного по пути на казнь; но этот обычай, как и многие другие, вышел из употребления, и его забыли. Паулина, видевшая в старых привилегиях некоторый противовес возрастающей власти цезарей, возобновила его и пользовалась им при всяком удобном случае; в настоящую минуту ей доставляло особенное удовольствие помешать мести Нерона.

Толстый офицер стоял разинув рот от изумления и не зная, что делать.

Паулина резко повторила свое приказание:

— Сними с него цепи!

— Но что же я скажу Цезарю? — возразил он.

— Если ты будешь медлить, тебе придется говорить с Плутоном! [12] — гневно отвечала она.

Смущенный солдат видел, что она права. Толпа уже заволновалась. При всем упадке национальной веры и обрядов весталки еще сохранили власть над народом. Циничное остроумие, не щадившее самого верховного жреца, не осмеливалось направлять свои стрелы против охранительниц священного огня; и деспотическая власть императоров не могла бы защитить того, кто решился оскорбить весталку.

Послышались гневные крики:

— Долой его! Он не слушается весталки! Убьем безбожника!

Маленький отряд сомкнул щиты наподобие ограды, и даже в эту решительную минуту Тит не мог не восхищаться их непоколебимым мужеством и дисциплиной. Впрочем, вся их храбрость не привела бы ни к чему, если б Паулина, подняв руки кверху, не остановила толпы.

— Снимите с него цепи! — повторила она, и толстый офицер, видя, что ничего больше не остается делать, повиновался и освободил руки и ноги пленника.

Воины сомкнулись вокруг своего начальника, повернулись и пошли обратно к Мамертинской тюрьме. Вдогонку им посыпались насмешки толпы, умолкнувшие не раньше, чем последний стражник скрылся за тюремным валом.

Тит стоял перед своей избавительницей.

— Следуй за мной! — сказала она, и они пошли вниз по Форуму, предшествуемые ликтором.

Толпа уже нашла себе новое развлечение. Два мясника побились об заклад: один говорил, что центурион будет обезглавлен, другой — что его распнут.

— Я выиграл,— сказал первый.— Его не распяли.

— Я выиграл,— отвечал второй.— Ему не отрубили голову.

От слов они перешли к драке, и толпа с хохотом окружила бойцов.

Через пять минут Тит и его неожиданное помилование были забыты и на площади стоял гул от насмешек, ругательств и ударов.

Паулина остановилась под портиком храма Весты, и центурион принялся благодарить ее.

Она остановила его жестом и сказала:

— Ты обязан благодарностью за спасение своей жизни не мне, а Сенеке.

— Я пойду и поблагодарю его! — воскликнул Тит.

— Не трудись,— отвечала весталка,—слова для мудрого то же, что ветер, который пахнет на его лицо и мчится дальше. За услугу нужно платить делом, а не словами.— Она остановилась и, пристально взглянув в лицо центуриона, сказала торопливым тоном: — В наше время никто не может пренебрегать дружбой, даже Сенека при всем своем могуществе и богатстве, может быть, бу-

дет когда-нибудь иметь нужду в дружбе простого центуриона. Ты видишь, я доверяю тебе.— Она ласково улыбнулась.— Согласен ли ты быть другом Сенеки?

— Клянусь! — горячо воскликнул Тит.

Она хотела войти в храм, но он остановил ее.

— Почему же Сенека вздумал спасти мне жизнь?

— Спроси об этом у еврейки, которая была с ним во дворце Цезаря сегодня утром,— отвечала она.

— Юдифь во дворце Нерона? — воскликнул Тит с ужасом.

Весталка с любопытством взглянула на него, потом дотронулась до его руки и шепнула ему на ухо:

— Глупый, разве у тебя нет меча, чтобы отомстить за свою любовь?

Затем она скрылась в храме, оставив его в оцепенении.

Опомнившись, он пустился со всех ног к дому Иакова.

Но здесь, к его удивлению, старый привратник загородил ему дорогу; он оттолкнул его и вошел в атриум, громко призывая Юдифь.

Вместо дочери его встретил отец.

— Где Юдифь? — крикнул центурион.

— Моя дочь под кровом своего отца,— отвечал Иаков,— но я не знаю, какое тебе дело до этого. Я не желаю, чтобы ты вмешивался в мои или ее дела. Я смиренный римский гражданин и не желаю принимать в свой дом беспокойных людей, которые подымают святотатственную руку на священную особу императора.

Он говорил громко, так, чтобы рабы, прислушивавшиеся, навострив уши, могли слышать его. Затем он вытолкал вон Тита, который машинально повиновался, и запер за ним дверь.

Тит как оглушенный побрел к себе в преторианский лагерь, но у ворот его остановил раб в императорской ливрее и с поклоном сказал ему:

— Цезарь желает говорить с тобой во дворце, господин.

Тит машинально повернулся и пошел за ним.

VIII

Был уже почти полдень, когда Нерон проснулся. Он чувствовал себя очень скверно: разбитым, тупым и не в духе. Голова трещала, тело казалось слишком тяже-

лым, чтобы держаться на ногах. Весь организм громко протестовал против ночных кутежей. Он с трудом приподнялся, отыскал чашу, в которой еще оставалось немного вина, и хлебнул несколько глотков. Крепкий напиток оживил его, и искра сознания блеснула в его отупелых глазах, когда он продекламировал апологию пьяницы из Горация:

Возлюбивший мудрость Сократа
Может еще больше любить вино;
Разве божественный Катон
Не поддерживал вином свою доблесть.

Он побрел в свои апартаменты, умылся, переоделся и после безуспешной попытки проглотить хоть немного пищи отправился на террасу и сел на кресле рядом с Актеей. Он положил голову на ее плечо, и его покрытое пятнами лицо казалось уродливее на ее белой коже, чем когда-либо.

Актея была в кротком настроении духа. Она взяла руку императора и задумчиво играла его пальцами. Легкий ветерок убаюкивал его; он сонливо прислушивался к плеску фонтана и щебетанию птиц на деревьях.

Нерон каялся. Он всегда каялся по утрам. Его обычное распределение занятий было таково: вечером грешит, утром раскаивается, а после полудня подготовляется к новым грехам. Утреннее сокрушение искупало вечерние безобразия.

В своем утреннем расположении духа он любил, чтобы его бранили за дурное поведение. Человеческая натура всегда находила источник приятного возбуждения в сознании собственной испорченности. Ничто так не облегчает душу и не льстит гордости, как ласковые увещевания друга, который смотрит на ваши проступки сквозь сильно увеличивающие моральные очки.

Упреки были так приятны, что соблазняют на новый грех. Император смутно чувствовал это, прильнув к груди Актеи.

Она гладила его волосы и лоб без отвращения: ведь на ее груди покоилась голова властителя мира. В ее прикосновении чувствовался нежный упрек, и Нерон нисколько не удивился, когда она сказала:

— Зачем Цезарь испытывает терпение Фурий [13]?

Вздох глубокого, хотя и мимолетного раскаяния был ответом на ее слова.

Лукавая усмешка мелькнула на ее губах. Зрелище кающегося Нерона забавляло Актею.

С материнской нежностью, которая, как она убедилась, лучше всего действовала на ее сумасбродного повелителя, она продолжала:

— Безумный Цезарь! Ты не должен быть таким неблагоразумным.

— Ах, Актея! — отвечал император, сокрушенно качая головой.— Даже могущественный Цезарь может иметь свои недостатки.

— Могущественный Цезарь скоро присоединится к могущественному Августу, если будет пьянствовать каждую ночь,— сказала девушка довольно резко.

Облако досады отуманило его лицо. Приятно, когда вас называют негодным буяном, но вовсе не приятно, когда вам напоминают, что вы убиваете себя.

— Это все Тигеллин виноват,— сказал Нерон.

— Тигеллин! Тигеллин! — воскликнула девушка.— Как я ненавижу его!

— Я тоже,— заметил он.— Я тоже ненавижу его.

— Так зачем же ты дружишь с ним? Зачем ты слушаешься его? Зачем ты повинуешься ему, как раб? — Лицо ее потемнело от прилива злобы и отвращения.— Зачем ты не убьешь это животное?

— Ты ревнуешь, маленькая Актея,—равнодушно сказал Нерон.— Что же сделал Тигеллин, чтобы его убить?

— Что он сделал? — воскликнула Актея.— Чего он не сделал?.. Он твой злой гений; он заставляет тебя пренебрегать мудрыми советами; он подстрекает тебя к безумию и злодейству; заставляет оскорблять и делать несчастными беззащитных людей. Мало того! Он подвергает тебя самого, императора, побоям и пинкам.

Это была ошибка. Ее горячность завлекла ее слишком далеко, и она тотчас убедилась в этом.

Лицо Нерона побагровело. Он вскочил с криком:

— А! Я и забыл про центуриона: он надавал мне пинков, Актея, и он будет казнен! Я желал бы, чтобы у него была тысяча жизней: я отнял бы их все. Если б я не был Цезарь, я сам бы убил его.— Он взглянул на солнце.— Смотри, теперь полдень: он на Яникулуме, его руки связаны, его лицо бледно, может быть, дрожь пробегает по его членам. Вот он становится на колени, наклоняет голову, вытягивает шею; солдат становится рядом с ним, замахивается мечом... удар — и кровь! Кровь! Кровь!

— Нерон! — вскрикнула Актея не своим голосом.— Взгляни на эту пурпурную тень за Тибром. Там! Там! На склоне Ватиканского холма.

Он взглянул по направлению ее руки, опустился на колени подле ее ложа и погрузился в созерцание игры красок на облаках.

Формы, краски, музыка, стихи — все это затрагивало лучшие струны его натуры, заглушавшиеся обыкновенно безумием и преступлением. Глаза его приняли задумчивое выражение, лицо смягчилось, улыбка заиграла на губах.

— Ах! — сказал он.—Как прекрасно! Взгляни, Актея, на эту полосу тени, взбирающуюся на холм. Края ее почти багряного цвета, а к середине она темнеет. Она кажется черной, но это обман зрения — она великолепного пурпурового цвета. Смотри, смотри: верхушки деревьев вышли из тени; листья отливают золотом на солнце. Сейчас река у того изгиба засияет, как золотая рамка вокруг картины. Ах! Вот! Вот...

С полуоткрытым ртом, с разгоревшимся лицом, он молча любовался переливами красок. Потом спросил:

— Бывают ли такие картины в вашем далеком Самосе, среди его оливковых и гранатовых рощ?

Актея отвечала, слегка вздохнув:

— На Самосе мы наслаждались солнечным светом, а не тенями, а когда наступал вечер и загорались звезды, пастухи начинали играть на свирелях, и легкие пары неслись по склонам холмов. Нам не нужно было управлять миром, мы жили настоящей минутой, не думая о завтрашнем дне.

— Один из наших поэтов проповедовал нам то же,— заметил Нерон.

— Но вы, римляне, не можете понять этого,— вздохнула она.

— Неужели ты жалеешь о холмах своего Самоса, Актея? — спросил он.— Подумай, ты здесь, в доме Цезаря, и сам Цезарь преклоняет перед тобой колени.

Он наклонился и прикоснулся губами к ее руке. Глаза Актеи засверкали.

— Нет,— сказала она,— я не жалею о Самосе, потому что Цезарь любит меня.

— Да, я люблю тебя, маленькая Актея!—воскликнул он, сжимая ее в объятиях так, что она вскрикнула.— Я люблю тебя и буду любить еще больше. Ты будешь императрицей, Актея, императрицей мира, потому что

я женюсь на тебе, что бы ни говорили законники и сенаторы.

Она вскочила и воскликнула:

— Если так, убей Тигеллина!

Случай спас жизнь любимца, потому что Нерон, увлеченный страстью к Актее, без сомнения исполнил бы ее желание. Но прежде чем он успел ответить, на террасу вошел толстый офицер, которому поручена была казнь Тита. Он был бледен, как привидение, и ноги его, казалось, прилипли к полу.

— Ну,— сердито сказал Нерон,— что тебе нужно?

Губы воина зашевелились, но голос изменил ему.

— Говори, мошенник! — вскрикнул Нерон.—Что тебе нужно здесь?

Актея дотронулась до его руки с тщетным намерением обуздать его вспыльчивость.

— Центурион,— пробормотал офицер,— которого ты приказал казнить на Яникулуме...

Нерон поднялся на ноги.

— Ну что же? — сказал он.— Ты пришел рассказать мне о его смерти? Да что ты дрожишь? Ведь я не тебя велел казнить.

— Он... он...— бормотал, заикаясь, офицер.

— Да говори же,— крикнул Нерон,—или, клянусь богами, я заставлю тебя замолчать навеки!

Наконец солдат овладел собой и твердо произнес:

— Мы встретили на Форуме весталку Паулину, и она помиловала его.

Дикий крик вырвался из груди Цезаря; он схватил тяжелое кресло и с силой сумасшедшего пустил им в офицера. Оно ударило его в грудь, он опрокинулся навзничь и упал через низенькие перила в сад.

Нерон бросился на ложе рядом с Актеей и расхохотался. Потом он сказал:

— Боги, если только есть боги, большие шутники, Актея!

— Как так? — спросила она.

— Да как же? — отвечал император, продолжая смеяться.— Человек оступился, встряхнул нас немного, его секут до полусмерти. «Хорошо! Прекрасно,— говорят боги,— и поделом ему». Через несколько времени другой человек спускает с лестницы римского императора..

Я приказываю отрубить ему голову. «О, нет,— говорят боги,— пусть его убирается подобру-поздорову». Затем является солдат, который никому не сделал вреда, и я убиваю его. «Ха! Ха,— смеются боги,— вот так штука!» Кстати,— продолжал Нерон,— надо посмотреть, жив ли он.

Он встал и заглянул в сад. Солдат лежал неподвижно.

— Я думаю, что он умер,— заметил император совершенно равнодушно.— Однако он вовсе не украшает цветника, не мешало бы его убрать оттуда.

Актея хлопнула в ладоши и шепнула несколько слов вошедшей женщине. Спустя несколько минут толпа рабов появилась в саду. Они подняли тело и унесли его во дворец.

— Так ты думаешь,— сказала Актея,—что богов нет?

— Я вовсе не думаю о них,— отвечал он,—какое дело мне или тебе, есть ли на Олимпе или в Гадесе боги или нет. Во всяком случае, они не являются теперь людям, как во времена Энея, я хотел бы быть на месте старого Анхиза [14], хотя,— прибавил он задумчиво,— не знаю, променял ли бы я тебя на Венеру.

Она покачала головой и воскликнула:

— Ты не заставишь меня молчать лестью! Я верю в богов, и мне есть дело. Чья же рука мечет перуны с неба, если не Зевсова? Кто обновляет славу утра, если не Аполлон? Кто поднимает волны на океане и одевает глубину тьмою, если не Посейдон? Кто влагает любовь в сердца мужчин и женщин, если не Афродита?

— Кто заставляет меня напиваться каждую ночь, если не Вакх? — подхватил Нерон, передразнивая ее голос.— Рассуждай об этих вещах с Сенекой, Актея: он философ, а я — я артист.

Они помолчали; Нерон задумчиво играл с вышитым покрывалом Актеи. Потом он снова рассмеялся:

— А! Так человек, поколотивший Цезаря, еще жив. Забавно, не правда ли? Эта весталка любит соваться не в свое дело. Счастье ее, что она весталка.

Немного погодя он прибавил:

— Я хочу поговорить с этим центурионом. Мне нужно спросить его кое о чем. Я пошлю за ним, Актея.

Он кликнул раба и сказал ему:

— Ступай в преторианский лагерь и разыщи центуриона, который должен был быть казнен сегодня, но помилован. Проси прийти его сюда, во дворец.

Раб ушел, а Нерон предложил Актее заняться музыкой. Арфа, мантия, венок и золотое кресло принесли на сцену. Во время пения вошел Сенека с озабоченным и беспокойным лицом. Император встретил его с любезнейшей улыбкой и самым дружеским видом. Старый придворный заставил себя улыбнуться и, выразив свое восхищение пением, подошел к Актее.

— Он убил вестника,— сказала она вполголоса в ответ на его вопросительный взгляд,— и послал за солдатом.

— Вестник очнулся,— отвечал Сенека,—я слышал об этом от рабов.

— Что же? — сказала Актея.

Сенека пожал плечами, и выражение беспокойства снова явилось на его лице.

— Паулина слишком смела, слишком честолюбива,— пробормотал он скорее про себя, чем Актее.—Если он убьет теперь этого солдата, которого она помиловала, результаты могут быть очень серьезные.

Актея бросила на него быстрый взгляд из-под своих длинных ресниц и сказала с чисто женским лукавством:

— Паулина так же смела, как прекрасна.

Озабоченное лицо Сенеки на мгновение осветилось нежностью, а Актея провела рукой по лицу, чтобы скрыть лукавую усмешку.

Неосторожно пользуясь своим преимуществом, она продолжала:

— Через некоторое время Паулина перестанет быть весталкой.

Ловушка была слишком неискусно расставлена, и Сенека холодно ответил:

— Правда, но какое нам дело до этого? Разве у нас нет других предметов для разговора?

Разговор был прерван появлением императорского посла с центурионом.

Нерон рассеянно взглянул на них; он был в разгаре импровизации, напевая что-то вполголоса и аккомпанируя себе на арфе.

Тит остановился перед повелителем легионов, властелином всемирной Империи, которого несколько часов тому назад так бесцеремонно спустил с лестницы. Молодой человек был бледен и, казалось, постарел за это время. Волнение, которое он пережил за один день, подрезало его юность, и теперь он более чем когда-либо был римлянином и римским воином.

Тит пробудился от своих грез о счастье в оковах и перед лицом смерти. Спасенный случаем, он нашел двери своей возлюбленной запертыми для него. Подобно большинству римлян того времени, он придерживался стоицизма. Огорченный и утративший все надежды, он с нетерпением ожидал рокового удара, который, как он думал, должен был поразить его в доме Цезаря.

Нерон отложил в сторону арфу и пристально посмотрел на центуриона.

— Так ты и есть тот, кто поколотил Цезаря? — спросил он наконец.

Центурион молча поклонился.

— Гм! — сказал Нерон.— Но ведь ты не знал, что это был Цезарь?

Новый поклон был ответом на эти слова.

— Скажи же мне,— продолжал император,— поколотил ли бы ты меня, если б знал, что я император?

Центурион молчал.

— Подумай, воин,— сказал Нерон,— я твой император, поколотил ли бы своего императора?

После некоторого колебания Тит ответил:

— Не знаю, но думаю, что да.

Нерон расхохотался.

— Это мне нравится,— сказал он.— Люди, которые не боятся говорить правду, всегда полезны. Ну, на этот раз твоя голова уцелеет. Ты будешь служить у меня под начальством Бурра, и твоя главная обязанность будет состоять при Актее. Теперь,— продолжал он, вставая и потягиваясь,— пойдемте обедать. Говорят, Сенека, что в Киликии есть гробница какого-то древнего монарха, на которой написано: «Ешь, пей и веселись, все остальное пустяки!» Эта философия лучше твоих проповедей.

С этими словами он оставил террасу.

Тит, онемевший от изумления, встрепенулся и, отойдя к Сенеке, сказал ему вполголоса:

— Сегодня весталка спасла мне жизнь и, когда я благодарил ее, велела мне быть другом Сенеки. Я поклялся в этом.

Вторично в этот день легкая краска показалась на лице Сенеки.

— Я принимаю подарок весталки, и,— прибавил он, ласково улыбаясь Титу,— этот дар достоин дарящей.

После этого он и Актея последовали за Нероном в триклиниум [15].

IX

Тит остался во дворце Цезаря.

Новая служба была ему не по вкусу. Он чувствовал себя свободнее в лагере, чем во дворце, и счастливее на поле битвы, чем в штате императора. Бурр был нездоров, и военный надзор за дворцом почти целиком падал на Тита. Он должен был заботиться о личной безопасности Цезаря, а это было нелегкой задачей, особенно когда Цезарь бывал пьян. Никто не мог предвидеть его выходок в пьяном виде. Он решился бы оскорбить самого могущественного, задеть самого отчаянного человека в Риме, и Тит думал про себя, что урок Брута не прошел бесследно для римлян. Калигула убит рабом, Клавдий — женой, и центурион удивлялся, как это Нерон до сих пор выходил целым из своих ночных похождений.

Впрочем, эти соображения не особенно смущали молодого человека: Нерон был его императором, и он считал своим долгом охранять его.

Обязанности его относительно Актеи нравились ему еще меньше. В то время свободные граждане Рима еще не привыкли служить на побегушках у рабынь. Впрочем, в этой службе не было ничего унизительного: римляне не считали постыдным исполнять обязанности лакея в доме своих цезарей, римская цивилизация еще не выработала тонкостей социального честолюбия.

По временам Актея смущала молодого солдата, требуя, чтобы он находился при ней с утра до вечера и сопровождал ее на улице. Это ему не нравилось, он чувствовал, что новые обязанности не могли содействовать возобновлению знакомства с Юдифью и что, кроме того, Нерон мог в один прекрасный день приставить к Актее какого-нибудь телохранителя постарше, а его отправить на Яникулум.

Впрочем, все обитатели дворца испытывали приятное изумление при мысли, что их головы еще держатся на плечах, и, следовательно, Тит находился не в худшем положении, чем его товарищи.

Однажды, когда он сопровождал носилки Актеи на Эсквилинский холм, им повстречалась Юдифь. Как раз в это время гречанка расспрашивала солдата о его сердечных делах и горестях. Тит отвечал очень сухо, наконец, раздосадованная, она устремила на него свои блестящие глаза и заговорила таким нежным голосом, что сердце его невольно дрогнуло. В эту минуту прошла

Юдифь, не показав вида, что узнает его, и центурион мысленно проклял всех гречанок от Атланты [16] до Актеи.

Другой раз, когда они шли по Форуму, какой-то молодой человек кивнул своему товарищу на Актею:

— Вот комнатная собачка Цезаря.

Тот отвечал, смеясь:

— На месте Цезаря я не посылал бы с собачкой такого вожатого.

Все это раздражало и оскорбляло его.

Некоторым вознаграждением для него было расположение Нерона. Этот своенравный государь решил почему-то, что Тит заслуживает его полного доверия. Даже в пьяном виде он не грозил ему бичами или крестом, напротив, уходя после пирушки в свои комнаты, он всякий раз при встрече с Титом говорил заплетающимся языком:

— Человек, поколотивший Цезаря, молодец.

В трезвом виде Нерон иногда выражал свою милость Титу, позволяя ему слушать свое пение, и молодой человек, скрывая отвращение и скуку, принимал благодарный вид. Иногда Нерон брал его с собой в Ватиканский амфитеатр. Император страстно любил лошадиные бега, но, к несчастью для него, наездники в глазах римлян были истинным отребьем, и мир пришел бы в ужас, увидав императора в цирке, правящего колесницей. Однако он не в силах был преодолеть своей страсти, и потому Сенека и Бурр устроили ему в Ватикане цирк, где он мог удовлетворять свою любовь к сильным ощущениям, скрытый от посторонних взоров.

Гречанка Актея, в глазах которой всякое физическое состязание имело благородный характер, часто появлялась в цирке и смотрела с балкона, как Нерон с Титом мчались по арене. Сенека и Бурр также нередко присутствовали при этом и аплодировали, когда император делал круг быстрее, чем обыкновенно.

Однажды, когда Актея и оба сановника присутствовали в цирке, Нерон, поворачивая лошадей вокруг столба, взглянул на Актею. В эту минуту одна из лошадей рванулась в сторону, колесо задело за камень, и император, потеряв равновесие, полетел с колесницы. Тит, находившийся впереди него, устоял. Следом за ними мчалась колесница, запряженная тройкой бешеных лошадей и управляемая рабом; через несколько мгновений она должна была переехать императора. Раб тщетно натягивал вожжи и совсем потерял голову. Он схватился

за нож, чтобы обрубить постромки, но если бы даже и успел это сделать, лошади все равно промчались бы через императора. Тит с удивительной быстротой сообразил, что делать.

Не успел еще Нерон коснуться земли, как центурион соскочил с колесницы и, к счастью, удержался на ногах. Он схватил Цезаря за ноги и убрал его с дороги. Еще мгновение — и бешеные кони промчались мимо них с обезумевшим от страха рабом. Нерон более испуганный, чем пострадавший при падении, поднялся на балкон, опираясь на плечо Тита. Актея, почти лишившаяся чувств, бросилась ему на шею и осыпала его поцелуями.

— Человек, поколотивший Цезаря, молодец,— сказал Нерон, взглянув на Тита.

Актея схватила центуриона за руку и с жаром благодарила его; Сенека и Бурр тоже рассыпались в похвалах его мужеству и проворству. Но по выражению их лиц Тит заподозрил, что они вовсе не так уж обрадованы.

«Неужели Сенека был бы рад его смерти?» — подумал центурион.

После этого происшествия положение Тита во дворце улучшилось. Нерон открыто обращался с ним как с другом. При всем своем сумасбродстве он был далеко не лишен проницательности. Он обладал драгоценной для монарха способностью угадывать людей. Чувствуя, что никто в целом мире, за исключением Актеи, не любит его, Цезарь еще больше осыпал ласками молодого воина. Отправляясь в цирк, он всегда брал с собой Тита и нередко являлся в сенат вместе с ним.

Придворные, разумеется, заметили чувство императора к новому другу, и скоро Титу не было отбоя от льстецов. Многие ненавидели его, но только один открыто выражал свою ненависть. Это был Тигеллин, товарищ Нерона по кутежам. Любимец выходил из себя при виде почтения, которое Нерон оказывал честному центуриону; он задыхался от бешенства, замечая, что Цезарь пользуется им только как орудием для удовольствий, тогда как к Титу относится с очевидным уважением, скрывая от него насколько возможно свои кутежи. Тигеллин мечтал о кровавой мести, но Тит спокойно шел своей дорогой, никого не ненавидя и никого не боясь.

В числе его поклонников оказался также Иаков, который встретился ему однажды во дворце, куда тот явился с драгоценностями для Актеи.

Иаков напомнил молодому человеку, что в прежнее время он удостаивал своими посещениями дом бедного еврея, и униженно просил его оказать ему снова эти милость.

Тит подавил свое отвращение ради Юдифи и в тот же вечер явился с бьющимся сердцем в дом Иакова.

Но Юдифь заперлась наверху, в своей комнате, и ни просьбы, ни угрозы отца не могли заставить ее выйти, так что Тит вернулся во дворец удивленный и опечаленный.

С этого времени служба у Актеи не так сильно раздражала его. Он перестал обращать внимание на зевак, которые перешептывались и отпускали шуточки насчет комнатной собачки Нерона и ее вожатого, когда он шел подле носилок Актеи. Невозможно было устоять перед обаянием этой девушки.

Тит припомнил старинную сказку, когда-то слышанную им в Греции, о чудовище, опустошавшем прекрасную страну, которое можно было умилостивить, только отдавая ему на съедение красивых девушек и мальчиков. Он помнил ее очень смутно, и так как был солдат, а не школьный учитель, то и не читал прекрасных версий этой легенды у Овидия и Вергилия. Но когда он смотрел на Актею, ему нередко приходила в голову мысль о прекрасной девушке, отданной в жертву чудовищу ради блага государства. Иногда ему случалось быть свидетелем грубого обращения Нерона с этим нежным созданием и слышать его ужасные угрозы. Любимой забавой Цезаря в пьяном виде или в минуты дурного расположения духа было грозить Актее бичами или крестом и рисовать картину жестоких страданий при этих наказаниях. Он дотрагивался иногда до ее белоснежной кожи, рассказывая, как гвозди или бич будут терзать ее. Актея никогда не уступала ему, хотя мурашки бегали по ее телу. Тит часто удивлялся ее мужеству: правда, лицо ее бледнело, но она никогда не опускала глаз перед Цезарем; ни разу не случалось, чтобы голос ее дрогнул, когда она упрекала его в жестокости или язвительно смеялась над его похождениями.

Центурион начинал чувствовать, что охранять подобную женщину не было недостойно римского солдата. Он поклялся в дружбе Сенеке и скоро заметил, что Актея была краеугольным камнем его власти и влияния. Притом она была прекрасна и очаровательна; он мог сознаться в этом, не изменяя Юдифи. Он был оскорблен

еврейской девушкой, глубоко оскорблен, как ему казалось; но все же образ Юдифи, который сами боги, казалось, озарили добротой и любовью, сохранялся в его сердце, тогда как смеющиеся черты гречанки ласкали только его зрение. Однако он должен был сознаться, что по временам, когда Актея бросала на него нежный взгляд из-под своих длинных ресниц, сердце его начинало биться сильнее, чем обыкновенно.

Тит не был тщеславен и обладал большим здравым смысом. Он понимал, что Актея знает силу своей красоты и влияния на людей. Ей нравилось и казалось забавным вызывать краску на лице этого здоровенного центуриона. Но она была собственностью императора, который, в свою очередь, бы ее рабом. Ее слово было законом от туманных берегов Британии до знойных равнин Нубии, от Геркулесовых столбов до Вавилонских рек. Он мог краснеть и заикаться, поддаваясь чарам красавицы, но очень хорошо понимал, что если хоть сколько-нибудь позволит себе выйти за пределы скромности и почтения, то гордая гречанка отправит его на казнь прежде, чем мир успеет состариться за один день. Таким образом, здравый смысл, как и любовь к Юдифи, удерживал его от всякого безумного увлечения.

Спустя несколько месяцев после приключения в амфитеатре ему случилось однажды проходить по Форуму, сопровождая Актею. У ростры они увидели толпу, собравшуюся вокруг какого-то оратора. Толпа свистела, хохотала, шумела так, что только оратор был почти не слышен.

Актея обладала не то что женским, а чисто греческим любопытством. Она не могла пройти мимо толпы, не разузнав, в чем дело. Она приказала носильщикам остановиться и с нежной улыбкой сказала Титу:

— Сходи узнай, что говорит этот человек.

Тит протолкался сквозь толпу к трибуне.

С первого взгляда оратор не представлял ничего особенного. На вид ему было лет пятьдесят — шестьдесят; он был ниже среднего роста и сильно изнурен болезнями и лишениями. Лицо его было приятно, но вовсе не красиво. Волосы над высоким, хотя несколько узким лбом откинуты назад, длинная седая борода свешивалась на грудь. Горбатый нос изобличал его расу: Тит сразу узнал еврея. Очертания губ его были приятны, но, когда он на мгновение прерывал свою речь, они поражали своим твердым выражением. Одежда его была сильно

поношена, грубая мантия, наброшенная на плечи, казалось, пережила много невзгод.

В фигуре его было что-то, привлекавшее внимание. Не то чтобы он был красив или величествен, но какое-то неуловимое магнетическое влияние, невольно оказываемое на всех в большей или меньшей степени, говорило тем, кто его видел, что жизнь этого человека посвящена великому делу, что у него есть что сказать и что он знает, как говорить.

Когда Тит протолкался в передние ряды, толпа уже утихла. Сила красноречия покорила шумных римлян. Шутки и смех прекратились.

Тит легко поддался обаянию оратора. Его поразило не столько содержание речи, сколько дикция и голос говорившего. Такого голоса ему никогда еще не приходилось слышать. Он мог бы пробить дюжину панцирей и проникнуть в сердце. То он гремел и раздавался далеко по Форуму, и Тит вспоминал боевой крик легионов в разгар битвы, когда опасность и долг воспламеняли сердце каждого римлянина, то в едкой иронии он, казалось, сверкал подобно лезвию меча, то звучал кроткой насмешкой. Иногда он становился мягким и нежным, и Тит вспоминал речи Юдифи в беседке, обвитой виноградником.

К счастью для молодого человека, речь скоро окончилась, так как он совершенно забыл о своем поручении. Когда он вернулся к носилкам, Актея нетерпеливо постукивала пальцами по колену.

— Что это значит? — воскликнула она.— Или ты думаешь, что я намерена дожидаться тебя целый день здесь, на Форуме? Ну, что же говорил этот человек?

— Это странная история,— отвечал Тит,— он толковал о новом Боге.

— О новом Боге? — повторила Актея.— Ну, рассказывай, я люблю слушать о богах.

— Он говорил, что богов нет, а есть только один Бог и именно его Бог. Конечно,— прибавил он задумчиво,— вполне естественно считать своего Бога лучшим из богов, но смешно отрицать существование всех остальных.

— Не в том дело, что ты думаешь,— перебила Актея,— рассказывай, что он еще говорил.

— Он говорил что есть великий, неизвестный нам Бог, который, видя разврат и несчастие мира, пожалел его и послал своего Сына на землю, чтобы сделаться человеком, учить людей истине и погибнуть для искуп-

ления грехов мира. Этот Сын Божий, по его словам, был еврей, жил в Иудее лет тридцать или сорок тому назад и был распят священниками или прокуратором, но через три дня воскрес из мертвых.

Актея засмеялась.

— Какое грубое суеверие,— сказала она.— Зачем же Он послал своего Сына, который добр и любил его, чтобы быть убитым за людей, которые злы и не любили его? Зевс не сделал бы этого.

— Не стоит обращать внимания на эти россказни,— сказал центурион.— Я всегда замечал, что мертвые воскресают и всевозможные чудеса случаются в таких захолустных уголках мира, как Иудея. Здесь в Риме никогда не бывает ничего подобного.

— О! Бог, разумеется, может воскресить своего Сына, если захочет,— возразила Актея,— но странно, что Сын мог быть убит для такой необычайной цели... Наконец, почему Он ждал так долго? Почему Он не сделал то же раньше?

— Не знаю,— отвечал центурион,— если ты хочешь услыхать побольше о Христе, так он назвал его, то я приведу этого еврея во дворец.

— Пожалуй,— сказала Актея,— может быть, это позабавит нас.

— Его стоит послушать,— заметил Тит,— он великий оратор, выше Сенеки, по-моему.

X

Актея лежала на залитой солнцем террасе; у ее изголовья стоял Тит, в ногах сидела на кресле из черного дерева Паулина, напротив нее — Сенека. Проповедник, стоявший перед ними, простер руки и воскликнул:

— Велика благодать Божия; Он отдал своего единородного Сына, чтобы те, кто уверует в него, спаслись от погибели и сподобились вечной жизни.

Актея с удивлением смотрела на дивного оратора, голос которого отзывался в ее сердце. Сенека слушал с серьезным вниманием, но весталка хмурила брови с явным нетерпением. Тит прислушивался к плеску фонтана и думал: удастся ли ему когда-нибудь снова увидеть Юдифь.

Проповедник рассказывал о жизни и смерти Учителя с безыскусственным, но потрясающим красноречием. Потом он снова повысил голос и воскликнул:

— Тот, кто уверует в Него, спасется, но неверующий будет осужден.

— Как? — сказал Сенека с мягкой иронией.— Неужели Катон и Цицерон, Брут и Юлий, Вергилий и Гораций [17] будут несчастны, а ты, не сделавший ничего равного их делам, будешь счастлив только потому, что ты еврей?

— Я прирожденный римский гражданин,— отвечал проповедник,— притом написано: «утаил от мудрых и разумных и открыл младенцам».

— Охота тебе разговаривать с безумным евреем, Сенека! — шепнула ему Паулина.

— Истинный философ учится везде, даже у безумца,— отвечал Сенека,— но этот человек не безумен.

Проповедник, как бы угадывая ее мысль, воскликнул:

— Я не безумен, благородная госпожа, я говорю слова истины.

— Ты рассказываешь странные вещи,— сказал Сенека.— Если человек придет ко мне и скажет, что был мертв и ожил, могу ли я поверить ему?

— Мы говорим о том, что видели своими глазами,— возразил проповедник.

— Однако ты сам говорил, что никогда не видел вашего Учителя?

— Мои глаза видели Его славу, хотя мне не дано было увидеть Его лицо на земле. Однажды, когда я ехал в Дамаск — в то время истина еще не коснулась моего сердца,— великий свет воссиял мне, и я услышал голос, говорящий: «Зачем ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» И он сказал: «Я — Иисус, которого ты гонишь».

— Я бы желал знать,— ехидно сказал Сенека,— почему боги всегда являются только в первые дни существования религии. Они бились в рядах троянцев и аргивян при осаде Трои, и Рим был еще древней, когда близнецы мчались рядом с диктатором Авлом [18]. Я думаю,— прибавил он, обращаясь к Паулине,— жрицы Весты давно уже не замечают, что они поят коней в Священном колодце.

— Жрицам Весты некогда думать о римских или иудейских сказках,— отвечала весталка.

— То, что я говорю вам, не сказки! — воскликнул проповедник.— Это Божественная истина, открытая людям для спасения их душ.

— Не сомневаюсь в могуществе Бога,— ответил Сенека,— но не думаю, что оно проявляется в чудесах, которые могут поразить только ребенка.

Проповедник задумался.

— Может быть,— сказал он наконец,— наступит время, когда истина будет говорить сама за себя и люди перестанут искать, подобно детям, внешних знаков, а станут стремиться только к добру.

— Справедливо,— сказал Сенека,— я бы желал, чтобы люди стремились только к тому, что заслуживает стремления у всех народов и во все времена, чтобы они перестали выдумывать чудесные сказки и довольствовались знанием, что добродетель есть лучшее благо на земле.

— Ты недалек от царствия небесного,— воскликнул проповедник и со всем пылом своего красноречия начал излагать божественные истины своего Учителя. Чистейшее учение, какое когда-либо слышал мир,— проповедь любви, целомудрия, благочестия, мира, прощения раздавались на террасе во дворце Цезарей. Наконец вдохновенный проповедник бросился на колени и прочел молитву Господню.

Взволнованный Сенека сидел, опустив голову. Серые глаза Паулины были устремлены на него со смешанным выражением сожаления и презрительного удивления.

«Он родился,— думала она,— поэтом или жрецом или кем угодно, только не правителем. Но он правитель, и будет еще более великим правителем».

Проповедник встал. Лицо его светилось.

Сенека медленно произнес:

— Моя первая молитва всегда была молитва о спокойной совести; но твоя, конечно, лучше, так как ты просишь, чтобы воля Божия исполнялась на земле. Все угодное Ему хорошо, и исполнять Его волю значит иметь чистую совесть. Великий дух всегда стремится к нему.

— Никто не может познать Бога иначе, как через Его Сына Иисуса Христа,— сказал проповедник.

— Бог наш Отец,— отвечал Сенека резким тоном.— Он всегда близок к нам, лучшие люди мира всегда любили Его и служили Ему, а ты говоришь, что никто не может познать Его, если не примет еврейских суеверий!

С этими словами он удалился с террасы.

Проповедник поднял глаза к небу и воскликнул:

— Да помилует тебя Бог, потому что время твое близко. Никто не ведает дня, когда придет Сын Человеческий, и горе тому, кого он найдет не готовым.

Паулина последовала за Сенекой и, проходя мимо проповедника, сказала с холодной усмешкой:

— Друг, в тебе есть искра мудрости; предоставь же пророчества авгурам и глупцам, которые им верят. Настоящее наше, но будущее принадлежит Богу.

Проповедник хотел тоже оставить дворец, но Актея остановила его.

— Сядь здесь, старик,— сказала она,— и расскажи мне еще что-нибудь о вашем Боге и об удивительных чудесах Его Сына.

Актея не поняла, о чем спорили Сенека и проповедник, но с удивлением слушала рассказ о воскресении.

Римляне снисходительно относились к положению Актеи в доме Цезаря. Многие признавали ее власть. Мало кто находил позорными ее отношения с Цезарем. Но для христианского проповедника она была орудием животной страсти — грешной, проклятой женщиной. Однако он сел подле нее и говорил с ней серьезно и нежно, так как, подобно своему Учителю, он был руководителем заблудших, целителем больных.

Вряд ли когда-либо существовал более пылкий проповедник и более искусный учитель. С Сенекой он спорил как с мыслителем, изучая его, стараясь открыть его сильные и слабые стороны, и в конце концов восторжествовал, по крайней мере до некоторой степени подействовав на чувства своего противника.

С Актеей он говорил, как отец с маленьким ребенком, стараясь возбудить в ней интерес рассказами о чудесах и найти доступ к ее сердцу, действуя на воображение.

Девушка внимательно слушала его, изредка спрашивая объяснения, когда что-нибудь в словах проповедника казалось ей непонятным.

Дослушав его до конца, она некоторое время задумчиво молчала.

— Все это так странно и прекрасно,— сказала она наконец,— но правда ли это? Вот главный вопрос, правда ли это?

— Я готов засвидетельствовать жизнью истину моих слов,— отвечал проповедник.

— Но,— возразила она,— когда я была ребенком, мать водила меня в храм и рассказывала, какие удивительные и прекрасные вещи боги делали для людей. Я могу поверить, что ваш Бог добр, но и мои тоже добры,

— Мой Бог не есть бог, сделанный человеческими руками,— сказал проповедник.— Он Бог Богов.

Актея помолчала немного, потом сказала, возвращаясь к прежней мысли:

— Эти удивительные вещи совершились недавно, и многие должны были видеть их.

— Многие видели их,— отвечал он,— и засвидетельствовали истину.

— Это происходило среди евреев,— продолжала она,— однако евреи ничего не говорили нам об этом.

Внезапная мысль мелькнула в ее голове. Она поспешно вскочила и сказала, обращаясь к Титу:

— Ты помнишь еврейскую девушку, которая называла тебя другом? Возьми носилки, ступай за ней и приведи ее сюда: она расскажет нам, точно ли все это происходило у евреев.

Сердце Тита радостно забилось. Наконец-то он увидит Юдифь, услышит ее голос, будет говорить с ней.

Он поспешил исполнить поручение. Но проповедник остановил его, сказав:

— Евреи убили моего Господа, как могут они свидетельствовать о нем?

Центурион вспыхнул от гнева.

— Старик, не говори дурно о тех, кого ты не знаешь. На устах Юдифи не может быть лжи.

Сказав это, он поспешно ушел с террасы.

Проповедник снова обратился к Актее и с жаром начал доказывать ей правоту своего учения, но она лениво играла с веером и только повторяла в ответ:

— Терпение! Терпение! Послушаем, что скажет еврейская девушка.

Наконец Тит вернулся вместе с Юдифью. Девушка держалась с холодным, почти надменным достоинством. Тит был смущен и расстроен: она выслушала его поручение с ледяным молчанием и всю дорогу не говорила с ним ни слова.

Юдифь подошла к Актее и, откинув покрывало со своего лица, спросила самым презрительным тоном:

— Какое дело может быть у такой знатной госпожи к еврейской девушке?

Актея взглянула на Тита и сказала невозмутимым тоном:

— Да, твоя подруга прекрасна, безукоризненно прекрасна. Но,— продолжала она, обращаясь к Юдифи,—

ты должна научиться сверкать глазами, не хмуря бровей, иначе у тебя появятся морщины на лбу. Это очень просто, смотри.

Ее губы продолжали улыбаться и лоб оставался гладким, но в глазах блеснула молния, когда она бросила взгляд на Юдифь.

После этого она звонко расхохоталась, и на губах Юдифи появилась почти ласковая улыбка. Она повторила свой вопрос, но уже любезным тоном.

— О! — воскликнула Актея.— Я и забыла.

Она передала еврейке рассказ проповедника, спрашивая, правда ли это.

— Я слыхала об этих людях,— отвечала еврейка,— они говорят, что человек, распятый за смуту — я вовсе не порицаю его за это, что этот человек был Мессия. Освободитель, посланный Богом.

— Разве он не был им? — спросила Актея.

— Разве он не был им?..— повторила еврейка.— Когда Мессия явится, не будут спрашивать: где он? Или кто он? Тогда царства земные содрогнутся, престол воздвигнется в Сионе, и рука Господа покорит язычников!

— Зачем же ты обманул меня, старик? — с упреком спросила Актея.

Он выпрямился, и его небольшая фигура казалась гигантской.

— Бесстыдная наложница Цезаря! — вскричал он.— Ты называешь меня лжецом... Я говорю тебе, Бог сокрушит твою гордыню, и после великих страданий ты обретешь мир!

Сказав это, он бросился вон из дворца.

Часть II

ПОППЕЯ

XI

Дом Марка Сильвия Отона стоял на Целийском холме. Он славился не только своим великолепием, но и тем, что в нем жила Поппея Сабина, жена Отона, которая, по словам сведущих людей, соединяла в себе все прелести, за исключением добродетели.

Внутри этого огромного дома находилась ванная Поппеи, убранство которой превосходило причудливым великолепием всю роскошь Востока. Серебряный бассейн в пять ярдов длины и такой же ширины был украшен по краям фантастической резьбой и фигурами. Три алебастровые колонны с каждой стороны поддерживали потолок, посредине которого находилось окно с розовыми стеклами. По стенам между алебастровыми пилястрами были устроены панели в рамках из литого золота, украшенные мозаикой из сердолика и сардоникса, яшмы и агата, халцедона и оникса и даже гелиотропа, аметиста, бирюзы, хрусталя и серпентина. У изголовья серебряной ванны, над ложем из слоновой кости, возвышался небольшой балдахин; возле стояло огромное зеркало на золотых ножках, отражавшее все ложе. Однажды утром, спустя несколько дней после того, как проповедник гово-

рил во дворце, Поппея, только что вышедшая из ванны, наполненной молоком, лежала, раскинувшись на своем ложе. Из окна в потолке падал розовый свет.

— Рода,— сказала она девушке-рабыне, стоявшей за ложем,— дай-ка я посмотрю на себя.

Девушка подошла к ней и сняла с ее лица маску из особого теста, сохранявшего нежность кожи.

Поппея внимательно рассматривала свое тело, отражавшееся с головы до пят в зеркале. Потом она расплела косы и, отбросив назад пышные волосы, упавшие волнами на грудь, закинув руки за голову, переменила позу, продолжая внимательно смотреть в зеркало.

— Рода, заплети мне волосы,— сказала она.

Рабыня приподняла ее, подложила под ее спину несколько подушек и подала ей ручное зеркало в жемчужной рамке. Пока девушка заплетала волосы, Поппея рассматривала в зеркале свое лицо.

Она была действительно хороша, хороша красотой гетеры, родившейся с порочным сердцем и привыкшей обольщать людей. Она была среднего роста, с полными и безупречно пропорциональными формами; никто не мог бы отрицать силу ее чар. Но лицо, несмотря на ослепительную красоту, грозило опасностью всем добрым людям. Небольшое и круглое, с низким широким лбом, прямым носом и тонкими губами, оно поражало в особенности взглядом больших серых глаз; такой взгляд должен был быть у Медузы, превращавшей людей в камень [19]. Холодное, почти бесчувственное сладострастие выражалось на ее лице. Еще почти ребенком она без удержу предавалась бесстыдным порывам, унаследованным от матери, и теперь во цвете лет ее холодные черты и резкий голос говорили о жизни, посвященной разврату. Может быть, для того чтобы скрыть эти недостатки своей во всем остальном безупречной красоты, она напускала на себя вид суровой добродетели, служившей предметом шуток для всего Рима. Самая застенчивая деревенская девушка не была бы скромнее Поппеи в манерах и разговорах. От окружающих она требовала почтительности, доходя в этом до смешного; рассказывали, что она прогнала однажды молодого и богатого любовника за то, что он позволил себе какое-то вольное слово, находясь с ней наедине. Она отличалась также разборчивым вкусом, что иногда было выгодно для нее: так, когда ее муж Отон надоел ей, что случилось очень скоро после свадьбы, она перестала пускать его к себе,

под тем предлогом, что на плече у него есть родимое пятно, которое оскорбляло ее чувство изящного.

Поворачивая зеркало грациозным движением руки, она тщательно осматривала свое лицо, шею и грудь. На лице ее выражалось только самое бесстрастное внимание. Вдруг ее взгляд остановился на лбу, и она досадливо воскликнула:

— Рода, у меня вскочил прыщик!

Девушка принялась рассматривать дерзкий прыщик, осмелившийся вскочить на лбу Поппеи Сабины. В самом деле она заметила крошечное пятнышко над правым глазом. С инстинктом опытной прислужницы она всплеснула руками и в ужасе выкатила глаза. Потом взяла маленькую кисточку, которой подправляла брови Поппеи, прикоснулась ею к прыщику, и тот моментально исчез. Это оказалась крошка от маски из теста, приставшая к лицу красавицы. Успокоив госпожу, девушка продолжала заплетать ее волосы. Немного погодя Поппея дотронулась рукой до своего тела и сказала:

— Покрывало, Рода, живее, должно быть, холодно: моя кожа становится шершавой...

Рабыня накинула на нее тяжелое темное одеяло, вышитое золотом по краям, и Поппея снова поднесла к лицу зеркало.

— Сегодня день моего рождения,— сказала она,— никто не дает мне тридцати лет.

Подобно большинству представительниц своего пола, она мучилась мыслью, что красота начинает пропадать с двадцатипятилетнего возраста, забывая, что, за исключением немногих женщин, которые всегда прекрасны, у большинства красота становится действительно опасной только с тридцати лет. Что касается массы ординарных или некрасивых женщин, то они привлекательнее в пятьдесят, чем в пятнадцать лет.

Девушка возразила с притворным энтузиазмом:

— Да, госпожа, тебе нельзя дать больше семнадцати лет.

— Вздор,—отвечала Поппея.— В семнадцать лет моя рука была вдвое тоньше, грудь вдвое меньше и подбородок не сливался со щеками, как теперь.

Она нарочно преувеличивала полноту своего лица и тела.

— Да,— продолжала она,— я становлюсь старухой. Мессалина была императрицей и погибла прежде, чем достигла моих лет.

Рода лукаво улыбнулась.

— Я хорошо помню ее,— продолжала Поппея.— Я была достаточно взрослой, чтобы понять ее похождения задолго до того, как Клавдий убил ее. Я плясала от радости, когда император отделался от нее. Из-за нее была казнена моя мать,— она отбила у нее любовника.

Она опять посмотрела в зеркало.

— Я красивее Мессалины, Рода,— сказала она после небольшой паузы,— да, решительно я красивее. Она была полнее меня, с черными глазами и волосами. Но у нее была желтая кожа, красное лицо, и потом она была слишком страстна и гонялась за любовниками. Глупая! Она не знала, что поймать любовника легче всего, когда бегаешь от него. Я стою десяти Мессалин. Но,— прибавила она, отвечая на какую-то тайную мысль, лежавшую в основе всех этих рассуждений о Мессалине,— Клавдий был стар, а Нерон молод, а молодому человеку не в десять, а в двести раз труднее понравиться, чем старику.

Рода отлично понимала тайные мысли своей госпожи. Вероятно, ей уже не раз приходилось слышать подобные замечания. Впрочем, слышала она или нет, это не могло иметь особенного значения, потому что девушка, которая причесывает госпожу, легче всего может проникнуть в ее сердце. Рода стала оспаривать мнение Поппеи о сравнительной трудности прельстить старика и молодого. Она доказывала с большим остроумием и очевидным знанием дела, что молодые люди глупы, пылки, впечатлительны, готовы влюбиться с первого взгляда, тогда как старики хитры, лукавы, холодны и всегда склонны торговаться.

Поппея, невнимательно слушавшая ее рассуждения, положила зеркало и вздохнула.

— Хотелось бы мне знать мою судьбу.

— В Риме много гадателей,— ответила Рода.

— Да я им мало верю,— возразила Поппея,— они готовы предсказывать что угодно за деньги.

Когда волосы были заплетены, Поппея опустила голову на подушки, подтянула одеяло до самого подбородка и сказала сонным голосом:

— Посмотри, кто в атриуме.

Поппея была знатная дама, а все знатные лица в Риме окружали себя двором, каждый сообразно своим вкусам и склонностям. Так, в атриуме стоика Тразеи каждое утро собирались римские патриоты и философы, мечтавшие о воображаемых доблестях республиканской

эпохи и оплакивавшие вырождение века. В доме Сенеки толпилось более пестрое общество. Великий государственный человек принимал всех, от кого можно было услышать что-нибудь достойное внимания.

В его великолепной зале собиралась каждое утро шумная и блестящая толпа; люди с различными идеями, разными мнениями и честолюбиями; политики с рецептами против государственных зол; дюжина философов из разных стран и школ, из коих каждый готов был доказать, что остальные одиннадцать шарлатаны, ученые со своими книгами; адвокаты с рассказами о судебных процессах; солдаты с воспоминаниями о битвах и всегдашняя толпа просителей и паразитов. Тут можно было встретить Лукана, прекрасного и блестящего племянника Сенеки; Петрония, остроумного «законодателя вкуса», иногда задумчивого Персия, ускользнувшего на часок из атриума своего друга и патрона Тразеи. Сюда заходил и Корнут, мудрый и остроумный философ, и Светоний, и честный солдат Бурр. Но всех превосходил своими талантами и своим мягким, приветливым характером Сенека.

Посетители Поппеи, так же, как и всякой другой известной женщины в Риме, были иного рода. В ее атриум стекались люди, жившие только для удовольствия, молодежь и старики с рассказами о последних скандалах. Вернейшим средством получить к ней доступ было явиться с какой-нибудь неприличной сплетней об Октавии (добродетельной и отвергнутой жене Цезаря), которую она ненавидела, или об Актее, которой она завидовала. В числе посетителей были и молодые люди, слывшие ее любовниками. Но состав этой группы так часто менялся, что никому не приходилось долго хвастаться своими успехами.

Были тут и скромные поклонники, павшие жертвой красавицы, увидав ее в амфитеатре или на улице, и добившиеся доступа в ее атриум, чтобы утолить свою страсть ее видеть. В толпе вертелись рифмоплеты с пасквилями на соперниц Поппеи, бездельники, готовые исполнять за деньги все ее поручения, продавцы духов, приворотных напитков, ядов, материй и драгоценностей, секретных средств для сохранения красоты, редкостей и тысячи других вещей.

Не каждый день Поппея показывалась своим посетителям. Иногда ей было лень одеваться, и она оставалась на ложе, пригласив к себе одного-двух наиболее

близких друзей. Рода была обязана каждое утро узнавать у раба, записывавшего гостей, их имена и докладывать своей госпоже.

На этот раз она вернулась быстрее, чем обыкновенно.

— Луций Север ушел,— сказала она,— он не мог больше дожидаться, а молодой Марк Помпоний сегодня не был.

Она говорила торопливым тоном, в котором слышалось волнение.

— Ну?— воскликнула Поппея, отлично знавшая свою служанку.

— Там обычная толпа.

— Ну?

— Ты хотела узнать свою судьбу: там пришел астролог Бабилл.

— Все они шарлатаны,— возразила Поппея, бывшая тем не менее очень суеверной.

— Бабилл предсказал, что Нерон будет императором,— сказала Рода.— Всему свету известно, что он может прочесть будущее по звездам и по линиям руки.

— Он такой же, как и все остальные,— упорствовала Поппея.

— Нет, не такой же,— бойко отвечала девушка,— он еврей.

Рода знала, что евреи пользовались благосклонностью Поппеи. В некоторых кружках, где религиозные новшества принимались как мода, иудаизм сделался почти манией. Поппея, не имевшая никакого понятия о еврейской теологии, тем не менее всегда покровительствовала им.

— Еврей,— сказала она.— Во всяком случае, он хоть позабавит меня своими рассказами. Позови его, Рода.

Она старательно закуталась в одеяло, оставив открытым только лицо. Минуту спустя Рода ввела Бабилла.

Астролог Бабилл был эфесский еврей, овладевший знаниями греков. Некоторые из его пророчеств оказались удачными, и самые проницательные римляне не могли решить, был ли он плут или фанатик, или и то и другое. Это был высокий худой старик с типичной еврейской наружностью. Узкий высокий лоб, выдававшиеся скулы, впалые морщинистые щеки, горбатый нос, большой и выразительный рот. Его всклокоченные волосы были закинуты назад, седая борода спускалась на грудь, черные глаза сверкали из-под густых бровей. По обычаю астрологов он выглядел оборванцем и не отличался

опрятностью, в чем каждого легко убеждали обоняние и зрение.

Поппея из-под своего одеяла рассматривала посетителя. Она была немного испугана его диким видом, и в то же время он казался ей смешным.

Встретив ее взгляд, астролог поклонился ей почти до земли.

— Ты и есть тот Бабилл,— сказала она,— предсказавший так много удивительных событий?

— Римляне называют меня Бабиллом,— отвечал он звучным голосом,— и мой взор может проникать в темную даль времен.

Поппея слегка вздрогнула; голос астролога произвел на нее впечатление. Она плотнее закуталась в одеяло и сказала несколько нервным тоном:

— А если бы кто-нибудь захотел узнать свою судьбу, мог ли бы ты помочь?

— Я, Бабилл,— воскликнул он,— свет темного люда, око слепцов. Дочь лилии и розы,— продолжал он искусно смягчая лестью свою решимость,— чего хочешь ты от меня?

— Предскажи мне мою судьбу,— сказала она.

— Я бы желал предсказать ее только тебе,— отвечал астролог, бросая взгляд на служанку, которая вся превратилась в слух и зрение.

— Ступай, Рода,— сказала госпожа, и девушка удалилась с видимой неохотой.

Астролог устремил пристальный взгляд на лицо Поппеи. Ей казалось, что он читал ее самые сокровенные мысли и угадывал тайные грехи, запятнавшие ее жизнь. Краска разлилась по ее лицу. Говорят, что порочные женщины не могут краснеть. Однако Поппея покраснела не хуже молоденькой девушки.

Астролог продолжал гипнотизировать ее своим неподвижным взглядом.

— Дай мне твою руку,— сказал он наконец. Она высунула из-под одеяла свою белую руку. Он повернул ее ладонью вверх и, низко наклонившись над ней, стал водить своим костлявым пальцем по розовым линиям и изгибам.

— У тебя нежная, любящая природа,— сказал он,— ты любила много и многих.

— Будущее! Будущее! — воскликнула она нетерпеливо, не замечая иронии астролога.

— Твое будущее непродолжительно,— сказал он,— непродолжительно, но славно! Многие любили тебя, многие любят тебя, и кто-то еще полюбит тебя; ты сделаешься императрицей мира... и умрешь!

Она сбросила одеяло и вскочила на ноги, забывая или не обращая внимания на свою наготу.

— Ты сказал это, еврей, и, если ты сказал правду, я дам тебе столько золота, сколько ты весишь сам. Но если ты солгал, я велю содрать с тебя кожу и набить ее соломой, в предостережение всем будущим лжецам.

XII

Ни Юдифь, ни Тит не были счастливы; причиной этого было гордое честолюбие девушки. Конечно, она была оскорблена и раздражена его службой у Актеи.

События в садике и арест центуриона пробудили Юдифь от волшебного сна. Ей было приятно его присутствие, и она знала, что ему тоже приятно находиться возле нее. Оба они отдавались увлекавшему их течению, когда признание Тита и его арест заставили Юдифь глубже заглянуть в свое сердце.

Она любила римского солдата, это было несомненно. Она готова была принять тысячу смертей за него, но в то же время знала, что скорее согласится принять тысячу смертей, чем обвенчаться с ним. Она была женщина и не могла не любить; но она была еврейка, а для еврейской девушки не было греха чернее, не было падения глубже, чем союз с язычником, служителем идолов. В первом порыве их взаимного признания у нее мелькнула надежда, что он примет еврейскую веру, но его изумление и отказ сразу показали ей, что надеяться на это нельзя. С этого момента она увидела, что пути долга и любви расходятся. Выйти за Тита значило бы оскорбить Бога; этого она не могла сделать. Она чувствовала, что ее собственная рана смертельна, но женский инстинкт подсказывал ей, что Тит, развлекаемый бесчисленными мужскими делами и хлопотами, в особенности честолюбием, может излечиться от своей страсти. С горькой нежностью она решилась ускорить его исцеление. Она знала, что, чем реже он будет ее видеть, тем скорее забудет.

Намерения Юдифи были великолепны и рассуждения довольно здравы. Она не приняла в расчет только того, что многие раны, не будучи смертельными, остаются навсегда более или менее мучительными.

Тит не имел никакого понятия о женщинах. До сих пор он был поглощен другими делами. Он не помнил своей матери, сестер у него не было. Его отец командовал легионом в отдаленной провинции. До шестнадцати лет Тит жил на попечении учителя-стоика, который взял его в Афины, научил греческому языку и вселил в его невинную душу уверенность, что на земле существует только один пол — именно мужской.

Освободившись от своего наставника, молодой человек провел два года на службе под начальством отца и отличился во многих пограничных стычках. Отец, не желая подвергать своего первенца случайностям пограничной военной жизни, достал ему место центуриона в преторианской гвардии и отправил его в Рим.

Здесь он вел очень спокойную жизнь, избегая всех искушений столицы. Подобно отцу, он чувствовал отвращение к веселому римскому обществу. Его семья была богата, а отец занимал важные государственные должности, но происхождение их было довольно сомнительно, и злые языки утверждали, что прадед Тита был купец. Может быть, этим и объяснялось то, что оба, отец и сын, держались в стороне от гордой римской знати.

Тит спокойно служил, когда случай столкнул его с Юдифью.

Он не мог объяснить себе причину странного поведения Юдифи. Она принимала его до того дня, когда он признался ей в любви; она не старалась скрывать свое участие к нему: когда он был арестован, она явилась во дворец Нерона, чтобы спасти ему жизнь,— поступок, на который решились бы очень немногие из римских женщин. Теперь, когда ее самоотвержение спасло ему жизнь, она запирала дверь перед его носом, не хотела видеться с ним. Он тщетно ломал себе голову, стараясь угадать причину этого, и с каждым днем становился мрачнее и несчастнее.

Были у него и другие причины для огорчения. Дела во дворце принимали неблагоприятный оборот. Нерон в последнее время пил почти без просыпу. Тигеллин, влияние которого было поколеблено красотой Актеи и ловкостью Сенеки, снова забрал в руки несчастного императора, который под влиянием винных паров совершал

ужасные жестокости. В то же время Тит заметил, что Цезарю начинает надоедать его любовница. Он, видимо, избегал ее и часто по целым неделям не заглядывал в ее комнату или на террасу.

Девушка сама начала беспокоиться. Она увядала, как цветок, схваченный морозом. Ее веселый смех раздавался все реже и реже, и Титу казалось, что округлая линия ее щеки перестала быть совершенной.

Сенека тоже находился в очевидном смущении. Он сильно постарел. Волосы его еще более побелели, плечи еще более сгорбились. О многих вещах, происходивших во дворце, Тит не имел никакого понятия; но по некоторым жалобам, вырвавшимся у Актеи, Тит понял, что Тигеллин грубо оскорбил Сенеку, и, когда последний пожаловался императору, Нерон с иронической любезностью посоветовал ему не придавать значения шуткам пылкого молодого человека. После этого случая Нерон перестал советоваться с Сенекой о государственных делах, и правление Империей фактически попало в руки его любимца.

Сенека часто совещался с Актеей, и всякий раз при этом лицо философа было мрачно, а по щекам Актеи катились слезы.

Однажды центурион услышал свое имя.

— Я не слишком-то доверяю ему,—говорил Сенека. Молодой человек подошел к нему и сказал:

— Я и не желаю, чтобы мне слишком доверяли. Гораздо лучше разумная недоверчивость. Однако,— прибавил он, отходя,— ты можешь доверять мне.

Сенека уныло посмотрел на него и ничего не ответил. Изменил ли он свое мнение или нет, но ни Актея, ни Сенека не говорили с Титом о своих делах.

На этих совещаниях присутствовала и Паулина, до окончания обета которой оставалось всего несколько недель. Она ежедневно приходила на террасу, и Тит угадывал по жестам ее и Сенеки, что они принуждали к чему-то девушку.

Однажды весталка, уходя с террасы и проходя мимо центуриона, сказала ему:

— Воин, помни свою клятву.

Тит встретил ее взгляд таким же гордым взглядом и спокойно ответил:

— Я помню ее.

Этот случай произвел на него впечатление, и он начал следить за совещаниями на террасе с удвоенным любопытством. Сенека, по-видимому, постоянно убеждал в чем-то девушку, и весталка обращалась к ней с гневными и нетерпеливыми жестами.

Тит решил, что Сенека и весталка задумали вернуть почти исчезнувшее влияние философа. Очевидно было, что в его жизни происходит кризис. Во дворце и даже в городе смутно чувствовали, что в управлении императора что-то меняется. Двор — самый чувствительный термометр, отмечающий малейшие перемены в расположении государя. Даже такой малонаблюдательный человек, как Тит, не мог не заметить, что люди, которые несколько месяцев назад буквально ползали перед Сенекой, теперь проходили мимо него, едва кивнув головой или даже сделав вид, что вовсе не замечают его.

Поведение самого Нерона также ясно указывало, в каком положении были дела императорского воспитателя. Одно обстоятельство в особенности показало Риму, что Сенека потерял всякий контроль над императором. Всем было известно, что Сенека и Бурр упорно противились страсти императора к музыке и цирку. Они позволяли ему играть во дворце, но не допускали выступать публично в качестве певца или наездника.

Но в последнее время началось и это. В первый раз он выступил на одном публичном празднестве в одежде певца и исполнил свою любимую пьесу — плач Андромахи. Может быть, другие певцы благоразумно удержались выказывать свои дарования, и Нерон получил лавровый венок победителя.

На следующий день он явился в цирк на Марсовом поле, обогнал других наездников и первый достиг столба среди грома рукоплесканий.

Распущенная чернь посмеивалась, разжигая его страсть своими аплодисментами, но в высших классах чувство стыда и негодования брало перевес. Оно обнаружилось бы более наглядно, если б аристократия не находила недостойного утешения в унижении Сенеки. Большинство завидовало его дарованиям, видело упрек себе в его строгой жизни и тяготилось его твердым и мудрым правлением. Эти выродки римлян потакали выходкам императора, зная, что это содействует падению Сенеки.

Тит видел, что власть Сенеки с каждым днем ускользает от него. Он знал также, что если сам философ готов

был принять свое поражение с мудрым спокойствием, то Паулина не допустит его отступить без боя. Тит догадывался, что в замышляемом ими проекте должна была играть некоторую роль Актея, а вероятно, также и он. Гречанка, очевидно, не хотела делать того, что от нее требовали; что касается центуриона, то он решил сделать для Паулины и Сенеки все, что позволяет ему долг, но ни в каком случае не вступать в заговор против жизни или власти императора.

Его сомнения разрешились и его любопытство было удовлетворено неожиданным образом. Однажды утром совещание тянулось дольше, чем обыкновенно. Актея после долгого сопротивления откинулась на ложе с жестом беспомощной покорности. Лицо Паулины приняло выражение холодного торжества, а Сенека, по-видимому, с жаром благодарил девушку.

Вскоре затем они ушли, и Актея, лицо которой, казалось, окаменело от ужаса и отчаяния, осталась одна. Она провела несколько часов в своей комнате. Наконец под вечер она вышла на террасу. Тит ужаснулся, увидев смертельную бледность и отчаянное выражение ее лица. Темные круги виднелись под глазами, которые были красны от слез. Но она осилила свою слабость и спокойно сказала Титу:

— Следуй за мной.

В большом смущении пошел он за ней по переходам дворца. Наконец она остановилась перед комнатой императора и, приказав Титу дожидаться у дверей, отдернула занавеску и вошла.

Тит слышал в комнате голоса Нерона и Тигеллина. Задуманный Сенекой план внезапно сделался ему ясен, и волосы встали дыбом на его голове. Нерон уже давно избегал девушки. Сенека и Паулина, очевидно, убедили ее, что император боится ее чар и вновь подчинится ей, если она явится к нему. Это был отчаянный и, как чувствовал Тит, бесполезный шаг. В первую минуту этот холодный расчет, приносивший жизнь этого смелого существа в жертву эгоистическим планам, вызвал в нем негодование.

Нарочно или случайно, но Актея выбрала самый неудобный, как казалось Титу, час для свидания с Нероном. Он пьянствовал со своим гнусным любимцем, и центурион каждую минуту ожидал услышать ее крик. Он решился убить Тигеллина, если тот оскорбит девушку, и

защитить ее от ярости императора, к каким бы последствиям для него самого это ни привело.

Он обнажил меч и с томительной тревогой ожидал услышать вопль Актеи о помощи. Но этого не случилось.

Когда она вошла в комнату, водворилось молчание. Актея первая заговорила. Он не мог слышать ее слов, но по звуку голоса угадал, что она упрекала Нерона и осыпала гневными словами его любимца. В конце концов она выбрала момент, но не вполне удачно. Титу казалось, что оба они оробели перед ее гневом. Поток ее негодования был прерван робкими возражениями Тигеллина, затем криками императора, которые становились все громче и громче. Наконец, Тит ясно услышал его слова; он разразился угрозами, от которых у солдата кровь леденела в жилах. Однако Актея не уступала, и голос ее, музыкальный даже в припадке гнева, сливался с дикими криками Нерона.

Внезапно император замолчал, и негодующий голос Актеи прервался хрипением. Тит бросился к занавеске. Но не успел он сделать двух шагов, как занавеска распахнулась, и появился Нерон с Актеей на руках. Лицо его посинело от бешенства, вены на лбу вздулись, налитые кровью глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит, пена струилась из разинутого рта. Он выскочил в коридор, по-видимому, не замечая Тита, поднял Актею и с ужасающим ревом бросил ее на каменный пол к ногам центуриона.

Никогда Нерон не был так близок к смерти: рука центуриона невольно замахнулась, но он удержал ее страшным усилием воли. Император скрылся за занавеской и присоединился к своему товарищу. Тит поднял бесчувственное тело девушки и отнес ее на террасу. Затем он принес воды, намочил ей лоб и лицо. Наконец сознание вернулось к ней, и она разразилась истерическими рыданиями. Тит тщетно старался утешить ее. Немного погодя она попробовала встать, но тотчас со стоном упала на ложе. Тит снова взял ее на руки и отнес в комнату.

В отчаянии и одиночестве девушка вспомнила об отверженном и осужденном на смерть Мессии, отдавшем жизнь за спасение людей.

Она попросила центуриона отыскать проповедника и привести его во дворец.

Вечером Тит привел его в ее комнату.

— Твой Господь,— сказала она,— обещал утешение

безутешным. О! Дай мне его, потому что для меня нет более утешения на земле.

Лицо проповедника просветлело, подобно лицу ангела, он наклонился над ней и сказал:

— Добрый пастырь нашел заблудшую овцу и принес ее в свое стадо.

Потом он стал на колени подле ее ложа и молился, чтобы Всемогущий ниспослал мир в ее разбитое сердце.

XIII

Актея две недели не выходила из своей комнаты. К счастью, кости ее оказались целы, но насилие Нерона и нервное напряжение сломили ее так, что она серьезно заболела.

В течение нескольких дней она лежала в бреду, и, когда Сенека и Паулина явились во дворец и вошли в ее комнату, она жалобно попросила Тита прогнать их, говоря, что это демоны, которые пришли ее мучить.

Они вышли на террасу, и центурион коротко рассказал им о том, что случилось накануне.

Сенека, глубоко потрясенный жалким видом Актеи, совершенно упал духом.

— Я хотел исполнить мой долг,— сказал он,— но кто поручится, что то, что я сделал, было действительно моим долгом? Нет надежного якоря в этом мире, мы подобны кораблям, которые носятся по волнам в темную ночь, стремясь к воображаемому маяку.

— Настоящий человек всегда найдет прибежище в высоком и благородном честолюбии,— заметила весталка с плохо скрытым гневом.

— Честолюбие! Честолюбие! — повторил он с горечью.— Хороший путеводитель, нечего сказать, если оно заставляет сильного мужчину прятаться за беззащитной девушкой.

Голос Паулины изменился от гнева.

— Что значит жизнь какой-нибудь наложницы,— сказала она,— в сравнении с благом Рима и с благом лучшего человека в Риме.

— Я не знаю, что больше весит на весах Бога,— отвечал он.

Тит молча смотрел на эту сцену, удивляясь, что такой слабый человек мог получить такую власть в Империи.

У центуриона не было никаких сомнений насчет долга. Его понятие о долге состояло в том, что воин обязан повиноваться офицеру, а офицер обязан требовать повиновения от воина.

Юношеские взгляды Тита на женщин вызывали в нем сострадание к незаслуженным страданиям Актеи и раздражение против холодной расчетливости, употреблявшей ее как орудие, которое в случае надобности может быть и сломано для достижения своих целей.

Но он никогда не думал, что такие чувства и угрызения совести могут явиться у старого государственного человека, и почти разделял нетерпеливое изумление Паулины, видя нравственное замешательство Сенеки.

Сенека долго сидел молча на ложе, где обыкновенно лежала Актея. Наконец он прервал молчание.

— Я ошибся,— сказал он,— но не из трусости. Я послал слабую девушку на битву, которую должен был дать сам. Я пойду к Цезарю и поговорю с ним. Мир не скажет, что этот юноша отбросил наставления Сенеки, как изношенную одежду. Я пойду к нему немедленно.

Он встал и хотел идти, но Паулина схватила его за руку и воскликнула:

— Не ты, не ты!

Манеры этой гордой женщины сразу изменились. Лицо ее вспыхнуло, руки слегка дрожали, глаза блуждали, голос звучал тревожной мольбой.

— Подумай,— продолжала она поспешно,— подумай обо всем, что зависит от тебя, о благе Рима, о себе самом и,— прибавила она вполголоса и с очевидным смущением,— обо мне.

Сенека медлил.

Никто другой не мог бы повлиять на него. Он знал, что его жизнь — последняя преграда власти Нерона, последний оплот Империи от крайнего расстройства.

С другой стороны, он не мог не понимать, что раз Нерон вполне освободится от его влияния, его жизнь будет иметь значение разве только для Паулины. Это соображение имело большое значение в его глазах.

Он действительно не был трусом. Трусость вообще была несвойственна тогдашним римлянам. Большинству из них постоянно приходилось видеть смерть лицом к лицу, так что они научились встречать ее без страха и с достоинством. Сенека отлично знал, что Нерон способен убить его в припадке бешенства и что если он, продолжая раздражать тирана, потеряет последние остатки сво-

его влияния, то кубок с ядом или меч скоро прервут нить его существования. Бурр, его друг и приятель, медленно разрушался от болезни, и Сенека со всем остальным Римом был уверен, что Нерон отравил его.

Неизвестно, на чем бы остановился Сенека. Вероятно, он решился бы, во всяком случае, отправиться к Нерону, так как он с полным основанием был высокого мнения о своем такте и способности убеждать.

Но, к удивлению философа и весталки. Тит перебил его, сказав:

— Я пойду к Цезарю.

— Ты,— возразил Сенека.— С какой стати?

Паулина снова схватила его за руку и поспешно сказала:

— Пусть он идет, Сенека. Он может сообщить Цезарю о состоянии Актеи; он ничем не рискует.

Тит устремил на нее свои проницательные серые глаза и сказал:

— Госпожа, если бы я имел тысячу жизней и рисковал ими всеми, ты все-таки предпочла бы, чтобы пошел я, а не твой друг.

Сенека нахмурился, услышав это откровенное заявление, и сказал:

— Конечно, ты можешь вполне безопасно говорить с Цезарем, но ты не можешь помочь мне и Актее, не подвергаясь опасности, и потом, если б ты даже пренебрег этой опасностью, то я не знаю, чем ты можешь помочь нам.

— Вспомни о Форуме, воин,— шепнула весталка.

— Не беспокойся, госпожа,— отвечал Тит,— я всегда помню мой долг относительно вас. А ты, господин, не смущайся. Я не знаю, помогу ли вам, но попытаюсь помочь. Я скажу Цезарю, что он поступает как зверь, оскорбляя тех, кто любит его, и как безумец, отталкивая своих мудрейших советников.

Когда Тит ушел, Сенека сказал задумчиво:

— Это сильное лекарство, гораздо сильнее, чем какое-либо другое; может быть, оно подействует. Но мое сердце неспокойно за этого молодого человека.

Они стояли на краю террасы, облокотившись на балюстраду. На самом краю горизонта, миль за двадцать от них, море искрилось в лучах полуденного солнца. Паулина выпрямила руку и воскликнула:

— Смотри, мир лежит у твоих ног, а ты боишься пожертвовать жизнью рабыни и неизвестного центуриона.

— Да,— отвечал он,— мир лежит у моих ног, но надо мною висит неведомое решение Бога. Я старик, Паулина, и мои дни не были проведены в праздности. В жизни каждого наступает время, когда руки слабеют, на сердце ложится тяжесть, власть и борьба не прельщают более, и человек жаждет покоя, мудрости, жизни среди любимых и близких сердцу.

— Неужели,— возразила она,— Сенека уподобится мальчику, который проклинает жизнь потому, что его юношеская любовь оказалась обманчивой? Нет, боги создали Сенеку не для того, чтобы сидеть за печкой и читать наставления жене, которая доит коров. Встань, человек, и вспомни, что всякий римлянин, исполняющий свой долг, обязывает Сенеку исполнять свой.

Сенека принадлежал к числу тех людей, которым величие достается помимо их воли. Он никогда не мечтал о власти и предпочел бы мирную сельскую жизнь среди любящей семьи, посвященную литературным занятиям. Сказать, что богатство и блистательное положение в Империи не имели в его глазах никакой цены, значило бы отрицать в нем человеческую природу. Но он часто сомневался, стоят ли все эти блага спокойствия в неизвестности. Припадки уныния случались с ним довольно часто, и Паулина, имевшая на него большое влияние в последние годы, с трудом возбуждала в нем бодрость духа, обращаясь к его чувству долга.

Они вместе оставили дворец, обсуждая шансы вернуть утраченное влияние на Нерона.

Тит между тем отправился в комнату императора. Опасная сторона этого предприятия не особенно тревожила его; инстинкт подсказывал, что Нерон ограничится самое большее тем, что пустит кубком в его физиономию. Он успокаивал себя, вспоминая, что его откровенность внушила Нерону уважение, и надеялся, что еще более рискованная откровенность, на которую он решился, тоже будет принята благосклонно. Во всяком случае, представлялась возможность до некоторой степени уплатить долг Сенеке и весталке, и он не хотел упускать эту возможность.

Однако его добрые намерения на этот раз не осуществились. Придя на половину императора, он убедился, что тот не в состоянии слушать его или кого бы то ни было. Испуганные придворные сообщили центуриону, что императором овладели фурии[21]. Припадок белой горячки, давно уже грозившей ему, разразился наконец после не-

померного пьянства предыдущей ночи, и правитель мира катался по полу своей спальни, преследуемый ужасными галлюцинациями. В припадке бешенства он чуть-чуть не задушил Тигеллина, и любимец в ужасе убежал из дворца.

Тит наскоро восстановил порядок среди испуганных рабов, вошел в комнату и благодаря своей чудовищной силе смог перенести и уложить императора на ложе. Затем он послал за Бабиллом, эфесским евреем, который одинаково славился как врач и как гадатель.

Этим поступком молодой воин нажил себе неумолимых врагов. В правлении Нерона медицинская профессия окончательно завоевала себе положение в обществе, и его лейб-медики были важными особами. Эти господа, не решавшиеся войти в комнату императора и не догадывавшиеся о причинах его припадка, горько жаловались на вмешательство Тита и еще сильнее на его распоряжение привести Бабилла.

Профессиональные врачи единодушно называли этого человека шарлатаном. Но он брался обыкновенно за такие случаи, которые они объявляли безнадежными, и вылечивал их. Общество лукаво посмеивалось, видя, что профессиональные нападки на Бабилла возрастают вместе с его успехами.

Небольшой отряд солдат с трудом защитил астролога от бешенства докторов, когда он шел по дворцу; когда же он вошел в спальню императора, главный дворцовый медик с двумя помощниками ворвался в комнату и осыпал его бранью.

Бабилл быстро обернулся, остановил врача повелительным жестом и в течение нескольких минут пристально смотрел ему в глаза. Зрачки доктора расширились, и лицо точно окаменело.

— На колени,— сказал Бабилл,— и не вставай до тех пор, пока я не прикажу тебе.

Тот отчаянно сопротивлялся, но какая-то непреодолимая сила заставила его встать на колени, и ни его собственные усилия, ни его помощников не помогали, пока Бабилл не приказал ему встать и идти. После этого случая они с ужасом убегали при встрече с ним и, переменив тактику, пробовали посылать ему отравленное вино и плоды, до которых он, разумеется, не прикасался.

Его способ лечения был очень прост и действителен: он давал императору вина, постепенно уменьшая его ко-

личество, и, кроме того, особенным образом проводил руками над лицом пациента, после чего тот засыпал.

Спустя две недели состояние Нерона значительно улучшилось. Настроение духа сделалось почти мягким. Тит решил воспользоваться этим благоприятным обстоятельством, чтобы привести в исполнение свое поручение.

Однажды вечером Нерон сидел у открытого окна своей спальни и Тит стоял подле него. Во время болезни симпатия императора к молодому человеку усилилась еще больше, и теперь он постоянно требовал его к себе.

— Актея очень медленно поправляется,— сказал Тит, неожиданно взглянув на императора.

— Актея поправляется? — повторил он.— Разве она была больна?

— Она сильно разбилась тот раз, в коридоре...

Лицо Нерона выражало полнейшее недоумение. Очевидно, он ничего не помнил. Тит смело продолжал:

— Она явилась к римскому императору, которого она любит, чтобы сказать ему, что он убивает самого себя и пренебрегает интересами государства. Он вознаградил ее заботливость тем, что бросил ее, как мешок, на мраморный пол коридора.

Лицо императора вспыхнуло гневом.

— Не забывай, что я твой император! — воскликнул он угрожающим голосом. Но спокойные глаза Тита не опустились перед гневным взглядом императора, и молодой человек отвечал холодным поклоном.

Нерон, ослабленный болезнью, вовсе не хотел ссориться с Титом. Гнев его быстро прошел, и, откинувшись на ложе, он закрыл лицо руками и простонал:

— Неужели я это сделал? Неужели я это сделал? Боги! Какой я негодяй!

Титу совестно было смотреть на его слезы. Вид плачущего императора внушал ему почти такое же отвращение, как и его зверский поступок с Актеей.

Одним из симптомов сумасшествия Нерона были внезапные, мгновенные переходы от одного настроения духа к другому. Так и теперь он неожиданно отнял руки от лица и разразился диким хохотом:

— Клянусь носом Августа,— воскликнул он,— если б я не был Цезарем, я бы постарался надавать пинков Цезарю. Схвати крапиву, и она не в состоянии будет ужалить тебя; надавай пинков императору, и он не решится трогать тебя. Ты можешь читать ему наставления, обманывать его, но пинки превосходят все.

Тит не был дипломатом, но инстинктивно угадывал, как ему держать себя с безумным императором. Там, где опытный знаток человеческой природы старался бы действовать систематически, Тит поступал не рассуждая, но его необдуманные действия всегда оказывались верными, и каждое свидание с императором только укрепляло его положение.

На замечания Нерона о пинках он отвечал благоразумным молчанием, и блуждающие мысли императора вернулись к Актее.

— Бедная малютка Актея! — пробормотал он, вытягиваясь на ложе.— Бедная греческая птичка в римской клетке! Что, ее красота сильно пострадала, солдат?

— Лицо Актеи осталось таким же, как было,— отвечал Тит.

— Это хорошо,— сказал Нерон.— Я не могу любить безобразную женщину, с тех пор как женился на такой. Ты не женат? Это очень умно. Но если вздумаешь жениться, послушайся моего совета: женись на глупой, женись на развратной, но не женись на уродке. Глупая женщина может очаровать тебя, и ты будешь счастлив, но уродливая возбудит в тебе отвращение, и ты проклянешь свою судьбу.

Отвращение Нерона к его несчастной жене, Октавии, тоже было одним из симптомов безумия: она была и добродетельна и прекрасна, но отвращение к ней раздувало его страсть к Актее.

— Бедная Актея! — повторил он опять.— Я пойду помирюсь с ней.

Он встал и, опираясь на руку центуриона, вышел из комнаты, в первый раз после припадка горячки.

Тит торжествовал в душе. Он исполнил свое обещание Сенеке и расквитался отчасти со своим долгом, так как не сомневался, что примирение к Актеей будет в то же время восстановлением прежнего влияния философа.

Актея мало-помалу оправлялась. Ее повреждения не были серьезны; главная опасность была в сильном нравственном потрясении. Она чувствовала себя оставленной всем миром, и одиночество подавляло ее. Власть и значение ускользнули из ее рук. Сенека, ее друг и советник, пал вместе с нею; оба были во власти свирепого и развратного тирана, Тигеллина. Помощи или утешения было неоткуда ждать.

В таком состоянии духа нашел ее проповедник.

Он приходил к ней ежедневно, стараясь обратить ее к Тому, Кому служил сам. Многое из его поучений падало на бесплодную почву. Пробудить в греческой девушке сознание греха, покаяния и искупления было почти невозможным делом. Учение об оправдании верой было ей также недоступно. Кое-что, однако, западало в ее сердце. Она находила утешение для своей скорби в мыслях о Боге, главными качествами которого были любовь к слабым и сострадание к несчастным. Далее она начинала смутно сознавать греховность своих отношений к Нерону и необходимость покаяния.

Когда Нерон вошел в комнату Актеи, проповедник с жаром молился, стоя на коленях подле ее ложа. Император вздрогнул в припадке ревнивого гнева.

— Кто этот человек? — вскричал он.

Тит поспешно шепнул ему:

— Это сумасшедший еврей, проповедник нового Бога.

Проповедник встал и взглянул на императора.

— Я служитель Господа,— сказал он,— и возвещаю о Нем людям.

Глухое бешенство Нерона разразилось взрывом.

— Здесь господин я,— загремел он,— и никто, кроме моих слуг, не имеет права входить сюда. Взять его! Отвести его в Мамертинскую тюрьму.

Послушный приказу императора, Тит взял проповедника за руку и вывел его к солдатам, которые отвели его в тюрьму.

Нерон, гневный, ревнивый и в то же время мучимый совестью, расхаживал взад и вперед по комнате.

Актея в тревоге и волнении лежала молча, и ее жалкое личико казалось белее мрамора на пурпурных подушках.

Вдруг император подошел к ложу, опустился на колени там же, где стоял проповедник, и прижал ее руку к своим губам.

Улыбка мелькнула на лице Актеи, затем она лишилась чувств.

XIV

С этого момента дворцовые рабы стали внимательно относиться к приказаниям Актеи, а римские интриганы пресмыкаться перед Сенекой. Мужество Тита и красота Актеи одержали полную победу. Девушка повеселела и ободрилась, Нерон снова сделался ее преданным поклонником.

До сих пор добро и зло боролись за Нерона в лице Актеи и Сенеки, с одной стороны, Тигеллина — с другой. Несмотря на природную склонность Нерона ко злу, не могло быть сомнения в исходе этой борьбы. Она была слишком неравна: представитель зла не обладал ни умом одного из своих противников, ни красотой другого. Ничтожный фаворит, находивший поддержку только в распущенности Нерона, неминуемо должен был бы пасть, если бы не нашел нового союзника, вооруженного не меньшим развратом, чем Тигеллин, большей красотой, чем Актея, большей опытностью, чем Сенека.

Пока Тигеллин должен был отступить. Император проводил утро с Актеей, день в совещаниях с Сенекой, а ночи в сравнительной трезвости. Любимец несколько раз пытался проникнуть к Нерону, но Цезарь упорно отказывался принять его и наконец дал ему понять через Сенеку, что дворец далеко не безопасное для него место. Тигеллин струсил и оставил Рим, уехав развлекаться от своих огорчений в Байю.

Но Сенека смотрел на положение дел с большим беспокойством. Сенека знал, что его власть над Нероном крайне слаба. Император показал всему Риму, как легко ему отделаться от нее. Первоначально эту власть установило и поддерживало влияние Агриппины, но оно давно миновало. Теперь его поддерживала только трудность, с какой каждый человек отделывается от детских воспоминаний и впечатлений: Нерон издавна привык доверяться Сенеке и полагаться на его суждение. Но раздражение могло порвать эту последнюю связь, и Сенека, к несчастью, довел раздражение своего питомца до этой роковой степени. Он не обманывался этим новым поворотом к лучшему. Если бы он действовал по своему усмотрению, то устранился бы от борьбы еще при первой неудаче. Но Паулина решилась вернуть его власть при помощи Тита и Актеи. Благодаря ничтожеству Тигеллина ее интрига удалась, и Сенека нехотя занял свое прежнее положение во главе Рима. Но он понимал, что его значение зависит от власти Актеи над императором, и предвидел, что появление более красивой и хитрой женщины поведет к его окончательной гибели.

Даже теперь его положение возбуждало в нем сильное негодование. Нерон злорадно тащил его с собой в цирк и театр, где он должен был стоять и аплодировать, пока римский император потешал чернь. Это было оскор-

бительно и горько для Сенеки, но, как истинный философ, он старался делать что мог теми средствами, которые попадались под руку. Он не был непреклонным стоиком-патриотом, готовым разбить себе лоб о стену, но не отступить. Он видел границы возможного и не пытался переступить их. Он употреблял остаток своей власти на пользу Рима и готовился спокойно встретить свою участь, когда это влияние исчезнет.

Актея тоже с беспокойством ожидала будущее. Влияние проповедника сказалось на ней, и она чувствовала, что не может уже стать тем, кем была, пока не познала нового Бога.

Сенека однажды заметил при ней:

— Большая разница между тем, кто свободен от греха, потому что не хочет грешить, и тем, кто свободен от греха, потому что не может грешить.

Проповедник сказал ей как-то:

— Если б я не был у тебя и не говорил с тобой, ты не была бы виновна в своем грехе, но теперь для него нет извинения.

Ее положение угнетало ее все более и более, Актея жила согласно своей природе и не испытывала никаких сомнений или угрызений совести, пока христианское понятие о долге не омрачило ее веселости.

Проповедник говорил ей, что продолжать связь с Нероном значит оскорблять Господа. Это свидетельствовало о его искренности, потому что он лучше всякого другого понимал, какую поддержку его религии могла оказать Актея — самое могущественное лицо в доме Цезаря. Тем не менее он всеми силами старался доказать девушке греховность ее жизни.

Это отчасти и удалось.

Актее стало ясно презрительное отношение к ней. Она увидела, что даже ее огромное значение во дворце не может создать почетное положение в обществе, что даже ее власть над жизнью и смертью людей не могла удержать злые языки от насмешек. Теперь ей все сделалось ясно, и она затосковала и забеспокоилась. Она была точно ребенок, который в первый раз узнал, что существует нечто, называемое долгом, и что требования долга сильнее природного влечения. И, подобно ребенку, она нуждалась в советах строгого, но любящего отца.

Нерон видел, что Актея уже не прежний резвый мотылек. Он находился в это время под влиянием сильней-

шего прилива страсти к ней. Он беспрестанно упрекал себя за свой зверский поступок с нею и обещал ей все, что только в силах исполнить человек и император, лишь бы она веселилась по-прежнему.

Он всеми силами старался угадать причину ее грусти. Некоторые ее отрывочные замечания заставили его думать, что ей хочется быть императрицей не только на деле, но и по имени. Это не могло смущать его, так как он давно уже развелся с Октавией и не раз, под влиянием своей безумной страсти, собирался жениться на Актее.

Он сообщил об этом Сенеке, сердце которого невольно дрогнуло от радости, так как женитьба императора на Актее избавляла его от многих опасностей. Но его понятия о благе и чести Рима противились этому; и он не хотел покупать личную безопасность такой ценой. Римляне еще не привыкли воздавать императорские почести рабыням и наложницам.

— Актея достойна величайших почестей,— сказал он,— но Цезарь может жениться только на женщине благородного происхождения.

Никогда еще Нерон не испытывал такого прилива злобы против Сенеки. Но он и не думал отказываться от своего намерения. Он отвернулся, решив жениться на Актее и убить Сенеку.

В тот же день вечером он явился во дворец пьяный. С ним были сенаторы Клювий Руф и Кассий Лонгин. Вместе с ними он вошел в комнату Актеи. Как только они переступили через порог, он воскликнул:

— Приветствуйте римскую императрицу!

Даже раболепные сенаторы пробормотали:

— Рабыня не может быть императрицей.

— Клювий,— загремел Нерон,— ты отказываешься от своей дочери от первого брака? Кассий, ты вздумаешь утверждать, что не знал этой тайны?

Сенаторы с изумлением смотрели на него.

— Если вы дорожите жизнью,— продолжал он,— клянитесь бессмертными богами: ты, что она твоя дочь, ты же, что был ее воспитателем.

Сенаторы, дрожа от бешенства, негодования и страха, поклялись торжественной клятвой и приветствовали изумленную Актею как римскую императрицу.

Кровь бросилась Актее в лицо, она гордо подняла голову, а Цезарь стал на колени у ее ног.

Но Актея вдруг закрыла лицо руками.

— Чего желает римская императрица от своего преданного раба? — спросил Нерон, стоя перед ней на коленях.

— Неправда, я не императрица,— отвечала она.

— Как? — воскликнул он, вскакивая.— Как не императрица? Разве я не Цезарь? Разве я не могу жениться, на ком хочу?

— Нет,— отвечала она,— я не благородного происхождения, и твои свидетели дали ложную клятву. Мой отец не римский сенатор. Я дочь пастуха, и клятвы целого мира не в силах облагородить меня.

Но эти слова только укрепили решение Нерона. История, которую он придумал главным образом для того, чтобы унизить Клювия Руфа, начинала казаться правдоподобной ему самому.

Император сел рядом с Актеей и объяснил ей со всеми подробностями, что она дочь Клювия от тайного брака с Лоллией Паулиной, соперницей Агриппины. После смерти Мессалины, когда Актея была еще младенцем, Лоллия рассчитывала сделаться императрицей. Опасаясь, что ее тайна будет открыта и послужит препятствием для ее честолюбивых планов, она поручила Кассию Лонгину отвести девочку в Самос. Там она была усыновлена пастухом и воспитывалась как его дочь.

Нерон обладал удивительно живым воображением. Он выдумал эту историю тут же, не сходя с места, и чем дальше рассказывал ее, тем ярче рисовались ее детали и тем сильнее он сам начинал верить в свою выдумку.

Он рассказал, что Лоллия уже была близка к достижению своей цели, когда Агриппине удалось разведать ее тайну и разрушить планы соперницы. Она рассказала о ребенке Сенеке, и они вытребовали ее из Самоса в Рим. Этот ребенок и была Актея. В заключение Нерон прибавил, что полюбил ее с первого взгляда и решился при первом удобном случае жениться на ней и сделать ее римской императрицей.

Актея понимала, что вся эта история создана пылким воображением Нерона, но он рассказывал так увлеченно, с такими подробностями, что она растерялась.

На следующий день она рассказала всю историю Сенеке, и он сказал ей, что все это выдумка от начала до конца, и предостерег ее от несбыточных надежд. По его словам, жениться на ней Нерону значило потерять престол и жизнь, и он просил ее ради собственного блага

противодействовать намерениям императора. Это испытание было выше ее сил. Власть, почет, прочное положение были в ее руках; тайный стыд и унижение, терзавшие ее женское сердце, могли исчезнуть; перед ней открывалась жизнь, полная блеска и славы — и от всего этого надо было отказаться во имя долга. Ее сердце жаждало утешения и сожаления. Жизненные моральные правила Сенеки, как бы они ни были хороши, его политические советы, как бы они ни были мудры, не помогали ей. Хотелось услышать проникающий в душу голос проповедника. Но он был заключен в Мамертинскую тюрьму. Тогда она вспомнила обещание его Господа, о котором говорил проповедник: «Я всегда буду среди вас». В отчаянии она стала молиться этому неведомому Утешителю, чтобы Он помог ей и укрепил ее.

Известие о намерениях императора быстро распространилось в Риме. Нерон сообщал всем, что намерен окончательно развестись с Октавией, жениться на Актее, благородной дочери Клювия Руфа, и провозгласить ее императрицей. Он даже говорил наиболее преданным членам сената, что намерен потребовать, чтобы сенат постановил воздать ей божеские почести при жизни.

И когда одни римляне, узнав о решении Нерона, предались необузданному веселью, другие были вне себя от гнева и стыда. Многие открыто говорили о кинжале Брута. Раздавались угрозы, которые немедленно доходили до ушей Нерона, и то один, то другой из римлян расплачивался жизнью за свою неосторожность.

Известие о планах Нерона в дом Поппеи принес Петроний. Он узнал об этом от самого Цезаря и успел сложить эпиграмму, пока шел по Целийскому холму.

Когда он вошел, Поппея была окружена толпой поклонников. Веселый молодой поэт был встречен радостными криками и при хохоте толпы рассказал о последнем скандале, украсив его не вполне приличными подробностями.

Взбешенная Поппея вышла из атриума и велела Роде отыскать и привести астролога Бабилла. Вскоре он был приведен на Целийский холм.

Бабилл чувствовал себя не совсем спокойно. Свое пророчество о том, что Поппея станет императрицей, он произнес после разговора с Родой, от которой выпытал подробности о прежней жизни ее госпожи и о ее планах на будущее. Теперь он боялся, что счастье ему изменило.

Поппея встретила его гневными криками и повторила свою угрозу содрать с него кожу для острастки всем гадателям.

Мужество Бабилла, однако, не изменило ему; он привык к женскому гневу. Он без труда успокаивал Поппею своим властным взглядом. Потом ответил на ее гнев упреками на недостаток веры и бездеятельность.

— Небо,— сказал он,— отнимает свои дары у ленивых и отдает их тем, кто работает ради них. Пророчество истинно, и от тебя самой зависит исполнить свое высокое назначение.

Поппея позволила себя убедить и отпустила его. Бабилл внушил ей новую мысль, и после его ухода она долго обдумывала ее.

Вечером, когда Отон, ее муж, вернулся домой с какой-то оргии, он был удивлен, застав ее в своей комнате. После нескольких шутливых слов, прерываемых ласками, она осторожно намекнула ему, что желает, чтобы он дал обед в честь Цезаря.

Отон, беспечный, легкомысленный и тщеславный, сразу согласился, хотя отлично понимал цель супруги.

XV

Сенека находился в затруднительном положении. Нерон не на шутку готовился развестись с Октавией и жениться на Актее, и старый философ сознавал, что Рим приписывает ему этот брак. Он хорошо знал о намерениях римлян, окружавших Тразею, об их стремлении восстановить древнюю олигархию и чувствовал, что сумасбродство Нерона привлечет на их сторону лучшую часть римского населения и значительную часть легионов. По его мнению, предполагаемый брак должен был до такой степени увеличить силы недовольных, что падение Нерона и уничтожение императорской власти становилось неизбежным.

Но Цезарь словно обезумел. Он и слышать не хотел об этих соображениях.

Он всегда доходил в своих увлечениях до крайностей. Начиная пить, он пил без просыпу; пускаясь в ночные похождения, доходил до величайших скандалов. Теперь его увлечение Актеей приняло такой же безумный характер. Он проводил целые дни у ног Актеи, играя ее

всером, или отправлялся вместе с нею в носилках, оказывая ей знаки самого раболепного почтения на глазах всего Рима.

Все старания Сенеки отклонить его от задуманного плана были безуспешны.

Однажды утром Тит находился на террасе, когда Нерон вышел из дворца и занял обычное место у ног Актеи. Тит уже и не прислушивался к словам Нерона — он говорил почти одно и то же, уверял в своей безграничной страсти, просил Актею повелевать ее преданнейшим рабом и клялся, что имена Актеи и Нерона заменят имена Пенелопы и Улисса как выражение супружеской верности. Потом, со свойственной ему быстротой перехода от одного к другому, он начинал проклинать препятствия их браку, проклинать Октавию, законников, сенат.

Неожиданно он достал из складок своей тоги какую-то маленькую свинцовую куклу и поставил ее перед собой со знаками величайшего почтения.

Тит с любопытством стал следить за ним. Нерон окружил фигурку венком из роз, вылил перед нею кубок вина, потом стал горячо молиться своей покровительнице, прося устранить препятствия, разъединяющие его с Актеей, и избавить их обоих от козней злоумышленников.

Окончив молитву, он тщательно спрятал фигурку в тогу, уверяя Актею, что это самая могущественная богиня в мире, благосклонная к нему лично. Тут же он прибавил, что Актея не должна ревновать, потому что его чувство к богине никогда не заходило дальше почтения и благодарности.

Тит едва удерживался от смеха. По-своему он тоже был суеверен. Он верил, например, что Юдифь может читать судьбу по звездам, но искать поддержки у свинцовой куклы казалось ему забавной глупостью.

На следующий день он рассказал Сенеке об этом случае.

Он думал, что философ рассмеется, но Сенека внимательно выслушал его и пробормотал вполголоса:

— Не помогут ли нам авгуры? [22]

Тит не понял.

— Что же они могут сделать? — спросил Тит.

— Объявить, что боги не благоприятствуют этому браку,— отвечал Сенека, который теперь вполне доверял молодому человеку.

— Цезарь намекнет вам о своих желаниях, и все предсказания будут благоприятны; если же нет, то авгуров можно только пожалеть,— сказал Тит.

Сенека закусил губы в замешательстве, так как понимал, что центурион говорит правду.

Тит никогда не забывал о своем обещании быть другом философа и при всем своем уважении к Актее считал, что Сенека был прав и императору нельзя брать в жены наложницу.

— Нельзя ли добиться чего-нибудь при помощи астролога, например, Бабилла? — спросил он.

— Этого еврейского шарлатана? — отвечал Сенека, нетерпимо относившийся ко всякому шарлатанству.

Тит растолковал Сенеке, что астролог уже приобрел доверие Нерона, вылечив его от белой горячки. Он напомнил ему также о молве, ходившей в Риме, будто Бабилл предсказал Нерону императорский сан, когда тот еще был заброшенным ребенком в доме Лепида, под надзором цирюльника и актера, и имел столько же шансов сделаться императором, как любой уличный мальчишка.

Авгуры были официальными гадателями и получали жалованье; оставив без внимания намеки императора, они рисковали местом и жизнью. Но если бы удалось привлечь к этому делу Бабилла, он мог бы, воздействуя на императора, отклонить его от задуманного брака.

Сенека решился попытать счастья и сказал Титу:

— Пришли ко мне этого еврея и расхвали его императору, как сумеешь.

Тит послал к Бабиллу раба с приказанием явиться к Сенеке, а сам пошел на террасу, где находились Актея и Нерон.

Нерон поздоровался с ним; молодой человек почтительно осведомился о здоровье императора.

— Благодаря этому лекарю чувствую себя отлично,— сказал Нерон.

— Бабилл — удивительный человек,— сказал Тит,— он не только может вырвать человека из когтей смерти, но, говорят, его глаза читают в сердце людей, его уши слышат тайные мысли, его дух проникает в далекое будущее.

— Наш честный воин становится красноречивым,— засмеялся Нерон.

Тит покраснел, чувствуя, что выдает себя.

— Бабилл,— сказал он,— предсказал артисту Менекроту победу на состязании.

— Ну, это мог бы предсказать всякий,— заметил Нерон,— зная, что я не буду участвовать в состязании. Но и мне хотелось бы расспросить его кое о чем. Приведи его ночью, когда звезды засияют на небе. Если он ответит мне на мой вопрос, я осыплю его золотом, если же нет...— И от забавной мысли, внезапно пришедшей в голову, Нерон рассмеялся.

Тем временем Бабилл явился к Сенеке, который принял его в библиотеке.

Замечательный контраст представляли эти два человека: один — аристократ, представитель культуры, с мягким, задумчивым лицом, повелительными манерами, изящно одетый; другой — типичный выходец с Востока, со смешным выражением хитрости и фанатизма на лице, резкими еврейскими чертами и в грязных лохмотьях.

С минуту они пытливо смотрели друг на друга, наконец Бабилл опустил глаза.

Оба молчали: Сенека — задумчиво, Бабилл — в терпеливой выжидательной позе.

Сенека первый прервал молчание.

— Тебе, может быть, неизвестно,— сказал он,— что я скромный адепт вавилонской и халдейской мудрости.

Он указал на лежавшую перед ним древнюю рукопись.

Бабилл поклонился; лицо его оставалось бесстрастным.

— Да,— продолжал старый философ,— я обратил мои слабые и близорукие глаза к небу и разобрал грамоту судьбы.

Астролог по-прежнему молчал.

Сенека продолжал несколько торопливым тоном.

— Всему Риму известно, что блистательный Цезарь хочет вступить в брак. Звезды сказали мне, что судьба решила иначе. Можешь ли ты, с твоими великими знаниями, сказать мне, правильно ли я прочел ее решение?

При всем своем самообладании Бабилл не мог подавить радости, осветившей на мгновение его лицо. Он отвечал своим звучным голосом:

— Могущественный советник царей, правая рука по-

велителя легионов, твои глаза подобны глазам орла, которых не может ослепить полуденное солнце; тебе открыты тайны времен. Да, ты прав и трижды прав: судьба не благоприятствует желаниям блистательного Цезаря.

Каждый из них был до некоторой степени обманут другим. Бабилл не мог не догадаться, зачем он потребовался Сенеке, а Сенека был смущен радостью, мелькнувшей на лице астролога, когда он упомянул о неблагосклонности судьбы к браку Цезаря.

— Я рад,— сказал Сенека,— что мое предвидение подтвердилось таким глубоким исследователем тайн. Может быть, Цезарь пожелает выслушать твое предостережение.

— Если Цезарь удостоит выслушать своего раба,— отвечал Бабилл,— я объявлю ему решение судьбы.

— Смотри же, еврей, не объявляй ничего другого,— строго сказал Сенека.— Звезды сказали мне, что Цезарь пришлет за тобой, и если ты будешь говорить с ним благоразумно, наградит тебя золотом и почестями; если же ты неосторожно разоблачишь тайны своего искусства, тебя постигнут бич и крест. Уверен ли ты, еврей, что звезды сказали истину?

Астролог слегка вздрогнул и пристально посмотрел на Сенеку.

— Да, уверен,— отвечал он.

Сенека протянул ему кошелек с золотыми монетами.

— Возьми это маленькое вознаграждение за твои усердные труды на пользу истины.

Астролог спрятал кошелек в складках своей туники и, поклонившись почти до земли, вышел.

Сенека сел и задумался. Он был недоволен собой. Притворство с астрологом было неприятно для него; гордость его возмущалась необходимостью прибегать к таким средствам. Но он видел, что положение безнадежное, и принимал отчаянные меры. Сенека чувствовал, что это последняя ставка и очень ненадежная. Как бы то ни было, он решился сыграть до конца.

Вечер был ясный и безлунный. Высоко вверху сверкала Лира, и мощные члены Геркулеса обвивали гибкие извивы Змеи. Налево и впереди, низко над горизонтом, медленно опускался Скорпион, преследуемый Стрелком. Немного правее Медведица величественно совершала

свой бег вокруг Полярной Звезды. Небо озарялось бесчисленными солнцами, системами и планетами, смотревшими вниз на маленькую Землю своими неподвижными очами. Они заглядывали в окна Мамертинской тюрьмы, где лежал в цепях проповедник, и искрились в драгоценных камнях, украшавших тогу Нерона. Нежные голоса, говорившие на неведомом языке, наполняли Вселенную.

Но император и астролог были глухи к голосам звезд, а в ушах Тита они звучали только как невнятный ропот.

Когда Бабилл вступил на террасу, на ней царствовала тишина. Лицо Нерона смутно рисовалось во мраке; астролог бросился ниц перед его ложем.

— Встань, встань! — резко сказал император, потому что даже худший из римлян чувствовал отвращение к восточному раболепию.

Бабилл встал и произнес дрожащим от притворного или действительного страха голосом:

— Властитель мира желает узнать свою судьбу от своего раба?

Нерон злобно засмеялся:

— Ошибаешься, еврей, властитель мира желает знать, что готовит судьба тебе, прежде чем кончится этот день.

Бабилл вздрогнул; он понял, что император готовит ему что-то недоброе. Обратившись к звездам, он поднял руку и как бы углубился в чтение звезд.

Нерон откинулся на ложе и продолжал злобно улыбаться.

Внезапно Бабилл начал дрожать всеми членами, и полусдавленный крик вырвался из его груди. Он бросился на колени перед Нероном.

— Ну,— спросил Нерон,— что же сказали тебе звезды?

— О я несчастный! — воскликнул астролог.— Горе мне! Лучше бы мать моя не родила меня на свет, потому что я вижу перед собой пытки и смерть, угрожающие мне в эту же ночь, и только ты, могущественный Цезарь, можешь избавить своего несчастного раба.

— Клянусь носом Августа,— воскликнул Нерон (это была его любимая клятва),— клянусь носом Августа, он прав. Я отдал приказание схватить его, когда он будет выходить из дворца, подвергнуть бичеванию, а потом отрубить ему голову. Ну, ты спас свою шкуру. еврей.

Затем, обратившись к Гиту, он прибавил:

— Эти звездочеты в самом деле могут кое-что узнать.

— Теперь,— продолжал он, обращаясь к еврею,— скажи мне что-нибудь о моей судьбе.

— Я скажу тебе,— начал астролог, возвращаясь к своей обычной полутеатральной манере,— о том, что тебе больше всего хочется знать.

— Ага! — воскликнул император.— О чем же это?..

— О женщине, на которой ты женишься.

— Какой вздор! — воскликнул Нерон.— Я женюсь на Актее и знаю это без твоих прорицаний.

— Цезарь,— отвечал астролог,— ты женишься на той, которую укажет тебе небо.

Глаза его засверкали, высокая фигура, казалось, еще выросла, он протянул вперед руки и запел монотонным голосом:

Предки ее были могучи в битвах, мудры в совете;
Стройны, как кедр, были жены ее народа.
Она прекраснее всех женщин, она как роза в душистом саду.
Она жена знатного мужа, которому суждено быть императором,
Она будет твоей женой, повелитель римлян, так решила судьба!

Песня Бабилла окончилась торжественным возгласом, и он остановился.

— Должно быть, удивительная женщина,— сказал Нерон.— А как ее имя?

— Это скрыто от моих глаз,— отвечал астролог, не желавший выпускать все свои стрелы разом.

— Но я должен знать ее мужа, который будет императором,— сказал Нерон.

Бабилл придумал это предсказание, чтобы сильнее затронуть любопытство Цезаря, возбудив в нем опасения.

— Терпение,— отвечал он,— близок час, когда тайные вещи откроются. Но,— прибавил он, видя, что лицо Нерона омрачилось,— я могу предсказать тебе многое другое.

Он снова устремил взгляд в небо и вдруг задрожал всем телом.

— А! — воскликнул он уже размеренным тоном, каким предсказывал женитьбу Нерона.— Я вижу щит, меч и битву. Стены Сиона крепки, но голод сильнее их. Воины Господа смелы, но враги подавляют их числом. Огонь пожирает храм Господень, и стоны моего народа наполняют мир.

Он устремил свои дикие глаза на слушателей и воскликнул:

— Я говорю вам: здесь тот, в чьих руках победа, кто вступит на священный холм и будет царствовать со славой и могуществом.

Тит стоял позади ложа Нерона.

— Это я,— сказал император,

— Ты! — воскликнул Бабилл.

Тот, кого обагрит кровь его матери,
Будет царствовать, последний Цезарь.

Астролог упал без чувств.

— Не понимаю, что он хотел сказать,— заметил Нерон.— Но что бы ни говорили звезды или он сам, я все равно женюсь на Актее.

КНИГА ВТОРАЯ

Часть III

ПОППЕЯ

XVI

— Сегодня я буду обедать у Сильвия Отона,— сказал Нерон Актее через несколько дней после разговора с Бабиллом.

— Тебе хочется увидеть Поппею? — отвечала она с некоторой досадой.

Нерон засмеялся.

— Что за ревнивое существо женщина! Эта Поппея — жена Отона и подруга всех римских волокит. И ты боишься, что она отобьет императора у маленькой Актеи?

— Бесстыдная тварь! — воскликнула она с гнезом, какой почти всегда чувствует женщина, только оступившаяся и слегка забрызгавшая платье на скользком пути, к погрузившейся в грязь по уши.

Стремление дурачить других никогда не оставляло Нерона; прослыть за проказника было приятным для него; он повернулся к Актее с лукавой усмешкой и воскликнул:

— Поппея считается прекраснейшей женщиной в Италии...

— Считается — дураками,— возразила девушка.— Умнейшего из вас нетрудно свести с ума, стоит только

запастись улыбкой, баночкой притираний и духами. Разве кто-нибудь из вас знает, что Поппея каждый день сидит по четыре часа в ванне, чтобы уменьшить свою тучность, что она красится каждое утро, что ее глаза блестят из-за вина, что у нее два передних зуба фальшивые.

— Почему ты говоришь, что они фальшивые? — спросил Нерон.

— Потому что видела золотые проволоки, на которых они держатся,— отвечала она,— только мужчина мог не заметить их.

— Я заметил только хорошенькие губки, за которыми они скрываются,— сказал Нерон.

— Губки, которые могли быть хорошенькими десять лет тому назад! — воскликнула Актея с негодованием.— Но губы, торгующие своими поцелуями, скоро распухают.

Девушка надула свои действительно хорошенькие губки, и Нерон, радуясь, что подразнил ее, и желая помириться, поцеловал их.

— Погоди, маленькая Актея,— сказал он,— когда ты будешь императрицей, ты сошлешь Поппею с ее фальшивыми зубами в Пондоторию, а то и к Плутону, если тебе это больше нравится.

Актея вздрогнула и покачала головой. Она не верила в возможность задуманного Нероном брака. Но она жила в сладком сне наяву и не хотела пробуждаться раньше времени. Ни разу с тех пор, как Сенека и Бурр ввели ее во дворец, Нерон не был таким рассудительным и ласковым. Болезнь отрезвила его. Но Актея не была счастлива. Ее детская веселость исчезла после того, как она познакомилась с проповедником. До тех пор она с жаром отдавалась порывам своей натуры, теперь боялась и обдумывала каждое слово, каждое действие. Она многого не понимала, многому не верила из того, что говорил проповедник, но уже чувствовала смутно, что люди ответственны в своих поступках перед Богом и собственной совестью. Муки самосознания, без которых семена христианской веры не в силах пробить твердую почву человеческого сердца, терзали гречанку Актею.

Сенека чувствовал себя еще хуже. Он достиг преклонных лет: глаза его были утомлены ярким блеском мира, уши оглушены его непрестанным гулом. Утехи честолюбия и роскоши не прельщали его, он пресытился ими до тошноты. Золотой телец и власть быстрее всех наших приманок утомляют мудрого человека. Сенека добился осуществления грез своей юности; он управлял миром и

убедился: как наука прежде всего открывает человеку его невежество, так и власть прежде всего показывает ему его бессилие. Находясь на высоте, он мог лучше видеть нужды государства, чем люди, толпившиеся у его ног, на равнине, и яснее, чем они, понять невозможность удовлетворить эти нужды. Как бы ни возрастали могущество и богатство государства, потребности людей растут еще быстрее. Ему не раз случалось видеть, как парфянские стрелки показывали свое удивительное искусство, и порой ему казалось, что он тоже стрелок, ежедневно упражняющийся в стрельбе; но чем точнее он прицеливался, тем более ослабевала тетива. По натуре он был скорее мыслитель, чем деятель, и часто мечтал о тихой, спокойной жизни среди книг.

Оба — Сенека и Актея — чуяли близость катастрофы, и оба, утомленные борьбой, примирились с ее неизбежностью, когда Нерон отправился на обед к Сильвию Отону.

Этот молодой патриций был одним из самых беспутных в шайке, окружавшей Нерона. Он был гораздо моложе Поппеи, которая обворожила его своей красотой, когда была еще женой Христина Руфа. Ей тоже понравился молодой Адонис. Их страсть отличалась бурным характером, пока они были любовниками, и начала ослабевать только после их свадьбы.

Поппея первая почувствовала разочарование и вовсе не желала скрывать своих чувств. Тогда и Отон заметил, что его иллюзии тоже рассеялись. Он женился на бесстыдной женщине, которая даже не старалась обманывать его — ее неверность была очевидна. Муж и жена разошлись; он предался веселой придворной жизни, она окружила себя свитой поклонников и любовников.

Когда Поппея предложила ему дать обед Цезарю, Отон сразу раскусил ее тайные мысли и невольно почувствовал уважение к ее мужеству.

Отон решился помочь ее планам, руководствуясь философией, характерной не только для римских мужей. Он знал, что рано или поздно она оставит его, и полагал, что и для них обоих будет выгодно, если она оставит его для Нерона.

Он начал при всяком удобном случае расхваливать ее перед Нероном: иногда повторял остроумные замечания, ею сказанные; другой раз прославлял ее красоту или приятный характер.

— Какая вы парочка! — пошутил Нерон, которому надоело слушать похвалы этой образцовой супруге.

Но Отону доставляло истинное удовольствие хвалить Поппею. Он все более и более восхищался ее прелестями, и друзья начинали подсмеиваться над ним, слушая дифирамбы женщине, о чьей репутации хорошо знали в Риме.

Поппея каждый день напоминала мужу об обещанном обеде, но он всякий раз увертывался под каким-нибудь предлогом.

Наконец ее просьбы, упреки и угрозы взяли свое, и Отон пригласил Цезаря к обеду.

Молодой человек сам удивлялся своему отвращению. Только после того, как приглашение было сделано и принято, он понял, почему ему так противно. Он, муж Поппеи Сабины, ревновал. Это было несомненно. В течение многих лет он относился к поведению жены с полнейшим равнодушием. Их взаимная страсть угасла; ему представлялась возможность отделаться от недостойной женщины, и вот по какой-то иронии судьбы он воспылал смешной ревностью.

Он возвращался домой на Целийский холм, терзаясь невыразимым волнением.

Поппея была одна в своей комнате, когда он вошел. Не глядя на нее, он сказал, что император удостоит их дом своим посещением.

Поппея поблагодарила его. Тогда он потерял самообладание. Глубокий крик — не то стон, не то ругательство — вырвался из его губ; он бросил на ее прекрасное лицо взгляд, горевший страстью, схватил ее, прижал к груди и осыпал поцелуями.

Поппея слегка вспыхнула, грудь ее поднялась и опустилась, и слабая улыбка тронула углы губ. Но это было чувство гордости. Она видела у своих ног много людей; но все это были или пошлая молодежь, или одуревшие старики; мудрено ли, что они не могли устоять перед обаянием прекраснейшей женщины в Италии.

Но это был ее муж, знавший о ее неверности, относившийся к ней в течение многих лет с презрением, и он-то воспылал страстью при мысли, что она бросает его.

К несчастному Отону она не чувствовала никакого сожаления.

Она вырвалась из его объятий, дала ему несколько советов относительно устройства пира и ушла,

Наконец наступил достопамятный день, когда императорские носилки явились на Целийском холме. Отон принял Нерона с горделивой вежливостью, характеризовавшей отношения патрициев к императору.

Рим не признавал божественного права; Цезарь считался таким же, как и всякий благородный гражданин, и римляне, почтительно признавая авторитет и достоинство его сана, в частной жизни относились к нему как к равному. Даже Нерону никогда не приходило в голову, что он, как римский гражданин, сколько-нибудь выше своего друга Сильвия Отона, потому что ему удалось сделаться императором.

Несколько молодых товарищей императора вышли ему навстречу.

Нерон с некоторым любопытством ожидал появления Поппеи. Он видел ее только издали в амфитеатре. Он не старался встретиться с нею, так как вообще избегал знатных дам с сомнительной репутацией, может быть, потому, что хорошо изучил их в лице своей матери.

Компания весело болтала и смеялась шуткам поэта Петрония, бывшего среди приглашенных.

Обеденный зал был с большими окнами, сквозь которые виднелись прекрасные фонтаны и деревья в саду Отона. Вокруг стола стояли три великолепно убранных ложа: одно на верхнем конце и два по бокам. На каждом могли поместиться трое людей. Нерон занял почетное место на правом конце верхнего ложа, Отон должен был сесть на переднем конце ложа по правую руку от стола. Но к удивлению императора, хозяин с очевидным смущением и нехотя занял место рядом с ним на переднем конце стола — место, которое позднее обычай предписывал занимать хозяину дома.

Гости уселись, рабы уже подали воду в серебряных тазах, когда занавесь перед дверью отдернулась, и явилась Поппея в сопровождении Роды. Она была одета с изысканной простотой. Только один огромный сапфир красовался в ее волосах. На ней была тонкая белая туника, а поверх нее прекрасная шелковая накидка.

Отон взглянул на нее с удивлением, а Нерон вспыхнул при виде накидки из тирского пурпура, который могли носить только Цезари, ревниво охранявшие эту привилегию. Всем присутствовавшим было известно, что одна из прекраснейших женщин в Риме несколько дней тому назад решилась явиться в амфитеатре в такой же накидке и Нерон без церемоний сорвал ее с плеч.

Одежда Поппеи была вызовом, да и все ее обращение имело вызывающий характер, когда она заняла свободное место, на котором должен был сидеть ее муж. Обыкновенно женщины сидели за столом, но Поппея, в первый раз открыто пренебрегая общественными приличиями, облокотилась на локоть по обычаю мужчин, а служанка покрыла ее ноги богатым покрывалом.

Нерон сдался с первого приступа. Все, что он слышал о ее красоте и чарах, далеко уступало действительности. Он пожирал ее взглядом, тогда как она играла краем накидки, как бы поддразнивая его и желая, чтобы он гневным взглядом приказал ей снять запрещенную одежду.

Но Нерон был далек от мысли об этом.

— Царица любви,— сказал он,— почтила Цезаря, надев его пурпур.

Потом, подняв кубок с вином и слегка поклонившись Поппее, он воскликнул:

— Пью за царицу любви!

Все радостно подхватили тост, за столом зашумели. И лишь Отон сидел хмурый, с полным кубком перед собой.

— Как, Отон! — насмешливо воскликнул Нерон.— Ты не принимаешь моего тоста?

— Нет,—резко отвечал супруг,— я пью за царицу любви!

Он осушил кубок и разбил драгоценный хрусталь об пол.

Выражение детского удовольствия мелькнуло на лице Поппеи. Волнение Отона доставляло ей наслаждение. Она подумала, что он, пожалуй, решится на самоубийство из любви к ней, и глаза ее переходили от Нерона к мужу с выражением невинной радости.

Встретив огненный взгляд Нерона, Поппея слегка отвернула голову, что дало ей возможность принять новую и еще более восхитительную позу.

В жилах Нерона недаром текла кровь двенадцати знатных поколений; несмотря на свое безумие и распущенность, он знал, как держать себя в обществе и поддерживать учтивый разговор с дамой.

Обед уже заканчивался, прежде чем красавица успела вступить в настоящую борьбу со своим восхищенным противником. Поднося к губам кубок с вином, она сказала:

— Позволю себе поздравить Цезаря с предстоящим браком.

— Браком? — удивился он.— Каким браком?

— С Актеей, благородной дочерью сенатора Клювия Руфа, воспитанной пастухом в Самосе,— отвечала Поппея самым сладким тоном.

— Как,— воскликнул Нерон,— ты слышала о глупой истории, которую задумала распространить эта гречанка? Нахальство греческих женщин невозможно описать.

— В особенности когда они христианки,— прибавила она вполголоса.

— Христианки? Что это такое? — спросил Нерон, никогда не слыхавший о новой вере.

— Христианство — суеверие, распространенное среди худшей части евреев,— отвечала она,— говорят, что христиане придерживаются самых возмутительных обычаев и что к ним принадлежит много развратных женщин.

Поппея Сабина говорила об этом с видимым отвращением.

— Клянусь богами,— воскликнул Нерон,— я встретил однажды у нее какого-то старого еврея и отправил его в Мамертинскую тюрьму.

— Без сомнения, какой-нибудь священник этой нелепой секты,— сказала она.

Нерон покраснел от гнева и беспокойно заворочался на своем ложе.

Поппея поняла, что сделала ошибку, возбудив его ревность. Пока мужчина ревнует, он не может быть равнодушным.

Нерон собирался уйти, но Поппея постаралась укротить его ласковыми взглядами.

— Я знаю, что ты никогда не женишься на рабыне,— прошептала она.

— Почему ты так думаешь? — спросил Нерон, который и сам не был уверен в этом.

— Я прочла это по звездам.

— Странно,— заметил он,— мне говорил то же самое один астролог.

— О,— воскликнула она,— астрология — вздор.

— Нет,— твердо ответил Нерон.— Бабилл предсказал мне многое верно. Притом я и сам гадатель. Дай мне твою руку.

Он наклонился к ней, и Поппея, приподнявшись на ложе, протянула ему руку. Он схватил ее и дрожащими пальцами стал ощупывать вены до самого локтя. Он молчал, но лицо его говорило яснее всяких слов.

Поппея отняла у него руку и встала. Нерон схватил вышитый край ее накидки и прошептал:

— Царица любви! Сегодня ты носишь этот пурпур по праву красоты, завтра будешь носить его по праву сана.

Невыразимая гордость блеснула в серых глазах Поппеи, и она оставила комнату.

XVII

Услышав от самого Нерона рассказ о банкете у Сильвия Отона и похвалы Поппее, Сенека решил про себя, что наконец-то тигр нашел свою тигрицу.

— Что за глаза, Сенека! — восклицал влюбленный император.— Они просто сжигают. А голос! Точно флейта. А черты лица! Боги! Какое совершенство. Ты знаешь, Сенека, красота — моя пища и питье, я преклоняюсь перед ней.

Сенека вздохнул; он чувствовал, что приближается ураган, который должен погубить его.

— Ах, Цезарь! — сказал он неохотно.— Лучше бы ты поменьше любил красоту и побольше доброту.

— Нет, я тебя поймаю! — воскликнул Нерон, который был на этот раз в отличном расположении духа.— Вы, философы, слишком положительный народ. Я утверждаю, что красота есть по крайней мере лучшее дитя доброты. Что такое добродетель? Симметрия духа. А красота? Симметрия тела. Но вряд ли найдутся двое людей, согласных в том, что такое симметрия духа. Стоики говорят одно, эпикурейцы — другое, Платон — третье, Аристотель — четвертое; ты, мой достойный учитель, соглашаешься отчасти со всеми ними и ни с кем вполне; а большинство людей ничего не знают да и не хотят знать об этих вещах. Теперь обратимся к симметрии тела. Каждый, у кого есть глаза на лбу, может видеть и оценить ее, насчет нее не возникает никаких сомнений, она вдохновляет поэтов и музыкантов; она сохраняется для нас и художниками, и скульпторами, и богами, которые наделяют ею своих любимцев; она всегда с нами. Тогда как твоя симметрия духа существует только в воображении философов, которые выдумали ее, чтобы сбивать с толку простых людей. Поэтому, превосходный Сенека, я утверждаю, что лучше служить красоте, чем добродетели.

Нерон вообще не любил длинных рассуждений и не решался спорить с Сенекой. Его неожиданная речь служила для философа лишним доказательством того, что ученик освободился от влияния учителя. Несколько месяцев тому назад Сенека отвечал бы ему целой лекцией. Теперь он только покачал головой, заметив:

— Всякая добродетель — красота, но плохой логик тот, кто вздумает утверждать обратное. Цикута красива, но не годится для еды, женщина...

— Ба! — шутливо воскликнул Нерон.— Что ты знаешь о женщинах, старый философ? — На этом разговор и кончился.

Вскоре еще более тяжкий удар обрушился на Сенеку. Его верный друг, Бурр, скончался, отравленный, как все говорили, императором. Нерон никогда не любил и никогда не боялся его. Положение старого солдата было гораздо опаснее, чем положение Сенеки, потому что Цезарь до сих пор сохранил уважение к своему старому наставнику, и что еще важнее, в его противоречивой натуре привязанность к философу уживалась рядом с ненавистью. Смерть Бурра была во многих отношениях невыгодна для Сенеки. Бурр командовал преторианской гвардией и был, может быть, самым могущественным лицом в Империи. Его войско было предано ему, и, пока он был жив, Сенека чувствовал, что его значение опирается, по крайней мере до известной степени, на прочном основании.

Но в самый день смерти Бурра Нерон вызвал Тигеллина из Баи и поручил ему освободившееся место.

Это было сделано по совету Поппеи, тщеславие которой требовало унижения Сенеки. Теперь она часто появлялась во дворце и прогуливалась с Нероном по террасе. Иногда она заставала здесь Актею, одинокую и покинутую, сидевшую на своем обычном месте.

Тогда Поппея, бросив презрительный взгляд на девушку, говорила:

— Цезарь, прикажи своей рабыне уйти; я хочу поговорить с тобой о делах.

И Нерон беспрекословно говорил:

— Ступай в свою комнату, девушка, мы желаем остаться одни.

Гречанка Актея не могла соперничать с римской дамой. Тайный голос всегда подсказывал ей, что мечты о счастье и величии должны рассеяться, и она уступала

Поппее ее добычу без всякого сопротивления. Она тихонько уходила в свою комнату, и тут странные мысли о Боге, о долге и раскаянии волновали ее бедную маленькую головку, пока детский сон не смыкал ее усталых глаз и целебный бальзам забвения умиротворял ее истерзанное сердце. В доме, где ее слово когда-то было законом, она значила теперь меньше, чем последняя судомойка. Со времени обеда у Отона Нерон ни разу не заходил к ней, не говорил ей ни слова, за исключением тех случаев, когда Поппея приказывала прогнать ее с террасы. Только Сенека остался неизменным и относился к ней так же дружелюбно и ласково, как в лучшие дни. Но он не мог оказать ей большой поддержки, так как он сам утратил влияние. Даже жизнь его находилась в опасности, потому что Тигеллин в присутствии императора, который теперь не останавливал приятеля, клялся скоро убить Сенеку.

Старого философа поддерживала его гордость. Он знал, что грубость Тигеллина и жестокость Поппеи в конце концов одержат верх, но решился встретить смерть лицом к лицу.

Он хотел противопоставить всю свою силу и искусство убеждения красоте и честолюбию Поппеи.

Уходя однажды после грустного разговора с Актеей, он застал Нерона и его новую возлюбленную на террасе. Нерон встретил его очень любезно и сообщил о своем намерении развестись с женой, устроить развод Сильвия Отона, который будет отправлен в почетную ссылку в провинцию, и, наконец, жениться на прекрасной женщине, сидевшей возле него.

На этот раз благоразумие изменило Сенеке. Обыкновенно он сохранял полное спокойствие и самообладание, но теперь не выдержал и дал волю своему гневу. Нерона он оставил в покое, ограничившись замечанием, что от Энобарба и Агриппины только Нерон и мог родиться, но гнев его вылился главным образом на Поппею.

Сенека умел язвить женщинам. Его ирония колола подобно игле и всегда попадала в самые больные места.

Посторонний человек, слушая его разговор с Поппеей, мог бы сказать, что он выкалывал на ее лбу слово «развратница» и потом натирал больное место солью. Он упрекал ее в пороках, которые она всеми силами скрывала, и игнорировал те, которые она выставляла напоказ. Он даже преувеличил ее возраст, называя ее старухой,

истощенной страстями и продолжавшей развратничать только из любви к пороку.

Цезарь глядел на него, разинув рот от изумления. Он был слишком удивлен, чтобы рассердиться. Сенека не раз читал ему нотации, но никогда еще не разносил его. Поппея сидела, посинев от бешенства, дрожа от злобы и онемев от стыда.

Впрочем, волнение никогда не лишало ее присутствия духа, и, когда Сенека ушел, она не замедлила обратить его гнев в свою пользу. Опытная в искусстве одурачивать людей, она бросилась к ногам Нерона и, заливаясь слезами, просила его оставить всякую мысль об их женитьбе.

Этой ловкой выходки было бы достаточно, чтобы укрепить решение Нерона, если бы даже оно поколебалось. Он разразился гневной тирадой, и, размахивая руками, требовал у окружающих предметов ответить ему: император он или нет? Может он жениться на прекраснейшей женщине в мире, если это ему угодно, или нет? Имеет он право казнить наглого старого педанта, осмелившегося оскорбить его нареченную невесту, или нет?

Поппея, продолжая плакать и обнимать его колени, умоляла его успокоиться и сжалиться над несчастной женщиной. Она говорила, что «любит его больше жизни», но более дорожит его славой и величием. Она знает, что поплатится жизнью, если выйдет за него, и с радостью согласилась бы на такую плату. Но их брак угрожает опасностью его жизни и престолу, и она не может купить счастье такой ценой. Сенека не только решился убить ее, как сейчас старался убить ее репутацию; он строит козни и против Нерона, чтобы самому завладеть императорским саном. Коварная женщина кончила свою речь просьбой выслать ее из Рима к Отону.

Как она и рассчитывала, слова ее только распалили бешенство Нерона. Он вырвался из ее рук с такой силой, что она упала ничком. Изрыгая проклятия, он заметался, как зверь, по террасе; и она, лежа на полу и видя его неистовство, с ужасом подумала о своей судьбе.

Выйдя из дворца, Сенека пошел к Паулине. Весталка уже оставила свое служение в храме со смешанным чувством сожаления и радости. Свобода, которую она получила, была приятна, но потеря власти и сана наполняла сердце горечью. Еще более беспокоило ее равнодушие Сенеки. Теперь у нее не было предлога, чтобы по-

сещать дворец, где она ежедневно в течение нескольких лет встречалась с ним. Старый сановник сам потерял друга, но, поглощенный государственными делами и дворцовыми интригами, еще ни разу не собрался навестить ее.

Паулина была удивлена и оскорблена и нередко с неудовольствием смотрела в зеркало на свое красивое лицо и отворачивалась, вздыхая и пожимая плечами.

Когда Сенека явился к Паулине, она встретила его очень сдержанно. Он был старик, а в старости люди теряют способность замечать перемены в настроении других людей. Но он был также опытный царедворец и всегда разбирался в выражении лиц и голосах своих собеседников.

При первом взгляде на Паулину Сенека понял, что она сердится за то, что он так долго не появлялся.

Чувства Сенеки к этой женщине соответствовали его возрасту. Он был очень привязан к ней, но уже давно пережил любовный пыл и страсть. Для него любить не значило дрожать в смутном ожидании, мечтать о поцелуях, жаждать физической близости. Его любовь была возвышенной и благородной, любовью ради любви. Это была любовь к товарищу и помощнику — спокойная, сильная и прочная; и тот, кто любит такой любовью, не станет забывать дела ради пустых приличий. Чувства же Паулины были несколько иного рода. Это была женщина в цвете лет, жившая до сих пор сдержанно и целомудренно. Вместе со свободой у нее явилось желание любви. Она полюбила Сенеку, несмотря на его старость, и самые блестящие франты Рима не могли бы поколебать ее привязанность. Главным в ее любви было честолюбие. Но хотя ее любовь поддерживалась гордостью, а чувство не имело ничего общего с простыми чувствами обыкновенной женщины,— она все-таки жаждала со стороны своего возлюбленного доказательств любви, которой она так долго была лишена. Она принадлежала к лучшему типу римских женщин — целомудренная, гордая, твердая, смелая и самоуверенная — и все же была истинной женщиной, бессознательно требовавшей обожания.

Сенека видел ее насквозь и сожалел, что позабыл о громадном различии между женской и мужской дружбой. Он обратился к ней с улыбкой:

— Прости, Паулина, в последнее время у меня были неприятности. Я пришел наконец за советом к единственному другу, который у меня остался.

Кровь прихлынула к ее щекам, она положила свою руку на его.

— Да,— продолжал он,— бремя становится слишком тяжело для моих старых плеч, и я решил переложить часть его на тебя.

Она еще больше покраснела.

— Кто же в целом мире с такой радостью разделит твои огорчения и опасности, как я?

— Никто! Я знаю это,— отвечал он.— Это-то и не позволяло мне до сих пор огорчать твою новую жизнь моими затруднениями. Всегда хочется доставить радость, а не горе тому, кого... любишь.

Он произнес эти последние слова с особенным выражением.

Лицо Паулины просветлело; она крепко пожала его руку.

— Какими глупцами могут быть мудрые люди!— воскликнула она.— Неужели ты не видишь, что твой успех всегда радует, твоя неудача всегда огорчает меня, но сильнее всего я огорчаюсь, когда ты забываешь обо мне и перестаешь делиться со мной своими затруднениями и горестями.

Он, в свою очередь, пожал ей руку.

— Итак, если ты хочешь остаться другом того, кто осужден на гибель, слушай.

И он рассказал, как Поппея втерлась во дворец, а Тигеллин сделался начальником преторианцев.

— Это в самом деле скверно,— сказала она.— С самодурством Нерона мы можем справиться, рабов и вольноотпущенных можем сделать своими орудиями, но Поппея!..

Она помолчала, потом продолжала задумчиво:

— Сенека, неужели ты думаешь, что мир позволит управлять собой таким чудовищам? Неужели не наступит час, когда люди поднимутся против их низости и жестокости и скажут: «Мы, римляне, управляющие миром, лучше развратниц, воспеваемых поэтами, благороднее грязной шайки, окружающей Цезаря». Добродетель не исчезает с лица земли лишь потому, что Нерон распутничает на Палатине.

Сенека горько засмеялся.

— Ты, римлянка, говоришь такое! Твои слова очень красивы и вызвали бы рукоплескания в доме Тразеи.

— Я говорю их наедине с Сенекой, а не в зале Тразеи,— сказала она.

Он продолжал, не обращая внимания:

— Да, это звучные и громкие слова, но они будут заглушены радостными криками, когда император станет раздавать деньги легионам или хлеб черни. Добродетель всегда была и будет в мире. Но толпа старается только набить брюхо и потешить свою глупость, и тогда даже идиот может управлять ею.

— А мудрец и подавно! — воскликнула она.— Стыдись, Сенека! Трус неповинен в своей трусости, но, когда смелый человек разыгрывает роль труса, ему нет извинения. Разве не на тебе сосредоточиваются надежды лучших римлян?

— Нет,— отвечал он,— большинство лучших римлян не доверяют мне и не любят меня. Я убедился, что хорошие люди чаще заблуждаются, чем дурные. Если бы добрые желания шли рука об руку с мудростью и благоразумием, золотой век скоро вернулся бы на землю.

— И если бы мудрость всегда шла рука об руку с решимостью,— сказала она,— Сенека не отклонился бы от своего долга. Не таков был дух наших отцов, свергавших тиранов народа, который вырвал свои права из их рук. Брут не проповедовал, когда потребовались удары...

— Мир сделался старее,— сказал он грустно,— я тоже состарился, притом я пережил стоицизм и энтузиазм вместе с моей юностью. Я никогда не пытался переделать мир по своему вкусу, но старался только делать то, что считал наилучшим. Немногое удалось мне исполнить, да и нельзя было исполнить много; но я делал все, что было в моих силах, и теперь, когда моя задача кончена, единственный друг, остающийся у меня, осыпает меня упреками.

Ее гнев и раздражение исчезли, и, повинуясь непреодолимому порыву, она встала и поцеловала его в лоб. Он потянул ее за руку и усадил рядом с собой. Она прошептала:

— Мужайся, мужайся! Подумай, какой позор, какое пятно для римской чести — правление этого безумца! Неужели история скажет: «Сенека был слугой Нерона». Собери вокруг себя истинных римлян, свергни его и царствуй сам на счастье и славу мира.

— Мечты, Паулина, безумные мечты! — отвечал он.— Бог, создавший мир, может все изменить, но не человек. Не мир безумен и развратен потому, что Нерон царствует, а Нерон царствует потому, что мир безумен и

развратен! Если бы я и мог свергнуть его и сделал это, Рим остался бы таким же, как прежде! Да и история вместо того, чтобы благословить меня, прокляла бы безумство старика, вздумавшего наполнить мир смятением. Он будет свергнут — это несомненно, потому что порок и безумие не могут устоять против жадности и честолюбия; но это будет сделано не ради тех целей и стремлений, о которых ты мечтаешь. Наше общество подобно строительству храма, для которого каждый приносит свой камень, и какой бы огромный камень ни принес тот или другой, он не может изменить общего плана.

Паулина молчала, а он продолжал:

— Что касается меня, то я желал бы окончить остаток дней моих в мире. Завтра я пойду к Цезарю и попрошу позволения удалиться в мою виллу, к моим книгам.

Помолчав, он прибавил:

— Если б я царствовал на Палатине, я просил бы Паулину разделить со мной мой венец, но...

— Я пробудилась,— воскликнула она,— я не грежу больше. Я не желаю ничего другого, как разделить твою участь: все равно, в величии или в изгнании, в богатстве или в бедности. Я грезила о величии, но только для тебя...

Нежная улыбка осветила лицо Сенеки, и он поцеловал Паулину.

— Так ты находишь сладким такое старое яблоко? Правда, ты снова делаешь меня молодым.

XVIII

Забыл ли Тит о Юдифи? Быть может, он и сам затруднился бы ответить на этот вопрос. Без сомнения, в глубине его сердца до сих пор шевелились подавленное чувство и оскорбленная гордость. Но Юдифь оказалась права: рана Тита не была неизлечима. Никогда римлянин не умирал от любви. Грек утопил бы свое горе в вине, галл или германец прибегли бы к самоубийству, а римлянин утешался немногими философскими афоризмами и усерднее, чем когда-либо, предавался своему делу.

Центурион, находясь в доме Цезаря, был поглощен исполнением своих обязанностей. Служить Цезарю было нелегким делом. Причуды Цезаря и фантазии Актеи не позволяли Титу думать о чем-нибудь другом.

Но смерть Бурра существенно изменила его положение. Тигеллин, ненавидевший Тита всей душой, сделался его начальником. Попав снова в милость, любимец стал нахальнее и злее, чем когда-либо. Он запрещал Титу являться к императору и насмешливо приказывал ему сторожить покинутую гречанку.

Положение Тита сделалось и неприятным и опасным; он знал, что Тигеллин не преминет отделаться от него, если представится случай. Тогда его мысли снова вернулись к Юдифи. Он начал упрекать себя в равнодушии. Но раскаяться было легче, чем поправить дело.

Не он бросил Юдифь, а она отреклась от него, и он чувствовал, что всякая попытка с его стороны к возобновлению прежних отношений кончится неудачей. До сих пор он любил ее и только ее, а гордость, так же, как и страсть, не позволяет молодому человеку забыть о женщине, которая впервые затронула его сердце.

Тит решился еще раз повидаться с Юдифью. После многих колебаний, опасаясь нового отказа, он собрал все свое мужество и решился под вечер отправиться к ней в дом.

Он шел по коридору дворца, как вдруг услышал звуки голосов, смеха и криков.

Он ускорил шаги, зная, что с возвращением Тигеллина во дворце возобновились прежние безумные потехи и совершалось много такого, что ему вовсе не хотелось видеть. Он не мог предотвратить эти оргии и чувствовал, что присутствовать на них человеку, не умеющему скрыть своего отвращения, не совсем безопасно.

Он спешил уйти, но шум позади него все приближался. Наконец Тит остановился и обернулся как раз в ту минуту, когда толпа молодых людей выбежала из бокового коридора и устремилась на него.

Солдат тотчас увидел, в чем дело. У каждого из бежавших было по тяжелому бичу, а впереди группы находился мальчик лет двенадцати или четырнадцати, летевший со всех ног, стараясь спастись от ударов, которыми угощали его молодые люди. Он был раздет догола, кровь струилась по его спине и его жалобные крики тонули в смехе и восклицаниях толпы.

Нерон и Тигеллин забавлялись охотой. Это была новая забава, изобретенная начальником преторианской гвардии и доставлявшая Цезарю много радости. Было уже устроено несколько прекрасных погонь, но однажды роль дичи должна была играть девочка-рабыня. Пробе-

жав несколько шагов и получив с дюжину ударов, она упала без чувств и ничто не могло вернуть ей сознание. Нерон рассердился и, не желая расставаться с новой забавой, выразил намерение заставить служить дичью самого Тигеллина. Испуганный любимец к следующему разу решил выбрать здорового и проворного мальчика.

На этот раз успех превзошел всякие ожидания. Мальчик бегал целые четверть часа, прежде чем выбрался в коридор, где стоял Тит. Он великолепно увертывался и бросался в стороны, и крики его, когда бичи падали на его спину, приводили в восторг охотников, которые задыхались от смеха. Мальчик, за которым гнались с бичами, одуревший, бросился к Титу и обвил его колени.

Толпа охотников взмахнула бичами, и коридор огласился звуками ударов и криками: «Вставай, собака!», «Беги!», «Спасайся!»

Тит, как мы уже не раз могли убедиться, не обладал мгновенной сообразительностью, и нередко случалось, что его кулаки начинали действовать прежде, чем обдумывала голова. Проворные руки солдата уже вырвали бич у ближайшего из молодых людей, отвесили ему два здоровых удара, переломили рукоятку бича и швырнули его в сторону, прежде чем Тит подумал, что же делать.

Молодой человек, не кто иной, как Тигеллин, бросился в толпу товарищей со стоном и ругательствами. Взрыв смеха огласил коридор, и бичи обратились от мальчика к его защитнику скорее ради шутки, чем серьезно. Но Тит не понимал подобных шуток, и, если бы нападающие не были пьяны, они могли бы догадаться, что это столкновение угрожает кончиться для них вовсе не забавно. Но они крутились вокруг солдата, угрожая ему бичами.

Кровь прихлынула к лицу Тита; его серые глаза засверкали необычным блеском и брови нахмурились. Бичи щелкали под самым носом у солдата. Наконец один из молодых людей подскочил к нему вплотную.

Тит поднял свой здоровенный кулак и с размаху опустил его на физиономию нападающего. Тот опрокинулся точно от удара катапульты, сбил с ног одного из своих товарищей и растянулся без чувств на полу.

На минуту воцарилось молчание, потом смех заменился криками бешенства. Бичи подняты уже не на шутку и удары посыпались на центуриона. Он окончательно вышел из себя и, оттолкнув мальчика, который все еще цеплялся за его колени, бросился вперед. Охотники инстинктивно отшатнулись. В одно мгновение он поймал

несколько бичей, вырвал их, в следующее мгновение схватил ближайшего из нападающих и отвестил ему пару оплеух. Борьба происходила в полутемном коридоре, и Тит не мог различить лиц. В эту минуту явились двое рабов с факелами. Тигеллин, благоразумно державшийся позади толпы, бросил бич и выхватил кинжал.

— Изменник! — заревел он.— Убейте, убейте его!

Более десятка кинжалов устремились на Тита, и бешеная толпа стала напирать на него. Несмотря на свою чудовищную силу, он видел, что дело плохо: руки его уже были оцарапаны во многих местах, когда он отражал удары, и он чувствовал, что неравный бой скоро кончится.

Но когда он уже считал себя погибшим, громкое восклицание вырвалось из уст человека, стоявшего позади толпы, и он с силой, лишь немного уступавшей силе солдата, пробился в первые ряды и остановился перед центурионом. У Тита опустились руки: он узнал императора.

Нерон повернулся к своим товарищам и воскликнул:

— Это человек, который поколотил Цезаря!

— Убейте его! — подхватил Тигеллин.— Он поколотил нашего божественного Цезаря!

Крики «Убейте его!» снова огласили коридор, и кинжалы засверкали при свете факелов. Центурион прошептал имя Юдифи и наклонил голову.

Но между ним и толпой стоял Нерон, и, когда Тигеллин, подстрекаемый вином и ненавистью, пробился вперед с кинжалом в руке, император воскликнул громовым голосом:

— Негодяй! Разве я не сказал, что он поколотил меня и что всякий, кто дотронется до него, умрет?

Жестом, не лишенным достоинства, он положил руку на плечо Тита и сказал своим ошеломленным спутникам:

— Человек, который осмелился поколотить Цезаря,— друг Цезаря.

Сам Тит стоял в смущении, не зная, что ему делать и говорить.

Цезарь, продолжая опираться на плечо центуриона, выражая этим свою глубокую симпатию к нему, и в то же время поддерживая свою нетрезвую особу, окончательно раскис. Хмель его усиливался; он обнял храброго воина и проговорил сквозь слезы:

— Бравый молодец! Поколотил Цезаря!

Некоторые из его друзей сочли долгом уронить слезу сочувствия; другие благоразумно сдерживали смех.

Продолжая опираться на Тита, он направился в свои апартаменты, сопровождаемый оставшимися охотниками.

Пока толпа медленно двигалась по коридору, Нерон наставительным тоном рассуждал о жестокости. Подражая совершенству, хотя, вероятно, бессознательно, манеры и стиля Сенеки, он распространялся о вреде жестокости и выгодах милосердия. Он говорил, что безумный и кровожадный правитель, вроде Калигулы, велел бы убить Тита за его дерзость, но мудрый и снисходительный Цезарь, вроде Нерона, простил бы его. Он напомнил слушателям, что во времена Августа Люций Циппа был уличен в заговоре против императора. Что же сделал мудрый правитель? Он послал за Циппой и в течение двух часов читал ему увещание — наказание, которое, впрочем, стоит распятия, прибавил Нерон, вздыхая. Зато с этого дня Циппа сделался верным другом Августа.

Вот так же и Тит, помилованный Цезарем, несмотря на то, что осмелился поколотить императора, всегда останется его преданным другом и слугой.

К концу разговора язык Нерона начал все более и более заплетаться, а походка становилась все менее и менее твердой. Тит вздохнул свободно, когда они добрались до спальни Цезаря и властитель мира в изнеможении свалился на ложе.

Но у Нерона бывали проблески проницательности, которые не могли заглушить ни пьянство, ни безумие.

Когда толпа собиралась оставить комнату, император неожиданно приподнялся.

— Стой! — крикнул он и устремил пристальный взгляд на Тигеллина. Как ни пьян он был, но по лицу любимца угадал о его намерении отделаться от центуриона.

Действительно, Тигеллин, терзаясь завистью и злобой, решился заколоть Тита, как только Нерон уснет. Император, почувствовав его намерения, велел Титу оставаться всю ночь в прихожей, а Тигеллину — оставить дворец и не являться, пока не позовут.

Тит вторично был спасен, но его намерение повидаться с Юдифью не осуществилось.

На следующее утро Нерон проснулся с жестокой головной болью. День начался для него неудачей; любимый раб, всегда прислуживавший императору, пролил на него воду из рукомойника. Нерон схватил тяжелый кувшин и ударил раба по голове. И голова и кувшин

сильно попортились. Поэтому он вышел на террасу, где уже дожидалась Поппея Сабина в сквернейшем настроении духа.

Этой женщине, так щедро одаренной всеми прелестями, недоставало такта. Она не умела, подобно Актее, разгонять хандру Нерона. Часто, когда он был в хорошем расположении духа, неосторожные замечания будили в нем дремавшие страсти; когда же он был расстроен, она нередко окончательно приводила его в бешенство. Актея думала только об удовольствии Цезаря, Поппея же только о своем.

Оскорбительные слова Сенеки не давали ей покоя. Она давно мечтала сделаться императрицей, но сейчас даже это желание было заглушено жаждой отомстить Сенеке. Изо дня в день она старалась внушить императору, уже и без того готовому верить всяким наветам на Сенеку, подозрение в честности старого министра.

Нападение Сенеки на Поппею было его величайшей ошибкой. Оно превратило почтительный страх Нерона к своему наставнику в страх, проистекавший из ненависти, и сам Сенека лучше всякого другого видел последствия своей ошибки. В это самое утро, когда Поппея старалась настроить Нерона против старого сановника, Сенека шел во дворец, намереваясь просить отставки.

Когда он входил на террасу, Поппея держала за руку Цезаря и говорила вполголоса:

— Конечно, мне бы хотелось стать женой моего Цезаря, но еще более мне хочется видеть его в безопасности, а главная опасность, по моему мнению, заключается в Сенеке.

В это мгновение Сенека очутился перед ними. Поппея покраснела, так как не знала, слышал он ее или нет. Она тщетно старалась угадать это по его лицу, продолжая держать за руку императора.

Нерон довольно грубо освободил руку и встал.

Сенека со своим обычным достоинством поклонился императору.

— Мне нужно поговорить с тобой о частных делах.

Он даже не взглянул на Поппею, на лице которой ясно отражались смущение, ненависть и страх. Нерон понял, что речь идет о важном деле.

Нерон опустил глаза. В эту минуту ему хотелось своими руками убить Сенеку, и Сенека знал это. Но сила министра и на этот раз восторжествовала. Нерон спросил нерешительным и беспокойным тоном:

— О чем ты хочешь говорить со мной?

— О деле, которое касается только нас двоих,— твердо отвечал Сенека.

— Оставь нас,— сказал Нерон Поппее, и она отошла на другой конец террасы со слезами бешенства и унижения.

— Я пришел просить о милости,— сказал Сенека после непродолжительной паузы.— Я провел много лет на службе моему Цезарю и моей стране, теперь я старик; моя сила превратилась в слабость, и я желал бы прожить в мире остаток моей жизни. Позволь мне, Цезарь, удалиться из Рима, на мою виллу и там, среди моих книг. провести немногие остающиеся для меня дни.

— Невозможно, дорогой мой Сенека,— воскликнул Нерон самым сердечным тоном,— я не могу допустить, чтобы ты жил в деревне одинокий и всеми покинутый.

— Я не буду одинок,— отвечал Сенека с видимой неохотой,— я намерен жениться.

— Ого! — воскликнул Нерон.— На ком?

— На бывшей весталке Паулине,— отвечал старик.

— Счастливая женщина,— насмешливо заметил Нерон,— у нее будет очень старый и очень богатый супруг.

— Я хотел также просить о другой милости,— поспешно прибавил Сенека.— Ты знаешь, что я никогда не стремился к богатствам, которыми твоя щедрость осыпала меня. Я не расточал их на самоугождение и не собирал из низкой скупости. Я только не хотел отказываться от твоих даров. Возьми их обратно и отпусти меня с миром.

— Ну, старый философ! Ты решительно сошел с ума,— воскликнул Нерон.— Восхвалять бедность — это я понимаю, но самому сделаться бедным!..

— Да, я восхвалял бедность, оставаясь богатым,— отвечал Сенека,— но богатство никогда не имело значения в моей жизни. Я убедился, что добродетель и счастье не зависят ни от богатства, ни от власти. Оставь мне только приют и кусок хлеба — и отпусти меня.

Нерон, при всей слабости своего рассудка, был отличным актером. Он горячо обнял старика и воскликнул:

— И не думай! И не думай об этом, друг мой!

— Прошу тебя, позволь мне уйти,— настаивал Сенека.

— Полно, полно,— отвечал император, снова обнимая его.— Ты сегодня расстроен и бредишь. Что будет

без тебя со мной и с Римом? Нет, нет, Сенека, я не могу отпустить тебя.

Огорченный неудачей и томимый злыми предчувствиями, Сенека ушел, а Нерон, подойдя к Поппее, шепнул ей на ухо:

— Глупец! Он не отделается от меня так легко.

XIX

Благоразумие Сенеки на время устранило опасности, которыми грозила хитрость Нерона. Женившись на Паулине — причем даже римские остряки не решались издеваться над чистотой этого союза,— он резко изменил свой образ жизни. Прежде его окружали пышность и великолепие, и на это-то обстоятельство намекал Нерон, говоря о различии между восхвалением бедности и действительной бедностью. Впрочем, личная жизнь его всегда отличалась скромностью; но, интересуясь человечеством и его делами, он не жалел денег, чтобы привлечь к себе замечательнейшие умы эпохи. Его атриум, куда стекались посетители со всех концов света, отличался великолепием, но спальня была проста и даже бедна. Пиры его превосходили все, что могло придумать плодотворное воображение Петрония, но сам он почти ничего не ел, кроме овощей, и пил только воду. Он был министром и самым могущественным человеком в государстве и понимал, что его место и власть требуют величия. Он знал, что истинная философия повелевает человеку быть счастливым и в шелку и в лохмотьях. Величайший римский стоик случайно сделался императором и поэтому одевался в пурпур и носил лавровый венок, хотя как философ находил, что богатство, власть и все вообще внешнее не могут ни увеличить, ни уменьшить счастье человека. То же думал и Сенека: он ценил образование и утонченность, которые достигаются при помощи богатства, но относился к ним как к случайностям, которые могут являться и исчезать, не изменяя человека. В письмах к своему другу Люцилию он нередко сообщал, что устроил свою жизнь таким образом, чтобы быть счастливым при всяких условиях, как в богатстве, так и в бедности. Он не молился ни о бедности, ни о богатстве, а только о нравственном усовершенствовании, и считал кощунством обращаться к божеству с просьбами о жалких мелочах земного существования.

Теперь ему предстояло доказать искренность своих убеждений. Он знал, что главная опасность для него и его жены — потому что, писал он, их жизнь слилась воедино — коренится в его богатстве и высоком положении. Два эти обстоятельства разжигали зависть его врагов и подозрительность императора. Он разочаровался в своих надеждах найти безопасность в уединении, так как не верил в ласковые слова императора, зная, что ненависть Поппеи и жестокость ее любовника осудили его на смерть.

В его положении истинный стоик продолжал бы идти своим путем, высокомерно отказываясь внести какие-нибудь изменения в свой образ жизни.

Но Сенека считал, что человек должен беречь свою жизнь не до тех пор, пока этого хочет, а до тех пор, пока ему велит долг.

Главным мотивом его деятельности был долг, а не гордость.

Он спокойно отказался от всякого внешнего великолепия и блеска, распустил свою многочисленную свиту и толпу служителей и, ссылаясь на припадок лихорадки, запер свой дворец и переселился с Паулиной на виллу в Номентануме, в нескольких милях от Рима. Тут он провел счастливейший период своей жизни, работая в винограднике, читая книги, переписываясь с друзьями и наслаждаясь обществом своей благородной жены.

Он не боялся за себя, но беспокоился за участь Паулины после его смерти. Впрочем, он тщательно скрывал свои опасения и всегда являлся перед ней и знакомыми с веселым лицом. Перемена в его жизни возбуждала в Риме большое удивление, еще больше насмешек. Остряки прохаживались насчет старого философа, который женился на молодой женщине и убежал из Рима, опасаясь за свою жизнь.

Но это нисколько не смущало его. Как все сильные люди, он относился с глубочайшим презрением к зубоскальству и обвинениям в трусости. В течение своей карьеры он каждый день встречал больше опасности, чем эти насмешники за всю свою жизнь, и убедился, что смелость без благоразумия только особый вид трусости.

Паулина, расставшись с честолюбивыми грезами, тоже нашла полное удовлетворение в обществе мужа. Не было более приятного дома, чем вилла Сенеки в Номентануме.

Нерон на время оставил в покое Сенеку, занятый проектами брака с Поппеей. Это дело было связано с некоторыми затруднениями, так как в Риме даже при худших императорах тщательно соблюдались законные формы. Самые возмутительные вещи делались все же с соблюдением известной установленной законом процедуры.

Нерон мог жениться на Поппее, только разведясь с Октавией, а для развода требовался какой-нибудь благовидный предлог. Конечно, он мог без всяких церемоний убить свою несчастную жену, но не решался на это.

Она была одной из немногих безупречных женщин в его развратном дворе, а простонародье относилось с почтением к нравственной чистоте. Оно еще не забыло судьбу ее брата, Британника, который должен был сделаться римским императором вместо сына Агриппины, если бы Клавдий в своем безумии не женился на чудовище.

Нерон всегда избегал открытых преступлений и теперь проводил неделю за неделей, стараясь придумать какую-нибудь хитрость, подкупая или запугивая сенаторов и хвастаясь перед Поппеей своей удивительной ловкостью.

Эта женщина явила миру замечательный пример веры в свою неотразимость. Прежде чем дело о разводе началось, она уже сделалась любовницей Цезаря.

Астролог Бабилл, советник Поппеи, советовал ей возбуждать страсть Нерона, но не уступать ей, так как Цезарь был столь же непостоянен, сколько жесток. Но для ее ненасытной гордости было лестно приобрести такую власть над Нероном, чтобы он сделал ее из любовницы женой.

Ее общение с астрологом привело к неожиданным последствиям. Через него она ознакомилась с иудейской верой, и так как в то время было в моде менять религию, то она объявила себя поклонницей иудаизма. В доказательство искренности своих убеждений она помогала еврейскому населению Рима.

Как-то Бабилл рассказал ей о существовании христианской церкви, и она открыла — с презрительным удивлением,— что евреи ненавидят новую секту фанатической ненавистью.

Во дворце все знали о симпатии Актеи к христианскому проповеднику. Поппея нередко с беспокойством

думала о своей сопернице. Она была все еще прекрасна, а любовь Нерона отличалась своенравием.

Поппея чувствовала, что не может считать себя в безопасности, пока Сенека сохраняет власть, а Актея остается во дворце.

Бабилл в самых ярких красках старался настроить Поппею против новой секты. Она слушала его россказни и обдумывала, как бы погубить новую церковь, а вместе с ней и Актею.

Ей недолго пришлось ожидать удобного случая. Однажды ночью в одном из кварталов Рима сгорел дом, причем погибло несколько человек. Этот случай возбудил волнение, предполагали умышленный поджог. Дело было представлено на усмотрение императора.

Нерон всегда сердился, когда к нему приставали с делами.

Сенека, будучи министром, избавлял его от всяких хлопот. Теперь некому было заменить его, так как даже Нерон понимал, что его главные советники, префект Тигеллин и секретарь Эпафродит, были способны только составить план вечерней оргии.

Таким образом, императору, который в трезвом состоянии был далеко не лишен деловых способностей, приходилось по целым часам толковать с чиновниками, вместо того чтобы проводить время с Поппеей.

Однажды, спустя несколько дней после пожара, Нерон спешил на террасу, где Поппея дожидалась его гораздо дольше, чем привыкла терпеть.

Она намеревалась покапризничать, зная, что выражение ребяческого гнева идет к ее лицу.

Лицо Нерона было угрюмо.

— Не брани меня, царица любви! — сказал он.— Я устал и не в духе.

Поппея обладала замечательной способностью быстро изменять выражение лица и голоса. Для нее это было так же легко, как переменить позу. Она сказала самым нежным голосом:

— Что же так расстроило моего повелителя?

Он схватил руками колени и сердито раскачивался взад и вперед.

— Поппея, слыхала ты когда-нибудь об Улиссе? — спросил он, не отвечая на вопрос.

— Какой-то древний греческий мудрец, если не ошибаюсь,— отвечала она.

— Скорее греческий дурак,— возразил он.— Боги и люди причинили ему много несчастий; он должен был скитаться по свету, пока ветер не занес его на остров, где жила нимфа Калипсо. Она полюбила его и хотела сделать его бессмертным. Днем он мог нежиться на великолепном ложе, попивая нектар и глядя на танцы нимф, ночью отдыхать на груди своей прекрасной возлюбленной, и этому блаженству не было конца. Но он построил корабль и уплыл с западным ветром. Если бы ты была Калипсо, Поппея, и я бы потерпел крушение у твоего острова, я бы никогда не вздумал строить корабль. Какое блаженство! Какое блаженство! — повторил он тоном влюбленного школьника.

По иронии судьбы Нерон по-настоящему полюбил Поппею. Из всех своих любовниц он воспылал искренней страстью к самой худшей.

— Да,— повторила она после непродолжительного молчания,— блаженство, но блаженство еще не все. Приятно жить на острове Калипсо, но управлять государством — великое дело.

— Вздор! — воскликнул Нерон, вскакивая и принимаясь нетерпеливо расхаживать по террасе.— Не говори мне таких пустяков, царица любви. Разумеется, прекрасно быть царем в сказке, жить в свое удовольствие, носить самые лучшие платья, делать, что хочешь. Но в действительной жизни царь — это раб; я бы лучше хотел быть цирюльником в Субуре.

— Полно, Цезарь! — сказала она.— Вспомни, что ты занимаешь место Юлия и Августа.

— Клянусь всеми богами,— воскликнул император,— я желал бы, чтобы Юлий и Август до сих пор сидели на своих местах. Очень весело толковать целое утро со старыми шутами, важными, как авгур во время пророчества, и разбирать каракули на грязных табличках! Лекции старого Сенеки были веселы, забавны, остроумны в сравнении с этим. И ради чего все это? Из-за того, что какому-то молодому вздумалось подпалить дом и изжарить полдюжины ротозеев. Ах, Поппея, я смертельно устал.

Внезапная мысль мелькнула у Поппеи.

— Пожары в Риме! Мирные граждане гибнут в своих постелях,— воскликнула она.— Это нужно исследовать, Цезарь!

— Вот то же самое мне говорил и старый префект

полиции,— с досадой возразил Нерон.— Неужели ты не можешь найти более интересный предмет для разговора, царица любви?

— Нет! — сказала она, вскакивая.— Какой же предмет может интересовать меня более, чем безопасность моего повелителя, моего возлюбленного?

— Что ты хочешь сказать? — с удивлением спросил император.

— Я хочу сказать, что тебе угрожает опасность. В Риме гнездится шайка отчаянных негодяев, называющих себя христианами, которые отреклись от государства, объявили, что у них нет другого правителя, кроме их Бога, поклялись уничтожить закон и власть и сжечь Рим. Этот пожар — только начало их деятельности.

— А откуда ты знаешь все это, Поппея? — спросил он.

— Мне рассказывали...

— Кто?

Она видела, что лукавить было бы опасно, и неохотно ответила:

— Астролог Бабилл.

Она боялась, что ее доверенный разболтает императору о таких вещах, о которых ему вовсе не следует знать.

— Этот сумасшедший старик еврей! — засмеялся Неров.— Будь покойна, я исследую дело. А теперь, царица любви, зачем нам тратить в словах время, назначенное для поцелуев?

Под вечер того же дня император послал за Бабиллом, чтобы расспросить его о христианах. При всем своем безумии Нерон довольно тонко понимал людей и мог вести допрос свидетеля.

Бабилл изливал свою злобу против ненавистной секты, а Нерон, находивший удовольствие в религиозных препирательствах (сам он считал сказками все религии), слушал и забавлялся его пылом.

Но красноречию еврея не предвиделось конца, и Нерону надоело его слушать. Он прервал поток его обвинений и отпустил астролога с подарком и насмешливым замечанием, что лучше бы их богам решать свои дела между собой, чем вносить раздор среди людей.

Нерон решил про себя, что христиане — одна из тех фанатических восточных сект, которые не представляют никакой опасности, если им предоставить спокойно исполнять свои обряды, а обвинения Бабилла приписал его

религиозному рвению. Впрочем, для очистки совести он решил послать Эпафродита в еврейский квартал расспросить о новой секте.

Вольноотпущенник вернулся с отчетом, который вполне подтвердил мнение Нерона. По его словам, христианами называлась безобидная секта, считавшая своим богом человека, распятого лет тридцать или сорок тому назад прокуратором Иудеи. Этот человек поссорился с еврейскими священниками из-за каких-то религиозных обрядов, и они обвинили его в измене перед прокуратором. Эпафродит навел справки в архивах и убедился, что прокуратор считал этого человека невинным, но, опасаясь восстания среди иудеев, отдал его в жертву священникам.

— До какого зверства доводит людей суеверие!— заметил Нерон, выслушав отчет секретаря.

Спустя несколько дней император отправился с Тигеллином в одну из своих ночных экспедиций на Мильвийский мост. Было еще светло, когда они находились в конце улицы за Капитолием.

Вдруг Нерон заметил старика и девушку, переходивших улицу по направлению к Квириналу. Император, обладавший замечательной памятью на лица, сказал префекту:

— Смотри, Тигеллин! Ведь это та девушка, из-за которой тебя сбросили с крыши.

Со стариком — это был еврей Иаков — шла его дочь Юдифь в своем строго еврейском наряде. Эта одежда не скрывала красоты ее лица и фигуры.

Тигеллин взглянул на нее с выражением, не предвещавшим ничего доброго. Он сделал движение, намереваясь идти за ними, но император удержал его, лукаво смеясь.

— Постой, постой! Ты слишком неосторожен, нет ли с ними центуриона?

Тигеллин, уже два раза испытавший силу кулаков Тита, сердито нахмурился. Намек заставил его отказаться от своих намерений, и он последовал за Нероном по Фламиниевой дороге к Мильвийскому мосту.

Вылазка удалась как нельзя лучше; пять или шесть человек были сброшены с моста; кроме того, удалось остановить и опрокинуть носилки, в которых оказались очень важный сенатор и дама, более известная своей красотой и умом, чем нравственностью.

Нерон был в восторге и на возвратном пути оглашал римские улицы песнями и криками.

Проходя по Субурскому предместью, Нерон споткнулся о камень и упал. Поднявшись, он разразился ругательствами:

— Проклятие этим хлевам! Если бы христиане подпалили их, какой вышел бы славный костер.

— И какой прекрасный дворец можно было бы построить на месте этих лачуг! — поддакнул Тигеллин.

— А ведь и в самом деле! — воскликнул Нерон; и остаток дня они провели, рассуждая о портиках, залах и садах, которые император мог бы построить, если бы тысячи домов между Палатином и Эсквилинским холмом были уничтожены.

XX

Во дворце царствовала удивительная тишина; все подозревали, что что-то готовится, но никто не мог сказать, что же именно. Даже Поппея чувствовала себя растерянно при виде странного поведения своего возлюбленного. В течение целой недели Нерон никого не подверг бичеванию, никого не выбранил, ни разу не пришел в бешенство. По-видимому, он был погружен в какие-то соображения, и Поппея замечала, что он усмехался иногда, как будто его мысли принимали забавный оборот. Он был любезен, хотя и рассеян, и Поппея решила, что ей не угрожает никакая опасность. Но во всяком случае, он замышлял какой-то план, и ей было неприятно думать, что у него могут быть тайны от нее.

Однажды вечером он прогуливался с Поппеей по саду. Они остановились на восточном склоне Палатина. Недалеко от них находилась скамейка, защищенная от северного ветра живой изгородью. Нерон сел и предложил Поппее сесть рядом с ним. Последние лучи заката угасли, небо приняло ровный серый оттенок; внизу мелькали огни Субуры, а позади них возвышался, как огромная черная тень, Целийский холм. Сад оканчивался низенькой колоннадой, отделявшей владения дворца от улицы. На расстоянии какой-нибудь сотни ярдов от величественного портика императора начинались груды лачуг, населенных бедняками.

Нерон не был суровым римлянином, он обладал даром фантазии, развившейся из-за общения с гречанкой Актеей. В хорошем настроении духа он нередко приса-

живался к ней, и они придумывали сказки. Истории Актеи были переполнены великими подвигами богов и героев, тогда как император с увлечением описывал великолепные города, башни, дворцы, картины, статуи, торжественную музыку. Теперь он должен был рассказывать эти истории один.

В глубине души Поппея презирала эти истории, но терпеливо выслушивала его рассказы, так как они всегда служили у него признаком хорошего настроения духа. Он всегда заканчивал восклицанием:

— Ну, разве я не артист?

Разумеется, Поппея рассыпалась в восторженных уверениях.

Нерон целовал ее руки, лицо, обнимал, клал ее голову себе на плечо.

Вдруг он прошептал:

— Хотелось бы мне построить дворец, достойный тебя!

На это Поппея отвечала легким смехом — самый загадочный ответ женщины своему любовнику.

Впрочем, Нерон и не пытался угадать его значение; продолжая обнимать ее, он принялся расписывать великолепие дворца, который выстроит для нее, и Поппея невольно заслушалась.

Он мечтал о колоссальном здании, которое бы измерялось милями, а не ярдами, о пурпурных ложах в высоких залах, отделанных мрамором, золотом, слоновой костью; воздвигал купола, усеянные драгоценными камнями наподобие небесного свода; строил бесконечные портики и колоннады. Он взглянул вниз по склону холма — и вот по его мановению раскинулся великолепный сад с рощами, в которых рычали дикие звери; с озерами и каналами, по которым медленно плыли барки, расписанные яркими красками, разукрашенные шелковыми парусами, благоухавшие лучшими ароматами востока,— барки, из которых беднейшая превосходила великолепием барку Клеопатры; берега озер и каналов были превращены в сплошной цветник и прекрасные нимфы резвились среди цветов; воздух был наполнен звуками музыки, и весь мир стекался гулять в этот сад, и самый сад был мир, в котором царили бог и богиня; бога звали Нероном, а богиню Поппеей.

Под влиянием его рассказа она старалась представить себе пейзаж, рисовавшийся в его воображении. Непонятное чувство страха охватило ее, когда она гля-

дела вниз по склону и рисовала себе здания и террасы, озера и шумные потоки, цветочные клумбы и роши. созданные его больным мозгом.

Его волнение росло с каждой минутой; голос превращался в торжественную песнь; картины становились все более и более необузданными. Наконец он вскочил и, заставив ее подняться, воскликнул:

— Смотри, царица любви, туда, туда — на восток!

Поппея вздрогнула, так как в эту минуту возник какой-то слабый блеск. Нерон, с разгоревшимся лицом, впился глазами в это розовое пятнышко; оно разрасталось, светлело, разгоралось. Вдруг на дальней стороне Субуры сверкнул огромный язык пламени, мириады золотых искр брызнули к небу, и черный дым заклубился над предместьем.

Лицо Нерона рдело, как расплавленная медь в красноватом блеске зарева.

— Пожар!— простонала Поппея.— Христиане! Христиане!

— Пожар! — повторил он с диким хохотом.— Христиане! Христиане!

Схватив испуганную женщину за руку, он бросился вниз к входной арке сада. Здесь находилась скульптурная группа, изображавшая жертвоприношение Ифигении, сделанная по указаниям самого Нерона. В прежние дни Актею часто пугало выражение, с которым он смотрел на белую шею девушки, над которой был занесен безжалостный нож Агамемнона. Обыкновенно он успокаивал Актею, пропев ей с неподдельными слезами и волнением печальную историю жертвы Троянской войны. На платформу, где помещалась скульптурная группа, вела витая лестница. Нерон втащил на нее Поппею, которая почти лишилась чувств от страха. За ними следовала толпа рабов под предводительством префекта Тигеллина и секретаря Эпафродита. Когда Нерон, неся на руках Поппею, взошел на платформу, на самом краю ее поставили раззолоченное кресло и арфу. Он сел; один из рабов накинул на его плечи зеленую мантию и надел ему на голову лавровый венок. Рядом с его креслом рабы устроили мягкое ложе и, когда Поппея упала на него, накрыли ее тигровой шкурой.

Ночь была холодна, а Поппея легко одета. Огромные клубы дыма проносились над ней. Она боялась огня и еще больше дрожала при мысли, что дым может испортить цвет ее лица. На ней было тонкое покрывало, зак-

рывавшее лицо и грудь, но она сбросила его, опасаясь, что оно вспыхнет от искры.

С ужасом, наполовину естественным, наполовину притворным, она просила императора отпустить ее. Но он не слышал ее, поглощенный ужасным зрелищем.

— Позволь мне уйти! Позволь мне уйти, Цезарь! — настаивала она.

Наконец он услышал ее и с гневом отвечал:

— Молчи, Поппея, ты останешься здесь.

Она боязливо откинулась на ложе и несколько минут молчала, но страх за свою красоту пересиливал в ней боязнь гнева Нерона. Наконец она решилась:

— Пошли по крайней мере за Родой, моей служанкой.

Нерон сердито обернулся к стоявшему позади него префекту.

— Пошли за рабыней этой женщины.

И, обратившись к Поппее, прибавил:

— Сиди смирно и будь благоразумна.

Рода поспешила к своей госпоже и, увидев ее, разразилась криками и плачем. Но бешеный взгляд Нерона тотчас успокоил ее, и став на колени подле Поппеи, она начала шептаться с ней.

Затем она поспешно спустилась с лестницы и побежала во дворец, а Поппея спрятала голову в подушках и закуталась в тигровую шкуру.

Через несколько минут Рода вернулась, задыхаясь от бега, с какими-то ящичками, сосудами и банками, заключавшими тайны туалета Поппеи. Она встала на колени подле ложа, открыла лицо своей госпожи и принялась за работу. Закончив ее, она ушла. Поппея приподнялась на ложе и стала смотреть на пылавший город. Лицо ее было покрыто белым слоем притираний и пудры, волосы тщательно спрятаны в полотняный чехол, а тело до самого подбородка закрыто тигровой шкурой.

В мраморной группе, возвышавшейся над ними, скульптор изобразил Фурию со зловещим и прекрасным лицом, обращенным к несчастному «пастырю народов». Белое лицо Поппеи напоминало лицо этой мраморной Фурии.

Первый язык пламени показался на самом южном конце Субуры. Теперь яркий блеск зарева на северном конце возвестил, что и с этой стороны предместье подожжено. Стоявшие на платформе могли видеть, как пламя

ринулось в узкую лощину между Квириналом и Виминалом и, бушуя, подобно приливу, стало взбираться на холм. Наконец пурпурное пламя за гребнем Палатина возвестило, что и Велабрум загорелся.

Центральная часть, сердце Рима, была предана разрушению. Огонь, как победоносная армия, штурмовал узкие переулки вокруг Форума. Балаганы и лавки мясников вспыхивали, как кучи хвороста; крыша большой базилики пылала над тройной колоннадой. Среди пламени, подобно утесу над бушующим морем, возвышался Капитолий и мрачный фасад Табулария купался в багровом свете.

Ни разу с тех пор, как белокурые воины Севера обрушились на Рим, священный холм не видал такой сцены. Но теперь свирепствовал враг опаснее галла; и высоты, когда-то спасенные римской доблестью, должны были сдаться; римские пенаты были преданы огню; пятисотлетние воспоминания вычеркнуты в одно мгновение ока.

Вверху, впереди и сбоку, свирепствовало пламя; его рев был подобен боевому клику легионов в решительную минуту битвы. Прощайте тысячи славных памятников! Тысячи великих имен! Эта волна, увенчанная клубами черного дыма, разлилась по всему пространству до Табулария — и память о вас исчезла навеки! Никогда римский воин не бросится в битву ради вас, никогда римский патриот не будет ради вас взывать к общественному благу; никогда историк, роющийся в дебрях минувшего, не найдет в вас драгоценной награды за свои труды. Половина римской славы, половина памятников римского величия стерты с лица земли!

Когда первая волна пламени ринулась на священный холм, пальцы Нерона начали перебирать струны арфы. Уже более часа сидел он в своем раззолоченном кресле, устремив восхищенный взгляд на пылающий город.

Пламя истребляло Рим — Рим Юлия и мстящего Брута, Цицерона и могущественного Катона; Рим Сципионов — детей славы — и семьи Гракхов, Рим Фабриция, довольного малым, и Цинцинната, пахавшего землю. Но сожаление ни разу не мелькнуло на лице императора; он походил на поэта, который ищет вдохновения в завывании ветра, в блеске молний, в бешеной пляске волн. Мысль об ужасах, совершающихся под этой багровой пеленой, была далека от него; сожаление к погибавшему городу ни разу не коснулось его сердца. Из всех находившихся на платформе он один смотрел на

пожар и разрушение Рима с бесстрастным удовольствием, какое возбуждает эффектная картина.

Он молча ждал вдохновения, и наконец оно явилось. Перед его глазами повторялась древняя трагедия. Он видел перед собой не деревянные лачужки Субуры, а высокие башни сказочной Трои. Он слышал не вопли, проклятия и стоны, доносившиеся из пылающих домов, а победные крики героев, спешащих во дворец Приама. Какой-то мальчик бросился из окна на улицу: он видел Астианокса, сброшенного с башни безжалостной рукой Одиссея. Толпа в ужасе металась по улицам — ему мерещились испуганные троянцы, гонимые мечами Неоптолема и Менелая. Как раз перед портиком какая-то женщина была сбита с ног толпой,— но он видел только прекрасную Поликсену, убиваемую на могиле Ахилла [23].

По ту сторону дороги, недалеко от портика, находилась группа домов — местообитание публичных женщин. Пламя, охватывая Субуру, гнало перед собой толпу, как наступающие легионы нестройную орду варваров. Тысячи мужчин, женщин и детей стремились к Палатинскому холму. Наконец пламя ринулось на последнюю группу домов, и женщины — одни, совершенно обезумевшие от ужаса и вина, другие, упорно тащившие на спинах домашних богов,— выбежали на улицу с криками, воплями, проклятиями и присоединились к толпе.

У входа в дворцовый сад расстилалась широкая площадь, на которой столпились тысячи бездомных римлян. Мужчины сгибались под тяжестью сундуков, кроватей, столов; женщины держали на руках младенцев; дети в ужасе цеплялись за родителей. В толпе сновали грабители, стараясь поживиться; местами пьяные менады [24] плясали, распевая бесстыдные песни.

Когда пламя поднялось высоко над домами, площадь осветилась ярким светом, и народ с изумлением увидел императора в лавровом венке и с арфой в руках. Дикая толпа разом умолкла. Пальцы Нерона все быстрее и быстрее перебирали струны; и вот он запел полным, звучным голосом гимн в честь бога пламени:

Слава отцу света,
Бог пламени!
Слава владыке сил,
Бог пламени!
Высоки башни и замки,
Бог пламени!
Город превращается в костер,
Бог пламени!

Пусть твое палящее дыхание,
Бог пламени!
Разносит гибель, смерть и опустошение,
Бог пламени!

Порыв ветра погнал пламя к портику. Народ в ликом ужасе кинулся под защиту колоннады; Поппея быстро сбежала с лестницы и укрылась во дворце; рабы спрятались за статуями. Но Нерон выпрямился на краю платформы и протянул руки вперед, восклицая:

— Бог пламени! Бог пламени!

Казалось, он окунал руки в огонь. Тигеллин и Эпафродит бросились к нему, схватили его на руки и унесли во дворец, тогда как он продолжал взывать к богу пламени.

XXI

За час до пожара Тит совершал свой обычный вечерний обход дворца. Прежде всего он зашел в комнату Актеи, служить которой по-прежнему считал своей особой обязанностью. Девушка все еще томилась во дворце, но дни ее славы прошли и о существовании ее почти забыли. Даже Сенека, привезший ее с далекого Самоса, отрекся от нее. Она охотно оставила бы дом Цезаря, но у нее не было ни богатства, ни друзей в Риме. Беззаботная, как дитя, она никогда не пользовалась случаем нажить денег. Кое-какие драгоценности и платья, подарки императора, составляли все ее достояние.

Нерон, попавшись в сети Поппеи, забыл о ней, да она и сама старалась избегать своего бывшего возлюбленного. Душа ее озарилась новым светом. Многое, чего она не могла понять раньше, теперь, после долгих размышлений в одиночестве, сделалось ясным. Она вкусила тот мир, о котором говорил проповедник.

Когда Тит вошел в ее комнату, она стояла на коленях перед окном, сложив руки на груди и устремив взор в небо. Центурион был не особенно наблюдательный человек, но от него не ускользнула перемена в гречанке, внушавшая ему какой-то смутный страх. Лицо ее осунулось, розовые щеки поблекли, на лбу появились морщинки; золотистые волосы не казались такими пышными; стройная фигурка утратила былую живость; огромные черные глаза не блестели, как прежде.

Тем не менее Актея казалась Титу прекраснее, чем когда-либо, и он с презрительной досадой думал о Цеза-

ре, который мог променять такую женщину на Поппею. Видя ее на коленях, озаренную догорающим светом вечерней зари, солдат невольно подумал о жизни без плоти и крови, о мире, для которого не нужна пища и питье.

«Наверно, это дух»,— подумал он: так мало земного было в ее фигурке.

Но Актея, увидев его, встала и ласково поблагодарила его за хлопоты. Тит возразил, что считает за честь для себя служить такой прекрасной и покинутой друзьями женщине.

— Я не покинута друзьями! — воскликнула Актея.— У меня есть Друг, который никогда не покинет меня.

Тит пожал плечами и подумал, что этому новому Другу придется плохо во дворце. Актея угадала его мысли и, взяв его за руку, подвела к окошку, выходившему на запад.

— Как далеко простирается власть Нерона? — спросила она.

— Цезарь владычествует над миром,— гордо ответил центурион.

— Да, Цезарь владычествует над миром, но один удар меча — и собаки станут глодать кости Цезаря. Посмотри! — воскликнула она, указывая на солнце, еще не полностью скрывшееся за горизонтом.— Посмотри! Ваш Цезарь владычествует над миром, но мой Друг, мой Жених — Владыка неба и земли. Солнце в своем пути повинуется ему, и звезды слышат его голос. Смерть сильнее Цезаря, но Он поверг смерть под ноги Свои. Его присутствие — целебный бальзам для истерзанного сердца, мир для измученной души; Он помощник слабого и щит угнетенного и тех, кто любит Его. Он дарует вечную жизнь.

Тит все еще не понимал.

«Старик христианин свел ее с ума»,— подумал он; вслух же заметил:

— Не желал бы я быть на месте твоего Друга, госпожа, если Цезарь застанет его с тобою.

— Он и теперь со мною,— сказала она.— Он всегда и везде, готовый помочь тем, кто любит Его.— Она снова указала ему на небо.— Близок день, когда ты увидишь небеса отверстыми, и Царя вселенной во всей славе Его; тогда мертвый и живой предстанут перед Его престолом, и самый гордый Цезарь преклонится перед ним наравне с беднейшим крестьянином.

Новая мысль мелькнула в ее уме, потому что глаза ее, угасшие от слез и горя, вспыхнули ярким блеском.

— И я,— сказала она,— я тоже предстану на Его суд. Неужели Господь примет в свое лоно такую недостойную тварь, как я?

Она бросилась на колени и благоговейно сложила руки. Но улыбка озарила ее лицо.

— Прости мне!— шептала она.— Прости, дорогой Друг, что я усомнилась в Тебе, и ниспошли мне твой мир.

Пока она молилась, Тит выскользнул из комнаты, полный смущения и негодования. Он был уверен, что Актея помешалась, и проклинал Поппею, считая ее виновницей этого.

Новая фаворитка императора не нравилась ему. Ее чувственная красота и низменные стремления внушали отвращение молодому центуриону. Физическая красота привлекала римлян, и Тит удивлялся, почему прекраснейшая женщина Италии кажется ему отвратительной.

Оставив комнату Актеи, Тит задумался. Что-то в словах гречанки напоминало ему страстную речь Юдифи, когда она говорила о вере. Это было то и не то.

Размышляя об этом, он шел по коридорам дворца. Все было спокойно; Нерон обедал с Поппеей; слуги разошлись спать. Он вышел в обширный атриум, где его шаги глухо раздавались по мраморному полу, и направился в помещение слуг. В кухне повара еще возились над какими-то изысканными блюдами для Нерона. Свет от очага широкой полосой падал из двери; воин на минуту остановился в тени. Молодой повар, грек, напевал какую-то песенку, прославлявшую, как понял Тит по некоторым знакомым словам, пиры из козлятины, пшеничного хлеба и сладкого вина. Окончив стряпню, он поставил блюдо на стол и, обратившись к своему товарищу, воскликнул:

— Как могли эти обжоры завоевать мир?

— Ты всегда предлагаешь затруднительные вопросы, Долий,— ответил тот.— Я не знаю, что тебе ответить, но знаю, что если это блюдо будет плохо приготовлено, то кому-то достанется.

Грек вздохнул и снова принялся за работу, а Тит направился по длинному коридору, где слышно было только храпение усталых рабов, спавших в каморках по обе стороны коридора. В самом конце его какой-то человек, с ног до головы закутанный в плащ и державший

в руке зажженный факел, вышел из двери недалеко от солдата и поспешно пошел по коридору.

Он не заметил Тита, который последовал за ним. Неизвестный вышел в дворцовый сад, и Тит хотел выйти за ним, когда услышал в нескольких шагах от себя сдержанный гул голосов. Он обнажил короткий меч, который носил скорее как знак своего достоинства. В Риме и во всей Италии рука закона была тяжела, и безоружный человек мог пройти от Рубикона до Регпума, не опасаясь насилия. Римляне считали варварскими государствами, где гражданам приходилось носить оружие для самозащиты. Но во дворце Нерона случались всякие неожиданности, и Тит был очень доволен, что может ходить при оружии.

Выглянув из двери, он увидел группу людей, человек пятнадцать или двадцать, в плащах с капюшонами и с факелами в руках. Осторожность не принадлежала к числу добродетелей Тита. Он смело выступил вперед и крикнул:

— Что это значит? Что вы тут делаете?

Не получив ответа, он схватил ближайшего из них и сдернул капюшон с головы. Это был раб Тигеллина, отъявленный негодяй, достойный своего господина, который всегда пользовался его услугами, если нужно было устроить какую-нибудь пакость.

— Мы исполняем повеление Цезаря,— сказал он сердито.

— Какое? — спросил Тит.

— Об этом ты можешь спросить моего господина,— ответил раб.

— Я спрошу у вас обоих! — с гневом крикнул Тит.— Веди меня в комнату префекта.

Раб замялся. Тит нетерпеливо встряхнул его за плечо с такой силой, что тот тотчас оставил мысль о сопротивлении и пошел вперед, проворчав сквозь зубы:

— Ладно, тебе же хуже.

Он оказался прав, потому что Тигеллин, радуясь случаю унизить центуриона, выбранил его в присутствии злобно ухмылявшегося раба.

— Как он смел,— говорил префект,— соваться не в свое дело. Его обязанность смотреть за гречанкой, а не лезть в дворцовые дела. Рабы, которых он остановил, исполняют поручение Цезаря. Не удовлетворится ли он этим объяснением?

Тит выслушал насмешки любимца с холодным достоинством. Безумный Цезарь сделал эту тварь префектом, и Тит уважал его сан; но оскорбляться его словам казалось ему так же смешно, как оскорбляться лаю собачки Поппеи.

Он спокойно ответил, что счел нужным остановить этих рабов, потому что ему поручен надзор за дворцом, но если они исполняют поручение Цезаря, то, разумеется, ему нечего возразить.

Затем он оставил комнату, а раб поспешил к своим товарищам.

Час спустя Тит, вышел в сад подышать перед сном чистым воздухом. Он стоял на склоне холма, когда ветер подул сильнее, и, взглянув на город, Тит заметил первый язык огня под Субурой. Пожары были обычным явлением в этом предместье, и Тит равнодушно следил за разгоравшимся пламенем.

— Много будет работы префекту полиции,— подумал он и продолжал свою прогулку.

Минут через десять он вернулся на прежнее место. В это время пламя вспыхнуло разом в трех местах квартала.

«Это, однако, серьезно,— подумал солдат,— если они не поторопятся, вся Субура сгорит».

Оглядевшись, он увидел багровое зарево над Велабрумом.

— Боги! — воскликнул он.— Рим горит!

Он остановился в нерешимости, не зная, что предпринять, и вдруг вспомнил о рабах, несших факелы.

— Рим! Рим! — воскликнул солдат.— Он поджег Рим.

В эту минуту пламя показалось на нижнем конце улицы, а затем поползло к Форуму. Тит бросился вниз по холму и выбежал из сада на дорогу за храмом Весты. Тысячи обезумевших от страха людей устремились на холм, и в первую минуту толпа увлекла его за собой. Он отчаянно боролся и наконец проложил себе путь к Форуму. Здесь огонь произвел гораздо меньше опустошения. Большие каменные строения уцелели, и только лавки и балаганы были охвачены пламенем. Они пылали, когда Тит, обогнув храм Весты, выбежал на Форум.

Немногие, сохранившие хладнокровие среди общей паники, смотрели на пожар со ступеней базилики Юлия. Некоторые из них, судя по отчаянному выражению лиц, были владельцы горевших построек.

Достигнув середины Форума, Тит невольно остановился. Пламя показалось над крышей Табулария, и гневное восклицание вырвалось из уст воина. Он был римлянин, и перед его глазами гибли славнейшие памятники римского величия. Даже мысль о Юдифи не могла заглушить его скорби, когда он увидел Капитолий, объятый пламенем.

Но он остановился только на мгновение и тотчас бросился дальше. Обогнув Мамертинскую тюрьму, он направился в горевшую часть города. Улицы были очень узки, и Тит рисковал жизнью, пробираясь среди пылавших домов. Раз или два он невольно отступал перед невыносимой жарой; порывы ветра несли на него пламя или клубы удушливого смрадного дыма. Какая-то женщина, спасаясь от пожара, бросила тяжелый плащ; Тит поднял его и окутал им голову.

Опасность угрожала не только от огня, но и от разрушавшихся зданий, летевших на улицу балок, досок, труб. Часто он натыкался на мертвых или умирающих; иногда отчаянные крики о помощи достигали его ушей. Какой-то несчастный — может быть, ребенок или женщина, забытая в верхнем этаже — бился в окно с ужасными криками в то время, как пламя весело трещало, охватывая здания. Но помочь было невозможно, и Тит только плотнее обматывал плащ вокруг головы, чтобы не видеть и не слышать этих ужасов. Стиснув зубы, он устремился вперед.

Ему угрожали и другие опасности. Не он один решился проникнуть в пылавший квартал. Воры и грабители, которых держала в узде строгая римская администрация, на этот раз устроили себе праздник в Субуре.

Ночная стража исчезла; префект полиции хотел было послать свою команду тушить пожар, но оказалось, что она отослана Тигеллином к вилле на Аппиевой дороге с каким-то вздорным поручением.

Таким образом, некому было тушить огонь или преследовать негодяев, сбежавшихся на пожар для убийства и грабежа. Они врывались в пылавшие дома и тащили все, что попадалось под руку, бросались на бежавших женщин и грабили их жалкие пожитки. Они проникали с отчаянным мужеством в самые опасные места Субуры. Многие из них поплатились жизнью за свою безумную жадность.

Оставив за собой уже половину улицы, Тит наткнулся на небольшую шайку грабителей. Закутанный в плащ,

он заметил опасность только тогда, когда перед его глазами блеснул нож, поднятый для удара. Он успел отклонить его и, получив легкую рану в плечо, схватил своего противника, поднял его на воздух и бросил в открытую дверь горевшей лавки. Разбойник с ужасным криком исчез в огне. Его товарищи окаменели от ужаса, а Тит поспешил дальше. Треск и крики, раздавшиеся позади, заставили его повернуть голову. Высокая стена соседнего дома обрушилась на улицу, и там, где он только что стоял, высилась груда пылавших обломков, под которой были погребены напавшие на него грабители. Это происшествие скорее ободрило, чем смутило его.

«Если люди,— подумал он,— рискуют жизнью ради грабежа, то неужели я не рискну ею ради моей возлюбленной?»

Наконец, счастливо избежав сотни опасностей, он оставил за собой горевшую часть города, за несколько домов до жилища Иакова.

— Юпитер, благодарю тебя,— прошептал он,— она в безопасности.

Пять минут спустя он стоял перед домом Иакова. Двери, сорванные с петель, валялись на улице; старый привратник лежал мертвый у порога. Толпа испуганных рабов в атриуме сообщила солдату, что в то время, как улица была запружена беглецами, шайка грабителей ворвалась в дом, ограбила его и увела Иакова и его дочь.

XXII

Юдифь вела уединенную жизнь, почти не знаясь с римской аристократией. Дела Иакова по-прежнему процветали. Поппея относилась к нему почти так же благосклонно, как некогда Агриппина; ему удалось также приобрести расположение Нерона. Император, желая подарить своему новому божеству драгоценное ожерелье, нашел в Иакове деятельного помощника по части отыскивания и выбора камней. Благодарность Нерона за мелкие услуги была так же неумеренна, как жестокость в наказаниях за мелкие проступки. Он ласкал еврея, иногда беседовал с ним о его стране, религии и Боге; и однажды с важностью объявил Тигеллину о своем намерении распространить иудейскую религию по всему миру и назначить Иакова верховным жрецом. Префект пришел в вос-

торг от этой блистательной идеи, но Нерон тут же отказался от нее. Чтобы отклонить его от какой-нибудь безумной выходки, следовало только расхвалить ее.

Сенека, при всей своей мудрости и знаниях, не догадывался об этом, но Тигеллин тотчас раскусил, в чем дело.

Богатство Иакова доставило ему довольно унизительное место — между низшим слоем общества и аристократией. Молодые франты, смеявшиеся над ним в лицо, принимали его приглашения ради дорогих вин и изысканных блюд. Но Юдифь все более и более отстранялась от них, доходя до фанатизма в соблюдении правил своей веры. Ненависть к язычеству росла в ней вместе с любовью к Богу, и на лице ее появилось выражение высокомерной и твердой решимости.

Однажды Иаков заметил ей, что брак с каким-нибудь из молодых людей, посещавших его дом, укрепил бы их положение. Но он и не заикался об этом вторично, потому что презрение, с которым она отнеслась к его предложению, пробрало даже его твердую кожу.

— Ты мой отец,— сказала она,— и да простит тебя Бог, но ты слишком испытываешь Его милосердие.

Затем она ушла в свою комнату и там горько плакала от стыда и от гнева. Величайшим огорчением для нее было то, что она не могла уничтожить в себе женщину. Несмотря на всю свою решимость, она нередко вспоминала о Тите, и тогда кровь приливала к ее щекам и сердце начинало усиленно биться. Сознание, что она ревнует, унижало ее в собственных глазах. И, однако, она не могла ни совладать со своим чувством, ни отрицать его. Нередко она представляла себе Тита подле носилок Актеи, и руки ее сжимались, губы дрожали, глаза наполнялись слезами. При менее благородной натуре она сделалась бы угрюмой и брюзгливой, потому что разочарование и огорчение встречали ее всюду. Жадность и низость отца, измена — по-видимому добровольная — возлюбленного, а главное, собственная слабость унижали ее гордость и отравляли ей жизнь. Юдифь всегда была нежна и добра, но, видно, дочери Иакова суждено быть прежде всего еврейкой, а потом уже женщиной.

Время, так быстро проходившее во дворце, наложило на нее свою печать, и в тот вечер, когда произошел пожар в Риме, Юдифь, сидевшая в садике на крыше дома, казалась гораздо серьезнее и старше, чем несколько месяцев тому назад.

Пламя уже поднималось в разных концах Субуры, когда Юдифь, очнувшись от своей задумчивости, увидела багровое зарево. Пожары в этом предместье случались так часто, что почти не привлекали внимания обитателей, которые жили в каменных домах, притом нередко стоявших особняком и окруженных садами, как и дом Иакова.

При виде пожара она почувствовала только некоторое сожаление.

— Бедняги! — прошептала она.— Да сжалится над вами Бог.

С каждой минутой пламя разгоралось сильнее, и Юдифь поняла, что большая часть Рима охвачена пожаром. Вскоре пламя показалось на нижнем конце их улицы и медленно поползло вверх. Юдифь бросилась к отцу. Комната Иакова выходила окнами на север, в противоположную сторону от огня, и он мирно спал в своей постели, когда Юдифь разбудила его.

— Отец, отец! Вставай! Страшный пожар в Субуре.

Иаков услышал ее сквозь сон и, повернувшись на кровати, пробормотал:

— Я не ночной сторож.— И немного погодя прибавил еще более сонным голосом:— Да у меня и нет домов в Субуре.

— Вставай,— повторила она,— пламя близко, наша улица горит.

Иаков с криком вскочил и увидал слабый краснова-тый отблеск, проникавший в окно его комнаты. Он поспешил вместе с дочерью в атриум. Тут было светло, как днем; едкий запах горящего дерева стоял в воздухе. Отец и дочь поспешно поднялись в садик, откуда могли видеть пламя, медленно двигавшееся по направлению к ним.

— Боже Авраама! — воскликнул еврей.— Рим гибнет!

Юдифь стояла выпрямившись, положив руки на перила крыши, и смотрела на пылающий город.

— Ветер пронесется над ним, и он исчезнет, и не сохранится памяти о нем,— прошептала она.

Иаков, не слушая ее, стонал, ломая руки:

— Гибнут богатство и сила Рима!

Лицо Юдифи приняло странное выражение; глаза горели диким огнем.

— Он ломает лук и рассыпает стрелы; Он истребляет колесницы огнем,— отвечала она.

Пламя медленно ползло к верхнему концу улицы, и Иаков, обезумевший от страха, мог только бормотать:

— Какой злой дух совершил это дело? Кто разрушил Рим?

Юдифь услышала его и ответила громким и звучным голосом:

— Дщерь Вавилона, осужденная на гибель, благо тому, кто воздаст тебе, по делам твоим.

На улице происходила страшная суматоха.

Иаков взглянул на толпу и радостно воскликнул:

— Ночная стража! Ночная стража! Наверно, она потушит огонь.

Юдифь же шептала:

— Боже! Развей их как пыль по ветру. Как пламя пожирает дерево, так преследует их Твой гнев.

Стража ретиво принялась за работу. Одни рубили деревянные дома, чтобы преградить доступ пожару, другие заливали горевшие постройки, третьи водворяли порядок в толпе.

Сначала исход борьбы казался сомнительным. Пламя то отступало немного, то возвращалось и заставляло отступать дисциплинированных римлян. Так продолжалось около часа. Ни один из противников не мог похвастаться победой.

Наконец, как бы в ответ на молитву Юдифи, северный ветер ослаб и подул южный. Битва кончилась, огонь победил. Пламя прорвалось за просеку, которой думали остановить его, и охватило новые дома.

Последовала дикая паника, и толпа, увлекая с собой стражу, бросилась вверх по улице.

Иаков сбежал с крыши, кликнул слуг и с их помощью стал собирать ценное имущество. Вытащив из сундука мешок с драгоценными каменьями, он спрятал его под туникой.

Тем временем Юдифь оставалась на крыше. Девушка была убеждена, что наступил день, когда пророчества должны сбыться и Рим будет стерт с лица земли.

Но она забывала, что, если Рим и сгорит, рука Цезаря сохранит свою силу, прокуратор не уйдет с войсками из Иудеи и пята римского воина будет попирать престол Давида. Пламя, бушевавшее над Субурой, казалось ей огненным столпом, который напоминал ее отцам, скитавшимся в пустыне, о присутствии и обещании Бога. Она была твердо убеждена, что так именно долж-

но начаться мщение Всемогущего над язычниками, угнетавшими Его избранный народ.

На улице происходила отчаянная давка. Панический страх охватил толпу; никому не приходило в голову, что огонь должен остановиться перед обширными садами. Всякий думал только о своей шкуре и не заботился о соседе.

Среди общей суматохи выделялась толпа в пятнадцать или двадцать человек, державшихся постоянно вместе. Они были с ног до головы закутаны в плащи, а один, с открытой головой и в рыжем парике, казался предводителем. Он присоединился к остальным как раз перед отступлением ночной стражи.

Эта группа двигалась вместе с толпой бежавших, пока не достигла дома Иакова. Здесь предводитель пронзительно свистнул. В эту минуту Иаков, стоявший в атриуме, у подножия лестницы, крикнул дочери, чтобы она шла к нему. Вокруг него толпились рабы, а старый привратник собирался отворить дверь.

Но прежде чем старик успел отодвинуть засов, снаружи раздались страшные удары; двери, частью разбитые, частью сорванные с петель, разлетелись, и толпа ворвалась в дом. Старый привратник ударил ближайшего своей палкой, но руки его были слишком слабы; один удар тяжелого железного лома — и он растянулся мертвым на полу. Остальные рабы побросали свою ношу и рассыпались кто куда. Иаков с минуту стоял в нерешительности, потом бросился на лестницу, но в ту же минуту его схватили и связали.

Юдифь, стоя на крыше, ничего не слыхала из-за криков толпы. Только когда отец ее был схвачен, слабый крик о помощи достиг ее ушей. Она поспешила к лестнице как раз в ту минуту, когда двое или трое людей вбежали в садик. Лицо первого было ей знакомо. Быстрее мысли она выхватила из-за пояса небольшой нож и, прошептав: «Отец, прощай»,— хотела поразить себя в грудь. Но было уже поздно: сильная рука схватила ее руку, и пальцы ее выпустили нож. Вслед затем на нее набросили широкое покрывало, схватили ее на руки и понесли с лестницы. Тем временем грабители рассыпались по дому, ища поживы. Впрочем, Иаков сам облегчил им труд, стащив в одну кучу все свои богатства. Разбойники уничтожали все, чего не могли захватить. Несколько минут спустя шайка уже направлялась к Квириналу. Пройдя сады Саллюстия, они углубились в пустынные сады

на Пинцийском холме. В этом безлюдном квартале они могли пройти незамеченными. Спустившись с Пинцийского холма, они перешли Фламиниеву дорогу и достигли Тибра немного выше мавзолея Августа. Отсюда направились вниз по реке, к Марсову полю и, наконец, остановились перед калиткой в стене амфитеатра Статилия Тавра, огромного каменного здания, как раз за чертой огня, который в эту минуту свирепствовал в деревянном амфитеатре на Марсовом поле.

Предводитель шайки вторично свистнул, и калитка отворилась. Толпа вошла в здание; в маленькой темной каморке сложили свою живую ношу. Тут с еврея и его дочери сняли плащи, развязали их и оставили вместе. Еврей тотчас начал стонать, молиться и плакаться, но Юдифь молчала. Прошло около получаса, наконец дверь отворилась, и вошел человек с факелом в руке.

— Эй, христиане!— крикнул он.

Лицо его было знакомо обоим пленникам. Иаков встал на ноги и ответил дрожащим голосом:

— Благороднейший Тигеллин, мы не христиане: это я, еврей Иаков, тот самый, что продал тебе камень, который и теперь красуется на твоем плаще; я и мое единственное дитя были похищены шайкой грабителей.

— Молчи! — крикнул Тигеллин, не сводивший глаз с Юдифи.— Ты христианин; разве ты не знаешь, где ты теперь находишься?

— Как могу я знать это, господин,— пробормотал еврей,— когда мои глаза были завязаны.

— Христиане подожгли Рим,— сказал Тигеллин,— я велел арестовать их всех; за этой дверью амфитеатр, где вас ожидают львы.

Крик ужаса вырвался из уст старого еврея; он бросился к ногам префекта, но Юдифь презрительно улыбнулась.

— Великий Тигеллин! Славный римлянин! — вопил Иаков.— Ты шутишь; да это одна из шуток нашего молодого императора! Ха, ха, ха! — и он истерически засмеялся, продолжая обнимать колени префекта.

— Слушай! — произнес Тигеллин.

Иаков умолк, и глухой, отдаленный рев диких зверей достиг его слуха.

— Похоже, это не шутки? — спросил префект со злобным смехом. Иаков упал на солому почти без чувств от ужаса.

— Спаси нас, спаси нас! — умолял он.

— Я для того и пришел, чтобы спасти вас! — ответил Тигеллин.

Еврей вскочил с криком:

— Да благословит тебя небо, благородный римлянин!

— Но это нелегко сделать,— продолжал префект,— и я требую награды.

— Я не богат,— отвечал еврей,— но все, что я имею, я готов отдать тебе, если ты спасешь нам жизнь — мне и моей дочери.

— Деньгами можно сделать много, но не все,— возразил Тигеллин.

— Чего же ты требуешь? — спросил еврей.

— Столько же поцелуев этих прекрасных губок, сколько Лесбия подарила Катуллу [25]! — воскликнул римлянин, приближаясь к еврейке.

— Неверная собака, прочь от меня! — презрительно сказала Юдифь.

Тигеллин замялся, а Иаков с удивлением воскликнул:

— Моя дочь! Жениться на моей дочери?

— Жениться на твоей дочери, старик,— грубо возразил Тигеллин,— нет, клянусь всеми богами; мы берем женщин варваров в любовницы, но не в жены.

Он сделал еще шаг к Юдифи; она попятилась и, наткнувшись на камень, выбитый из пола, чуть не упала, но устояла и, подняв камень обеими руками, крикнула префекту:

— Еще шаг, и я размозжу тебе голову!

Он был маленького роста, ниже Юдифи; притом пороки ослабили его да и по натуре он был труслив. После непродолжительного колебания он отступил и крикнул Иакову:

— Старый дуралей! Прикажи своей безумной дочери выкупить свою и твою жизнь.

Иаков закопошился в соломе и наконец ответил:

— Я не знаю, чего ты хочешь от меня, господин, но если... если...— голос его прерывался,— если эти драгоценности, все что у меня осталось теперь, могут спасти нашу жизнь, то возьми их и отпусти нас.

Он вытащил из-под туники мешочек и протянул его префекту.

Тигеллин схватил мешок и заглянул в него: он был полон жемчугов и драгоценными каменьями. Глаза любимца сверкали, пока он перебирал драгоценности.

— Это уже нечто,— сказал он,— но этого мало. Пусть твоя дочь принесет мне эти камни на своей прекрасной груди.

Иаков вздрогнул; язык отказывался служить ему.

— Отвечай, он ждет,— холодно сказала Юдифь.

— Послушай, как ревут львы,— усмехнулся Тигеллин, и снова отдаленное рычание наполнило коридоры.

— Отвечай ему! — повторила Юдифь.

Иаков вскочил на ноги и выпрямился перед гнусным префектом.

— Я еврей,— воскликнул он,— а наш отец Авраам продавал свою жену; но скорее я отдам мое тело зверям и дух мой на вечные мучения, чем пошлю мою дочь к тебе.

Юдифь радостно вскрикнула и обвила шею отца.

— Теперь ты мой отец! Да, ты мой отец! — воскликнула она, нежно прижимая его голову к своей груди.

Тигеллин побагровел от бешенства.

— Это вам не поможет! — заревел он.— Я брошу эту старую свинью львам, а ты... ты будешь жить и будешь моей.

Юдифь отвечала ему с тем же холодным презрением, что и раньше:

— В этой тюрьме нет закона, но неужели ты думаешь, что его нет и в Риме. Дай мне только выйти из этих стен, и сам Нерон не откажет мне в правосудии.

Он знал, что еврейка говорит правду. Римляне были суровый и справедливый народ. Знатные на Палатине и Целийском холме могли предаваться разврату и бесчинству, но народ, управлявший миром, не мог обходиться без строгих законов. Система, созданная в течение веков гражданской мудростью римлян, не могла уничтожиться от того, что безумец свирепствовал во дворце Цезарей или развращенная знать наполняла страницы истории своими грязными делами.

В минуту общей паники Тигеллин похитил еврея и его дочь; но Иаков был римский гражданин и, освободившись из темницы, в которую его спрятали, мог потребовать и получил бы удовлетворение.

Задыхаясь от бешенства и чувствуя, что его планы потерпели поражение, Тигеллин крикнул им:

— Коли так — умрите! — И вышел из темницы, захлопнув за собой дверь.

Юдифь усадила отца на солому и положила его голову к себе на колени.

— О, дитя мое! Дитя мое! — стонал он.— Господи! Умереть, умереть от когтей диких зверей.

— Полно! — пробормотала Юдифь.— Умереть — значит воскреснуть в Господе; он благословит тебя и дарует тебе вечную жизнь, потому что в эту ночь ты почтил имя Его.

Она наклонилась к нему, поцеловала его и нежно гладила его волосы, пока старик не заснул на ее коленях.

XXIII

Весь Рим был убежден или притворялся убежденным, что великий пожар — дело изменников-христиан. Свидетели показали, что перед самым пожаром в разных кварталах были замечены люди, закутанные с ног до головы, с факелами в руках. Император послал за городским префектом и заявил ему, что по всем признакам эти люди принадлежали к секте так называемых христиан и что не мешало бы арестовать их.

Префект, строгий администратор, почтительно заметил, что следовало бы иметь более точные доказательства. Нерон, проклиная про себя дотошного служаку, отпустил его. Через несколько дней явились доносчики, сообщившие, что христиане на своих тайных сборищах обсуждали план уничтожения не только Рима, но и всего государства. По словам доносчиков, они решились низвергнуть римскую власть и провозгласить своего царя правителем мира. Их мотивы, по словам тех же доносчиков, были исключительно корыстного свойства, потому что самые ничтожные из них надеялись получить в награду за свои услуги места губернаторов или начальников над легионами.

Нерон постарался дать возможно большую огласку их показаниям, и префект, побуждаемый взрывом народного негодования, отдал приказ арестовать всех исповедующих христианскую веру.

Бешенство народа не знало границ. Тысячи остались без крова, гордость Рима была унижена, три четверти города превратились в груду развалин. И все это было делом евреев и восточных иноземцев, нашедших в Риме приют и пищу. Народ требовал мщения. Последовавшая затем вакханалия казней была не менее ужасна, чем сам пожар. Христиане целыми семьями осуждались на смерть по доносам своих же отступников; из Африки и

Аравии должны были высылать львов для истребления осужденных.

Поппея с большим удовольствием следила за этими событиями, решившись со своей стороны воспользоваться случаем и погубить нескольких неудобных лиц. Бабилл внушал ей наибольшее опасение: он знал слишком много. Она упрекала императора за то, что он арестовывает ничтожных преступников и оставляет на свободе их вождя, Бабилла.

Нерон возразил, что астролог — еврей и ненавидит христиан сильнее, чем свинину.

Поппея, переменив тактику, возразила, что если он не христианин, то, во всяком случае, пророк; стало быть, знал о том, что должно случиться, и заслуживает казни за то, что не предупредил правительство.

Император уступил этой логике, и Бабилл был арестован. Через несколько дней он был приговорен к смерти главным образом на основании показаний Роды, служанки Поппеи.

Ободренная этим успехом, Поппея заметила императору, что в стенах дворца тоже есть христианка, напомнив при этом о связи Актеи с проповедником. Она намекнула даже, что Сенека, по всей вероятности, тоже примкнул к ненавистной секте.

Нерон отлично понял ее.

— Маленькая Актея! Какой вздор! — воскликнул он и прибавил сердито: — Актея менее причастна к этому пожару, чем ты.

— Но Сенека, наверно, христианин,— настаивала она с обиженным видом.

— В тебе слишком много ненависти, царица любви,— отвечал он холодным тоном.— Собаки на улице будут смеяться, если услышат, что мы называем Сенеку христианином.

Она отвернулась, чтобы скрыть свою досаду. Она обвиняла христиан в намерении сжечь Рим с целью погубить Актею. Но, по странному капризу судьбы, Рим был сожжен, а император становился между нею и ее жертвой. Это было досадно; она сильнее, чем когда-либо, возненавидела своего любовника.

Пока преследовали христиан, Иаков и его дочь оставались в темнице. Разозленный Тигеллин решил погубить их обоих. Он не осмелился притянуть их к допросу, потому что Нерон и Поппея разыскивали их.

Когда Тит вернулся после бесплодных поисков, им-

ператор заметался по комнате в припадке бешенства. Было бы безумием приближаться к нему в это время; но на следующий день, когда он успокоился, Тит рассказал ему обо всем и просил позаботиться о поисках пропавших.

Нерон, неизменный в своей привязанности к молодому центуриону, обещал сделать все возможное. Он послал за Тигеллином и, объявив ему, что шайка грабителей во время пожара похитила еврея Иакова из дома, велел префекту принять меры к разысканию еврея.

Тигеллин несколько смутился, и Нерон, проницательность которого равнялась его безумию, спросил резким тоном:

— Да уж не знаешь ли ты чего-нибудь о старом еврее и его дочери?

Любимец поклялся всеми клятвами, что ничего не знает, и, не убедив Нерона, поспешил скорее убраться. Впрочем, мысли императора недолго останавливались на таких пустяках.

Проходили дни за днями, а о пропавших не было ни слуха. Тит, терзаясь опасениями и нетерпением, пересилил свое отвращение и обратился за помощью к Поппее. Она нередко заглядывалась на красивого воина, и, когда он с видимой неохотой упомянул имя Юдифи, глаза ее ласково блеснули.

Она отнеслась к нему с большим участием и, расспрашивая о семье еврея, очень искусно выпытала его сердечные тайны. Поппея улыбалась ему очень нежно и даже взяла его за руку; но сердце центуриона было занято мыслью о Юдифи. Отпуская его, она скорчила обиженную гримаску и обещала сделать все, что от нее зависит.

На другой день Тигеллин явился к ней на террасу: он был ее вернейшим орудием, и каждый день являлся к ней за поручениями. Ее взгляд упал на драгоценную застежку, усыпанную рубинами и поддерживавшую плащ на плечах. Поговорив с ним некоторое время, она неожиданно воскликнула:

— Какие чудесные камни? Где ты их достал?

Он замялся и нерешительно ответил:

— Да, красивая вещица.

— Но где ты ее достал? — повторила она.

— Купил вчера,— отвечал он.

— Странно,— заметила она,— месяц тому назад ев-

рей Иаков предлагал мне купить ее, но я не ношу рубинов; сапфиры больше идут красивым женщинам.

Он смутился, а она продолжала:

— Еврей исчез после пожара; очевидно, грабители убили его или держат в плену ради выкупа.

— Я не знаю,— пробормотал он.

— Ну, разумеется! Откуда же ты можешь знать? — сказала она насмешливо.— Со своей стороны вовсе не жалею о нем: он был порядочный скряга, и, если он и его дочь совсем исчезнут с лица земли, Рим ничего не потеряет.

Тигеллин перевел дух и ответил:

— Может, он бежал от пожара и вернулся на родину. Вряд ли он сыщется.

— Вряд ли! — сказала Поппея и, завернувшись в покрывало, пошла во дворец.

Месяц спустя Рим нетерпеливо ждал развлечений; император объявил о трехдневном празднестве в амфитеатре Статилия Тавра. Никогда римские гуляки не были в таком возбуждении, потому что зрелища обещали быть исключительными, великолепными.

День выдался теплый и солнечный, и с раннего утра толпы людей в праздничных одеждах стекались к Марсову полю. Около пятидесяти тысяч мужчин, женщин и детей весело спешили к амфитеатру. Тут были важные сенаторы в тогах с пурпурной каймой, патриции, украшенные золотым обручем, граждане в белых одеждах, увенчанные гирляндами цветов. Тут же толпилась и пестрая чернь в самых разнообразных костюмах, болтавшая на всевозможных языках: широкоплечие германцы из Эльбских лесов, юркие галлы с шумных пристаней Марселя, испанцы из Кордовы, с гордостью произносившие имя своего юного соотечественника Марциала и шепотом сообщавшие друг другу, что и великий опальный министр испанец родом. Тут были парфяне, бившиеся за своего царя Вологеза: жители Армении, подданные могущественного Тиридата; оборванные евреи из еврейского квартала; смуглые египтяне из Александрии, вспоминавшие о старых временах, когда римские полководцы слагали свои мечи к ногам Клеопатры. Были тут и высокомерные британцы, напавшие по повелению своей королевы на легионы Светония и нашедшие поражение и изгнание, и толстогубые негры с далеких нильских берегов, потешавшие толпу своими криками и жестами.

Все стремились в амфитеатр. Это была огромная постройка овальной формы, казавшаяся сверху какой-то чудовищной чашей Титана. Мраморные сиденья рядами спускались книзу; нижний ряд был защищен от нападения животных медной решеткой.

Народ хлынул через все двери амфитеатра с хохотом и шутками: то тут, то там возникали ссоры из-за мест. Места были распределены сообразно рангу зрителей. Самое выгодное занимал подиум, или императорская ложа, выдававшаяся фута на два в арену. В ней под балдахином стоял дубовый трон, покрытый тигровой шкурой, а рядом с ним — мягкое ложе. Пониже балдахина помещалась группа весталок в белых одеждах, за ними стояли ликторы. Направо и налево от подиума находились места для сенаторов; за ними несколько рядов скамей для воинов. Дальше и выше толпилось простонародье.

Толпа поспешно рассаживалась по местам, и веселый гул десятков тысяч голосов наполнил амфитеатр. Огромный малиновый, расшитый золотом навес, растянутый над зданием, колыхался под дуновением утреннего ветерка, и яркие лучи солнца, проникавшие сквозь него, окрашивали все предметы пурпурным цветом.

Небольшая группа молодых людей, явившихся в амфитеатр в числе первых зрителей с каким-то весьма почтенным с виду стариком, заняла хорошие места, тотчас за скамьями воинов, позади императорской ложи. Старик, пыхтя и отдуваясь, уселся на скамью.

— Тут тебе будет удобно, отец Модест,— сказал один из молодых людей.— Отсюда мы увидим все не хуже Цезаря.

— Да, да! — проворчал старик.— Я увижу все, что будут показывать.

— Говорят,— воскликнул другой,— что четыре нильских крокодила будут драться с шестью львами из Ливийской пустыни.

— Отец Модест,— сказал третий,— я побился с Луперком об заклад на десять сестерций против трех, что Спицилл убьет сегодня троих; как ты думаешь, выиграю я?

Еще кто-то воскликнул:

— Спицилл! Стоит ли говорить о Спицилле! Я рассчитываю увидеть, как Квинт Фабий или Максим Курций будут сражаться со львами. Отрадно видеть, как на-

ши аристократы, подобно рабам, осужденным на смерть, бьются с дикими зверями.

Насмешливый хохот раздался в толпе молодых людей, но старик вздохнул и покачал головой.

— По этому канату, отец Модест, пройдет слон с человеком на спине? — спросил юный мальчик, указывая на толстый канат, протянутый над ареной.

— Да, да, по этому, милый мой,— отвечал старик.

Какой-то человек, до сих пор хранивший молчание, вмешался в разговор:

— Меня нисколько не интересуют эти забавы, я пришел посмотреть, как звери будут терзать проклятых христиан. Они сожгли мою лавчонку и пустили меня по миру, будь они прокляты!

Гул единодушного одобрения раздался в толпе:

— Да, будь они прокляты! Они разорили всех нас!

— Я не возьму ничего в рот, пока звери не растерзают пятьсот христиан! — прибавил тот же человек.

— Ах, молодые люди! Молодые люди! — сказал старик, задумавшийся о чем-то.— Шестьдесят лет тому назад я сидел на этом самом месте с моим отцом; а божественный Август находился вон там с императрицей Ливией и молодыми Тиверием и Германиком. То был великий день: тысяча гладиаторов билась на арене от восхода до заката солнца — никому не давали пощады. Наконец остался один, да и тот умер от ран, пока народ рукоплескал ему. Но Август был человеколюбив и с этого дня запретил биться без пощады. Да! В старое время было не то, что нынче...— И он пустился в свои старческие воспоминания, которые молодые люди слушали с почтительным терпением.

Рассказы его были прерваны громкими криками; все зрители поднялись с мест, восклицая:

— Цезарь! Цезарь! Август! Богоподобный! Великий артист!

Нерон в пурпурной тоге величественно вошел в свою ложу. Рядом с ним шла Поппея в легком шелковом платье, сиявшая драгоценными каменьями. За ними следовал Тит. Император сел, Поппея опустилась на ложе, а Тит остановился позади трона.

Толпа постепенно затихла; наступила тишина; тогда император поднял руку и дал знак начать зрелище.

Кто смог бы описывать эти кровавые и жестокие сцены? Пусть они остаются во мраке прошлого, на разрозненных страницах древних писателей.

Утро миновало; солнце палило сквозь покров над цирком, и песок на арене окрасился кровью животных и людей. Крокодил схватил тигра своими чудовищными челюстями и умертвил его; народ застонал от удовольствия. Гладиатор схватился с противником, превосходившим его силой и ловкостью, и презрительно играл с ним, как кошка с мышкой, и, наконец, нанес ему смертельный удар при криках и хохоте зрителей. Юноша-христианин, окруженный голодными зверями, стал на колени, вручил дух свой Христу и умер среди шуток и насмешек толпы.

Нерону скоро надоело это зрелище; он больше любил осуждать на казнь, чем следить за ее исполнением. Поппея с наслаждением следила за перипетиями этой бойни, а Тит стоял равнодушный и рассеянный за императорским креслом.

Уже много христиан или предполагаемых христиан было истреблено, и народ начинал требовать перемены в программе, когда дверь одной из темниц отворилась, и высокая девушка замечательной красоты выступила на арену, поддерживая слабого старика. В ту же минуту три льва и тигр выскочили на арену с противоположной стороны и в первую минуту бросились друг на друга, оглашая амфитеатр ревом и рычанием. Девушка, поддерживавшая старика, бесстрашно ожидала нападения; и толпа, пораженная ее твердостью, приветствовала ее легким гулом одобрения.

Этот гул вывел Тита из задумчивости и заставил взглянуть на арену. Он едва удержался от ужасного крика. Подле него стоял солдат преторианской гвардии; Тит вырвал у него меч и щит, перескочил через Поппею и спрыгнул на арену под ними.

Нерон с удивлением встал с кресла; Поппея, опершись локтями на балюстраду, с беспокойством следила за центурионом. Звери перестали ссориться и бросались к своей добыче; отчаянная борьба началась между ними и Титом. Однако он опередил их, и, схватив девушку, с силой гиганта перекинул ее через плечо и прикрыл своим длинным щитом.

Она жалобно воскликнула:

— Мой отец, о, мой отец!

Тит приостановился, но уже было поздно. Слабый старик покатился на арену, голодные львы накинулись на него, тогда как тигр устремился к центуриону.

Тит медленно отступал, лицом к чудовищу.

Тигр сделал скачок, воин увернулся так легко, как будто нес ребенка,— и нанес тяжелый удар зверю, ранив его в лапу. Тигр заревел от бешенства и боли, снова ринулся на солдата, и тут, в течение немногих мгновений, показавшихся часами, перед изумленными зрителями разыгралась картина борьбы, какой никогда не видел старейший из них. Тит бился с разъяренным зверем так же хладнокровно, как будто дрался в учебном бою с приятелем; его длинный щит и сверкающее лезвие меча всегда были перед глазами тигра. Один раз тяжелая лапа опустилась на щит, и пятидесятитысячная толпа содрогнулась от ужаса; но за щитом находилась сильнейшая рука в Риме, тигр отступил с тяжелой раной на боку, но снова приготовился к прыжку, и когда Юдифь приподняла голову, то лапа тигра коснулась ее головы. Она не была ранена, но голова ее упала на плечо центуриона. В эту минуту он пронзил мечом шею тигра. Зверь заревел, упал на землю и издох.

Тит взглянул на Юдифь, и сердце его замерло; он отбросил щит и меч, опустил Юдифь на песок и бросился на колени возле нее. Она была мертва.

Один из львов, оставив тело Иакова, направился к воину. Но в амфитеатре поднялся шум, народ требовал, чтобы жизнь героя была спасена.

Нерон дал знак; толпа служителей, вооруженных бичами и копьями, бросилась на арену, загнала львов в клетки и вынесла тело Юдифи.

Тит вернулся к императору; толпа приветствовала его оглушительными аплодисментами, а Поппея ласково поглядывала на него из-под полуопущенных ресниц.

XXIV

Тит сделался героем дня в Риме. Простонародье в цирюльнях, банях, на улицах прославляло его силу. Молодые аристократы насмешливо называли его современным геркулесом и осыпали насмешливыми комплиментами.

Но в домах нескольких старых сенаторов он получил другое прозвище. Эти неисправимые мечтатели радовались, что в Риме еще остался человек, воин, способный сражаться. Они восхваляли его доблесть и называли его современным Брутом. Римлянки обсуждали его на-

ружность, фигуру, силу, мужество, но осуждали его вкус. Большинство из них сожалели, что такой прекрасный молодой человек мог рисковать жизнью ради какой-то еврейки, а те, чья репутация была слишком известна, осуждали безнравственность молодых людей, связывающихся с иностранками.

Тит вернулся к своей дворцовой службе. Первая скорбь скоро прошла, и он принялся за обычные занятия. Он тщетно старался открыть виновников заговора, погубившего Иакова и его дочь. Сначала он заподозрил Нерона, но император так искренне сожалел о смерти его возлюбленной, что Тит не мог не поверить в его чистосердие.

Нерон догадался, чьих рук это дело; и при первом удобном случае послал за Тигеллином и обвинил его в убийстве Иакова и Юдифи. Испуганный любимец сознался во всем, и в первую минуту Нерон хотел отдать его на съедение львам по закону возмездия. Но добрые намерения императора всегда были слабы и мимолетны. Он подумал, что Тигеллин очень полезный негодяй, и изменил свое решение, объявив, что сообщит обо всем Титу.

— И разумеется,— подытожил он,— через пять минут после этого солдат перережет тебе глотку.

Это предположение показалось Тигеллину весьма правдоподобным; он умолял Цезаря о пощаде, и тот, чувствуя, что благоразумие требует временного удаления префекта, сослал его на несколько месяцев в Байи.

Тит и не думал подозревать Тигеллина, а Поппея окончательно сбила его с толку.

Через день или два после сцены в амфитеатре она позвала его к себе.

— Сядь подле меня,— сказала она,— и поговори со мной.

Тит уселся, но молчал, частью от замешательства, частью от презрения.

— Так-то ты занимаешь женщину? — воскликнула она и прибавила с лукавой усмешкой: — Ты тоскуешь о черноокой девушке.

— Я тоскую о своих друзьях,— отвечал он просто.

Поппея широко открыла глаза, заблиставшие детским лукавством, и воскликнула:

— Я отдала ее на съедение львам!

— Ты? — отвечал Тит, вскакивая.— Зачем?

— Затем, что мне так хотелось,— отвечала она неж-

ным голоском. И, глядя на него из-под своих длинных ресниц, прибавила: — Ты очень храбр и хорош собой.

Тит повернулся и ушел, а Поппея откинулась на ложе, заливаясь смехом.

— Очень хорошее начало,— подумала она, приветствуя жестом Нерона, появившегося на террасе.

Здравый смысл центуриона указал, как ему быть с этим случаем. Если бы даже память о Юдифи угасла в его сердце, он все-таки поступил бы благоразумно. Поппея всегда возбуждала в нем отвращение. Притом же он знал, что она не посовестится оклеветать его перед Нероном, лишь только он ей надоест.

Он серьезно подумывал оставить дворец и вернуться в преторианский лагерь, но гордость заставила его отказаться от этого намерения, тем более что в случае его бегства Поппея могла погубить его из оскорбленного тщеславия.

В конце концов Тит избрал самый лучший, как ему казалось, путь. Он продолжал исполнять свои обязанности, по возможности избегая Поппеи и относясь к ней с равнодушием. Но он не мог бы придумать ничего лучшего, если бы хотел уколоть тщеславие женщины, привыкшей побеждать с одного взгляда. Она не отставала от него, к великой досаде молодого человека, который каждую минуту ожидал, что Нерон узнает о ее намерениях.

Он находил некоторое утешение в обществе Актеи. Она слышала о смерти Юдифи. Иногда она прогуливалась в уединенных аллеях дворцового сада, где не рисковала встретить Нерона и Поппею. Тит часто сопутствовал ей, и ее сострадание облегчало его скорбь.

— Нельзя так сокрушаться,— говорила она.— Странно, что в то время как смерть каждый день уносит новые жертвы, ты не хочешь верить в Спасителя. Как можно выносить скорбь, не имея надежды?

— Нет, нет,— воскликнул он,— моя скорбь никогда не заставит меня поверить в ложь.

И с тех пор Тит старался избегать разговоров на эту тему. Но все-таки его тянуло к Актее, потому что ее теперешняя грустная кротость была так же приятна для него, как шумное веселье прежних дней.

Он поражался происшедшей в ней переменой. Вся ее красота исчезла: лицо осунулось и поблекло, глаза потеряли свой прежний блеск. В золотистых кудрях

мелькнули серебристые нити; стройная фигурка утратила прежнюю грацию. И все-таки она производила чарующее впечатление на Тита. Может быть, это зависело от того, что ее голос звучал нежнее и мягче, чем прежде. Как это ни странно, она напоминала Титу его возлюбленную, хотя Юдифь была горда и сильна, а Актея смиренна и слаба. Но в обеих было что-то не от мира сего, вечное стремление к неземным вещам, отличавшее их от всех, кого знал молодой воин. Век состарился, религии пришли в упадок, философские системы возникали и рушились, угрюмое неверие распространилось в мире; умы, постоянно обращенные к земным вещам, огрубели и впадали в спячку, и мудрейшие люди того времени чувствовали необходимость новых принципов и стимулов жизни.

Тит смутно понимал, что Актея обрела надежду. Загробная жизнь была в ее глазах гораздо реальнее здешней, а муки и испытания земного существования исчезали при созерцании вечности. Мысли и дела измерялись не условными правилами традиций, а любовью к Богу и желанием служить Ему. Раздумывая об этом, Тит убеждался, что вера Актеи должна быть великим утешением в жизни; но его размышления всегда кончались презрительным пожиманием плеч:

— Как могут люди верить сказкам?

Однажды он сообщил Актее новости о проповеднике. Этот человек был римский гражданин, и Нерон не мог распять его или бросить львам. Проповедник воспользовался правом апелляции и предстал перед судом императора для защиты от обвинения в мятеже. Его красноречие восхитило судей, которые, с обычной у римлян терпимостью ко всяким сектам и вероучениям, объявили, что обвинение не доказано.

Вторично он предстал перед тем же судом в дни крайне дикого и общего негодования против христиан. Нерон сам вел допрос, и проповедник мужественно обличал пороки императора. Это решило его судьбу; Нерон высказался за обвинение, а большинство судей согласилось с ним, радуясь, что могут угодить и императору и народу. Проповедник был осужден на смерть от меча, а казнь назначена на следующее утро.

Когда Актея узнала об этом, слеза скатилась по ее щеке, но она только сказала:

— Господь призвал к себе своего слугу.

Ей хотелось повидаться в последний раз со своим другом и учителем, и Тит из сострадания согласился помочь ей.

Рано утром они вышли из дворца и направились по Аппиевой дороге к Большому цирку. Тут свернули направо, миновали Авентинский холм и вышли через Остийские ворота к гробнице некоего Кая Цестия.

Облокотившись на низкую ограду гробницы, Актея смотрела на город. Тит молча стоял возле нее. Вскоре бряцание оружия и мерный звук шагов возвестили о приближении стражи. Богатое вооружение, высокий рост и быстрая, решительная походка воинов показали Титу, что приближающийся отряд принадлежит к преторианской гвардии. В середине отряда седой старик со связанными руками старался поспевать за воинами. Впереди шел молодой офицер с нахмуренным лицом, по-видимому, очень недовольный доставшимся на его долю поручением. Тит узнал в нем одного из своих друзей. Когда отряд подошел к могиле Цестия, Актея бросилась к нему, прежде чем Тит успел остановить ее, и хотела подойти к старику, но воины грубо оттолкнули ее. Тит поздоровался с офицером, который назвал его по имени, и воскликнул:

— Это просто позор для преторианцев! Нас заставляют исполнять обязанности палачей.

Тит шепнул ему на ухо несколько слов, и офицер велел отряду остановиться. Актея приблизилась к ним, и по знаку начальника ряды воинов раздвинулись. Когда она проходила между ними, офицер с любопытством взглянул на нее, но она была окутана черным покрывалом, которое, впрочем, не вполне закрывало ее золотистые волосы с проглядывавшими уже сединами. Офицер, видавший ее во всем блеске красоты в носилках императора, пробормотал:

— Боги! Как переменилась! — И стал расспрашивать Тита об опальной фаворитке.

Актея остановилась перед пленником и сказала:

— Отец мой, благослови.

— Бог благословит,— отвечал он.— Кто останавливает меня на пути к Господу?

— Я, Актея,— сказала она, откидывая покрывало.

Ей не нужно было рассказывать о своих страданиях, они были написаны на ее поблекших щеках, в ее угасших глазах.

Лицо проповедника дышало состраданием, когда она взглянула на него.

Актея заметила это, и нервы ее не выдержали; сердце ее разрывалось при мысли, что она послужила причиной смерти проповедника.

— Я погубила тебя! — воскликнула она.— Прости! Прости!

Улыбка, почти веселая мелькнула на губах проповедника.

— Дочь моя! Дочь моя! — отвечал он.— Сокрушайся о несчастных, а не о счастливых. Я окончил мой труд и иду на отдых. А теперь,— прибавил он, выпрямляясь величественно, как имеющий власть запрещать и разрешать,— да простит Бог твои грехи, да даст Он тебе терпение и силу ожидать Его прихода.

Он поднял над нею свои связанные руки; отряд двинулся дальше, и, когда Актея оглянулась, он уже миновал ворота и направился по Остиевой дороге к источнику Сильвия, где великий ученый должен был принять смерть.

Горесть Актеи тронула Тита, который стал утешать ее с грубым, но искренним участием.

— Всякий должен умереть,— говорил он,— он был старик, а для старика смерть часто бывает желанным другом. Безумно сокрушаться о том, что́ не в нашей власти.

Тит вспоминал правила стоической философии, которые когда-то слышал от своего старого учителя. Но тут же вспомнился ему амфитеатр, Юдифь, бледное, спокойное лицо, лежавшее на его плече, и он умолк.

«Ах! — подумал он,— легко старикам сочинять мудрые правила; но в конце концов слова не могут облегчить тоску молодого сердца; может быть, оно становится жестче с возрастом».

Новые заботы смущали Актею. Она все еще жила во дворце, и хотя уже потеряла власть над изменчивым сердцем Нерона, но все же ее стол ломился под тонкими блюдами, гардероб полон драгоценных платьев, и рабы до сих пор, хотя, может быть, и неохотно, исполняли ее приказания. Она помнила выражение проповедника: «Утехи разврата»,— и ее обстановка внушала ей ужас. Дорогие яства казались ей отвратительнее объедков, которыми питается население Субуры; шелковые платья — позорнее лохмотьев; мягкое ложе — жестче камен-

ных скамей в Мамертинской тюрьме; «Утехи разврата» огненными буквами отпечатались в ее сознании, и ночью она просыпалась с этими словами. Наконец ей стало невмочь переносить эту унизительную обстановку, и она решилась оставить дворец. У нее не было друзей и приюта, но она верила в помощь Творца, о котором говорил проповедник.

Рано утром после бессонной ночи она вышла в сад и, встретившись с Титом, сообщила ему о своем намерении. Тит долго спорил с ней, доказывая, что это значит осудить себя на нищету. Но она твердо решила исполнить свое намерение и просила Тита сообщить об этом Нерону.

Сначала Тит постарался разыскать убежище для Актеи. В числе его знакомых были две очень достойные женщины, христианки, жившие в небольшом домике по Фламиниевой дороге, за городской стеной. Решив, что Актея может поселиться у них, он сообщил Нерону о ее намерении.

Император терпеливо выслушал его.

— Бедная крошка Актея,— сказал он,— пожалуй, лучше, если уйдет. Я хочу попрощаться с ней.

Он вошел в комнату Актеи, сопровождаемый Титом. Уже несколько месяцев он не видел девушку. Перемена, происшедшая в ней, поразила его.

— Неужели это Актея? — воскликнул он при виде ее бледного лица и седых волос.

Она стояла перед ним одетая в простое черное платье.

— Да,— ответила она,— я Актея.

Даже в Нероне была искра доброго чувства, только подавленная пороком и безумием. Угрызения совести проснулись в нем; он взял ее за руку и сказал:

— Здравствуй, Актея! Мне очень жаль тебя.

Губы ее задрожали:

— Здравствуй, я буду молить Бога, чтобы он простил нас обоих.

Час спустя он забыл о своем минутном раскаянии и, болтая с Поппеей, заметил:

— Актея решилась уйти.

— Гречанка, жившая во дворце? — воскликнула она.— Пошли за ней; я хочу с ней попрощаться.

Лицо Нерона вспыхнуло гневом.

— Нет,— отвечал он резко,— я не хочу, чтобы ты над ней издевалась.

Поппея стиснула свои белые руки, и в глазах ее сверкнул огонек. Однако она промолчала.

XXV

После пожара Нерон выказал большое участие к жителям Рима. Он открыл свои сады, приютил в беседках и портиках бездомных, щедро оказывал помощь голодающим.

Но особенную популярность приобрел он упорным и беспощадным гонением на христиан. Когда в них оказался недостаток, он напустился на евреев: сжег, распял и бросил зверям многих учителей иудейской веры.

Римляне, разумеется, не делали строгого различия между восточными сектами, и хотя император имел больше сведений на этот счет, но ему выгодно было притворяться несведущим.

Успех его заговора превзошел все его ожидания. Простонародье поверило в виновность христиан, и он, затыкая рты черни хлебом, увеселяя их глаза зрелищем бойни, а уши стонами жертв, преспокойно завладел землей, на которой думал выстроить дворец.

Золотой дом, о котором мечтал Нерон и который действительно получил это название, должен был занять целый квартал. Часто гуляя с Поппеей по саду, они смотрели на выжженное предместье и мечтали о Риме, который бы состоял целиком из дома и владений императора, и где Нерон и Поппея царствовали бы, окруженные рабами.

Народ с тупым удивлением смотрел на деревья, посаженные на месте сгоревших домов, беседки и храмы, возникшие на месте таверн и лавок, каскады, струившиеся там, где прежде пролегали шумные улицы. Народ получил кров и пищу, зверские аппетиты его были удовлетворены, и он приветствовал радостными кликами Цезаря, когда тот проходил по выжженным предместьям, осматривая работы.

Но среди патрициев ропот усиливался, и старый рассказ о Бруте повторялся чаще, чем когда-либо.

Самым рьяным патриотом в Риме был Кай Пизон. Он происходил из семьи Кальпурния[26] и очень гордился этим, что не мешало ему прославлять Афинское государство, где ум значит все, а происхождение — ничего. Высокого роста, рыжий, с фамильярными манерами и громким голосом, тщеславный, он был пугалом и любимцем сената. Одно время старая партия стоиков-патриотов смотрела на него подозрительно: его мнения о функциях государства и методах управления не могли быть по вку-

су ни Тразее с его друзьями, ни императору. Он ухаживал за чернью, говорил простолюдинам, что Римская империя не Сенека, не Лукан, не Персий, не солдат Светоний, не богатый стоик Тразеа, не блистательная, неустрашимая, коварная Агриппина, не император Нерон, а они сами, мудрый, великий народ. Однажды он навлек на себя целую бурю насмешек и брани, объявив, что сословие сенаторов понажилось, ограбив мир, и что народ очень глупо делает, позволяя себя стричь кучке себялюбивых аристократов. Нерон, ненавидевший знатных и искавший поддержки у черни, втайне радовался скандалу, который произвело это заявление; но Сенека горячо спорил с молодым человеком.

В действительности Пизон руководился в своей общественной деятельности одним искренним чувством — завистью к Сенеке. Способности, красноречие, изворотливость старого философа раздражали его. Он жаждал богатства и власти и не мог добиться их. Сенека не заботился об этих вещах и пользовался ими в полной мере. Выставляя напоказ свое богатство, Сенека восхвалял бедность; руководствуясь в государственных делах утилитарными соображениями, проповедовал правила чистой морали. Римляне относились с почтением к хитрому министру и смеялись над бесстрашными выходками и протестами Пизона; это бесило его.

Подобно большинству честолюбцев того времени, он добивался отличий, притворяясь другом министра, хотя постоянно замышлял измену. Наконец представился случай нанести удар Сенеке. Возникло хлопотливое дело с населением испанской провинции Бетики. Представлено было много жалоб на хищничество проконсулов, и в Риме ходили слухи о печальном состоянии провинции. В один из дней явилась депутация с жалобой на губернатора и с просьбой назначить проконсулом некоего Кая Семпрония Паралла, испанца, весьма достойного человека, хорошо знакомого с нуждами населения.

Сенека горячо поддерживал жалобу испанцев на несправедливого губернатора, но убеждал сенат отказать в просьбе о Паралле и в возникших по поводу этого дебатах высказался против участия провинциального населения в избрании проконсулов. Он заметил также, что еще неизвестно, все ли население Бетики желает Паралла.

Один из друзей Пизона был отправлен для исследования дела. Еще более печальные слухи стали доходить

до Рима, и в свое время явилась новая депутация с новыми жалобами и новой петицией в пользу Паралла.

Тем временем Сенека подробно рассмотрел дело и убедился, что в Бетике нечего ждать порядка, пока не будет назначен Паралл. Тогда он быстро принял решение и просил Нерона намекнуть сенаторам, что назначение Паралла было бы ему очень приятно. Намек императора произвел свое обычное действие, и Паралл получил должность проконсула.

Удивление и негодование «патриотической» секции не знало границ, и Сенека на бурном заседании принужден был доказывать, что его решение имеет в виду интересы республики.

Это было на руку Пизону. Он встал и в гневной речи обрушился на своего старого друга, цитируя его прежние мнения, осуждая его непостоянство и намекая на корыстные мотивы его деятельности. В заключение он объявил, что сенат, согласившись под влиянием Сенеки удовлетворить бесстыдные требования кучки провинциалов, нанес удар государству и навсегда запятнал его славу.

Сенека отнесся к этим нападкам с хладнокровием истинного философа, но не мог не сознавать, что они еще более ослабили его пошатнувшееся влияние на императора; и когда падение его свершилось и Пизон публично хвастался, что это он ниспроверг министра, Сенека чувствовал, что в его словах есть доля правды.

Пизон ничего не выиграл от своей измены; до тех пор ему верили лишь немногие — теперь никто не стал верить. Он льстил императору, который бранил его; пытался сблизиться со стоиками, но те отталкивали его; произносил речи перед сенаторами, но они смеялись над ним; ухаживал за Поппеей, которая пересказывала его комплименты Нерону; заводил интриги с Тигеллином, который выманивал у него деньги,— и ко времени великого пожара не было в Риме человека с такой дурной репутацией, как Пизон, и он сам отлично знал об этом.

Не таково было положение Сенеки. Опальный министр был счастливее чем когда-либо. Избавленный от государственных забот, он возился со своими книгами или копался в саду, любуясь гроздьями винограда. Паулина окружала его заботами, и временами, глядя на ее благородное лицо, он казался самому себе помолодевшим.

— Ах,— сказал он однажды,— мне почти семьдесят лет, а жил я не более года.

Паулина тоже была счастлива, но не могла, подобно мужу, изгнать из своего сердца честолюбивые мечты. В первые дни брачной жизни она решила жить спокойно, в тени своего виноградника. Но она была жрицей Весты, принимала участие в управлении миром, испытала сладость могущества и власти. Честолюбие ее не было эгоистическим, она думала только о муже, и так как он был счастлив, то ее горделивые мечты на время заглохли.

Но она интересовалась римскими делами, и, когда друзья, оставшиеся верными Сенеке и навещавшие Номентанум, сообщали ей о бедствиях республики, она думала о тирании, угнетавшей человечество, и, глядя на своего мужа, мудрого, справедливого государственного человека, еще способного управлять миром, вспоминала слова, сказанные ею на террасе Нерона: «Велик ты и будешь еще выше».

В числе посетителей Номентанума был трибунал преторианской когорты по имени Субрий Флавий Это был честный и умный воин, обязанный своим возвышением Сенеке и еще более привязавшийся к нему после его падения. Он не мог принимать участия в ученой беседе философа с друзьями и часто уходил в сад прогуливаться с Паулиной, пока остальное общество спорило о запутанных философских проблемах или комментировало греческие стихи. Гордый дух Паулины, а может быть, и ее величавая красота производили глубокое впечатление на трибуна; и хотя он даже в мыслях не имел чего-нибудь обидного для своего знаменитого друга, но не скрывал удовольствия, которое доставляли ему прогулки с Паулиной.

Хотя она и была жрицей, а теперь женой философа, но женский инстинкт подсказал ей, что ее общество приятно трибуну, прежде чем он сам догадался об этом. Она знала себя и его; он был вернейший друг, который скорее сто раз наложил бы на себя руки, чем позволил бы себе малейшее оскорбление своему благодетелю; что касается Паулины, то в ее благородной натуре не было и тени порочности, и не существовало такого мужчины, который мог бы заставить ее пульс биться скорее, чем обычно.

Субрий скоро заметил, что Паулина интересовалась всем, что говорилось и делалось в Риме. Он сам чувствовал позор правления Нерона. Его римская натура возмущалась грубым фарсом, разыгравшимся под управлением этого скомороха, его любовниц и любимцев. Он с полной откровенностью изливал свое негодование перед

Паулиной. Постепенно Паулина составила себе представление о недовольных элементах римского общества.

Нерон под влиянием Поппеи и недостойных любимцев вроде Тигеллина окончательно распустился, и с каждым днем наживал новых врагов своим развратом, жестокостью и сумасбродством. Пожар, в котором народ обвинял его, несмотря на казни невинных христиан, до некоторой степени сплотил недовольных. Простонародье было разорено, патриции вечно в тревоге, и даже самые смирные люди начинали говорить, что, если государство не уничтожит Нерона, Нерон уничтожит государство.

Субрий сообщал обо всем этом Паулине. Ее честолюбивые мечты, никогда не исчезавшие вполне, все болсе и более оживали, и она начинала думать: «Если Сенека не хочет сам нанести удара, то я должна сделать это за него».

Под ее влиянием недовольство Субрия превратилось из бесплодных жалоб в угрозу. Тогда Паулина решила, что боги посылают ей готовое орудие.

Однажды, после обеда, Сенека читал своим друзьям небольшой трактат, только что оконченный им, а Паулина и Субрий прогуливались по саду. Дойдя до небольшой мраморной беседки, Паулина вошла в нее; Субрий последовал за нею. Она уселась на скамейке и прислонилась к мраморной колонне, охватив руками затылок, чтобы защитить голову от холодного камня. В этой позе ее величавая фигура выступала особенно рельефно и лицо, обращенное кверху, казалось прекраснее чем когда-либо. Честность трибуна подвергалась величайшему испытанию; ему захотелось броситься перед ней на колени и целовать ее ноги. Она казалась ему воплощением благороднейшего идеала сероокой Минервы, и ему пришла в голову странная мысль, что у Париса был прескверный вкус [27].

Он только что рассказал ей о новой выходке Нерона, а когда они вошли в беседку, сообщил, что негодование и раздражение растут среди преторианских войск, жалованье которым задерживается, между тем как на постройку Золотого дома ухлопываются миллионы сестерций. Он прибавил, что воины, проклинают императора, который добивается славы в цирке и ни разу не выходил на поле битвы.

Паулина устремила свои холодные глаза на солдата и медленно проговорила:

— Я только женщина, и многое недоступно моему пониманию. Неделю за неделей, месяц за месяцем слышу я рассказы об этих бесчинствах и преступлениях, и начинаю думать, что в Риме не осталось ни одного мужчины.

Солдат покраснел при этих обидных словах.

— Ты жестока,— сказал он,— я думаю, что еще осталось несколько мужей, но что они могут сделать?

— Поступить мужественно! — быстро ответила она. И не спуская с него глаз, продолжала: — Я помню, как однажды бешеная собака ворвалась в дом моего отца. Испуганные рабы разбежались, но мой отец схватил дубину, бросился на бешеного зверя и нанес ему смертельный удар: он не хотел оставить жену и детей на произвол бешеного животного — он был мужчина.

Субрий встал и ответил с глубоким волнением:

— Довольно, госпожа. Ты требуешь моей жизни; если б у меня была их дюжина, они все были бы к твоим услугам.

Едва заметная улыбка мелькнула на губах Паулины.

— Я не требую и не имею права требовать твоей жизни,— сказала она ласково,— и ты не должен предлагать ее мне, но я хочу, чтобы всякий, кто дорожит моей дружбой, помнил, что он римлянин.

Солдат, оставив недомолвки, решился говорить откровенно.

— Как же должно совершиться это дело,— сказал он,— тайно или открыто?

Она отвечала с некоторым нетерпением:

— Может ли женщина решить этот вопрос? Открытое восстание лучше, но так или иначе, а дело должно быть сделано.

— Одно необходимо для успеха,— сказал Субрий,— руки есть, но где найти голову? Укажи нам предводителя.

— Ты сам будешь им, добрый Субрий! — воскликнула она ласково, наклоняясь к нему.

Трибун покачал головой.

— Нет,— возразил он,— кто согласится пойти за ничтожным преторианским офицером? Нам нужен вождь совсем иного рода. Пусть будет...— И он прошептал имя Сенеки.

— Нет, нет! — воскликнула она.— Какие вы мужчины герои, если не можете обойтись без старика, если усталый мозг должен быть вашим руководителем и дрях-

лое тело щитом. Нет, Флавий, я не хочу, чтобы вы отняли у меня моего мужа.

— Но кто же еще в Риме может заменить его? — спросил трибун.

Она помолчала с минуту, потом сказала задумчивым тоном:

— Я много наслышалась о Кае Пизоне, он знатного рода, тщеславен, честолюбив и смел. Он готов на все и неразборчив в средствах. Его пороки скорее нравятся, чем возмущают народ. Пусть он будет вашим вождем.

— Ты хочешь провозгласить Кая Пизона императором? — спросил он с изумлением.

— Да сохранят нас боги от этого! — воскликнула она.— Нет, я не хочу, чтобы Кай Пизон сделался императором. Я сказала: «Пусть он будет вашим вождем».

Уходя, Субрий думал: «Я убью Нерона, и Сенека будет управлять миром; Рим выиграет от этого, но я...»

Он заставил себя не думать об этом и пошел в преторианский лагерь.

XXVI

Субрий Флавий отправился к знакомому офицеру, который в эту ночь пригласил на обед некоторых товарищей, в том числе Фения Руфа, капитана преторианской гвардии.

Бедный Субрий вовсе не был расположен к веселью; он предпочел бы отправиться домой спать; но собрание смелых и недовольных офицеров казалось ему подходящим, чтобы начать отчаянное предприятие.

Он был очень рассеян; товарищи заметили это и подшучивали над торжественным выражением его лица.

— Трибун влюбился! — воскликнул один из присутствующих, бойкий молодой центурион.

Субрий взглянул на него со смущением и густо покраснел. Заметив, что эта шутка ему неприятна, хозяин тотчас переменил разговор: римские офицеры были любезными и утонченными.

«Я никогда больше не увижу ее,— думал Субрий,— а она и не вздохнет обо мне. Великий Юпитер! Какой жестокой может быть лучшая из женщин. Стоит ей полюбить кого-нибудь и ради любимого человека она предает на муки и смерть себя, лучших друзей, кого угодно».

Фений Руф, начальник отряда преторианцев, и префект Тигеллин от души ненавидели друг друга. За не-

сколько дней до этой пирушки Фений сообщил императору, что если войска не получат жалованья, то наверняка поднимут бунт. Император был очень недоволен этим известием, а Тигеллин, раздувая его неудовольствие, намекнул, что начальник обманывает его, желая прикарманить деньги. Однако Нерон очень хорошо понял тайные побуждения своего любимца и щедро заплатил преторианцам с тем проблеском благоразумия, которое нередко замечалось у него. Простые воины на время угомонились, но среди офицеров недовольство росло.

За обедом выпили немало вина, и языки развязались. Компания была очень весела, и недовольство, господствовавшее в военных кружках, выражалось в остротах и насмешках.

Имя Тигеллина вызвало краску гнева на лице Фения, и хозяин, заметив это, весело воскликнул:

— Стоит ли о нем разговаривать! Пью за здоровье нашего грозного императора.

— Чей голос заглушает громы Юпитера! — заметил один из гостей.

— Украшение цирка! — засмеялся другой.

— Утеха публичных домов!

— Аполлон!

— Геркулес!

— Марс!

— Щедрый Плутон!

Обмениваясь этими шутками, сопровождаемыми взрывами смеха и чоканьем, гости выкрикивали тосты.

Только Субрий Флавий угрюмо молчал, и тогда, как другие осушали кубки, он не притронулся к своему.

— Как, Флавий? — заметил Фений с притворной строгостью.— Ты не хочешь пить за здоровье нашего великого императора?

— Нет! — отвечал Субрий Флавий таким тоном, что смех собеседников как-то сразу прекратился; затем, подняв кубок, он прибавил: — Пью за смерть комедианта.

Веселье разом исчезло. Гости поглядывали на трибуна и друг на друга с удивлением и страхом. Фений Руф приподнялся на своем ложе; тревога и замешательство ясно выражались на его лице.

Глаза офицеров переходили с трибуна на Руфа. Он был начальник; его долг требовал арестовать мятежного трибуна, и все присутствующие молча ожидали его решения. Вино было крепко; Руф по натуре был тщеславен, сознание своей власти бросилось ему в голову. Он

кинул надменный взгляд на собеседников, брови его нахмурились, глаза сверкнули, он выпрямился и воскликнул:

— Смерть комедианту!

Гости вскочили на ноги, пламя светильников заколебалось от восклицаний, и среди звона разбиваемых бокалов раздался оглушительный крик:

— Смерть комедианту!

Казалось, бремя свалилось с плеч присутствующих. Как зрители в цирке по окончании отчаянной борьбы разом переходят от напряженного молчания и беспокойного ожидания к веселой болтовне, так и эти офицеры, решившись после многих лет глухого негодования и тяжких сомнений на опасное предприятие, шумно выражали свою радость.

Провозглашали тост за тостом, осыпали поздравлениями трибуна. Молодой центурион, насмешка которого задела за живое трибуна в начале пира, воскликнул:

— Ай да трибун! Так вот на какое дело вдохновила его любовь! Пью за здоровье неведомой возлюбленной трибуна, нашей общей царицы!

Субрий Флавий со сверкающими глазами поднял кубок и осушил его до дна.

Большинство гостей были молодые люди, беззаботные, смелые и склонные к отчаянным предприятиям. Им нечего было терять, кроме жизни, которую они в грош не ставили, и денег, которые во времена Нерона приобретались без труда и терялись без сожаления.

Не таковы были Фений Руф и Субрий Флавий. Люди уже пожилые, они пользовались уважением и мечтали о дальнейших успехах. Первый был едва ли не важнейшим военачальником в Империи, второй славился своими воинскими талантами и мог рассчитывать на самые видные должности. Они не могли относиться к заговору легко и оставались серьезными и задумчивыми среди общего веселья.

Компания разошлась, поклявшись остаться верными делу и сохранить его втайне и предоставив, по общему соглашению, выработку подробностей Руфу и Флавию.

Трибун сразу наткнулся на затруднения, которые предвидел заранее. Прежде всего возник вопрос о предводителе. Руф, тщеславный по натуре и к тому же гордившийся своим саном, желал руководить заговором; трибун сознавал, что его начальнику недостает двух качеств, необходимых для вожака народного восста-

ния,— знатности и личного обаяния. Флавий, согласно желанию Паулины, указал на Кая Пизона. Руф согласился, но втайне остался недоволен. Он охотно признал бы своим вождем Сенеку, великого государственного мужа, но вовсе не желал подчиняться шалопаю вроде Пизона. Но так как Пизон был поддержан всеми заговорщиками, то Руф подчинился, оскорбленный до глубины души и поклявшись впоследствии отомстить.

Флавий обратился к Пизону, когда тот шел в сенат. Воин знал, с кем имеет дело, и старался поймать его на удочку, как рыбак ловит большую и сильную, но буйную и ненадежную рыбу. Он сообщил сенатору об одной из тех жалоб, которые постоянно возникали в среде преторианцев. Причиной ее было какое-то постановление, изданное в правление Сенеки. При упоминании о Сенеке Пизон стал слушать внимательно; а отозвавшись в резких выражениях об опальном министре, Флавий без труда приобрел его симпатию.

— Я займусь этим делом,— заметил Пизон с важным видом.— Я заступлюсь за вас перед сенатом, и, если понадобится, перед Цезарем.

— Ах, Пизон! — отвечал Флавий вполголоса.— Если б твое заступничество за нас было так же сильно, как велико твое красноречие.

Пизон, польщенный этой похвалой и в то же время несколько смущенный намеком, заметил:

— Без сомнения, способный человек на месте Сенеки мог бы оказать много услуг государству.

— На месте Сенеки! — воскликнул трибун с притворным гневом.— Ты, отпрыск дома Кольпурния, говоришь о месте Сенеки! Нет, не того желают преторианцы для блистательного друга, для своего любимца.

Пизон поспешно перебил его:

— Неужели я так популярен в войске, дорогой Флавий?

— Сегодня я даю обед некоторым из офицеров,— сообщил Флавий,— приходи и увидишь сам... если, конечно, знаменитый сенатор удостоит своим посещением жилище бедного воина.

Пизон, увлекаемый честолюбием, принял приглашение.

Торжественный прием окончательно вскружил ему голову. Он легко поддался убеждениям Флавия и Руфа. Он уже воображал себя в Золотом доме, где Поппея и

другие красавицы увиваются вокруг него, а Сенека тщетно молит о помиловании. Эти мечты заставили его присоединиться к тосту Флавия: «Да здравствует республика и смерть комедианту!»

Заговор распространился подобно заразе и нашел массу сторонников во всех слоях римского общества. Строгое соблюдение тайны, несмотря на массу участников, свидетельствовало о серьезных намерениях заговорщиков. Нерон почти не имел друзей. Поппея, получив кое-какие сведения о заговоре, пожелала успеха Пизону. Тигеллин, мало знавший, но подозревавший многое, поспешил помириться с Фением Руфом; стража, охранявшая спальню императора, не задумалась бы, чтобы перейти на сторону заговорщиков.

Один Тит остался верен несчастному Цезарю. Нерон доверял ему, и он мог бы оказать неоценимые услуги заговорщикам. Но люди, знавшие его, понимали, что его не подкупить никакими сокровищами, и он остался в доме Цезаря предметом страха и подозрения для конспираторов.

Первое затруднение возникло по поводу вопроса, каким образом привести в исполнение заговор. Флавий, Руф и большинство преторианцев стояли за открытое восстание, за то, чтобы отправиться в Золотой дом, умертвить Нерона и провозгласить нового императора по выбору войск. Но участники заговора из граждан горячо восставали против этого плана, осуществление которого должно было безмерно увеличить значение войска, и без того уже грозившее смутами. Они предложили другой способ. Нерон собирался в гости к Пизону, на виллу в Байи. Если бы сенатор согласился подсыпать несколько щепоток белого порошка в блюдо олив, все затруднения были бы устранены.

Пизон с ужасом и негодованием отверг это предложение. Он заявил, что предки передали ему имя, не запятнанное изменой, и что он скорее откроет себе жилы, чем умертвит доверившегося ему гостя.

Некоторые из заговорщиков находили странной такую щепетильность в человеке, который отплатил изменой за дружбу Сенеки. По их мнению, отравить дурного правителя было не более гнусно, чем нанести предательский удар другу.

Наконец было решено, что Субрий Флавий должен убить императора, когда тот будет возвращаться из Байи.

Вожаки заговора старались разжечь трибуна лестью и похвалами. Они говорили, что он один сохранил заветы Брута в развращенном веке, что только его рука способна нанести решительный удар, что имя его будет жить в бессмертных поэмах вместе с именем Брута.

Субрий очень хорошо понимал, чего стоит эта лесть, но здравый смысл подсказывал ему, что он один способен к решительным действиям в этой шумной толпе. Вспомнив о том, что заговор начался по его инициативе и Паулина ждет исполнения его обещания, он согласился взять на себя кровавое дело, которое товарищи хотели взвалить на него.

Многие из заговорщиков желали привлечь на свою сторону Сенеку, но Субрий горячо воспротивился этому, а Пизон, вовсе не желавший исчезнуть в тени философа, поддержал его.

Когда смутные вести о заговоре достигли ушей Паулины, она прислала к Субрию надежного человека с просьбой зайти к ней и рассказать, как идут дела в Риме.

Ответ Субрия служил доказательством его преданности весталке. Ничто не могло доставить ему такого удовольствия, как пойти к Паулине, сидеть с ней в мраморной беседке и рассказывать о своих опасениях и надеждах. Но он понимал, что это посещение в разгаре заговора, могло бы погубить ее и Сенеку в случае неудачи.

— Передай своей госпоже,— сказал он посланному,— что когда будет можно, я приду, если же не приду, то пусть она помнит, что я был и остался ее другом.

Сначала вожди заговора собирались у трибуна. Но когда он взялся нанести решительный удар, Пизон, очень заботившийся о своей безопасности, стал искать более надежного и менее подозрительного места.

После многих разговоров решено было перенести главную квартиру заговорщиков в дом некоей Эпихариды, старой няньки Пизона, жившей по Фламиниевой дороге, тотчас за городской стеной.

XXVII

У Фламиниевых ворот стоял небольшой скромный дом, с маленьким садиком, откуда открывался прекрасный вид на зеленые склоны Плицийского холма. Здесь нашла приют Актея.

Дом этот принадлежал Пизону, который поместил в нем свою старую кормилицу и няньку Эпихариду, назначив ей ежегодную пенсию.

С Эпихаридой жила ее подруга, Эклога, кормилица Нерона, тоже получавшая пенсию. Уживались они отлично, может быть, потому, что их характеры представляли резкий контраст. Эклога была веселая, болтливая старушка шестидесяти лет, тогда как Эпихарида, еще не достигшая пятидесятилетнего возраста, скрывала страстную натуру под маской неприступной суровости.

Эклога обожала Нерона, своего милого мальчика, считая его до сих пор лучшим из людей; Эпихарида обожала Пизона, героя, исполненного отваги и талантов и несомненно предназначенного для великих успехов и почестей.

В одном они сходились: обе были суеверны. Привидения, семейные духи, сверхъестественные силы и чудеса занимали их простодушные головы, и они гонялись за всяким пророком или гадателем, привлекавшим на минуту внимание римского общества.

Проповедник затронул в их сердцах струны, которым суждено звучать, пока жизнь сохраняется в теле. Как и тысячи римлян и римлянок, они смутно сознавали, что новая религия восполняет давно ощущаемую потребность.

Язычество могло удовлетворять римлян, пока им приходилось биться со слонами Пирра, топить карфагенские корабли, одолевать буйные племена галлов. Но когда это было окончено, когда римляне получили возможность отдохнуть и одуматься, они убедились, что холодное язычество не удовлетворяет потребности их духа. Оно признавало, что люди должны есть, пить, бороться и думать для того, чтобы жить; но никогда не могло понять, что для того, чтобы жить, люди должны любить.

Две женщины были добры по натуре, преисполнены мистическим рвением, скорбели о бедствии человечества, но чувствовали себя стесненными, связанными, придавленными формальной, утратившей всякий смысл римской религией. И кто может понять ту радость, которую они и тысячи им подобных испытали, узнав, что священнейший долг человека — повиноваться лучшим влечениям своей натуры и давать простор порывам своего духа, не стесняя его узкими правилами педантизма; что

только любовь есть Бог и что воля Его — океан кротости, омывающей бесконечный мир!

Когда Актея явилась к ним, они приютили ее ради Христа. Она была бедна, печальна, всеми покинута, и они радовались, что могут облегчить ей существование. Она оставила во дворце много драгоценностей и богатых платьев, которые Тит хотел отослать ей, советуя поберечь их на черный день, но она отказалась. Он понял, что она не отступится от принятого решения.

Она не была ленива; римские дамы того времени носили богато вышитые покрывала, а у Актеи были искусные руки и греческий вкус. Не желая обременять добрых людей, приютивших ее, она стала зарабатывать свой хлеб усердным и непрестанным трудом.

Узкая лестница вела в ее комнатку, где после долгих часов усердной работы она преклоняла колени, шептала наивную детскую молитву и засыпала тем спокойным сном, который служит лучшей наградой труженику. Под ней находилась большая комната, служившая некогда столовой. Теперь там помещалась Эпихарида, и часто свет от ее лампы проникал в комнату Актеи сквозь щели в полу.

Однажды ночью молитва Актеи была прервана шумом голосов, доносившихся снизу.

«У Эпихариды братья»,— подумала девушка и легла в постель, закрыв усталые глаза.

«Братья» нередко собирались у Эпихариды, и Актея иногда присоединялась к их молитвам.

Со времени пожара и последовавшего затем гонения христиане, уцелевшие от истребления, могли собираться для общественного богослужения только с крайней осторожностью. Но дом на Фламиниевой дороге был привилегированным местом. Нерон знал, что его кормилица обратилась к христианской вере; без сомнения ему было известно и обращение Актеи. Эти две женщины были единственными, к которым он питал уважение. Поппея разжигала его страсть, он любил ее, но никогда не чувствовал к ней такого почтения, как к своей старой кормилице и бедной греческой девушке.

Однажды ему донесли о сборищах христиан в доме Эклоги и Эпихариды. Нерон пришел в бешенство, назвал доносчика лгуном и велел бичевать до тех пор, пока тот не поклялся, что его донос чистый вымысел. После этого христиане могли без всякой помехи собираться по ночам в доме на Фламиниевой улице.

Итак, услыхав звуки голосов, Актея спокойно улеглась спать. Не раз и впоследствии эти звуки убаюкивали усталую девушку. Но однажды ночью Актее не спалось; она долго возилась и ворочалась на постели, невольно прислушиваясь к словам, долетавшим из комнаты Эпихариды. Голоса раздавались все громче и громче, и гневнее всех звучал голос Эпихариды.

Актея с ужасом схватилась за грудь, услыхав:

— И вы считаете себя мужчинами, жалкие трусы? Разве человечество не стонет от того, что он живет? Да, да, сверкай глазами, Пизон, и ты, Руф, и ты, Флавий! Вы только и можете сверкать глазами, но ваши кинжалы не сверкнут перед его лицом. Доставьте мне пропуск во дворец, и сегодня же ночью, пока вы тут трусите и дрожите, я убью его в объятиях этой развратной императрицы.

Слабый крик вырвался из уст Актеи, но был заглушен шумом, поднявшимся вслед за этими словами.

Наконец сильный, низкий голос выделился над остальными, и водворилась тишина.

— Я виноват во всем,— говорил этот голос,— на мою долю выпала честь разыграть роль Брута в отношении этого презренного Цезаря. Я благодарю вас за эту честь и прошу извинения за мою медлительность. Но имей терпение, благородный Пизон, через несколько часов Золотой дом и целомудренная Поппея будут к твоим услугам.

Смех и одобрение встретили эти слова, а оратор продолжал более серьезным тоном:

— Слушайте! Завтра утром Нерон будет в цирке. Когда он станет подниматься по лестнице, один из вас бросится перед ним на колени, как бы умоляя о милости, схватит его за ноги и опрокинет; я исполню, что от меня требуется, а остальное зависит от вас. Ты, Пизон, будешь ожидать у храма Цереры, и, когда все кончится, Руф проводит тебя в лагерь, чтобы солдаты могли приветствовать своего нового императора.

Ропот одобрения, крики: «Да здравствует Субрий Флавий!», «Да здравствует храбрый трибун!» — огласили комнату; затем было решено, что все совершится так, как предлагал Субрий.

Актея лежала в своей постели, оцепенев от ужаса. Они убьют Нерона, которого она любила и за которого молилась денно и нощно! Убьют врасплох, неподготовленного, погрязшего в грехах, без надежды на проще-

ние и искупление. Она с трудом верила, что Эпихарида участвует в этом кровавом заговоре, потому что Эпихарида была христианка, а Актея помнила учение любви, завещанное проповедником.

Всю ночь Актея не сомкнула глаз; она ни на минуту не сомневалась в своем долге, но не знала, как лучше выполнить его. Она не хотела погубить заговорщиков, в особенности Эпихариду, которая приютила ее. Но спасти и Нерона и его врагов было трудно. Она решила идти во дворец рано утром, а там... там, может быть, она встретит Нерона, что будет для нее тяжким испытанием, или Поппею, что будет невыносимым унижением. Внезапно она вспомнила о своем старом, верном друге Тите; на него можно положиться, он даст благоразумный совет; она разыщет его и сообщит ему ужасную тайну, случайно достигшую ее ушей.

Актея надела черное платье, и, дождавшись рассвета отправилась во дворец.

Поднявшись на Палатин, она вошла в сад Цезаря; тут все изменилось со времени пожара; перед ней возвышались огромные постройки Золотого дома; мраморные колоннады пересекали долину по направлению к Целийскому холму. Но Нерон все еще жил в старом здании, и Актея беспрепятственно вошла в него через террасу. Тут ей загородил дорогу стражник, стоявший на посту.

Актея в волнении и нетерпении вспомнила о недавнем прошлом и, топнув ногой, воскликнула повелительным голосом:

— Мора!

Это был пароль, служивший для свободного доступа во дворец.

Солдат посторонился и пропустил Актею.

Снова она стояла в доме Нерона. Увидев раба, подметавшего мраморную лестницу, которая вела в ее бывшее помещение, она сказала ему:

— Отыщи центуриона Тита и попроси его выйти ко мне на минуту.

Раб встрепенулся, услышав ее голос, и, по-видимому, хотел ответить грубостью или отказом, но повелительный тон Актеи смутил его. Он побежал исполнять приказание, а Актея уселась на ступеньки. Вернувшись через несколько минут, он сказал,что не мог найти Тита.

Время шло. Нерон каждую минуту мог отправиться в цирк, и Актея дрожала от ужаса.

— Проведи меня в комнату Цезаря,— сказала она.

На этот раз слуга отказался.

— Ты, госпожа, сама знаешь, как туда пройти,— отвечал он угрюмо.— Что касается меня...

И он указал на рубцы, покрывавшие его плечи.

— В таком случае, я хочу видеть императрицу.

Раб пожал плечами, провел ее в комнаты Поппеи и, крикнув служанку, отправился дометать лестницу.

— Передай императрице,— сказала она служанке,— что гречанка Актея желает видеть ее.

Девушка с изумлением взглянула на нее, но повиновалась и, вернувшись, пригласила ее войти.

В эту минуту Нерон, собираясь отправиться в цирк, вышел на лестницу и, заметив, что какая-то фигура прошла в комнаты Поппеи, спросил у раба, подметавшего лестницу:

— Кто вошел сейчас к императрице?

— Госпожа Актея,— отвечал раб.

Нерон быстро вбежал по лестнице, но перед дверью остановился и, поколебавшись с минуту, свернул в боковой коридор.

Актея прошла за служанкой в комнату, которую когда-то занимала сама. Поппея предпочла ее всем остальным комнатам дворца. Она покоилась на ложе из слоновой кости, где прежде возлежала Актея; ноги ее были прикрыты пурпурным шелковым покрывалом, которое Нерон подарил некогда гречанке. Зоркие глаза Актеи узнали в вышитой мантии, накинутой на плечи Поппеи, ту самую мантию, которую она носила в прежние годы, а в драгоценностях, украшавших ее руки, шею и грудь, многие из тех, что она оставила во дворце.

Поппея встретила ее ленивой усмешкой, но в глазах ее блеснуло злобное удовольствие при виде побежденной соперницы. Она предложила ей сесть на низенькую табуретку подле ложа и воскликнула, прежде чем Актея успела подавить чувства гнева и стыда, сдавившие ее грудь:

— Бедняжка! Какое на тебе платье! Возьми этот рубин и купи мантию, чтобы прикрыть свои лохмотья.

Она сняла с пальца кольцо и протянула его Актее.

Грубая насмешка должна была бы оскорбить Актею, но вместо того подействовала как целебный бальзам на ее истерзанное сердце. Она почувствовала, насколько она счастливее раззолоченной развратницы, лежавшей перед нею.

Она улыбнулась:

— Я пришла сюда помочь, а не просить помощи.

Ее спокойствие задело императрицу, и ее голос задрожал от гнева. Однако она продолжила:

— Как поседели твои волосы, а я слыхала от Цезаря, что когда-то они были прекрасны. Как ты думаешь, сделаются и мои такими же, когда я буду твоих лет?

И она тряхнула своими пышными темными кудрями.

Поппея была на десять лет старше Актеи, и Актея знала это.

— Когда ты достигнешь моих лет,— сорвалось с ее губ,— твои волосы, наверно, будут так же седы, как мои.

Окинув величественным взглядом худенькую, изможденную девушку, Поппея произнесла:

— Чего ты хочешь от меня?

— Я ничего не хочу от тебя,— ответила Актея.

— В таком случае, когда будешь уходить, пошли ко мне служанку; я хочу одеваться, чтобы идти в цирк.

— Не ходи в цирк сегодня! — воскликнула Актея.— И если ты любишь Цезаря, скажи ему, чтобы он остался во дворце.

— Что это значит? — воскликнула Поппея, быстро приподнявшись и устремив на нее беспокойный взгляд.— Почему Цезарь должен остаться?

— Потому что ему угрожает опасность! Я слышала, что несколько римлян-сенаторов, солдат и рабов сговорились убить сегодня Цезаря на ступенях цирка.

— Ты говоришь, что Пизон и Флавий хотят убить его сегодня? — воскликнула Поппея.

— Пизон? Флавий? — повторила Актея.

Краска залила лицо Поппеи, но серые глаза ее упорно смотрели в глаза Актеи.

— Да,— повторила она,— разве ты не сказала, что Пизон и Флавий сговорились убить Цезаря сегодня?

— Я ничего не говорила о них,— сказала Актея.

— Говорила, девушка, и теперь говоришь! — гневно воскликнула Поппея.— Иначе откуда бы я узнала об этом?

— Ты все знаешь,— отвечала Актея, вставая,— ты все знаешь!

Поппея была прекрасная актриса. Приподнявшись на ложе, она отвечала с великолепным жестом:

— Да, я знаю все! — И с презрительной улыбкой прибавила: — Неужели ты думаешь, что римский импе-

ратор нуждается в предостережениях рабыни, пока Поппея Сабина заботится о его безопасности?

— Ты спасешь его, ты предупредишь его! — торопливо сказала Актея.

— Когда Цезарь будет нуждаться в услугах рабыни, я пошлю за тобой,— усмехнулась Поппея.

Актея повернулась и хотела уйти, но императрица остановила ее.

— Сядь,— сказала она,— и расскажи мне, как ты узнала планы этих людей.

Актея вкратце рассказала ей обо всем, что слышала в комнате Эпихариды.

Поппея слушала молча, а потом сказала:

— Рассказала ты кому-нибудь об этом?

— Никому, кроме тебя.

— В таком случае ступай домой и сохрани все в тайне. Быть может, Цезарь сам отблагодарит тебя сегодня же.

— Нет, нет,— воскликнула Актея,— я не нуждаюсь в благодарности! Я не желаю от него никакой благодарности.

— Как хочешь,— нетерпеливо отвечала Поппея.— Во всяком случае, иди и сохрани все в тайне.

Когда девушка вышла из комнаты, Поппея кликнула служанку и сказала ей:

— Ступай и позови ко мне немедленно центуриона Тита.

Она сидела спиной к занавеске, отделявшей ее комнату от маленькой передней, и не заметила, что чья-то рука высунулась из-за занавески, как бы желая ее отдернуть, но тотчас же исчезла.

XXVIII

Получив приглашение Поппеи, Тит с нескрываемым отвращением последовал за девушкой. Уже не в первый раз императрица посылала за ним; не проходило дня, чтобы она не испытала над ним свое искусство обольщения. Равнодушие солдата оскорбляло ее честолюбие. Она повергла Цезаря к своим ногам, заняла место Актеи и все-таки была недовольна и оскорблена тем, что центурион преторианской гвардии не поддавался ее чарам.

Когда Тит вошел в комнату, Поппея по-прежнему покоилась на ложе из слоновой кости. Тит не обладал пылким воображением и бросил на нее взгляд холодного отвращения. Уже не первый раз видел он, как ее туника нечаянно соскальзывала с белого плеча или случайно открывала часть груди, но всегда оставался к этому равнодушным.

Его холодный взгляд смутил ее, и она сказала насмешливым, но не совсем естественным тоном:

— Я послала за тобой, непобедимый стоик, чтобы просить у тебя... Ты не догадываешься, что?

— Нет,— сухо отвечал Тит.

— Если бы поцелуй, ты бы отказал?

— Да.

— А между тем,— воскликнула она печальным тоном,— мои губы оказались достойными императора. Но я старею и становлюсь безобразной, и грубый центурион может безнаказанно оскорблять меня.

Она заплакала, но осторожно, чтобы не повредить своей красоте и не смыть пудру, покрывавшую щеки.

— Ты посылала за мной, госпожа,— сказал он нетерпеливо.— Чего ты требуешь?

Поппея отвечала таким вызывающим взглядом, что солдат покраснел. Она заметила это и расхохоталась.

— Садись здесь,— пригласила она, подвигаясь на ложе, но Тит отказался.— Воин,— воскликнула она,— ты можешь смеяться надо мной, но обязан повиноваться. Я императрица и приказываю тебе сесть рядом со мною.

Тит исполнил ее приказание с отвращением, которого не старался скрыть. Она взяла его за руку.

— Ах, Тит, счастлива та женщина, которая приобретет такого смелого и верного любовника.

Говоря это, она подвинулась к нему и положила голову на его плечо.

— Я пришел сюда, госпожа, за твоими приказаниями. Сообщи мне их, и я уйду.

— Приказаниями! — сказала Поппея.— У меня нет никаких приказаний для тебя. Ведь если бы я приказала тебе любить меня хоть вполовину так, как ты любил еврейку, ты бы не послушался. Я не отдавала твоей возлюбленной на съедение зверям,— продолжала она.— Я солгала, сказав это. Это дело Цезаря. Он задолжал еврею и расквитался с ним этим способом.

— Ты обманываешь,— сказал Тит. Он хотел встать, но она схватила его за руку.

— Ты крепко любил ее, если решился биться за нее с дикими зверями и притом на глазах всего Рима. Не знаю, любил ли меня кто-нибудь так сильно. Я думаю, что Цезарь ревнив. Если бы он увидел нас в этой позе,— она обвила рукой его шею,— то, вероятно, убил бы тебя.

Тит оттолкнул ее руку и сказал:

— Я воин и друг Цезаря.

— Ты друг Цезаря? — повторила она.— Я не думала, что у Цезаря может быть хоть один друг в целом мире.

Тит твердо взглянул на нее и повторил:

— Я друг Цезаря и не хочу быть игрушкой его жены.

— Хороша игрушка шести футов ростом. Ты годишься в воины, но не в любовники. Какова скромность! Воображать, что императрица мечтает о такой игрушке.

Тит, чувствуя себя не в силах скрыть свое смущение, хотел выйти из комнаты, а Поппея, откинувшись на ложе, провожала его насмешливым хохотом. Но она еще не собиралась отпустить его.

— Поди сюда, нежный, простодушный юноша,— воскликнула она.— Поди сюда, мне нужно тебе сказать два слова. Если бы сегодня ночью Поппея Сабина предложила тебе императорский венец, согласился ли бы ты вознаградить ее хоть одним поцелуем.

— Ты смеешься надо мной, госпожа,— отвечал он.

— Я не смеюсь над тобой, Тит,— возразила она.— Но куда ты собираешься идти?

— В цирк с Цезарем.

С минуту Поппея молча смотрела на него, потом воскликнула серьезным тоном:

— Обещай мне не ходить сегодня в цирк.

— Я не могу этого обещать,— отвечал он.

— Обещай, обещай,— повторила она настойчиво,— и, может быть, сегодня же вечером я буду в состоянии потребовать от тебя поцелуя, о котором говорила.

Он подумал, что она забавляется, и вышел из комнаты со словами:

— Я воин Цезаря и повинуюсь ему.

Бешенство мелькнуло на лице Поппеи подобно черной тени; она ударила кулаком по ложу. Она по-прежнему сидела спиной к соседней комнате и вновь не заметила, что занавеска зашевелилась.

Выйдя на лестницу, Тит наткнулся на Нерона. Император был бледен, углы его рта подергивались, и гла-

за светились недобрым светом. Молодой центурион, хорошо знавший его, заметил эти признаки, предвещавшие припадок бешенства.

Тем не менее он был более чем обыкновенно спокоен и ласков.

— А, мой центурион! — воскликнул он, когда Тит почти наткнулся на него.

Эти слова прозвучали точно эхо и только увеличили смущение Тита. По-видимому, Нерон не заметил этого и, положив руку на плечо центуриона, пошел с ним в коридор.

— Ты был у императрицы? — спросил он.

Центурион кивнул.

— Вы, вероятно, говорили о беспорядках во дворце? Какие-то негодяи забрались ночью в большую беседку озера. Поппея велела тебе исследовать это дело?

Тит молчал.

— Или, быть может,— продолжал Нерон,— она говорила о моей безопасности, просила тебя охранять меня на пути в цирк?

— Императрица говорила о цирке,— пробормотал Тит.

Нерон лукаво, но ласково взглянул на него и неожиданно спросил:

— Как ты думаешь, любит меня римский народ?

Тит уклонился от прямого ответа, но довольно неловко.

— Я воин,— сказал он,— и мало знаю о народе.

— Наивный малый,— засмеялся Нерон,— вот Сенека, так тот бы ответил: «Любовь черни в глазах мудреца то же, что ветер, который бывает теплым, когда дует с юга, и холодным, когда дует с востока». Или: «Тот, кто заслужил одобрение собственной совести, не обращает внимания на одобрение других».

Тит благоразумно промолчал.

Минуту спустя Нерон воскликнул тем же насмешливым тоном:

— А все-таки сказать, что у Цезаря нет ни единого друга в целом мире,— это слишком!

Несмотря на свое самообладание, Тит вздрогнул, и Нерон, опиравшийся на его плечо, не мог не заметить этого. Он пробормотал что-то в ответ, а император продолжал:

— Ты, например, друг и воин Цезаря.

Тит ничего не ответил, а Нерон продолжал холодным тоном:

— ...Друг и воин Цезаря, и ни предложение императорской власти сегодня вечером, ни поцелуй царицы любви не могли поколебать твою преданность.

Тит собрался с духом и спросил:

— Ты слышал...

— Боги,— перебил император,— нетрудно слышать и даже видеть сквозь шелковую занавеску.

По-видимому, изумление молодого человека крайне забавляло Нерона.

— Я не видел и не слышал ничего, что могло бы поколебать доверие Цезаря к его другу. Неужели ты не понимаешь, что это была шутка? Поппея очень тщеславна и всегда говорит, что в Риме нет человека, который бы мог устоять перед нею. Я предложил ей этот опыт над тобой. Поппея отлично разыграла свою роль и получила тяжелый удар, да, тяжелый удар,— повторил он почти свирепо.— Однако она хорошо играет, и ее шутки можно принять иногда всерьез. Для меня было немалым испытанием видеть, как она обнимала твою шею, но ведь мы с тобой философы, а?

Тит не знал, правду ли говорит император или нет, потому что в его голосе звучали сквозь дикую веселость угрожающие ноты. Но Тит чувствовал, что расположение Нерона к нему не поколебалось; что же касается Поппеи, то он был очень доволен, что она и ее супруг сведут счеты между собой.

— Если бы я был убит по дороге в цирк,— сказал Нерон, очевидно, намекая на что-то,— как ты думаешь, кто был бы выбран римским императором?

Тит отвечал, что не знает этого.

— Может быть, ты сам поселился бы в Золотом доме и наследовал любовь Поппеи Сабины,— продолжал император, пристально глядя на него.

— Цезарь шутит,— спокойно отвечал молодой человек.

— Ну, так Сенека?

— Сенека скорее согласится прожить неделю среди своих книг, в обществе Паулины, чем пятьдесят лет во дворце правителем мира.

— Твоя правда,— пробормотал Нерон.— Сенеке приятнее было бы написать оду, достойную Горация, чем завоевать Галлию. Но что ты скажешь о Кае Пизоне?

— Пизон — император! — с изумлением воскликнул Тит.— В тот день, когда в Риме воцарится такой предатель и бездельник, как Пизон, слава и могущество Рима погибнут.

— Верно, мой добрый друг! — воскликнул Нерон.— Итак, Пизон не будет императором. Рим смеется надо мной, потому что я артист. Однако же я не дурак; я слышу шутки, вижу улыбки и гримасы тех, которые аплодируют мне и венчают меня лаврами. Но в моем сердце есть капля крови Юлия, а в моей голове частица мудрости Сенеки, и я не позволю одурачить себя какому-нибудь Пизону.

Лицо Тита выражало полнейшее недоумение.

— Как! — воскликнул Нерон с горьким смехом.— Ты ничего не знаешь об этом? Итак, кроме меня, в Риме есть еще человек, не участвующий в заговоре. Кай Пизон и Субрий Флавий, один из ваших преторианских трибунов, намерены произвести переворот сегодня. Когда я буду подниматься по ступеням цирка, один из заговорщиков бросится передо мной на колени и повалит меня, а Флавий пронзит меня мечом, а ваш достойный начальник, Фений Руф, предложит войскам провозгласить императором Пизона. Милый план, не правда ли? Теперь слушай: возьми отряд моих телохранителей, арестуй и приведи сюда Флавия и женщину, которую зовут Эпихарида, из дома по Фламиниевой дороге, знаешь? Не теряй времени, и мы еще поспеем в цирк.

— А Пизон? — спросил Тит.

— Пизон? О, я пошлю за ним Руфа.

Заметив удивление центуриона, он прибавил:

— Поверь мне, я знаю этого достойного воина. Он будет нам очень полезен.

Тит поспешил исполнить его приказание, а император пошел к Поппее. Она лежала в той же позе, что и раньше, и, увидев его, воскликнула с кокетливым нетерпением:

— Наконец-то ты пришел? Я дожидаюсь тебя больше часа.

Нерон обнял ее и прижал к груди с почти безумной страстью.

— О, Попепя, Поппея! — воскликнул он.— Довольно! Довольно!

— Медведь! — сказала она, когда он выпустил ее.— Посмотри, ты разорвал мою накидку. Теперь я ношу

этот пурпур по праву сана, но когда-то носила его по праву красоты.

Она напомнила ему о банкете у Отона, когда она дразнила его своим пурпурным платьем.

— Теперь, царица любви,— заметил он,— ты носишь этот пурпур как по праву красоты, так и по праву сана.

— О,— сказала она,— ты просто льстец; скажи мне, разве я не становлюсь старой и безобразной?

Он отвечал ей поцелуем.

Поппея засмеялась своим загадочным, бархатным смехом:

— Ты очень ласков сегодня, Цезарь, очень ласков с бедной старухой!

Она была года на два или на три старше его и в полном расцвете красоты; но ей нравилось иногда напускать на себя материнский вид, который очень забавлял Нерона.

— Я всегда ласков с тобой, Поппея,— сказал он почти грустно.

Лицо Поппеи приняло торжествующее выражение; она ничего не отвечала и молча играла веером. Нерон тоже молчал; он сидел рядом с ней и, взяв ее руку, открывал и закрывал ее пальцы, целуя их розовые ногти.

Поппея неожиданно засмеялась:

— Ты точно мальчик, в первый раз влюбившийся.

— Позволь мне всегда оставаться таким, Поппея,— сказал он.

— Нет! — отвечала она резко.— Вот и сегодня ты проленился целое утро, а ведь тебе нужно идти в цирк.

— Ты пойдешь со мной? — спросил он.

Поппея встала и лениво потянулась.

— Нет,— сказала она,— мне лень да и спать хочется; шум цирка расстроит меня. Ты должен идти один, Цезарь.

— Так лучше я останусь с тобой, царица любви.

— Полно! — сказала она.— Народ ожидает тебя, и Спицилл готовится убить своего противника.

Она смотрела в зеркало и не замечала, что его лицо искажалось страшными судорогами.

— Так мне нельзя остаться с тобой?

— Нет! — ответила она шутливо.

— Нет?

— Нет!

Глаза Нерона расширились, вены на лбу вздулись, рот открылся; он задыхался и дрожал всем телом. Она с

улыбкой взглянула на него, увидела его лицо и вскрикнула от ужаса.

Демон, боровшийся в нем с любовью, одолел его.

— Гнусная тварь! — прохрипел он и, схватив ее, ее, носившую в своей утробе его нерожденного ребенка, ударил о стену и бросил бесчувственную на мраморный пол.

XXIX

Во дворце царило страшное смятение.

Поппея лежала, стеная, на ложе, куда принесли ее служанки; доктора толпились вокруг нее, покачивая головами и пожимая плечами.

Нерон в припадке бешенства метался по коридорам, и рабы разбегались при его приближении, как овцы перед бешеной собакой. Префект Тигеллин, секретарь Эпафродит и начальник преторианцев Фений Руф всю ночь пьянствовали во дворце. Утром они были разбужены шумом, но беззаботные и пьяные, снова принялись за кубки, и комната огласилась их криками и песнями.

Заговор был расстроен прежде, чем Тит успел вернуться с арестованными. Один сановник, игравший важную роль в заговоре, имел неосторожность довериться своему вольноотпущеннику, некоему Милиху. Милих, убежденный, что предприятие кончится неудачей, решился извлечь возможно большую пользу из своих сведений. Узнав в последнюю минуту о намерении заговорщиков убить Нерона в цирке, он опрометью бросился во дворец.

К счастью для него, бешенство Нерона к этому времени почти испарилось само собой. Однако когда вольноотпущенник очутился с глазу на глаз с неистовым императором, он готов был отдать все свое богатство, чтобы очутиться по-прежнему в доме своего патрона. Но отступать было поздно, и Милих, бросившись к ногам Нерона, воскликнул, что он явился спасти жизнь Цезаря.

Нерон овладел собой настолько, что мог понять его слова. Приказав ему встать и идти за ним, он отправился в комнату, где обыкновенно занимался делами, и немедленно послал за своими ближайшими советниками — Тигеллином, Эпафродитом и Руфом.

Когда Тит, исполнив свое поручение, вернулся во дворец, Милих, рассказал ему о заговоре во всех подробностях. Центурион вошел в комнату и увидел Нерона; глаза его горели и руки дрожали после недавнего припадка;

однако он был спокоен и серьезен. Тигеллин и Эпафродит, оба пьяные, смотрели на Милиха с комической важностью и сбивали его с толку глупыми вопросами, которые, видимо, раздражали Нерона. Фений Руф сидел бледный от ужаса.

Нерон по сообщению доносчика составил себе довольно ясное представление о характере и распространении заговора.

— Это нужно исследовать,— сказал он и прибавил, обращаясь к Титу,— введи сюда женщину.

Минуту спустя Эпихарида стояла перед своими судьями.

Она была не молода и не хороша, но на всей ее фигуре лежала печать достоинства, которое поразило Тита и произвело довольно благоприятное впечатление на Нерона. Но она была женщина, и, по мнению римлян, если женщина не хотела говорить, ей можно было развязать язык пыткой.

Нерон спросил, какие причины заставили ее присоединиться к заговору.

— У меня была дочь, Цезарь,— отвечала она,— звери растерзали ее на арене; был сын — и его тело сгорело вместо факела в твоем саду. Они были христиане и пошли к Христу, но не за них я хотела тебя убить.

— Так за что же? — спросил император.

— Чтобы ты не мог уничтожить божественную истину на земле.

— Разве твой Бог не в силах сам позаботиться о своей истине? — спросил он.

Эпихарида молчала.

Нерон потребовал, чтобы она назвала имена заговорщиков, но она упорно отказывалась. Тогда он велел позвать палачей, а Тит украдкой вышел из комнаты.

Он находил естественным, что упрямую отпущенницу подвергают пытке. Но вид страдающей женщины всегда напоминал ему о бледном лице на залитой кровью арене, и это воспоминание ножом вонзалось в его сердце.

Прошло два часа, а ужасающая тишина в комнате не нарушалась. Тит сидел за дверями, готовый заткнуть себе уши при первом крике, но ни единого звука не было слышно, и, когда император позвал его, истерзанное тело женщины лежало на полу, и на лице ее застыла спокойная улыбка. Нерон в коротких словах сообщил Титу, что Эпихарида вынесла самые ужасные пытки, не вымолвив ни слова, и наконец лишилась сознания.

Он велел отправить ее в Мамертинскую тюрьму, а на следующий день снова представить для пыток.

На другое утро, когда половина знатных римлян спешила выдать друг друга, дрожа за свою шкуру, вольноотпущенница была принесена во дворец на носилках, потому что истерзанные члены не позволяли ей идти. По дороге она успела обвязать вокруг шеи свой пояс, а другой конец его прикрепить к балдахину над своей головой, и, когда носильщики достигли Золотого дома, в носилках лежал изуродованный труп.

Так умерла Эпихарида, претерпев ужасные пытки и согласившись лучше оскорбить небо самоубийством, чем спасти жизнь изменой.

Когда ее тело вынесли из комнаты, Нерон приказал привести Субрия Флавия.

Милих уверял, что Флавий был главной пружиной заговора и даже двух заговоров, потому что он подговорил центурионов тотчас же после убийства Нерона убить и Пизона и провозгласить императором Сенеку. Нерон не знал, впутывать ли ему в это дело своего старого учителя, так как был уверен, что тот не имел никакого понятия о заговоре, но в то же время сознавал, что Сенека был для него единственным опасным соперником. Убить Нерона мог всякий, но только Сенека был способен управлять миром.

Пока он размышлял об этом, вошел Флавий, погруженный в свои размышления. Нерон не заметил вопросительного взгляда, который трибун бросил на Фония Руфа. Лицо преторианца приняло выражение жалкой нерешительности. Но Тит заметил взгляд трибуна и увидел, что его рука сжимала что-то под туникой, пока он ждал знака от Руфа. К удивлению императора, Тит бросился на Флавия, схватил его за руку, дернул ее, и обнаженный кинжал упал на пол. Нерон бросил одобрительный взгляд на Тита, а Субрий Флавий пожал плечами и пробормотал:

— Могло бы случиться иное.

Действительно, если бы Руф не замедлил, кинжал трибуна погрузился бы в тело императора. Но Тит успел остановить его руку.

Мужество всегда нравилось Нерону, даже когда он был пьян или раздражен. Он сказал трибуну:

— Ты хотел убить меня, Флавий?

— Да, я хотел это сделать, если бы...

Он остановился, а Фений Руф, выхватив меч, воскликнул:

— Изменник! Негодяй! Он хотел убить Цезаря.

Пьяный преторианец, размахивая мечом, приблизился к Флавию, который смотрел на него с холодным презрением.

Но Нерон сделал знак Титу, и тот оттолкнул Руфа.

Император засмеялся и сказал:

— Спрячь свой меч, достойный Руф, теперь я в нем не нуждаюсь.— И, обратившись к трибуну, прибавил: — От тебя, Флавий, я не стану требовать, чтобы ты выдал своих друзей.

Краска залила лицо воина. Он гордо выпрямился и в первый раз поклонился императору.

— Скажи же мне,— продолжал Нерон,— за что ты ненавидишь меня? Чем я оскорбил тебя?

— Ты оскорбил весь римский народ,— отвечал трибун.— Ты осквернил престол Юлия, Августа и Тиверия. Пока ты был правителем римлян, я верно служил тебе, но когда ты сделался правителем развратниц и наездников, я решился оказать услугу Риму, убив тебя.

— Ты храбрый малый,— сказал Нерон,— но ты должен умереть.

Трибун снова поклонился.

Нерон испытывал один из тех порывов, которые доказывали, что в нем сохранилась еще капля величия его предков.

— Я желал бы,— сказал он,— чтобы мои друзья были такие люди, как ты, тогда, может быть, я был бы лучше и мир счастливее, но судьба решила иначе, и я принужден довольствоваться достойным Руфом и добродетельным Тигеллином. Я не могу пощадить тебя, Флавий, так как это значило бы произвести смуту в народе. Но я рад выразить тебе свое уважение. Ради блага Рима ты хотел убить меня; ради блага Рима я осуждаю тебя на смерть.

Он встал со своего кресла и, протянув руку Флавию, которую тот пожал, вышел из комнаты в сопровождении стражи.

Тигеллин и Руф разразились аплодисментами.

— Великий! Божественный Цезарь! Великодушный император!

Нерон сдержал их восторг.

— Теперь не время для комплиментов,— сказал он,— заговор еще не подавлен. Руф, я знаю твою преданность.

Пизон, которого хотели провозгласить сегодня императором, еще на свободе; возьми солдат и арестуй его.

Через полчаса Нерон в сопровождении Тита отправился в цирк; он спокойно поднялся по лестнице, приветствуемый кликами толпы, и почти весь день любовался играми.

Он был прав, говоря, что заговор еще не подавлен. Заговор был сильнее, чем думал Нерон, и если бы предводителем был решительный человек, он мог бы еще удасться.

Рано утром весть об измене достигла Пизона, и кучка заговорщиков толпилась в доме сенатора. Мнения разделились. Одни советовали бежать в Галлию, где, по слухам, готовился к восстанию пропретор Виндекс; другие говорили, что они должны умереть вместе; третьи — что лучше всего отдаться на милость Цезаря; иные подумывали об измене; немногие смельчаки советовали Пизону попытать счастья во что бы то ни стало. Они убеждали, что преторианцы готовы к восстанию и охотно провозгласят его императором.

Это был мудрый совет. Если бы Пизон послушался, то, по всей вероятности, победа осталась бы за ним. Но в эту минуту вся его решимость исчезла. Он не знал, кого слушать, на что решиться, и, пока обсуждался вопрос жизни и смерти, заботился о том, как лучше надеть тогу и какими духами надушить голову.

Время шло, и заговорщики один за другим оставляли своего беспомощного вождя, пока наконец остались только храбрейшие.

В последний раз они попытались пробудить его мужество. Но Пизон разразился истерическими слезами и объявил, что он решился на самоубийство.

Тогда и они ушли. Оставшись один, Пизон потребовал таблички и написал завещание, в котором осыпал Нерона самыми льстивыми похвалами и отказывал ему все свое состояние.

Когда час спустя Фений Руф вломился в его дом, жизнь Пизона уже отлетела, а кровь струилась из открытых вен.

Теперь заговор действительно был подавлен.

Всю ночь Руф свирепствовал в городе, убивая и арестовывая правых и виноватых.

На следующее утро он стоял перед Нероном и с довольной улыбкой повествовал о своих трудах.

— Ты много потрудился, достойный Руф,— сказал император,— теперь я хочу наградить тебя.

Руф отвесил низкий поклон.

— Ты уничтожил без остатка опаснейший заговор, и за эту услугу я даю тебе пятьсот тысяч сестерций...

Руф снова поклонился.

— Чтобы твоя вдова и сироты ни в чем не нуждались! — прогремел император.

Лицо Руфа покрылось смертельной бледностью.

— Поглядите на него! — воскликнул Нерон.— Этот жалкий трус, предавший казни несчастных, которые доверились ему, сам был одним из главных участников заговора. Он недостоин жить; возьмите его и избавьте от него мир.

Почти потерявшего сознание Руфа потащили к Эсквилинским воротам, где сильный удар меча разом положил конец его слезам, крикам и мольбам.

В этот день Рода, служанка Поппеи, сообщила Нерону, что ее госпожа умирает.

Нерон никогда не помнил того, что делал в припадке бешенства. Так и теперь, он чувствовал раздражение против Поппеи, но сам не знал, почему разговор, подслушанный им, и последовавшая затем ужасная сцена совершенно изгладились из памяти.

Известие, принесенное Родой, сразу уничтожило его глухую злобу.

— Поппея! Поппея! — воскликнул он.— Царица любви, моя жена умирает! Неужели есть в небесах боги, мстящие за грехи людей! Скажи мне, девушка, что же случилось с императрицей?

Испуганная служанка не могла вымолвить ни слова. Нерон взглянул на ее бледное лицо и бросился к Поппее.

Отдернув занавеску в дверях, он увидел Поппею на ложе; лицо ее уже подернулось тусклой бледностью, глаза были закрыты, пальцы бессильно цеплялись за покрывало; слышны были ее слабые стоны.

Ошеломленный Нерон остановился. Смутное воспоминание мелькнуло в его уме. Он схватился за голову, и кровь, прихлынувшая к его лицу, чуть не задушила его. Он хотел повернуться и бежать, но ноги отказывались повиноваться ему; ему всюду мерещилось лицо умирающей женщины, и стон вырвался из его груди.

Поппея открыла глаза и увидела его.

— Цезарь! — пробормотала она.

Он сделал несколько шагов — и остановился, дрожа всем телом; шагнул еще раз — и опять остановился.

— Цезарь! — снова простонала она, и Нерон бросился на колени перед ее ложем.

Несмотря на агонию, искажавшую ее лицо, оно сохранило горделивое выражение. Она лежала молча, пока он рыдал, пряча лицо в пурпуровом покрывале. Наконец его припадок утих, и она сказала, положив ему руку на плечо:

— Пизон?

— Умер! — прошептал он в ответ.

— Флавий... Руф? — почти беззвучно произнесли ее губы, и при каждом имени Нерон кивал головой.

Она приподнялась на ложе и воскликнула с поразительной ясностью:

— А Сенека?

По его опущенным глазам она угадала ответ.

— Я не хочу умереть раньше него,— простонала она.— Пусть он покажет мне дорогу.

Это усилие ослабило ее, и она упала без чувств на ложе.

Всю ночь Нерон провел на коленях подле нее. Иногда она бредила, вспоминая о Криспине, своем первом муже, об Отоне и даже о Тите, которого упрекала то нежно, то с досадой. Когда сознание вернулось к ней и Нерон хотел поцеловать ее руку, она отдернула ее, прошептав:

— Сенека!

Нерон долго колебался между странным уважением и ненавистью к своему старому воспитателю и министру. Но это был еще один человек, призывавший к его гибели.

Тигеллин донес Нерону, что главным руководителем заговора был Сенека, и в доказательство представил письмо.

Это были те самые таблички, которые Нерон и Тигеллин отняли когда-то у посланного Сенеки на Мильвийском мосту. Тигеллин обещал доставить его Бурру, которому оно было адресовано, но сохранил у себя на всякий случай. Теперь он старательно изменил письмо и поставил на нем надпись: «Субрию Флавию».

Хитрость удалась, и Нерон послал в Номентанум центуриона с роковым приказом. Он сказал об этом Поппее. Четыре часа она боролась со смертью.

Солдат вернулся уже под вечер, когда заходящее солнце бросало длинные тени поперек комнаты. Поппея

потребовала его к себе. Служанки приподняли и поддерживали ее, а Нерон стоял подле кровати.

Солдат рассказал о смерти Сенеки, о безмятежном спокойствии, с которым он встретил роковую весть, о последних минутах, когда он, истекая кровью, беседовал с плачущими друзьями. Потом он заговорил о неутешном горе Паулины и с дрожью в голосе рассказал, как она умоляла мужа позволить ей вместе с ним переселиться в неведомый мир, и, как опасаясь за ее участь, умирающий согласился на ее просьбу.

— Он умер! — воскликнула Поппея, и глаза ее заблистали.

— Он умер! — отвечал воин.

— Я была римской императрицей и погубила Сенеку! — воскликнула она и повернулась лицом к стене.

Когда центурион вышел, Нерон наклонился над ней и поцеловал ее.

Она была мертва.

XXX

Со времени смерти Поппеи участь Нерона была решена. Последние проблески добрых чувств, здравых стремлений исчезли в нем, припадки безумия учащались; какое-то мрачное отчаяние угнетало его, и он предавался зверствам и разврату.

Казалось, он воспылал ненавистью ко всему доброму; даже Тит начинал возбуждать в нем неудовольствие: император не мог забыть, что умирающая Поппея произносила имя Тита, ни разу не вспомнив о нем самом. Положение центуриона во дворце становилось ненадежным; наконец он решился просить императора отпустить его и в тот же день уехал на службу в легион, которым командовал его отец.

Дела во дворце шли все хуже и хуже; всякие правительственные заботы были оставлены, хищничество чиновников и правителей оставалось безнаказанным, жалованье войскам задерживалось, помощь нуждающемуся населению почти не оказывалась.

Таково было положение дел, когда прошел слух, что Галлия возмутилась и Виндекс идет на Рим. Прошло еще несколько недель; народ томился между страхом и надеждой; наконец пришло известие, что германская провинция тоже восстала. Далее узнали, что испанские ле-

гионы взбунтовались и провозгласили императором своего полководца Гальбу. Только в один прекрасный день прохожие услышали шум и движение в преторианском лагере, и вскоре волнение распространилось по всему Риму и крики: «Гальба! Гальба! Смерть комедианту!» — раздавались повсюду.

Когда известие о бунте Виндекса пришло в Рим, Нерон усердно занимался устройством органа, который должен был превзойти все известные дотоле инструменты чистотой и силой звука. Такой пустой случай, как восстание провинции, разумеется, не могло оторвать его от этого важного занятия.

Он пробормотал несколько проклятий и угроз по адресу мятежного наместника и тотчас забыл о нем. Также равнодушно отнесся он к известию о восстании в Германии и Испании.

Орган был готов, и, когда Тигеллин явился с известием о новых бедствиях, император пробовал новый инструмент.

Однако префект понял, что угрожает нешуточная опасность, и с большим трудом упросил Нерона заняться делами.

Император предложил несколько проектов: устроить пир и отравить всех сенаторов; выпустить зверей на улицы; разрушить город; перенести двор в Александрию.

Никакими усилиями Тигеллин не мог добиться решения: император спешил вернуться к органу, и совещание кончилось припадком бешенства, заставившим Тигеллина убежать в ужасе.

Припадок продолжался всю ночь. Изредка Нерон слышал голоса Агриппины, Октавии и Поппеи, упрекавших его в жестокости. Тогда он бросался к органу, стараясь заглушить эти голоса, и рабы в отдаленных комнатах, дрожа от страха, прислушивались к нестройным звукам, разносившимся по коридорам.

Утром злой дух оставил его, и вернулась частица прежней силы и достоинства. Он послал за Тигеллином, который сообщил о приближении мятежников. Нерон холодно выслушал его.

— Ну если мы не можем царствовать, то можем пировать.— И приказал приготовить великолепный обед.

Вернувшись к органу, он строго запретил Тигеллину беспокоить его, что бы ни случилось в Риме.

В течение нескольких часов он услаждал свой слух

музыкой, потом оделся в пурпурное платье, обвил голову гирляндой из роз и пошел в пиршественную залу.

Здесь ожидала его толпа. Это были по большей части вольноотпущенники, но среди них фигурировали и некоторые из патрициев, прокутившие свое состояние и дошедшие до того, что сделались спутниками Нерона.

Император кормил их, одевал и презирал. Как ни низко он пал сам, но все же гнушался этими людьми.

Когда он вошел в залу, поднялся крик:

— Несравненный Цезарь! Аполлон! Божественный Август!

Нерон улыбнулся и сказал:

— Благодарю, любезные гости; если бы вы могли делать людей богами, то, наверное, сделали бы меня Юпитером; а если бы я сделался Юпитером, то немедленно послал бы вас в темные бездны Гадеса.

— Что за шутка! Как остроумен наш Цезарь! — раздалось со всех сторон.

Он сел за стол, сказав:

— Надо поесть сегодня, чтобы не быть голодным завтра.

Тонкие блюда и вина сменялись одни за другими; песни и смех оглашали комнату, и веселее всех был Нерон.

Наступил вечер, ночная тень ложилась на город, когда в комнату вбежал солдат с криком:

— Спасайся, Цезарь! Преторианцы восстали и провозгласили Гальбу.

Наступило мертвое молчание, и Тигеллин тревожно спросил Нерона:

— Что ты намерен предпринять, Цезарь?

— Я намерен окончить обед,— спокойно отвечал Нерон.— Достойные товарищи, тут еще много цекубанского вина. Отрываться от обеда неблагоразумно, можно расстроить себе желудок.

Собеседники его отшатнулись, услыхав эту дикую шутку, и один из них вскочил и хотел убежать. Нерон заметил это и, схватив тяжелый кубок, пустил его вдогонку беглецу, который, получив удар в голову, упал.

— Рано еще! — крикнул император.— Рано еще оставлять меня. Я хочу окончить обед.

Веселье пировавших как рукой сняло; они поглядывали друг на друга с ужасом.

— Клянусь двуликим Янусом,— воскликнул Нерон,—

вы годитесь только для похоронного пира. Пусть кто-нибудь споет песню.

Не получив ответа, он продолжал:

— Ну, если вы онемели, я спою сам!

Еще раз явились на сцену арфа и кресло; зеленая мантия была накинута на плечи Нерона, лавровый венок возложен на его голову. Звучным, сильным голосом запел он предсмертную песню Эдипа — но он пел для глухих. Собеседники один за другим прокрадывались из залы, и первым бежал Тигеллин. Когда Нерон дошел до стиха: «Жена, отец, мать осудили меня на смерть»,— в зале оставались только один евнух, двое отпущенников и Эпафродит.

Секретарь, как оказалось, не был вполне лишен чувства благодарности; он бросился к ногам Нерона и умолял его бежать, пока солдаты не ворвались во дворец.

Нерон отбросил арфу, пожал плечами и сказал:

— Разве здесь не хорошее место для того, чтобы умереть?

Отпущенники присоединились к просьбам Эпафродита, и один из них предложил императору дом поблизости от Номентанума. Здесь, по его словам, он мог скрыться, а потом бежать к парфянскому царю, который окажет ему поддержку.

Нерон прохаживался взад и вперед по зале, напевая отрывки песен и подшучивая над людьми, которые одни остались ему верными; но наконец их просьбы подействовали на него, и он согласился бежать.

Беглецы пробрались под колоннадами, ведшими к Эсквилину; затем Нерон переоделся и сел на коня. Скоро они достигли Номентанских ворот. За стеной, направо от дороги, находился преторианский лагерь, и Нерон, проезжая мимо, слышал крики солдат. Большинство из них устроили оргию и перепились, а офицеры, не зная, что предпримет Нерон, тщетно старались восстановить дисциплину угрозами и ударами. Поминутно раздавались крики: «Да здравствует Гальба! Смерть Нерону!»

Эпафродит и остальные спутники дрожали при мысли, что кто-нибудь узнает императора. Им попался навстречу всадник, мчавшийся к городу.

— Какие новости... что Нерон? — крикнул он.

— Нерон, друг мой, готовится стать богом,— отвечал император, намекая на обычай сенаторов воздавать божеские почести умершему императору.

Всадник засмеялся, Нерон тоже, и они разъехались.

Немного далее они встретили старого солдата, который когда-то служил телохранителем у императора, и который, увидев их, хотел бежать в лагерь и известить товарищей. Нерон загородил ему дорогу и бросил повелительный взгляд на старого ветерана.

Солдат вернулся в лагерь, но не сказал, кого он встретил.

Наконец они достигли виллы отпущенника, и император, истомленный непривычной усталостью, пробрался сквозь чащу терновника и бросился на кучу хвороста, которую его друзья прикрыли своими одеждами. Они хотели скрыть его в колодце, но он отказался, говоря:

— Я не хочу быть погребенным заживо.

Тогда они пробили отверстие в стене виллы и провели его так, чтобы никто из рабов не знал о его присутствии.

На следующее утро явился вестник и сообщил, что сенат одобрил выбор войск и объявил Нерона врагом республики. Он сообщил также, что местопребывание императора открыто и отряд воинов послан в Номентанум, чтобы схватить его.

Нерон попробовал острие своего кинжала и спросил, когда можно ожидать отряд. Узнав, что они прибудут через полчаса, он осведомился у Эпафродита, какая казнь ожидает человека, объявленного вне закона.

Секретарь рассказал ему о смерти под бичами и просил избавиться от этой муки и унижения самоубийством.

Император медлил, а Эпафродит умолял его согласиться, убеждая, что умереть вовсе не трудно.

— Если это так легко, добрый Эпафродит,— сказал Нерон, протягивая ему кинжал,— то ступай объяви Плутону о моем появлении.

Но секретарь отшатнулся. Евнух и один из отпущенников подняли крик; император пытался остановить их вопли:

— Не так визгливо, Спор, жалобнее; Фаон, ты ревешь точно бык.

Наконец, утомившись от криков, он велел им замолчать. В эту минуту послышался топот копыт.

Нерон выхватил кинжал и, взглянув на свое отражение в блестящем лезвии, сказал с иронией, плохо скрывавшей душевную муку:

— Какого артиста теряет мир!

Ближе и ближе слышался топот; наконец кони остановились, и в эту минуту Нерон вонзил себе в горло кинжал со словами:

— За Сенеку!

Он замахнулся еще раз, но рука его ослабела, и Эпафродит помог ему нанести удар, который он принял, простонав:

— За Рим!

В эту минуту дверь распахнулась, и в комнату вбежал Тит с толпой солдат. Он бросился к Нерону и хотел остановить кровь своим плащом. Император открыл глаза и прошептал:

— Поздно, честный солдат!

Дрожь пробежала по его телу, и мгновение спустя он был мертв.

Тит поклонился трупу последнего из Цезарей, повернулся и вышел.

Новый правитель, из другого рода, воцарился в Золотом доме и с насмешливой пышностью торжественно сжег тело Нерона.

Народ по-прежнему веселился в цирке, где он участвовал в состязаниях, и в театрах, где он пел. Но не нашлось ни одного, кто подобрал бы его пепел, чтобы ветер не разнес его по свету.

В целом мире только Актея да Эклога горевали о нем. Они собрали его прах в урну и поставили ее в гробнице его предков на цветущем холме садов.

Однажды вечером Актея стояла на холме и смотрела на солнце, исчезавшее за безбрежным морем. Она грезила о свете, который никогда не угаснет, о солнце, которое никогда не закатится, и об огне, который проникнет в глубину людских сердец. Актея грезила и была счастлива.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] **Катон Старший** (234—149 до н. э.) — римский сенатор, консул. Укреплял мощь и влияние Рима, был непримиримым врагом Карфагена. Август (60 до н. э.— 14 н. э.) — племянник Цезаря, усыновленный им в своем завещании. После ряда побед (над Антонием, Клеопатрой) завершил гражданские войны, начавшиеся после смерти Цезаря. Сосредоточив в своих руках огромную власть, став императором, он тем не менее оставил в Риме традиции республики. Обожествление Августа народом привело к возникновению культа императоров. Время правления Августа известно расцветом искусства и науки, замечательной архитектурой.

[2] **Калигула** — прозвище Гая Цезаря Германика (12—41 н. э.), римского императора с 37-го года. Воспитанный в Германии и выросший среди солдат, он получил прозвище от солдатской обуви (caligae), которую носил с детства. Правление Калигулы отличалось деспотизмом, произволом, притеснением римлян. Был убит заговорщиками из преторианской гвардии. Клавдий (10 до н. э,— 54 н. э.) стал императором после убийства Калигулы. Его правление примечательно укреплением государственной власти, улучшением финансов, строительством дорог. Был отравлен своей четвертой женой Агриппиной, матерью Нерона, боявшейся, что Клавдий лишит Нерона императорского престола.

[3] **Тиверий** (или Тиберий) Клавдий Нерон (42 до н. э.— 37 н. э.) с 14-го года — римский император. Выдающийся полководец, совершил ряд победоносных походов в Армению и Германию. Став императором, продолжил политику Августа, но к концу жизни, сделавшись подозрительным и нелюдимым, удалился из Рима на Капри.

[4] **Агриппина Юлия Младшая** (15—59 н. э.) — римская императрица. От первого брака с Гн. Домицием Агапобарбом родился будущий император Нерон. В 49-м году вышла замуж за своего дядю Клавдия, на которого оказывала огромное влияние, приобретя невиданную власть. В период правления Нерона ее власть начала ослабевать. Нерон, подозревавший мать в честолюбивых планах, приказал убить ее.

[5] **Арминий** происходил из германского королевского рода. Поступив на военную службу к римлянам, он завоевал доверие римского наместника Квинтилия Вара, заманил его в ловушку и разбил римлян в сражении. Три римских легиона были уничтожены, а сам Вар покончил самоубийством. Эта победа вызвала восстание, покончившее с римским господством между Рейном и Эльбой.

[6] **Сципион** — прозвище рода Корнелиев, из которого вышли выдающиеся римские полководцы и государственные деятели.

[7] **Ахан** (возмутитель, древнеевр.) — после падения Иерихона скрыл в земле ценности, несмотря на Божеское повеление. За этот грех Бог прогневался на всех иудеев.

[8] **Минерва** — в римской мифологии покровительница ремесел и искусств. Диана — богиня Луны.

[9] **Карфаген** — важнейший порт западного Средиземноморья, главный соперник Рима. Войны между Карфагеном и Римом, так называемые пунические, от прозвания жителей Карфагена, пунийцев, привели к падению города. Тир — богатый приморский город, один из могущественнейших в Финикии.

[10] **Веста** — римская богиня домашнего очага и очага римской общины. Круглый храм Весты стоял на Римском форуме. Внутри храма находился алтарь Весты, в котором весталки поддерживали вечный огонь.

[11] **Марий** (156—86 до н. э.) — римский полководец и политик. В гражданской войне возглавлял одну из партий. После поражения бежал в Африку, в 87-м году сумел захватить Рим и жестоко расправился со своими противниками, поддерживавшими Суллу. Сулла (138—78 до н. э.) — римский консул, полководец, начал гражданскую войну, двинув войска на Рим. Победив Мария, в 82-м году провозгласил себя диктатором, проводил жестокие массовые репрессии, но вскоре сам отказался от власти.

[12] **Плутон** — в греческой мифологии бог подземного мира.

[13] **Фурии** — в римской мифологии богини мщения, обитающие в подземном царстве.

[14] **Анхиз** (или Анхис) — в римской и греческой мифологии отец славного героя Энея. Когда Анхиз пас стада, его красотой пленилась Афродита и родила от него сына. Миф о любви богини Афродиты и простого смертного Анхиза был использован родом Юлиев, утверждавших, что их происхождение через Энея ведет к богине Венере.

[15] **Триклиниум** — столовая в доме римлянина.

[16] **Аталанта** — в греческой мифологии знаменитая красавица, охотница.

[17] **Катон Младший** (95—46 до н. э.) — республиканец, противник Цезаря. После победы Цезаря над приверженцами Помпея покончил самоубийством. Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский политик, оратор и писатель. Сторонник республиканского строя. Брут Марк Юлий (85—42 до н. э.) — возглавил заговор против Цезаря, по преданию, одним из первых нанес ему удар кинжалом. Юлий Цезарь (102—44 до н. э.) — римский диктатор, полководец. Сосредоточил в своих руках огромную власть. Вергилий (70—19 до н. э) и Гораций (65 до н. э.— 8 до н. э.) — знаменитые римские поэты.

[18] **Осада Трои** воспета в «Илиаде», посвященной Троянской войне. Троя была сожжена Парисом. Аргивянами называли всех жителей Греции.

[19] **Медуза** — старшая из трех сестер Горгон. Крылатые, покрытые чешуей, со змеями вместо волос, с клыками, со взором, превращающим все живое в камень, сестры Горгоны были чудовищным порождением морских божеств.

[20] **Лукан** (39—65 гг. н. э.) — поэт, племянник Сенеки, входил в круг друзей Нерона, но оказался в опале из-за зависти императора к его литературной славе. Петроний Гай — писатель, знатный чиновник, придворный Нерона. Автор сатирического романа «Сатирикон» Персий Флакк (34—62 гг.) — поэт, богатый аристократ. Светоний — известный римский полководец середины I века н. э.

[21] **Фурии** — римские богини мщения.

[22] **Авгуры** — римские жрецы-предсказатели.

[23] **Герои поэмы Гомера «Илиада».**

[24] **Менады** — спутницы греческого бога Диониса, почитавшегося также под именем Вакха, отсюда и название — вакханки. Во время культовых шествий менады, размахивая факелами, изображали свиту бога.

[25] **Катулл** — римский лирик. Жил в первой половине последнего века до н. э. Особой известностью пользовались стихи, представлявшие историю любви к Клодии, воспетой поэтом под именем Лесбии.

[26] **Кальпурнии** — древнеримский плебейский род, давший ряд политиков и военачальников.

[27] **Минерва** — см. прим. 8. Парис — сын царя Приама из Трои. Выступил судьей в споре богинь Геры, Афродиты и Афины о яблоке раздора в пользу Афродиты. Похитив с помощью Афродиты прекрасную Елену, он увез ее в Трою, что и явилось причиной Троянской войны.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ТЕОДОР
ЕСКЕ-ХОИНСКИЙ

ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ

ЧАСТЬ I

I

Дворец Аврелия Симмаха, находившийся в Риме на Триумфальной улице, растворил первого ноября триста девяносто первого года по Рождеству Христову настежь свои ворота для всех родственников, друзей и клиентов [1]. Громадное здание сверху донизу тонуло в венках из мирта и плюща. Рабы убирали его целую неделю. По колоннам портика, обвитым гирляндами виноградных листьев, они развесили белые ковры, воду в фонтанах подкрасили цветными маслами, дорожки в саду усыпали лиловыми цветами шафрана.

Еще вечерние сумерки не стерли с фронтонов храмов и общественных зданий последние отблески заходящего солнца, как во всем городе поднялись шум и движение, словно весной в улье. Торговцы раньше, чем обыкновенно, запирали свои лавки, разносчики складывали свои лари, ремесленники бросали инструменты. Свободные граждане, имевшие право носить тогу, накидывали ее на себя и оставляли дома, чтобы следовать за толпой, плывущей по всем улицам по направлению к Копенским воротам. Наиболее состоятельные, которые могли платить за места, усаживались на подмостках, устроенных вдоль тротуаров.

---

[1] Клиенты — одна из самых низших социальных групп в древней Италии, римский плебс.

Весь языческий Рим хотел принять участие в торжестве, которое устраивалось во дворце Симмаха, так как этот сильный человек, известный оратор и писатель, богатейший из сенаторов Италии, консул текущего года, защищал народных богов, подвергая опасности свою жизнь и состояние. В своем рвении он не боялся даже гнева императора Феодосия. Если бы не он и не его близкий друг, человек столь же сильный, префект Никомах Флавиан, на Капитолии блестел бы крест галилеян.

Эти два римлянина, державшиеся старых обычаев, скрепляли сегодня союз дружбы кровными узами: Симмах выдавал свою дочь Галлу за сына Флавиана. Когда на небе покажется первая звезда, запылают тысячи факелов и из дворца выступит свадебный поезд, отец, окруженный родственниками и гостями, отведет молодую девушку на Виминал, в жилище Флавианов. И весь языческий Рим высыпал на улицы, чтобы выказать защитникам народных богов свою признательность и благодарность.

Вблизи триумфальной арки Константина, напротив амфитеатра, собралась кучка горожан. Они, видимо, не принадлежали к друзьям Симмаха и Флавиана, так как не почтили семейного торжества праздничными платьями. В обыкновенных осенних туниках с длинными рукавами вышли они на улицу и равнодушно смотрели на людские волны, которые заполняли театральную площадь.

— Если бы Амвросий Медиоланский был во главе римской общины, идолопоклонники не издевались бы с таким бесстыдством над истинным Богом,— сказал низкорослый, худой горожанин в потертой тоге.— Наш же епископ целуется с Симмахом, а Флавиана зовет своим другом. Остыло в нас рвение к вере.

Он указал на амфитеатр и продолжал:

— Может быть, вы скучаете о том времени, когда наши мученики забавляли в этих проклятых стенах своими страданиями сброд язычников?

Глаза христиан обратились в сторону громадного здания, которое кровавыми буквами записано в истории новой веры.

— Ты вызываешь страхи, погребенные навсегда,— проворчал молодой солдат.— Уже сто лет, как мы публично молимся в своих церквах, признанные правительством. На нашей стороне стоят императоры, им же скоро останутся только одни воспоминания.

Худой горожанин в потертой тоге встрепенулся.

— Воспоминания! — вскричал он.— Воспоминания не ходят по улицам в пурпурных сенаторских тогах, не живут во дворцах, не занимают высоких должностей. Что нам из того, что императоры молятся истинному Богу? Несмотря на это, Зевс до сих пор господствует в Капитолии, до сих пор приносятся жертвы, как будто распоряжения Феодосия и Валентиниана изданы на ветер. Константинополь и Виенна[2] приказывают, а Рим не слушается; император уничтожает идолопоклонство, а префект претории, его ближайший заместитель, закалывает собственной рукой белых быков и советуется перед каждым важным делом с гадателями. Все мы знаем, что Никомах Флавиан, не колеблясь, сослал бы нас в сардинские рудники, если бы нас не охраняла сила цезарского имени. А кто виноват, что этот яростный язычник распоряжается в Риме, как будто свет истинной веры прячется еще боязливо в подземельях кладбищ? Вместо того чтобы выйти на улицу и потребовать выполнения цезарских указов, мы ежедневно позволяем идолопоклонникам пренебрегать ими. Мы спокойно смотрим на их отвратительные суеверия, сходим с дороги, встречая их смешные процессии, со смирением и покорностью принимаем участие в их празднествах. Если бы мы пошли всей толпой на Палатин и заявили единогласно: «Не хотим идолопоклонства, хотим, чтобы указы цезаря осуществились на деле!»,— то божественный Феодосий узнал бы в Константинополе и тотчас Зевс должен был бы уступить нашему Агнцу. Перенося без отпора дерзость врагов Церкви, мы сами подтверждаем ложные донесения, которыми Флавиан засыпает без устали двор в Константинополе и Виенне. Он-то и внушает правительству, что мы в древней столице государства составляем такое незначительное число, что с нами не стоит и считаться. Он и этот лукавый Симмах умышленно вводят божественных императоров в заблуждение, чтобы отдалить победу истинного Бога.

Глухой ропот прошел в толпе христиан. Они сочувственно кивали головой оратору.

— А я говорил,— отозвался какой-то сапожник с фиолетовым носом пьяницы,— что надо было подавать го-

---

[2] Константинополь, прежде называвшийся Византией, со времен Константина Великого был столицей Римской империи. Виенна в 391 и 392 гг. была резиденцией императора Валентиниана II, царствовавшего одновременно с Феодосием, который жил в Константинополе.

лоса за Прокопия. Если бы он управлял общиной, то епископ не братался бы с язычниками.

Прокопий усмехнулся.

— Сами мы виноваты,— продолжал он,— что эти язычники располагаются в Риме, как будто бы нас совсем не было. Они правят в сенате, заседают на Палатине, живут в лучших частях города, а мы держимся в стороне и гнием в грязных норах по закоулкам.

— И наши заседают в сенате,— заметил молодой солдат.

— А сколько их?— закричал Прокопий с гневом.— Мы все должны быть в Капитолии, так как Рим принадлежит нам. Наши предки завоевали его своим мученичеством. Не для того первые христиане гибли на аренах, чтобы их потомки служили этим языческим псам. Довольно поцарствовали они, теперь наш черед.

— Станем на будущих выборах подавать голоса за Прокопия!— крикнул портной.— Если бы епископ думал так, как он, нам лучше бы жилось на свете. На что Симмаху столько садов? Тот, который за Тибром, пригодился бы для моих детей, было бы где им поиграть.

— Консул вчера приказал зарезать сто волов для угощения этих дармоедов, а благочестивый христианин не видит куска мяса за целую неделю,— отозвался торговец овощами.— Хотя бы кого-нибудь из нас пригласил. Но язычник не подумает о том, что и поклонник истинного Бога охотно бы подкрепил свои силы за пиршественным столом. Ради чего милосердный Агнец страдал на кресте, когда они захватывают лучшие дары земные?

— Ради того,— вмешался солдат,— чтобы научить нас пренебрегать наслаждениями сего мира

Сапожник громко рассмеялся.

— Эх, ты, молокосос! Если тебе хочется мученичества, то запишись в наш цех, а палка моего подмастерья подготовит тебя к небесному венцу.

— Вы ссоритесь,— отозвался Прокопий,— а Симмах тем временем доказывает всему свету, что Рим не перестал быть местопребыванием языческих предрассудков, и единственно с этой целью отдает свою дочь во дворец Флавианов. Мы не были бы верными слугами истинного Бога, если бы не помешали этому гордому язычнику совершать те старинные римские обряды, о которых давно забыли даже жрецы Зевса.

В толпе христиан вторично прошел глухой ропот.

— Слушайте Прокопия, он дает хороший совет,— сказал сапожник.

— Они еще слишком сильны,— заметил торговец овощами.

— Трусов страшит даже вид детей! — презрительно сказал Прокопий.— Да мы их забросали бы сандалиями, если бы только захотели.

— Конечно! Разумеется! — повторяли кругом.

Христиане окружили Прокопия и совещались вполголоса. Потом они разбежались по площади амфитеатра.

Когда все это происходило на улицах Рима, во дворце Симмаха в приемной зале, убранной цветами и коврами, собралось более ста гостей обоего пола. Все платья, мужские и женские, украшала широкая пурпурная полоса — признак сенаторского рода, руки были покрыты перстнями и браслетами. В волосах, на шеях и башмаках женщин блестели жемчуг и драгоценные камни, которые сверкали при свете многочисленных ламп с колпаками из александрийского стекла.

Все это блестящее общество приносило поздравления пятнадцатилетней девочке, смущенной предупредительностью важных мужчин и матрон. С глазами, опущенными книзу, в покрывале огненного цвета, Галла, единственная дочь консула Симмаха, в молчании слушала доброжелательные слова друзей своего отца. Горячий румянец не сходил с ее красивого, свежего лица, заключенного в рамку густых темных волос, уложенных по стародавнему обычаю римских невест в шесть рядов.

Мужчины были облачены в длинные тоги, доходящие до щиколоток. Эта одежда уже выходила из употребления в конце четвертого столетия.

Только один из гостей Симмаха не облекся в национальное римское платье и не принимал участия в беседе, которая велась вполголоса. На нем, сверху шелковой желтой туники, была серебряная кольчуга, а на кольчуге — воинский плащ греческого покроя, называвшийся хламидой, застегнутый на правом плече большим аметистом. В одной руке он держал золоченый шлем, а другой опирался на рукоятку короткого меча.

В затруднительном положении оказался бы тот, кто пожелал бы определить его национальность, очевидно, что это было дитя двух рас. Одна дала ему черные, огненные глаза и смуглый цвет лица южанина, другая по-

крыла его голову белокурыми волосами. Несмотря на высокое положение, которое он занимал в легионах, о чем свидетельствовала широкая лента, опоясывающая его бедра, и золотая цепь с портретом цезаря Валентиниана, ему было не более тридцати лет.

Видимо, он был чужим среди гостей Симмаха, так как стоял один, в стороне ото всех. Остальные не особенно доброжелательно посматривали на него. Его взгляд свободно скользил по лицам римлян, и если останавливался дольше, то только на мраморных изваяниях знаменитых полководцев и граждан, стоявших вдоль стен, как будто он сравнивал живых с умершими.

Погруженный в свои мысли, он не заметил, что один из младших сенаторов отделился от группы, с которой вел разговор, и подошел к нему, и только тогда обернулся к патрицию, когда услышал его тихий голос.

— Приветствую тебя в столице, знаменитый воевода,— сказал сенатор,— и пусть ласки римлянок заставят тебя забыть о прелестях цезарского двора.

— Благодарю тебя за добрые пожелания, славный претор,— отвечал тот, которого сенатор назвал воеводой,— но я не думаю, чтобы они могли осуществиться.

— Я вижу, что ты пришел к нам с предубеждением советников божественного Валентиниана.

— Посмотри, как неприязненно глядят на меня в доме консула.

— Мы неприязненно встречаем только тех, кто умышленно выказывает нам пренебрежение. Твой оруженосец должен был тебе объяснить, что римский обычай не допускает, чтобы гости переходили через порог нашего дома в военных доспехах, с оружием в руках.

— Оружие и доспехи римского воина не должны оскорблять глаз римлянина. Я ношу одежду и знаки нашего божественного и бессмертного государя.

Сенатор замолчал, едва улыбнувшись, и через несколько времени прибавил:

— А все-таки я советовал бы твоей знаменитости сообразоваться с нашими обычаями, если ты имеешь намерение провести с нами несколько времени — мы придерживаемся старых обычаев и очень упрямы...

— Языческие обычаи не обязательны для христианина,— отвечал воевода.

Сенатор пожал плечами.

— Если я надоел тебе своими замечаниями, то прости меня,— холодно сказал он,— мне казалось, что я могу

предостеречь хорошего знакомого. Все-таки мы провели когда-то вместе несколько веселых недель в Виенне. Это дает право на искренность.

В это время перед занавеской, закрывавшей боковой коридор, который соединял залу со следующими комнатами, показался ликтор[3] и поднял кверху свой пучок розог.

По его знаку шепот и смех затихли, присутствующие расположились вокруг домашнего жертвенника.

Вслед за ликтором шла молодая женщина в белой широкой одежде без всяких украшений. На лбу у нее была повязка такого же цвета с лентами, которые спадали по обе стороны ее лица. С ее левого плеча свешивался пурпурный плащ.

Все склонили головы перед ней с глубоким уважением, она же, казалось, не обращала внимания на эти знаки почета. Она шла спокойно, не глядя на окружающих, со взором, опущенным книзу. Когда она подошла к жертвеннику, то скрестила руки на груди и низко поклонилась священному огню.

— Римлянка! — шепнул воевода.

— Да, римлянка,— сказал сенатор.— Присмотрись хорошенько к этому истинному отпрыску «волчьего племени», ибо это Фауста Авзония, племянница префекта Флавиана. Ее предки еще до консулов носили всаднический перстень. Вот она, может быть, примирила бы тебя с нашими обычаями.

Воевода молчал. С первой минуты, как только Фауста Авзония показалась в зале, он был приятно изумлен. Эта высокая, стройная фигура, двигающаяся с достоинством царицы, действительно напоминала матрону Древнего Рима. Несмотря на молодые годы, на ее лице отражалось спокойствие зрелого человека. Черные волосы с гранатовым отливом выбивались из-под повязки, черные брови почти сходились над орлиным носом.

— Не утруждай понапрасну глаз,— отозвался сенатор,— она дева — жрица Весты! Стрелы бога любви падают бессильно у ее ног, точно гнилые щепки.

— Весталка? — проговорил воевода, не отрывая взгляда от Фаусты.

— Жрица нашего народного огня.

— Какая жалость...

---

[3] Ликтор — должностное лицо при высших магистратах и жрецах в Древнем Риме.

— Не ты первый высказываешь сожаление, что сердце Фаусты замкнуто навсегда для любви.

— Навсегда ли? — спросил воевода с недоверием.

— Ты в Риме,— отвечал сенатор,— а у нас еще сильны старые боги, несмотря на угрозы из Константинополя и Виенны. Месть оскорбленного народа разорвала бы в клочья того, кто осмелился бы унизить девственницу весталку нечистым вожделением.

— Мстительность вашего народа раздробится о волю божественных императоров.

— Не одна только чернь приносит жертвы в храмах Рима.

— И сопротивление вашей знати вскоре сокрушится перед могуществом креста.

— Ты так думаешь?

— Я знаю это.

— Не с чувством приязни прибыл ты к нам, Винфрид Фабриций,— сказал сенатор.

— Моей любви к истинному Богу я никогда не прикрывал лживым словом,— отвечал Винфрид,— о чем Кай Юлий Страбон должен знать со времени нашего совместного пребывания в Виенне.

— Я думал, что время притупило острие твоей религиозной нетерпимости. Только молодость кичится беспощадностью.

— Глубоко прочувствованная вера не стынет с годами. Не любит Бога тот, кто входит в сделки с его врагами.

Когда воевода говорил это, его лицо приняло выражение непреклонности.

— По крайней мере ты искренен,— пробормотал сенатор.

— Прошло то время, когда искренность была печальной добродетелью христиан, за которую они расплачивались на арене амфитеатра. Теперь даже трус может прославлять во всеуслышание распятого Христа.

В зале поднялось движение. Все общество устремилось к коридору, на пороге которого показался человек лет пятидесяти с лишком, среднего роста, одетый в красную, затканную золотом тогу консула. Это был Квинт Аврелий Симмах.

Хотя известный оратор и писатель стоял вместе с префектом Флавианом во главе староримской партии, но происходил он, по-видимому, не из рода патрициев, ста-

туями которых украсил свою залу. У него не было круглого, выпуклого на висках черепа, ни орлиного профиля, ни холодной гордости в глазах и линиях рта. Его продолговатая голова, высокий лоб, образующий с носом прямую линию, умные глаза, борода с проседью скорее напоминали тип греческого мудреца.

Симмах с признательностью благодарил гостей за то, что они во множестве стеклись на его семейное торжество. Сенаторов он целовал в губы, а их жен и дочерей одаривал ласковым взором. И, только заметив воеводу, он слегка нахмурил брови, а на его широких губах угасла приветственная улыбка. Пригласив только что присланного из Виенны начальника легионов, стоявших гарнизоном в Италии, он почтил его как представителя императора.

Поздоровавшись с каждым отдельно, Симмах подошел к жертвеннику. По стародавним римским преданиям доисторических времен он был верховным начальником рода, жрецом домашнего культа. Только он один имел право сноситься непосредственно с душами предков и разрешать узы, соединяющие членов семьи с очагом. Без его разрешения никто не мог перейти на служение другим духам-покровителям. И лишь с того времени, когда он своей отцовской властью освободит Галлу от обязанностей, связывающих ее с традициями Симмахов, девушка может дать своему жениху клятву в верности на всю жизнь. Как только руки мужа перенесут ее через порог дома Флавианов, для нее погаснет навсегда очаг родного гнезда. Души ее предков не последуют за ней под чужой кров, где благоденствие рода охраняют иные, невидимые покровители. Она сольется не только телом, но и верой, чувствами, целями жизни с Флавианами, составляя с ними такое нераздельное целое, как будто она родилась и воспиталась в их среде.

Отец, пока не передаст ее в руки мужа, должен прежде всего умолять богов рода за ее отступление от культа, в поклонении которому протекла ее молодость.

Воевода, сын аллемана, служивший в отряде телохранителей Грациана, воспитанный христианскими священниками, находившийся долгое время в ближайшей свите Валентиниана, не мог объяснить себе зрелище, свидетелем которого он был.

Правда, он слышал, что в западных провинциях Империи, в особенности в Италии и Галлии, некоторая часть населения еще противилась новой вере, но никогда

не предполагал, что язычество насчитывало столько сторонников в высшем слое общества. Все эти язычники, окружавшие домашний алтарь хозяина, занимали в администрации города и страны высокие должности. Тут были не только богатейшие, но и наиболее влиятельные люди Италии.

Искренне ли они верили, что в огне, тлеющем на жертвеннике, живут души предков Симмаха, знающие судьбу рода, к которому они когда-то принадлежали?

Пока воевода раздумывал над этим, в тишине, царившей в зале, раздался звучный голос консула:

— В силу моей отцовской власти,— медленно и с расстановкой говорил Симмах,— я снимаю с тебя, Галла, бремя обязанностей, с которыми ты родилась на свет, и отдаю под покровительство домашних богов Флавианов, дабы ты отныне была их верной служительницей.

Он замолчал и с минуту смотрел на пламя жертвенника, потом протянул руки и заговорил далее взволнованным голосом:

— В тебе, священный огонь, олицетворение римских добродетелей, покоится последняя надежда приверженцев старого порядка. До тех пор, пока наши матери, жены и дочери будут прибегать к тебе с любовью и верой, до тех пор твоих поклонников не одолеет надменность восточного суеверия. Пылай же вечно, чистый и бессмертный, и будь той таинственной силой, которая объединяет мысли и чувства всех членов семьи одной целью. Будь связующим звеном между нами и душами предков, чтобы мы не забыли о доблестях, которые дали им господство над миром. Свети нам везде за нашей работой — в совете и на поле брани, ибо в настоящее время больше, чем когда-либо, мы нуждаемся в твоем животворящем тепле. Честь тебе и хвала, святой домашний очаг!..

— Честь тебе и хвала! — повторили шепотом несколько десятков голосов.

Первая часть обряда была окончена. А свадьба вместе с торжественным обедом должна произойти в доме Флавианов.

Спустя полчаса, когда на небе засверкала вечерняя звезда, ворота дворца отворились и со двора двинулся свадебный поезд. Шествие открывал сотник городской стражи, ведущий за собой отряд слуг, которые шли тремя рядами мерным шагом регулярного войска. Вслед за ними теснилась многочисленная толпа гостей Симмаха в

тогах и с венками на головах. Они шли впереди золоченых носилок Фаусты Авзонии, которая покоилась на пурпурных подушках, покрытая белым покрывалом. Весталку несли восемь черных рабов в красных туниках, а ликтор с пучком розог на плече охранял ее.

Воевода, окруженный предводителями римского гарнизона, сидя на коне, сверху смотрел на жрицу. На головах воинов блестели золоченые шишаки, а шелковые плащи переливались разными красками в мигающем свете факелов.

За главой процессии вилась длинная змея, отливающая яркими цветами. Каждого сенатора несли рабы различных народностей — белые, черные, смуглые: одни в голубых туниках, другие в розовых, зеленых, фиолетовых, желтых, красных, и все с цветами в волосах и на платье.

В самом конце четыре белых коня везли колесницу из слоновой кости, в которой торжественно стояли Симмах с дочерью и зятем. Тут же, за колесницей, шла мать невесты, Рустиниана, неся в руке факел Гименея. Два ряда девиц в белых длинных платьях шли по обеим сторонам молодых.

Поезд замыкала толпа вольноотпущенников и рабов Симмаха.

Буря рукоплесканий и криков радости встретила консула и его гостей. Вдоль Триумфальной улицы блестели тысячи огней, развевались тоги и плащи. С крыш и подмостков на пышную процессию падал дождь цветов.

— Честь тебе, Симмах, отец отечества! — гремела толпа, подымая высоко кверху факелы.

А консул наклонял голову и благодарил народ за участие в его семейном торжестве.

Правда, то тут, то там из-за угла слышен был свист или насмешливый хохот, но шум толпы покрывал эти зловещие голоса.

Когда миновала первая радость и наступила минута отдыха, тотчас же в вечерней тиши разнесся свадебный гимн. Его пели девицы, окружавшие колесницу молодых, под аккомпанемент флейт. Они пели о любви и счастье у домашнего очага и к каждой строфе прибавляли: «Talassi! Talassi!»

Толпа подхватила это слово, принесенное далеким эхом прошлого. Никто не понимал его значения, но все знали, что когда-то, еще во времена первых царей, оно было вестником свадебного веселья.

Сопровождаемая со всех сторон гулом радостных восклицаний, процессия двигалась по Триумфальной улице к арке Константина, с каждой минутой становилась гуще, так как толпа присоединялась сзади к слугам Симмаха и принимала такое живое участие в торжестве, как будто сама принадлежала к числу его домашних. Языческая чернь тешилась блеском своих вельмож. Глядя на их могущество, она сама чувствовала себя сильной.

— Tatassi! Tatassi! — раздавалось кругом — выше кровель домов и храмов, и дальше, до Латеранского дворца, где римский архиепископ Сириций опечаленно слушал эти зловещие крики.

Уже давно язычники не проявляли себя так всенародно.

В то время как процессия приближалась к Триумфальной арке Константина, со всех сторон вдруг раздались крики и продолжительный свист. Их было так много, что они смутили гармонию свадебной песни и, вторгнувшись в однообразные аккорды гимна, нарушили его серьезную важность.

— Галилеяне! — закричал кто-то в толпе.

— Галилеяне! — подхватил другой, десятый, сотый, и все эти возгласы слились в один мощный крик, дышащий местью.

Потом на несколько мгновений настала тишина, такая томительная и тягостная, какая бывает в лесу перед бурей. В этой тишине раздался громкий голос Симмаха:

— Не обращайте внимания на злобу галилеян! Не расступайтесь! Tatassi! Tatassi!

Но язычники уже не ответили консулу радостным криком. Со всех сторон слышалось:

— Поклонники идолов!

— Поклонники суеверий!

Крыши, зубцы стен, ступени храмов, колонны портиков, казалось, издевались над свадебным поездом, который медленно подвигался вперед.

Когда он миновал амфитеатр, на него сверху посыпался град камней. Один из них попал в голову весталке.

Первым это заметил Винфрид Фабриций. Соскочив с коня, он подбежал к жрице.

— Ты ранена? — спросил он и схватился за ее покрывало.

Но Фауста Авзония придержала покрывало быстрым движением руки. Римский обычай наказывал смертью каждого мужчину, который осмелился бы прикоснуться

к весталке. Это право принадлежало только верховному жрецу.

Большие черные глаза весталки с удивлением остановились на воеводе.

Он, догадавшись о причине ее изумления, заговорил быстро, понизив голос:

— Если я нарушаю ваш обычай, то меня оправдывает важность минуты. Я вижу кровь на твоем виске.

Фауста Авзония ответила воеводе за его заботливость благодарным взглядом.

— Рана моя так незначительна, что я ее почти и не чувствую. Не обращай на нее внимания, иначе она могла бы стать причиной большого несчастья.

Когда она это говорила, то в ее густом альтовом голосе слышались мягкие тона.

Но ликтор, который шел около нее, заметил уже рану на ее виске. Он поднял кверху свой пучок и закричал:

— Римляне! Галилеяне оскорбили жрицу Весты.

К ликтору подбежали стражники города.

— Жрицу Весты оскорбили! — повторили несколько голосов.

Слух этот вихрем пролетел по процессии, усиливаясь по пути.

— Оскорбили! Ранили! Убили Фаусту Авзонию! — гремело кругом.

Толпа заколыхалась. Те, кто шел сзади, старались пробиться вперед, силясь добраться до места происшествия. Напрасно сотник старался восстановить порядок, даже сенаторы вышли из носилок и присоединились к толпе.

Тысячи кулаков поднялись кверху, из тысяч грудей вырвался крик мести:

— Галилеян на арену!

— Идолопоклонники! — отвечали христиане, которые толпами наплывали из всех боковых улиц.

Ненависть кипела уже всюду. Язычники сбрасывали тоги, связывающие их движения, христиане заворачивали рукава туник. Женщины и дети подбирали камни и подавали их отцам и мужьям.

Винфрид Фабриций обратился к своим подчиненным и отдал приказ:

— Пусть палатинский отряд восстановит порядок! Остерегаться кровопролития!

Трибуны, пробившись через толпу, понеслись полным галопом к Палатину, а воевода, вынув меч, хотел приблизиться к Авзонии, но дорогу ему преградили клиенты Симмаха и городская стража.

Несколько десятков человек окружили носилки жрицы, защищая к ней доступ.

— Расступиться! — крикнул воевода.

Никто не тронулся с места. Ему отвечал только грозный ропот. Трудно было пустить в ход свою силу.

Винфрид посмотрел на весталку. Она стояла в носилках выпрямившись, с надменно поднятой головой. Кругом нее кипела свалка, скрещивались проклятия, призывы, стоны, а она бестрепетно смотрела на толпу. Фауста казалась еще более бледной, и ее сдвинутые брови образовали почти прямую линию.

— Римлянка! — прошептал Винфрид, смотря исподлобья на Фаусту.

От нее его отделяла высокая и крепкая стена, сложенная из понятий, убеждений и обычаев длинного ряда веков, доступ к ней преграждала религиозная ненависть, взрыва которой он был свидетелем.

Со стороны Палатина уже доносились короткие слова военной команды.

Толпа, теснимая отовсюду легионерами, начала подаваться. Солдаты напирали щитами, разбивая ряды буянов.

Свадебная процессия снова двинулась кверху, к Виминалу, но радостные крики народа уже не вторили пению девиц.

Осторожно, как будто испуганная, вилась блестящая змея по опустевшей площади амфитеатра. А за ней по боковым улицам следовал ропот ненависти, развиваясь все дальше и дальше, пока не охватил весь город...

II

На следующий день во дворце префекта претории [4], на Палатине, обычные дела шли своим чередом.

Два солдата, стоящие на карауле перед главными дверями, лениво, скучающе ходили вдоль портика взад

[4] Император Константин разделил Римское государство на четыре «префектуры». Эти префектуры распадались на двенадцать «диоцезий» и 96 провинций. Во главе каждой префектуры стоял «префект претории», наивысший римский чиновник, принадлежащий к личному совету государя. Говорить с ним надо было, преклоняя колени.

и вперед. Время от времени, когда приближался какой-нибудь сановник, они останавливались и, выпрямившись, опускали мечи.

Прилив и отлив живой волны перед префектурой не уменьшался ни на минуту. Одни входили, другие выходили.

К очагу высшего начальника Италии, Иллирии и Африки тянулись сенаторы и всадники, чиновники и плебеи, горожане и сельские жители. В толпе виднелись атлетические фигуры светловолосых германцев из Реции, сухих, опаленных африканским солнцем жителей Массилии и Нумидии, стройных славян с берегов Адриатики и коренастых, подвижных, черноглазых лигурийцев.

Все эти подданные «божественного и вечного» императора шли к его наместнику со своими собственными или государственными делами. Один жаловался на сборщиков, другой уплачивал подати, третий должен был дать объяснение относительно беспорядков, которые допустил в городском управлении, четвертый прибыл за приказаниями.

В большой приемной зале их ждал Никомах Флавиан, человек, известный своей справедливостью во всей Империи и уважаемый даже христианами. Мздоимец или насильник знали, что не найдут поблажки перед трибуналом префекта. Сила золота, столь могущественная в других провинциях государства, что ей покорялись даже императоры, теряла свое значение в пределах стен дворца наместника Италии, Иллирии и Африки. Еще никто не покупал расположения Флавиана.

Обиженный сильным или бесчестным человеком представал перед лицом префекта полный надежды. Никомах Флавиан выслушивал каждого и был справедливым к самым бедным.

Уже в преддверии дворца была заметна тяжелая рука энергичного повелителя. Его многочисленная прислуга — глашатаи, ликторы, солдаты, сидевшие на лавках вдоль стены, разговаривали вполголоса, чутко присматриваясь к малейшему колебанию занавески, заменявшей дверь. Чиновники двигались тихим шагом, не было слышно ни громкого голоса, ни смеха.

Тут же, при самом входе, в маленькой комнате, предназначаемой в частных домах для привратника, помещались двое переводчиков. Каждый из них знал несколько языков. Они записывали в больших книгах имена при-

бывших, просматривали их документы и давали указания.

Один из них, немолодой уже грек, бросил на стол трость, употребляемую для письма, встал со стула и подошел к бронзовому сосуду, в котором тлели угли.

Грея себе руки, он ворчал:

— Уж скоро обеденная пора, а этот сброд все тянется и тянется, хотя бы по крайней мере эта потеря времени оплачивалась чем-нибудь, а то в вашем подлом Риме ничего не заработаешь.

— Мы получаем больше жалованья, чем переводчики в восточных префектурах,— отвечал другой тихим голосом, посмотрев осторожно на занавеску.

Грек презрительно скривил губы.

— Кто говорит о жалованье? — сказал он.— Это годится лишь для дураков и неумелых. В восточных префектурах умный человек побочными доходами наберет втрое больше жалованья.

Второй переводчик опять посмотрел на занавеску.

— И у нас прежде было иначе,— сказал он.— При прежнем префекте слуги Цезаря не голодали и не ютились по чердакам. Почти каждый день перепадало по солиду [5], и никто этому не удивлялся: что за ущерб государству, если бедный чиновник старается увеличить свой скудный заработок.

Лицо грека искривилось гаденькой улыбкой.

Подойдя к товарищу, он склонился к нему и заговорил шепотом:

— Государству не бывает никакого вреда, когда такие бедняки, как ты и я, поживимся чем-нибудь из его полных яслей, но это вредит добродетели, староримской добродетели, ибо добродетель должна спать на голых досках, пугать людей лохмотьями, ходить всегда с суровым лицом и пустым желудком. Добродетель — это тот глупый пес, который предпочитает скорее издохнуть с голоду, чем дотронуться до кости, вверенной его надзору. Добродетель должна иметь такой вид...

Он весь сморщился, нахмурил брови, втянул в себя щеки и живот и принял угрюмый вид.

Другой переводчик приложил ладонь ко рту, чтобы громко не расхохотаться.

— И ходить так,— добавил грек, шагая около стола с преувеличенной важностью.

---

[5] Золотая римская монета.

— Симонид, перестань, я лопну со смеха!

— Не лопнешь, нечему в тебе лопаться. Пустые кишки не лопаются.

— Кто-нибудь может войти.

— Пусть его поглотит христианский ад! — проворчал грек.— Надоело мне вести бесплодные разговоры со всяким бараном.

— Ты умеешь о себе позаботиться,— заметил второй переводчик.

— Это то, что я поймаю когда-нибудь несколько сестерций? Хороша заботливость! За это я расплачиваюсь постоянным страхом, чтобы этот староримский медведь как-нибудь не дознался о моих остроумных подвигах и не приказал бы отхлестать меня, хотя я свободный гражданин.

— Префект не шутит. Всадника Руфа он лишил должности, прокуратора Камилла сослал в сардинские рудники, писца Анеллеса приказал распять. А все за что? За то, что они сделали богатым людям маленькое кровопускание.

Грек нахмурился.

— Эти римляне никогда не перестанут быть варварами, хотя и проглотили всю нашу философию. Поскрести их хорошенько по вылощенной шкуре — и покажутся космы волка. Сейчас рудники, пытки, плети...

— А ты не любишь таких нежностей? — засмеялся другой переводчик.

— В восточных префектурах никто не занимается такими мелочами, как побочные доходы чиновников. В Константинополе все берут то, что староримская добродетель презрительно называет взятками, начиная с советников Цезаря и кончая последним исполнителем власти, и никому в голову не придет возмущаться ловкостью ловких. На то и должность, чтобы из нее извлекать выгоду.

Занавеска зашевелилась. Оба переводчика быстро наклонились над столом и притворились, что они очень заняты.

В комнату вошел человек в белой тоге без всяких украшений.

— Привет вам, знаменитые мужи! — сказал он.

Переводчики, ничего не отвечая, писали что-то прилежно на восковых дощечках.

Через несколько времени грек бросил исподлобья пытливый взгляд на прибывшего и проворчал под нос:

— Сейчас!

И он снова принялся писать и заглядывать в большую книгу, как будто что-то искал в ней.

— Я вызван начальником отдела по сбору городских податей,— отозвался прибывший.

Грек взял у него из рук пергамент, снабженный восковой печатью, внимательно оглядел его со всех сторон, прочитал несколько раз и, пододвинув его своему товарищу, небрежно сказал:

— Не знаю, может ли твое степенство [6] видеться с начальником сбора городских податей. Знаменитый Руфий приказал сегодня никого больше не принимать.

Горожанин недоумевающе посмотрел на переводчиков, как будто соображая, что ему делать, потом сунул руку за тунику.

Это движение вызвало на губах грека мимолетную улыбку.

— Я прибыл из далеких стран,— продолжал далее горожанин.— Если бы вы захотели мне облегчить доступ к преславному Руфию...— И снова он посмотрел на переводчиков, ожидая совета.

— Может быть, знаменитый Руфий примет во внимание твой далекий путь, если бы я его об этом попросил,— сказал грек и протянул из-под стола руку.

Горожанин еще колебался, но, когда пальцы чиновника сделали движение, как бы считая деньги, быстро нагнулся и сунул в открытую руку несколько серебряных монет.

В ту же минуту Симонид встал и вышел в переднюю. Пробыв там несколько минут, он вернулся обратно и сказал:

— Знаменитый Руфий ожидает твое степенство.

Знаменитый Руфий ожидал всех, кто приходил в префектуру по делам государства, и принимал каждого в определенные часы. Но об этом не знал житель отдаленной от столицы провинции, привыкший в своем крае к взяткам. Любезно поблагодарив «знаменитого господина» за посредничество, он пошел за дежурным чиновником к начальнику городского казначейства.

Когда занавеска опустилась, Симонид сосчитал деньги.

— Много заработал? — спросил его с любопытством товарищ.

---

[6] Титул горожанина, заседающего в городском совете.

Грек презрительно скривил губы.

— Какие тут у вас заработки,— проворчал он.— Дал несчастных пятьдесят сестерций да еще подумал перед этим. Скотина! Будь это в Константинополе, у нас был бы сегодня обед со старым албанским вином, а у вас даже и поторговаться нельзя, нужно все спешить. Держи десять сестерций и прикуси язык. Если бы не моя смелость, мы умерли бы с голоду на хлебе сиятельнейшего Флавиана. От добродетели не разжиреешь.

— Я все опасаюсь, как бы префект не узнал о твоей смелости. И мне не миновать тогда плетей.

— Откуда же префект может об этом узнать? Ведь я знаю, кому протянуть руку. Такой, как этот болван из далеких мест, который величает нас «знаменитыми господами» и сует сейчас же руку за пазуху, сам берет взятки в своей дыре за горами, потому что если бы он их не брал, то не знал бы так хорошо языка взглядов и пальцев. Такой будет нем как камень. Сенатору или высшему чиновнику я не скажу, что Руфий не принимает.

— Знаешь, Симонид, что мне пришло в голову?— сказал его товарищ.

— Должно быть, ничего умного,— шутливо заметил грек.

— Не могу я понять, зачем ты покинул Константинополь. Такие головы, как твоя, должны бы наживать там сенаторские состояния.

— И наживают, но иногда и у самого великого мудреца может подвернуться нога.

— Должно быть, в столице божественного Феодосия нога у тебя сильно подвернулась, коли ты попал в Рим.

Симонид подозрительно посмотрел на товарища.

— Я навлек на себя неудовольствие сильных людей,— сказал он и принялся за работу.

В передней раздался громкий звук оружия. Это был такой необыкновенный случай, что оба переводчика подбежали к занавеске.

— На мягком ложе не будет спать сегодня этот бедняк,— заметил вполголоса Симонид.

Два солдата сопровождали закованного человека, который производил впечатление кучи грязных лохмотьев. Его платье, тога и туника распадались клочьями. Из разорванных сандалий, связанных веревкой, выглядывали пятки. Измученный, худой, покрытый весь пылью и грязью, он шел с поникшей головой.

С наглостью прислуги больших господ присматривались к нему глашатаи и ликторы, передавая друг другу оскорбительные замечания.

Один из стражников подошел к главному глашатаю и шепнул ему несколько слов. Тот сейчас же исчез за пурпурной шелковой занавеской, а когда через несколько времени вернулся назад, то поднял ее кверху.

Узник и его стража вошли в обширную квадратную залу, стены которой были выложены огромными мраморными плитами, выкрашенными в красный цвет. По обе стороны главной двери стояли по три ликтора с отточенными топорами.

Как во дворце Симмаха, так и тут посреди комнаты стоял алтарь, на нем горел священный огонь. Дым медленно подымался кверху и выходил наружу через отверстие, оставленное на крыше.

На темном фоне стен белели изображения первых двенадцати императоров из дома Юлиев, Клавдиев и Флавиев.

Узник, остановившись на пороге, поднял голову и искал тоскливым взглядом того, воля которого должна была определить дальнейшую судьбу его жизни. И когда он нашел его, то не опустил глаз, а смотрел на него в изумлении, так как ему казалось, что в кресле, изваянном из слоновой кости и стоящем на возвышении против алтаря, сидел не живой человек, а один из этих императоров.

Вирий Никомах Флавиан, префект претории Иллирии, Италии и Африки, мог служить моделью для статуи цезаря Августа. У него был такой же круглый череп с выпуклыми висками, такой же широкий лоб, холодные, повелительные глаза и ясно вырисовывающийся профиль хищной птицы. Даже и фигурой он напоминал изображения потомка великого Цезаря.

Опершись правой рукой на поручень сенаторского кресла, он слегка наклонился вперед, весь белый, как мраморные цезари, начиная с седых волос и кончая высокими шнурованными башмаками, такой же недвижимый, как и они. Только с его губ какая-то глубокая тоска стерла твердое, презрительное выражение «господ мира».

На нем не было ни цепи, ни наплечников, ни пурпурного пояса, ни шелкового, затканного золотом платья, тот восточный обычай высших чиновников государства, любящих блеск.

Несмотря на его шестьдесят лет, на бодром, гладко выбритом лице не было следов старческого изнурения. Вся его фигура, полная мужественных сил, внушала уважение.

— Ты, Гортензий, декурион города Пикса? — спросил префект.

— Ты сам знаешь, светлейший господин,— отвечал дрожащим голосом узник.

— Снять оковы! — приказал префект.

А когда солдаты сняли оковы с Гортензия, он добавил:

— Удалитесь!

Быстро, без шума покинули залу ликторы и чиновники, сидевшие по обеим сторонам префекта за двумя длинными столами.

— Я нарочно удалил с глаз этих людей,— сказал префект, когда остался наедине с преступником,— чтобы ты мог со мной говорить как свободный человек с свободным. Не старайся поймать меня в сети лжи, только одна чистая правда может склонить меня к снисхождению. Подойди ближе! Что ты можешь сказать в оправдание своего проступка?

Гортензий, подойдя к священному креслу, стал на колени на первой ступени возвышения.

— Встань,— сказал префект.— Ты стоишь перед Никомахом Флавианом, который не признает восточных обычаев. Ты бросил без разрешения наместника Южной Италии город, вверенный твоему попечению, пренебрег должностью, связанной с твоим наследственным имением. Ты знаешь, что декурион должен умереть на своем посту,— такова воля божественного и вечного императора. Ты хочешь быть умнее нашего повелителя?

Декурион молчал, вперив свой взгляд в лицо префекта, как будто спрашивая, как и что ему отвечать.

Флавиан понял это и сказал, ободряя его:

— Ты уже слышал, что я не прощаю лжи.

— Я знаю многих, которых правда довела до Позорного Поля,— отвечал печальным голосом декурион.— Она всегда была плохой советчицей.

— Невинный не имеет повода перед моим судом страшиться правды.

— Моя правда не нашла бы поощрения в Виенне или Константинополе.

— Ты находишься в Риме.

Декурион колебался еще немного, потом начал вполголоса:

— Твое сиятельство спрашивает, что я могу сказать в оправдание того деяния, которое закон называет преступлением? Пусть за меня отвечают нивы Южной Кампании, еще недавно такие плодородные и богатые, а теперь такие убогие, как будто война вместе с заразой прошли по ним. Пусть моими свидетелями будут города и села, пугающие путников своими угасшими очагами, пусть моими защитниками будут святыни без жрецов. Тяжелая нога варваров до сих пор не позорила этого благословенного края, зараза не покрывала ее пеленой траура, а теперь она, когда-то нарядная и веселая, облеклась в рубище всеми брошенной сироты.

Декурион замолк, и префект не повторил своего вопроса. Он очень хорошо видел, куда метит обвиняемый,— не первый раз приводили к нему членов городских советов.

Этот бедняк убежал из родного города и бросил должность, которой во времена республики и первых императоров все усиленно добивались, потому что новый закон прикрепил его к общине, как владелец прикрепляет арендатора к земле. То, что называлось почетом, для декуриона являлось неволей и непосильным трудом.

С того времени, как цезарь Диоклетиан упразднил последние учреждения республиканского Рима, которые продержались, несмотря на Калигулу, Нерона, Домициана и Каракаллу, до конца третьего столетия христианской эры, городские и сельские общины стали козлом отпущения государственного казначейства.

Место прежней власти, отличавшейся необыкновенной простотой, занял механизм, которому прислуживали целые полки чиновников. Где до Диоклетиана достаточно было одного исполнителя закона, там теперь требовалось десять, двадцать. А все эти сановники хотели не только существовать, но и поскорее выжать все, что можно, из своего положения, не отличающегося прочностью вследствие постоянных перемен императоров.

Издержки на содержание двора выросли до непомерной цифры с установлением самодержавной монархии. Цезари четвертого столетия перенесли столицу в Константинополь и окружили себя по обычаю восточных царей такой роскошью, о которой не воображал даже и Нерон. Целые легионы царедворцев, блистающие золо-

том и драгоценными камнями, затрудняли доступ к трону. Прежде чем римский гражданин мог добраться до самого императора, он проходил через тысячу рук, из которых ни одна ничего не делала даром.

Чтобы прокормить и одеть эту многочисленную толпу чиновников, цезарский казначей изыскивал все новые подати. Бо́льшая их тяжесть падала на городские и сельские общины; все, кто принадлежал к государственному механизму, были освобождены от податей.

Подданный «божественных и вечных» государей, если не служил своему монарху в военной или на гражданской службе или даже в его имениях и многочисленных фабриках, платил за землю, ремесла, за домашних животных и за орудия производства, за титул, почетное отличие и звание гражданина, а когда и этого не хватало, то государство обращало в золото все, что прежде было наградой за заслуги. Всякий, кто внес в казну известную сумму, мог получить сенаторский пурпур или перстень всадника. Людей богатых, невзирая на их происхождение и народность, принуждали даже силой поступать в патрициат, у которого отняли все его привилегии, не освободив от тяжелых обязанностей.

Алчность императорской казны и хищность чиновников дошли до того, что беднейшие жители спасались бегством от обязанностей римского подданства. Хлебопашец бросал землю, ремесленник свое заведение. В четвертом веке целые провинции лежали на краях государства или по берегу морей, откуда легче было пробраться за границу; плодоносные поля стояли в запустении, поросшие плевелами. Леса и горы варварских стран, граничащих с Империей, были переполнены римскими беглецами.

За счастливцев, которым удалось обмануть бдительность пограничной стражи, отвечали те несчастные, которые были прикованы разными обстоятельствами к месту рождения. Правительство не заботилось о том, имеет ли община то число жителей, которое записано в податных книгах. Каждый округ должен был доставлять в казну назначенную сумму, каково бы ни было его экономическое положение.

Эта система особенно угнетала те города, которым правительство для облегчения задач своих уполномоченных оставило внешние признаки самоуправления.

Как и прежде, так и теперь во главе общины стоял муниципальный совет. Но декурионы, его составлявшие,

не были уже избирательными. Миновала их власть, когда они располагали состоянием, соответственным их званию.

Теперь они собственно были бесплатными чиновниками. На их обязанности лежало содержание общественных зданий, улиц, дорог, они доставляли армии солдат, казне золото, проезжавшим сановникам ночлег, экипажи и взятки, а монарху подарки, требуемые по случаю разных торжеств.

Когда город пустел, декурионы отвечали за дерзость непослушных. Правительство взыскивало с них подати, когда не хватало плательщиков.

За эту общественную службу, которая разоряла самых богатых, декурион имел право носить пурпурный пояс, был освобожден от пытки и мог в случае надобности пользоваться общественной благотворительностью. Каждый город прокармливал по нескольку таких бедняков, разорившихся без всякой вины.

Не все декурионы погибали на своем посту. Более практичные, угнетаемые цезарскими чиновниками, сами угнетали слабейших. Их насиловали, обкрадывали, и они, в свою очередь, насиловали и обкрадывали других.

Только более совестливые, которые не хотели пятнать себя притеснением бедных, либо падали под бременем обязанностей, либо, измученные постоянной тревогой, бежали куда глаза глядят, без плана и цели, только бы подальше от очагов императорского могущества. Обыкновенно их очень скоро возвращали обратно с дороги — власти с таким рвением наблюдали и преследовали бежавших декурионов, как будто они были величайшими преступниками. Как бы то ни было, с каждым из них убывал бесплатный, а между тем очень полезный чиновник...

Никомах Флавиан знал положение нового цезарства, поэтому опустил голову на руку и молчал.

Спустя некоторое время декурион начал опять:

— Две недели прошло с тех пор, как меня схватили, мне говорят, что я заслужил смертную казнь. Знаю, я тяжко согрешил, оскорбил непослушанием нашего божественного государя, но и домашнее животное кусается, когда его чересчур мучают. Нас мало еще приручили, согнули...

Остальные слова декурион произнес шепотом, но они не ушли от внимания префекта.

— Ты римлянин? — спросил Никомах Флавиан, подняв голову.

— Я происхожу от римской крови, но вовсе не питаю за это благодарности к народным богам,— отвечал декурион.— Скоро новые люди, наплывающие безустанно с Востока, воспретят нам пользоваться воздухом, водой и огнем. Нас покинули боги наших отцов.

Губы Никомаха Флавиана дрогнули, его лицо приняло скорбное выражение, но это продолжалось только секунду.

— Говори дальше,— сказал он спокойным голосом.

— Мне приказали к новому году доставить сто тысяч солидов,— жаловался декурион.— Моя ли в том вина, что из города Пикса нельзя выжать даже и половины этого? Столько-то уже из нас выжали... Приказано мне доставить для сирийских легионов пятьдесят солдат. Моя ли вина, что молодежь разбегается перед набором или переходит к галилеянам и записывается в общины их жрецов, чтобы только не служить под знаменами нашего божественного государя? Что же, мне надо было ждать, пока чиновники отберут у меня последнюю монету? И так уж...

Он вдруг остановился, испуганный своей дерзостью, и упал на колени.

Да, он находился перед непосредственным заместителем императора, перед высшим судьей многочисленных провинций.

— Ты простишь дерзкие слова человека, приведенного в отчаяние,— умолял он.— Слава твоей справедливости и доброты светит нам, детям Рима, как весеннее солнце. Не декурион жалуется префекту, а римлянин римлянину.

— Встань и говори дальше,— снова послышался ровный и холодный голос Флавиана.

— Пусть остальное доскажут эти лохмотья! — вскричал декурион, распахивая тогу.— Когда меня схватили цезарские стражники, надо мной издевались, как над отцеубийцей. Мои деньги забрал их начальник, одежду поделили между собой солдаты, кормили меня падалью, поили гнилой водой. Боги Рима забыли о нас, отдали нас в жертву восточным суевериям и чужеземцам. Властители света стали рабами варваров.

Вторично дрогнули губы префекта. Наклонившись над декурионом, он сказал:

— Не в моей власти снять с тебя бремя, которое возложила на тебя воля нашего общего повелителя, поэтому ты вернешься в Пикс и будешь продолжать исправлять свою должность, связанную с твоим состоянием. Но чтобы ты не подвергался самоволию чиновников, я пошлю в твою общину сенатора, который рассмотрит на месте положение вещей и понизит в случае надобности размер податей и количество солдат. Деньги, взятые начальником стражи, ты получишь из рук властей.

Декурион принял эти приказания без возражения. Он знал, что суд префекта решал окончательно все дела римских подданных.

Склонившись еще ниже над Гортензием, Флавиан продолжал подавленным голосом:

— Судьбы народов находятся в руках богов и отважных людей. Наступили времена, когда каждый римлянин должен устоять на своем посту, хотя бы за то должен поплатиться жизнью. Возвращайся в Пикс, декурион, и храни веру в народные алтари.

Теперь Гортензий поднял голову и вперил в лицо префекта свой взор с таким напряжением, как будто разгадывал начертанную на нем загадку. Глаза Флавиана говорили ему что-то, о чем он сразу не догадывался, но когда он понял, то приложил правую руку к груди и сказал:

— Будь по твоему приказанию, светлейший господин.

Никомах Флавиан ударил в ладоши. Когда на этот знак вошли ликторы и чиновники, он сказал одному из писарей:

— Начальник дорог выдаст декуриону Гортензию свидетельство на бесплатное пользование цезарской почтой. Мой дворецкий снимет с него лохмотья и оденет его в платье, приличное его положению.

Уже он хотел подняться с кресла, когда на пороге появился глашатай и сказал громким голосом:

— Знаменитый Винфрид Фабриций, воевода Италии, просит аудиенции!

— Пусть войдет! — сказал префект.

Глашатай отдернул занавеску, и в зале показался воевода. Так же, как и в доме Симмаха, он был в военных доспехах и с мечом на бедре, только без плаща. Подойдя быстрым шагом к священному креслу, он преклонил колени и сказал:

— Наш божественный и вечный государь Валентиниан шлет твоей светлости благосклонный привет.

— Пусть боги пошлют нашему императору царствование без печали и войн,— отвечал префект.

— Заботясь о благосостоянии государства и ненарушимости законов, император напоминает твоей светлости о распоряжении, изданном в прошлом году вечным Феодосием.

Сказав это, воевода поднялся с колен и подал префекту пергамент, запечатанный большой пурпурной печатью.

Глаза ликторов и чиновников обратились на префекта, следя с любопытством за выражением его лица. Все угадали, что обозначало это напоминание Валентиниана, который не делал ничего, не посоветовавшись с Феодосием, ревностным гонителем римской веры. Но важное лицо Никомаха Флавиана было так спокойно, как будто письмо цезаря было самого обыкновенного содержания.

— Если для исполнения воли наших божественных и вечных государей потребуется вооруженная сила,— продолжал Винфрид Фабриций,— то я имею приказание предложить к услугам твоей светлости легионы Италии.

Префект ничего не ответил. Простившись с воеводой наклонением головы, он встал с кресла и удалился в свой рабочий кабинет, примыкавший к зале. Тут он развернул пергамент и углубился в его содержание.

По мере того как он читал распоряжения цезаря, его лицо покрывалось выражением печали. Черты, до сих пор твердые, расплылись, веки опустились, нижняя губа отвисла. Вся его фигура, казалось, как-то скорчилась, согнулась. Он имел в это время вид старца, изнуренного жизнью. Какая-то сердечная боль смутила его покой, попрала его гордость.

Вдруг он выпрямился.

— Не осуществится твоя воля, Феодосий, пока Никомах Флавиан охраняет старых богов Рима! — проговорил он сквозь стиснутые зубы.

Он бросил пергамент на стол и хлопнул в ладоши.

— Позвать Аристида! — приказал он ликтору.

Когда в кабинет вошел его личный секретарь, префект спросил:

— Есть подробности о вчерашних уличных беспорядках?

— Городской префект только что прислал доклад,— отвечал секретарь.

— Мне говорили, что крови было пролито много.

— Галилеяне убили двадцать человек из наших.

— А наши?

— Наши убили тридцать два галилеянина.

Никомах Флавиан нахмурился.

— Пойдут снова на нас жалобы в Виенну и Константинополь,— проговорил он.— Скажи начальнику тайной стражи, чтобы он произвел тщательное следствие. Я щедро его награжу, если он доставит мне виновника этих беспорядков. Уличных мятежей не бывает без подстрекателей.

Немного помолчав, он спросил:

— Между убитыми есть бедные?

— Все убитые, и наши и христиане, принадлежат к народу,— отвечал секретарь.

— Похоронить всех на счет государства, а их семьям без различия вероисповедания выдать по тысяче сестерций.

Когда Аристид исчез за занавеской, префект пересмотрел пергаменты, приготовленные к подписи. Покончив со спешными делами, он вышел из дворца, перед которым его ожидали носилки, и приказал себя нести к Аврелию Симмаху.

Консул был в саду. Прохаживаясь по аллее миртов, он о чем-то разговаривал с самим собой. Время от времени протягивая вперед то одну руку, то другую, то наклоняясь вперед, то откидывая голову назад, он был так занят собой, что заметил гостя только тогда, когда префект остановился перед ним.

— Я подготовляю на завтра речь, нужно же сказать что-нибудь в сенате по поводу вчерашних происшествий,— сказал консул, здороваясь с префектом.— Превосходный случай, чтобы даже и ленивых из нашей среды восстановить против дерзости галилеян.

— Мне кажется, эти полумеры будут уже недостаточны,— сказал префект.

— Разве ты получил новое распоряжение? — торопливо спросил консул.

— Валентиниан настойчиво добивается исполнения эдикта Феодосия.

— Он требовал это уже не один раз.

— Но на этот раз он угрожает.

— И угрозы его нам не чужды.

— Последнюю угрозу он хочет подкрепить вооруженной силой. Не без основания он отдал власть над легионами Италии в руки ревностного галилеянина.

— Ты говоришь о Винфриде Фабриции?

— Винфрид Фабриций привез указ цезаря и дал мне понять, что не признает святости закона.

— Не понимаю, как Аброгаст мог прислать в Рим галилеянина. И он не сторонник восточного суеверия.

— Это произошло несомненно без его ведома. Аброгаста в настоящее время нет в Виенне. Он усмиряет бунт франков — они снова вторгнулись в Аллеманию.

— Мне кажется, решительная минута приближается.

— И мне так кажется... В восточной префектуре уже повсюду закрывают храмы.

Они оба замолкли.

Консул смотрел под ноги, на песок аллеи, префект следил взглядом за белыми облачками, которые свободно плыли по небу. Первый не видел песка, второй не заметил, как края тучек начали окрашиваться розовым цветом. Их мысли совершали далекое странствование. Шли они из Рима в Константинополь, оттуда в Виенну и снова возвращались в Рим, отыскивая помощь против силы христианских цезарей. И тут и там, и на Востоке и на Западе было еще много приверженцев язычества, но власть находилась не в их руках. Один Аброгаст, главный вождь войск западных префектур, мог бы противостоять могуществу императоров, но этот Аброгаст был личным другом Феодосия.

— Дай мне совет, Квинт,— сказал Флавиан.— Когда будет надобность в отважном подвиге, придет и моя очередь, а пока решай дело ты. Может быть, было бы хорошо, если бы ты съездил в Медиолан, к архиепископу Амвросию. Все-таки он римлянин и твой родственник. Это единственный человек, которому подчиняется Феодосий.

— Я сделаю все, что ты желаешь,— отвечал Симмах,— хотя знаю наперед, что это будет напрасный труд. Именно Амвросий самый жестокий враг наших народных богов. Он-то и подговаривает Феодосия уничтожить наши алтари.

— Твое красноречие сломило не одно упорство.

— Я поеду в Медиолан, но тем временем нужно воспользоваться последней возможностью. Наших убитых мы похороним торжественно, как героев, чтобы возбудить дремлющее усердие толпы. Надгробную речь про-

изнесу я сам. Потом мы пошлем в Виенну и Константинополь влиятельных людей с просьбой к подножию трона. Когда Феодосий убедится, что старые боги у нас еще в силе, быть может, он возьмет назад свой последний эдикт.

— А если он не захочет склониться на наши законные требования?

— Тогда решать будешь ты, Вирий.

И они долго смотрели друг на друга, передавая глазами ту мысль, которую не хотели доверить слову.

Город мало-помалу охватывала тишина вечера. Шум экипажей и людские голоса смолкали, как будто их подавляла какая-то мягкая рука.

Солнце скрылось как раз за Яникулом, оставив море багрового огня. Весь запад пылал, облитый заревом. Огненные языки выступили далеко, почти до самой середины небесного свода, зажигая по дороге белые облачка.

Никомах Флавиан вперил печальный взор в это море пламени, и с его уст тихо слетали слова:

— Кровь... кровь... все кровь...

У подножия Палатинского холма, около дворца Калигулы, поблизости от главного рынка, находился атриум Весты, окруженный со всех сторон садом и высокой стеной. Это был обыкновенный римский дом, состоящий из залы, крытого двора, столовой и спален. Возле него возвышался небольшой круглый храм с позолоченным куполом вместо крыши.

Когда спускался вечерний мрак, то в этой стороне воцарялась такая тишина, как будто жилище весталок находилось не в середине города, а где-нибудь за Тибром. Телеги издалека объезжали этот дом, рабочие, возвращавшиеся из мастерских, разговаривали вполголоса, даже пьяные и те подавляли взрывы своего смеха.

Традиция многих веков охраняла атриум Весты от грубого шума улицы. Закон карал всякое нарушение спокойствия тяжким тюремным заключением, а мужчина, который осмелился бы вторгнуться после захода солнца в обитель благочестивых дев, подвергался смерти. Почет длинного ряда поколений опоясал дом весталок стеной традиции, более сильной, чем укрепления с множеством башен.

И это все потому, что весталки стерегли драгоценнейшее достояние языческого Рима. В их маленьком храме горел вечный огонь, олицетворение бога «волчьего племени». Для целого народа он был тем же, чем домашний очаг для семьи. Все священные огни Италии и покоренных ею стран слились под золоченым куполом Весты в одно общее пламя — символ общественных и семейных добродетелей римского народа.

И, как в частном доме отец, глава рода, произносил молитвы перед алтарем, а цветами украшали его незамужние дочери, так во главе культа Весты стоял верховный жрец, глава религии, а прислуживали ему девы.

Только чистые руки, сердце и совесть могли приблизиться к священному огню, если бог, воплощением которого он был, хотел благосклонно принять приносимые жертвы.

За отречение же от молодости, за жизнь без супружеских утех римский народ щедро вознаграждал жриц Весты. Он поставил их на первой ступени общественной лестницы, рядом с сенаторами, окружил покровительством закона и всеобщего уважения, дал привилегии, которым завидовали самые знатные женщины. Им, как сановникам государства, предшествовали ликторы, а войско преклоняло перед ними мечи. В театрах, амфитеатрах и цирках им предназначались лучшие места, на улицах им уступали дорогу даже консулы. Они одни из всех римлянок, не исключая даже императриц, могли смотреть на борьбу атлетов и распоряжаться своим имуществом до истечения совершеннолетия, освобожденные с минуты перехода за порог атриума от власти отца и старших братьев.

Хотя они жили вместе, подчиненные одному общему уставу, закон не стеснял свободы их действий. Они могли навещать родных и друзей, присутствовать на пирах, принимать у себя гостей разного пола. Только с наступлением вечера атриум закрывался для мужчин. Даже рабы и ликторы оставляли на ночь дом дев, посвященных служению народному огню.

Принадлежа обыкновенно к знатным родам, весталки обладали обширными связями и значительным имуществом. В их тихом уголке постоянно собирался самый цвет общества столицы, а в бурные времена в их двери стучались печаль и тревога всего государства. Они молили бога, покровителя народа, о победе находящихся в опасности легионов, просили о хлебе для голодающих и о

вразумлении тиранов, сидящих на троне. Они были жрицами-гражданками, не скупившимися ни на пожертвования, ни на молитвы, когда государство взывало к их патриотизму.

Когда греческая философия подорвала религиозные чувства Рима и погасила священные огни на домашних алтарях, и обаяние дев Весты также побледнело. Доходило до того, что иногда требовалось дополнять необходимое число жриц девицами из народа, так как дочери сенаторов и всадников не хотели жертвовать утехами любви для служения, в пользу которого они сами перестали верить.

Растущее в силе и значении христианство возвратило почет древним богам, а вместе с ними и весталкам.

Сторонники старого порядка, заметив, что «восточное суеверие» охватывает все более и более широкие круги и, терпеливое и стойкое, мало-помалу приобретает господство над человеческими душами, уцепились с отчаянием утопающих за давние предания Рима.

Четвертое столетие Христианской эры было свидетелем необычайного явления. В то время, когда на троне цезарей сидели поклонники Христа, когда значительное число языческих храмов подверглось разрушению или перешло в ведение христианских епископов, когда императором казалось, что достаточно одного эдикта, чтобы одолеть «старо́римского вампира», вдруг по всей Империи возгорелись погасшие огни домашних алтарей, и все старые традиции ожили с первобытной силой.

Кто был римлянином по крови или кто признавал себя принадлежащим к этой народности, верный и неверный потомок «волчьего племени», пришелец из какой-либо провинции государства, италиец, галл, испанец, германец — все они, сросшиеся несколькими поколениями со столицей «властелинов мира», бросали ученые книги, забывали о насмешках философов и спешили под защиту крыльев старых богов, ища у них помощи против могучей волны новых идей и людей.

Еще раз, перед самым концом, поднялся высоко пламень греко-римской веры, еще раз устрашил христиан, прежде чем угас навсегда.

И снова, как раньше, перед эрой императоров, в убогом, «деревянном», но честном, геройском Риме, знатные люди отдавали своих дочерей на служение Весте, и в калитку укромного уголка благочестивых дев стучалась печаль разбитых остатков великого народа.

На следующий день после уличных беспорядков, с самого раннего утра, по направлению к Палатину, из всех частей города потянулась толпа ремесленников и, окружив атриум дев, кричала до тех пор, пока Фауста Авзония не показалась на балконе дома. Народ, успокоенный видом жрицы, приветствовал ее криками радости и возвращался к обычным занятиям. Это повторялось до вечера десятки раз, весь языческий Рим хотел своими собственными глазами убедиться, что хранительница его священного огня жива.

И высшие классы населения приняли участие в этой народной демонстрации. В продолжение двух дней останавливались перед атриумом носилки, переносные кресла, колесницы и рыдваны. В четвертом веке в Риме экипажи появлялись уже и днем. Сенаторы и всадники, мужчины и женщины толпились у Фаусты Авзонии, чтобы отдать долг своего почтения к занимаемому ею положению.

На третий день, в послеобеденную пору, движение перед домом весталок прекратилось. Фауста Авзония, утомленная заботливостью правоверных римлян, отдыхала на дворе, лежа на подушках, на софе из цитрового дерева. На ней было обыкновенное белое платье жрицы без плаща и покрывала.

Как в частных домах, так и у весталок двор был четырехугольный, продолговатый, окруженный со всех сторон двумя рядами коринфских колонн. На самой середине мозаичного пола был бассейн, где плескалась рыба, а по обеим его сторонам, из пастей бронзовых волков, били две струи воды, с тихим журчанием падавшие в раковины из черного мрамора.

Если бы не статуи умерших главных жриц в натуральную величину, расставленные между колоннами, двор весталок ничем не отличался бы от двора обыкновенного дома. Но белые, суровые статуи напоминали непосвященному, что он переступил порог обители непорочности и молитвы.

Фаусту Авзонию только что оставил рой расфранченных патрицианок, которые мучили ее целых полчаса дешевыми любезностями. Возле нее остались только трое: сенатор Кай Юлий Страбон с сестрой, четырнадцатилетней Порцией Юлией, и молодой патриций Констанций Галерий Апулей. Гости из уважения к жрице не разлеглись на софах, а сидели в креслах.

— Ты не кончил,— сказала Фауста Авзония, обратившись к сенатору.— Ты говоришь, что мой дядя, Никомах Флавиан, получил из Виенны цезарское письмо...

— Император решительно требует исполнения эдикта Феодосия,— отвечал Кай Юлий.

— Это значит, что наши боги должны уступить место суеверию галилеян...

— Разве это возможно?

— Победа галилейской веры, если мы не удержим ее развития, делается с каждым годом все более правдоподобной. Известно ли тебе, благочестивая госпожа, что уже Грациан не только лишил наши храмы правительственной помощи, но даже забрал их собственное имущество? Наши жрецы живут теперь на счет общественной благотворительности, как некогда жили пресвитеры галилеян. Круг правоверных с каждым днем становится все более узким, более слабые и бедные мало-помалу переходят к врагам Рима, прельщенные положением и обещаниями, на которые власть не скупится для отступников.

Фауста Авзония слушала внимательно, хмуря брови.

Когда сенатор закончил, она посмотрела на него пытливым взглядом и спросила резким голосом:

— А чем же отвечаете на это вы, римляне?

Кай Юлий пожал плечами.

— Мы ждем терпеливо,— отвечал он.

— Вы будете ждать терпеливо,— сказала весталка,— до тех пор, пока наши боги станут посмешищем чужеземцев. Вы будете ждать до тех пор, пока легионы Феодосия не вторгнутся в Рим, чтобы мечом попрать его волю. Нашим храмам грозит уничтожение, а вы ждете... Нет уже мужественных людей в городе Фабиев, Корнелиев, Клавдиев, Юлиев и Квинтилиев.

— За нас думают Флавиан и Симмах,— отвечал сенатор.

— Мы сделаем то, что они прикажут.

— Да, нет мужей в Риме,— вмешался теперь молодой патриций, который до сих пор не принимал участия в разговоре.— Вместо того чтобы приняться за дело, мы все толкуем, вместо того чтобы показать Феодосию нашу силу, мы колеблемся, нерешительные, трусливые. Мы все-таки еще сильны, гораздо сильнее, чем это нам кажется. Нам принадлежат Рим, целая Италия, Галлия и большая часть Испании. Что было делом рук целого тысячелетия, не уничтожит злоба одного или двух поколе-

ний. Пусть только вернется в наши сердца отвага наших предков, и мы повергнем снова весь свет к подножию Капитолия. Какой же другой народ может сравниться с нами, детьми славного Рима?

Говоря это, патриций с живостью жестикулировал. Он поднимался с кресла и вновь садился, то наклонял голову вперед, то закидывал ее назад и махал руками.

Его подвижность развеселила сестру сенатора.

Порция Юлия, брюнетка среднего роста, свежая и румяная, с большими голубыми глазами, в которых проглядывало выражение еще детской беззаботности, с большим интересом смотрела на подвижного патриция. Было видно, что она с трудом удерживается от смеха, смущенная присутствием весталки. Но когда патриций, сказав последние слова взволнованным голосом, ударил себя ладонью по колену, она не могла дольше сдерживаться и расхохоталась.

— Порция! — остановил ее брат.— Ты никогда не перестанешь быть ребенком.

— Констанций Галерий такой забавный,— прошептала пристыженная девочка.

Она выпрямилась в кресле, сложила на груди руки, взор ее посуровел, она нахмурила брови и придала лицу выражение искусственной важности.

— Прошу извинения у твоего святейшества за шалости этого ребенка,— сказал сенатор весталке.

Суровые черты Фаусты Авзонии прояснились мягкой улыбкой.

— Искренняя веселость не пятнает никогда молодости,— сказала она.

— Мать оставила ее сиротой слишком рано, мои же братские попечения были, по-видимому, слишком слабы, если они не могли укротить ее живого характера,— объяснил сенатор.— Не мог же я наказывать маленькую девочку.

— Я такова и есть, какой ты воспитал меня,— отозвалась Порция, обдав брата огненным взглядом.

— Порция!..— укоризненно проговорил сенатор, но в его голосе не было суровости упрека.

И Констанций Галерий не обиделся на девочку. И он ответил на ее веселый смех дружеской улыбкой.

— Это глупенькое дитя, как Кай Юлий называет свою сестру,— сказал он Фаусте Авзонии,— умеет, когда нужно, думать очень рассудительно.

Порция искоса взглянула на патриция.

— Очень любопытно,— вмешалась она,— где Констанций Галерий имел возможность убедиться в моих особенных добродетелях?

— Я уже пять лет смотрю на тебя.

— Известно, что ты близорук.

— Но мне помогает сердце!

Во второй раз раздался серебристый смех девочки.

— У Констанция Галерия есть сердце! — проговорила она.

— А ты как думала? — спросил патриций.

— Я вижу у тебя только одни кости.

— Порция! — снова заметил сенатор.— Ты много себе позволяешь!

Порция пожала плечами, как будто хотела сказать: мне все равно.

Галерий и на этот раз не обиделся. Он посмотрел на свои большие руки и добродушно усмехнулся.

— Огромные! — проговорил он, к общему удовольствию всей компании.— Они могли бы задушить медведя, а должны бездействовать.

— Они могли бы колоть дрова,— заметила Порция.

— Это делали мои предки, колонисты в Реции,— отвечал патриций,— а меня ждет иная работа.

Он принадлежал к новой римской аристократии, которая заняла место прежних исторических фамилий, уничтоженных почти без следа войнами, проскрипциями[7] и подозрительностью императоров. Его прапрадед, потомок маркоманов, допущенных в государство Марком Аврелием, выслужил себе в легионах право гражданства; его прадед получил на полях битвы перстень всадника; его дед, наместник одной из африканских провинций, составил значительное состояние, а отец купил для себя и своих потомков патрициат, доступный со времени Диоклетиана для всех богатых людей. Сам Галерий родился уже членом сенаторского сословия и считался римлянином по плоти и крови, хотя по типу был самым обыкновенным варваром. Высокий, широкий в плечах, нескладный, тяжелый на подъем, он в сравнении с Каем Юлием походил на неотесанный пень. У брата Порции было все деликатно и мелко, начиная с головы, как будто выточенной, и кончая маленькой рукой и ногой, у Галерия же все грубо, первобытно, недоконченно. Главной

[7] Особые списки, на основании которых лица, попавшие в них, объявлялись вне закона.

чертой Кая Юлия была утонченность, на большом же лице Констанция Галерия преобладало прямодушие.

— Да,— повторил он,— меня ждет иная работа. Моя жизнь и кровь принадлежат Риму за сенаторский пурпур, и кровью же мой отец щедро заплатил за всаднический перстень.

— Кровь всего действеннее гасит людские страсти и быстрее всего разрешает самые запутанные споры. Мы сделаем все, что потребует от нас слава Рима.

— Я слышу слова мужа,— отозвалась на это Фауста Авзония.— Когда наступит решительная минута, то располагайте моими средствами.

Белая шелковая, окаймленная золотой бахромой занавеска заколыхалась, и в глубине двора раздался голос глашатая:

— Знаменитый Винфрид Фабриций, воевода Италии, просит о свидании.

Христианин в атриуме Весты был таким невиданным явлением, что гости Фаусты Авзонии изумленно переглянулись друг с другом. Что было нужно этому галилеянину в приюте староримских традиций?.. В городе уже знали о его неприязненно-враждебном отношении к народным богам. Все знали, что в Виенне, при дворе Валентиниана, он принадлежал к ревностнейшим сторонникам новой веры.

Один лишь Кай Юлий незаметно улыбнулся.

— Винфрид Фабриций был ко мне очень внимателен во время уличных беспорядков,— сказала Фауста Авзония и, обратившись к глашатаю, добавила:

— Пусть войдет.

Воеводу встретило холодное молчание и недоброжелательные взгляды. Он, по-видимому, почувствовал это и приближался к весталке медленным, колеблющимся шагом. Правда, он гордо нес голову, владея собой, но его лицо побледнело от внутреннего волнения.

На нем не было теперь военного убора. Он не надел панциря и не опоясался мечом, а тяжелые сапоги заменил легкими сандалиями из тонкой красной кожи, расшитой серебряными нитями. На золотых лентах, которыми привязывались к ногам сандалии, блестели рубины. Из-под тоги, окаймленной узкой пурпурной каймой, означавшей принадлежность к всадническому сословию, выглядывала шелковая туника жемчужного цвета, застегнутая под шеей сапфиром необычайной величины.

Воевода, хотя и высокого роста и атлетического сложения, не производил впечатления неуклюжести. Его поступь была эластична, движения свободны.

Он подошел к софе, на которой полулежала Фауста Авзония, и сказал:

— Мне сказали, что римский обычай дозволяет приносить дань уважения девам Весты. Пользуясь этим обычаем, я осмелился вторгнуться в тихое пристанище молитвы, обеспокоенный боязнью за здоровье твоего святейшества.

Голос его дрожал, взор избегал встретиться с глазами весталки, как будто он чувствовал за собой скрытую вину.

— От всего сердца благодарю твою знаменитость за заботливость,— отвечала Фауста Авзония, указывая рукой на одно из свободных кресел.

— Знаменитый Винфрид Фабриций,— прибавила она, представляя его остальным.

Язычники ответили холодным поклоном.

— С Каем Юлием нас некогда соединяла тесная дружба,— сказал воевода.

— Ты ничего мне об этом не говорил, претор,— заметила весталка.

— Действительно, мы провели несколько недель вместе в Виенне,— равнодушно ответил сенатор.

О чем вести разговор с христианином? Сторонников старого порядка, замкнутых в традициях прошлого, ничто не соединяло с представителем нового времени. Их разделяло решительно все: вера, понятия, цели жизни. Но, однако, надо было быть любезной с гостем.

— Италия будет благодарна божественному императору,— начала Фауста Авзония через некоторое время,— за то, что он прислал ее легионам молодого вождя.

— Мое положение на новом месте будет нелегко,— ответил воевода.— Мой предшественник был чересчур снисходителен к италийским солдатам, а те вообще не отличались соблюдением своих обязанностей.

— Некогда легионы Италии были школой мужества и военного порядка для войск целого государства.

— Так было прежде, теперь же...

Воевода остановился в смущении. Он хотел сказать, что солдат обленился вместе с целым народом, но такая правда была бы оскорблением для римлян.

И вновь наступило неприятное молчание. Фауста Авзония искала в памяти какой-нибудь посторонний пред-

мет для разговора, который дал бы возможность наладить разговор. Может быть, воеводу занимает театр, амфитеатр или цирк? Но христиане гнушались языческими играми... Может быть, спросить, не знает ли он последнего сочинения Симмаха? Но христиане презирали римскую литературу, называя ее делом сатаны... Он не разделял ненависти правоверных римлян к последним распоряжениям императора, не понимал их печалей, с отвращением относился к их увеселениям.

Винфрид чувствовал, что он тут лишний, что должен оставить то общество, которое стеснял своим присутствием. Но, однако, не трогался с кресла, как будто его что-то приковало к нему.

Он все чаще и пристальнее смотрел на весталку, восхищаясь ее красотой.

Кай Юлий со стороны наблюдал за этим немым увлечением и, по-видимому, забавлялся им, потому что ироническая улыбка бродила по его губам, играла в их углах, поднималась выше, к глазам, и зажигала в них мимолетные огоньки. Он один додумался до причины, которая в ревностном христианине победила отвращение к языческой жрице.

Фауста Авзония, смущенная затруднительным положением, не обратила внимания на поведение воеводы. Надо было непременно к чему-нибудь придраться, чтобы изгнать из среды присутствующих холод, который становился уже невыносимым.

— Твои молодые лета видали, должно быть, не одну битву,— начала она, предупредительно улыбаясь гостю.— Император не доверил бы тебе столь важного поста, если бы ты его не заслужил отвагой и знанием военного искусства.

— Я сын солдата и вырос в лагере,— отвечал Винфрид.— Гроза битвы перестала мне быть страшной, я привык к ней, как иные привыкают к игрищам.

— Однако есть разница между битвой и игрищами,— заметила Фауста Авзония для того, чтобы сказать что-нибудь.

— Несомненно, но солдат не отдает себе отчета в этой разнице. На поле битвы ни у кого нет времени для размышления о жестокости войны. Вождь защищает легионы, вверенные его заботам, сотник — свой отряд, рядовой — свою жизнь, всех же вместе обуревает, наполняет, уносит шум битвы, действующий сильнее самого крепкого вина. Настоящий солдат до такой степени теряет

чувствительность, что не ощущает ни голода, ни усталости, ни ран. Одна только смерть гасит пламя отваги.

Воевода говорил таким спокойным голосом, как будто рассказывал о самых обыкновенных вещах, только ноздри его слегка дрожали.

Весталка посмотрела на него с большей приязнью и вниманием. Дочь «волчьего племени», в жилах которой текла кровь долгого ряда поколений воинов, почувствовала мужество солдата.

Только теперь заметила она на лбу воеводы шрам, отчасти прикрытый волосами, которые были разделены посредине головы и падали кудрями на плечи.

— Я вижу, что твоей головы коснулись крылья смерти,— сказала она.

Воевода небрежно улыбнулся.

— Во время последней войны с франками она так часто касалась меня, что мы с ней вступили в перемирие.

— И она сдержала свое слово? — спросила Фауста Авзония.

— До сих пор меня не обманула эта лучшая подруга солдата,— отвечал воевода.— Сколько раз ни звали меня трубы в бой, я всегда приносил ей сердечную просьбу. «Если тебе нужна моя жизнь, возьми ее,— умолял я,— только избавь меня от позора, от плена». В последней стычке, в которой я принимал участие, мне уже показалось, что моя верная подруга изменила мне. Но нет. В решительную минуту она вспомнила мою просьбу.

Фауста Авзония внимательно слушала, глядя блестящими глазами на молодого вождя. По-видимому, ее занимал его рассказ.

— Я догадываюсь, что тот шрам, который украшает твое лицо, о многом тебе напоминает,— сказала она.

Воевода улыбнулся. Какое-то отрадное воспоминание прояснило его мужественные черты.

— Франки напали на меня в лесу внезапно, а их силы были настолько больше наших,— продолжал он,— что я сразу понял, что нам остается только защищаться. Мои солдаты сомкнулись без команды, как стадо окруженных оленей, готовые биться мечом, щитом, кулаками, зубами. Мы были уверены, что никто из нас не выйдет целым из этой западни. И никто этого не желал: спасение жизни равнялось бы плену. Всякое сопротивление было напрасно, варвары напали на нас в таком числе и с такой горячностью, что вскоре разбили нас совершенно. Тут же, рядом со мной, стоял знаменосец. Я вижу,

что он шатается, падает... Я хватаю знамя, срываю цезарские знаки и прячу себе под тунику на груди... Вырвете его у меня, но только вместе с моим сердцем! Меня окружает неприятель, меня окружает железное кольцо... Опершись о дерево, я отбиваюсь из последних сил. Нет, не отбиться мне, не выдержать этого страшного натиска!.. Я чувствую, что меня хотят взять живьем... Я повертываю меч, чтобы вонзить его себе в горло... В это время на мою голову падает какая-то страшная тяжесть и что-то жгучее заливает мне лицо, глаза, шею... Я шатаюсь, падаю, голова моя тонет в море красных искр, искры расплываются в серой мгле, и меня охватила тьма ночи...

Воевода замолчал. По мере того как он описывал битву, его голос крепчал, щеки покрылись румянцем, глаза разгорелись. Его увлеченность сообщилась и слушателям. Фауста Авзония, опершись на локоть, не спускала с него внимательного взора, вслушиваясь всей душой в короткие, прерывистые слова солдата. Кай Юлий больше уже не улыбался так иронически, даже Констанций Галерий, который упорно смотрел все время в пространство, не поворачивая головы в сторону христианина, теперь внимательно следил за нитью рассказа.

— И что же дальше, что же дальше? — спросила Порция с любопытством ребенка.

— Смерть не изменила мне,— докончил Винфрид Фабриций уже обычным голосом.— Верная моя подруга обманула франков. Варвары, убежденные, что их меч навсегда сделал меня безвредным, оставили меня на растерзание диких зверей. Несколько из моих людей, оставшихся в живых, нашли меня и отнесли в лагерь.

— А знамя? — спросила Фауста Авзония.

— Пропитанные кровью лоскутья с портретами императоров и инициалами истинного Бога я сложил в сокровищницу легиона.

Последние слова воеводы погасили в глазах язычников огонь интереса. Они напомнили им, что римское войско со времени Константина сражалось под знаменами Иисуса Христа.

Фауста Авзония медленно склонилась на подушку софы; Кай Юлий сделал нетерпеливое движение; Констанций Галерий пробормотал под нос проклятие. Даже Порция Юлия, и та отвернулась от христианина.

Винфрид не сразу понял причину быстрой перемены, а когда догадался, то взглянул на весталку долгим, сер-

дечным взглядом, как будто просил прощения за причиненную неприятность.

Но лицо жрицы было опять бледно и холодно и вовсе не поощряло к дальнейшему дружескому обмену мыслями.

И снова, как на площади амфитеатра во время уличных беспорядков, воевода видел перед собой высокую стену, отделяющую его от этой женщины, которая его так привлекала, что для нее он забыл даже о своей религиозной непримиримости. Он понял, что может приблизиться к ней только по развалинам язычества.

Он провел рукой по лбу и, поднявшись, сказал:

— Если твое святейшество дозволит, то я постучусь в скором времени во второй раз в ворота атриума.

— Ворота нашего атриума всегда открыты для всех расположенных к нему,— уклончиво отвечала Фауста Авзония.

Воевода поклонился и быстрыми шагами перешел двор.

Его проводило такое же холодное молчание, какое и встретило.

Когда он скрылся за занавеской, Кай Юлий сказал:

— Как жаль, что Фабриций так страстно предался восточному суеверию. Это воин с большой будущностью и притом человек хороший. При дворе Валентиниана он принадлежал к числу тех немногих сановников, к которым золото не имело доступа. Он и Арбогаст не запятнали себя мздоимством.

— А я предпочел бы, чтобы он брал деньги, как его предшественник,— проворчал Констанций Галерий.— Добродетельный воевода для нас сущая беда. Но бог солнца спускался уже к морю...

И он поднялся так тяжело, что кресло под ним затрещало, что вызвало снова взрыв веселья Порции Юлии.

— Земля под тобой расступается,— засмеялась девочка.

— Все гнется подо мною и трещит, только тебя одну я не могу согнуть,— проговорил Патриций с добродушной улыбкой на толстых губах,— но и тебе придет черед.

— Любопытно знать, когда же это будет?

— Когда я перенесу тебя через порог моего дома.

— Да сохранят меня боги от того, чтобы я должна была возжечь с тобой факел Гименея.

— А если б галилеяне размозжили мне кости?

Порция Юлия вдруг сделалась серьезной.

— Зачем ты меня дразнишь, Констанций? — прошептала она.

Последние гости, с закатом солнца, давно покинули атриум Весты, а Фауста Авзония все еще покоилась на софе. Сомкнув глаза, она лежала неподвижно, как будто чародей заколдовал ее и обратил в настоящую статую.

Фауста Авзония слышала в себе тихую мелодию, как будто в ней пела каждая капля крови. Что-то пробуждалось в ней, бродило, что-то такое блаженное, что она без сопротивления отдавалась совершающейся в ней перемене. Фауста Авзония забыла в ту минуту о пропасти, которая отделяла ее от христианина. Ее римская душа с радостной улыбкой приветствовала храброго воина, который заключил условие с самой смертью.

Вдруг занавеска зашелестела, и на двор вбежал кто-то быстрым шагом.

— Богиня призывает твое святейшество в храм,— доложила невольница.

Фауста Авзония широко раскрыла глаза и долго смотрела на прислужницу бессознательным взглядом человека, еще не пришедшего в себя после внезапного пробуждения, потом глубоко вздохнула и, поднимаясь с софы, сказала:

— Подай мне покрывало.

Когда невольница ушла, она протянула руки к статуям покойных весталок и проговорила голосом, похожим на глухое рыдание:

— Простите меня... и не бойтись... Фауста Авзония не нарушит своего обета...

IV

Сенатор Кай Юлий Страбон жил на Садовой улице во дворце, который в течение ряда веков принадлежал знаменитому роду Квинтилиев. Отец Кая купил его на аукционе и отдал сыну с условием, чтобы он его перестроил, потому что старый дом разваливался. Он восстановил обветшалую крышу, мозаичный пол, попорченный временем, и выцветшую живопись на стенах, а все прочее оставил в прежнем виде.

Солнце только показывалось из-за Албанских гор, когда проснулся сенатор. Он спал в маленькой комнате, на низкой узкой постели, покрытой простым шерстяным

коричневым одеялом. В его спальне не было ни одного роскошного предмета.

Надев на себя широкую длинную тунику, он перешел в ванную комнату. Тут не ждали его молодые, прекрасные невольницы, которые в домах богачей требовались для натирания и умащивания тела. Ванну сенатору приготовил старый галл — его гардеробный, цирюльник, банщик и дворецкий в одном лице.

Кай Юлий с удовольствием погрузился в теплую воду.

— Вчера вечером я слышал крики в конюшне,— сказал он, потягиваясь в ванне, словно кошка на солнце.— Ты, должно быть, снова кого-нибудь побил.

— Стукнул немного одного германца по голове — не засыпал корм лошадям,— а этот бездельник визжал так, как будто я с него сдирал шкуру,— ответил галл с фамильярностью старого слуги.

— Знаю я хорошо твое «немного по голове». Должно быть, искалечил его.

— У него выпал один зуб, да я не жалею об этом, у него их много. Жрет за троих.

— Сколько раз я уже просил тебя, чтобы ты не бил людей без крайней необходимости.

Галл пожал плечами.

— Если я время от времени кого-нибудь не побью,— нехотя отвечал он,— то все господское добро разлезется, как нищенские лохмотья. Эта подлая свора совсем взбесилась. Кто-то сказал рабам, что император приказал запереть наши храмы и отдать их имения галилеянам. Эти скоты поверили и грозят, что все перейдут в христианство. Вечером за садом шляются какие-то подозрительные люди и шепчутся через стену с нашими невольниками. Я травил их собаками, а они все-таки возвращаются сюда.

— Тебе опять что-нибудь привиделось,— сказал Кай Юлий.

— Может быть, и привиделось, но только я знаю наверно, что эти бездельники не понимают доброты. Когда я кого-нибудь отдую хорошенько, то спокоен на целую неделю.

— Дождешься ты, что какой-нибудь отчаянный еще бросится на тебя. Теперь это случается все чаще и чаще.

Галл пренебрежительно усмехнулся.

— Не советовал бы я никому,— сказал он и протя-

нул вперед мускулистые короткие руки, поросшие волосами, как медвежьи лапы.

— Я знаю, что в твоих объятиях трещат кости,— сказал Кай Юлий,— и поэтому прошу в последний раз, чтобы ты не бил моих людей без надобности. Нужно избегать всего, что могло бы дать галилеянам повод для жалоб.

Галл проворчал что-то неопределенное под нос, накинул на хозяина, который вышел из ванны, простыню из мягкой шерсти и начал вытирать его с таким усердием, что Кай Юлий громко рассмеялся.

— Осторожней, а то поломаешь мне ребра,— сказал он.— Твоя злоба ни чем тебе не поможет. С нынешнего дня ты будешь снисходительнее к рабам, не то мы расстанемся.

— Слово господина — закон,— буркнул галл,— но уж пусть только кто-нибудь из них попадется мне... Он вытаращил глаза и оскалил здоровые, белые зубы, точно у сердитой собаки.

Кай Юлий, освеженный и бодрый, перешел в маленькую комнатку, прилегающую к спальне. И здесь также не было никакой роскоши. Большое кресло с подлокотниками, маленький столик и два больших сундука составляли всю обстановку.

Сенатор принял из рук галла шелковую одежду и стал надевать ее сам. Он надел две туники — более короткую вниз, более длинную сверху, ноги обул в высокие белые башмаки и привязал их почти до самого колена широкими пурпурными лентами.

Надев на безымянный палец левой руки только один перстень, обыкновенное золотое кольцо с портретом цезаря Валентиниана, он посмотрел на себя в полированное серебряное зеркало и вышел в залу.

Его ожидала домашняя прислуга, стоявшая по обе стороны домашнего алтаря, на котором тлели угли, покрытые пеплом.

Дворня Кая Юлия не была многочисленна. Он не держал ни певцов, ни певиц, ни танцовщиц, ни гистрионов, ни астрологов. Чтец, управитель, надсмотрщик за невольниками, повар, садовник, два возницы, четверо носильщиков, глашатай и шестеро подростков, прислуживающих при кухне и огороде, составляли всю свиту сенатора. Каждый состоятельный плебей имел больше прислуги.

Кай Юлий покрыл голову белым покрывалом и подо-

шел к алтарю. Подняв руки кверху, он молился шепотом посреди глубокого молчания слуг.

Когда он кончил тихий разговор с богом дома, то бросил на угли горсть пшеничных зерен и плеснул несколько капель вина. Его лицо во время этой церемонии сохраняло такое спокойствие, что трудно было отгадать, принимает ли он в ней искреннее участие, или делает это ради древнего обычая, возобновленного в последнее время.

Вслед за распущенностью нравов и религиозным равнодушием первых трех веков христианской эры в догоравшем языческом мире пробудилась тоска по добродетелям и вере далеких предков. Необузданность и философский дилетантизм опротивели главным образом римским патриотам, которые в небрежности к культу видели главную причину быстрого роста ненавистного им учения Христа.

Горя желанием удержать славное прошлое, бесповоротно сливающееся с мраком истории, потомки великого народа напрягали все силы, чтобы воскресить все его традиции.

Что закалило дух прапраотцев и дало им сознание гражданских обязанностей, то должно вывести из унижения и праправнуков. На это уповали все. Образованнейшие римляне четвертого столетия не были сибаритами в жизни и не склонялись на сторону философской безучастности. Этот век не породил Люцианов, отрицателей, богохульников. Свойственная человеческой природе потребность опираться на силу, превосходящую его личные средства, слившись с любовью к римским преданиям, породила могучую реакцию, которая охватила лучших представителей языческого мира того времени.

Кого-то «восточное суеверие» отталкивало потому, что оно происходило из ненавистного Риму Востока, родины презренных сирийцев и жидов, потому, что оно разрушало основы прошлого; кого-то не привлекало учение, утешающее большей частью обездоленных или несчастных; кто не хотел или не мог понять, что изменившимся государственным и общественным потребностям было тесно в пределах обветшавших понятий и правил, тот отступал на тысячу лет назад, к самому началу цивилизации, которая теперь достигла наивысшего развития.

Язычники второй половины четвертого столетия хотели воскресить веру Нумы Помпилия и его народа, со все-

ми ее формами и символами, забывая, что между благочестивым царем и патриотами времен Феодосия возвышалась громадная гора, сложенная из философских систем, которые, как ржавчина, уничтожили веру в богов, называемых народными. Вместе со старой верой должны были вернуться и старые добродетели.

Но более выдающиеся политеисты четвертого столетия, как император Юлиан Отступник, философ Темистий, оратор Симмах, префект Флавиан, ритор Либаний и другие сознавали бессилие старых традиций. Поняв, что только обновленная, более высокая и широкая, чем прежняя, религия, осеняющая своими крылами не одну страну или народ, а человека вообще, могла бы снова воспламенить угасшее религиозное рвение, они старались привить язычеству все лучшее, что было добыто за последнее время. У неоплатоников они взяли их «слово», приближающее к единому Богу, а у христиан заповедь о милосердии, непонятную древним.

Но это философское «слово» было таким же отвлеченным понятием, чем-то неясным и неуловимым, как и благородные мечтания стоиков.

Возрожденное язычество Юлиана Отступника, с которого брали пример римские патриоты конца четвертого столетия, искусно сплетенное, основанное не на живой вере, а на доктрине, не воодушевляло широкие массы. То была только политическая религия потриотов, которые, не желая оторваться от прошлого, обеими руками схватились за его формы и символы и умышленно обольщали себя примесью новых добродетелей и понятий.

Кай Юлий Страбон принадлежал вместе с Флавианом и Симмахом к ревностнейшим римским патриотам. Он происходил из рода всадников, который получил перстень по милости великого Цезаря, почему и принял его родовое имя. Кай Юлий в числе своих предков мог указать на длинный ряд воинов и граждан, верно служивших отчизне. Он, как и Флавиан и Фауста Авзония, принадлежал к числу тех немногочисленных представителей римских патрициев, о которых забыли войны и ненависть императоров.

Как Флавиан и Симмах, так и он ненавидел христианство. Не кто иной, как Константин, первый христианский император, оскорбил гордость «властителей света», когда перенес столицу государства из Рима в Византию. Он и его преемники, продолжая дело, нача-

тое Диоклетианом, упразднили все древние учреждения, отняли у сенаторов и преторов их значение, сделали посмешищем сенаторский пурпур и всаднический перстень, отделили гражданскую власть от военной.

Как же мог он, Кай Юлий Страбон, с таким увлечением привязанный к блестящему прошлому Рима, как лучший сын к лучшей матери, желать распространения религии, которая отрицает это прошлое?

Если бы христианство было только особой формой почитания богов, то он не чувствовал бы к нему нерасположения. В Риме столько различных культов восхваляло небожителей каждый по-своему, и никто не стеснял их свободы. Только бы они признавали Юпитера Капитолийского отцом богов и не отвлекали бы подданных государства от исполнения гражданских обязанностей, и тогда пусть они спокойно приносят жертвы кому угодно. Религиозный фанатизм не побуждал никогда истинных римлян к принятию чрезвычайных мер, тем более в четвертом столетии, когда философия давно уже охладила первоначальное рвение.

Но это «восточное суеверие» было не только религиозным культом, что понимал уже и Марк Аврелий. То был новый общественный порядок, настолько противоположный старому, что они не могли ужиться в согласии.

Это хорошо чувствовали в четвертом веке поклонники прошлого Рима, начиная с Юлиана Отступника и кончая последним клиентом, происходящим из латинян, и потому завистливым взглядом следили за быстрым развитием христианства.

Вот почему на всем пространстве западных провинций в государствах, более тесно, чем восточные, связанных с прошлым Рима, вдруг вспыхнули священные огни, и древнее язычество еще раз ожило с первобытной силой в то самое время, когда никто уже не ожидал его возвращения.

Кай Юлий Страбон, наследник сомнений, цинизма и распущенности нескольких веков, воспитанный на греческой литературе, молился ежедневно утром и вечером перед домашним алтарем, спал на жесткой постели, сам одевался и ел простую пищу. Его отец требовал для своих личных услуг большего количества людей, нежели Юлий держал для целого дома. Его дед не думал о том, что наказание, которому подвергались невольники, причиняет боль, а Юлий рекомендовал своему надсмотрщику быть снисходительным. Пусть галилеяне

знают, что и те, которых они называют идолопоклонниками и упрекают их в жестокости к бедным и обездоленным, обладают добродетелью милосердия. Стоики и неоплатоники также предписывали ее своим последователям.

Окончив утреннее жертвоприношение, Кай Юлий перешел по мраморной лестнице в свой рабочий кабинет, куда за ним последовали чтец и смотритель.

Это была его самая любимая комната. Тут он отдавал приказания управителю и надсмотрщику, устраивал дела с арендаторами своих имений, читал, писал, слушал чтеца и принимал близких друзей. Это была и библиотека, состоящая из нескольких сотен драгоценных рукописей, где он окружал себя всем, что любил. Если б кто нашел Кая Юлия в кабинете, то принял бы эту комнату за лавку торговца древностями.

Вдоль стен стояли шкафы, а на их полках заботливая рука разложила множество сосудов и предметов разных эпох. Тут были ножи, горшки, кувшины, амфоры времен консулов, мечи и наплечники известных полководцев, золотые и серебряные монеты первых императоров, ожерелье императрицы Фаустины, чарки, геммы и множество всяких достопримечательностей, которые могли прельстить антикваріев. Как Юлий затратил много денег на эти вещи!

Он сел в большое кресло и сказал старому галлу:

— Завтрак ты подашь мне сюда.— И, повернувшись к чтецу, спросил: — Не было письма от консула?

— Аврелий Симмах вызывает тебя на заседание сената,— отвечал чтец, свободный римский ученый, получивший образование в афинских школах.

— Сегодня?

— Завтра в Капитолий.

— Мы дошли до прощания Гектора с Андромахой...

Пока Кай Юлий ел завтрак, состоящий из подогретого вина, хлеба, двух яиц и нескольких оливок, чтец достал из бронзового ящика свиток пергаментов и начал читать по-гречески:

Ей отвечал знаменитый, шеломом сверкающий Гектор:
«Все и меня то, супруга, не меньше тревожит,. но страшный
Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой,
Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя.
Сердце мне то запретит, научился быть я бесстрашным.
Храбро всегда, меж троянами первым, биться на битвах,
Доброй славы отцу и себе самому добывая!

Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем,
Будет некогда день, и погибнет священная Троя,
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама..

— Ты служил уже в легионах? — спросил Кай Юлий, прерывая чтеца.

— Моему отцу удалось подкупить декуриона, и меня миновал набор,— отвечал ученый.

— Ты римлянин, а уклоняешься от воинской повинности! Наши предки спешили стать под знамена без принуждения,— сказал сенатор.

— Ты знаешь, господин, у наших предков были другие понятия о целях жизни.

— У свободного римлянина может быть только одна цель,— служить своей отчизне. Нас, цвет народа, коварство новых императоров лишило возможности прославиться под орлами. Эти вновь испеченные повелители опасаются, как бы мы не приобрели уважения солдат, которым они сами обязаны властью. Их опасения имеют основания, потому что каждый из нас имеет больше прав на престол, нежели они, выдвинутые милостью наемников на самую вершину государственной власти. Но почему вы, плебеи, которых никто не опасается, почему вы пренебрегаете военной службой? Вы зоветесь римлянами, а позволяете вырывать оружие из своих рук. По вашей вине римские легионы перестали быть римскими. Не мы проливаем кровь на полях битв, а варвары, дерущиеся за деньги. Не было бы ничего удивительного, если бы эти варвары вместо золота пожелали власти.

На губах ученого промелькнула презрительная улыбка.

— Ты знаешь, господин, что это невозможно,— отвечал он.

— Почему невозможно? — спросил сенатор.— Господствует надо всем только сила, а войско есть сила. Мы пользуемся уже несколько веков заслугами предков, ничем за это не расплачиваясь перед их памятью. Ты говоришь, что теперь у нас другие понятия о целях жизни? Какие? Понятия, почерпнутые из греческой философии времен ее упадка? Они хороши для разбогатевших торгашей, сластолюбцев и немощных старцев.

Чтец смутился и молчал.

— Читай дальше! — приказал резко Кай Юлий.

Рек, и сына обнять устремился блистательный Гектор;
Но младенец назад, к груди пышноризой кормилицы
С криком припал, устрашася любезного отчего вида;

Яркой медью испуган, и гривой косматого гребня,
Грозно над шлемом отца всколебавшейся конской гривой,
Сладко любезный родитель и нежная мать улыбнулись.
Шлем с головы немедля снимает божественный Гектор,
Наземь кладет его пышноблестящий, и, на руки взявши
Милого сына целует, качает его и, поднявши,
Так говорит, умоляя Зевса и прочих бессмертных;

Сенатор вторично прервал чтеца. Опустив голову на руки, он кончил за него на память:

«Зевс и бессмертные боги!» О, сотворите, да будет
Сей мой возлюбленный сын, как и я, знаменит среди граждан;
Также и силою крепок, и в Трое да царствует мощно.
Пусть о нем скажут, из боя идущего видя:
Он и отца превосходит! И пусть он с кровавой корыстью
Входит врагов сокрушитель, и радует матери сердце!»

. . . . . .

«Добрая! Сердца себе не круши неумеренной скорбью.
Против судьбы человек меня не пошлет к Андесу;
Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный,
Муж, ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он родится.
Шествуй, любезная, в дом; озаботься своими делами;
Тканьем, пряжей займись, приказывай женам домашним
Дело свое исправлять; а война — мужей озаботит
Всех, наиболее ж меня, в Илионе священном рожденных»

Голос сенатора, вначале бодрый и звучный, ослабевал к концу молитвы Гектора, как будто его утомила образная речь Гомера. Последние два стиха замерли на его устах. Он замолчал и печальным взором обвел мраморные бюсты Корнелиев, Фабиев, Юлиев, Клавдиев, Квинтилиев, стоящих на шкафах.

. . . . . *.а война — мужей озаботит*

— Всех, наиболее ж меня, в Илионе священном рожденных,— повторил он вполголоса.

Он посмотрел на свои маленькие, холеные руки, на худые плечи, на узкую грудь и горько усмехнулся.

— На дворе, кажется, не греет вчерашнее солнце? — спросил он, обращаясь к чтецу.

— С самого утра моросит мелкий дождик,— отвечал ученый.— У нас в нынешнем году ненастная осень.

— Я чувствую ее в костях,— проворчал сенатор. И, поднявшись с кресла, прибавил: — Ты мне больше на этот день не нужен. Пусть письма к арендаторам будут готовы завтра.

Когда чтец удалился, Кай Юлий потянулся, как рабочий, расправляющий мускулы после нескольких часов

труда, потом проговорил про себя, отделяя слово от слова:

Будет некогда день, и погибнет священная Троя,
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама.

Тени печали легли на его худое лицо, придав ему выразительность камеи.

Вдруг он вздрогнул и быстро повернул голову в сторону занавески.

— Если бы я знал, что шелест занавески испугает тебя, как больную женщину,— сказал Констанций Галерий, входя в кабинет,— то послал бы доложить о себе. Привет тебе! Должно быть, на тебя снова повлияла перемена погоды.

— Здравствуй! Действительно мне надоедает этот противный, мелкий дождь, который проникает сквозь стены и пробирается под самую кожу. Ты смеешься? Если бы твои предки в течение нескольких поколений так же хорошо, так же много пили и так же горячо любили, как мои, то тебе было бы так же холодно, даже и в самые жаркие летние дни.

— Это значит, что я должен благодарить своих предков, что они не знали этих хороших вещей,— отвечал Констанций Галерий и тяжело опустился на кресло.— Я устал, как гладиатор, покидающий арену. Знаешь ли ты, что я сегодня делал? Не отгадаешь. Я обежал раз двадцать мой сад.

— Ты хочешь убавить жиру?

— Я не думал, что ты так проницателен. Действительно, жир мешал бы мне на войне.

— Ты чересчур прозорлив. До войны еще далеко.

— А мне кажется, что близко.

— Разве ты говорил с Флавианом?

— Префект показывал мне письмо Валентиниана.

— Этот галилеянин говорил настолько решительно, что мы не можем на этот раз рассчитывать на его снисходительность. Бывает время, когда бряцание оружием представляется единственным ответом. Слишком долго мы терпим самовластие Феодосия.

Кай Юлий с завистью посмотрел на гостя.

— Если б у меня было твое здоровье! — с сожалением сказал он.

— Ты только не падай духом,— утешал его Констанций Галерий.— И для тебя найдется работа. Умная голова весит больше сильных рук.

— Но не на войне.

— И на войне.

Они оба задумались, глядя в пространство. Через несколько минут Констанций Галерий опять заговорил:

— Я хотел тебе сказать, что лошади Руфина продаются. Он вчера проигрался в кости и хочет сбыть тех вороных жеребцов, на которых ты точишь зубы вот уже три месяца. Ты можешь купить их дешево.

Кай Юлий пожал плечами.

— Я обойдусь и без лошадей Руфина,— сказал он.

— Почему? — с удивлением спросил Констанций Галерий.— Они так тебе всегда нравились.

— Неизвестно, на что мне понадобятся в скором времени деньги.

— Признайся, ты снова заплатил огромную сумму за какие-нибудь дырявые сандалии Цинцинната или за запонку цезаря. А может быть, тебе удалось поймать кусок хвоста той волчицы, которая кормила Ромула и Рема? Покажи мне свою добычу, все равно ты не утерпишь.— Кай Юлий весело рассмеялся. Приблизившись к одному из шкафов, он достал из него какой-то глиняный сосуд и поднял его кверху.

— Дивись! — сказал он с победоносным видом.

Глаза его сверкали, лицо оживилось.

Констанций Галерий посмотрел на сосуд с одной стороны, потом с другой и сказал:

— Черепушка.

— О, ты медведь из лесов Реции,— сказал Кай Юлий.— Тебя, значит, не приводит в восторг чашка времен Тарквиния Гордого? Ты слышишь? Во времена Тарквиния Гордого наши предки употребляли такие чашки.

— Мои собаки едят из лучших чашек,— сказал, смеясь, Констанций Галерий.

— Варвары! — воскликнул Кай Юлий.— Не для твоих тупых глаз такая святость.

И он уже хотел спрятать чашку в шкаф, но патриций остановил его.

— Научи меня искусству распознавать эти чудеса,— попросил он,— чтобы и я мог вставить мудреное слово, когда у Симмаха будут разговаривать о древностях. А то мне стыдно, что я должен всегда молчать в таких случаях.

Они оба наклонились над чашкой времен Тарквиния Гордого. Кай объяснял знаки, по которым узнается посуда того времени; Констанций внимательно слушал.

Когда они стояли в таком положении, склонившись друг к другу головами, белая маленькая рука отдернула занавеску, отделяющую кабинет от двора, и большие голубые глаза засветились над вздернутым носиком с любопытством. За носиком показалось лицо, а за лицом — вся фигура Порции Юлии. Она плутовски усмехалась и, удерживая дыхание, на цыпочках двигалась вперед. За ней полз большой британский пес. Когда она очутилась за плечами Констанция Галерия, то ударила изо всей силы в ладоши.

Кай и Констанций в ужасе отскочили друг от друга, а Порция залилась смехом избалованного ребенка. Пес, расшалившийся, как его госпожа, вторил ей радостным лаем.

Насмеявшись вволю, она подбежала к брату, обняла его, закинув обе руки ему на шею.

— Я приношу утреннее поздравление возлюбленному братцу,— сказала она, целуя сенатора в обе щеки.

— Порция, моя чашка времен Тарквиния Гордого! — восклицал в отчаянии Кай Юлий, поднимая высоко кверху посудину.

Пес скакал как сумасшедший, стараясь мордой достать драгоценную чашку.

— Отгони Лидию,— умолял Кай.

— Лидия, перестань,— прикрикнула Порция.

Пес сейчас же успокоился. Растянувшись у ног своей госпожи, он лизал ей руку.

Теперь Порция обратилась к Констанцию. отвесила ему низкий поклон и сказала мрачно:

— Привет твоей преславности!

То же самое проделал и Констанций Галерий и отвечал так же угрюмо:

— Пусть боги сохранят твою преславность!

Вид его был настолько комичен, что Порция снова разразилась громким смехом.

— Ты мог бы показываться в театре, как мим,— сказала она.— Только скажи мне, почему люди называют тебя преславным? — продолжала она.— Что ты сделал такое славное, что стал преславным?

— Порция! — отозвался Кай Юлий, который запер уж свою чашку в шкаф.

— Оставь ее,— попросил Констанций Галерий.— Ведь не с сегодняшнего дня Порция избрала меня вазой, куда без помехи изливает свое веселье.

— Обширная ваза! — заметила Порция.

— Обширная! — подтвердил Констанций.— Но скоро она станет поуже.

— Может быть, ты пристал к галилеянам и удалишься в пустыню, чтобы питаться кореньями.

— К галилеянам я не пристал, потому что я римлянин, но питаться кореньями могу, когда будет нужно, потому что зубы у меня хорошие. Ты имеешь основание удивляться, почему меня люди называют преславностью. Я сам знаю, что купленный титул надо оправдать достойными подвигами.

Порция своими тоненькими белыми пальцами взяла большую руку Констанция и, гладя ее, сердечно сказала:

— Мое глупое веселье снова обидело тебя. Но ты не сердишься на меня? Ты знаешь, что я никогда и никого умышленно не обижаю.

— А ты знаешь, что ты можешь делать со мной что угодно,— ответил Констанций Галерий и посмотрел на Порцию с такой любовью, что она вся вспыхнула.

— Ты могла бы склониться на его просьбу, которую он повторял уже столько раз,— отозвался Кай Юлий,— и стать вместе с ним перед алтарем его домашних богов.

Порция отскочила от Констанция.

— С ним? Никогда! — с гневом воскликнула она.

— Отчего? — спросил брат.— Оттого, что он принадлежит к новому патрициату? Новый у него только титул, но любовь к Риму старая, а еще более старая доброта и честность. Его прадед добыл всаднический перстень с мечом в руках. За служение новой отчизне, так же, как некогда наши предки. Лучшего и вернейшего мужа ты не найдешь, Порция.

— Я знаю, что Констанций Галерий добрый и милый,— отвечала Порция,— но какова бы я казалась рядом с ним? Как серна около слона. Нет, не хочу!

Патриций добродушно улыбнулся.

— Известно, что слоны бывают терпеливы,— сказал он.— Времени у нас обоих достаточно.

— Ты полагаешь, что твое терпение сломает мою волю? — закричала Порция с детским задором.

— Я уверен, что когда-нибудь ты очень будешь любить меня.

— Что тебе дает право на такое самомнение?

— То, что ты постоянно ссоришься со мной.

— Так с этого времени я буду молчать, как, как, как...— повторяла Порция быстро, топая ножкой.

— ...Как Порция Юлия,— подсказал ей, смеясь, Констанций.

Девочка погрозила ему пальцем, повернулась на одной ноге и выбежала из комнаты. За ней с веселым лаем побежал и пес.

Еще занавеска не перестала колыхаться, как на пороге противоположной двери показался глашатай.

— Знаменитый Винфрид Фабриций! — доложил он.

Кай Юлий с удивлением посмотрел на Констанция, как бы спрашивая его: что этому человеку нужно от меня?

— Я бы не принял этого галилеянина,— проворчал патриций.

— Может быть, у него есть какое-нибудь поручение ко мне из Виенны,— отвечал сенатор.

— Пусть войдет! — сказал он рабу и, накинув на себя тогу, вышел в залу.

— Я позволил себе нарушить покой твоей преславности,— начал Фабриций,— не как воевода Италии и христианин, а как старый знакомый по Виенне.

— Привет тебе! — отвечал сенатор и указал рукой на одну из соф, стоявших полукругом посредине залы.

— Так как в Риме близко я знаю только одного тебя,— говорил воевода,— то хотел бы поговорить с тобой откровенно о деле, которое одинаково касается как нас, христиан, так и вас, язычников.

— Исповедников веры народных богов,— поправил Кай Юлий.

Как будто не обратив внимания на это замечание, воевода продолжал:

— Я узнал, что вы намереваетесь хоронить ваших убитых с необычайной пышностью, и что сам консул скажет на главном рынке речь к народу. Если это сборище имеет целью вызвать новое волнение, то я буду принужден стянуть в Рим весь гарнизон Италии и запретить на будущее всякие многочисленные процессии.

На лице сенатора выступил румянец.

— Ведь ты сам убедился, что палатинского гарнизона совершенно достаточно для водворения порядка,— сказал он, бросив на воеводу неприязненный взгляд.— Что же касается твоей угрозы, то она превышает границы твоей власти. В стенах города у нас распоряжаются префект и консул.

— Я пришел к тебе, чтобы разъяснить те размеры власти, с какими меня прислали в Италию. Я бы мог вас миновать и объявить цезарское полномочие только тогда, когда вы этого пожелали бы, но моя солдатская

натура не выносит закрытой игры. Так знайте же, что я прибыл в Рим с поручением выполнить эдикты божественных и вечных императоров, невзирая на средства, к которым я сочту нужным прибегнуть. Теперь ты понимаешь, почему я не желаю торжественного погребения ваших убитых. Я не люблю напрасного пролития крови. Солдат должен убивать только на поле битвы.

Кай Юлий понял его превосходно. Было видно, что он собирает последнюю силу воли, чтобы сохранить спокойствие. Его губы и веки нервно дрожали.

— Я понимаю и вижу,— отозвался он после долгого молчания голосом, хриплым от внутреннего волнения,— что ты хочешь быть ревностнее божественных и вечных императоров, которые одарили Флавиана и Симмаха высшими почестями в западных префектурах, награждая их за заслуги и добродетели. Я понимаю и вижу, что ты пришел к нам с ненавистью непримиримого врага и забыл приказания твоей веры, которая учит: любите врагов своих, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. О, христиане! Едва вы покинули подземелья и тайники закоулков, как уж забыли о своих заветах, которые некогда были вашей силой.

А когда воевода в изумлении посмотрел на него, Юлий продолжал:

— Ты удивляешься, что язычник, как ты меня презрительно называешь, знает ваше Писание? Мы, остатки народа, забытого с некоторого времени богами, ищем в мудрости всех исповеданий источник новой правды, которая возвратила бы нам прежнюю силу и доблести. Но в ваших книгах, должно быть, нет этого источника, если заветы, заключающиеся в них, не могли облагородить человеческой природы.

Воевода, который не ожидал подобного оборота разговора, смутился и молчал. Через некоторое время он ответил:

— Не дело смертного испытывать пути и средства, какими Творец и Господь мира идет к своим целям. Но придет время, и на земле водворится обещанное Царство Небесное.

Теперь сенатор в изумлении посмотрел на воеводу. Для него эта речь была непонятна, ее не усваивал его скептицизм. Он спрашивал везде и всегда: зачем, куда, с какой целью? А этот галилеянин закрывал глаза и уши и шел вперед, не оглядываясь ни направо, ни налево.

— Ты так думаешь? — спросил он, желая вызвать воеводу на дальнейший разговор.

— Я так верю! — отвечал христианин голосом глубоко прочувствованной убежденности.

Сенатор внимательно слушал. Воевода на все отвечал одно: «Верю!»

Это слово поразило римлянина. Он смотрел на лицо Фабриция, осветившееся странным огнем, исходившим из его черных глаз.

Но вдруг он понял, почему воевода на все отвечает: «Верю!». Галилеянин не исследовал, не колебался, но верил в своего Бога, как послушный ребенок верит в любимого отца. В его груди бьет тот благодатный источник, из которого могучие созидатели Рима черпали силу, чтобы безропотно свершать свои подвиги — источник живой веры, которую он, наследник религиозного равнодушия нескольких поколений, безуспешно искал в учениях всех религий. Для воеводы учение Христа не было политической верой, а только потребностью души и сердца. Он... верил...

И язычник понял силу христианства: «С верой не может сражаться человеческий ум».

— Если бы вы захотели облегчить мое поручение уступчивостью, то я был бы снисходителен к вашим обычаям. Я не сразу закрыл бы все ваши храмы.

— Прежде чем мы будем говорить об этом, надо подождать последнего ответа божественных императоров, к которым сенат пошлет на днях почтительную просьбу.

— Вы понапрасну трудитесь,— сказал воевода.

— Не твое и не мое дело предупреждать божественную волю императоров,— отвечал Кай Юлий.

— Я надеялся, что ты примешь мои доводы и отвлечешь префекта и консула от таких похорон,— сказал воевода.— Я боюсь новых волнений.

— Делай, что тебе надо, а нас предоставь своей судьбе, которую нам предназначили боги.

Они простились друг с другом принужденным поклоном.

Когда воевода ушел, Кай Юлий поник головой и сложил руки на груди. Его худощавая фигура, изможденная, согнутая, как подрезанное под корень растение, казалась еще более худой. Этот потомок великого римского рода не производил впечатления силы.

— А говорил я тебе, что нужно будет...— отозвался Констанций Галерий, сходя по мраморным ступеням, которые вели из кабинета в зал.

Он плюнул на ладонь и поднял кулак, как будто замахивался на кого-то.

— Я все слышал,— сказал он,— и хотел прийти к тебе на помощь, если бы этот галилеянин забылся. Это какой-то разбойник! Я уже давно говорю: хвататься за оружие и бить! А вы все колеблетесь. Чего тут ждать? С каждым днем мы все больше теряем почву под ногами. По-другому с нами заговорят императоры, когда мы подадим им просьбу на конце меча. И, наконец, за последние двести лет, кто занимал трон императора? Тот, кто был сильнее.

— Ты не можешь научиться быть осторожным,— отвечал Кай Юлий.— Неизвестно, где подстерегает измена. Твой голос слышно через стену.

Констанций Галерий равнодушно махнул рукой.

— Живьем меня никто не возьмет, а что будет с моим трупом, меня мало интересует,— продолжал он.— Не поддавайся сомнению, вслед за этой ворчливой ведьмой идет всегда неудача, она еще никого не привела к победе.

— Если бы у меня были твое здоровье и его вера,— сказал со скорбью Кай Юлий.

— Но у тебя есть любовь к прошлому Рима, это равняется здоровью и вере,— утешал его патриций.

Кай Юлий с недоверием усмехнулся. Но вдруг он провел рукой по лбу и поднял голову.

— Да, да, не следует поддаваться сомнению, не следует терять отваги,— лихорадочно говорил он, оправляя на себе тогу,— надо защищаться... Ты сейчас же отправишься к консулу. Я прикажу нести себя к префекту. Пусть совещаются, пусть торопятся сделать решительный шаг. Этого галилеянина надо убрать из Рима... Кто-нибудь из нас должен ехать к Арбогасту... И наших сторонников в легионах, расположенных в разных местах Италии, нужно также предупредить...

— Вот таким я люблю тебя,— радостно воскликнул Констанций Галерий.— Не бойся! У нас есть еще деньги. Мы купим мечи франков и галлов и тогда посмотрим, кто будет запирать чьи храмы...

Винфрид Фабриций, выйдя из дома Юлия, вскочил на колесницу, которая ждала его у ворот, взял из рук невольника вожжи и крикнул двум конным легионерам:

— В Латеранский дворец!

Солдаты пустились с места в галоп впереди воеводы, который правил горячими испанскими кобылами с ловкостью циркового наездника.

— С дороги! Место знаменитому воеводе! — кричали солдаты.

Пока колесница ехала по базальту Садовой улицы, ничто не останавливало ее быстрого движения. В этом тихом квартале города, заселенном главным образом сенаторами, в это время обыкновенно бывало пусто. Лишь ранним утром здесь теснилась толпа нищих, стучавшихся в ворота богатых людей.

Но когда воевода повернул налево и попал в самый разгар торгового и промышленного движения на Широкую улицу, то крики его стражи не оказывали никакого действия. Кверху, к Фламинским воротам, и книзу, в сторону Капитолия, беспрерывно текла живая волна, и посредине улицы тянулись носилки, переносные кресла и тачки с тяжестями.

Римский народ, который хорошо помнил, что еще недавно даже консулы и преторы приказывали своим ликторам в стенах города из пучков розог вынимать топоры, чтобы не оскорблять его знаками власти, не обращал никакого внимания на воеводу.

Этот народ видел столько пышных процессий, столько блеска, расточаемого сенаторами на улицах, ежедневно соприкасался со столькими сановниками, что равнодушно смотрел на скромную колесницу. Только когда легионеры погоняли лошадей, из толпы раздавались голоса:

— Тише! Подождешь!

Кругом слышался глухой ропот.

Его удивляла не одна только распущенность римского люда. Ведь сегодня было воскресенье, день, священный для христиан. Никейский собор запретил работать в эти дни.

В Виенне и местах, соседних с резиденцией императора, даже иноверцы подчинялись этому предписанию, подтвержденному цезарским эдиктом. А тут, в древней столице государства, улица кишела народом, как будто новый порядок вовсе не существовал. Купцы не заперли своих лавок, мелкие торговцы не сложили своих лотков, расставленных на тротуарах, ремесленники ковали, пилили, стучали в своих мастерских и пели во время работы. Даже чиновники не принимали в расчет цезарской воли.

Какой-то сенатор, окруженный толпой слуг и клиентов, спешил в курию. Судьи, адвокаты, городская стража тянулись к главным рынкам, к обычным занятиям рабочего дня.

Глядя на это движение, воевода вспомнил слова Кая Юлия. Действительно старые боги в Риме были сильны, сильнее, нежели это казалось христианским императорам. Этот Вечный город остался языческим, несмотря на гнев Константина, Грациана, Феодосия и Валентиниана.

И ревностный христианин понял, что он взялся за трудную задачу. Как запереть храмы в городе, который, без сомнения, будет защищать свои святыни с яростью отчаяния? Прежде чем Крест победит окончательно, еще много придется потрудиться.

Воевода сумрачно глядел кругом, как будто чувствовал сожаление к этим людям за их неразумное, грешное, по его мнению, упорство. Зачем вы слепы для света истинной веры, зачем вы своими же руками запираете перед собою врата Царства Небесного? — спрашивали его глаза.

В то время как он так размышлял, улица вдруг сразу стихла. Живая волна расступилась на две половины, теснясь к тротуарам, хотя ничто не принуждало ее к этому. Мужчины снимали с головы полы тог и плащей, которыми они закрылись от дождя, женщины кланялись так низко, что лицом почти касались мостовой.

Не успел воевода оглядеться, как несколько человек бросились к его лошадям и, схватив их под уздцы, оттащили колесницу в сторону.

Винфрид Фабриций хотел крикнуть своим солдатам, но вдруг побледнел и дернул коней с такой силой, что они поднялись на дыбы.

Мимо него медленно и торжественно проследовали носилки, а в них лежала Фауста Авзония. Ей предшествовал ликтор и многочисленная свита, состоящая из молодежи обоего пола, сенаторского и всаднического звания.

С затаенным дыханием, весь подавшись вперед, воевода впился взором в весталку, как птица, очарованная взглядом змеи. Вся в белом, с опущенной головой Фауста Авзония казалась статуей из каррарского мрамора.

Один из молодых патрициев обратил ее внимание на воеводу. Фабрицию показалось, что в глазах весталки мелькнул блеск радости. Но, должно быть, ему так показалось, ибо через несколько секунд эти большие чер-

ные глаза смотрели на него так холодно, как будто видели его в первый раз.

Он низко опустил голову, а когда поднял ее, то от весталки его отделяла тесная стена народа. И снова он вспомнил предостережения Кая Юлия. Теперь и он верил, что римский народ жестоко отомстил бы тому дерзновенному, который бы осмелился оскорбить весталку своей любовью. Ее жреческое достоинство так высоко ставило ее над людскими желаниями, что даже тот, кто полюбил бы ее, не мог бы открыть ей свое чувство.

По мере того как он приближался к Целийскому холму, движение рабочего дня заметно утихало. Лавки и ремесленные заведения во многих местах были заперты, люди, одетые по-праздничному, направлялись к Целимонтанским воротам, откуда улица вела к Латеранскому дворцу.

Во дворце этом некогда обитал знаменитый патрицианский род, который был помехой для императоров, как и многие другие. Нерон умертвил знаменитого своими гражданскими доблестями Плавтия Латерана, а у наследников его отобрал все имущество покойного. С тех пор роскошный дворец переходил из рук в руки до тех пор, пока Константин Великий не предназначил его для резиденции римских епископов.

Около Латеранского дворца возвышался храм, построенный в форме базилики. Перед ним расстилался квадратный открытый двор, окруженный со всех сторон портиком. Посредине двора находилась мраморная цистерна, наполненная святой водой.

Воевода остановил лошадей перед храмом, отдал меч одному из легионеров, вошел во двор и умыл руки и лицо водой из цистерны.

В христианскую святыню вели трое дверей, из которых средние были самыми большими. У каждой двери стояло по два привратника.

В преддверии, отделенном от главной части церкви высокой стеной, несколько десятков рук с мольбой протянулись к воеводе.

— Помолись за нас! — просили согрешившие, приговоренные епископом к публичному покаянию.

— Да простит вас милосердный Бог,— ответил Фабриций, быстро проходя мимо кающихся.

Едва он переступил порог главной части церкви, как опустился на колени и трижды припал лбом к каменному полу.

— Освети ее душу светом истинной веры, Господи! — шептал он, прижимая руки к груди.— А мое сердце услади ее любовью. Услышь меня, и я буду служить Тебе каждым словом и делом. Услышь меня, услышь! — повторял он с каждым разом все горячее и страстнее.

Как раз в то время в главном притворе, отделенном от боковых гигантскими колоннами, дьякон кончал чтение Евангелия от Матфея. Стоя перед аналоем, он медленно и громко читал по большой книге, объясняя кучке оглашенных наиболее трудные места.

Воевода не слыхал Божьего слова. Согбенный, оторванный от всего окружающего, он весь ушел в себя.

— Не о грешном счастье я прошу Тебя,— молился он,— Твое милосердие поставило рядом с мужем жену, чтобы она делила с ним труд жизни и была бы ему верным товарищем в счастии и несчастии. Твоя благость, о, Господи, зажгла в сердце человека пламень любви, ясный светоч среди земного мрака. Ты можешь склонить ее сердце ко мне, ибо без Твоего ведения и воли не расцветает ни одно чувство. Услышь меня, Господи! Без тревоги и замедления я буду закрывать храмы язычников, неумолимый для всех, кто не восхваляет Твоего имени.

Теперь он поднял голову и слушал.

— Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и возненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете вы? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

Воевода слушал это повеление с широко раскрытыми глазами, тупым выражением на лице, как тот, которому говорят что-нибудь на чуждом для него языке.

Он должен любить своих врагов, он, солдат, орудие смерти? Он, вождь, для которого поражение врагов было наивысшей похвалой?

Эти слова, которые он слышал столько раз, но над значением которых никогда не задумывался, очевидно, относились не к нему.

Ему, солдату, какое дело до несогласия Божьего слова с жизнью? Это дело священников. Пусть они углубляются в сущность священных книг. Ему совершенно достаточно веры в истинного Бога...

— Господи, я буду служить Тебе с усердием божественного Феодосия,— говорил он,— но согрей душу Фаусты теплом Твоей правды и обрати ее мысли ко мне.

И снова он прикасался головой к холодному каменному полу и повторял горячо и страстно:

— Услышь меня, услышь, услышь!..

Дьякон кончил чтение Евангелия. Оглашенные толпились у входа; в литургии верных могли принимать участие только христиане, прошедшие все подготовительные ступени.

Когда оглашенные покинули церковь, воевода поднялся с колен и осмотрелся кругом.

Вдоль колонн чернелись то тут, то там на фоне старых камней кучки верных — мужчины по правую, а женщины по левую сторону. Все, сосредоточившись, ожидали начала литургии. Этих крещеных христиан было так немного, что они терялись в громадном здании. Холодом катакомб веяло в самом обширном римском храме, в котором собирались большей частью молящиеся из высших классов.

Храм действительно своей суровой простотой напоминал подземные кладбища. Его колонны не были украшены богатыми приношениями и венками, его стен не покрывали фрески и восточные ковры. Тут не было статуй и даров, присланных богам столицы наместниками покоренных областей, не было даже изображений людей, послуживших новой вере.

Все украшение латеранской базилики составлял скромный алтарь из белого мрамора, огороженный решеткой. Тут, в глубине среднего придела, в святая святых, на том самом месте, где в языческих храмах стояло священное кресло консула или претора, сидел пожилой человек. Его окружали пресвитеры, дьяконы, поддьяконы, чтецы, свещеносцы, одетые так же, как и он, в обычные платья, которые носят в Риме свободные граждане. У пожилого человека не было ни тиары на голове, ни жезла в руке.

Это был Сириций[8], римский епископ, преемник Дамазия, укротитель манихеян и присцилиан. Справа от

[8] Римский епископ, 385—398 гг. Одежда христианского духовенства начала отличаться от светской только в конце V столетия.

него, в боковом приделе, за колоннами, стояли на коленях несколько сенаторов, а напротив, в левом приделе, в переносных креслах, сидели знатные женщины.

И снова удивление охватило воеводу. Направляясь в кафедральный собор, он думал найти там толпы последователей, принадлежащих к высшим классам. Ведь говорили же ему в Виенне, что закрытия языческих храмов домогаются сенаторы. Правда, в древней столице государства, кроме латеранской базилики, существовало еще сорок церквей, но Фабриций знал, что в этих второразрядных церквах молятся больше верные из простого класса.

Значит, истинный Бог не был в городе Ромула Богом просвещенных и сильных? Значит, как и в первые три века христианской эры, Ему поклонялись исключительно только малые?..

У алтаря началась литургия. Один из старших священников совершал таинство Евхаристии.

Его молитвам не вторили трубы, флейты и цитры, их не дополняло пение хоров, обученных в знаменитых александрийских школах.

Вместо фимиама и благоуханий к алтарю возносились молитвы верных, которые с доверчивостью детей приносили Богу свои заботы и печали. Живая вера первых христиан пренебрегала внешним побуждением. Для нее было достаточно тихой, сердечной мольбы, идущей из самых скрытых тайников души.

Когда священник кончил таинство, один из дьяконов взял из его рук хлеб и вино и начал оделять ими присутствовавших. Все подходили к Господнему алтарю: прежде всех епископ, потом духовенство и светские.

В это время священник запел первую строфу псалма Давида, к нему присоединились все христиане, и монотонное пение огласило церковь.

Это, собственно, было не пение, а протяжное чтение.

Наконец епископ поднялся со своего кресла и благословил верных, а дьякон провозгласил:

— Идите с миром.

Богослужение было так же скромно, как и сама латеранская базилика: оно ничем не возбуждало страсти, не усиливало впечатления никакими искусственными средствами.

Воевода, выйдя из церкви, пошел во дворец епископа. В передней он позвал слугу и сказал ему свое имя. Ему пришлось ждать недолго. Невольник, который скрылся

за занавесью, скоро вернулся и провел его через три большие залы. В четвертой, перед столом, заваленным книгами и пергаментами, в кресле сидел епископ Сириций..

Когда воевода остановился на пороге кабинета христианского епископа, на него обратились черные глаза, блеск которых удивительно выделялся на увядшем лице, покрытом морщинами, и свежий, еще молодой голос спросил:

— Ты Винфрид Фабриций?

— Да, святейший отец,— отвечал воевода, приближаясь с наклоненной головой к епископу.

— О твоей ревности к нашей новой вере,— говорил Сириций,— донес мне епископ Виеннский. Приветствую тебя в Риме своим благословением. Встань,— прибавил он, творя крестное знамение над головой воеводы, который стал перед ним на колени,— и говори, какая забота привела тебя ко мне.— Он указал ему рукой на другое кресло.

Фабриций сел и молчал. Его привели в смущение эти умные глаза, епископ смотрел на него так пытливо, что он не мог выдержать его взгляда. Он пришел к нему за советом и указаниями и хотел узнать от него, в ком из сенаторов найдет он себе деятельного помощника в борьбе с язычниками. Но от епископа, как и от других христиан, веяло таким достоинством, что обыденные слова замерли на устах воеводы.

— Я знаю, с каким поручением ты прибыл в Рим,— начал епископ.— Когда ты пробудешь несколько времени в Италии и присмотришься ближе к здешним отношениям, то поймешь сам, что быстрое исполнение эдикта императора Феодосия произведет в государстве большую бурю. В Константинополе и Виенне ничего не знают о состоянии умов в Италии.

Воевода с изумлением услыхал это. Он, христианский епископ, не одобряет эдикта, который является высшим триумфом новой веры? Винфрид надеялся, что его намерения найдут у епископа горячую поддержку.

— Мне приказано употребить для исполнения эдикта вооруженную силу всей Италии,— отвечал он.

— Вооруженная сила Италии может отказать тебе в повиновении, потому что она состоит преимущественно из язычников. Известно тебе, что наши последователи неохотно служат в легионах? — спросил епископ.

Об этом воевода не подумал. И в самом деле! Все

главные начальники легионов были язычники, как он узнал от военных епископов. Очень немного христиан занимало в Италии высшие военные должности. Но быть не может, чтобы солдаты отказались повиноваться главному начальнику. А впрочем...

— В случае надобности на помощь мне пришли бы легионы из Галлии,— заметил Фабриций.

— И началась бы снова война, и кровь ее пала бы на нас, поклоняющихся Господу милосердия и прощения,— с печалью сказал епископ.

Он медленно отвел проникновенный взор от лица воеводы и молчал, глядя в пространство. После долгого молчания он начал тихим, словно утомленным голосом:

— «Вы слышали, что сказано древним: «не убивай; кто же убьет, подлежит суду». А Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака» подлежит синедриону, а кто скажет: «безумный» подлежит геенне огненной...». Зачем же вы, которые именуетесь детьми Бога добра, забываете о заповедях этого милосердного Бога? Едва Его милость вывела нас из подземных трущеб и сняла с нас печать отбросов общества, как среди нас уже появились низкие человеческие страсти, как будто Христос не смыл с нас первородный грех своей мученической смертью. Как язычники, которых мы презираем, мы жаждем обладать земными сокровищами и наслаждаться скоропреходящими удовольствиями и почестями. А ведь Господь повелел нам: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

И снова глаза Сириция обратились на воеводу, который слушал с опущенной головой, ибо чувствовал, что взгляд епископа проникает в его мозг и читает его мысли, как открытую книгу. А мысли воина не совпадали с мыслями священника.

Епископ продолжал более мягким голосом:

— Тот, Кто сделал то, что наша истина, с презрением отвергнутая сильными и умными, называемая долгое время верой обездоленных и темных, воссела на троне могущественнейшего государства в мире. Кто вернул нам уважение лучших людей и склонил к нам миллионы сердец — Тот, который сделал все это без братоубийст-

венной войны, без меча и огня. Тот в скором времени и замкнет все языческие храмы, если на это будет Его святая воля, ибо Он могущественнее всех могущественных царей и князей. Не силой наших рук приобрели мы то, чем теперь обладаем, но силой нашей истины. Она, эта христианская истина, провозглашена людям самим Богом, ясная и убедительная, со временем сломит упорство последних римлян, как сломила предубеждения их предков. В течение ста лет и в городе Ромула погаснут навсегда огни язычников, как погасли они везде в восточных провинциях государства. Языческие храмы закроются сами, когда не будет рук, желающих отпирать их, а этих рук у римлян становится с каждым годом все меньше. Дозволим же традициям великого народа умирать постепенно, без страданий мученической смерти.

— Наши мученики еще не отомщены,— прервал воевода.

Епископ нетерпеливо повернулся в кресле.

— В Законе,— проговорил он живее, более громко,— вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя исполнять с ним одно поприще, исполняй с ним два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся... Покорные этим приказаниям наши предки пересилили издевательство врагов истинного Бога. Почему же вы, молодые, которым нет надобности бороться за право молиться открыто, хотите своей стремительностью испортить дело наших предшественников? До сих пор нашу совесть не запятнала ни единая капля крови, пролитая по ненависти. Пусть же эта христианская совесть останется чистой. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся,— сказал Господь.

Он остановился, как будто ожидая ответа, но воевода все молчал, и епископ заговорил снова.

— Не язычники нам теперь страшны, их суеверия принадлежат уже невозвратному прошлому. Когда мы не будем их раздражать, они сами скоро откажутся от своих заблуждений. Ведь на нашей стороне правительство — ключ от всяких почестей и наград. Более язычников доброй славе христиан вредят те из нашей среды, гордый ум которых пытается исправить дело нашего Господа Иисуса Христа. И вот против еретиков пусть обра-

тится весь пыл твоей молодости. Их греховные споры и ссоры дают нашим противникам оружие в руки, подвергают осмеянию истинную веру.

Наступило продолжительное молчание. Епископ снова смотрел в пространство, как бы забыл о существовании воеводы, а тот ничего не мог ответить. Солдат не понимал доброты священника: юноша называл слабостью снисходительность старца, но светский человек не мог возражать епископу.

Фабриций поднялся с кресла и преклонил колени.

— Иди с миром, сын мой,— сказал епископ, кладя иссохшие, желтые руки на его голову,— и помни, что Господь только миротворцев называл сынами Божиими. Пусть твой меч не проливает без надобности кровь, если ты сам не хочешь погибнуть от меча.

Воевода свободно вздохнул, лишь выйдя из дворца. У него было состояние птицы, выпущенной из клетки. Пытливые глаза епископа сковывали его члены... Нет, Сириций не убедил его... Ему щадить язычников, врагов истинного Бога? Не любит Бога тот, кто дозволяет насмехаться над Ним...

Воевода позвал к себе одного из солдат.

— Я жду твоего приказания, господин,— отозвался старый аллеман, прибывший в Рим из Виенны вместе со своим господином.

— Мне нужен расторопный человек, знающий всю подноготную Рима,— сказал воевода.— Этот человек должен знать все, что делается у язычников, должен иметь длинные уши и лисьи глаза. Ты понял меня, старик?

— Такой человек скоро явится к твоим услугам, господин,— отвечал солдат.

— Домой! — крикнул воевода и вскочил в колесницу.

«Нет, я не могу щадить язычников...— повторял он про себя.— Мне невозможно быть снисходительным к идолопоклонникам. А однако... Сириций говорил о любви к врагам, а он наивысший судья в делах христианской веры, наместник святого Петра на земле...»

Неужели он, сын варвара, не понимает основ учения Христа?..

V

На девятый день после свадьбы дочери Симмаха с молодым Флавианом Рим гудел, как лес в жаркий июльский день.

По всем улицам, с востока, запада, севера и юга, с самого утра наплывали такие массы людей, что до края залили столицу в течение нескольких часов. Повсюду виднелись носилки и экипажи, покрытые пылью дальней дороги; шли конные и пешие, сенаторы и всадники, горожане и поселяне.

Местная стража, стоявшая на карауле у ворот, с удивлением переглядывалась между собой. Даже прошлогодний триумф Феодосия не привлек такой массы любопытных. А между ними были те, которых стража никогда не встречала в стенах Рима. Прибывали люди, одетые в старомодные туники, вышедшие давно из употребления, едущие в колесницах времен Константина. Прибывали они, по-видимому, из таких отдаленных углов Ита́лии, где не особенно заботятся о покрое платья и конструкции экипажей.

Уже около полудня в гостиницах не хватило мест для людей, коней и мулов. У кого не было знакомых в столице, тот разбивал палатку под открытым небом, на площадях перед храмами, на рынках и на Марсовом поле.

На улицах стоял шум, который проникал в самые тесные закоулки. Из лавок, мастерских и домов выбегали римляне и здоровались с незнакомыми им прибывшими людьми так сердечно, как будто их связывала давнишняя дружба.

— Привет вам! Привет вам! — кричали люди и засыпали друг друга вопросами, как бывает при встрече хороших знакомых после долгой разлуки.

Невольники выносили на улицы столы; женщины угощали гостей подогретым вином, колбасами, жареными бобами, хлебом и овощами; дети кормили сеном лошадей и мулов.

Весь город превратился в одну громадную гостиницу: Рим принимал провинцию.

Время от времени на площадях и рынках показывались большие телеги в сопровождении невольников в багряных, затканных золотом туниках. Они двигались медленно, осторожно, останавливаясь при больших скоплениях народа: это консул Аврелий Симмах отворил свои винные склады и кладовые, не жалея старых вин и дорогих лакомств для прибывших.

По мере того как осушались огромные амфоры, гул голосов рос и сердца сближались.

Римские жители начали целоваться с гостями, которых видели в первый раз в жизни. Какое-то общее предчувствие радости или печали соединяло людей разного возраста, разных сословий и занятий и сплачивало их в одну семью.

С рынка на рынок, с площади на площадь, с улицы на улицу переливался однообразный шум смешанных голосов, издалека похожий на жужжание лесных мух, с наслаждением купающихся в горячих волнах воздуха, напоенного ароматом смолы.

Но не все римляне принимали участие в этом приветствии провинции. Там, где на внешней стене дома чернел знак креста, окруженного лавровым венком, собирались люди, которые напряженно следили за необычным оживлением города. Гости не обнимались и не целовались с христианами.

Казалось, что вся Италия двинулась в Рим, чтобы доказать галилеянам, что не они одни имеют права на город Ромула.

И действительно, если бы вся эта масса, наплывавшая беспрерывно через все ворота, бросилась на врагов старой римской веры, то на завтра христианские церкви были бы пусты.

Это хорошо понял Винфрид Фабриций, который с напряженным вниманием следил за движением язычников. Узнав, что Симмах и Флавиан разослали по всей стране гонцов с письмами к сенаторам, жрецам и декурионам, он отгадал намерения главарей староримских сторонников. Они хотели в день погребения жертв, задавленных во время уличных беспорядков, поразить христиан громадным числом правоверных римлян.

Воевода не сомневался, что не все из наиболее ревностных язычников явятся на вызов префекта и консула, и никак не ожидал такого огромного сборища. Не зная положения дел в Италии, он думал, что за идолопоклонство стоит только одна столица, враждебно относящаяся к христианскому правительству, которое лишило ее прежнего блеска.

Фабриций, проезжая верхом по улицам, убедился, что в Виенне царит ошибочное представление об истинном положении дел в Италии. То была не христианская страна, терроризированная горстью сенаторов, как его убеждали при дворе Валентиниана,— здесь старые боги еще господствовали над сердцами, иначе люди не подверга-

ли бы себя стольким лишениям единственно лишь для того, чтобы выказать прочность своих убеждений.

Предводитель палатинского отряда, сопровождавший начальника в поездке по городу, распознавал между прибывшими жителей провинций, лежащих на окраинах италийского епископства. На площадях и рынках расположились венеты и лигийцы, рыбаки из Регнума и колонисты из Мельпа. Эти язычники шли днем и ночью для того, чтобы поспеть к назначенному дню. Получив известие о похоронах, они тотчас же бросили семьи и занятия и пустились в дорогу, послушные призыву столицы.

Многие из них, по-видимому, ясно сознавали опасность минуты — воевода замечал под тогами и плащами ножи и мечи. Не с мирным настроением стеклись в Рим идолопоклонники в таком числе. Об этом говорили их угрожающие взгляды, с которыми Фабриций сталкивался везде, где собиралась более значительная толпа.

Его, солдата, не страшили эти ножи, мечи и взгляды. Если бы дело дошло до свалки, он проложил бы себе дорогу среди этого сборища. Он знал это. Но громадная волна язычников с бешенством раздразненного зверя обрушилась бы тогда на недругов старых богов и разнесла бы их в прах.

Уполномоченный христианского императора не мог взять на себя ответственность за бесцельную резню, так как его первой обязанностью было охранять последователей истинного Бога.

Винфрид Фабриций принял это во внимание и, повернув к Палатину, подъехал к префектуре, соскочил с коня и отдал его одному из солдат, стоявших на карауле перед дворцом.

— Воевода Италии просит об аудиенции,— сказал он глашатаю в передней.— Мое дело не терпит замедления.

Невольник, несмотря на такое заявление, не спешил с докладом. Не трогаясь с места, он сказал небрежно:

— Пресветлый префект разбирает теперь спор между городами Равенной и Сиина. Не знаю, может ли он сегодня принять твою знаменитость.

— Делай, что тебе говорят! — повелительно произнес воевода.

Глашатай пожал плечами.

— Мне нельзя прерывать суд пресветлого префекта,— ответил он.

И, прислонившись к стене, он закинул ногу на ногу.

Воевода побледнел.

Этот негодяй с бесстыдным лицом холопа относился к нему с видимым неуважением. И он несомненно был также идолопоклонник и ненавидел представителя христианского правительства.

Винфрид Фабриций видел вокруг себя многозначительные улыбки. Над ним издевались ликторы и рабы префекта.

Гогда он схватил глашатая за ворот и крикнул, проталкивая его в залу:

— Делай, что тебе приказывают, презренный червь!

С уст челяди мгновенно исчезли иронические улыбки. Ликторы и невольники выстроились, как солдаты перед начальником.

Из залы доносился громкий голос префекта. Он делал кому-то выговор.

Глашатай тотчас же возвратился и, бросив исподлобья на воеводу взгляд побитой собаки, приподнял перед ним занавеску.

Никомах Флавиан действительно разбирал спор между двумя соседними городами, но дело было уже окончено.

Когда воевода показался в зале, декурионы Равенны и Сиины выходили из нее.

Префект восседал на священном кресле, окруженный, как всегда, чиновниками. Увидев Фабриция, он сказал:

— Твоя знаменитость приказывает докладывать о себе особенным способом.

— Потому что особенным способом слуги твоей пресветлости встречают послов императора,— отвечал воевода.

— Глашатай будет наказан за дерзость,— сказал Флавиан,— а все-таки ты, воевода, не забывай, что тот оскорбляет божественного и вечного императора, кто нетерпеливо врывается к его непосредственному заместителю. Твоя горячность объясняется только молодостью.

Он поправил полы тоги, оперся правой рукой о подлокотник кресла и добавил официальным тоном:

— Глашатай доложил мне, что твое дело не терпит замедления.

— Мое дело касается только префекта претории,— ответил Фабриций.

Флавиан понял, что христианин не хочет говорить при свидетелях, и приказал писарям и ликторам удалиться. Воевода приблизился к нему и сказал:

— Слуга цезаря пришел к слуге цезаря.

Последние два слова он подчеркнул многозначительным взглядом.

Несколько времени оба сановника пристально смотрели друг на друга.

Холодный взгляд префекта без тревоги воспринял угрозу в пламенных очах воеводы.

— Я просил преславного Юлия Страбона,— сказал Фабриций после продолжительного молчания,— чтобы он отговорил твою пресветлость от погребения несчастных, которые пали жертвой уличных беспорядков. Я полагал, что слуга цезаря поймет резоны моей просьбы.

И снова он подчеркнул выражение «слуга цезаря» красноречивым взглядом.

На щеках Флавиана выступил легкий румянец. Фабриций второй раз уже напоминает ему его обязанности, а он не мог заставить молчать этого молокососа: он чувствует себя виновным перед представителем христианского правительства.

Устраивая вместе с Симмахом языческую демонстрацию, он действительно тяжко провинился как цезарский префект. Он терпеливо слушал, что будет дальше.

А Фабриций не щадил его римских чувств. Возвысив голос, он продолжал:

— Слуга цезаря должен был понять, что, не желая этого погребения, я отгадал волю божественного и вечного императора. Умышленно раздражая страсти толпы, вы тем отдаляете выполнение эдикта, которого не поколеблет никакая сила на земле. Вы своим неразумным сопротивлением принуждаете меня к принятию чрезвычайных мер.

Он вынул из-за пурпурного пояса пергамент и подал его префекту.

— Это собственноручное письмо нашего государя Валентиниана объяснит твоей пресветлости, что я прибыл в Рим с обширными полномочиями. В случае надобности они предоставляют в мое распоряжение всех сановников Италии.

Но Флавиан отклонил рукой документ, который принижал его власть.

— Правду твоих слов подтверждает твое поведение, юноша,— отвечал он холодным голосом.— Если бы я не верил твоим словам, то не слушал бы их так терпеливо.

Голова его поникла, он искал выхода из западни, в которой очутился так неожиданно. Ему нельзя было ни

увлечься, ни позабыть ни на минуту, что он говорит с врагом старых богов; он знал, что какое-нибудь его неосторожное слово с первым же курьером пойдет в Виенну и будет с восторгом встречено зарящимися на его должность. А он теперь был так необходим в Риме.

Всякого другого сановника он просто не стал бы слушать, но с Фабрицием дело было иное. Положим, на служебной лестнице он стоит несколькими ступенями выше Фабриция, но в присутствии воеводы его величие теряет весь свой блеск. Гордый солдат, даже и не снабженный особыми полномочиями цезаря, и так не подлежал его власти.

Самодержавие цезарей, постоянно опасаясь восстаний наместников, отделило военную власть от гражданской, расстроив цельность правительственного механизма старого Рима. Воевода отвечал за свои действия перед главным вождем западной префектуры, и, пока Арбогаст не сдержит его шагов, его христианское рвение может расстроить все планы римских идолопоклонников.

Следовательно, нужно смягчить его, усыпить его чуткость.

— Мне известно, что и твоя вера,— начал Флавиан,— не запрещает почитать умерших. И вы торжественно хороните своих покойников, ставите над ними часовни, уважаете их могилы.

— Великий Феодосий не назначил бы тебя на такую высокую должность,— отвечал Фабриций,— если бы ты не умел вникать в чужие мысли. Ты отвечаешь мне, как будто не понимаешь меня, хотя так же хорошо, как и я, знаешь, что эти похороны не обычный религиозный обряд. Это явный бунт, это коварно придуманное пренебрежение к священным особам божественных и вечных императоров. Зачем ты стараешься сбить меня с пути долга? Я слышал повсюду, что Никомах Флавиан — человек честный.

И презрительная улыбка пробежала по лицу воеводы.

Префект заметил этот знак пренебрежения. Фабриций отгадал в его словах ловушку и презрительно отнесся к ней. Новый человек, сын варвара, был благороднее его, патриция...

И снова Флавиан наклонил голову, но на этот раз чтобы скрыть горячий румянец, который залил его лицо огнем стыда.

Его мучил этот разговор с христианином, его оскорблял этот равнодушный тон, однако он должен был сдер-

живать себя. Оттого, что сейчас решит начальник вооруженной силы Италии, зависит будущность Рима. Если бы он захотел воспрепятствовать погребению, то ускорил бы течение событий. Разъяренная толпа без сомнения бросилась бы на войско, и тогда Феодосий несомненно прислал бы своих готов и растоптал бы сторонников старого порядка, прежде чем они успели бы приготовиться к обороне.

Флавиан быстро оценил положение вещей. Он любил правду, но больше правды любил будущность Рима, и ради своей возлюбленной мысли он переносил терпеливо оскорбления христианина и искал выхода.

Необходимо было ограничить рвение этого усердного слуги цезаря...

— Твоя молодость видит бурю там, где светит солнце погожего дня,— сказал префект.— В Риме все похороны бывают торжественны, в чем ты убедишься сам, когда побудешь дольше с нами.

— На обычные похороны не стекается вся Италия,— отвечал Фабриций.

— Италия всегда спешит в столицу, когда ожидает увидеть необычное зрелище.

— Все многочисленные сборища вызывают беспорядки, конца которых нельзя предвидеть.

— В твоей власти предупредить эти беспорядки.

— Ты не имеешь права требовать от меня, чтобы я служил делу богов, которых я не признаю.

— Но я имею право требовать от тебя, слуги цезаря, чтобы ты оберегал покой божественного и вечного императора.

Воевода с удивлением посмотрел на префекта. Он, префект, напоминает ему обязанности слуги цезаря, он, предводитель мятежников, противящихся воле императора.

Фабриций почуял новую ловушку в словах префекта и молчал.

А префект продолжал:

— Враждебный вид войска несомненно возбудил бы страсти толпы, которая, как ты сам убедился, нахлынула в Рим и все прибывала, что незначительный гарнизон города потерпел бы несомненное поражение в уличном бою, за что наш божественный государь не поблагодарил бы тебя. Для спокойствия правительства нужно из-

бегать всякого столкновения войска с народом, потому что результаты таких столкновений бывают не одинаковы. Не один уже трон превратился в прах, низринутый яростью черни.

Воевода понял, куда метит префект. Он хотел напугать его ответственностью за неосторожный поступок, несчастный исход которого мог ослабить значение христианского правительства. Винфрид сам знал очень хорошо, что римский гарнизон численностью в три тысячи мечей, не выдержал бы натиска толпы, которая залила сегодня город, особенно если эта толпа принесла с собой оружие и ненависть к последователям Христа.

Но зачем префект обращает его внимание на затруднительность положения? Всякий другой, только не он, имел право делать напоминания и предостережения. Это затруднительное положение было делом его же рук.

— Забота о спокойствии божественного и вечного государя и привела меня к тебе, пресветлый префект,— надменно отвечал Фабриций.— Я ожидал у тебя, слуги цезаря, найти помощь, а нашел предательство, прикрытое змеиной хитростью. Если бы ты заботился о спокойствии нашего государя, то тотчас же приказал бы пришельцам оставить город, запретил бы торжественно погребать тех безумцев, которые понесли только заслуженную кару за ненависть к истинному Богу. Но ты этого не делаешь... Напрасно ты стараешься обмануть мою бдительность своим коварным словом...

Флавиан повернулся в кресле. Дерзость христианина начала переполнять меру его терпения. Этот молокосос все время осуждает и разбирает его поступки.

— Если мои похороны, которых ты так неосновательно опасаешься,— отвечал префект,— поставит Виеннский двор в затруднительное положение, то отвечать за это несчастье будешь ты. Что же касается меня, то я сделал все, чтобы не возникли последствия, неблагоприятные для правительства. Городская стража закроет центральные улицы города и не допустит в процессию нарушителей спокойствия. Достаточно обезвредить враждующие стороны, чтобы предупредить беспорядки. Пусть и твои солдаты поудержат пыл твоих единомышленников, и завтра ты возьмешь назад свои недоверчивые слова, которыми ты оскорбляешь меня сегодня. Прибывшие из провинций, отдав честь умершим, спокойно разойдутся по домам, унося с собой впечатление самого обыкновенного зрелища.

Воевода долго смотрел на префекта, пронизывая его пытливым взглядом. Он понял, что в случае беспорядков язычники свалят на христиан ответственность за пролитую кровь.

— Ваша хитрость победила меня на этот раз,— сказал Фабриций,— но я надеюсь, что это больше уже не повторится. Вы тщетно противитесь свету истинной веры. Боги ваши должны пасть, потому что так решено там, где никакие предначертания не отменяются никогда.

Он показал рукой на небо, просвечивающее через отверстие в крыше, и выбежал из залы. Флавиан, согбенный, измученный, как бы отдыхающий от чрезмерной работы, посидел еще несколько минут в сенаторском кресле, потом с трудом поднялся и вздохнул всей грудью.

Ложь тяготила его римскую душу.

— Самонадеянно говорит твоя вера, галилеянин,— промолвил он вполголоса, сходя по ступеням трона,— но и наши боги не забыли еще, что они властвовали над миром в течение ряда веков. Юпитер Капитолийский до сих пор держит еще в руке громы и молнию...

. . . . . .

Воевода так стремительно вышел из префектуры, что солдаты не успели отдать ему обычные военные почести. Прежде чем они хватились, он вскочил уже на лошадь и погнал ее галопом вдоль цезарских дворцов на другой конец Палатинского холма. Там, в бывшем доме императора Августа, напротив храма Аполлона, находилась главная квартира вождя Италии. Префект бросил ему укор в самонадеянности, а он всеми силами воли подавлял в себе гнев и старался вернуться к покою, которого в нем не было.

Недавний римлянин, сын аллемана и испанки, едва тронутый цивилизацией, воевода свирепел, как осенняя буря, когда давал волю своему темпераменту.

Если бы хотел он быть несдержанным, то задрожал бы перед ним этот холодный, коварный сенатор, притворяющийся заботливым слугой императора. Он обратился к префекту в надежде отклонить его от устройства похорон, а хитрый язычник сделал его послушным орудием идолопоклонников. Иного выхода не было. Не желая подвергать войска императора испытанию в битве с чернью, он должен охранять врагов истинного Бога от справедливого гнева христиан. В больших городах немного нужно для того, чтобы раздуть пламя ненависти... Достаточно нескольких бранных слов, горсти брошен-

ных камней, какого-нибудь неосторожного восклицания... А христианское правительство не должно терять доверие в глазах толпы, если оно хочет осуществить свои намерения. Воевода все это взвесил. Он знал, что на этот раз должен уступить хитрости язычников, но это сознание бессилия унижало его солдатскую честь...

Чтобы укротить свой гнев, он ударил ногами коня по бокам. Испуганное животное встало на дыбы, вскидывая задними ногами. Покрытый пеной и пылью, храпя и фыркая, великолепный испанский жеребец остановился перед домом Августа. Четверо пеших солдат с начальными буквами имени Иисуса Христа на шлемах стояли на страже перед портиком, на котором развевался штандарт с портретами Феодосия и Валентиниана.

— Выводить коня и вытереть его хорошенько,— сказал воевода привратнику.

В передней его окружили несколько невольников. Один снял с него плащ, другой отстегнул меч, третий развязал пурпурный пояс, четвертый взял шлем.

Воевода пробежал несколько комнат и остановился в зале, которая некогда была столовой Августа. Здесь было несколько столов, и за всеми сидели воины.

— Знаменосец Лициний! — позвал воевода.

— Что прикажешь, воевода? — послышался голос из угла.

— Сейчас послать приказ в лагерь!

Знаменосец подошел с восковой дощечкой в руках.

— Тотчас же после захода солнца,— диктовал воевода,— пусть когорты замкнут все центральные улицы и не допустят туда христиан. Если какой нарушитель порядка захотел бы прорваться сквозь цепь, связать его и держать до тех пор, пока не окончатся похороны. Оружие употреблять только в крайнем случае. Конные когорты расставить на рынках и площадях перед храмами. Первая когорта будет вместе со мной сопутствовать процессии. Если кто из солдат даст повод к уличной битве, тот лишится права на цезарскую награду, назначенную для ветеранов.

Подписав приказ, воевода удалился в свой кабинет. Как в приемной зале, так и здесь рука христиан изгладила следы языческого прошлого. На одной из стен чернел на белом фоне большой крест, окруженный рыбами и якорями.

Воевода сел к столу и взял большую книгу. Это был список легионов, расположенных в Италии.

По мере того, как он читал, его лицо покрывалось тенью печали. Уже в третий раз он пересматривал списки трибунов и сотников, отыскивая среди них своих единоверцев. Но напрасно он переворачивал листы. Около всех фамилий стояла отметка, означающая «исповедующий народную веру». Только трое знаменосцев и один сотник принадлежали к церкви Христовой.

Воевода изумился такой неосторожности императора. Нужно было римские легионы послать на западные или восточные границы государства, а Италию отдать под надзор аллеманам; хотя они тоже язычники, но в случае надобности не пощадят сторонников старого порядка, потому что служат только за деньги и готовы бить того, кого им прикажут.

Когда он размышлял об этом, в комнату вошел тот самый солдат, которому он в воскресенье после обедни поручил отыскать расторопного человека.

Это был старик среднего роста, крепкий, приземистый, с толстой шеей. Долгие годы покрыли сединой его волосы и бороду, но не согнали здорового румянца с его загорелого лица.

— Это ты, Теодорих? — спросил воевода более ласковым, чем всегда, голосом.— Ты хочешь со мной говорить?

Он ласково смотрел на старика. Видимо, этот простой легионер был близок его сердцу.

— С самого утра я вижу заботу на челе моего орла,— сказал Теодорих, свободно подходя к столу.— Старый слуга прежде знал, когда его господину было больно. Может быть, какой-нибудь язычник оскорбил твою знаменитость, может, нужно, чтобы Теодорих попробовал еще, сумеет ли он разбить кулаком голову нахала. Говори, господин!

— Сколько раз я уже просил тебя, чтобы ты принял святое крещение. Тебе, как я вижу, нужна милость нашего Господа Иисуса Христа, чтобы ты окончательно забыл о языческом прошлом. Обещай мне, старик, что ты окрестишься в эту зиму.

Теодорих молча почесал в голове.

— Зачем ты упорствуешь? — настаивал воевода.— Внушали же тебе наши священники, что святая вода смывает с души человека его прежние грехи и гасит в его сердце языческие наклонности и страсти.

— Мне еще будет время принять крещение,— отвечал солдат,— когда смерть схватит меня за горло. Омытый от грехов перед самой кончиной, чистый и невинный, предстану я перед милосердным Агнцем и посягну без страха на небесный венец. Если бы я окрестился сейчас, то мог бы много нагрешить и пришел бы в царство Доброго Пастыря грязный, как баран, который валялся в луже.

— Зачем же тебе грешить?

— А как будто человек может воздержаться от греха? Придется кому-нибудь переломать ребра, разбить голову, выпустить кишки... Никому не известно, что может встретиться благочестивому христианину. И вино веселит иногда сердце человека и согревает его кости, а наши священники кричат на все: грех, грех! Пусть грех будет грехом, когда его смоет святая вода.

Воевода слушал с улыбкой на губах. Не один только Теодорих думал так. Большая часть христиан четвертого столетия откладывала крещение до последней минуты, чтобы предстать на суд Божий незапятнанными. Даже императоры совершали этот обряд на смертном одре.

— Делай, как хочешь,— ответил воевода,— но только не посещай языческих храмов, ибо они приют злых демонов. Эти коварные духи могут околдовать тебя, и тогда ты вместе со мной не войдешь в Царство Небесное.

Теодорих перекрестился.

— Я проложил бы себе дорогу кулаками,— сказал он.— Что мне делать на том свете без моего сокола.

— А если бы тебе не помогли твои кулаки? — спросил, смеясь, воевода.

— Тогда бы перед вратами Небесного Царства я рыдал и умолял до тех пор, пока Добрый Пастырь не сжалился бы надо мной. Он добрый, милосердный, Он не может смотреть на слезы несчастных.

Воевода ласково посмотрел на солдата. Мог ли он сердиться на старого слугу, привязанность которого он испытал не раз?

Теодорих, свободный аллеман, некогда товарищ его отца, носил его на руках, учил ездить верхом, бросать копье, владеть оружием. И в мирное и в военное время он оберегал его с преданностью и верностью пса. Он бросил внуков, детей и землю и пошел за ним в Рим.

— И я бы умолял Доброго Пастыря до тех пор, пока Он не отворил бы перед тобой врата Царства Небесного,— отвечал воевода мягким голосом, гладя по голове

старика, который припал к его коленям.— Только не заводи ты в Риме напрасных ссор. Для твоих кулаков еще найдется довольно работы. Но сперва отыщи мне такого человека, о котором я тебе говорил.

— Эта лисица как раз ждет твоих приказаний,— сказал Теодорих.— Кажется, у него хороший нюх, ибо боги отметили на его лице хитрость и вероломство.

— Бог, мой старик! — поправил воевода.

— Разве наш Добрый Пастырь мог бы сотворить такого негодяя, который за деньги хочет продать своего господина? Такие родятся только от семени языческих демонов.

— Мне нужен человек, который знал бы все, что делается у язычников.

— Эта лисица служит у префекта претории и называется Симонид. Его породила греческая земля и греческая подлость. Если мой сокол хорошо ему заплатит, то будет знать все, что ему нужно.

Теодорих вышел и скоро вернулся с переводчиком префекта.

Симонид действительно производил впечатление лисицы. На ходу он сгибал колени, ступал тихо, осторожно, как бы подкрадываясь к намеченной жертве. Его маленькие косые глаза бросали исподлобья быстрые, боязливые взгляды, на бороде торчали редкие волосы.

Лицо воеводы, такое мягкое во время разговора с Теодорихом, теперь приняло суровое выражение.

— Ты знаешь, что мне от тебя нужно?

— Твоя святая христианская ревность хочет знать все, что делается у язычников.

— Можешь ли ты доставлять мне необходимые сведения?

Симонид колебался минуту, прежде чем ответить. Наконец он сказал с хитрой улыбкой:

— Если бы я жил во дворце императора Августа, как и ты, пресветлейший господин, то и в таком случае не рискнул бы навлечь на себя гнев Никомаха Флавиана. Это человек могучий и суровый.

Воевода догадался, в чем дело, и достал из туники кошелек, полный золота. Маленькие глазки Симонида блеснули, как у хищного зверя, когда он приближается к корму. Он весь сгорбился и, облизываясь, протянул руку, но воевода в это время спрятал кошелек.

— Без дела не будет тебе и награды,— сказал он.— Сперва известия, потом деньги.

— Всякое дело требует издержек,— заметил Симонид.

— Я хочу сперва убедиться, будет ли мне польза от твоей ловкости.

— Приказывай, господин.

— Если ты сообщишь мне, какие сенаторы собираются у префекта и о чем они там совещаются, то кошелек перейдет в твои руки.

— Этот кошелек уже принадлежит мне,— ответил Симонид.

— Я жду сведений, но помни, что я буду проверять их, и если ты будешь лгать, то с тобой расправится Теодорих.

Старый аллеман проворчал что-то под нос, и от этого ворчания дрожь пробежала по телу грека. Так медведь выражает свое недовольство, когда его преследуют собаки. Симонид скорчился, согнулся и стал пятиться к стене.

— Будет, как ты приказал, господин,— произнес он дрожащим голосом.

— Ты можешь заработать еще другой кошелек с солидами,— сказал воевода.

Грек насторожил уши.

— Ты сообщишь мне в точности, как распределяется день в атриуме Весты. Я хочу знать, в какое время весталки совершают свою службу, кто из них стережет священный огонь днем и кто ночью, как и когда они сменяются.

Симонид слушал с удивлением. Его глаза горели любопытством, лоб наморщился. Было видно, что он старается разгадать цель этого поручения. Могли ли весталки интересовать христианина?.. А если...

И он незаметно улыбнулся.

— Ворота атриума Весты не отворяются для таких бедняков, как я,— отвечал он, внимательно всматриваясь исподлобья в лицо воеводы.— Если бы твоя пресветлость захотела указать ту из весталок, которая тебе нужна...

Воевода понял намерение грека и резко прервал его:

— Уж это твое дело проникать всюду, куда тебе прикажут, если только ты хочешь заработать другой кошелек. А теперь можешь идти. Старайся заслужить мое расположение.

Симонид сделал поклон и, пятясь задом, вышел из кабинета.

— Прикажи мне подать обед,— сказал воевода, когда остался вдвоем с Теодорихом.

Его обед занимал немного времени. Как все люди живого характера, он ел скоро, не наслаждаясь кушаньями. Привыкший к неудобствам и непостоянствам лагерной жизни, он не обращал внимания на качество пищи, которая для него являлась только средством утоления голода. Довольно часто, когда его занимали важные дела, он даже не знал, что ему и подавала прислуга.

И сегодня он также спешил с обедом. Это сборище язычников отравило первые дни его пребывания в Риме. В самом начале своей деятельности он встретился с препятствием, на которое не рассчитывал.

Свидетель торжества христианства, он не отличался уже уступчивостью первых последователей Христа, которые искали в новой вере утешения и забвения. Для него учение Христа не было единственным бальзамом для душевных и общественных ран. Потомок свободного рода, сын сановника из свиты цезаря, внук и правнук начальников аллеманского племени, он не испытывал на себе тяжести учреждений старого света, столь ужасных для слабых и убогих; новая же цивилизация еще не успела отравить его сердце скептицизмом.

Он внес в христианство первобытную духовную и физическую силу варварских народов, не имеющую ничего общего с положением обездоленных и отчаявшихся во всем членов греко-римского общества, которые без протеста переносили гонение от людей существующего порядка. Присоединившись к учению Христа со всей горячностью и упованием девственной натуры, он жаждал служить Богу, которого горячо полюбил, служил деятельно, не обращая внимания на средства и пути. Бог, избранный им, должен повелевать всем миром, а кто противится поставленному Им правительству, тот его личный враг.

Кровь матери-испанки добавила к его живой, искренней вере примесь фанатизма, который усилил в нем ненависть к защитникам римской религии. Он чувствовал и понимал, что, пока традиции прошлого беспрепятственно будут блуждать по улицам древней столицы государства, до тех пор христианство не сломит вампира язычников. И вдруг, точно на смех, именно ему и пришлось оберегать спокойствие процессии, устроенной римскими

патриотами с целью возбуждения страстей в народе. К этому принуждало его положение: он был не только христианином, но и верным слугой императора. Преждевременная горячность могла бы вызвать отчаянное восстание, которое Виеннскому двору, занятому войной с франками, причинило бы много неприятностей.

За обедом воевода еще раз мысленно оценил положение в Риме и оправдывался перед собой, перед своим христианским усердием необходимостью поступать осторожно. Он искал иного выхода, но его не было.

Он тихо выругался, когда Теодорих доложил ему, что первая когорта ждет его приказаний. Привесив меч, он надел на тунику кольчугу, на голову золоченый шлем с монограммой Христа, набросил на плечи шелковый греческий плащ и вышел на двор. Его приветствовал стук оружия, но он не ответил на приветствие, молча сел на коня и посмотрел на небо. Может, сам Бог воспрепятствует этому позорному зрелищу, может, Он пошлет сильный дождь и охладит греховный пыл идолопоклонников.

Но темной синевы вечернего неба не омрачало ни малейшее облачко. Даже запад был чист от серой мглы.

Над городом царила тишина погожей ночи. Ничто не предвещало быстрой перемены погоды.

Воевода нетерпеливой рукой рванул коня и направил его в сторону Триумфальной улицы. Солдаты двинулись за ним в порядке — четырьмя шеренгами.

Бедняки, погибшие во время уличных беспорядков, в самых дерзновенных снах не мечтали о тех почестях, которые должны были быть отданы им после смерти. Сам консул занес в книги храма Венеры Либитинской[9] их никому не известные имена; бальзамировали их известные врачи; в дорогие платья убрали городские невольники; знаменитые скульпторы сняли с их лиц посмертные маски. Убогих ремесленников положили на ложе из слоновой кости, покрытое восточными коврами, и выставили на публичное поклонение в амфитеатре Флавиев. Молодежь самых лучших фамилий стояла в течение семи дней в почетном карауле у их останков, богатейшие и знаменитейшие римские люди приходили оказать им почет и возлагали гражданские венки.

Город, столь шумный в течение дня, после захода солнца успокоился, как будто волна пришельцев снова

[9] В Риме списки умерших вел служитель храма Венеры Либитинской.

отхлынула и разлилась по стране, утопая в пространстве.

Воеводу заинтересовала эта тишина. Неужели язычники раздумали в последнюю минуту? Может быть, Флавиан принял в соображение его основательные упреки и помешал осуществлению опасной демонстрации...

Но едва только он съехал с Палатинского холма, как убедился, что обольщался напрасно. По обеим сторонам Триумфальной улицы, вдоль тротуаров, чернели тесно сплоченные массы людей, рельефно выделяющиеся на светлом фоне домов, посеребренных блеском месяца.

Толпа стояла так тесно и неподвижно, голова к голове, плечо к плечу, и составляла такую однородную массу, что казалась какой-то длинной стеной.

Воевода посмотрел вперед, по направлению к арке Константина, и назад, в сторону Большого цирка: везде непрерывная цепь, опоясывающая дома и плотно замыкающая боковые улицы.

Он гордо поднял голову и медленно продвигался мимо живых шпалер, бросая из-под шлема направо и налево гневные взгляды.

Перед амфитеатром Флавиев его ждал начальник римского гарнизона.

— Все ли в порядке? — спросил воевода.

— Как ты приказал,— ответил начальник.— Середину города оцепили наши люди вместе с городской стражей, а улицы, по которым пойдет процессия, охраняют поклонники народных богов.

— Идолопоклонники,— поправил воевода.

Начальник гарнизона молчал. Он был римлянин.

— Долго ли мы будем ждать?— спросил воевода.

— Процессия двинется скоро.

— Ты останешься при мне.

— Как прикажешь, воевода.

Площадь перед амфитеатром заполнила необъятная толпа, но теперь эта необыкновенно подвижная, шумящая толпа держалась так спокойно, как будто она застыла. Даже отдельные, отрывистые крики не нарушали глубокой тишины, от которой веяло гнетущей тоской. Какая-то невидимая, гигантская рука опустилась на тысячи голов и давила их своей тяжестью.

Римский народ чувствовал, что в данную минуту в древней столице государства происходит что-то важное, из чего возникнет ряд событий, чреватых бурями.

Во всяком случае, предавая торжественному погребению своих единоверцев, он навлекал на себя гнев Фе-

одосия. Грозный император подписал уже смертный приговор традициям прошлого, а он, привыкший повелевать всем светом, воспротивился его воле.

Знаменитый амфитеатр Флавиев напоминал язычникам их прежний блеск. Все племена доставляли для этого здания гладиаторов и зверей, чтобы римский народ мог забавляться.

Тут, в цезарской ложе, сидели цари и князья, господствовавшие за морями и горами, и чувствовали себя польщенными рукоплесканиями черни Вечного Рима. Тут наряду с отцеубийцами и святотатцами погибали первые пресвитеры галилеян.

Цари и князья вот уже несколько десятков лет направлялись в Константинополь, галилеяне восседали на троне цезарей, а он, римский народ, законный наследник властелинов мира, боится гнева императора за то, что не хочет отречься от веры предков. Что еще недавно считалось обязанностью, заслугой, теперь стало грехом, преступлением. Что в течение тысячи лет сияло перед ним как наивысшая истина, должно погаснуть, как догорающий факел.

Осознание этого и было той самой тяжелой рукой, которая повисла над собравшейся толпой, отнимая у нее речь и парализуя свойственную южным жителям живость движений. Язычники видели перед собой угрозу нового времени, слышали голос Предопределения, которого не могли избежать даже боги. Не властелины мира, гордые и уверенные в завтрашнем дне, прибыли отдать последний долг своим героям, а остатки великой расы, хранители прошлого, хотели напомнить настоящему, что они еще существуют.

И тихо было вокруг, как будто похоронный обряд должен был исполниться над всем римским народом.

Над всеми склонившимися головами довлела печаль и заставляла забывать и зависть, и невзгоды, и мелочные дела дня и самого убогого рабочего поднимала до уровня гражданина и патриота.

Эту томящую, глухую тишину вдруг нарушили звуки труб. Теперь толпа всколыхнулась, и из глубины сплоченной массы донесся протяжный шум, словно из исполинской груди.

— Развернуться в цепь! — скомандовал громким голосом воевода.

Шеренги конных воинов вытянулись и образовали длинный ряд.

— Поднять мечи! — раздалась вторая команда.

В то же самое время над собравшейся толпой взметнулась тысяча огней, и огненное кольцо окружило площадь амфитеатра. Крыши домов, дворцов, храмов пылали в огне; арка Константина горела, как факел.

Из цирка Флавиев тихо выходила похоронная процессия.

Впереди шли десять трубачей, а за ними тянулись плакальщицы. Сто женщин с распущенными волосами, в порванных, грязных платьях, с лицами, испачканными грязью, шли по три в ряд. Трубы наигрывали монотонную песнь, а плакальщицы тихо рыдали.

За плакальщицами показался отряд греческих воинов. Предводительствовал ими высокий, статный юноша, стоя на золотой колеснице.

Гистрион, одетый Ахиллесом, ударил мечом в медный щит. По этому знаку трубы притихли и плакальщицы замолчали. Тогда раздался громкий голос трагика:

Быстрые конники, верные други мои, мирмидонцы!
Мы от ярма отрешать не станем коней звуконогих;
Мы на конях, в колесницах, приблизимся все и оплачем
Друга Патрокла; почтим подобающей мертвого честью.
Но когда мы сердца́ удовольствуем горестным плачем,
Здесь, отрешивши коней, вечерять, неразлучные, будем.

Он остановился... Снова затрубили трубы, снова зарыдали плакальщицы. Одна из них простерла руки к нему и воскликнула:

— Горе нам, горе!

— Горе нам, горе! — подхватил хор женщин, рыдая все громче, все с бо́льшим отчаянием.

Эта жалоба пробила стену солдат, разлилась кругом, а где она коснулась сердца римлянина, там вызвала болезненный стон. Казалось, что несметный пчелиный рой пролетел над народом. Шум, сперва смутный, глухой, как отдаленный говор смешанных голосов, рос, ширился, и вдруг к небу поднялись тысячи рук и из тысячи грудей вырвался один громкий слезный вопль:

— Горе нам, горе!

В этом взрыве всеобщего горя было что-то настолько потрясающее, что воевода склонил голову перед его величием.

Шум постепенно уменьшался, утихая и уходя куда-то вдаль, а когда все смолкло, голос актера раздался вновь:

Рек, и рыдание начал; и все зарыдали дружины.
Трижды вкруг тела они долгогривых коней обогнали
с воплем плачевным...

Следующие слова гомеровских стихов заглушил стук колесниц, которые стали появляться из главных ворот амфитеатра. Они следовали одна за другой, управляемые знаменитыми цирковыми возницами, и на каждой из них находилось какое-нибудь историческое лицо, верно воспроизведенное актерами с сохранением мельчайших подробностей.

Показались Ромул и Рем, основатели Рима, с волчицей у своих ног, богобоязненный Нума Помпилий, величественный Тарквиний, непреклонный Брут, гениальный Юлий Цезарь, мудрый Август, Тит и Траян, Антонин и Марк Аврелий и длинный ряд мужей, которых потомство почтило благодарной памятью.

Сто пятьдесят колесниц — вся история Рима, воплощенная в его знаменитейших вождях, жрецах, писателях, ораторах и гражданах, проследовала перед изумленными глазами воеводы. Ожили изваяния, украшавшие храмы, курии, рынки, площади и библиотеки, спустились в народ великие тени прошлого.

У бедняков, которых хоронили теперь, предков не было, поэтому их останки сопровождали отцы народа.

Когда эта молчаливая процессия, озаренная огнем и дымом факелов, словно полчище духов, прошла мимо, показались носилки из слоновой кости, украшенные венками. Их несли сыновья всадников, а сопровождали сенаторы. За носилками шли консул и префект претории. Кай Юлий Страбон, Констанций Галерий, преторы и другие сановники. Они шли с открытыми головами, посыпанными пеплом, без перстней, цепей и наплечников, в черных, траурных тогах, спускающихся до земли.

Воеводa судорожно сжал рукоять меча. Его раздражала дерзость этих бунтовщиков, которые явно издевались над императором.

Для него, нового римлянина, который с благодарностью принимал всякую милость цезарского двора, «божественный и вечный государь» действительно являлся наместником Бога на земле.

Вдруг он почувствовал, что кровь хлынула ему в голову, а сердце забилось так тревожно, как будто хотело вырваться. На фоне черных тог появилось светлое пятно. За последними носилками шли четыре весталки, окруженные женами и дочерями сановников. Одна из них превышала остальных на целую голову. Воевода узнал ее сразу по высокой фигуре, пластичности движений. Это она, это Фауста Авзония.

Он наклонился и окинул весталку огненным взглядом. Может быть, она почувствует на себе силу его взгляда и обернется в его сторону. Но Фауста Авзония шла все так же, потупившись в землю.

Тогда он громко скомандовал, внимательно глядя на весталку:

— Остановить дальнейший ход процессии!

Почудилось ему, что ли? Фауста вздрогнула. Так ему показалось по крайней мере.

Направив коня поперек процессии, он двинулся за толпой женщин. Следом за ним ехали солдаты.

И, как поток, задержанный преградой, тотчас же устремляется в образовавшееся отверстие, так за процессией хлынул народ.

Оберегаемая с обеих сторон гражданской стражей, процессия три раза обошла амфитеатр Флавиев и по Священной улице направилась к главному рынку. По дороге ее везде встречали запертые лавки и дома, украшенные кипарисовыми ветвями. Статуя богини города перед храмом Рима и Венеры была занавешена черным покрывалом.

Стены, окружающие атриум Весты, увешенные неисчислимым количеством ламп, светились, точно огненные ленты.

Голова процессии остановилась на площади, перед высокой кафедрой, а хвост, тянувшийся сзади, рос с каждой минутой.

Воевода внимательно наблюдал за этим хвостом черного змея, тем более что до его слуха доносилось тихое бряцание оружия. Но толпа двигалась спокойно, в порядке, как дисциплинированное войско, послушная распоряжениям городской стражи.

Рынок мало-помалу наполнялся. Музыканты, греческие гистрионы и плакальщицы встали по левую сторону кафедры, сенаторы и весталки — по правую.

Носилки были поставлены у подножия знаменитой Ростры; за ними двумя полукругами, в креслах из слоновой кости, заняли места предки римского народа. Дальше развертывалась цепь солдат, преграждая народу доступ к процессии.

Ликторы консула подняли кверху пучки розог, и один из них провозгласил:

— Пусть умолкнут ваши уста!

Когда настала такая тишина, что слышен был только треск пламени факелов, Аврелий Симмах вступил на кафедру. Месяц стоял как раз над самым рынком и осыпал серебристым светом белые дворцы и храмы. Симмах смотрел в небо, как бы молился, и только после долгого молчания начал:

— Римляне! С храмов и дворцов, которые окружают вас со всех сторон, на вас смотрит великое прошлое Священного Рима и напоминает вам, что вы больше всех народов любили честь и славу. С Капитолия смотрят на вас цари и консулы, с Палатина императоры, а с этой кафедры к вам обращались с речью знаменитейшие граждане римского народа.

Он осмотрелся кругом и продолжал:

— Не обладающие богатством и слабые числом, но сильные уважением к богам и гражданскими доблестями, вы вышли из низких деревянных хижин, чтобы повергнуть мир к своим ногам. Против вас вооружались могущественные города и страны, против вас соединялись целые племена, а потом и сильные государства; с гор и лесов низвергались толпы варваров, но вы преодолели все препятствия, ибо впереди вас шло уважение к богам и вело за собой чистоту нравов и любовь к славе. И весь мир обратился перед вами в прах и принял ваши законы...

Он указал рукой на Капитолий, который возносился за его плечами, блещущий в свете месяца, и продолжал:

— Цари и князья Азии и Африки и дебрей германских шли за колесницами ваших триумфаторов, закованные, как невольники. Вам приносили должный почет многие народы, и по всем морям неслись корабли с данью для господ мира. Вы были народом народов, избранники бессмертных богов.

Он замолчал вторично.

Толпа, стоявшая до того времени неподвижно, заколыхалась, затаив дыхание. Заколыхалась черная волна, и вокруг разлился грозный, сдержанный гул. Тут и там поднялись к небу глаза, переполненные печалью, и тихие вздохи поплыли кверху.

А Симмах продолжал:

— Но наступило время, когда людское тщеславие, избалованное успехом, захотело быть умнее бессмертных богов. Храмы опустели, домашние очаги погасли. Только немногие, те, которых мудрецы этой земли пре-

зрительно называли людьми темными, молились утром и вечером правителям мира и оберегали сердце от подлости, а руки от бесчестия. Старые обычаи и нравы, осмеянные хулителями и блудодеями, оказались в презрении. Место законов божественных заняли законы человеческие, потворствующие низменным страстям. Священный Рим, в течение многих веков очаг семейных и гражданских добродетелей, обратился в публичного развратителя и сластолюбца, все мысли и силы которого поглощены были утехами еды, вина и любви. И отступились от нас народные боги, презрели нас, как и мы презрели их. Не в Рим теперь спешат цари и князья, не из нашей крови происходят люди, повелевающие миром. Чужие пришельцы, рожденные слугами наших слуг, вчерашние варвары, нам, народу народов, навязывают свои законы и попирают наше прошлое. В вечном городе Юпитера и Марса, в столице Ромула, Нумы, Цезаря и Марка Аврелия, в городе, где каждый камень искуплен римской кровью, галилеяне воздвигают храмы своим суевериям и поносят наших богов. Со всех сторон нас окружает страшное кольцо непримиримых врагов и делается все грознее, все теснее. Разве не слышите вы победных криков готов, франков, вандалов? Они уже идут. Страшная волна готова поглотить наших жен, детей и достояние.

Он сгреб с кафедры мусор, посыпал себе волосы и бороду, разорвал на груди тунику и, обернувшись лицом к святыне Капитолийской, воскликнул:

— О Юпитер, Юпитер, отец богов, дозволь твоему народу умилостивить тебя!

Полоса лунного света, смешавшись с дымом факелов, которые ликторы держали над ним, окружила его ореолом.

А глухой шум переливался с одной стороны рынка на другую. Отраженный колоннами портиков и стенами храмов, он достиг середины, заклокотал и понесся кверху с ропотом вспененного моря.

— О Юпитер, Юпитер! — взывал римский народ.

Мужчины раздирали на себе платье, женщины распускали волосы, дети плакали, испуганные шумом.

Воевода смотрел изумленными глазами на это зрелище. Он понял, что достаточно одного неосторожного слова, чтобы из этого огромного горя, которое выливалось из стиснутых болью сердец язычников, сразу вспыхнуло пламя бунта.

Когда Симмах говорил о чуждых пришельцах и о храмах, воздвигаемых «суевериям Востока», христианин смотрел на него как на безумного. Этот вероломный сановник явно накликал на себя месть «божественного и вечного» государя... В голове нового римлянина, ослепленного блеском цезарского двора, не вмещалась такая дерзость. В его жилах не текла кровь старых легионеров и мятежников столицы, которые опрокидывали троны из-за самых маловажных поводов. Сын аллемана с благоговейным почтением относился к принятым на себя обязанностям и к законной власти. Он присягал Валентиниану и сдержит эту присягу.

Дерзость Симмаха более удивляла его, чем раздражала. Этот безумец, должно быть, не имеет ясного представления о могуществе императора, иначе не подвергал бы себя так легкомысленно его справедливому гневу.

На консула и на всех тех, кто простирает руки к Юпитеру, чтобы засвидетельствовать свою ненависть к истинному Богу, падает тяжелый меч «вечного государя», и от них не остается и следа. Напрасно они молят своих демонов. Эти демоны уже подчинились Христу.

Так верил воевода и поэтому терпеливо слушал мятежную речь Симмаха, составляя мысленно план войны, которую он скоро объявит язычеству. Он представит двору в Виенне положение Италии, попросит, чтобы латинские легионы были перемещены в дальние провинции и чтобы ему прислали аллеманов.

Его взгляд, переходя от кафедры, упал на Фаусту Авзонию. Она стояла с головой, откинутой назад, с взором, устремленным на Капитолийский храм.

Блеск факелов освещал ее бледное лицо, с которого было сброшено покрывало. В ее широко раскрытых глазах искрились с трудом удерживаемые слезы, а на полураскрытых губах застыла какая-то болезненная, немая мольба.

Облаченная в белое платье, сложенная как художественное произведение великого скульптора, она была подобна статуе Весты.

И она взывала к Юпитеру о помощи и умоляла всей душой смилостивиться над священным Римом. Она была язычница до самых скрытых тайников сердца, преданная каждым помыслом традициям прошлого.

Воевода это видел. Его христианскую ревность раздражало это языческое упорство, но какая-то сила, бо-

лее могущественная, чем его религиозная неприязнь, толкала его к Фаусте Авзонии. Ему казалось, что он знал ее давно, она была ему близка, так близка, что он удивлялся преградам, которые его отделяли от нее.

Тем временем снова с кафедры летели к толпе подстрекающие к бунту слова Симмаха.

Воевода внимательно слушал. В его глазах сверкало презрение. Речь консула производила на него теперь впечатление немощного крика больного человека, который потому так страстно молится, что не видит перед собой спасения. Не может быть, чтобы Симмах не знал положения в государстве. Нет, он знал так же хорошо, как и воевода, что остатки римлян уже сто лет избегали военной службы как невыносимой тяготы. Кто не обладал средствами, чтобы подкупить декуриона, тот убегал к варварам, чтобы только не служить под знаменами императора, те, кого ловила пограничная стража, действительно отбывали повинность гражданина, но без всякой радости. Италия поставляла худших солдат. Эти чуждые пришельцы, о которых консул говорил с таким пренебрежением, были единственной защитой римского имени.

Что Италия в сравнении с целым государством, что несчастные легионы в сравнении с наемными войсками императора? Если бы вся страна поднялась как один человек, если бы вооружились все язычники — несмотря на все это, этот гордый народ, который напрасно ослепляет себя блеском великого прошлого, не избежит предназначения судьбы.

Воевода взглянул на собравшуюся толпу. Сплоченная масса тысяч людей, погруженная в тень, падающую на рынок с трех сторон от колонн портиков, окутанная дымом факелов, молчаливая, сосредоточенная, производила впечатление чего-то в высшей степени печального.

Месяц, который в это время уже сошел с середины неба, бросал сбоку, из-за черных стен дворца Калигулы, сноп бледных лучей на лица, обращенные в сторону Капитолийского храма.

Когда воевода смотрел сквозь мглу, сотканную из дыма, ему казалось, что он видит сонмы духов, пред вратами иного света ожидающих помилования.

«Все вы погибнете, все»,— думал он.

Симмах продолжал:

— Пусть слова императора Юлиана, которого гали-

леяне называют Отступником за то, что он пренебрег их суевериями ради народных богов, руководят вами в жизни. Вы,— указал он на носилки,— которые жизнью оплатили любовь к святому прошлому Рима, свидетельствуйте за нас, когда Харон перевезет вас на другую сторону Черной реки. Скажите теням мужей, верно послуживших родине, что в городе Ромула бьются еще римские сердца, верные добродетелям, которые руководили ими в совете и в бою. Честь вам и благодарная память потомства! Пусть блеск славы озарит ваши неизвестные имена, чтобы они светились на страницах нашей истории подвигов, как звезды на полуночном небе. Прощайте, прощайте...

— Прощайте, прощайте!..— подхватили плакальщицы, а трубы вторили слезам женщин траурными звуками.

Один из ликторов Симмаха поднял свой пучок кверху. По этому знаку трубачи заиграли, и процессия двинулась в том же самом порядке по рынкам Юлия Цезаря и Траяна к Широкой улице.

И снова везде запертые лавки, мастерские, дома. Над каждой дверью горел факел. И там, где на главную улицу города выходил боковой переулок, блестели шлемы, оружие и мечи. Войско бодрствовало ради безопасности язычников. Это было напрасной предосторожностью — христиане, подавленные небывалым наплывом жителей провинции и грозным их видом, сами отстранились с дороги возбужденных гневом поклонников старых богов Рима.

Без малейшего препятствия процессия дошла до арки Клавдия и, повернув налево между храмами Марка Аврелия и Адриана, двинулась по главной аллее Марсова поля к Аврелийским воротам. Тут, на берегу Тибра, напротив мавзолея Адриана, возвышался огромный костер, сложенный в виде жертвенника. Его украшали ковры и венки.

Когда процессия приблизилась к этому жертвеннику, трубы замолкли, и плакальщицы прекратили рыдания. Трижды объехали его кругом колесницы с предками народа, три раза войско преклонило мечи перед останками язычников.

Среди глубокого молчания народа молодые всадники внесли носилки на помост и положили покойников лицами к востоку. Старшая из весталок окропила тела водой из источника Эгерии, а невольники Симмаха и Фла-

виана сыпали и лили на них мирро, алоэ, шафран, иерихонский бальзам и разные другие цветы и масла Аравии, Киликии и Индии, до тех пор, пока останки не исчезли под благовониями.

Даже знаменитое в истории Рима погребение Суллы не источало столько благоухания.

Симмах взошел по лестнице на вершину жертвенника и протянул руку в сторону Капитолия. Над собравшимся народом снова воцарилась такая тишина, что ясно слышен был глухой шум волн Тибра, бьющихся о своды Элийского моста.

— Юпитер, покровитель Священного Рима,— взывал консул,— взгляни благосклонным оком на верных твоих детей! За любовь, которая истекает из наших сердец к тебе, возврати нам прежнюю доблесть и силу, дабы твои громы и молнии во веки веков устрашали наших врагов. Услышь нас, отец богов, услышь, услышь!

— Услышь! — повторяли за консулом плакальщицы, раздирая на себе одежды.

— Услышь! — молились весталки.

— Услышь! — просили сенаторы.

Симмах взял из рук невольника факел и бросил его в костер.

Шум бесчисленных голосов заглушил треск пламени, которое вырвалось из громадного костра.

— Услышь нас, услышь! — умолял римский народ.

VI

Воевода сидел у себя в кабинете за столом и исписывал большой сверток папируса грубым, размашистым почерком. Время от времени он поднимал голову, задумывался, и тогда грязный свет масляной лампы падал на его разгоряченное лицо, покрытое красноватыми пятнами. Было видно, что он набрасывал на пергамент страстные, взволнованные слова. Наконец он положил тростниковое перо и сказал:

— Ты поедешь по Фламандской дороге, чтобы попасть в Медиолан, где отдашь епископу Амвросию письмо с желтой печатью.

— Слушаю твое приказание,— отозвался молодой солдат, стоявший навытяжку у дверей.

— Из Медиолана ты поедешь в Виенну и отдашь начальнику цезарской стражи письмо с белой печатью. Если двора нашего божественного и вечного государя ты не найдешь в Виенне, то ступай в Луглун, а если и там его нет, то в Лютецию.

— Слушаю, господин...

— Мир с тобой...

Воевода перекрестил солдата и вышел в сад, откуда были видны храмы Пелийский, Авентинский и Капитолийский.

Он подошел к стене и стал прислушиваться.

Лунная ночь стояла над Римом, и тишина царила на его улицах. Снизу, с Велабрия, не доходило ни малейшего шелеста. Даже обычный стук возов не нарушал сегодня покоя древней столицы.

Только время от времени долетал с разных сторон города сильный шум, как будто там внезапно срывались большие стаи птиц и взлетали на воздух.

«Еще празднуют!» — говорил себе воевода.

Перед ним, напротив Палатина, поднимался Капитолийский холм, весь покрытый белым мрамором. Гигантский храм Юпитера, облитый голубоватым сиянием луны, молчаливый, таинственный, был похож на сонное видение. Его стены казались такими легкими, как будто были сложены не из камня, а из серебристой мглы. Каждый римлянин с гордостью и радостью смотрел на этот мавзолей «волчьего племени». Подношения многочисленных народов, развешенные по колоннам и стенам храма, гоорили о громких деяниях, великих доблестях и бессмертных победах.

Но эта обитель римской славы ничего не говорила сердцу воеводы. Он видел в ней лишь последний оплот языческих суеверий, который надо разрушить, чтобы он не напоминал врагам истинного Бога об их греховном прошлом.

Всякий раз, как только из города до него долетал этот шум множества птичьих крыльев, брови его хмурились. Он знал причину этого шума. Это язычники веселились на похоронном пиршестве, устроенном сенаторами под открытым небом в садах и на рынках. Провинциальные гости вместе с постоянными жителями Рима тотчас же после сожжения трупов воссели за пир. Уж

полночь давно миновала, а они веселились, как будто в Константинополе не было Феодосия, а в Виенне Валентиниана. Воевода не мог понять, почему христианские императоры поставили во главе управления Италии Флавиана и Симмаха. Ведь их любовь к старым преданиям Рима была известна повсюду. Ни префект, ни консул не скрывали своей ненависти к новому порядку. Феодосий и того и другого однажды уже подверг изгнанию, но все-таки, несмотря на это, вернул им свое расположение. Но почему? Потому ли, что вся Италия уважала их гражданские и человеческие доблести, потому ли, что они для своих единоверцев служили примером чистоты жизни? Но как раз поэтому им и нельзя было вверять кормило страны, которая так стойко противилась воле императора. Пример людей честных и достойных более всего побуждает толпу к упорству.

Воевода в своем религиозном рвении не хотел признать, что христианство, хотя и имеет своих представителей на троне цезарей, не охватило еще и половины государства. Императоры знали об этом и не спешили с чрезвычайными мерами. Феодосий, хотя и приказал закрыть языческие храмы, однако не послал в Рим своих готов, чтобы они поддержали мечом его эдикт.

Воевода по молодости досадовал на эти замедления. Сегодня он послал курьера к Валентиниану с подробным описанием положения в Риме и с просьбой о присылке галльских легионов.

Снизу, со стороны Целийского холма, до него снова донеслись возгласы пирующих. Там, на другой стороне Триумфальной улицы, находились сады Симмаха.

— Пируйте,— шептал воевода.— Это ваш погребальный пир...

Он взглянул на Капитолий. Белый оплот язычества, тихий и сказочный, казалось, мечтал во сне о своем светлом прошлом. Он видел столько триумфов, столько великих людей, вознагражденных благодарным народом. Вся история Рима, тысяча лет счастья и славы, прошла перед ним, слагая у его подножия венки, добытые в кровавых боях. Но сердце нового римлянина не преклонилось перед этим свидетелем доблести и геройства. Для него это было жилище злых демонов, подстерегающих души верных христиан.

Он погрозил кулаком храму Юпитера и сказал:

— И после тебя останется куча мусора! Ты исчез-

нешь с лица земли, как будто тебя никогда не существовало, а вместе с тобой рассыплются в прах все вертепы римских демонов. И твоя помощница Веста...

Он вдруг нахмурился, поднял руки к небу и прошептал:

— Прости мне, Боже милосердный, но я не могу иначе.

Опершись локтем о стену, он положил голову на руку и погрузился в раздумье. С первой минуты, как он увидел Фаусту Авзонию, ее фигура преследовала его как тень. Везде, наяву и во сне, он видел ее бледное, строгое лицо и вспоминал ее движения, взгляды и звук голоса. На улице, когда он встречал чьи-нибудь носилки и замечал в них белое платье, то чувствовал, как кровь его закипает и быстрее, чем обыкновенно, разливается по жилам.

На Марсовом поле, на рынках, под колоннами базилик он проталкивался через толпу, не обращая внимания на недовольство черни, как только ему казалось, что где-то вдали развевается белое покрывало. Сколько раз он даже нарочно проходил мимо атриума Весты в надежде встретить весталку.

Занимаясь своими делами в главной квартире, он порой опускал вдруг перо и задумывался. Тогда трибуны переставали перешептываться, думая, что их вождь обдумывает какие-нибудь планы, а он в душе улыбался Фаусте Авзонии и видел ее так ясно перед собой, как будто она в действительности стояла перед ним.

Напрасно он старался изгладить из своей памяти образ весталки. Ведь Фауста Авзония была служительницей языческих суеверий и поклонялась тому, что он ненавидел. Вольно же ему, христианину и стороннику нового порядка, любить врага истинного Бога! Эта греховная страсть может погубить его душу и замкнуть перед ним врата Небесного Царства.

Воевода боролся с любовью, зарождающейся в его сердце, отталкивал от себя образ Фаусты Авзонии, внушал себе отвращение к жрице богини Весты, но когда он засыпал, то снова перед ним появлялось ее бледное, строгое лицо, вспоминались ее движения, взгляд, слышался звук ее голоса.

И правда... Какие отношения могли возникнуть между ним, христианином, и ею, языческой жрицей? Если бы

она была невольницей, то и тогда была бы большая пропасть. Ее свободу связывал обет, ее действия и помыслы сковывали обязанности, исключавшие понятия о любви. Пока Фауста Авзония будет оберегать священный огонь римского народа, до тех пор ей нельзя отвечать на его чувства.

Воевода все это сказал себе тотчас же после первого посещениям атриума Весты, но, несмотря ни на что, не терял надежды сблизиться с Фаустой Авзонией.

Цепи жреческих обетов распадутся в ту минуту, когда огонь Весты погаснет навсегда, а эта минута уже висит над Римом, как тяжелая, черная туча, чреватая громами. Скоро буря заревет над гнездом язычества, на упрямый город посыплются удары, и из развалин храмов возникнет свобода Фаусты Авзонии. Клятва, принесенная богине, станет пустым звуком, когда новый порядок лишит эту богиню власти карать своих вероломных служителей. Воевода закрыл лицо руками и горячо молился, прося у Бога приближения этой минуты.

В это время около него раздался заботливый голос:

— Уже месяц бледнеет на небе, а твоя постель, господин, еще холодна.

С бесцеремонностью старого наперсника Теодорих прикоснулся к плечу воеводы.

— Тебе нужно отдохнуть после трудов тяжелого дня,— добавил он.

— Гнев будет мне отравлять каждую минуту покоя,— отвечал воевода, указывая на Капитолий,— пока этот приют главного языческого демона будет оскорблять нашего Бога.

— Наш священник учил меня,— сказал Теодорих,— что Добрый Пастырь не желает зла даже своему врагу. Он разбросал по земле свои дары для всех живущих тварей.

— Этот священник...— начал было воевода, но остановился.

Он хотел сказать «лгал», но удержался от неосторожного слова.

— Так было прежде, старик,— сказал он,— когда наш Добрый Пастырь, преследуемый языческими демонами, скрывался в подземельях, убогий между убогими, слабый среди слабых, а теперь...

Он в смущении остановился во второй раз. Христианский священник и его учил любить всех людей, не обращая внимания на их происхождение и веру. Ему напоминали постоянно, что он должен любить своих врагов и благословлять проклинавших его... Как же согласовать эти веления с обязанностью цезарского посла, который должен усмирять язычников, если он желает выполнить свое поручение.

Воевода молча шел рядом с Теодорихом. В глубине его души заповеди веры боролись с обязанностями солдата. И епископ Сириций не одобрил его усердия. Неужели это усердие было греховным?

Кроме письма, предназначенного для императора, он послал также письмо и к Амвросию с просьбой о совете. Один только Медиоланский епископ может указать ему настоящий путь и снять с души тяжесть сомнения, которое угнетало его со времени разговора с архиепископом римским и тревожило его совесть. Он будет ждать ответа Амвросия, а пока сложит свои тревоги у ног Христа.

Он остался один в своем кабинете, преклонил колени перед изображением распятого Бога и стал молиться с доверием ребенка, рассказывающего матери о своих впечатлениях и разочарованиях.

По мере того как он погружался в себя, происшествия минувшего дня мало-помалу бледнели и расплывались. Спор с Флавианом, необозримая толпа, похороны, речь Симмаха, горящий костер, отголоски погребальной тризны — всю эту картину языческой дерзости заслонила одна белая фигура.

Перед его глазами, в зеркале его памяти, предстала Фауста Авзония с головой, откинутой назад, с глазами, устремленными на Капитолий, со страданием на лице, прекрасная в своем горе, как статуя плачущей богини.

— Отврати ее сердце от этого гнезда злобы и мрака,— молил воевода,— и озари ее светом Твоей истины! Царь царей! Пусть ее душа возлюбит Тебя с такой же силой, как возлюбила моя. Сделай это, Господи, ибо Твоя воля может разрушить всякое суеверие и превозмочь всякое упорство.

В то время когда воевода просил Бога приобщить Фаусту Авзонию к христианской вере, весталка совещалась с предводителями римской партии о защите народной веры.

Во дворцах Симмаха, на дворе, к полуночи собрались до двадцати сенаторов. Явились Флавиан, Кай Юлий Страбон и Констанций Галерий, префект города, главный жрец Юпитера и наместник Южной Италии; собрались все, чьи имена перечислил римский народ, когда говорил о своих вождях и ходатаях. На это важное собрание допущены были только две женщины — Фауста Авзония и верховная жрица Весты.

Полукругом, на деревянных стульях без подстилки и дорогой обивки, как подобало римлянам времен первых царей и консулов, разместились первейшие люди Италии, завернувшись в белые тоги, окаймленные широкой пурпурной полосой. Только весталки возлежали на софах.

Двое младших сенаторов сели около дверей, чтобы охранять безопасность собрания. Время от времени они приподнимали занавеску и следили, не приближается ли кто к двору.

Когда сенаторы разместились, Симмах начал:

— Что нам угрожает большая опасность, славные отцы, об этом говорить не нужно. Похоронами мы разрушили мост между Римом и Константинополем, смертельно оскорбили галилеян, которые нам этого не простят. Кажется, что среди нас нет никого, кто бы обольщал себя возможностью и впредь поддерживать согласие с врагами наших богов.

Он остановился, ожидая ответа, а когда никто не возразил ему, продолжал, понизив голос.

— Ваше молчание, славные отцы, освобождает меня от перечисления притеснений, которые мы терпим от галилейского правительства, и облегчает обоюдное понимание. Оно мне говорит, что все вы признаете важность минуты и соглашаетесь со мной в необходимости деятельной защиты.

Он вторично осмотрелся вокруг, но ни одна из белых фигур не пошевельнулась. Все сидели с поникшими головами, сосредоточенные, внимательно слушая его слова.

— Уже прошло время жаловаться на галилеян,— говорил Симмах почти шепотом,— ибо их гнет прямо угрожает нашей жизни, нашему существованию. Если мы не сбросим с себя ярма, оно придушит нас, как уже придушило провинции восточных префектур. Феодосий на этот раз не уступит, иначе Валентиниан не говорил бы так решительно.

К нему обратилось несколько лиц. Нахмуренные брови, грозные взгляды, сомкнутые губы говорили, что ему нет нужды возбуждать их языческие чувства.

Каждый из присутствующих думал так же, как и он.

— Прежде всего нужно выиграть время,— говорил Симмах.— С этой целью мы сегодня же изберем из своей среды депутацию, которая еще раз представит Феодосию просьбу римского народа. Кроме того, кто-нибудь, кто половчее, поедет к Арбогасту, а те, которые останутся на месте, приготовят все необходимое для защиты. Кто же из вас, славные отцы, хочет принять на себя труды тяжелой дороги в Константинополь? Меня, Никомаха Флавиана и префекта города исключите, так как мы будем необходимы в Риме.

— Укажи нам депутатов,— сказал Флавиан.

— Мы сделаем, как ты решишь,— согласились с префектом несколько сенаторов.

Симмах задумался и сказал после долгого перерыва:

— Перед Феодосием должны предстать люди терпеливые, чтобы не вызвать его вспыльчивости. Этот гордый испанец не выносит горячего слова, о чем я знаю по собственному опыту. Если бы Криспин, Руффий и Клавдиан согласились подвергнуть себя гневу Феодосия, мы были бы уверены, что они не вызовут его мести. Рассудительность всегда сопутствует сединам.

Перечисленные по именам сенаторы наклонили головы в знак согласия.

— С Арбогастом всего лучше вести дело Каю Юлию Страбону,— указывал Симмах.— Он его знает хорошо со времени своего пребывания в Виенне, а что он сумеет заставить открыться перед собой ловким словом самую подозрительную душу, об этом мы все знаем.

— Прежде чем завтра зайдет солнце, я буду уже на дороге в Виенну,— отвечал Кай Юлий.

— Тут кончаются мои указания,— сказал Симмах.— О дальнейшем мы просим указаний Никомаха Флавиана: он лучше всех нас знает, как приготовиться к смелому деянию.

Глаза сенаторов обратились на префекта.

Флавиан оглянулся на дверь и, когда убедился. что стража бодрствует, начал:

— Во все города, местечки и села мы разошлем своих доверенных, чтобы они зажгли в стране ненависть к галилеянам. Кого не склонит любовь к прошлому Рима,

того соблазнит золото или обещание места. Мы не можем быть разборчивы в средствах. Каждый способ, даже подкуп, годится, если он ведет к намеченной цели. Во всех городах, где управляют наши декурионы, надо собрать большой запас мечей, дротиков, щитов и стрел, а префект столицы снабдит склады зерном, маслом, вином и сушеным мясом на случай осады. Феодосий с некоторого времени, усыпленный успехами, хотя и изленился за последнее время, но может вспомнить, что был некогда деятельным и мужественным вождем. Мы должны стараться привлечь к себе невольников и склонить остальных почитателей старого порядка, чтобы и они поступали так же. Может быть, нам скоро понадобится много рук, так как смерть не отличает свободных от рабов. Однако прежде чем мы примемся за рискованное предприятие, надо подумать о казне, потому что без денег мы не приобретем ни одного меча. Полагаю, что для начала будет достаточно, если каждый из нас передаст Симмаху по десять миллионов сестерций. Пусть консул будет нашим казначеем.

Никто из сенаторов не удивился величине этой суммы. Они давали больше на цели менее важные.

— Мы согласны,— отвечал за всех самый старый, Клавдиан.

— Согласны,— повторили остальные.

— От этой дани, к которой мы склоним всех богатых римлян,— говорил Флавиан,— будут освобождены только весталки, молитвам которых мы поручаем наши печали и наши обиды.

— От этой жертвы, которой требует от нас родина,— отвечала Фауста Авзония,— никто не может освободить римлянина, обладающего такой суммой. Мой управляющий завтра вручит консулу десять миллионов.

Сенаторы взглядом, полным уважения, поблагодарили весталку.

А она, выпрямившись на софе, продолжала:

— Когда мужи советуются, женщины должны стеречь домашний очаг, но домашний очаг весталок — это Рим, который заменяет нам мужа и детей. Нас нельзя обходить, когда нашему домашнему очагу грозит опасность. Советуясь о делах отчизны, вы, славные отцы, обыкновенно забываете о том, что сердце женщины часто оказывает хорошую услугу разуму мужа. Позвольте же и нам принять участие в вашей работе, чтобы решитель-

ная минута не захватила римлянок неподготовленными. И они должны знать, что пришло время, когда Рим требует жертв не только от своих сыновей, но и от дочерей. И женщины страдают, когда их мужья подвергаются опасности.

— Что мы ценим высокое значение помощи наших жен и дочерей,— отвечал Флавиан,— об этом свидетельствует ваше присутствие, святые жены. В руки ваши мы отдаем сердца римлянок. Сделайте так, чтобы их сердца не были объяты тревогой, когда отечество потребует от них жертв.

— Атриум Весты победит или погибнет вместе с вами, славные отцы,— отвечала Фауста Авзония.

Когда она говорила это, на ее лице появилась такая решимость, что никто не сомневался в правдивости этого обещания.

И снова сенаторы благодарили ее взглядами, полными уважения.

Обратившись к ним, Флавиан продолжал:

— Благодаря вольным франкам, неспокойный дух которых до сих пор удерживает Арбогаста, мы имеем достаточно времени, чтобы приготовиться. И готы Феодосия, ослабленные войной с Максимом, воспротивились бы против немедленного выступления. Поэтому нет причины опасаться внезапного нападения. Прежде чем Арбогаст не усмирит франков, а этого раньше весны быть не может, и Феодосий не склонит готов к новому походу, мы сможем вооружить всю Италию и купить мечи нескольких германских племен, кочующих по другую сторону Дуная. Тем временем надо обратить особое внимание на деятельность Фабриция и мешать исполнению его приказаний, не щадя денег. Легионы, расположенные в Италии, в случае преждевременного взрыва ненависти нашего народа не должны подпасть под влияние распоряжений воеводы. Его христианское рвение, если мы не ослабим его силы, может нас принудить к неосторожным поступкам. Кто из вас, славные отцы, пожелает наблюдать за этим галилеянином?

— На беседах Валерия я всегда встречал начальников римского гарнизона,— заметил Симмах.

— Я сделаю все, чего вы от меня ни потребуете, славные отцы,— отозвался сенатор Валерий.

— А теперь,— продолжал Флавиан,— когда мы знаем, куда идем, нам остается только выбрать начальника, воля которого была бы для нас единственным и высшим

законом. Когда народ точит мечи, распоряжаться должен один, чтобы эти мечи разили метко и быстро. Война не терпит проволочек и долгих размышлений. Победа благоприятствует смелым.

Едва он успел замолчать, как из уст у всех вырвалось одно имя:

— Флавиан!

— Веди верных детей Рима,— сказал Симмах,— когда судьба приказывает им защищать свои права на поле брани. Ты поведешь их к победе и славе.

— Я поведу к победе и славе! — воскликнул Флавиан.

Он поднялся с кресла, взял полу тоги и, опустив ее к земле, сказал торжественным голосом:

— От имени вашего, славные отцы, и от имени римского народа я объявляю христианским императорам борьбу не на жизнь, а на смерть. Если я не сломлю их гордыни, то к вам вернется только мой прах.

В это время произошло что-то необычайное. Одна из ламп,. стоявшая на высокой бронзовой подставке, заколебалась без всякой причины и упала на мозаичный пол. Фитиль тлел некоторое время, потом вспыхнул и угас у самых ног Флавиана. В зале воцарилась гробовая тишина. Сенаторы в ужасе переглядывались друг с другом. Фауста Авзония вскочила с софы и стала позади дяди, как бы желая защитить его от неожиданного удара.

Флавиан с минуту смотрел растерянным взглядом на разбитую лампу, потом с натянутой улыбкой сказал Симмаху:

— У тебя неловкие слуги, Квинит. Если бы мы были суеверны, то в этой случайности увидели бы предостережение.

Симмах пробормотал что-то несвязное. Падение лампы было действительно неблагоприятным знаком для него и всех собравшихся, знаком, предостерегающим Флавиана. Последние римляне так же, как и суеверные соратники царей, верили в гадания по внутренностям животных и по полету птиц, боялись необъяснимых звуков и следовали разным таинственным указаниям.

Юлиан Отступник, образованнейший монарх и знаменитый писатель своего времени, одаренный критическим и полемическим даром, воскресил все гадания и мистерии цветущих времен язычества. Он сам перед каж-

дым важным делом советовался с «сокровенною силой» и в тиши ночной поверял ей свои невзгоды.

Сенаторы поникли головами, как зрелая нива, над которой пронесся внезапный вихрь. Глаза всех старательно избегали встретиться с разбитой лампой...

— Что ж, за победу над галилеянами я не пожалею сложить свою голову на поле славы,— медленно проговорил Флавиан.— Земля, пропитанная кровью наших врагов, будет для меня лучшим ложем, чем носилки из слоновой кости. А теперь, отцы, разойдемся, и пусть каждый из нас помнит, что нам с этих пор нельзя терять ни одного часа.

Сенаторы возвращались домой пешком, без сопровождения слуг. Когда они прощались перед дворцом Симмаха, из-за угла противоположного дома показалась какая-то темная фигура и тихо прошла мимо них, шатаясь и отчаянно жестикулируя. Ни один из сенаторов не обратил внимания на пьяного, а он пристально присматривался к ним из-под капюшона коричневого плаща.

Это был Симонид, шпион воеводы.

Констанций Галерий и Кай Юлий, которые жили на одной улице, долгое время шли молча. Важность минуты лишила их охоты вести разговор. Они шли по пустым улицам, задумавшись, приводя в порядок впечатления минувшего дня. Они знали, что восходящее солнце не найдет Рима таким, каким оно видело его вчера при закате.

— Я боюсь щепетильности Арбогаста,— начал снова Констанций.— Варвары очень редко нарушают данную присягу.

— На упорство щепетильности есть хитрость,— отвечал Кай.— Надо будет возбудить гордость Арбогаста.

— В лесах Аллемании одной хитрости недостаточно, и потому я не отпущу тебя одного к Арбогасту, а поеду с тобой сам, чтобы в случае надобности быть твоей рукой. Не удерживай меня, не отговаривай... В Риме, где бодрствуют Симмах и Флавий, я лишний, а тебе могу пригодиться в дороге.

— Это очень тяжелая дорога,— заметил Кай.

— Тяжела для тебя, не особенно сильного, а не для меня, который легко переносит всякие неудобства,— ответил Констанций.— Не упорствуй, потому что я не изменю своего решения. Пусть и я послужу по мере сил и возможности нашей общей родине.

— Достоинство римлянина становится тяжестью.

— Гражданские обязанности никогда не были особенно приятными, но, однако, наши предки исполняли их охотно.

— Коль скоро ты этого особенно желаешь, то я принимаю с благодарностью твое предложение. Завтра перед заходом солнца будь готов в дорогу.

— Я не задержу твоего отъезда.

— Возьми с собой полный кошелек, потому что нам придется, может быть, поехать в Виенну, а при цезарском дворе не разговаривают с людьми, которые приезжают с пустыми руками. И я тоже открою свой сундук.

Они приближались уже к дворцу Квинтилиев.

Заспанный глашатай взял у Кая Юлия тогу и зажег восковую свечу, чтобы проводить его до спальни. Но на пороге залы и господин и слуга остановились в изумлении. Сквозь занавеску, висящую на двери кабинета, куда, кроме хозяина, не позволялось никому входить, пробивалась полоса света. Кто-то, видимо, воспользовался отсутствием Кая Юлия и пробрался в музей римских древностей. Кай Юлий при мысли, что незваная рука коснется этих любимых сокровищ, покраснел от гнева. Тихо, на пальцах, чтобы не спугнуть дерзкого вора, он подошел к занавеске и быстро отдернул ее. Но зрелище, представившееся его глазам, погасило в них огонь гнева и вызвало добродушную улыбку.

У стола, положив голову на книгу, спала Порция, видимо, утомленная чтением. Пред ней лежала большая кукла, а у ее ног, свернувшись в клубок, спала Лидия. Британская собака подняла лохматую голову, но при виде хозяина только замахала хвостом.

Кай Юлий подошел к сестре, наклонился и поцеловал ее в шею.

— Порция! — позвал он ее мягким голосом.

Девушка проснулась и уставилась на него бессознательным взглядом. Но, узнав брата, она весело рассмеялась.

— А мне приснилось, что подожгли храм Юпитера Капитолийского,— сказала она, хватая брата за руку.— Правда, какой ужасный сон?..

— В голове моей сестренки бродят печальные мысли,— отвечал Кай,— если ей снятся такие страшные сны. С какого это времени дети не спят по ночам? Я вижу, что раньше времени освободил тебя от надзора няньки.

— Я уже не ребенок, нет... нет... Ты увидишь, что я сумею быть римлянкой... А ты все еще смеешься... Ты злой...

Кай Юлий действительно улыбался. Он привык видеть в сестре избалованного, любимого ребенка, с которым никогда не разговаривал о важных делах.

— Ты сумеешь быть римлянкой? — спросил он, присматриваясь к Порции.

— А кем же мне быть? — воскликнула девушка.— Могу ли я быть гречанкой, германкой, сириянкой? О! Как мне больно от твоей недоверчивой улыбки...

Она закрыла лицо и начала всхлипывать.

— Порция! Дитя мое, сестренка милая! — заговорил нежно Кай, обнимая сестру.— Ты знаешь, что я не хотел бы огорчить тебя... Ты меня пугаешь...

— Так почему же ты не хочешь верить, что я сумею быть римлянкой?..

— Ну, верю, верю, верю... Только не плачь...

— Веришь?.. Правда?..

— Утри слезы, и я тотчас же поверю.

— И никогда больше уж не будешь называть меня ребенком?

— Если это доставит тебе удовольствие, то с сегодняшнего дня я буду называть тебя матроной.

— Сейчас же и матроной... Нет, так я не хочу...

— Я сделаю все, что только ты хочешь... Только успокойся и улыбнись весело.

Порция уже успокоилась. С легкостью живого характера, который быстро переходит из одного настроения в другое, она отерла слезы и обратила к брату улыбающееся лицо.

— Ну, а теперь скажи мне,— сказал он,— откуда тебе пришли в голову такие серьезные мысли.

Порция указала рукой на открытую книгу. Это были «Анналы» Тацита.

— Фауста Авзония говорила мне, что великий Тацит научит меня мыслить и чувствовать по-римски. Учиться думать и чувствовать по-римски мне не нужно — в моих жилах так же, как и в твоих, течет кровь Юлиев, но я у Тацита открыла источник нашего упадка. Теперь я знаю, что мы страдаем за ошибки наших отцов, которые общественное благо принесли в жертву своим личным делам.

Она замолчала, прислонившись головой к подлокотнику кресла.

Кай Юлий с изумлением слушал слова сестры. В первый раз она заговорила с ним серьезно, и то, о чем она говорила, прочувствовала так глубоко, что голос ее задрожал от неподдельной печали. И эту же печаль излучали ее широко открытые, блестящие глаза.

Порция взяла его правую руку обеими своими руками и сказала с сердечной теплотой:

— С этого времени ты будешь делиться со мной своими заботами римлянина, будешь доверять мне и не пренебрежешь советом сестры, которая так же любит народных богов, как ты, Флавиан, Симмах и Фауста Авзония.

— И как Констанций Галерий,— прибавил Кай.

Порция молчала, опустив глаза вниз.

— Констанций со мной вместе едет сегодня к Арбогасту,— сказал Кай,— хотя ему нет никакой надобности подвергать себя неприятностям дальней дороги. Делает он это из дружбы ко мне и тебе.

— Он всегда был расположен к тебе,— прошептала, задумавшись, Порция.

— И к тебе, Порция. Его расположение заслуживает твою любовь.

Порция провела рукой по глазам.

— И Констанция, и тебя, и меня теперь ждут дела более важные,— уклончиво ответила она.— Кай, если ты меня любишь, возьми меня с собой в аллеманские леса, чтобы я могла заботиться о твоем слабом здоровье.

— Когда гражданские обязанности отзывают мужчин от домашнего огня, его должны стеречь женщины. Ты останешься в Риме. На время своего отсутствия я возлагаю на тебя управление домом и убежден, что ты уже перестала быть ребенком.

Порция посмотрела на брата благодарным взглядом.

— Когда ты вернешься, то застанешь дом в том же порядке, в каком его оставил,— ответила она.

VII

В городе Комо, лежащем на севере от Медиолана, христианская община выбирала нового епископа.

Несмотря на мелкий, холодный дождь, который моросил с самого утра, церковь окружало великое множество народа. Кого привратники не хотели впустить внутрь,

те мокли под открытым небом, ожидая результатов голосования.

Эта толпа непрестанно шевелилась, словно муравейник. Время времени на пороге церкви показывался один из дьяконов, бросал ближайшим несколько слов — те передавали их следующим, и вести шли от одного к другому, вызывая то улыбку удовольствия, то ропот гнева.

По мере того как выборы продолжались, нетерпение избирателей возрастало. Среди общего шума выделялись несколько имен.

— Иеронима хотим! — кричали одни.

— Петра! — возражали другие.— Григория!

Время единомыслия христианских общин уже миновало. Лишь только новая вера из притесняемой и преследуемой законом изгнанницы стала свободной, пробудились и человеческие страсти, заглохшие было на время и устраненные грозным положением вещей. Со времени известного Медиоланского эдикта Константина, который снял с последователей Христа проклятие трех веков, христианство в Римском государстве не требовало уже геройства и необычайных добродетелей.

Никто уже не тащил галилеян к суду претора, не бросал их на арену амфитеатров на растерзание голодным диким зверям, не гноил в темницах, не распинал на крестах.

«Восточное суеверие» проповедовалось открыто, без опасения по улицам и дорогам всего государства, ставило свои церкви рядом с языческими храмами, восседало на сенаторских креслах, признанное правительством. Даже император Юлиан, хотя и старался вернуть эллинизму его прежний блеск, не увеличил списка мучеников ни одной жертвой.

А когда молодой Грациан, побуждаемый религиозным рвением, отменил эдикты о веротерпимости Константина, Юлиана и Валентиниана I и начал вытеснять язычников из правительственных учреждений, отказывать жрецам в содержании, отбирать имения у их храмов, тогда христианство совсем утратило свой первобытный характер.

Христианский священник не скрывался теперь в подземных норах, убогий и преследуемый. Императоры отдали в его пользование имущества языческих храмов, а верные осыпали его пожертвованиями.

Христианский епископ учил уже не в катакомбах и заброшенных сараях. Правительство назначило ему пре-

бывание в дворцах патрициев, взяло его под покровительство трона и поставило в иерархии так высоко, что даже первые сановники в государстве стали завидовать его значению.

Всякий, кто посвятил себя недавно презираемому Богу обездоленных, начиная от епископа и кончая церковным привратником, тот законом освобождался от военной и городской службы, от податей и всяких общественных тягот.

Вот и бросились во́роны, лисицы, змеи и хищные птицы человеческого рода на плоды трехвекового геройства, святого мученичества, на созревшую ниву, политую кровью и слезами многих поколений.

Бездельники, взяв себе в помощь распри и невежество, старались захватить награду, заслуженную честными людьми.

И отцы церкви четвертого столетия — святые Иероним, Афанасий, Григорий, Амвросий и другие — жалуются на убывание христианских добродетелей и напоминают верным заповеди Божественного Учения.

Из Александрии и эллинских городов по всему государству размножались все новые и новые поправки, изменения, добавления, толкования, и каждое такое новшество проносилось над юным христианством, как весенняя буря... Оно врывалось, как неожиданный вихрь, в общины, нарушало спокойствие, вносило раздор в паству единого пастыря и расстраивало общественный порядок.

Уже на Никейском соборе император Константин, возмущенный распрями защитников разных ересей, вскочил, поднял руки кверху и воскликнул:

— О, человеческое неистовство!..

Напрасно он постоянно напоминал: «Живите в мире!» Напрасно повторял то же самое Валентиниан I. «Живите в мире»,— просили, приказывали императоры, а манихеяне, присцилиане, приане, полуариане, докатисты и тридцать других сект обрушивались друг на друга, когда какой-нибудь из них удавалось добиться расположения и поддержки правительства и подвергнуть ссылке своих противников.

В это тяжелое время Провидение послало Церкви двух знаменитых мужей, которые поняли, что наступил момент заключить новый порядок вещей в более опре-

деленную, более постоянную форму. Один из них, император Феодосий, готовился в Константинополе к решительной расправе с язычниками и еретиками; другой, Амвросий, епископ Медиоланский, как раз приближался к городу Комо.

Большую урну из белого мрамора, стоявшую посередине базилики, не окружала братская любовь первых апостолов и учеников Христа. Кругом кипела партийная борьба, разжигаемая речами кандидатов на апостольский престол.

Кандидатов было трое: один духовный, двое светских. Все они принадлежали к христианской общине, но только один, пресвитер Иероним, придерживался исповедальной веры, установленной Никейским собором. О риторе Петре было известно, что он втайне благожелательствовал ереси Ария, а прокуратор Григорий явно не скрывал своих симпатий к манихеянам.

Старшие члены общины наполняли всю середину.

Над собранием стоял однообразный гул. Сторонники одного и того же кандидата разговаривали шепотом, считали свои голоса и голоса противников.

Но когда оказалось, что ни одна партия не может рассчитывать на победу, потому что голоса распределились почти поровну, люди пришли в беспокойное движение. То тот, то другой отделялись от своих и подходили к знакомым из другого лагеря, стараясь перетянуть их на свою сторону. Начались диспуты, шум возрастал, лица раскраснелись, глаза засверкали...

— Изберем епископом Иеронима! — кричали правоверные.

— Петр будет вашим руководителем! — выходили из себя ариане.

— Григорий, Григорий! — кричали манихеяне.

— Тише вы, еретики! — отозвался кто-то.

В это время на кафедру вступил ритор Петр, толстый, румяный молодой человек с завитыми волосами. Он поднял кверху руки, украшенные перстнями и наручами. Он хотел было заговорить, но свист, аплодисменты и смех заглушили его голос. Видно было только, что он жестикулирует, открывает рот, о чем-то просит и сердится. Он призывал собравшихся к молчанию.

Напрасно ариане одобряли своего кандидата аплодисментами, противники пересилили их числом голосов.

А со двора, из толпы, собравшейся перед церковью,

доносился шум, проникая через толстые стены, словно рев морских волн, ударяющихся о скалистый берег.

Ритор Петр все жестикулировал. Временами, когда шум стихал, над толпой еще раздавался его измученный голос.

— Я построю вам больницу,— обещал он,— выпрошу в Виенне для бедных общины щедрую милостыню.

— Да, ты будешь клянчить для своих! — отвечали его противники, и возобновившийся шум опять поглощал его слова.

То же самое повторилось и с кандидатом Григорием. Одна партия старалась перекричать другую.

Наиболее горячие, сжав кулаки, уже сходились друг с другом, когда стоявшие вблизи представители светской власти сразу умолкли, поднялись на цыпочки и смотрели на вход в базилику.

А от средних дверей, растворенных настежь, неслось великое имя. Неслось оно на мягких крыльях шепота, тихо, почти неуловимо, но где оно останавливалось на секунду, то производило там действие масла на бушующие морские валы. Крик замирал в горле, кулаки разжимались, угрожающие руки опускались, злоба в глазах погасала.

— Амвросий! — передавалось из уст в уста.

Избиратели, метавшиеся как бешеные, с испугом смотрели друг на друга. Плотная, клубящаяся толпа, покорная, оробевшая, отступала к колоннам притвора.

По освободившемуся проходу медленными шагами шел человек низкого роста, одетый в сенаторскую тогу. Тонкий, худой, со следами бессонных ночей и телесных лишений на лице, обрамленном седеющими волосами, он производил впечатление силы. Его поступь была пластична, держался он прямо, как солдат. Под облысевшим высоким челом мыслителя горели глаза апостола, глядящего в небо, но сухой орлиный римский профиль и сомкнутые уста показывали, что этот мыслитель и апостол умеет также приказывать и требовать повиновения.

Где он проходил, там перед ним склонялись головы, как колосья, тронутые легким ветром.

Он шел с поднятой головой, с тучей на челе и глубокой морщиной между бровями, не глядя ни направо, ни налево.

Остановившись перед алтарем, он стал на колени, протянул руки к Распятию и молился среди гробового молчания собравшихся. Никто не смел прервать его да-

же громким дыханием. Сам римский сенатор, наместник Лигурии и Эмилии, перестал презрительно улыбаться.

Этот низенький, худой человек был самым могущественным и отважным епископом в Римском государстве. Он сломил гнев Юстианы, вдовы Валентиниана I, покорил вспыльчивость Феодосия, обратил в свою пользу нерешительность Грациана, неустрашимый в борьбе с людской злобой. Преданный церкви каждой каплей крови, каждой мыслью, он не щадил величия «божественных и вечных императоров», когда они злоупотребляли своей властью. Феодосию, запятнавшему себя пролитой невинной кровью, он запретил входить в Медиоланский собор и добился от него публичного покаяния.

И великий император послушно покорился великому епископу.

Амвросий расположению власти или общины был обязан своим высоким положением; не он старался получить медиоланское епископство, а община умоляла его так долго, что он склонился на ее просьбу.

Потомок знатного римского рода, патриций, сын префекта претории, родственник Симмаха и многих других сановников Италии, воспитанный греческими риторами и философами, он в первой половине своей жизни принадлежал к сторонникам народных богов. Христианином он сделался как бы случайно.

Когда в Медиолане умер епископ Авксентий, разделявший ересь Ария, Амвросий управлял Лигурией и Эмилией. Как высший гражданский чиновник провинции он прибыл на выборы, чтоб поддержать порядок, но едва успел сесть на сенаторское кресло, как раздался возглас какого-то ребенка:

— Амвросий!

Собравшиеся в церкви христиане, увидев в этом указании ребенка голос Святого Духа, провозгласили языческого сенатора епископом.

Амвросий удивился и не принял избрания, отговариваясь незнанием правил христианской веры. Но напрасно он противился Провидению, которое требовало его римских добродетелей для борьбы с неустройством Церкви. Напрасно он убежал из города, скрывался в деревне, старался отвращать от себя внимание. Медиоланская община, исчерпав все способы просьб и увещаний, в конце концов обратилась за помощью к трону. И лишь когда император Валентиниан I приказал своему наме-

стнику принять в свои руки бразды правления над общиной, Амвросий покорился своему назначению.

Указание ребенка было действительно голосом Святого Духа — новый епископ вскоре являл идеал первых последователей Христа. Он распродал свое значительное имущество и роздал его бедным, снял с себя золотые цепи, наплечники, перстни, шелковую тунику и башмаки, вышитые жемчугом, освободил невольников, дворцы обратил в больницы, богадельни и школы, из своей души изгнал надменность патриция, из сердца презрение к слабым, а из тела все его похоти.

Этот сильный человек, сделавшись христианином, жил как работник, деля свое время между молитвой, делами милосердия, обязанностями епископа и исследованием творений Отцов Церкви. Рассвет не раз заставал его за книгами. И, несмотря на то, он всегда, когда был в Медиолане, отправлял богослужение в церкви Святой Жертвы, навещал больных и приносил несчастным слово утешения.

Долго Амвросий беседовал с Христом, не спуская глаз с символа Его мучений. С Креста в его душу лились печаль и сожаление к людям за их непостоянство.

Он, бывший цезарский наместник, вошел в Церковь с ясным пониманием, что такое дисциплина и порядок, и железной рукой взялся за дела своей епархии. Враг своеволия черни и свары мятежников, он без колебания подавлял все проявления сектантства; он изгнал ариан из Медиолана, у манихеян и присциплиан отобрал церкви, укротил своеволие языческих риторов. В банях, библиотеках и на рынках его резиденции уже не вспыхивали религиозные споры. Дух несогласия притаился, устраненный его энергией.

Воспитанный в старых римских традициях, он знал, что только повиновение и единомыслие строят великие государства и церкви. Поэтому он, единственный из всех епископов западной префектуры, наблюдал за развитием христианства и побуждал императоров к решительному утверждению нового порядка. Стадом Христовым должен был управлять один пастырь.

Но его работе, значение которой понимал и ценил только Феодосий, одаренный таким же организаторским гением, постоянно мешали ссоры общин, находящихся вне Медиолана.

Трижды прикоснувшись головой ступеней алтаря, Амвросий поднялся и взошел на кафедру.

Все глаза обратились на него. Ариане и манихеяне смотрели исподлобья, как напроказившие шалуны, испуганные неожиданным появлением учителя.

А он осенил крестным знамением избирателей Коменской общины и начал:

— Милость и мир да будут вам от Бога, Отца нашего, и от Господа Иисуса Христа.

И в тишине, водворившейся в церкви, загремел его резкий голос, более привыкший к команде, чем к гладкой речи ритора.

— Вы именуете себя поклонниками Христа,— продолжал Амвросий после короткого перерыва,— и основываетесь на Законе и хвалитесь Богом. Но вы знаете Его волю и отличаете вещи, несогласные с ней, до тонкости изучив Закон. И за это вы являетесь вождями слепых, светочем тех, которые блуждают во мраке, путеводителями неразумных, учителями бессловесных и делаете вид, как будто изучили Закон. Но если вы учите других, то почему не учите самих себя? И если вы хвалитесь знанием Закона, то почему оскорбляете Бога нарушением этого Закона?

Из толпы ариан и манихеян раздался глухой ропот. Брови еретиков нахмурились, лица приняли смущенный вид.

— Вместо того, чтобы сеять семена мира и единомыслия, вы распространяете раздоры и соблазны в святом учении нашего Господа Иисуса Христа, становитесь посмешищем идолопоклонников. Вашему несогласию радуются почитатели языческих суеверий, над ним издеваются риторы и философы. Неужели вам уже опротивела свобода, которою милость Господа, нашего Отца, одарила за добродетели и мученичество предков? Неужели вы непременно хотите, чтобы наши алтари снова запятнала кровь жертв, умирающих под ножом жрецов Юпитера?

Амвросий не убеждал, а громил. Он говорил, как говорит вождь с взбунтовавшимся войском, и, как молчат взбунтовавшиеся солдаты, пристыженные упреками любимого вождя, так молчали избиратели Коменской общины, угнетенные великим именем, которое было славой всего христианства. Было известно, что даже варварские цари обращались за разрешением споров к Амвросию.

— В Риме непримиримые идолопоклонники снова

поднимают головы. Эллинские демоны призывают язычников отомстить за свое поношение. Над Италией носится грозное дыхание войны, а среди вас кипят ссора и раздор, как будто вам ничего не угрожает. Церковь Христова не стоит еще на камне, несокрушимая, как Он сам, в нее еще ударяет со всех сторон могучая волна язычества, более сильная, чем это кажется вашим глазам, ослепленным завистью и гордостью. Довольно будет того, чтобы какой-нибудь почитатель Капитолийского Юпитера воссел на троне цезарей, и смутные дни гонения возвратятся вновь. И вы будете снова служить врагам вашим, как грозит Священное Писание, в жажде и голоде и во всяческом удручении. И на выю вашу возложат железное ярмо за то, что вы в веселии и радости сердечной не служили Господу Богу вашему, когда были осыпаны достатком. И слуга будет равен господину своему, невольница равна госпоже своей и священник миряннину и богатый бедному, и тот, который купил землю, будет равен тому, кто продал ее.

Избиратели начали в беспокойстве переглядываться друг с другом — вести о волнении в Риме разошлись уже по всей стране. Горячее дыхание войны действительно носилось над Италией; в городах, посадах и селах, в которых жило смешанное население, уже лилась кровь в уличных схватках.

И верные, и ариане, и манихеяне вдруг поняли, что их объединяет одно общее дело: все они были христиане.

А епископ говорил далее:

— Как вы пришли сюда, не имея праздничной одежды, то есть согласия и братского единения, Господь Бог вместо Духа Святого низослал на вас дух безумия, и стали вы, как пьяные. Вы едино тело и един Дух, один у вас Господь Иисус Христос, едина вера и едино крещение, един над вами Бог и Отец всех. Именем Господа нашего, Иисуса Христа, прошу вас, братия, чтобы все вы делали одно и то же и не было бы среди вас раздора, а чтоб были вы сплочены одним помыслом и одним желанием. Вы братья друг другу, а наносите себе вред. Умоляю вас, христиане, отбросьте от себя всякую злобу, предательство, лицемерие, зависть и злословие и молитесь вместе со мной нашему Господу Иисусу Христу, чтоб он вернул вам покой и рассудок.

Амвросий просил, но в его голосе не слышалось мягкой просьбы. В нем звучал приказ вождя, который даже

не допускает, чтобы кто-нибудь мог противиться его воле. Он стоял, откинув назад голову, нахмурив брови и подняв правую руку, как бы желая опустить ее на непослушных.

И никто из присутствующих не осмелился воспротивиться воле, усмирившей самого императора. Чем были они в сравнении с Феодосием?.. И все — ариане, манихеяне и верные — пали на колени.

А епископ простер руки к алтарю и молился:

— Влей в них дух любви, Господи, и дай им согласие по милосердию Твоему. Укажи им дорогу, по которой они должны идти, и дело, которое они должны делать, чтобы им было хорошо, когда они послушаются Твоего повеления.

Он умолк. С лица его сходило выражение решительности. Горечь глубокой боли разлилась по его раскрытым устам, печаль легла на лоб и глаза. Пастырь страдал за беззаконие паствы...

Снизу, из толпы, доносился до него шепот тихой молитвы, соединенной со вздохами. Дух согласия входил в сердца христиан.

Вдруг поднялся один арианин и воскликнул:

— Дай нам епископа, святой отец!

— Твоя воля да будет нашей волей...

— Приказывай, и мы исполним твое приказание...

Тогда Амвросий снова обернулся к представителям Коменской общины и сказал:

— Каждая душа да повинуется законной власти, как говорит апостол Павел, ибо начальники поставлены вселять страх не добрым, а злым. А если хочешь не бояться начальников, делай только одно добро.

Теперь его голос был ласков, как голос отца, делающего выговор любимым детям.

Он указал рукой на старого пресвитера и сказал:

— Епископом вашим будет Иероним!

— Иероним епископ! — отвечали ему криком избиратели. Имя епископа пронеслось через церковь и огласило толпу, стоящую возле нее.

— Иероним, Иероним! — с радостью кричала вся община, как будто исполнились ее сокровеннейшие желания.

А тот, кто привел их к единомыслию, сойдя с кафедры, пал на колени пред алтарем и запел свою собственную песнь, рожденную его вдохновением.

— Тебя Бога хвалим! — пел Амвросий среди полного молчания христиан.

Кончив песнь, он еще раз посмотрел на Распятие и повернулся к дверям. Теперь перед ним все преклонили колени. Он шел с доброй улыбкой на устах, осенял преклоненные головы знамением Святого Креста и повторял:

— Мир с вами! Мир с вами!

Перед церковью его ждала дорожная карета, запряженная четверкой коней. Благословив верных, которые теснились к нему, чтоб облобызать край его тоги, он крикнул вознице:

— В Медиолан!

Большой закрытый экипаж внутри был устроен так, что в нем можно было спать и работать. Около широкой лавки, висящей на ремнях, находился стол, прикрепленный к полу винтами.

Амвросий лег на лавку и постарался уснуть. Он чувствовал себя утомленным. Целую ночь он диктовал своим секретарям письма к римскому епископу и Феодосию, а после ранней обедни тотчас же тронулся в путь. Его тело, изнуренное постами и постоянным трудом, с некоторого времени начало напоминать ему о себе. Хотя ему было только пятьдесят лет, но он начал прихварывать все чаще и чаще. Доктора предписывали ему продолжительный отдых.

Но разве он мог отдыхать? Разве он не видел опасности, которая грозила молодому христианству? В нем одном воплотился дух святого Афанасия, неустрашимого защитника единства Церкви.

Восточные префектуры цезарства, раздираемые ересями, перестали думать об истинном смысле учения Христа, которое явилось, чтобы опоясать всех людей одной любовью, а в западных снова начинал поднимать голову эллинский призрак.

Правда, Феодосий принудил сектантов к молчанию и попрал надменность язычников, но император, несмотря на свою «божественность» и «вечность», был все-таки смертным человеком. Смена императора могла уничтожить плоды геройских усилий четырех столетий.

Юлиан Отступник доказал, сколько вреда может один человек нанести самому святому делу. Он царствовал только три года, но и в это короткое время от христианства отпали тысячи человек, устрашенных гневом

императора. Если бы Провидение, бодрствующее над своим делом, не прекратило его враждебной для Церкви деятельности, то он без пыток и тюрем, судей и палачей, единственно только в силу своего положения, отодвинул бы назад, на несколько поколений, правильное развитие нового порядка. Точно так же и бунт узурпатора Максима показал, что язычники еще не потеряли надежды на победу.

Амвросий все это знал, поэтому всеми силами искал средства укрепить христианство, не обольщаясь теперешним успехом. После Феодосия и Валентиниана II мог явиться языческий император, а тогда...

Эта мысль отогнала сон от епископа. Он поднялся на лавке, открыл окно в карете и окинул задумчивым взглядом богатые поля Северной Италии.

Перед ним пробегали серые села, каменные усадьбы, мраморные виллы, глядящие в голубые зеркала прудов и озер; многочисленные стада рогатого скота паслись на полях, еще не тронутых дыханием осени.

Небо, туманное в Комо, прояснялось по мере того, как Амвросий приближался к Медиолану.

Он не обращал внимания на окружавший его повсюду достаток. Его нимало не занимали сокровища этой земли, он сам отказался от них, когда взялся руководить душами людей, которые отдались под его опеку.

Прежде чем взяться за управление епархией, он основательно исследовал учение Христа, принял его и полюбил со всей силой горячего, великого сердца. Он был истинным последователем Распятого Бога. Не для земной корысти, не для кресла епископа, как то делали многие, он отрекся от традиций своего народа.

С того момента, как он воссел на медиоланском престоле, он жил только для христианства, жаждал только его триумфа.

Амвросий понял, что время первого увлечения прошло и что теперь стадом Христа нужно править сильной рукой, чтобы ссоры и мелочное самолюбие не разбили его на враждебные друг другу лагеря. Римский патриций, с унаследованными от предков чувствами законности и дисциплины, со всей сознательностью гениального организатора, ввел в Церковь порядок и стройность. Он побудил Феодосия издать эдикты против сектантов и язычников, подчинил христианские общины строгой правительственной организации, высоко поднял достоинство

священника и подчинил светскую власть власти духовной.

Время от времени по его лицу пробегало облако печали. Самый могущественный вождь государства Арбогаст — язычник... Самые богатые люди Италии молились римским богам.

Амвросий не обманывал себя... В случае войны чаша победы могла перевеситься на сторону врагов христианства.

Он поднял глаза к небу и долго смотрел в ясную, чистую синеву, как будто спрашивал таинственное будущее. Его уста незаметно шевелились... Он молился. Луч надежды мало-помалу сгонял с его лица тень сомнения.

— Не для того Ты снял с детей этой земли грехи долгого прошлого,— говорил он себе,— чтобы вновь подготовить победу этим грехам. Да будет Царствие Твое, о Господи, и пусть воля Твоя творится на небеси и земли.

Быстрые кони понеслись, как вихрь, пробегая без остановки мимо многочисленных германских поселений, разбросанных по всей Северной Италии. Тут и там дома лепились к великолепным христианским церквам, но по большей части на фоне зеленых садов сверкал белый мрамор римских храмов. По обеим сторонам дороги из-за групп кипарисов выглядывали серые гробницы, черные могильные насыпи, изваяния богов, огороженные места, освященные прикосновением молнии.

Взгляд Амвросия всюду останавливался на живых еще свидетелях того прошлого, которое Господин мира обрек на забвение.

На поля и луга нисходила вечерняя тишина. Покой обнимал людей и всю природу. Голоса невольников, занятых полевыми работами, едва-едва доносились до его кареты, как отдаленное эхо. Деревья стояли неподвижно, дома потеряли яркие краски дня.

Амвросий снова приник головой к кожаной подушке и закрыл глаза. По его телу пробегала неприятная, холодная дрожь нервного утомления. Он хотел заснуть, но мысли, толпившиеся в его мозгу, не давали ему покоя.

Ночная тень уже объяла Медиолан, когда экипаж Амвросия остановился перед епископским дворцом, возле кафедрального собора. При свете факелов, с которыми слуги выбежали встретить господина, Амвросий увидел перед своим домом золоченую карету и несколько рабов в красных туниках.

— Кажется, это карета консула Симмаха? — спросил он привратника.

— Так точно, святейший отец,— отвечал привратник.— Славный Квинт Аврелий Симмах прибыл час тому назад.

— Прикажи подавать обед,— сказал Амвросий глашатаю.

В приемной зале его ждал Симмах. Они поздоровались очень сердечно. Когда-то они воспитывались вместе, были ровесниками и родственниками.

— Я привез тебе привет всей нашей семьи и Флавиана, с которым мы породнились две недели тому назад,— начал консул.

— Мне говорили, что ты соединил пожизненными узами свою Галлу с молодым Флавианом,— отвечал Амвросий,— и удивлялся, отчего вы не пригласили меня на семейное торжество.

— Мы опасались отказа.

— Мой Бог не враг семейной любви. Ты знал, Квинт, что я всегда любил Галлу.

— И она часто вспоминает дядю Амвросия.

— Я хотел бы когда-нибудь посмотреть на нее, а пока передай ей мое благословение.

Глашатай доложил, что обед подан.

— Я не смею просить тебя к моему убогому столу,— сказал Амвросий,— хотя знаю, что и ты ешь только для того, чтобы утолить голод.

И, обернувшись к глашатаю, он прибавил:

— Пусть повар вспомнит старое, доброе время.

Но консул удержал слугу.

— Если дело идет обо мне,— сказал он,— то пусть повар не вспоминает тех старых, добрых времен.

— Моего обеда не стал бы есть последний из твоих невольников, Квинт,— с улыбкой заметил Амвросий.— Я становлюсь все менее и менее требовательным.

— Что поддерживает твою деятельную жизнь, того будет достаточно и для меня,— ответил Симмах.

— Воля гостя — приказ для хозяина.

Епископ взял консула под руку и повел его в столовую. Здесь не было мягких соф, обложенных красными подушками. По обеим сторонам длинного стола стояли обыкновенные стулья. Одна большая лампа, подвешенная к потолку на бронзовых цепочках, освещала длинную сумрачную залу.

Весь обед могущественного христианского епископа состоял из рыбы, хлеба, овощей и стакана молодого вина. И один только вольноотпущенник служил патрицию, которого прежде окружал целый легион невольников.

Консул нисколько не удивился этому добровольному убожеству — во второй половине четвертого столетия это не представляло редкого явления. И язычники также подражали христианским аскетам.

Юлиан Отступник начал свое царствование с того, что разогнал царедворцев, и все главари староримского странничества времен Феодосия жили тоже скромно, и часто даже их противники не могли отказать им в уважении.

Симмах, богатейший человек Италии, без отвращения пил терпкое вино и ел ячменный хлеб.

Когда по знаку епископа вольноотпущенник удалился, хозяин и гость остались одни.

— Я догадываюсь, что тебя привело ко мне важное дело,— начал Амвросий после краткой молитвы.— Твои многочисленные занятия не оставляют тебе времени для посещения родственников. Ведь не для того же, чтобы убедиться собственными глазами, здоров ли я, ты приехал в Медиолан?

Он прислонился к спинке кресла и устремил в лицо Симмаха свой взор — умел читать в душах людей.

Симмах отвечал не сразу. Он подумал, катая между пальцами крошки хлеба, прежде чем сказал мягким голосом:

— Я хотел бы поговорить с тобой как родственник с родственником. Наши няньки и матери убаюкивали нас одними песнями, одни и те же духи-покровители, Амвросий, оберегали нашу молодость.

Епископ молчал, не спуская глаз с лица консула.

— Я хотел бы говорить с тобой как римлянин с римлянином, как гражданин с гражданином, которого касается положение родины. Не затем, чтобы услышать ответ христианского священника, приехал я в Медиолан. Хочешь ли ты говорить со мной как светский человек со светским?

Амвросий наклонил голову в знак согласия.

— Я слушаю,— отвечал он.

— И ты не будешь гневаться на меня, если с моего языка сорвется какое-нибудь опрометчивое слово? Я не всегда знаю и чувствую, что может оскорбить твою веру.

— Я твой родственник, Симмах, и христианин. Родственник любит тебя, а христианин будет снисходителен к иноверцу.

Консул снова задумался. Он, видимо, отыскивал аргументы, которые помогли бы ему убедить епископа. Вдруг он тряхнул головой, как бы утомленный бесплодной работой, и спросил прямо:

— Зачем ты нас преследуешь, Амвросий?

— Кого? — спокойным голосом спросил епископ.

— Нас, своих родных и друзей, нас, воспитанных той же матерью, какой воспитан и ты, нас, римлян, поклоняющихся народным богам,— говорил консул, нагибаясь через стол к епископу.

— Каких богов? Тех, в которых вы сами не верите.

Глаза Амвросия так проницательно смотрели на Симмаха, что язычник замолчал. Он чувствовал, что этот огненный взгляд проникает до самых сокровенных тайников его души.

— Тех, в которых вы не верите сами? — повторил епископ.— Ведь никто из вас не верит в этих народных богов, хотя вы стараетесь уверить себя, что ваши сердца принадлежат еще им. Даже император Юлиан, хотя он собственной рукой заколол не одну тысячу телиц на жертвенных алтарях, не молился богам старого Рима. Его боги были плодом его воображения, о чем ты хорошо знаешь. И вы понаделали себе богов, отвечающих вашим потребностям и вкусам. Каждый из вас признает особого бога, порожденного не верой, а разумом.

— Мы все признаем господство неземных существ, более сильных, чем человек,— заметил Симмах.

— Эти неземные существа, более сильные, чем человек, вы наряжаете в отребья философии и суеверий народа. Вас к ним ведет только разум и любовь к прошлому. Не с живой верой наших отцов вы приближаетесь к алтарям Юпитера, Юноны, Марса и Аполлона.

— Мудрец не пренебрегает никаким путем, только бы он вел к добродетели. Если ты нашел хорошую дорогу, не спрашивай, как она называется.

— Дорога, выбранная разумом, бывает всегда коротка и доступна только для одиночек, которые и без того достигнут добродетели. Одна живая вера обладает силой обновления человечества, а эта вера не эллинизм, о чем ты, Квинт, знаешь так же хорошо, как и я.

Они оба замолчали.

Симмах не возражал, ему слишком хорошо был известен ясный ум Амвросия, для того чтоб обольщать себя возможностью убедить его неискренним словом. Он и сам чувствовал недостатки возрожденного язычества.

— Говоря о народных богах,— отозвался он после долгого перерыва,— я говорю о Риме, о его прошлом и будущем. С просьбой от этого Рима, от колыбели твоих предков, я и прибыл к тебе, Амвросий. Не может быть, чтобы восточное суеверие...

Прости меня, брат... Не может быть, чтобы новые боги высосали из твоих жил римскую кровь и поселили в твоем сердце любовь к варварам. Раньше, чем ты сделался христианином, ты был римлянином. От имени детей святого Рима я приношу тебе, римский патриций, сердечную просьбу. Подействуй на Феодосия, чтобы он взял назад свои последние эдикты. Оставьте нам наши алтари и обычаи, потому что без них Рим погаснет, как гаснет лампа, у которой выгорело масло. Твои предки взывают к тебе из царства теней: пощади дряхлость богов, которые дали нам, твоим отцам, столько славы и достоинства.

Симмах говорил тепло и сердечно. Он протянул руки к епископу и повторил взволнованным голосом:

— Пощади дряхлость наших богов, Амвросий!

Глаза епископа, до того времени обращенные на консула, поднялись кверху, а из его уст тихо потекли слова:

— Не в моих руках и не в руках Феодосия находится судьба Рима. Кто-то, более могущественный, чем я и он, предрешил вашу гибель, а мы лишь орудие того Кормчего мира. Если бы Феодосий взял назад свои последние эдикты, приговор, произнесенный над вами, все равно осуществится. И только в том случае Рим продлит свое существование, только тогда будет он предписывать законы человечеству, когда падет к ногам Христа и сделается Его верным сыном.

Руки консула тихо опустились. С видом разочарования он поник головой и сказал с упреком:

— Я просил тебя говорить со мной языком светского человека.

— Я говорю именно таким языком,— ответил епископ.

— Я слышу речь христианского священника, врага римского прошлого.

— Ты слышишь голос римлянина, который сумел заглянуть в лицо настоящего и понимает голос прошедшего.

— Боги христиан изменили твои глаза и уши.

— Выслушай внимательно, может быть, и твои глаза и уши изменятся.

Симмах уставился удивленно на Амвросия.

— Говоря о Риме,— продолжал Амвросий,— вы думаете не о теперешнем Риме, но о том могущественном владыке, которому поклонялись многие народы. Вы мечтаете о господстве над миром, о Риме первых императоров. Но где же тот Рим, где его цезари, патриции, законодатели, вожди и легионы, где его доблести и мужество? На троне Юлиев, Клавдиев, Флавиев и Антонинов сидят вчерашние варвары; старый патрициат гниет в гробницах; законы диктуют вам сыновья наших отпущенников; летописи пишут христиане; во главе войска стоят франки, готы и аллеманы; ваши легионы понапрасну тратят силы в своих лагерях, не способные ни на какое отважное дело. Кому государство обязано славой за последние пятьдесят лет? Валентиниан, Валенс, Грациан — чужеземцы, Феодосий — испанец, а наших врагов громили и громят Баут, Мельтобальд, Валлион, Рикомер, Стилихон и Арбогаст. Если бы не помощь готов и франков, то варвары давно бы поделили уже наследие наших консулов и цезарей. Где же тот Рим, величие которого гонит сон с ваших ресниц и делает вас глухими к громкому голосу нового времени? Все на этой земле имеет конец — и человек, и народ. Скала, и та выветривается. Рим древности пришел к концу, состарился...

Консул сделал рукой знак несогласия.

— Я знаю, что ты ответишь,— говорил епископ.— Ты скажешь, что в Риме для нашего прошлого до сих пор бьются горячие сердца, укажешь на Флавиана, на себя, на Юлия и Галерия и на сотню других сенаторов, которые каждую минуту готовы сложить благородную голову за прежний Рим; ты скажешь мне, что рядом с вами встанет половина Италии и бросит на последнюю ставку и жизнь и имущество.

Я не спорю, что так будет. Солнце, прежде чем погаснуть, еще раз обливает своими лучами западный край неба. Но что такое вы, сторонники прежнего порядка, в сравнении со всем могуществом государства? Одна выигранная битва навсегда сломит ваше сопротивление. А этой битвы вы не выиграете никогда, ибо прошлое

миновало безвозвратно. Другим народам Бог предназначил руководить человечеством.

— Ты говоришь о Боге галилеян,— с горькой иронией ответил консул.

— Я говорю об истинном Боге, о Творце и Промыслителе света, Который существовал века, хотя люди не знали Его.

— И этот-то Бог решил, что мы должны погибнуть?

— Этот Бог решил освободить человечество от тесных законов и понятий прошлого, от его себялюбия и жестокости.

Симмах нетерпеливо дергал пурпурную обшивку своей туники. Его лицо менялось постоянно, принимая то насмешливый, то изумленный вид.

— Значит, ты говоришь решительно,— сказал он, стиснув зубы,— что Рим цезарей принадлежит уже к невозвратному прошлому?

— Это за меня говорит настоящее положение государства,— отвечал Амвросий.— Те, кто был слугами слуг наших предков, стали нашими господами; кто учился у нас мужеству и дисциплине, те служат нам теперь примером доблестей, гражданских и военных.

— Но римский народ не издевается уже над богами и не погрязает в разврате. Доблести наших праотцев воскресли.

— Они воскресли чересчур поздно. С пробужденным сознанием варварских народов, которые захватили государство, бороться не нам, остаткам угасающего племени. Мы составляем такой незначительный отряд, что были бы безумцами, если бы захотели навязывать человечеству свою волю.

— Наши цари были окружены еще меньшим отрядом, а, несмотря на то, покорили весь мир.

— Они покорили мир потому, что взамен утерянной свободы давали ему законы и порядок, а теперь положение изменилось. И варвары научились судить и приказывать. Наши добродетели убыли. Миру нужны иные добродетели, высшие, всеобъемлющие...

Они замолчали. Консул встал с кресла и прохаживался по зале скорым, беспокойным шагом, время от времени искоса посматривая на епископа. Но немного погодя он остановился перед ним и сказал с язвительной улыбкой:

— Так ты советуешь нам, чтобы мы бросились к сто-

пам твоего Бога и забыли о прошлом? И за это ты обещаешь нам господство над человечеством?

На бледном лице епископа выступил горячий румянец. Его тяготила беседа с язычником. Несмотря на это, он ответил без гнева:

— Над человечеством всегда господствует тот, кто понимает голос Бога и покорно вводит в жизнь Его предначертания. Бог пожелал расширить на весь мир достоинство человека, которое старый Рим захватил лишь для своих детей, и поднять смертных до Себя с помощью добродетелей, неизвестных нашим предкам. Если Рим сделается исполнителем этого нового повеления, тогда он и далее останется владыкой мира...

— А если он не преклонится перед мудростью рабов? — подхватил консул.

— Тогда от него вскоре останутся лишь развалины и могилы.

Симмах долго смотрел со скорбью на епископа. Потом он заломил руки и воскликнул:

— Ты уже не римлянин, Амвросий!..

И он снова начал ходить по зале быстрым, неспокойным шагом, взволнованный гневом, который кипел в его душе.

Он очень хорошо знал, что́ именно епископ называл новыми добродетелями и новым порядком: открытое исповедание Христова учения сняло с него наговоры первых трех веков. Ни один из образованных язычников четвертого столетия не верил в сплетни прошлого о поклонении ослиной голове, об убийстве младенцев, об отравлении колодцев и ненависти к человеческому роду. Заповеди христианства стали всеобщим достоянием. Симмах так же, как Амвросий, понимал, что реформаторская сила новой веры основывалась на уравнении всех людей перед лицом нового Бога, какого бы они ни были положения, рода и национальности, и что это освобождение человека было противно его римскому сердцу. Священный, вечный Рим, владыка мира, должен поделиться своими преимуществами с варварской чернью? Да, крохи своих прав, добытых кровавым трудом веков, он мог бросить голодной своре чужеземцев, мог быть милостивым, снисходительным, даже щедрым, если бы на то была его воля, но он не должен унижаться до братства с народами, обреченными на рабство.

— Если бы я не знал, кто ты таков,— отозвался Сим-

мах, бегая по комнате, как волк в клетке,— то никогда бы не поверил, что разговариваю с патрицием.

— И патриций рождается, живет и умирает, как последний невольник,— мягко сказал Амвросий.— Удивляет меня, что ты этого не хочешь понять, ты, ум которого умеет проникать в сущность вещей. Другому можно простить, но ты, писатель и мыслитель, должен же уважать в каждом человеке человека.

— Я бы мог ответить тебе, что так же, как и патриций, родится, живет и умирает каждое неведомое, однако мы убиваем и съедаем его, ибо неведомый Властелин мира приказал всему, что существует на земле, служить человеку и варваров сделал орудием Рима.

— Так было когда-то, а теперь Бог решил иначе.

— О, этот ваш Бог...

Амвросий повелительным взглядом остановил богохульство Симмаха.

— Я христианин,— сказал он тем же резким голосом, которым громил избирателей Коменской общины.— Ты хотел, чтобы я говорил с тобой языком светского человека... Я согласился исполнить твое желание. Но теперь и ты исполни то, чего я потребую... Не употребляй имени Бога моего всуе...

В зале воцарилась тишина. Епископ и консул стояли друг против друга: первый — спокойный, возвышенный, другой — возбужденный, с гневно сверкающими глазами, с горячим румянцем на щеках. Близкие по крови, воспитанию и традициям одного и того же народа, они смотрели друг на друга, как люди чужие, которых не сближала общая цель жизни. Разность убеждений так разделяла их, души их разошлись так далеко, как будто они были детьми чуждых рас и эпох. Симмах, погруженный в тень прошлого, не видел, что делается вокруг него; Амвросий, озаренный розовыми лучами будущего, читал его еще закрытые страницы и слышал голос предназначения.

— Я знал, что не сломлю твоего упорства,— сказал первый Симмах.— Но Флавиан просил, и я уступил... Больше я не буду утруждать тебя... Ты устал... Иди отдыхай, и пусть тебе снятся гибель Рима и падение твоей родины.

Его губы подергивались, как у ребенка, который сдерживает затаенные слезы, голос дрожал, слова выходили из горла с усилием и становились все отрывистее, все тише...

Он взял с кресла тогу, накинул ее на себя и повернулся к дверям.

— Квинт! — позвал его Амвросий.— Сон под моей кровлей вдохновит тебя на правильные мысли. Может быть, завтра мне удастся легче убедить тебя.

Но Симмах отрицательно покачал головой.

— Под твоей крышей в моем сердце вывелись бы только змеи ненависти,— отвечал он.— Я задохся бы в воздухе, которым дышишь ты, меня уязвили бы те предметы, к которым ты прикасаешься.

— Я буду молиться, чтобы Творец мира просветил ваши надменные сердца.

— Избавь себя от труда, галилеянин! Твоих молитв мы не желаем, а с твоим заблуждением поговорим по-римски!

И Симмах выбежал из залы.

Голова Амвросия упала на грудь, руки опустились, вся фигура склонилась книзу, разбитая, угнетенная угрозой Симмаха. Его губы шептали:

— И снова польется человеческая кровь... римская кровь...

В груди этого ревностного христианина и служителя Бога билось римское сердце, хотя консул и бросил ему в лицо упрек, что он перестал быть римлянином. Он любил старый город Ромула, как Флавиан и Симмах, и со скорбью взирал на его упадок. Амвросий неуверенными шагами дошел до домашней церкви, где распятый Спаситель занял место духов, охранявших его род.

Алебастровая лампада, заслоненная красной индийской тканью, бросала кровавый свет на Христа, пригвожденного к кресту.

Амвросий долго тоскующими глазами упивался горестью, идущей от лика Сына Божия, потом преклонил колени и начал просить запекшимися устами:

— Господи, смилуйся над этим несчастным народом, который не хочет склониться перед Твоим милосердием и слеп к блеску Твоей истины. Ты знаешь, о Всесильный и Всеведущий, что его надменность порождена веками славы и господства.

И, припав лицом к земле, он молился, как самый простой человек из его паствы, молился вздохами, отрывистыми словами, болью сердца, молился горячо, до полного изнеможения тела. Утомленный трудом целого дня, он преклонил свою опечаленную голову на мраморный пол церкви и заснул.

VIII

— Ты помнишь мою мать, Теодорих.

Старый аллеман, который, стоя на коленях, обувал ноги воеводы в пурпурные, обшитые жемчугом сандалии, поднял голову и с удивлением посмотрел на своего господина.

— Я вместе с вашим отцом выкрал ее, господин,— ответил он.

— Значит, это правда, что мой отец силой похитил мою мать из дома ее отца.

— Об этом говорили во всей Галлии.

— И я кое-что слышал о молодости моего отца, но не знал точно подробностей этого похищения. Должно быть, это было молодецкое дело.

Лицо Теодориха прояснилось, точно на него упал отблеск факела. Он самодовольно улыбнулся и сказал:

— Да, господин, есть что вспомнить... Не было для нас ревущих потоков и в небо уходящих гор. Самые широкие реки мы переплывали вплавь, на Иберийские скалы вскарабкивались, как дикие козлы, из лесных зарослей выводили за рога туров... Помню раз...

— Ты хотел рассказать о похищении моей матери,— прервал его воевода.

— О, ваша мать!.. Она была прекрасна, так прекрасна, что сама императрица Юстина завидовала ее красоте. Когда мы приехали с ней к цезарскому двору в Медиолан, то даже мудрые сенаторы теряли голову. Для нее устраивались пиры, игры, для нее выписывали актеров из Рима, певцов из Александрии, танцовщиков из Константинополя. Но ваш отец, господин, не любил, чтобы кто-нибудь посягал на его собственность, хотя бы только одним похотливым взглядом. Баут Фабриций не умел понимать шуток. Не всем безопасно было возбуждать в нем гнев. Помню раз...

— Мой отец встречался с моей матерью в Южной Галлии,— снова прервал воевода.

— Мы с императором Грацианом охотились в лесах, расстилающихся у подножия Пиренеев. Вы знаете, господин, что божественный Грациан очень любил охоту и с большим удовольствием окружал себя людьми нашего

племени, за что и навлек на себя месть римлян... Бедный государь... Если бы он не погиб в таких молодых летах, то франки Арбогаста не распоряжались бы в Галлии, как у себя дома...

Воевода нетерпеливо повернулся в кресле.

— Я в третий раз говорю тебе: расскажи же мне о похищении моей матери.

— Сейчас, сейчас,— отвечал Теодорих, поднимаясь с пола.— И мой сокол ускорил бы, если бы мог, бег времени, как Баут Фабриций. Сейчас, сейчас... И Баут Фабриций не любил ждать. Кровь его постоянно кипела, а руки были так быстры, что часто ударяли по невинным. Но потом он раскаивался и старался загладить несправедливость.

Воевода закусил губы.

— Я сегодня не дождусь твоего рассказа,— проворчал он.—Ты стареешь, Теодорих.

— Ага, это похищение,— отвечал седой солдат, потирая лоб рукой.— Да, так вот, встретили мы вашу мать в первый раз в Южной Галлии...

— Вблизи Толозы... добавил воевода, который становился все нетерпеливее.

— Да, вблизи Толозы... Она приехала вместе со своим отцом из Иберии, страны басков, чтобы посмотреть на двор императора Грациана. А смотреть было на что, потому что на охоту мы ходили точно на войну. Ваш отец, когда увидел ее, побледнел, весь затрясся, потом говорит мне: «Видишь ты эту иберийку?» «Вижу, господин!» — отвечаю я. А он дальше: «Эта иберийка будет твоей госпожой, не то я размозжу тебе палицей череп, а себе воткну в бок меч под пятое ребро. Я говорю ему на это: «Иберийка будет моей госпожой, хоть бы она была дочерью римского императора. Разве у нас мало лесов? Есть где скрыться, даже от мести божественных властителей!» Ваш отец улыбнулся и сказал: «Самый лучший конь моей конюшни будет ходить под тобой, самый острый меч моей палатки будет блестеть у твоего бедра». Он всегда так: одной рукой грозит, другой жалует. «Узнай мне, кто она такая» — приказал он мне.

— И ты узнал? — помогал воевода, чтобы ускорить пространное повествование старого слуги.

— В тот же самый день мы знали, что это иберийская дочь какого-то языческого жреца. В Иберии существуют и сейчас разные, особые суеверия. Нам расска-

зывали, что ваш дед почитал будто бы солнце или месяц, не знаю хорошенько, поклонялся какой-то звезде.

Глаза воеводы с удивлением взглянули на Теодориха.

— Ты говоришь, что моя мать была язычница,— сказал он,— а я помню, что она сама учила меня правилам нашей веры.

— Потому что ваш отец познал нашего Доброго Пастыря,— отвечал Теодорих,— а он не любил, чтобы кто-нибудь в его доме верил иначе, чем он.

— А моя мать покорилась ему без сопротивления?

— Вы знаете, господин, что любви женщина всегда покоряется без сопротивления. Она любит того бога, которому поклоняется ее супруг.

— Ты так думаешь?

— Любовь для женщины самая могущественная вера, а ваш отец окружил ее такой любовью, что в его объятиях она позабыла о суевериях детских лет. Кто будет спрашивать женщину о ее воле?

Воевода опечалился. Мысли его перелетели в атриум Весты, и с напряжением он вспоминал лицо Фаусты Авзонии. «Была ли бы и она так же покорна, как его мать, любила бы и она Бога своего мужа?» — спрашивал он тоскливо.

Но от сурового лица жрицы веяло такой решительностью, что для него не оставалось никакой надежды.

— Не все женщины повинуются приказаниям мужа,— сказал он вполголоса.

Но Теодорих покачал своей седой головой.

— Все, господин, если только муж — настоящий муж.

— Разве ты никогда не видел жен, противившихся своим мужьям?

— Я видел много таких, но их мужья не были мужчинами.

— Ты говоришь, что мой отец...

— Ваш родитель, господин,— быстро прервал Теодорих,— делал всегда то, что хотел. Когда он говорил: «Так будет!» — то так и было. Когда ваш дед отказал ему в руке дочери, он только нахмурился и посмотрел на меня. Я сразу догадался, что значит этот взгляд. Мы выходим из дома этого языческого жреца, садимся на коней и мчимся несколько времени молча, как будто нас преследует смерть. Но вдруг ваш отец остановился, одним движением поводьев осадил коня на задние ноги и вздохнул, точно раненый тур. По моему телу пробежали мурашки. Пожалуй, подожжет крышу над упрямой го-

ловой этого почитателя солнца или месяца, подумал я. Он вздыхал, ворчал что-то, наконец, крикнул: «Мы вернемся еще сегодня!..»

— И вы вернулись? — спросил воевода, который слушал все с большим интересом.

— Я говорил вам, господин, что отец ваш не любил шутить. Мы вернулись ночью, вырвали птенца из его теплого гнездышка, а старая птица угрожала только хвостам наших лошадей.

— А моя мать?

— Бедняжка сперва плакала, рвалась домой, обыкновенно, как это делает женщина, но поцелуи вашего отца скоро осушили ее слезы, а когда она поняла вкус любви, то позабыла о солнце, месяце и всех иберийских звездах. Вы знаете, господин, что она полюбила нашего Доброго Пастыря с горячностью новообращенной.

Воевода встал с кресла и ходил по уборной неуверенным шагом человека, все внимание которого занято мыслями, только что нарождающимися в его голове. Временами он останавливался перед Теодорихом и смотрел на него пытливым взглядом, но ничего не спрашивал.

И он всегда исполнял то, что ему хотелось, и он слепо, не думая, бросался на всякую опасность. Но его врожденную горячность сдерживала миссия, с которой он был послан в Рим. Уполномоченному императора нельзя было унизить достоинство власти для своих собственных целей. Он обманул бы возложенное на него доверие, если бы любовь лишила его самообладания.

Но смелость можно соединить с осторожностью. Пределы государства так обширны, что в них даже и преступники теряются без всякого следа. В глухих лесах Галлии и Франконии, среди скал и приморских гор, еще до сих пор скрываются сторонники императора Максима, насмехаясь над могуществом императора Феодосия.

Воевода перебрал в уме свои имения, разбросанные в западных провинциях. На берегу Средиземного моря, по дороге к Пицеи, его отец устроил в горах укромное гнездышко, удаленное от шума города. Никто не заглядывал в это забытое законом, отдаленное место — ни страж сельской общины, ни декурион, ни даже таможенный надсмотрщик. Птичку, которую он посадил бы туда, не отыщет самый чуткий пес из своры гончих префекта Рима. Его же люди будут оберегать его сокровище от любопытства докучливых людей.

Соображения воеводы, сначала неясные и колеблющиеся, становились с каждой минутой все определеннее. Почему бы и ему не вырвать из завистливой руки судьбы свое счастье, как это сделал его отец? Его ли вина, что образ Фаусты Авзонии лишил его спокойствия? И что в том, если любовь к весталке в Риме считалась святотатственной? Для христианина не обязательны обычаи язычников.

— А отец учил мою мать правилам нашей веры? — спросил он Теодориха.

— Ваш отец поручил вашу мать попечениям пресвитера Севера,— ответил старый аллеман.

— Как скоро моя мать забыла заблуждения своего народа?

— Ваша мать слишком любила вашего отца, чтобы долго противиться голосу истины. Через месяц она сама пожелала облечься в белое платье оглашенной.

— Не много же усилий пришлось употребить священнику Северу.

— Любовь быстрее несет время на своих орлиных крыльях.

— Может быть,— прошептал воевода.

— В этом мой сокол убедится и сам, потому что молодость без любви все равно, что весна без соловья. В старые же лета...

Теодорих махнул рукой.

Воевода молчал.

Он все искал способ сблизиться с Фаустой Авзонией, но то враждебное положение, которое он занял по отношению к язычеству, преградило ему дорогу к ней. Всякий раз, как он стучался в двери атриума Весты, жрица или исполняла свою службу, или была в городе; с патрицианскими же домами, которые она посещала, он не имел никаких сношений. Римская аристократия не допускала его к себе.

Отрешенный от общества Фаусты Авзонии, он встречал ее временами на улице, но и тогда к ней было трудно пробиться сквозь ее многочисленную свиту, не говоря уже о том, что это противоречило и обычаю. Такая неприкосновенность весталки раздражала его нетерпение.

Когда он обдумывал, каким бы способом удалить преграды, отделяющие его от Фаусты Авзонии, ему на помощь пришел случай.

В Рим проездом из Константинополя в Виенну прибыл граф [10] Валенс, начальник телохранителей императора Феодосия, который занимал когда-то в древней столице его теперешнее место. Граф, по-видимому, не был таким ревностным слугой истинного Бога, как Фабриций, потому что разгульная римская молодежь устроила в его честь пир в доме трагической актрисы Эмилии, известной своим развратом в целом государстве. На этот пир, согласно желанию гостя, был приглашен и воевода Италии.

Несколькими неделями ранее Фабриций не воспользовался бы любезностью язычников, теперь же, томимый жаждой приблизиться к Фаусте Авзонии, радостно ухватился за представившийся случай. У веселой исполнительницы печальных произведений Софокла, Еврипида и Эсхила он несомненно встретит какого-нибудь родственника или знакомого весталки,— всем было известно, что у знаменитой актрисы собирается самая богатая молодежь Рима. Фабриций завяжет с ними знакомство и войдет с его помощью в патрицианские дома.

— Дай мне плащ,— сказал он.— За носилками пойдут десять легионеров.

Когда Теодорих ушел, Фабриций надел на шею золотую цепь с портретом Валентиниана и посмотрелся в полированное серебряное зеркало.

Назначенный час прошел уже давно, но воевода нарочно медлил — до такой степени ему было противно общение с язычниками.

По Широкой улице в гору, к Марсовому полю, шла блестящая процессия. Впереди бежали два подростка в желтых туниках, разгоняя ротозеев длинными камышовыми палками, и постоянно выкрикивали:

— Место воеводе Италии!

За скороходами шли в три ряда пятнадцать невольников, рыжеволосых гигантов из лесов Галлии, в плащах из леопардовой шкуры. Носилки из цитрового дерева несли восемь черных нубийцев с большими золотыми кольцами в ушах. Потом шли опять пятнадцать невольников, а в самом конце блестели доспехи легионеров.

Теплый осенний вечер вызвал бедный люд на улицу. На пороге лавок и мастерских сидели купцы и ремесленники и радовали свои усталые глаза видом детей, которые играли на тротуаре. Отцы беседовали вполголоса; матери смотрели на шалости своих детей; молодежь

[10] Титул начальника телохранителей Цезаря, а также высших чиновников государства.

скакала с резвостью жеребят, выпущенных на луг.

Гистрионка Эмилия жила в собственном доме, возле театра Помпеи. Воевода никогда не восхищался знаменитой актрисой на сцене, потому что его ненависть ко всему, что напоминало старый Рим, заставляла его пренебрегать театром, амфитеатром и гипподромом столицы, но об Эмилии он много слышал. О ней часто говорили и в Виенне, восхищались ее красотой и талантом или негодовали на нее за то гибельное влияние, которое она оказывала на богатую римскую молодежь. Священники называли ее публичной блудницей и добивались от императора, чтобы он наказал изгнанием распутную актрису.

Фабриций без любопытства приближался к дому Эмилии. Для него жилище актрисы было вертепом греха, а она сама воплощением преступления.

Этот вертеп греха, по крайней мере снаружи, не производил впечатления грязной норы, осквернённой оргиями. Носилки остановились перед портиком, колонны которого искусная рука украсила миртовыми гирляндами. В дверях, открытых настежь, стоял гигант германец в блестящей тунике жемчужного цвета и держал в руках длинную камышовую трость с золотым набалдашником.

— Воевода Италии! — крикнул один из скороходов, подбегая к привратнику.

Германец обернулся и громко повторил:

— Воевода Италии!

В ту же минуту из передней выбежали два негритенка и помогли воеводе выйти из носилок.

На пороге приемной залы появился грек и показал ему дорогу дальше; по коридору его проводил сирийон; каждую новую занавеску приподнимал невольник новой народности. На всех невольниках были светлые туники, на головах венки, на лицах виднелись здоровье и довольная, веселая улыбка.

Актриса Эмилия, по-видимому, была доброй госпожой, если распространяла вокруг себя веселье.

Когда воевода вошел в столовую, то глаза его залила волна такого сильного света, что в первую минуту он не мог различить ни людей, ни предметов. На него отовсюду лились красные, фиолетовые, желтые и зеленые лучи, изливающиеся из алебастровых ламп, заслоненных прозрачными тканями. Воздух был пропитан сильным благоуханием нарда.

Воевода поднес руку к глазам и пытливым взглядом окинул вертеп «публичной развратительницы».

Его удивил необыкновенный вид этого вертепа. Большая полукруглая зала имела вид грота. Ее стены состояли из скал, увешенных индийскими кустарниками, на которых красовались пурпурные раковины. Посредине бил фонтан, выбрасывающий струю воды, которая в виде пыли падала в бассейн из коринфской меди. И струя фонтана и водная пыль отливали всеми цветами радуги.

С трех сторон фонтана в виде подковы стояли два длинных стола и один короткий. За столами, на ложах из черного дерева, покрытых китайскими вышивками, возлежали гости Эмилии.

Воевода хорошо рассчитал время. Обед подходил уже к концу, о чем говорили усталые лица богачей, окружавших актрису блестящей свитой. В городе было известно, что каждый из них поочередно пользовался расположением Эмилии.

А где же она, эта блудница, о которой столько говорили в Виенне?

Фабриций, не замеченный еще хозяйкой, искал ее сумрачным взглядом. Ее заслонял фонтан. На ложе, поставленном на изгибе полукруга, виднелись только желтое платье и маленькие ножки, обутые в красные сандалии, искрящиеся рубинами. Из этого места лился свет, как из храма Юпитера Капитолийского, потому что на стене сверкали золотые лавровые венки, трагические маски и таблицы с надписями. Это были трофеи актрисы.

Слуги обносили гостей вином и фруктами, к которым никто не прикасался. Никто также не обращал внимания на двух красивых, совершенно обнаженных андалузок, танцующих танец любви. Молчание пресыщения господствовало за столами.

В это время кто-то из гостей отозвался:

— Сегодня в курии мне говорили, что молодой Клавдий открыл себе в ванне жилы. Предстоят пышные похороны.

— Эмилия должна облечься в платье вдовы и идти во главе плакальщиц,— заметил кто-то другой.— Это ее непостоянство отравило молодую жизнь юноши.

— В последнее время он с горя отчаянно играл в кости и потерял почти все состояние,— добавил третий.— Если Валентиниан узнает об этой новой жертве нашей прекрасной хозяйки, то, пожалуй, лишит нас ее общест-

ва. Я слышал, что сам епископ Амвросий требует удаления Эмилии из Рима.

— Если это так,— вставил четвертый,— то Эмилии грозит действительно какой-нибудь неприятный декрет из Виенны. Амвросий до такой степени опутал Валентиниана, что молодой император исполняет его желания с покорностью послушного ребенка. Я не могу себе представить нашу хозяйку под присмотром христианских священников. Эти глупцы, кажется, питают отвращение к красивому телу.

Фабриций устремил свой взгляд в сторону Эмилии. Ее голос подействовал на него, как эхо дорогой сердцу песни. Это был глубокий, альтовый голос Фаусты Авзонии.

Он посмотрел и широко открыл изумленные глаза. Если бы он не знал, где находится, то принял бы знаменитую грешницу за Фаусту Авзонию, так Эмилия была похожа на племянницу Флавиана.

Гистрионка уже заметила его. С минуту она внимательно, сквозь полуопущенные ресницы присматривалась к нему, потом приподнялась на ложе и сказала:

— Воинственного сына Марса приветствуют вечно юные и вечно смеющиеся Музы. Аполлон живет в согласии с Марсом.

— Привет тебе, прекрасная Эмилия,— ответил воевода. И, поклонившись собравшимся, прибавил: — И вам, славные мужи.

Эмилия ударила в ладоши, и, когда на этот знак появился невольник, она сказала:

— Подай сюда жертвенный кубок!

И, наклонившись к начальнику телохранителей Феодосия, который возлежал рядом с ней, она шепотом сказала ему:

— Уступи свое место этой воплощенной христианской невинности. Сделай это для моей и вашей потехи... Завтра я вознагражу тебя.

— Ты хочешь испробовать свои силы на этом упрямце? — спросил граф.— Желаю тебе успеха, хотя сомневаюсь: он ревностный почитатель Амвросия.

— Тебе известно, что препятствия только поощряют артистов. Мне наскучили легкие победы.

И, обратившись к Фабрицию, актриса движением руки указала ему на освободившееся место.

— Редким гостям всегда принадлежит особое внимание хозяйки,— сказала она.

Воевода, сопровождаемый многозначительными взглядами римлян, медленными шагами приближался к ложу Эмилии. Было видно, что он колеблется, что внимание «публичной блудницы» не доставляет ему удовольствия.

От Эмилии не ускользнулэ его замешательство.

— Мне говорили, что для твоей отваги не страшны какие бы то ни было варвары. Неужели ты испугаешься одной беззащитной женщины?

И она остановила на нем свои большие черные пламенные глаза, такие глубокие и невинные, как будто они обращались только к небу. Она изображала в театре богинь и исторических героинь.

Фабриций, сообразив, что сделался бы смешным, если бы сопротивлялся дольше, возлег около актрисы.

— Редкое соединение! — воскликнул Валенс.— Горячая молитва около горячей любви, душа около тела.

— Душа без тела — тень, а тело без души — отвратительный труп,— ответила Эмилия.

— Это значит, кто молится, тот должен любить.

— Или, кто любит, тот молится.

— Из этого выходит, что Эмилия из всех нас самая богобоязненная.

В зале раздался веселый смех. Смеялись гости, смеялась сама хозяйка.

— Обоготворим Эмилию после смерти! — воскликнул кто-то.

— Нет, при жизни! При жизни! — настаивала Эмилия.

— Построим храм чистой деве, которая так усердно молится на земле.

— Наши внуки и правнуки будут возжигать фимиам на ее алтаре.

— Несчастливые любовники будут приносить ей в жертву белых телиц.

— О Эмилия, божественная, бессмертная Эмилия! — ходатайствуй за нас перед матерью Венерой!

Римские патриции простирали руки к актрисе и вполголоса затянули песнь жрецов богини любви.

— О Эмилия, божественная, бессмертная Эмилия,— повторяли они за каждой строфой.

Фабриций видел подле себя живое отражение женщины, образ которой уже так давно не давал ему возможности смотреть на какую-нибудь другую женщину. Временами ему казалось, что он обманывается, что рядом с ним возлежит не известная актриса, а Фауста Авзония, и тогда придвигался к ней, чтобы коснуться своим платьем ее платья. Она не упустила из виду ни одного его движения, хотя глаза ее были обращены кверху, и незаметно подвигалась к нему, касаясь волосами его лица или дотрагиваясь рукой до его руки.

Виночерпий Эмилии принес большой кубок, наполненный греческим вином.

— Свой обед мы начали с возлияния в честь божественных и вечных императоров,— сказала Эмилия, подавая воеводе хрустальный сосуд артистической резьбы.— Кто не принесет этой жертвы, тот оскорбит наше верноподданническое чувство.

Она лгала нарочно, потому что знала, что только таким обманом принудит Фабриция выпить огромную чашу. Новый римлянин не откажется от возлияния в честь императора.

Воевода несколько секунд колебался. Точно придерживаясь предписаний своей веры, он был так умерен в употреблении вина, что испугался размеров сосуда. Он сразу захмелеет.

— Честь и хвала нашим божественным императорам! — воскликнула Эмилия.

Фабриций быстро выплеснул несколько капель на пол и потом сразу влил в себя огненный напиток.

— Да сохранит истинный Бог как можно долее наших вечных государей для славы государства и святой христианской веры! — сказал он.

— Да сохранит их Бог! — повторил с ним Валенс.

Ни один из молодых богачей, принадлежавших к постоянным гостям Эмилии, не принимал участия в общественных делах и не заботился ни о той, ни о другой вере. Все они признавали только культ стола, стакана, игры и красивого женского тела, но и на их вольные души пала тень грозной минуты, и они не любили императоров, которые поклялись погубить старый порядок.

— Пусть бог нищих и варваров как можно скорее перенесет их в царствие небесное галилеян! — отозвался вполголоса один из юношей.

— Мы не позавидуем их славе в царстве теней,— проворчал другой.

В зале наступило неловкое молчание, свидетельствующее о том, что в компанию вторглась чуждая, нежелательная стихия. Язычники и христиане смотрели друг на друга исподлобья.

Эмилия, заметив, что она коснулась больного места, приказала наполнить кубок во второй раз и сказала:

— Новичка нужно посвятить в наши таинства. Гляди, воевода, и помни, что в пределах моего царства для богов нет места. Все они, истинные и ложные, великие и малые, признанные императорами или только снисходительно терпимые, остаются за дверями моего дома, потому что все они скучны и похожи на брюзжащих стариков.

Фабриций хотел было возразить, но маленькая ручка закрыла ему рот.

— Жители небес скучны и невыносимы,— продолжала Эмилия,— потому что по их следам идет фанатизм, из которого рождаются ссора, насилие и ненависть. Они отравляют наслаждение жизни, пугают смертного загробными муками, они обращают цветущую землю в кровавый вертеп. Они смешивают языки, умы и добродетели; они сварливы, как философы.

Фабриций во второй раз хотел возразить, но снова к его губам прикоснулись белые пальцы.

— За дверями моего дома остаются также,— говорила Эмилия, усмиряя воеводу улыбкой,— старые, наводящие тоску, беззубые ведьмы, называемые гражданскими добродетелями, грусть, бедность и всякие другие глупости и нужды этой земли и всякие обольщения, которыми человек себя обманывает. Что портит жизнь, то не имеет доступа в наше братство, соединенное жаждой наслаждений. Одну только жительницу неба встречаем мы всегда с радостью, так как с ней входят веселье, забава и забвение. Богине бессмертной, всегда молодой, неизменно прекрасной — любви приношу я в жертву это благородное вино...

Она вылила всю чашу на пол и ударила три раза в ладони.

Со всех сторон, справа и слева, сверху и снизу, из-за всех занавесок полились в залу тихие, мягкие звуки флейт. Казалось, что поет весь дом. А когда замолкли мягкие, нежные звуки инструмента, зазвенел серебристый женский голос.

— Теперь уже нет Катуллов,— сказал один из патрициев.

— Потому что их спугнули религиозные споры, измышленные этими отшельниками и постниками,— ответила Эмилия.— Оставим богов в покое. Если они могущественнее нас, то легко обойдутся без поклонений человека. Какое им дело до наших жертв, фимиамов и молитв?

Она улеглась поудобнее на софе, закинула руки за голову и обернулась лицом к Фабрицию.

Он лежал с закрытыми глазами.

Все, что он слышал, для него было так ново, что он не знал, как вести себя. Уйти или остаться в этом мишурном вертепе греха и богохульства? Эта дерзкая актриса смеялась над священными вещами, а граф Валенс, приближенный императора Феодосия, вторил ей ободряющим смехом, хотя на правом плече его туники красовалась монограмма Христа.

Он должен бросить общество, которое оскорбляет его чувства и убеждения... Но Валенс ему не простил бы этого, а его помощь, может быть, в скором времени потребуется против язычников западной префектуры. Влияние начальника охраны Константинопольского двора на стареющего императора было хорошо известно в Виенне.

А потом... Эта явная блудница, кичащаяся бесстыдно своим распутством, приковывала его к себе каждым своим движением, каждым взглядом. Настоящая Фауста Авзония, оплакивающая судьбу Антигоны... Фабриций знал, что Эмилия играет роль, но, несмотря на это, закрыл глаза, чтобы удержать в память ее образ и отуманить себя сладостным обманом.

Он грешил... Это слово он постоянно повторял себе в душе, сам сознавал свою вину, но этот грех был так сладок, что заглушал всю горечь его проступка...

На будущей неделе он вручит епископу значительное пожертвование для бедных и будет молить Бога простить ему. Добрый Пастырь простит, ведь сказал же Он, что даже святые и те не безупречны...

Эти мысли быстро перекрещивались в голове Фабриция. Христианская совесть приказывала ему покинуть дом актрисы, но молодость, здоровье и старое вино, которые волновали его кровь, удерживали его на мягком, благоухающем ложе рядом с прекрасной женщиной.

И, погруженный в мечты о Фаусте Авзонии, он вдруг почувствовал на своем лице горячее дыхание.

Он открыл глаза, и кровь бросилась ему в голову. Над ним сверкала пара глаз, пламенных, как сама страсть, ему улыбались уста, чувственные, как само сладострастие.

Эти уста приближались к нему, обдавая его жаром дыхания.

— Сто раз целуй меня, и тысячу, и снова еще до тысячи,— шептали эти уста.— Опять до ста...

Фабриций хотел вскочить с софы, но его голову обхватили белые руки и на его грудь склонилась колеблющаяся грудь.

— Давай любить и жить, о Лесбия, со мной; за толки стариков угрюмых мы с тобой не дадим одной монеты медной. Пускай восходит день и меркнет тенью бледной, для нас, когда заря зайдет за небосклон, настанет ночь одна и бесконечный сон.

А кругом, из-за всех занавесей, в залу лились сладкие звуки флейт, смешиваясь с шумом фонтанов.

— Жить!.. Любить!..— шептала Эмилия.

Фабриций взглянул на актрису... Фауста Авзония!.. Только не та, бледная, печальная, отталкивающая от себя холодностью, а розовая, страстная...

И христианин забыл о требованиях своей веры. Юноша, опьяненный вином, песнями, музыкой, схватил ее в свои объятия и привлек к себе как неотъемлемую собственность. И он пил бы с ее губ наслаждение без конца, до потери сознания, если бы от этого очарования его не пробудили громкие рукоплескания.

Рукоплескал Валенс, рукоплескали римляне.

— Добродетель в объятиях распутства! — восклицал граф, захлебываясь от смеха.

Фабриций метался на ложе, как смертельно раненный зверь. Он оттолкнул от себя Эмилию и вскочил на ноги.

Он понял все... Этот кутящий сброд потешался над его слабостью. Он являлся потехой игрокам и пьяницам. Он отрезвел сразу.

— Не тебя ласкал я, блудница! — сказал он.

Все опять расхохотались.

— А кого же? Может быть, образ твоей умершей любовницы? — спросил один из патрициев.

Стыд и гнев пробудили в Фабриции варвара.

— Молчи ты, языческая собака! — крикнул он.

В зале воцарилась гробовая тишина. Недавний римлянин, полуварвар, оскорбил римского патриция,

Как, дело дошло уже до того, что первый попавшийся пришелец, зависящий от капризного расположения императора, чужеземец осмелился нагло бесчестить детей Рима? Этого до сих пор еще не бывало. Даже христианские императоры, хотя и старались столкнуть славную столицу мира с пьедестала власти, преклонялись перед величием ее прошлого. Триумфальный въезд в Рим не перестал быть наивысшей почестью для вождя, украшенного лаврами многих побед; латинский язык все так же господствовал во всем государстве; законы, установленные «сенатом и народом», одинаково имели силу, как в западных префектурах, так и в восточных. Константин, Иовиан и Валентиниан I, хотя и ревностные христиане, не осмелились посягать на обычаи и нравы вечного Рима. Грациан первый лишил народные храмы покровительства власти, за что его и покарала месть поклонников старого порядка. Даже галилеяне признавали первенство Рима. Их высшим духовным лицом, епископом над епископами, был начальник римской общины.

Очарование «царицы мира» еще не угасло. Львица осталась львицей до последнего издыхания. Чужеземцы до сих пор добивались чести получить право римского гражданства. Всякий разбогатевший варвар платил миллионы за сенаторский титул и столько же раздавал римскому народу, чтобы он простил ему чуждое происхождение.

А этот аллеман, только вчера переодевшийся из шкур диких зверей в платье цивилизованного народа, осмелился опозорить римского патриция, как простого невольника!.. Такие же, как он, валялись когда-то — и это было недавно — в пыли амфитеатров, умерщвляя друг друга для забавы «господ света».

Значит, Флавиан и Симмах недаром призывали детей Рима к обороне? Их призывы, значит, не были брюзжанием стариков, встревоженных приближающейся смертью.

Префект и консул не ошибались... Варвары, ободренные расположением императоров, которые сами вышли из их среды, стали унижать своих прежних господ!..

Самая пламенная речь даровитейшего ритора не произвела бы такого действия, какое произвели три дерзких слова Фабриция. Они ободрили усталых, отрезвили пьяных. Эти распутные богачи, несмотря на свою развратную жизнь, все-таки были римлянами. На дне их серд-

ца дремала старая гордость победителей мира, усыпленная только бессмысленной жизнью.

Тот, которого Фабриций назвал языческой собакой, сперва остолбенел от изумления, потом соскочил с ложа, схватил хрустальный кубок и бросил им в воеводу.

— Выбросить на улицу этого наемника!—завопил он.

— Варвар!..

— Галилеянин!..

— За дверь его, за дверь! — раздавались крики.

Патриции вскакивали с мест, хватали со столов, что было под рукой—ножи, кубки, подсвечники,— и бросали в воеводу.

Оскорбление, нанесенное народной гордости, сравняло этих пышных баричей с людьми толпы. Все завопили, замахали руками, как поденщики на рынке в Затиберской части города.

— Связать его... Вышвырнуть!..

— Переломать ему кости!..

Фабриций, бледный от гнева, стоял с поднятой головой и раздувающимися ноздрями, как боевой конь, который услышал звук трубы. Он искал у пояса меч... Его не было... Он оставил оружие в передней... Он быстро осмотрелся вокруг... Невдалеке от него горела лампа, стоявшая на высоком бронзовом треножнике. Он сбросил лампу на пол, схватил треножник и заслонил им голову.

— Пусть сперва напишет завещание тот, кто захочет подойти ко мне! — крикнул он.

Но слепое бешенство не видит опасности.

— Заткнуть ему нахальный рот!

— Укротить этого германского медведя!

— За дверь его, за дверь! — вопили римляне и окружали кольцом воеводу.

Он оперся о стену и спокойно ждал противников. Он уже поднял треножник, уже замахнулся им...

В это время шум, царящий в комнате, перекрыл чей-то громкий голос:

— Усмиритесь во имя божественного и вечного императора! — провозгласил этот голос.

И воевода и римляне обернулись к дверям.

На пороге стоял ликтор с поднятым кверху пучком розог. Вероятно, он предшествовал какому-нибудь представителю власти.

Через минуту занавеска поднялась, и в залу вошел префект города. На нем была форменная тога, а в руке пергамент с пурпуровой печатью.

Вид префекта города и красной печати охладил запальчивость врагов: префект был высшей полицейской властью Рима, а пурпуровую печать употребляла только канцелярия цезаря.

Воевода опустил треножник, римляне замолкли.

Когда наступила тишина, префект вызвал повелительным голосом:

— Гистерионка Эмилия!

Эмилия, которая из-за неожиданной ссоры спряталась было за большую вазу, теперь вышла из своего прикрытия. Приняв позу театральной царицы, она произнесла:

— Префект, ты являешься в самую пору. Я буду благодарна тебе, если ты усмиришь этих безумцев, которые держат себя в моем доме, как гладиаторы.

— Домашние дела не касаются меня,— отвечал префект официальным тоном.— Я приношу тебе, гистерионка Эмилия, повеление нашего божественного императора. Завтра, с рассветом, ты поедешь в Виенну, где узнаешь дальнейшую волю государя. Тебя будет сопровождать отряд местной стражи.

Префект и гости думали, что эта новость произведет на актрису ошеломляющее впечатление. Но она хладнокровно отвечала:

— Я лично поблагодарю в Виенне нашего божественного государя за приятный моему сердцу приказ, если только Его Вечность соизволит допустить меня пред свой лик. Мне говорили, что молодой император — человек очень красивый.— Она улыбнулась про себя. Я сумею сладить с ним, говорила ее улыбка.

И, обратившись к своим гостям, она сказала:

— Может быть, вы думаете, что я буду плакать по вас? Так знайте же, что вы всегда были скучны мне со своей завистью и домогательствами, вы не понимали, что независимая любовь должна быть свободна, как мысль, полета которой не удерживает никакая преграда. За свое золото вы требовали верности! Глупцы! Сердце женщины не покупается за деньги. Вы всегда были несносны, а теперь, когда ваши изъеденные червями души охватил истребляющий огонь религиозной ненависти, вы становитесь смешными. Куда входят ваши скучные гражданские добродетели, оттуда уходит веселье. Я покидаю Рим без сожаления, потому что эта когда-то щедрая расточительница становится под старость ханжой. Идите и вы к префекту Флавиану! Он по всей Италии ищет римлян старых нравов. Оденьтесь в черные тоги, посыпьте свои пу-

стые головы пеплом и уйдите вместе с префектом претории и консулом.

...Вам, дохляки, нужно отдохнуть после моих обедов, а меня освежит перемена общества. Как вы любите, я знаю, как любят галилеяне и вчерашние варвары, я скоро узнаю. Если кто из вас соскучится по мне, привозите с собой в Виенну очень большую шкатулку; только в таком случае я вспомню, что знала вас в Риме.

Патриции слушали ее, опустив головы. Сначала их оскорбил выскочка, а потом над ними издевалась актриса...

Тот, которого Фабриций назвал языческой собакой, вынул из туники кошелек, бросил его к ногам Эмилии и сказал:

— Тебе надо заплатить за сегодняшний пир. В Виенне меня ты не жди, я иду к префекту Флавиану, чтобы показать, как кусаются языческие собаки.

— И мы идем к префекту Флавиану! — отозвались еще несколько других.

— Счастливой дороги! — крикнула Эмилия.— А когда вам надоедят гражданские добродетели, то вспомните о большой шкатулке.

— Эту большую шкатулку я прикажу завтра отнести к консулу Симмаху,— сказал «языческая собака» и повернулся к дверям.

Вместе с ним и все остальные римляне оставили дом актрисы.

— Приказ императора явился в самое время,— сказала Эмилия.— Что теперь я стала бы делать в Риме? Ты можешь прислать свою стражу завтра, сразу же после восхода солнца. Я буду готова в дорогу.

Она поклонилась префекту города и исчезла за одной из занавесок.

Фабриций вышел вместе с Валенсом и вошел в его носилки. Когда носильщики тронулись, граф сказал:

— Ты поступил необдуманно, воевода. Зачем раздражать этих людей? Теперь они обидятся, пойдут к Флавиану, а деньги их будут очень полезны для враждебной нам партии. Ты знаешь, что теперь деньги в государстве стоят больше, чем мужество. За деньги продаются мечи франков, готов и аллеманов.

— Я еще до сих пор не научился выносить оскорбительный смех,— ответил Фабриций.

— Много должен переносить тот, кого милость им-

ператора поставила на такое ответственное место, как твое.

— Божественный Валентиниан не требовал от меня терпения старца.

— Молодость божественного Валентиниана, подстрекаемая самолюбивыми царедворцами, не хочет понять, что нашему правительству теперь-то именно и необходимо внутреннее спокойствие. На западные префектуры нападают франки, в восточных опять бунтует этот готский сброд. Варварам недостаточно золота, им захотелось власти. Если бы теперь Италии пришло в голову отказаться от повиновения нашим императорам, то мы очутились бы в затруднительном положении. Неизвестно, на чью сторону стали бы франки и готы, а наши легионы настолько поредели со времени войны с Максимом, что не могли бы устоять против соединенных сил варваров.

— Арбогаст не изменит Феодосию,— заметил Фабриций.

— Он не изменит по собственной воле,— отвечал Валенс,— но к этому его может побудить юношеская вспыльчивость Валентиниана. Нам пишут, что император хочет ограничить власть Арбогаста, что он завидует его лаврам, и популярности, какой он пользуется у войска. Я, собственно, и послан в Виенну затем, чтобы быть посредником между императором и его главным полководцем, потому что Арбогаст не подчинился бы приказаниям Валентиниана. Это не простой наемник. Это король воинственного племени, который служит больше из-за славы, чем из-за денег.

— Если бы я изменил нашим императорам, то меня бы поразил гнев истинного Бога.

Валенс нетерпеливо повернулся на подушках носилок.

— Ты солдат, а говоришь, как самый усердный священник, который хотел бы убедить людей, что наша вера угасила солнце, сожгла земные плоды, отравила вино, вырвала из сердца любовь, истребила все желания и требования. Солнце светит по-старому, земля производит плоды, любовь дает утеху, страсти бушуют, как и прежде. Оставь церковный язык и будь только цезарским наместником Италии. А если ты хочешь быть таким, каким нужно, то у тебя должны быть глаза орла, слух зайца, чутье собаки и хитрость змеи, чтобы своему государю не причинять ненужных хлопот. Когда наступит время, Феодосий сам подумает об окончательном триумфе нашей веры, потому что он один охватывает взором все де-

ла государства, принимает в расчет силы христианского правительства и проникает в будущее. Ни ты, ни я, ни Валентиниан не должны предупреждать течение событий. Наше дело повиноваться.

Фабриций в смущении слушал слова графа. С ним говорил член верховного совета восточных префектур, находящийся в постоянном общении с Феодосием. Как бы то ни было, он в точности знал планы великого императора — ведь всюду было известно, что не Виенна правила государством, а Константинополь. Валентиниан никогда бы не осмелился идти против воли своего шурина. Но в таком случае, зачем же он послал его в Рим с такими широкими полномочиями? Или он действовал, не посоветовавшись с Феодосием?

— В Виенне думают и говорят другое,— сказал он после долгого молчания.

— Я знаю об этом,— ответил граф.— Валентиниана окружает стая придворных, которые для своих личных целей раздражают его молодое самолюбие. И наши священники позабыли о главной христианской добродетели — о смирении. Придворные и священники, ожидающие наследия после великого Рима, не думают о том, что как потомкам прежних владык света, так и нам, их заместителям, грозит одна общая опасность. Нас со всех сторон окружает море варваров, теперь уже сознающих свою силу и преимущество. Готы, франки, галлы, аллеманы, обученные в нашей военной школе, более дисциплинированные, выносливые и воинственные, чем наши легионы, разнесут нас в прах, если среди них найдется вождь с головой и сердцем Арминия. Хотя ты и я всего лишь два поколения принадлежим к Римскому государству, но я все-таки не думаю, чтобы ты хотел лобызать ноги какого-нибудь Фритигерна, Баута, Германа или другого главаря германской шайки, именующего себя королем. Положим, мы — новые римляне, но все-таки мы пользуемся плодами тысячелетней работы созидателей государства и поэтому должны защищать народ, который приобщил нас к своему блеску. Гибель Империи была бы и нашей гибелью, варвары-победители сотрут нас с лица земли так же, как и сынов «волчьего племени». Для них не существует новых и старых римлян. Кто верно служит римскому императору, тот и есть их исконный враг.

У Фабриция действительно не было охоты целовать ноги какого-нибудь Фритигерна, Баута или Германа,

Как все сыновья телохранителей цезаря, и он был верным слугой римской короны. Ведь она осыпала его милостями и привилегиями и поставила высоко в военной иерархии. Кроме того, их соединяла общая вера.

Могли ли его интересовать язычники-земляки, продающие свой меч каждому, кто только хорошо заплатит? Между ним и племенем, которое породило его, уже не было никакой связи. Воспитанный вблизи двора цезаря, он считал себя римлянином, и если ненавидел жителей Италии, то только потому, что они не хотели покориться Богу нового времени, а ему, Фабрицию, отказывали в титуле римлянина.

Но разве возможно, чтобы варвары когда-нибудь завладели государством?

Воевода, который с младенческих лет видел блеск, расточаемый цезарским двором, который видел многих королей и князьков у стен «Его Вечности» и водил в битву франков и аллеманов, избивающих своих соотечественников во славу императора, не разделял опасений Валенса. Кто осмелился бы поднять руку на могущественнейшее государство в мире?

— Прости меня, граф,— сказал он,— но я имею лучшее мнение о силе государства, чем ты. Варвары до сих пор еще так дики, что, несмотря на свою храбрость, распадутся на части, на враждебные друг другу племена и роды, когда у них не станет нашего руководства. Они грозны только в наших руках.

— Это руководство им начинает уже надоедать,— ответил Валенс.— Если бы ты, как я, бился под Адрианополем и был свидетелем переполоха, который господствовал в Константинополе во время этой страшной битвы, то не относился бы презрительно к могуществу варваров. Этим диким племенам нужен только хороший вождь, чтобы они разделались с нами. Один Арбогаст мог бы справиться с нами, поэтому Валентиниан поступил нерассудительно, что послал тебя в Рим без его ведома. Не следует затрагивать самолюбия Арбогаста.

— Наш божественный государь не может зависеть от самолюбия своего вождя.

— Каждый государь зависит от блага государства.

— Арбогаст злоупотребляет своими заслугами.

— И те, кто поменьше, злоупотребляют своим положением, а Феодосий делает вид, будто ничего не знает об их дерзости,— все искусство государственного деятеля состоит в том, чтобы терпеть до поры до времени. Во

Фракии, в главном лагере готов, живет еще безусый мальчишка, которого вся эта саранча называет князем. Ребенка этого зовут Аларих. Этот Аларих несколько недель назад бросил нам в лицо то же самое оскорбление, какое ты сегодня нанес патрициям. Он назвал нас римскими собаками, куртизанами, холопами, а Феодосий приказал забыть об этом оскорблении. А ты знаешь почему? Потому что за этим молокососом стоит любовь готов, которые только ждут смерти Фритигерна, чтобы объявить Алариха своим королем. Для спокойствия государства надо было проглотить и переварить римскую собаку, куртизана и холопа, хотя это происходило чуть ли не на глазах великого императора, не отличающегося, как тебе, наверное, известно, особой кротостью и терпением. И ты забудь свое отвращение к язычникам и потомкам древних римлян и поступай с обдуманностью зрелого человека. Помни, что с язычниками нас соединяет теперь общее дело. Им и нам грозят одни и те же враги.

— Они презирают нашего Бога,— прервал Фабриций.

— Я уже тебе говорил,— раздраженно сказал Валенс,— чтобы ты не вмешивался в дела священников. Их обязанность распространять правду Божию и бороться с предрассудками язычников. Они делают это превосходно, лучше даже, чем нужно, мутят своей религиозной сварой все города государства, таскаются по всем дорогам, дерутся на всех рынках. Начальник почты в восточных префектурах не может наготовиться на них лошадей. Почти каждый день где-нибудь происходит духовное собрание, которое обыкновенно кончается дракой и взаимными проклятиями. Время от времени на этих крикунов, препирающихся неизвестно из-за чего, сваливается эдикт Феодосия и немного охлаждает их пыл, но кто в состоянии обуздать болтливые языки женщин и риторов? Религиозные ревнители оказывают плохую услугу нашей вере и государству. Вместо того, чтобы привлекать к себе язычников, они их отталкивают от себя своими раздорами. Не затрудняй же и ты своей горячностью положения, которое год от года становится все более и более опасным. В Виенне не хотят понимать, что почва колеблется под нашими ногами.

— Приказывай, граф,— отозвался Фабриций.— Я буду благодарен тебе за точные указания.

— Напрягай слух и зрение и тотчас же пиши в Виенну о всяком движении римлян. Не раздражай патрици-

ев, не оскорбляй убеждений народа, смещай понемногу на должностях высших военных язычников и заменяй их христианами. Старайся приобрести расположение легионов Италии, чтобы в случае надобности они били того, кого ты им укажешь. Это, может быть, займет год, два, десять лет твоей жизни, в точности не знаю сколько, но будет зависеть исключительно от твоей ловкости, и если тебе удастся усыпить подозрительность язычников и приобрести расположение солдат, то ты заслужишь благодарность нашего правительства. Пусть тебя не обольщает ответ, который будет дан в Константинополе депутатам римского сената. Феодосий не склонится к просьбам язычников — об этом я знаю заранее, он будет требовать выполнения прошлогоднего эдикта, но вместе с тем не станет и карать, если римляне не послушаются его. Пока Арбогаст не сокрушит франков, знай, что тебе нельзя нарушать внутреннего покоя государства.

— Ты очень прозорлив, граф, но вместе с тем и очень терпелив,— заметил Фабриций.

— Терпение всегда берет верх над необдуманной поспешностью,— ответил Валенс.— Но пусть твоя молодость не опасается праздности и бездеятельности. О применении твоей отваги вскоре подумает Феодосий, который ждет только усмирения франков и успокоения готов, чтобы поддержать свои эдикты силой. Он не уйдет с этого света раньше, чем окончательно не истребит язычества: это высшая цель его жизни.

К носилкам подошел глашатай.

— Твоя светлость прикажет отнести тебя на Палатин? — спросил он.

— На Виминал, к сенатору Пруденцию,— ответил граф. И, повернувшись к Фабрицию, сказал вполголоса: — Мои указания запиши себе глубоко в памяти и не забудь, что ты отвечаешь перед Феодосием за спокойствие в Риме. Ты знаешь, что великий император умеет щедро награждать, но также умеет и карать с вспыльчивостью испанца, когда кто-нибудь помешает его намерениям. Мир с тобой, воевода!

— Мир с тобой, граф!

Они расстались. Нубийцы-носильщики понесли Валенса на Виминал; Фабриций пешком пошел к Палатину.

Улица еще жила. Из-за полотняных занавесок трактиров доносился гул черни, орущей за стаканами кислого

вина. На порогах мастерских сидели ремесленники без верхних туник и сандалий. Смех перелетал из дома в дом, то там, то сям раздавались звуки флейты или песни девушек.

Фабриций шел медленно, опустив голову, не обращая внимания на уличное движение. Все его мысли спутал Валенс, указания которого запали ему глубоко в душу.

Граф не первый рекомендовал ему терпение и предусмотрительную последовательность. То же самое ему говорил епископ Сириций. Только из Виенны его торопили приступить к действиям.

Какую же дорогу избрать ему?

По-настоящему он был только послом Валентиниана и от него только получал предписания, но Феодосий мог отменить распоряжение своего зятя и отозвать его воеводу. Это делалось не раз.

Кого же слушаться?

Если Валенс хорошо читал в душе своего государя, то Феодосий не одобрит ретивого слугу Валентиниана. Что одобрит Виенна, то разгромит Константинополь...

Заколдованный круг...

Один Амвросий мог бы вывести его из этого круга, он один прикрыл бы его своим авторитетом от гнева императора, но медиоланский епископ молчал.

Неужели и святое рвение великого служителя церкви угасло и остыло?

Не о такой деятельности мечтал он, когда ехал в Рим. Ему представлялось, что он явится прямо в Капитолий, сбросит с золотого трона Юпитера и водрузит на его месте Крест, красноречивый свидетель новой эры. Если бы язычники оказали сопротивление, он затоптал бы их, стер бы в прах и развеял на все стороны. В его руках и войско и сила...

А пребывание в древней столице государства показывало ему, что Виенна слишком высоко оценивала свое могущество. Солдаты, по большей части исповедующие язычество, подстрекаемые агитаторами Флавиана, могли бы отказать ему в повиновении, если бы он потребовал от них, чтобы они подняли меч на старых богов; сенат до сих пор верен традициям Рима; народ ненавидит христиан, презрительно называет их галилеянами.

Что же делать? Что делать?.. Смотреть и ждать, как советовал Валенс? Эта потаенная работа шпиона и доносчика была противна его солдатской натуре, а другого выхода он не видел. Если бы он управлял судьбами

мира, он не колебался бы, не медлил. Хотя Валенс и говорил, что терпение одерживает верх над необдуманной поспешностью, он бросился бы сломя голову на язычников. Смелым всегда благоприятствует счастье.

Но кормило государства находилось не в его руках. Он был только одним из гребцов, наивысшая доблесть которых — безусловное повиновение.

Мучимый разноречивыми мыслями, переходя от одного сомнения к другому, Фабриций не заметил, что улица понемногу пустела, и только, когда она совершенно стихла, впервые поднял голову...

Перед ним на темном фоне вечера возникла высокая стена, такая тихая и молчаливая, как будто за ней обитала смерть.

Сердце Фабриция забилось живее, и легкая дрожь пробежала по его телу.

— Атриум Весты!

Он посмотрел направо, налево. Улица была пуста. Он взял из рук глашатая факел и сказал:

— Возвращайся домой!

Слуги, привыкшие к военной дисциплине, быстро удалились, не удивляясь неожиданному приказу. Когда тени невольников слились с мраком ночи, Фабриций еще раз внимательно осмотрелся вокруг, потом вскочил на стену и перебрался на другую сторону. Почувствовав под ногами землю, он присел и начал прислушиваться. Из сада весталок не доходило ни малейшего шороха. Деревья стояли неподвижные, как заколдованные. Только вершины кипарисов с их кружевными ветками, резко отделяющимися от более светлого фона неба, еле заметно колыхались.

Фабриций, прильнув к стене, посмотрел в сторону дома весталок, белые стены которого просвечивались издалека сквозь миртовые шпалеры. Сердце в его груди билось так сильно, как будто хотело вырваться из объятий охватившей его тревоги.

Он вторгнулся в обитель Весты, защищаемую традицией долгих веков от греховного любопытства мужчин. Если бы римское око увидело его в этом месте, то он не избежал бы мести смертельно оскорбленных язычников. Живьем его никто бы не взял — с ним был его меч, но его тело поволокли бы на Позорное Поле и бросили бы на растерзание голодным собакам. Никакие цезарские пергаменты не извлекли бы его из пасти разъяренного народа. Прежде чем Валентиниан узнал бы о не-

счастье своего посла, собаки и вороны растащили бы его кости по всему городу.

Фабриций отдавал себе полный отчет в грозящей ему опасности. Он знал, что отваживается на величайшую дерзость, какую можно допустить в Риме. Если бы он в полном вооружении, верхом ворвался в Капитолийский храм и сокрушил бы статую Юпитера, то и тогда не задел бы больнее чувства язычников. Всем было известно, что в течение тысячелетия мужская нога только восемнадцать раз во время ночи осквернила сад весталок.

Смерти он не боялся, недаром он заключил с ней солдатский договор. Не сегодня так завтра эта верховная владычица жизни осенит его своим ледяным крылом. Но его неразумный поступок мог бы ускорить взрыв гнева язычников и доставил бы христианскому правительству непредвиденные заботы, а он был наместником императора, ответственным за спокойствие края, доверенного его попечению.

Фабриций знал, что в эту минуту нарушает доверие Валентиниана. Не для любовных приключений его послали в Рим.

Когда он удалял прислугу, то не отдавал себе отчета в том, что делает. Увидев перед собой стены атриума Весты, он ощутил непреодолимое желание приблизиться к Фаусте Авзонии. Может быть, ему суждено счастье увидеть ее. Так давно он не видел ее — около трех дней...

Только когда его обняла тишина сада, отрезанного от света, торжественная тишина места, посвященного богине, не запятнанной людскими страстями, он пришел в себя. Эту обитель добродетели уважала даже всеобщая алчность. Нагруженные телеги, тянувшиеся по всем улицам в уснувшую столицу, заботливо объезжали дом весталок. Однообразный гул колес еле-еле долетал сюда.

Фабриций погасил факел. Желтое пламя раздражало его, как грязное пятно на светлом платье. Он приложил руку к сердцу. Как оно бьется: точно хочет вырваться на свободу.

Не было ли это обыкновенной тревогой, страхом трусости?

Нет, он не боялся ни силы, ни людских угроз. Если бы христианское правительство не связало его смелость с назначением, которое требовало осторожности, то он просто подошел бы к этому белому дому и стал дожидаться, пока не покажется Фауста Авзония.

Может быть, ему лучше вернуться?

Но Фабриций чувствовал на губах жар поцелуев Эмилии, а в его крови кипело еще до сих пор выпитое им вино.

Тоска, превышающая его волю, обязанности, боязнь перед ответственностью приковали его к этому саду, дорожки которого освятили ноги Фаусты Авзонии.

Увидеть ее хотя бы из-за прикрытия, алчущим слухом уловить шелест ее платья, звук голоса, упиться воздухом, которым она дышит, быть возле нее, обожаемой, дорогой а потом... А потом что?

Фабриций перестал понимать, спрашивать, бояться. Все цели его жизни поглотило одно стремление, настолько сильное, что закрыло перед ним все будущее. В эту минуту он не был ни христианином, ни наместником императора, ни врагом Рима.

Он протянул руки к атриуму Весты и шептал с пылом первой любви:

— Я люблю тебя... люблю... люблю...

Вдруг он возжелал эту непорочную весталку, а еще так недавно обнимал распутницу, загрязненную объятиями игроков и пьяниц.

— Не тебя ласкал я, блудница! — оправдывался он перед собой.

Он провел пальцем по губам, но поцелуи актрисы все-таки жгли его. Он тер щеки с таким бешенством, как будто хотел содрать с них кожу,— жар не остывал.

— Прости меня, Фауста,— говорил он,— она так похожа на тебя, а ты так высоко, так далеко стоишь от меня...

Он осторожно встал с колен и прислушался.

Обитель Весты казалась погруженной в глубокий сон. Даже легкий ветерок перестал колыхать верхушки кипарисов.

Фабриций согнулся и стал прокрадываться под деревьями, выбирая стволы потолще. Иногда он останавливался и напрягал слух, но из атриума доходил только однообразный говор фонтанов. Он шел далее...

Вдруг колени его задрожали, и дыхание замерло в груди. Какая-то белая фигура мелькнула в группе мирт. Он остановился и напряг зрение. Фигура не двигалась. Он придвинулся ближе. То была статуя какой-то умершей весталки.

Вещь обыкновенная... Как христианин, он презирал все, что уважали язычники, но не мог избавиться от не-

приятного сознания своей вины. Ему казалось, что он попирает священные могилы, оскорбляет что-то в высшей степени достойное уважения.

Чем он дальше отдалялся от стены, тем чаще останавливался и переводил дух. Каждая новая статуя производила на него такое же впечатление. Каменные девы смотрели на него с укором и немой просьбой.

— Не нарушай нашего покоя! — казалось, говорили они.

Но его вперед толкала тоска, более сильная, чем суеверная тревога, усиленная тишиной ночи и торжественностью обстановки. Он перекрестился и пошел вперед.

Вдруг что-то зашелестело. Фабриций припал к земле. Сквозь кустарники блеснули огни. Кто-то выходил из дому.

Фабриций подполз к развесистому дереву и выглянул из-за его ствола.

Мимо него прошли три фигуры. Две в темных платьях светили фонарями; третья, завернутая в белое покрывало, следовала за ними.

Сердце Фабриция застучало, как молот. Он узнал царственную фигуру Фаусты Авзонии и ее гордую осанку.

Она прошла в нескольких шагах от него и исчезла в дверях храма.

Долго Фабриций лежал на сырой траве. Может быть, он еще раз увидит Фаусту, может, она выйдет одна, без слуг.

Но жилище весталок молчало по-прежнему, как забытая могила.

В то время как он томился, снедаемый горячкой ожидания, к нему вернулось сознание.

Если бы он раньше и не знал, какая пропасть отделяет его от весталки, то узнал бы это сегодня. Он пошел к актрисе в надежде сблизиться с римскими патрициями, а они оттолкнули его с презрением. Они назвали его германским медведем, галилеянином; они хотели выбросить его на улицу, как пьяного клиента. Ни один из этих гордых мужей не выдал бы за него добровольно сестру или дочь. Для них он был только сыном варвара, возвеличенного прихотью ненавистного им императора.

Помимо родовой гордости, между ним и Фаустой стояло ее жреческое достоинство — стена, недосягаемая до тех пор, пока в Риме господствовали старые боги.

После слов Валенса он потерял надежду на скорый разгром идолопоклонства. Прежде чем Феодосий призовет христиан к окончательной расправе с язычниками, иней страсти посеребрит его голову, а холод преклонных лет остудит его сердце.

А он рвался к этой женщине каждой каплей нетерпеливой крови.

Фабриций не обольщался. Он знал, что ему не дойти до Фаусты прямой дорогой. Только насилие, только предательство бросят в его объятия эту весталку и неприступную патрицианку.

Он уже решил, что делать.

Он похитит Фаусту и скроет ее так тщательно, что самый бдительный языческий глаз не отыщет ее. Он смирит, успокоит ее гнев безграничной любовью, научит ее поклоняться нетленному Богу, а когда жрица Весты добровольно откажется от своих заблуждений у стоп Доброго Пастыря, тогда он защитит ее от мести язычников всемогущей рукой императора.

С той минуты, как в его голове созрел план похищения Фаусты, он почувствовал себя более спокойным. Ему казалось, что он приблизился к цели, которая так давно отгоняла сон от его ресниц.

Он уже более смелой походкой возвращался назад по старой дороге.

Месяц показался из-за огромного дворца Калигулы и разогнал серые тени ночи. Очертания деревьев рисовались еще отчетливее, а мраморные изваяния умерших весталок точно оживали под его лучами.

Всякий раз, как Фабриций проходил мимо какой-нибудь каменной жрицы, он крестился и наклонял голову — они производили на него впечатление видений с того света. Издали они казались такими воздушными, чистыми и безмолвными. Иногда ему казалось, что они двигаются, не касаясь земли.

Он знал, что это был обман зрения, и все-таки спешил выйти из этого места, где царила торжественность. Какой-то таинственный голос доносился до него от этих изваяний, деревьев — от всего, что окружало храм Весты, и проникал в сокровеннейшие тайники его сердца. Он не мог подавить в себе неприятного сознания совершенного святотатства.

— Эти девы служат ложным богам,— успокаивал его эгоизм любви.— Тот угодит истинному Богу, кто обратит хоть одну из них в Христову веру.

Он дошел до стены и осторожно выглянул на улицу. Она была пуста... Взяв воткнутый в землю факел, он перескочил на другую сторону, вздохнул всей грудью и быстро пошел вперед.

Но едва он сделал несколько шагов, как услыхал за собой подозрительный шелест. Схватившись за стилет, он стремительно обернулся.

Вдоль стены двигалась какая-то тень... Кто-то следил за ним, был свидетелем его дерзкого поступка... Никто не должен знать, что воевода Италии обесчестил святую обитель весталок.

Фабриций бросился на шпиона и схватил его за горло, но его руку, точно клещами, сжала такая же сильная рука.

— Не убивай верного слугу! — отозвался хриплый голос.

Фабриций опустил стилет.

— Ты следишь за моими шагами, Теодорих? — недовольно проворчал он.

— Я оберегаю вашу голову, господин,— спокойно отвечал старый аллеман.— Я узнал от Германика, что вы отослали слуг около сада весталок, и тотчас прибежал, чтобы на всякий случай быть около вас. В городе мне говорили, что лишь одна смерть не боится ночью переступить за эти стены. Вы чересчур рискуете своей молодой жизнью, господин.

— Откуда ты мог знать, что найдешь меня в саду Весты? — резко спросил Фабриций.

— Глаз старого слуги бывает так же наблюдателен, как глаз матери. Вы чересчур долго останавливаетесь на улице, когда по ней проходят весталки, чересчур часто стучитесь в ворота атриума, чтобы я не заметил, в какую сторону обращаются ваши печальные мысли. Простите мне, господин, но я не из любопытства проникаю в ваши тайны. С первого момента, как мы приехали в Рим, нас окружает глухая ненависть. Я вижу ее в каждом взгляде, слышу ее угрозу в каждом ропоте черни. Идолопоклонники ждут только удобного случая, чтобы заплатить нам унижением за унижение, а вы...

Фабриций нахмурил брови.

— Ты злоупотребляешь моей слабостью к тебе,— перебил он Теодориха.

Но старый аллеман не испугался его гнева.

— Я оберегаю только вашу голову,— ответил он,— как оберегал ее, когда она была меньше моего кулака.

Весталка не дочь какого-нибудь неизвестного иберийского жреца, помните об этом, господин.

Фабриций и без того помнил об этом и в первую минуту не был доволен проницательностью Теодориха. Даже и этот верный слуга не должен был заглядывать в его сердце.

Но любовь завела его так далеко, что он простил Теодориху его излишнее усердие. Для выполнения его планов ему был необходим какой-нибудь помощник. Сам он не мог похитить Фаусту, потому что за каждым его шагом следила тайная полиция префекта претория. Если он на более или менее продолжительное время удалится из Рима, то этим самым облегчит труд языческих ищеек...

Он дружески обнял старого солдата и сказал:

— А все-таки одна из весталок будет твоей госпожой, или... Или ты хочешь, чтобы я повторил угрозу моего отца?

Теодорих приложил палец к губам и осмотрелся вокруг.

— В этой стороне даже и камни имеют уши,— прошептал он.

Они ускорили шаги. Когда они миновали сад весталок, Теодорих сказал:

— Та из весталок, которую вы мне укажете, будет моей госпожой, но не вы похитите ее. Невелика беда, если такому старому волку, как ваш верный слуга, перепадет что-нибудь при этом опасном предприятии. Мне уже пора идти к Доброму Пастырю. Почти каждую ночь мне снятся мои предки. Я слышу звуки каких-то огромных рогов и шум необъятных лесов. Кто-то зовет меня...

Он замолчал, как бы прислушиваясь к этому звуку рогов и призыву иного мира, а потом продолжал:

— Но не вы похитите ее. Мне вас жаль, господин. Скажите только, что надо сделать, и это будет. Теодорих не обманет доверия своего сокола.

Фабриций задумался и лишь после долгого молчания сказал:

— Мне говорили, что одна из весталок раз в месяц удаляется в Тибур, чтобы совершить какой-то языческий обряд. Узнай, когда придет черед Фаусты Авзонии. Запомни хорошенько это имя. Фауста Авзония, племянница префекта претория,

— Я не забуду, господин: Фауста Авзония.

— Ты узнаешь также, кто сопутствует ей, кроме ликтора.

— Вы завтра же будете знать, сопровождает ли весталку по дороге вооруженная стража.

— Ты выудишь из притонов Рима нескольких негодяев, которые за деньги готовы убить родного отца. Только такие в этом гнезде идолопоклонников и поднимут руку на весталку. Норы этих голодных зверей тебе, конечно, укажет Симонид. Но только помни, что бездельник, изменяющий одному господину, изменит и другому.

— Хитрые глаза этой лисицы не проскользнут в мою душу. При разговоре с ним я не буду давать воли ни своему языку, ни мыслям.

— Денег не жалей. Держи этих негодяев под рукой, чтобы мы были готовы в каждую минуту.

— Все будет по вашему приказу, господин.

IX

Темная, хмурая ночь нависла над садом весталок. Иногда северный ветер, вырвавшись из-за Капитолия, ломал сучья деревьев, срывал последние пожелтевшие листья и гнал их вперед, мешая с уличной пылью.

В круглом храме, в среднем отделении, на низком мраморном алтаре, в глиняных сосудах горел священный огонь. Не искра, высеченная из камня рукой человека, зажгла его, а солнечный луч. Происходит он с неба.

С одной стороны его охраняла статуя богини, с другой — Фауста Авзония, сидевшая на золоченом кресле, похожем на священное.

К коленям жрицы прижалась четырнадцатилетняя девочка. Прижавшись головой к груди Фаусты, она тихо плакала. И на ней была одежда весталок, но только без покрывала и пояса. Она была послушницей [11].

— Сознание выполненной обязанности скоро подавит в твоем сердце эту тоску первой молодости, которая напоминает тебе, что ты родилась на свет женщиной,—мягким голосом говорила Фауста Авзония.— Быстро промелькнет эта земная жизнь, кара же богов вечна.

---

[11] Для служения Весте выбирались девочки между шестью и десятью годами. Первые десять лет они были послушницами, вторые — жрицами, а на третье десятилетие назначались наставницами послушниц.

Послушница подняла свое лицо, орошенное слезами.

— Моя ли в том вина, что эта тоска преследует меня днём и лишает покоя ночью? — жаловалась она.— И на улице и в театрах — всюду жизнь влечет меня к себе своей властной рукой. Счастливые улыбки моих сестер, когда они нянчат своих детей, гордый блеск их глаз, когда они слышат похвалы своим мужьям, тихий шепот обрученных, статуи и картины, элегии наших поэтов, сладкие дорические песни, страстные александрийские танцы — все, все напоминает мне права молодости и женщины. Напрасно я повторяю себе твои мудрые советы, упиваюсь ими, вбираю в себя, чтобы они вошли в мою кровь и остудили ее жар. Эта горячая кровь тянет меня к людям, к их радостям и печалям, к их безумию и разочарованиям. Помоги мне побороть эти искушения, Фауста. Ты всегда была так добра и снисходительна ко мне. Перед тобой одной не боюсь я открыть свое грешное сердце.

Она с мольбой обняла ноги жрицы.

— Помоги мне, помоги!..

Фауста ласково погладила ее по голове рукой.

— Жертва не была бы жертвой,— ответила она таким же мягким голосом,— если бы не отнимала у человека счастья. Для блага всего народа мы, стражи его Палладиума, должны провести жизнь без обычных человеческих радостей.

— Разве для жертвы народу непременно нужны слезы беспомощного ребенка? Сколько опытных мужей посвящают себя отчизне... Зачем Риму нужно отчаяние маленькой серой птички, бьющейся о стены клетки? Вынужденная жертва не может быть приятна богине, а меня никто не спрашивал о моем желании, когда заперли в этом золоченом гробу. Мне было всего шесть лет, когда отец отдал меня на служение Весте. Почему же верховный жрец выбрал непременно меня, когда моя душа не переносит уединения и сгибается под тяжестью жертвы?

— Намерения богов скрыты от глаз людей. Должно быть, ты родилась на свет с достоинствами весталки, если выбор верховного жреца пал на тебя.

— Чем же я могла заслужить расположение богини, когда мое сердце рвется к наслаждениям и свободе? Если Веста выбрала меня из множества девиц, то почему она не угасила в моей крови человеческих вожделений?

Этот жар изнуряет меня, душит, пожирает. Я не чувствую в себе духа благочестия...

Послушница развязала на шее шнурок туники, как будто ее действительно что-то душило, и разразилась громкими рыданиями.

— Не выдержу я этого заключения, не выдержу! — повторяла она.

Фауста обхватила ее голову руками и привлекла к себе. Она молчала несколько минут, предоставив слезам девочки литься без помехи. Потом она наклонилась над ней и шепотом заговорила:

— Не удерживай слез, когда они горькой и жгучей волной будут подступать к твоим глазам: горькие и горячие слезы очищают душу. Когда молодежь будет тебя искушать лукавыми обольщениями, замкнись в своей комнате и плачь до тех пор, пока изнурение не лишит тебя сил. Но только пусть никто не видит твоего отчаяния. Оно одно сжалится над тобой и вознаградит спокойствием за одинокие слезы. С горячими и горькими слезами мало-помалу иссякнут все страсти весенних дней и исчезнут все греховные искушения. Тоску свою не проклинай, потому что только великое и глубокое страдание побеждает окончательно злых демонов, которые живут в каждом человеке.

— Правда ли это, Фауста? — спрашивала послушница, снова обращая к жрице свое бледное лицо.— Доживу ли я до того времени, когда злые демоны не будут иметь ко мне доступа?

— Доживешь, доживешь,—утешала ее Фауста.—Боль сердца испепелит в тебе тоску, которая теперь кажется тебе невыносимой; горячие и горькие слезы погасят со временем пламя, которое тебя пожирает; неустанная молитва и глубокие страдания в конце концов вознесут тебя превыше будничного человеческого счастья, и ты будешь с мягкой улыбкой снисходительно взирать с высоты бесстрастного долга на земные наслаждения.

— О, эти обязанности весталок так холодны и суровы, как каменный лик нашей богини,— проговорила послушница, окинув тревожным взглядом мраморное изображение Весты.

— Холодна и сурова всякая обязанность, которая требует отречения от обыкновенного счастья,— ответила Фауста,—но только такая обязанность, обязанность жреца и гражданина, приближает нас к бессмертным богам. Все остальное человек имеет наравне с животными —

и любовь, и голод, и жажду. Сокровища воды, земли и воздуха, благотворное тепло солнца и умиротворяющую темноту ночи мы делим с птицами, рыбами, четвероногими обитателями полей и лесов, даже с гадами. Только одна жертва личных желаний, попранных ради чужого благоденствия, ставит нас выше всех живущих тварей. А мы, весталки, жертвуем собой для блага неисчислимых масс, для счастья римского народа. Наши слезы смывают грехи тысячи тысяч, наши молитвы поддерживают дух в угнетенных детях славного Рима. Для такой цели стоит отречься от тех мимолетных впечатлений, которые люди называют наслаждениями. Всякий раз, как жажда молодости заставит тебя тяготиться служением народному огню, вспомни, что ты римлянка, и твое горе растает в божественном сознании исполненного долга.

Послушница с напряженным вниманием следила за словами Фаусты, приникнув к ее коленям. Слезы высохли на ее щеках. Только ее губы болезненно подергивались, подбородок дрожал, как у не успокоившегося еще ребенка.

— Мудры твои слова,— заговорила она утомленным голосом,— но они холодны и безжалостны, как старческий разум. Не каждому дано властвовать над стремлениями молодости с силой зрелого мужа. Боги мое тело изваяли не из камня.

На дворе завыл ветер, осыпая храм тучами листьев. В отворенную дверь ворвался холодный ветер и раздул священный огонь. Красный свет озарил мраморный лик Весты, до того времени погруженный в темноту.

Послушница прижала руки к груди, как бы защищаясь от грозящего ей удара.

— Как она смотрит!..— шептала она с ужасом.— Человеческое отчаяние не найдет снисхождения у нее... О, Фауста, Фауста, как страшно в этой позолоченной клетке!..

— Со временем ты привыкнешь к тишине нашей обители,— мягко ответила Фауста.

— Живой человек не привыкает к тишине гроба,— противилась девочка.

— Легион девиц угасал в этом гробе, безропотно слагая свое счастье у подножия священного огня.

— Жертву наших предшественниц облегчала вера, а у нас...— Она не окончила, потому что рука жрицы закрыла ей рот.

— Молчи, несчастная! — прервала ее Фауста.— Моя снисходительность не допускает богохульства.

Глубокая морщина легла у нее на лице над орлиным носом. Звучный голос жрицы стал сухим и жестким:

— Ты будешь три дня отказываться от пищи и мягкой постели. В слезах и молитве ты будешь умолять богиню простить тебе святотатственные мысли. Иди в свою комнату.

Послушница с ужасом глядела на нее.

— Ты меня не выдашь,— умоляла она, опускаясь к ногам Фаусты.— Ты меня не отдашь в руки верховного жреца. Я знаю... Меня бы унесли на Позорное Поле и засыпали, живую, землей... Никто надо мной не сжалится, никто, никто...

И из ее груди вырвалось такое громкое рыдание, что огласило весь храм.

— Прости, божественная. Это не я поносила священный огонь нашего народа... Что-то рвется во мне, бунтует, сопротивляется... Не моя это вина, не моя... Меня обуяли злые демоны...

Суровое выражение лица Фаусты мало-помалу смягчилось, уступая место сочувствию, и голос ее снова зазвучал мягко, когда она сказала:

— Богиня требует не смерти твоей, а верной службы. Встань и иди без боязни. Верховный жрец никогда не узнает о твоей ошибке.

Послушница поднялась с колен и, преклонив голову перед священным огнем, удалилась, шатаясь. Но, не дойдя до порога, она неожиданно обернулась.

— Скажи мне, Фауста,— спросила она,— разве и тебя мучили когда-нибудь нечестивые искушения? Скажи, неужели и ты должна была бороться со злыми демонами — и я легче перенесу мое отчаяние.

— Даже боги не свободны от искушения,— уклончиво отвечала Фауста.

Оставшись одна, она бросила несколько лавровых веток на алтарь, закуталась в плащ и устремила взор на священный огонь.

Уже семнадцатый год она служила символу гения римского народа.

Ей не было еще шести лет, когда ее дядя, Никомах Флавиан, запер ее в атриуме Весты.

«Терзали ли ее когда-нибудь нечестивые искушения?» — спрашивал этот несчастный ребенок.

По губам Фаусты пробежала болезненная улыбка.

Ведь и в ее жилах текла горячая итальянская кровь, такая горячая и страстная, что ей не раз казалось, что она задушит ее своим пылом. И для нее светило солнце, и для нее цвела весна, пели соловьи, наводили чары лунные ночи, ее воображение дразнили элегии, лирические песни, танцы и театр, жизнь и искусство,— и она видела людское счастье.

Бывало, утомленная долгим бдением в храме, она смыкала ресницы, чтобы дать отдохнуть глазам, а предательница фантазия тотчас же обвивала ее воздушной сетью девичьих грез. Перед глазами проходили статные юноши с отвагой на орлином лице, с победными лаврами на голове. Они все шли, а кто проходил мимо, тот складывал у ее ног свои лавры и протягивал руки, как бы о чем-то умолял.

Один из таких порожденных сновидением героев, самый прекрасный, приближался к ней, сгибал колени и шептал дивно мелодичные слова. Они звучали обаятельнее самой сладостной музыки и были так могущественны, что лишали ее сил.

Напрасно сопротивлялась ее девическая стыдливость. Сладкий шепот мало-помалу побеждал ее упорство, лишал ее воли, и, наконец, она падала в его объятия.

Тогда ее охватывало пламя, от которого зажигалась кровь, угасало сознание, но это безумие наполняло ее таким наслаждением, что она желала, чтобы оно продолжалось без конца. И она, покорная, безропотная, прижималась к любимому человеку и жадно впивалась устами в его уста.

Кто-то входил в храм... слуга или жрец. Фауста открывала глаза, и холодная дрожь охватывала ее тело. Напротив нее белела статуя Весты, освещенная отблесками страшного огня. Тот, кого посвятили на служение этому огню, должен отречься от человеческих чувств и радостей.

Все это послушнице говорили ежедневно перед утренней молитвой и грозили ей в случае неповиновения смертью на Позорном Поле.

И Фауста запиралась у себя, бросалась на мозаичный пол и боролась с искушением до тех пор, пока сон не усмирял ее несчастье. На другой день она бежала от этих сладких видений, как от смертельных выстрелов,

Дорого она расплачивалась за обманчивое блаженство минутного забвения.

Она никому и никогда не жаловалась, в ее крови, кроме человеческих страстей, жило римское самолюбие, унаследованное от рода поколений воинов. Как ее предки, пронзенные копьем или мечом на поле сражения, умирали спокойно, чтобы не доставить радости счастливому победителю, так и она хоронила свою боль в глубине души. Никто из окружающих не мог даже догадаться, сколько тихих вздохов вознеслось из ее груди к небу, сколько горьких слез оросило ее ложе.

По мере того как она переступала границы первой молодости, в ней мало-помалу смолкал ропот на судьбу за то, что она лишила ее счастья женщины, и вместе с тем возрастала гордость, к которой на помощь вскоре пришла другая, не менее могущественная сила.

Что-то должно же было полюбить ее горячее сердце. И вот она всей душой отдалась священному огню, в котором соединялись все традиции Рима.

Фауста, принадлежавшая к роду, известному своими гражданскими добродетелями, поняв значение культа Весты, привязалась к своей безрадостной доле с покорностью патриотки.

С того времени, когда сознание гражданских обязанностей наполнило всю душу Фаусты, искушения стали навещать ее реже, но иногда и в ней пробуждалась женщина и напоминала о своих правах с удвоенной страстностью.

Сегодня жалобы послушницы раздули в ее сердце пепел угасших весенних снов.

Но неужели эти чарующие сны стали уже пеплом?

Неужели гордость вместе с гражданским долгом действительно убила все человеческое, что оставалось в весталке? Неужели никогда не возвратятся те сладкие мечты, чтобы напомнить, что она никогда не прикасалась к пенившемуся кубку любви?

Фауста всматривалась в священный огонь широко раскрытыми глазами. Ей казалось, что она не видит ничего, кроме мигающего пламени, который с жадностью голодного зверя пожирал ветки лавра и извивался, как змея.

Осенний ветер все сильнее тряс деревья и увлекал за собой сухие листья. Всякий раз как мраморные колонны, окружавшие храм, отражали его натиск, он быстро поворачивал и с большей яростью набрасывался на сад.

Фауста плотнее завернулся в плащ. Однообразный шум, который проникал сквозь стены, и тихий ропот пламени действовали на нее усыпляюще.

Ее голова мало-помалу откидывалась на спинку кресла, глаза закрывались, руки безвольно падали на колени.

Искусная пряха — златокрылое воображение — начала осторожно подкрадываться к ней. Сперва она напомнила ей годы, проведенные в доме дяди, няньку, которая забавляла ее куклами, подруг, одевавшихся в подвенечные платья, старших сестер, мальчиков, переносящих девочек через порог дома. И ее, маленькую Фаусту, как-то раз маленький сын Флавиана схватил ее в объятия и унес в курятник, где он построил себе дворец из обломков кирпича. «Ты моя жена, я твой муж!» — кричал шалун мальчишка.

Фауста с отрадой улыбнулась этим невинным воспоминаниям.

А пряха работала свое.

И снова, как в первые годы ее жреческого служения, перед глазами проходили статные юноши с отвагой на орлином лице, с лаврами победителей на челе. Один из них, самый прекрасный, самый храбрый, приблизился к ней, преклонил колени и стал шептать сладостные слова. Густые светлые волосы кудрями падали на его плечи; черные, огненные глаза горели на смуглом лице. Он уже наклонился, чтобы заключить ее в свои горячие объятия.

Фауста быстро выпрямилась в кресле, протерла глаза и протянула руки, как бы отталкивая кого-то. Этим статным юношей был Фабриций, враг ее веры и народа.

Не первый раз образ этого ненавистного галилеянина нарушал ее спокойствие. Давно уже он преследовал ее, как угрызение совести, вторгаясь ночью в ее сны, днем — в ее мысли.

«Зачем судьба его поставила именно на пути ее грешных мечтаний?» — не в первый раз уже спрашивала себя Фауста. Римская патриотка может питать лишь только ненависть к последователю восточного суеверия. Или, может быть, боги хотят испытать ее?

За дверями послышался какой-то шорох. Фаусте показалось, что она слышит осторожные человеческие шаги. Несомненно то обман слуха... Другая жрица сменит

ее только после восхода солнца, слуги же не осмелились бы приблизиться к храму без приказа главной жрицы.

— Отгони от меня это искушение,— молвила Фауста,— и искорени в сердце моем остатки женских вожделений. Пусть нечистые желания не мешают мне служить тебе, о божественная Веста!

За дверями снова что-то зашелестело. Кто-то вошел в преддверие.

Фауста в изумлении осмотрелась вокруг. Может быть, это новая послушница. Она наклонилась и стала прислушиваться... Шорох прекратился... Должно быть, это ветер наносит листья на ступени и производит шорох, похожий на людские шаги.

Фауста оперлась головой на руки и погрузилась в раздумье.

Эта бедная девочка была права, когда называла обязанности весталки холодными и суровыми.

Даже и ее, римлянку старых обычаев, погруженную в созерцание образцов древней доблести, не раз тяготила и обдавала холодом обязанность жрицы Весты. Ведь смертный не бог. Ему трудно долго держаться на холодных высотах отречения. Если бы отчизне потребовалась ее жизнь, она отдала бы ее без раздумья, но вечная борьба с человеческой природой страшно изнуряла ее. Легче отважно погибнуть на поле битвы, нежели целые годы противиться искушениям крови. Ресницы Фаусты Авзонии опять смежились.

Грешные видения служат единственным утешением печальной судьбы женщины, лишенной радостей этой жизни. Если за них нужно каяться, то весталки достаточно расплачиваются за них своим вечным одиночеством.

Мечты — это еще не действительность, жажда любви — еще не любовь. А впрочем... И боги упиваются наслаждениями жизни.

И снова предательница пряха развертывала перед Фаустой видения, желанные для каждого женского сердца. И снова к ней приближался возлюбленный, побеждал и покорял ее волю. Светлые волосы кудрями спадали на его плечи, и она гладила их.

На этот раз слух не обманул ее... Кто-то действительно всходил по лестнице... отворил дверь...

Фауста подняла голову, и дыхание замерло у нее в груди... На пороге храма стоял Фабриций. Что это — его тень или плод ее воображения?

То был он, живой образ того, кого она видела минуту назад в сладком сне. Он отбросил с головы капюшон плаща, подошел к ней, преклонил колени и заговорил быстро задыхающимся, страстным голосом:

— Ненависть и предрассудки целых веков меня отделяют от тебя неприступной стеной, но для моей любви нет неприступных стен, кары твоих богов, мести твоего народа, позора и смерти. Моя любовь пойдет за тобой через горы, моря, как завистливую гадину, подавит все предрассудки и угрозы, победит все препятствия и охватит тебя таким пламенем, что твое гордое сердце растопится в нем и сольется с моим. Фауста, я люблю тебя. Люблю тебя больше всего на земле, больше, чем воинскую славу, чем обязанность слуги цезаря, больше памяти матери. Ты душа моего тела, кровь моего сердца, первая и последняя моя мысль. Твой образ преследует меня днем, убаюкивает ко сну вечером, живет во мне ночью. Я не могу дышать без тебя, воздух и тот кажется мне отравой. О, Фауста, Фауста!..

Он упал лицом на пол и припал к ее ногам.

«Полюби меня, будь моей!» — шептал он.

В эту минуту она забыла, что враг Рима и галилеянин оскорбляют в ней своей любовью римскую патрицию и жрицу Весты. Она видела перед собой только воплощение своих мечтаний, возлюбленный образ своих фантазий, которому угрожала страшная опасность.

Произошло неслыханное дело. Мужчина осмелился вторгнуться в обитель Весты и пренебрег жестокой карой закона.

— Уйди отсюда, уйди, несчастный! — воскликнула она побелевшими губами.— Покинь немедленно это страшное место, его охраняет позорная смерть, пожалей себя!

Он протянул к ней руки и заговорил далее:

— Пусть страх за меня не тревожит твоего сердца. Глаз и ухо верного слуги охраняют меня от неожиданного нападения, нам никто не помешает. Много недель искал я возможности приблизиться к тебе, твоя священническая одежда стоит между мной и тобой, как дракон с огненной пастью. Сбрось это ненавистное одеяние, которое лишило тебя свободы, покинь эту печальную тюрьму, в которой увядает твоя молодость, оставь эти устарелые римские предрассудки, потому что уже пробил их последний час. В моих объятиях тебя ждет жизнь, счастье, наслаждение и истинная вера — вера новых наро-

дов, по которой Бог судил господство над миром. Пойдем за мной! Над синими волнами Средиземного моря я выстелю для тебя такое гнездышко, что тебе будут завидовать все женщины и буду служить тебе с покорностью верного раба.

Он запекшимися губами прикоснулся к ногам Фаусты, но она быстро поднялась с кресла и бросилась за алтарь.

Она уже овладела собой.

С минуту она стояла, бледная, дрожащая, изумленная тем, что так недавно охватывало ее восторгом.

Неужели это правда? Варвар осмелился попрать священнейшую заповедь Рима, переступил порог обители богини целомудрия и обесчестил ее, жрицу этой богини, изъявлениями любви. А она, Фауста Авзония, ревностнейшая из служительниц Весты, слушала без сопротивления его грешные слова?

Как это могло произойти? Или ее опутали галилейские демоны, которым ненавистна добродетель римлянок?

Густой румянец стыда залил лицо Фаусты. Она выпрямилась, протянула руку по направлению к двери и сказала:

— Слишком долго твоя дерзость оскорбляла мое жреческое достоинство. Удались, если ты не хочешь, чтобы я затрубила в рог. Я не желаю твоей крови.

Фабриций, который поднялся с колен, пожирал ее сверкающими глазами. Величественная, гордая, с румянцем на лице, с грудью, поднимающейся от волнения, она была так прекрасна, что он не мог оторвать от нее глаз. Он смотрел на нее, как на чудесную картину, и молился, как чудесному видению.

— Смилуйся надо мной, дорогая, возлюбленная! — молил он, склонив голову.— Взгляни на меня благосклонно, чтобы бремя жизни стало для меня блаженным сном. Не оскорбляет тот, кто боготворит. А я тебя боготворю, поклоняюсь тебе.

Женщина, живущая в Фаусте, жадным слухом ловила эти слова искушения. Никто еще не говорил с ней таким языком. Но весталка не имела права быть слабой.

— Твоя кровь падет на твою совесть.

Она хотела убежать в потайную дверь, которая вела в коридор, но Фабриций заступил ей дорогу.

— Моя кровь смешается с твоей,— сказал он, доставая из плаща меч,— прежде, чем тебя освободят из мо-

их объятий. Не раздражай меня, если не хочешь, чтобы Риму завтра представилось необычное зрелище. Два трупа, твой и мой, покоятся рядом в объятиях любви перед лицом вашей богини чистоты.

Фауста с ужасом взглянула на него. Неужели он способен на такое ужасное деяние? — спрашивал ее остолбеневший взор. Если он убьет ее и себя, то за ней в царство теней пойдет проклятие римского народа. Умершие не могут доказать свою невинность. Никто бы не поверил, что Фабриций поднял на нее руку без ее дозволения. Она любила его, назначила ему свидание, и они вместе лишили себя жизни — вот что скажет людская злоба.

Угроза загробного позора была так страшна для Фаусты, что лишила ее сил.

Этот варвар убьет ее и себя... Это говорили туча, собравшаяся на его лице, и огонь, вспыхнувший в его глазах.

Воевода продолжал:

— Из-за любви к тебе я попрал ваши законы, я знал, на что иду, и готов на все, даже на самый безумный поступок. Да, я был безрассуден, но моя тоска была сильнее разума. Мои глаза жаждали видеть тебя, мой слух жаждал твоего голоса, сердце — твоей улыбки. Поэтому я стал глух к предостережениям рассудка и пришел к тебе, чтобы сказать, что ты мне дороже всего, чему я до сих пор поклонялся. Ты можешь оттолкнуть меня, но опозорить себя я не позволю. Если мне предназначено погибнуть бесславной смертью, то ты разделишь со мной эту судьбу раба.

Фауста оправилась от ужаса. Этот варвар грозил ей позором и хотел склонить к покорности!..

В ней закипел гнев. Неужели нет выхода из этой западни?

Она осмотрелась кругом... На стене висел священный щит и меч Юлия Цезаря.

Прежде чем Фабриций мог сообразить, она сорвала со стены меч и щит и стала, вооруженная, перед алтарем.

— Убить меня ты можешь! — воскликнула она.— Но позор не последует за мной в гробницу Авзониев. Я буду защищаться с отчаянием гладиатора, чтобы мой народ знал, что я уступила силе. Приблизься, если твоя вера дозволяет пролить кровь женщины.

Она сильнее попала в цель, нежели подозревала.

Фабриций побледнел: слова Фаусты напомнили ему

Бога кротости и терпимости. Демон, подстерегающий его душу, отнял у него разум, чтобы погубить его.

— Не смерти твоей я хочу,— ответил он грустным голосом,— а любви. Не противься своему счастью, Фауста, цветок счастья расцветает один раз в жизни.

— Для меня этот цветок никогда не расцветет,— ответила Фауста.— Обрати свои мысли в другую сторону, Боги создали не одну женщину.

— Фауста, Фауста! — снова умолял Фабриций.

— Уйди, уйди...

— Я не оставлю тебя, если ты не дашь мне надежды...

— Твоя надежда оскорбляет жрицу.

— Твои обязанности могут кончиться завтра, послезавтра...

— Они кончатся только с моим последним дыханием.

Кто-то три раза стукнул в дверь.

Фабриций накрыл голову капюшоном.

— Я ухожу,— сказал он,— но мы скоро встретимся в другом месте. Вдали от того вертепа языческих суеверий в тебе проснется сердце женщины и покорится моей любви.

— Скорее меня поглотит этот священный огонь, чем сбудутся твои ожидания,— отвечала Фауста.

Сквозь отворенные двери опять ворвалась струя холодного ветра, охватила алтарь и раздула пламя, которое окружило Фаусту огненным занавесом.

— Не вызывай гнева злобных демонов! — вскричал Фабриций.

Стук повторился с удвоенной силой.

Фабриций схватил меч в правую руку и выбежал из храма.

Когда шум его шагов затих, Фауста упала в кресло и голова ее поникла. Все это так странно, так необычно, что ей требовалось много времени, чтобы освободиться от ужаса. Галилеянин, говорящий о любви в храме Весты с ее жрицей... Такого события история еще не заносила в летописи Рима.

Она должна была принести жалобу на Фабриция главному жрецу и сенату. Римские патриоты не обратили бы внимания на звание воеводы и применили бы к нему закон во всей его строгости. Флавиан и Симмах без колебания отдали бы его на растерзание рассвирепевшей толпе и были бы довольны, что избавятся от неудобного им выскочки.

У Фаусты не могло быть ни малейшего сомнения, что, прежде чем завтра зайдет солнце, псы растащат кости Фабриция по Позорному Полю.

По телу Фаусты пробежала дрожь. Воображение представило ей голову, раздробленную железной палицей палача,— ту самую голову, которую она ласкала в минуты своей женской слабости. Голодные вороны растерзают губы — те самые губы, которые очаровывали ее сладкими словами любви.

Фауста закрыла лицо руками и прошептала:

— Нет... нет... пусть он останется жив... Пусть его тень не проклинает меня в царстве Плутона.

Однако она должна была покарать врага римского народа. Жрица должна защищать обитель Весты от позора, а патриотка совершила тяжкий грех, жалея ревностного слугу христианских императоров.

В душе Фаусты гордость патриотки и обязанности жрицы завязали отчаянный бой с сердцем женщины.

— Если Фауста Авзония, которая была до сих пор гордостью весталок, уступит женскому себялюбию,— говорил ей голос долга,— то кто же будет стоять на страже римских традиций, которым угрожает восточное суеверие? У римлянки в такое тяжелое для отчизны время не должно быть сердца женщины.

А сердце женщины убеждало:

— Этот отважный воин для тебя лишь подвергал опасности свою честь и жизнь. Не ненависть он поверг к твоим ногам, а любовь, навел на тебя блаженный сон, пробудил горячие желания женщины. Кто из дочерей «волчьего племени» не хотел бы быть так страстно любимой и желанной? Любовь никогда не оскверняет женщину. Не плати ему суровостью за чувство, которому завидуют сами боги.

Фауста, обуреваемая сомнениями, бросилась к ступеням алтаря:

— Я не могу... не могу...— шептала она.— Я без ропота отдам отчизне свои молодые годы, когда она потребует их от меня, но он пусть останется жив... Если я грешу, то опусти на меня свою каменную руку и уничтожь это грешное тело, еще трепещущее от человеческих страстей. Я не могу за любовь платить жестокостью... Я женщина... Я пожертвую своими мечтами, я подавлю в себе сердце, сдержу свою клятву, только не дай, чтоб разъя-

ренная чернь издевалась над его трупом на Позорном Поле.

Грудь Фаусты поднималась от тихих рыданий.

— Прости меня! — молилась она, простирая руки к статуе Весты.— Перед одной тобою изливаю свои скорби.

Фабриций, выбежав из храма, дал знак Теодориху, который стоял на страже. Они оба припали к земле и спрятались за ближайшим деревом.

Когда толстый ствол совсем закрыл их, воевода спросил шепотом:

— Ты слышал какой-нибудь подозрительный шорох?

— В этом страшном месте что-то постоянно стонет, плачет и шумит,— ответил шепотом Теодорих,— как будто деревья и камни жалуются на нас языческим демонам. О, господин, зачем вы полюбили эту бледную весталку! Она собственность богов, а с богами человеку не справиться. Я предпочел бы спать на поле битвы среди тысячи трупов, чем провести хоть одну ночь в этом саду.

— Если ты не перестанешь ныть, как старая баба, которой везде мерещатся ужасы, то я отошлю тебя обратно в наши леса. Кажется, тебе уже пришло время нянчить своих внуков.

Воевода встал и быстро пошел вдоль миртовой аллеи. Под стеной сада он остановился и сказал:

— Стилет в зубы! Горе тому, кто попадется нам на дороге.

Теодорих что-то проворчал, вскарабкался на стену и стал присматриваться.

— Улица пуста,— прошептал он.

Улица, однако, не была пуста. Когда воевода и Теодорих исчезли во мраке ночи, от стены одного дома, стоявшего напротив сада весталок, отделилась какая-то темная фигура.

— Смел ты, знаменитый воевода,— тихо проговорил кто-то и засмеялся,— но твой покорный слуга не был бы питомцем греческой мудрости, если бы не извлек из твоей смелости небольшое состояньице. За любовь к весталке надо дорого платить.

То был Симонид.

ЧАСТЬ II

I

На правом берегу Мозеля, недалеко от границ вольной Франковии, на голой, безлесной равнине лежал город Тотонис, окруженный крепостной стеной.

В мирное время здесь был рынок, на котором аллеманские и франконские купцы обменивались товарами, но в последнем году военная непогода расторгла дружеские отношения и вымела из пограничных областей трусливых торговцев.

Франконские племена, разбросанные по обеим сторонам Рейна, вплоть до прибрежья Немецкого моря, настолько же воинственные и неспокойные, как маркоманы второго столетия, с завистью смотрели на цветущие области Империи и их благоденствие. Теснимые с севера саксами, они ринулись на римские провинции, чтобы оторвать от тела гиганта самые здоровые части. Они напали с такой стремительностью на владения аллеманов, заключивших союз с императором, что сам Арбогаст, главный вождь военной силы западных префектур, должен был загородить им дорогу своими легионами.

Уже около года продолжалась кровавая борьба. Разбитые в одном месте, франки собирались в другом; Арбогаст отбирал у них село за селом, город за городом. Он вел отчаянный бой за каждую пядь земли, подвигаясь с огромным трудом к северу. Правда, в течение нескольких месяцев он очистил Аллеманию и вытеснил неприятеля из границ Империи, но до сих пор еще не

сломил их отваги. Застигнутые в походе зимой, франки отступали к Арденнским лесам с угрозой весной вернуться обратно.

Арбогаст воспользовался этим перерывом с умением опытного вождя. Старые лагеря, забытые со времен Юлиана Отступника, он привел в порядок, пополнил охотниками из германцев поредевшие легионы, напустил свору своих лазутчиков и шпионов на франконскую землю с приказанием наблюдать за движением неприятеля, а сам занял наиболее опасный пост, подверженный первому натиску варваров.

Франки обыкновенно шли правым берегом Мозеля и переходили римскую границу вблизи Тотониса.

В последних числах января к этому городу с восточной стороны приближался многочисленный отряд.

Впереди на маленьких лошадях ехали двое мужчин, закутанных с головы до ног в разные звериные шкуры. На головах у них были турьи головы с рогами, грудь была обернута в медвежью шкуру, руки — в волчью, ноги — в рысью.

Вслед за ними тащилась римская дорожная карета, запряженная шестью испанскими лошадьми, обитая так тщательно коврами, что нельзя было видеть, кто в ней сидит. Далее тянулся длинный ряд телег и слуг, пеших и конных. Из телег выглядывали палатки, лопаты, кухонные принадлежности, сундуки; люди же шли, вооруженные щитами и копьями. В самом конце гнали стадо волов.

День был морозный. Снег, который покрыл пеленой всю равнину, скрипел под колесами телег. Дыхание людей и животных превращалось в иней, который оседал на бровях, бороде и гривах.

Когда отряд подошел к самым воротам города, один из ехавших впереди затрубил в охотничий рог. На этот сигнал на башне показался солдат и, перегнувшись через барьер, прокричал:

— Город Тотонис закрыт для путешественников. Проезжайте дальше.

Но снизу ему отвечали:

— Ворота отворятся для друзей твоего господина. Славные Кай Юлий Страбон и Констанций Галерий, римские сенаторы, прибыли в гости к королю Арбогасту.

— Королю доложат имена твоих господ,— сказал солдат и сошел вниз с башни.

Через четверть часа отряд въезжал в город. Улицы, по которым он продвигался, узкие, выложенные базальтовыми плитами, кишели солдатами. Везде попадались вооруженные люди.

На большой четырехугольной площади стоял низкий дом, выстроенный в римском стиле. Золотые цезарские орлы блестели над его дверями; отряд легионеров стоял на страже вдоль портика с обнаженным оружием в руках.

Когда карета приблизилась к этому дому, раздалась команда. Солдаты стали во фронт и опустили книзу мечи.

Одновременно под колоннами портика показался высокий старик, одетый в красную тунику и длинные германские штаны, заправленные в военные сапоги. Белые волосы ниспадали на его плечи, белая борода покрывала высокую грудь. Из этой рамки старости глядело энергичное, свежее лицо, оживленное серыми, проницательными глазами, глубоко сидящими под широким лбом, перерезанным поперечной морщиной.

Старик, увидев многочисленный обоз, незаметно улыбнулся. Из кареты вышли Кай Юлий и Констанций Галерий, закутанные в медвежьи шкуры.

Юлий откинул с головы капюшон и проговорил охрипшим голосом:

— Симмах и Флавиан шлют тебе, благородный король, приветствие сената и римского народа. Да сохранят тебя боги как можно дольше для славы государства.

Говоря это, он трясся, как в лихорадке.

На устах старика опять промелькнула улыбка.

— Привет сената и римского народа для меня самая почетная награда за труды, понесенные на службе государству,— отвечал он.— Да ниспошлют боги Симмаху и Флавиану спокойную старость.

Он сошел со ступенек и поцеловал Юлия в обе щеки.

— Привет и тебе,— сказал он,— забудь под моей кровлей о неприятностях тяжелой дороги.

И, обернувшись к Констанцию Галерию, сказал:

— И для тебя, сенатор, пусть мое жилище будет домашним очагом. Посланники Симмаха и Флавия всегда друзья Арбогаста.

Он дал знак страже. Солдаты ударили щитами о щиты, мечами о мечи. Трубачи заиграли встречу.

В передней к сенаторам выбежали невольники и освободили их от верхнего платья.

— Приготовить для славных сенаторов теплую ванну,— распорядился Арбогаст.— И пусть повар поспешит с ужином.

Он взял Юлия под руку и ввел его в залу, где в бронзовых сосудах тлели угли, покрытые пеплом.

— Прежде всего отогрейте закостенелые члены,— сказал он, когда остался один с гостями.— Мороз в этом году холодит и щиплет, как я давно уже не помню.

— Удивительно, как я еще не превратился в кусок льда,— отозвался Юлий, потирая оцепеневшие пальцы.— В горах Реции меня охватила такая сонливость, что я был убежден, что навсегда засну под снежной пеленой. Как вы можете дышать таким страшным воздухом? В легкие точно вонзаются иглы, голос замерзает в горле, ноги и руки деревенеют.

Он встал на колени около одной из жаровен, сдул пепел и стал поворачиваться к углям то спиной, то лицом. Время от времени дрожь пробегала по его телу.

— Мороз выходит из меня, как грех из кающегося галилеянина,— шутил он.

— Его выгонят из тебя теплая ванна и старое вино,— утешал Арбогаст.— Завтра ты с удовольствием будешь вспоминать об испытанных неудобствах, потому что только пережитые невзгоды оставляют по себе приятную память. Если ты не найдешь у меня мягких постелей и изысканных кушаний, то пусть война послужит мне извинением. Многочисленного обоза, как тебе должно быть известно, я никогда не беру с собой в поход — всякая ненужная рухлядь связывает движение солдата. Зато ты найдешь под моей кровлей расположенное к тебе сердце. Я всегда охотно выпивал с тобой кувшин доброго вина, хотя ты и плохо поддерживаешь компанию.

Юлий, поднявшись с колен, взял правую руку Арбогаста и отвечал:

— Твоему расположению ко мне я обязан своим почетным посольством. Флавиан и Симмах, зная глубокое уважение, которое я питаю к тебе, благородный король, собрали в мои руки сердечную скорбь римского народа.

— Я догадывался, что не для приятного путешествия вы подвергали себя свирепости мороза и опасности смерти, которая грозит в горах проезжающим из каждой расселины. Отдохните теперь, славные сенаторы. Я с участием выслушаю вас за ужином.

Когда Арбогаст удалился, Юлий обратился к Констанцию:

— Позволь говорить мне, ты же поддерживай компанию нашему хозяину за бутылкой, в этом ты искуснее меня. В прямой душе Арбогаста есть только одна струна, которая может звучать зловеще, когда к ней притронется умелая рука. Этот верный союзник ни за какие сокровища и почести на свете не расторгнет связей, соединяющих его с Феодосием, но кто затронет его самолюбие, тот заведет его куда захочет.

— Разве Арбогаст любит выпить? — спросил Констанций.

— Он пьет охотно и много, как всякий солдат, но все-таки я никогда его не видел без сознания... У этих варваров здоровье наших предков времен царей.

Спустя два часа сам Арбогаст ввел своих гостей в маленькую, низкую комнату, обстановку которой составляли стол, несколько кресел, обитых оленьей шкурой, и лампа из коринфской меди, свешивающаяся с потолка на золотых цепочках.

Эта более чем скромная обстановка столовой удивила Констанция,— в ней подкреплял свои силы человек, после Феодосия самый могущественный во всей Империи. Везде было известно, что ладьей западной половины государства управляет не Валентиниан, а Арбогаст. Король, быстрый взор которого заметил удивление, выразившееся на лице сенатора, добродушно улыбнулся и сказал:

— Напоминаю вам еще раз, что вы находитесь в лагере. Правда, в этом доме есть большие комнаты, но их заняли мои писцы и курьеры, которых мне нужно иметь под рукой; вы простите меня за скромную трапезу: война разогнала на несколько десятков миль всех поставщиков. Мы вот уже два месяца питаемся только тем, что сами убьем или поймаем на охоте.

Старый невольник вошел с серебряным тазом, а другой на золотом подносе подал хрустальный кувшин.

Арбогаст, умывая руки, говорил:

— Вам не потребуется при этих людях,— и он указал глазами на невольников,— сдерживать свои мысли и язык. Они не дрогнут, если даже молния ударит в этот дом. Так как меня часто тревожат по делам государства даже в часы отдыха, то я вожу с собой повсюду двух глухих стариков, чтобы мои докладчики могли говорить со мной без опасения; а прежде чем вы раскроете ваши

наболевшие сердца, подкрепитесь и согрейтесь фалернским, за выдержку которого я ручаюсь королевским словом.

Один из невольников поставил перед Арбогастом, который занял место за столом посреди сенаторов, голову кабана, хлеб, большую заплесневелую амфору и три кубка из александрийского стекла.

Когда хозяин и гости утолили первый голод, Юлий взял кубок, наполненный золотистой жидкостью, и сказал:

— Твоему духу-покровителю, великий король, я посвящаю этот благородный напиток.

Он быстро наклонил кубок и вылил половину вина под стол, предполагая, что Арбогаст не заметит этого движения.

— Мой дух-покровитель благодарит тебя за щедрое возлияние,— отвечал Арбогаст, подчеркивая слово «щедрое».— Не насилуй себя, хотя один кубок вина не повредил бы тебе после такой далекой дороги.

Он посмотрел сквозь кубок на огонь, приложил его к губам, посмаковал вино и выпил его до последней капли.

— Вы там, в Риме, забыли уже, что хорошо,— сказал он, подставляя невольнику пустой кубок.— Вы даже не умеете уважать свое фалернское, которое боги дали людям в минуту благоволения.

Но когда Констанций сделал то же самое, что и он, король посмотрел на него из-под густых бровей и дружески усмехнулся.

— Я беру назад свой упрек. Говорите мне теперь о священном городе, о его печалях и надеждах, потому что мое сердце любит вас, хотя вы и утратили многое из прежнего мужества. Покинутые императорами, осужденные новым временем на гибель, вы время от времени вспоминаете, что когда-то повелевали миром. Я люблю гордость: она ведет мужчину к славе, а женщину предохраняет от позора. За славу Рима я поднимаю второй кубок.

Он осушил кубок и пододвинул его невольнику, стоявшему за его спиной с амфорой.

Констанций снова вторил ему, а Юлий, смочив губы в вине, начал:

— Было бы излишним говорить тебе, настоящему императору западных префектур, о нашем положении. Ты знаешь одинаково хорошо, как и мы, что нас мучит

и чего мы желаем. Было бы напрасно также просить тебя о деятельной помощи против могущественного Феодосия, ибо всему государству известно, что король Арбогаст умеет быть верным союзником. Окруженные со всех сторон недругами к нашему прошлому, поставленные между открытым бунтом или изменой нашим богам, мы протягиваем к тебе руки с просьбой о дружеском совете.

Арбогаст, который слушал внимательно, отпивая вино маленькими глотками, подумал некоторое время, прежде чем ответить.

— Я не понимаю,— сказал он,— что нашел Феодосий в этой вере обездоленных. Он был всегда хорошим солдатом, а как же может воин совмещать свое занятие с заповедями галилеян? Эти заповеди вырывают из рук меч мести и называют гордость мужа грехом. Только рабы из зависти к господам могли придумать такую слезливую веру. Мои убеждения и расположение на вашей стороне, но помочь я вам не могу. Ты сам сказал, что король Арбогаст умеет быть верным союзником. Я не нарушу слова, данного Феодосию, хотя и не одобряю его заблуждений.

— Я просил о совете,— прервал Юлий.

Арбогаст пожал плечами.

— С упрямством Феодосия ничего не поделаешь. Вы знаете, что его никто не может отвлечь от раз принятого намерения. Самое большее, что я могу,— это ходатайствовать за вас, просить об отсрочке исполнения, потому что об отмене последних эдиктов не может быть и речи. Феодосий никогда не отменит своих приказаний. Советы и людская помощь не отклонят от вас удара, приготовленного в Константинополе. Только боги, устранив старшего императора с вашего пути, могли бы вас спасти.

— Смерть Феодосия не сняла бы с нас ненависти ряда дней. Валентиниан не всегда будет послушным орудием твоей воли.

Арбогаст пренебрежительно улыбнулся.

— Пока я жив, с этой стороны вам не грозит никакой опасности,— ответил он.— Вы не были бы мужами, если бы боялись безусого юноши.

— Этот безусый юноша после каждого захода солнца становится старше на один день, а годы слагаются из ряда дней.

— Власть над западными провинциями я получил из рук Феодосия, и он только один может отменить мои распоряжения, чего не сделает, потому что хорошо знает, что в ту минуту, когда я откажусь от поста главного вождя, варвары разорвут на клочья Галлию, Испанию и Британию. Что стал бы делать Валентиниан без меня! Этот ребенок умеет только молиться и каяться в несодеянных грехах, потому что галилеяне придумывают себе какие-то грехи, которых и сами не знают.

— В жилах этого ребенка течет бешеная кровь его отца, известного насильника и убийцы. Винфрид Фабриций рассказывал в Риме, что Валентиниану уже надоела твоя опека.

Арбогаст посмотрел с удивлением на Юлия.

— Кого ты назвал? — спросил он.

— Я говорю об одном из твоих подчиненных — о Винфриде Фабриции.

— Фабриция я назначил в октябре командовать легионами средней Испании.

— А в ноябре Валентиниан к нам прислал его как воеводу Италии.

— Этого быть не может! — с бешенством вскричал Арбогаст.

— Однако я говорю правду,— отвечал спокойно Юлий.

За столом повисло молчание.

Сенаторы с затаенным дыханием глядели на короля, который припал к кубку и жадно пил огненный напиток. Пил он долго, а когда подал невольнику кубок, то изменился до неузнаваемости.

Выражение его лица, до того времени мягкое, приязненное, сделалось суровым, поперечная складка на лбу стала еще глубже, нижняя губа гордо выдалась вперед.

Он бросил на Юлия взгляд, такой же холодный, как блеск кинжала, и сказал:

— Если ты хочешь ложью снискать мою помощь вашему делу, то возвращайся сейчас же туда, откуда пришел, пока я не забыл обязанности хозяина. Я ненавижу лукавство.

Но эта угроза не испугала Юлия.

— Только глупец рискнул бы расставлять сети лжи могущественному королю, которому служат легионы

верных слуг,— ответил тот.— Если ты подозреваешь меня в обмане, то пошли в Рим курьера, и ты убедишься, что Фабриций с ноября числится не только воеводой Италии, но и уполномоченным императора и облечен неограниченной властью.

— Какого императора?— вскричал Арбогаст.

— Нашего божественного и вечного государя Валентиниана,— отвечал Юлий с язвительной улыбкой.

— Только моя воля имеет власть в западных префектурах...

— Валентиниан смотрит на это иначе.

И снова наступила тишина. Сенаторы обменивались взглядами, король дрожащей рукой поглаживал бороду, глядя куда-то в пространство.

Если Юлий говорил правду, то ему было нанесено смертельное оскорбление. Только он один, главный вождь, был высшим судьей и распорядителем вооруженной силы западной части государства. Никто не имел права распоряжаться его солдатами. На это никогда не покушался даже сам Феодосий, доверяя его долголетней опытности и испытанной верности. До сих пор он не проиграл ни одной битвы и ни разу не посягал на императорскую корону, хотя войско ему неоднократно ее предлагало. Он служил Римскому государству для славы и ради дружбы к Феодосию.

А теперь, когда его многотрудная жизнь уже приближалась к концу, явился какой-то молокосос, воспитанный попами, безусый мальчишка, который никогда не видел бранного поля, и неумелой рукой разрывал нити его планов.

Оскорбленное самолюбие царя и вождя охватывало душу Арбогаста пожирающим пламенем.

А в этот зловещий огонь слова Юлия падали, как капли масла.

— Насколько я могу заключить из того, что слышал во дворце,— говорил сенатор медленно, процеживая слово за словом,— Валентиниан намеревается совершенно отстранить тебя от власти. Пользуясь твоим долгим отсутствием, он сам взял кормило правления в свои неумелые руки. Засыпанный снегами Аллемании, отрезанный от всего света, ты не знаешь, что делается в Виенне. Валентиниан, по-видимому, стягивает к своей столице все легионы Галлии, чтобы силой сломить твой справедливый гнев в случае, если ты не захочешь подчиниться его приказаниям. После окончания войны тебе грозит не-

ожиданность, которую не заслужил твой военный гений. Слава полководцев всегда возбуждала зависть императоров.

Дрожащая рука Арбогаста все сильнее теребила бороду.

— Легионы Галлии должны быть уже вблизи зимней стоянки,— сказал он.— Я послал за ними Арбитра. Сегодня или завтра они прибудут.

— Если эти легионы нужны тебе для победы над неприятелем, то отступи, пока есть время, к южным границам Аллемании, ибо, думается мне, ты напрасно ждешь помощи от Виенны.

— Но ведь это было бы государственной изменой!— вскричал Арбогаст.

Сенатор пожал плечами.

— Надменность императоров уже не первый раз жертвует благополучием государства,— отвечал Юлий.

Арбогаст выбежал в коридор и хлопнул в ладоши. Сенаторы слышали, как он громко отдавал кому-то распоряжение:

— Пусть патриций Евгений немедленно явится ко мне!

Вернувшись, он сам налил себе в порожний кубок вина, выпил его и начал ходить вокруг стола отяжелевшим шагом. Иногда он вздрагивал и бросал отрывистые слова:

— Неблагодарные псы... подлые гады... негодяи...

В комнату неслышными шагами вошел черноволосый человек лет сорока, худощавый, низкого роста, весь блистающий золотом и драгоценными камнями. На шее красовалась цепь с портретом Феодосия, на пальцах рук множество перстней, на ногах роскошные сандалии, вышитые жемчугом. Его белую шелковую тунику, застегнутую у подбородка большим рубином и отороченную широкой каймой сенаторского звания, охватывал пурпурный пояс.

— Слушаю твои приказания, король,— сказал он, остановившись пред Арбогастом.

Арбогаст повернулся к Юлию и сказал:

— Повтори Евгению то, что ты мне рассказал.

— Я говорил королю,— отвечал Юлий,— что Валентиниан назначил Фабриция воеводой Италии и что сам он берет кормило правления в свои неумелые руки.

Евгений с изумлением посмотрел на сенатора.

— Что же ты скажешь на это, начальник моей кан-

целярии и разведчиков,— прошипел Арбогаст сквозь стиснутые зубы,— ты, моя правая рука, моя голова?

— Из Виенны нам ничего не доносили об этом,— в смущении пролепетал Евгений.— Даже во вчерашнем донесении префекта претории нет никакого упоминания о новом назначении Фабриция.

— Потому что меня окружают одни дураки и лентяи! — закричал Арбогаст.— Потому что, чего я сам не разузнаю и не разведаю, того и никто не узнает. Разве затем я украсил тебя золотыми цепями, осыпал драгоценными каменьями, поставил на высшей ступени чиновничьей лестницы, чтобы ты бессмысленными глазами читал лживые донесения префекта? Разве ты не знаешь, что этот подлый куртизан, эта галилейская лисица, пишет пером, которое макает в яд предательства? Зачем я содержу целый легион шпионов?

На смуглом лице Евгения, обрамленном коротко подстриженной черной бородой, выступил бледный румянец.

— Не моя вина, что...— оправдывался он.

— Молчать! — прервал его Арбогаст, поднимая руку.— Не усиливай моего гнева, глупец! Прочь с моих глаз, лентяй, и немедленно пошли самых способных разведчиков в Виенну. Чтобы я через месяц в подробностях знал положение дела. Да пусть твои ищейки спешат, если не хотят испробовать купания под льдами Тотонского озера.

Чиновник в испуге попятился к дверям, но все-таки не ушел из комнаты.

— Ты еще здесь? — вскрикнул Арбогаст, хватаясь за кубок.

— Арбитр вернулся минуту тому назад, король,— прошептал Евгений побледневшими губами,— и ждет твоих приказаний.

Арбогаст поставил кубок на стол и сказал более спокойным голосом:

— Арбитр? Пусть войдет...

Евгений исчез за занавеской, и в комнату спустя несколько минут вошел молодой военный трибун в серебряном вооружении, с позолоченным шлемом на голове. Высокого роста, широкоплечий, с лицом, загорелым от ветра и мороза, он казался воплощением здоровья и телесной силы. Светлые волосы и рыжая борода подчеркивали его германское происхождение.

Он выпрямился у дверей и ждал вопросов вождя.

Арбогаст вглядывался в него с таким напряжением,

точно хотел проникнуть взором в тайники его мыслей. Он, видимо, боялся неприятных новостей и старался отдалить их... Он искал на лице своего посла опровержения известий, привезенных Юлием.

Но когда неподвижное лицо Арбитра не сказало ему ничего, он спросил глухим голосом, в котором дрожало скрытое опасение:

— Я не сомневаюсь, что галльские легионы идут за тобой следом.

— Галльские легионы до сих пор не тронулись с зимних стоянок,— отвечал трибун.

Арбогаст поник головой и молчал с минуту. Его грудь быстро поднималась, пальцы рук то сжимались, то расжимались, точно сжимали что-то.

Вдруг он вздрогнул, выпрямился и сказал:

— Не тронулись? Ведь я же приказал тебе сказать графу Галлии, что без помощи его легионов мы не удержим франков и погибнем все до последнего в этих снегах и льдах, к радости франков, подстерегающих гибель государства.

Голос его клокотал в горле, как кипящая вода.

— Сказал ли ты это в Виенне, Арбитр?

— Я сделал то, что ты приказал, король.

— Сделал? А граф, несмотря на это, не выслал легионов?

— Он отвечал, что принес присягу императору.

— Императору?..

Голос Арбогаста делался все тише. Только на его лбу выступили толстые синие жилы и в глазах засветился зловещий огонь.

— И ты, Арбитр, любимейший мой трибун, ты, вскормленное мною дитя, не воткнул этому негодяю меч в горло? Ты не отправился на зимнюю стоянку и не привел сам мое верное войско? Изменник!

Он схватил кубок и швырнул его в трибуна. Стекло разбилось о латы, а вино залило побледневшее лицо Арбитра.

Из его горла вырвался хриплый крик смертельно раненного хищного зверя, правая рука схватилась за рукоять меча. Но прежде, нежели он успел вынуть оружие, Арбогаст так сильно ударил его кулаком в грудь, что он зашатался и склонился, как подрезанный колос.

— Собака! — гремел король, вырывая у него из-за пояса меч.— Ты осмелился поднять на своего вождя святотатственную руку?

Юлий и Констанций, которые до сего времени безучастно смотрели на эту сцену, вскочили с кресел.

— Ты запятнаешь свою совесть невинной кровью! — крикнул Юлий.

Арбогаст опустил поднятый уже меч и посмотрел на сенаторов бессознательным взглядом.

— Этот мужественный трибун не виноват,— сказал Юлий.— Не он заслужил твой справедливый гнев.

— Не виноват... не он...— шептал Арбогаст, как человек, пробуждающийся от сна. Он глядел то на сенаторов, то на Арбитра, который стоял у стены, недвижимый, как столб. Бледность смерти покрывала лицо молодого воина, непримиримая ненависть светилась в его глазах.

Арбогаст тяжело вздохнул.

— Благодарю тебя, Юлий,— проговорил он усталым голосом,— ты вовремя удержал руку старика, который запятнал бы свои седины невинной кровью. Этим благородным поступком ты еще более скрепил узы, которые связывают нас.

И, обратившись к Арбитру, он сам прицепил меч к его поясу и сказал:

— Прости старому вождю гнев его.

После короткого раздумья он прибавил:

— Евгений говорил мне, что ты не решаешься просить меня о воеводстве Галлии. Завтра я подпишу тебе это назначение.

Арбитр не благодарил за повышение, взгляд его оставался таким же сумрачным. Он смахнул с плаща осколки стекла и удалился, окинув Арбогаста взором, полным ненависти. Он не простил старому вождю.

Король, оставшись с сенаторами, сказал Юлию:

— Я извещу Флавиана и Симмаха, что ты превосходно исполнил свое поручение. Лучшего ходатая за свое дело они не могли прислать ко мне. Я буду стараться отвратить от вас гнев Феодосия и сделаю все, что в моих силах, чтобы смягчить суровость прошлогодних эдиктов. Но я могу служить вам только как посредник. Если Феодосий не захочет склониться на мои просьбы, то справляйтесь сами, как знаете. Неразумность Валентиниана не заставит меня порвать союз с Феодосием. А теперь отдохните, вы заслужили себе сон под надежным кровом.

Он жестом отдал невольникам какое-то приказание и удалился неверными шагами.

— Мы не потеряли сегодняшнего дня,— сказал Констанций.

— Этого Арбитра нам послали духи — покровители Рима,— ответил Юлий.— Его неудавшееся посольство подвинуло наше дело дальше, чем бы это могли сделать самые красноречивые слова. Остальное довершит надменность Валентиниана, которую нужно раздуть во всепожирающий огонь. Для этого мы тотчас же отправимся в Виенну, чтобы Феодосий или Амвросий не опередили нас. Арбогасту мы можем оставить его оскорбленную гордость. Она днем и ночью будет точить его сердце, сверлить его мозг, пока не уничтожит и не порвет все связи, соединяющие его с христианским правительством. Я хорошо знаю его. То, что он называет своим правом, он не позволит отнять у себя, хотя бы ему пришлось погибнуть под развалинами здания, выстроенного им самим.

Оскорбленная гордость уже начала грызть сердце Арбогаста и сверлить его мозг. Покинув своих гостей, он приказал подать свой золотой шлем, меч, длинный соболий плащ и вышел из дому.

Он делал это ежедневно. Стража, расставленная на стенах, знала, что старый король до тех пор не ляжет спать, пока сам не удостоверится в их бдительности. Когда Арбогаст показался перед домом, стража встретила его приветствием.

— Честь тебе, отец войска! — раздалось в ночной тишине.

Отец войска обыкновенно останавливался, дарил ласковым словом более усердных солдат, осматривал оружие, спрашивал о здоровье. Сегодня же он молча прошел мимо своей охранной стражи и подвигался вперед не обычным своим быстрым и твердым шагом, а согнувшись, точно сразу постарел на много лет.

Он был королем франконского племени, которое на основании договора, заключенного еще с Юлианом Отступником, поселилось в Южной Галлии и верно служило Римскому государству.

Вот уже тридцать лет он во главе своего народа участвовал во всех битвах, где решались судьбы государства. Много раз он спасал императоров от поражения, поверг к ногам Феодосия самого грозного из всех бунтовщиков, Максима, а опасных соседей, неспокойных франков, держал вдали от границ Империи. Без его гения и храбрости Галлия давно сделалась бы добычей

франков. Он был щитом и главой западных префектур.

И вдруг за все это...

Арбогаст шел, низко опустив голову, по пустым улицам. По временам грудь его вздымалась от глубокого вздоха.

Вблизи одних ворот крепостной стены горел костер. Вокруг него на медвежьих шкурах сидели дикие, бородатые люди и согревали себя пивом.

На куче хвороста лежала старая женщина, закутанная в лохмотья. Повернувшись увядшим, сморщенным лицом к огню, она шевелила беззубым ртом, точно что-то жевала.

— Расскажи-ка нам, мать, про старину, а мы угостим тебя пивом,— сказал один солдат.

Женщина пожала плечами.

— Я уж вам все рассказала,— проворчала она,— даже в горле пересохло.

Один из ближайших к ней солдат быстро подал ей выдолбленный буйволовый рог, наполненный ячменным соком.

— Промочи, мать, горло и утешь наши сердца старой бывальщиной. Ты видела столько земель и слышала столько занятных рассказов.

Женщина, не отрывая глаз от огня, покачала головой.

— Я видела много земель и слышала много чудес,— заговорила она вполголоса, точно говорила сама с собой,— да, да... В Риме и Константинополе за мной ухаживали вельможи, осыпанные драгоценными камнями, говорили мне сладкие речи, называли своей возлюбленной... Но годы погасили блеск моих глаз, иссушили тело, осыпали сединой волосы, и теперь я стираю ваши грубые туники, штопаю плащи, и все потому, что я верила этим змеям.

Она приставила рог ко рту, глотнула пива и через несколько минут продолжала беззвучным, старческим голосом:

— Вы хотите старой бывальщины? Слушайте, что случилось с королем Хильдериком... Это было давно... очень давно... даже самые старые люди не помнят когда... Король Хильдерик, любимый вождь вольных франков, был молод, как весна, прекрасен, как поляна, купающаяся в блеске месяца, отважен так, что только один бог войны равнялся ему... Когда он махал мечом и трубил в серебряный рог, то ему повиновались леса на две-

сти миль вокруг. Из тысячи сел тянулись вооруженные воины и шли за своим королем, как идут лани за оленем. Послушные, преданные ему, они шли туда, куда он их вел,— на восток и запад, на север и юг; а где раздавался их военный клич, там могущественные цари падали к стопам юного Хильдерика. По обеим сторонам Рейна не было владыки счастливее Хильдерика.

Она устала и снова подкрепилась пивом.

Солдаты, занятые рассказом старухи, не заметили, как Арбогаст подошел к костру.

Он прислонился к стене и начал прислушиваться.

— Слухи о победах счастливого Хильдерика,— продолжала старуха далее,— дошли до ушей римского императора. Вот он выслал к нашему королю своих сановников с дарами и поклоном и приказал передать ему следующие слова: «Мне жаль, что ты тратишь свою молодость и отвагу в лесах Франконии. Все твои доблести не ослепят тебя такой славой, какую предназначили тебе боги. Если хочешь, чтобы блеск твоего имени озарил весь мир, то приходи ко мне со своим племенем, и я поставлю тебя над многими народами, которыми ты будешь править и предводительствовать».

Старуха язвительно засмеялась.

— Хе... хэ... хэ... Злые духи стояли около Хильдерика в то время, когда послы императора говорили это, злые духи отуманили его прямое сердце настолько, что он поверил римлянам. Император нуждался только в могущественном слуге, а королю Хильдерику казалось, что предатель ищет его дружбы. Как некогда... давно уже, так давно, что только старая песня сохранила память об этом позоре... Много, много веков тому назад... когда наши предки рождались с ярмом на шее и цепями на ногах и росли только для того, чтобы своей позорной смертью тешить римскую чернь, так теперь и вы гибнете на полях битв для славы этого проклятого народа, который не в силах сам держать меч и щит в своих руках. Глупцы! Когда-нибудь вы наконец поймете, что не император — владыка государства, а вы...

Солдаты быстро вскочили и выпрямились... К костру приближался Арбогаст.

Старуха, увидев короля, подняла руки над головой, точно защищаясь. Она подстрекала римских солдат против императора, орлам которого они присягали... Она совершила преступление, за которое в военное время сажали на кол.

Съежившись в клубок, обезумевшая от страха, она ждала приговора и только тихо стонала.

Но произошло что-то необыкновенное... Арбогаст посмотрел на старуху и солдат каким-то загадочным взглядом и двинулся вперед, не сказав ни слова.

Он шел вдоль стены с глазами, опущенными книзу, не слыша переклички стражи, которая при виде короля обменивалась ночным паролем. Время от времени он останавливался, смотрел на звездное небо, что-то шептал и опять шел дальше.

В его сердце шла страшная борьба оскорбленного самолюбия с сознанием долга. Свободный франк, потомок непримиримых врагов Римского государства боролся в нем с приверженцем Феодосия.

Он вернулся домой и спросил глашатая, дремавшего в сенях на лавке.

— Славный Евгений удалился уже на отдых?

— Славный Евгений еще занимается, божественный государь,— отвечал невольник, став на колени.

Арбогаст вошел в большую залу, заставленную тремя рядами столов. За одним из них сидел Евгений, нагнувшись над кипой пергаментов, которые он просматривал.

Увидев короля, он быстро поднялся с кресла.

— Завтра ты отправишь двух послов,— сказал ему Арбогаст.— Пресвитер Аполлоний поедет в Константинополь к императору Феодосию, чтобы отвратить его гневную руку от Рима. Трое самых красноречивых советников сенаторского звания пусть поедут к королю Фравитте с дарами от меня и ласковым словом. Я на некоторое время хочу заключить перемирие с франками, потому что вижу, что мне необходимо покинуть берега Мозеля для Виенны. Посольство к франкам будет сопровождать Арбитр со своим легионом.

— Все будет сделано по твоему приказу, король,— отвечал Евгений, наклонив голову.

II

Винфрид Фабриций лежал в своей приемной зале на мягкой софе и внимательно вглядывался в худое, преждевременно увядшее лицо человека низкого роста, который стоял перед ним, небрежно завернувшись в грязную тогу.

— Мне говорили, что ты ревностный слуга истинного Бога,— начал Фабриций, не поднимаясь с софы.

— Все мои помыслы и каждый час дня я посвятил Творцу неба и земли и Его распятому Сыну, нашему Господу Иисусу Христу,— отвечал дьякон Прокопий.

— Человеку, столь сведущему в нашей религии,— сказал Фабриций,— не нужно напоминать, что Добрый Пастырь более радуется обращению одной заблудившейся овцы, чем девяноста девяти праведникам. Взялся ли бы ты за обращение грешницы, омраченной языческими предрассудками?

— Я не одну уже поклонницу римского суеверия облек в одежду оглашенной.

— Но ту, которую я хочу доверить твоему попечению, ты не убедишь словом кротости и любви. Ты должен знать также пути и средства, действующие на разум.

— Прежде чем стать дьяконом, я был ритором.

На желтом лице дьякона светились бесстрастные глаза человека, который не отступит ни перед каким препятствием.

— Если ты исполнишь это трудное дело,— продолжал Фабриций, довольный своим исследованием,— я замолвлю о тебе слово божественному Валентиниану и постараюсь добыть для тебя епископство в Галлии. Но я требую от тебя не одного только красноречия. Пока ты не обратишь в христианскую веру ту язычницу, до тех пор ты не будешь расспрашивать меня ни о чем и будешь подчиняться моим приказаниям с покорностью невольника.

Когда воевода напомнил об епископстве, глаза Прокопия на мгновение вспыхнули радостным огнем.

— Я буду смотреть только в душу этой язычницы,— отвечал он,— и вслушиваться только в ее грешные помыслы, чтобы найти дорогу к ее разуму. Я буду глух и слеп ко всему, что происходит вокруг меня. Распоряжайся мной, как своим невольником.

Воевода дал знак Теодориху, который оберегал двери от любопытства слуг, и сказал:

— Пусть дворецкий даст ему две теплые туники, меховое одеяло и воинский плащ.

Потом он обратился к Прокопию и сказал повелительным голосом:

— Ты сегодня же оставишь Рим и направишься по Аврелийской дороге, но не скажешь никому, куда уез-

жаешь. В Луне ты остановишься в почтовой гостинице и дождешься вот этого моего слугу и поверенного (он указал рукой на Теодориха), а потом отправишься туда, куда он прикажет. Воля этого старика — моя воля. В Луне ты не будешь завязывать никаких знакомств. Когда прибудешь на место, не щади красноречия и молитв для обращения язычницы, чтобы я тебя мог как можно скорее наградить епископством. Мир с тобой, дьякон.

— Я буду молить Предвечного Бога, чтобы Он вложил в мой голос огонь, а в слова силу истины. Мир с тобой, воевода.

Когда Прокопий ушел, Фабриций поднялся с софы, заглянул сам в сени и боковые коридоры и, убедившись, что его никто не может слышать, почти вплотную подошел к Теодориху.

— Все ли готово? — спросил он шепотом.

— Как ты приказал, господин,— отвечал Теодорих таким же тихим голосом.

— А эти негодяи?

— Их пятеро, и ни один из них не задумается убить родного отца.

— Ты уверен в том?

— Они дрожат от нетерпения, чтобы доказать мне, что не боятся никаких богов.

— А наши невольницы?

— Женскую прислугу я еще вчера выслал ночью в Луну. Их сопровождает Германрих.

— А носилки, постели, ковры?

— Германрих забрал с собой всю домашнюю обстановку.

— Значит, завтра тотчас же после восхода солнца?

— Завтра с рассветом святейшая Фауста Авзония едет в Тибур. Ее особу охраняют только один ликтор и два невольника. Римляне верят, что горы, реки и придорожные камни оберегают весталок от опасностей.

Воевода и Теодорих переговаривались тихими, короткими словами, точно боясь чего-то, и постоянно оглядывались на дверь.

Завтра он порвет цепи, приковывающие весталку к прошлому Рима, а остальное докончит его любовь. Он не отдаст Фаусты никому, никому... Одна только смерть вырвет ее из его объятий... Но если негодяи, которые должны похитить ее, выдадут тайну?..

Воевода задумался. Его брови нахмурились, лицо приняло грозное выражение. Он снова наклонил голову к Теодориху и сказал:

— Преданность злодеев бывает изменчива, как преданность хищных зверей. Прирученный волк сегодня кусает ту руку, которую он лизал. Пока Фауста Авзония не омоет своего прекрасного тела в источнике высшей жизни, даже ветер не должен знать, где она скрывается.

Он вперил проницательный взор в лицо Теодориха и прошептал, отделяя слово от слова:

— Ты понял меня, старик? Ты можешь идти,— сказал воевода.

Теодорих, несмотря на ясное приказание, не уходил.

— Неужели в последнюю минуту тебя охватил неразумный страх?

— Чего мне бояться? Смерти? Солдат и слуга хорошо оканчивает свою жизнь, когда умирает за своего вождя и господина.

— Но почему твое лицо покрыто облаком печали?

— Не страх за эти несколько лет, которые мне осталось провести на земле, нагнал это облако.

— Ты опасаешься за меня?

— Какой-то внутренний голос говорит мне, что это похищение не одарит вас счастьем.

— Твой внутренний голос лжет! — воскликнул воевода.

— Внутренний голос лжет всегда, когда его предостережения становятся на дороге человеческих страстей.

Теодорих протянул руки к воеводе и заговорил задушевным голосом:

— Не гневайтесь, господин, мои старые глаза не хотели бы видеть вашего отчаяния. Она служительница богов, чистая дева, и вожделения мужчины не должны пятнать ее. Неужели вашей молодости во что бы то ни стало нужны ласки весталки? Сколько прекрасных женщин сотворил Добрый Пастырь для увеселения сердца воинов!

— Ты вовремя покидаешь это омерзительное гнездо языческих суеверий, потому что если бы ты остался дольше в Риме, то снова погряз бы в болоте идолопоклоннических предрассудков. Делай, что тебе приказывают, а не обсуждай приказания господина.

— Я всегда пользовался вашим доверием.

— Поэтому только я и слушаю тебя так терпеливо. Пусть тебя не пугает жреческий сан этой римлянки. Тот не священник, кто служит суеверию. Похищая Фаусту Авзонию, ты испросишь для своей грешной души милосердие Доброго Пастыря, ибо будешь действовать для

славы Его. Обращенная весталка, родственница префекта Флавия, придаст много блеска нашей святой вере.

Теодорих грустно улыбнулся.

— Я сделаю все, что прикажете,— сказал он,— только помните, что я предостерегал вас.

Воевода повернулся к дверям, ведущим в его кабинет, но вдруг остановился и стал прислушиваться.

С улицы сквозь стены дома проникал какой-то шум, похожий на осеннюю бурю. Он то стихал, то усиливался, замолкал и поднимался с протяжным свистом.

— Что это такое? — спросил воевода, посмотрев на Теодориха.— Неужели погода так переменилась?

Старый аллеман указал на потолок, в котором находился квадрат окна. Ясное солнце безоблачного дня падало в залу косым столбом света, разливавшимся по полу.

А со двора все доносился шум бури, то стихающий, то усиливающийся.

— Узнай, что там такое? — сказал воевода.

Прежде чем Теодорих успел исполнить приказание Фабриция, в передней раздались тяжелые шаги, и в залу вбежал аллеманский сотник.

— Бунт, бунт! — крикнул он, увидев Фабриция.— Весь город... Римляне...— Он был так испуган, что позабыл даже отдать воеводе честь и только жестом показывал на улицу.

— Римляне.. огромная толпа... целое море...— говорил он, захлебываясь.

— Что случилось? — спокойно спросил Фабриций.

— Бунт, бунт!..— бормотал сотник.

— Какой бунт? — крикнул на него Фабриций.— Вино, что ли, отбило у тебя соображение? Говори со мной, как трезвый человек.

Грозный голос воеводы возвратил сотнику сознание. Он выпрямился, коснулся правой рукой эфеса меча и ответил монотонным голосом подначального:

— Посольство, отправленное сенатом в Константинополь, сегодня утром вернулось в Рим. Славные сенаторы привезли отрицательный ответ. Император Феодосий не отменил последнего эдикта. Народ, узнав о результатах посольства, разлился по улицам и стал угрожать кристианским храмам...

В глазах Фабриция блеснула радость.

— Не отменил? — спросил он.— Ты говоришь, что языческая чернь бунтует?

— Если бы не Флавиан и Симмах, народ бросился бы на Латеранскую базилику.

— Безумцы! — воскликнул Фабриций.— Немедленно вооружить мою аллеманскую стражу! Палатинский отряд послать на Марсово поле!

Он вынул из-за туники восковую таблицу и начертал на ней палочкой несколько слов...

— В лагерь за Номентанскими воротами! Во весь дух! — Он бросил табличку сотнику и выбежал из залы.

Через четверть часа он уже сидел на коне в полном вооружении. Он было поднял меч, чтобы дать аллеманской страже знак к выступлению, как перед воротами дома остановилась золотая колесница.

Он поморщился и осадил назад нетерпеливого коня. В колеснице был Симмах.

Противники с минуту молча смотрели друг на друга, потом Симмах первый заговорил взволнованным голосом:

— Римский сенат моими устами приветствует воеводу Италии.

Фабриций отвечал каким-то неразборчивым ворчанием.

— К этому приветствию он присоединяет просьбу о снисхождении к справедливому негодованию последователей народных богов — продолжал Симмах.— Ты заслужишь благодарность государства, если удержишь стремительность своих солдат. Одна капля нашей крови, пролитая без нужды, произвела бы восстание, результат которого предвидеть никто не может.

Фабриций хотел ответить, что не боится черни, но, вспомнив наставления Валенса, сказал:

— Я буду охранять только церкви и жизнь христиан. Если твои единоверцы не поднимут руки на храмы Божии и не нарушат спокойствия города, я не обращу внимания на их безрассудную ярость.

Губы Симмаха дрогнули, лоб покрылся морщинами.

— Сенат поблагодарил бы тебя письмом, подписанным всеми сенаторами, если бы ты не раздражал отчаяние римского народа видом войска. Спокойствие восстановим мы сами. Сенаторы и весталки уже успокаивают возбужденные умы.

— Когда город взволнован безумием черни, то мое место на улицах,— резко ответил Фабриций.— Намест-

ник императора не смеет прятаться под безопасный кров, когда области, вверенной его попечению, грозит буря.

— В таком случае я поеду впереди тебя, чтобы отстранить с дороги ненависть моих единоверцев.

— Поступай, как тебе повелевает твой рассудок,— ответил Фабриций и скомандовал:

— На Марсово поле!

Мечи стукнули, оружие зазвенело, кони встряхнули головами, и охранная стража воеводы Италии двинулась к главному рынку. Во главе ее ехал Симмах, который сам управлял колесницей.

Не опасение за голову Фабриция заставило римского патриота сделаться щитом для христианина. Если бы дело шло только о ненавистном ему галилеянине, то Симмах без раздумья бросил бы его на растерзание разъяренной толпы, но оскорбление, нанесенное императорскому наместнику, повело бы за собой уличную свалку, которая пока была еще нежелательна ни одному из старо-римских вождей.

Действительно сенаторы, посланные в Константинополь, привезли ответ, столь решительный и грозный, что Флавиан и Симмах потеряли надежду на мирную отмену распоряжений Феодосия, но прежде чем решиться на вооруженное сопротивление, нужно было ждать результатов посольства Кая Юлия. В Риме до сего времени не было известно ни о пребывании брата Порции в Тотонисе, ни о посредничестве Арбогаста.

Симмах, прикрывая собой Фабриция, спасал своих единоверцев от гибели, потому что преждевременное восстание могло бы уничтожить все приготовления римских язычников.

То, что он поступил с полной прозорливостью человека, который хорошо знает впечатлительность толпы, это обнаружилось в ту минуту, когда стража воеводы начала спускаться с Палатина.

Улицы, битком набитые народом, кишели, как громадные, необозримые муравейники. Над живым морем тел, разогретых лучами уже теплого февральского солнца, поднимался легкий пар от дыхания и испарений.

На улице стоял неумолкающий шум. Он то низко шел над толпой, то вдруг поднимался и со стоном северного вихря крутился над кровлями домов. Фабриций взором вождя окинул враждебное ему скопище и скомандовал:

— Сомкнись!

Голова одной лошади придвинулась к голове другой, солдаты почти касались плечами друг друга. Стража образовала сплошную цепь, сверкающую золотом и серебром. Вместе с тем раздался громкий возглас Симмаха:

— Расступитесь, квириты!

Стоявшие впереди, увидев известного всем сенатора, начали подаваться назад. Имя Симмаха переходило из уст в уста. В густой массе тел мало-помалу образовался узкий коридор, достаточный для проезда его колесницы.

— Расступитесь, квириты! — просил Симмах.— Сложите вашу скорбь к стопам Юпитера. Он отомстит за причиненную вам несправедливость, ибо его гром и молния еще обладают всемогущей силой.

В это время кто-то крикнул:

— Воевода!

Вокруг Симмаха и Фабриция на несколько секунд водворилась такая тишина, как будто внезапная смерть схватила толпу за горло. Тысячи глаз обратились на аллеманскую стражу и в остолбенении глядели на нее.

«Этот дерзкий варвар осмелился своим присутствием издеваться над душевной скорбью римского народа?»— говорили эти изумленные взгляды.

И снова над громадным муравейником поднялся шум, сначала глухой, как ропот далекого моря. Из этого шума выделялись все более и более быстрые и многочисленные восклицания:

— Галилеянин!

— Враг наших богов!

— Варвар!

Эти восклицания, грозные, негодующие, сплетались вместе, пока не слились в один свистящий. страшный крик мщения:

— Убить его!

Из живого моря поднимались обнаженные руки. И в каждой из них сверкал отточенный нож.

Фабриций понял, что его стража, состоящая только из ста человек, не одолеет бешенства вооруженной толпы. Если бы его аллеманы перебили тысячу язычников, их сотрет и уничтожит другая тысяча.

Он мог бы отступить... Время еще было, но гордость солдата удерживала его.

Он наклонился к конской гриве, съежился, как хищная птица, и глядел на разъяренную толпу как воин, привыкший к борьбе со смертью. Первая рука, которая

поднимется на него, больше не поднимется никогда. Он сам бросился бы в этот омут, если б не помнил предостережений Валенса. Он будет только защищаться. Лицо его не побледнело, ресницы не дрогнули, глаза не потеряли своего блеска. Только губы его сжались плотнее, и правая рука судорожнее сжала рукоять меча.

Но и Симмах также понял, что от его присутствия духа зависят судьбы Рима. Гибель охранной стражи воеводы Италии навлекла бы на древнюю столицу легионы Валентиниана, а эту минуту язычники старались отдалить до тех пор, пока не будут кончены все их приготовления.

Он дернул коней, откинулся в глубь колесницы и распростер руки, заслоняя собой Фабриция.

— Тогда убейте и меня! — воскликнул он.

Толпа сразу примолкла. Народ видел перед собой только своего возлюбленного сенатора, защищающего воеводу, и заколебался. Руки, вооруженные ножами, опускались одна за другой, шум утихал.

— Убейте и меня! — повторил Симмах, срывая с себя тогу.— Убейте вместе со мной Флавиана, Юлия и всех, которые думают за вас, чтобы мы не видели вашего безрассудства. Сколько раз вам говорили, что могущественнейшей защитой служит терпение. А вы поступаете, как женщина, которая сначала чувствует, а потом рассуждает; вы, как неразумный ребенок, который понимает только то, что его окружает. Мы беспрестанно говорим вам: ждите! А вы безрассудной своей поспешностью уничтожаете дело наших рук. Вместо помощи вы постоянно доставляете нам новые заботы. Тогда умертвите и меня, и Флавиана, и Юлия, и всех сенаторов вашей крови и сами защищайте себя от могущества императоров.

Он распахнул тунику.

— Разите! — восклицал он.

Как масло успокаивает вспененные валы, так его слова усмиряли ярость толпы.

Римский народ знал, что знаменитый сенатор все свои помыслы посвятил делу приходящего в упадок язычества. Если он, Симмах, заклятый враг галилеян, прикрывает собой Фабриция, то несомненно это он делает по совету остальных сенаторов и видит в этом цель, которую может открыть публично.

Там, куда доходил голос Симмаха, буря утихла со-

вершенно и сменилась тихим шепотом. Те, кто поспокойнее, объясняли соседям значение слов сенатора.

Только из отдаленных рядов долетали громовые раскаты грозных криков.

— Убить его, убить! — ревела толпа.

Но по мере того, как тихий шепот распространялся и охватывал все больший круг людей, постепенно слабели и крики мести:

— Защити нас перед могуществом императоров, отец отечества! — крикнул какой-то старик.

— Защити нас, защити! — просили ближайшие.

— Скажи, что нам делать?

Симмах поднял руку над успокоившимся народом и заговорил:

— Пока божественные лики Феодосия и Валентиниана украшают штандарты римского войска и смотрят на вас с храмов и общественных зданий, до тех пор вы должны уважать представителей их власти. Пусть никто не скажет, что римский народ насилием и предательством навлек на себя гнев римских императоров.

Он окинул толпу взглядом, который был красноречивее его двусмысленных слов, и спросил:

— Вы поняли меня, вириты?

В толпе снова пронесся тихий шепот, старшие объясняли что-то младшим, мужчины — женщинам.

Народ понял, что решительная минута еще не наступила.

— Распоряжайся нами, Симмах, защитник наших богов,— грянуло со всех сторон.

— Пусть ваши руки ничего не знают о пламени, которое пожирает ваши сердца,— говорил Симмах, усиливая голос.

Он во второй раз окинул толпу многозначащим взглядом и тронулся вперед.

Колесница медленно, шаг за шагом, с трудом продвигалась среди сплоченной массы народа. Толпа теснилась и освобождала дорогу знаменитому сенатору. Вокруг царила такая тишина, что было слышно дыхание людей, стоящих впереди. Римляне отворачивали головы или опускали глаза, чтобы не смотреть на христианские знаки, сверкавшие на шлемах солдат.

Над этой печальной тишиной раздавался только глухой шум колес экипажа, сливающийся с мерным стуком оружия и звоном лат аллеманов. Время от времени слышался голос Симмаха:

— Расступитесь, кривиты, расступитесь...

Голос сенатора слабел с каждой минутой. Казалось, что он не требует, не просит, а только изливает свою жалобу.

Симмах ехал с высоко поднятой головой, но лицо его было так бледно, как будто долгая и тяжелая болезнь высосала из него всю кровь. Его седые волосы в беспорядке свесились на лоб, ресницы и губы нервно вздрагивали. Было видно, что гордый римлянин напрягает все силы, чтобы не пасть под бременем гражданских обязанностей. Ни он и ни один из вождей старо-римской партии даже в минуты отчаяния не допускали, чтобы обстоятельства когда-нибудь могли принудить их защищать разрушителей римских традиций от гнева римского народа.

И вот случилось то, чего никто даже не представлял себе. Один из самых пылких язычников своей собственной грудью в Риме, столице Юпитера, защищает свирепого врага народных богов.

Народ чувствовал весь ужас этого положения и затаил дыхание, как ягненок под лапой волка.

От окликов Симмаха, от печальной тишины и тяжелого дыхания толпы веяло таким глубоким горем, что оно бросило свою тень даже и на душу Фабриция.

Ведь он прежде всего был храбрым солдатом, а солдат никогда не издевается над беззащитными.

Фабриций, видя перед собой толпу людей, угнетенных сердечной болью, забыл о своем отвращении к язычникам. Если б римляне бросились на него, он купался бы в их крови, грыз бы их зубами, но, покорные, они пробуждали в нем только чувство жалости.

Сложив руки на шее лошади, он поник головой, не смея глядеть по сторонам. В эту минуту он стыдился своей ненависти к язычникам.

Стража воеводы Италии не встречала ни одного благожелательного взгляда. Аллеманы продвигались вперед среди глухого молчания, как будто они были преступниками, которых римская чернь провожает на место казни.

На Марсовом поле воеводу ждал уже гарнизон столицы. Симмах увидел его и остановил колесницу.

— Теперь я тебе не нужен,— сказал он Фабрицию.

Когда он удалился, воевода встал во фронт отряда и громко сказал:

— Здорово, товарищи!

Ему отвечал глухой шум. Мечи не стукнули в щиты.

Ряды легионеров стояли неподвижно. Из-под шлемов на воеводу смотрели враждебные глаза, только в нескольких местах раздались отдельные голоса:

— Привет тебе, воевода!

Фабриций закусил губы. Он знал, что не овладел еще сердцами солдат, что его и легионы Италии разделяет религиозная ненависть, которая росла с каждым днем.

Он обратился к младшим офицерам и отдал приказ:

— Первая, вторая и третья когорты пусть восстановят порядок на улицах... Мечей не обнажать, народ не раздражать... В случае надобности пустить в ход щиты и кулаки... Когорты четвертая, пятая и шестая пусть окружат в середине города христианские храмы и не допускают до них бунтовщиков. Конница, за мной!..

Не сказав обычного приветствия, он двинулся к Целийскому холму, чтобы оградить Латеранскую базилику от ненависти язычников.

Симмах в это время возвращался назад той же самой дорогой.

Улицы уже начали пустеть. Только кое-где на площадях, перед храмами, еще стояли кучки людей и разговаривали вполголоса.

Там, где проезжал Симмах, он видел нахмуренные лица и печальные взоры. Никто не приветствовал его восклицаниями и рукоплесканиями; отцы не указывали на него сыновьям, матери — дочерям.

Истинное горе молчаливо.

Солнце уже заходило, когда Симмах повернул на Капитолий и остановил свою колесницу перед храмом главных римских богов. Вечерние тени уже окутали нижнюю часть громадного квадратного здания. Только золоченый фронтон еще сверкал в лучах гаснувшего дневного светила.

Симмах бросил вожжи какому-то нищему и по широким мраморным ступеням вошел в обитель Юпитера, Юноны и Минервы.

Внутри храм, поддерживаемый огромными колоннами, был так высок и обширен, что взгляд человека терялся в нем, как в бесконечности. Множество больших ламп, прикрепленных к колоннам, производили впечатление мелких звезд, затянутых мглой.

Симмах шел по середине храма к алтарю Юпитера, который горел в глубине, как солнце.

Он шел тихо и осторожно, потому что всюду его нога натыкалась на распростертых людей. Белые платья женщин и белые тоги мужчин, обрамленные широкой пурпурной полосой сенаторского звания, преклонялись во прахе. Весь римский патрициат принес свою скорбь к стопам отца народных богов. Время от времени поднималась чья-нибудь рука, и раздавался голос, дрожащий от слез:

— О Юпитер, Юпитер!..

Тогда белые платья и белые тоги колебались, как спокойные воды озера под дуновением легкого ветра, и тихие рыдания пролетали над преклоненными головами.

Потом снова наступила тишина.

Симмах, приблизившись к алтарю Юпитера, прислонился к колонне, сложил руки и взором, полным скорби, смотрел на изваяние покровителя Рима.

Старый Юпитер покоился на троне из слоновой кости. На его золотых волосах сверкал золотой венец; пурпурный плащ, затканный пальмами римского триумфатора, покрывал его плечи. В одной руке он держал изображение победы, в другой — гром и молнию.

Сотни ламп бросали дрожащий свет на золотые и серебряные приношения, на щиты, украшенные драгоценными камнями, на мурринские вазы и драгоценные нарукавники идолопоклонников, которые многие века украшали обитель Юпитера, царящего в Капитолии вместе с Юноной и Минервой.

Для Симмаха и многих последних язычников этот сверкающий Юпитер был только олицетворением римских традиций, видимой цепью, соединяющей настоящее с прошлым. Преклоняя перед ним колени, они возносили свои молитвы к духам — покровителям родины.

Но не Юпитеру теперь молился Симмах:

— О, ты, правитель мира, которому угодно было иметь столько имен, сколько есть людских наречий,— смилуйся над Римом! Если мы не угадали твоего истинного имени, то не карай за неведение нас, слабых смертных, ибо ты не открыл нам, как ты хочешь, чтобы тебя величали. Если ты сила, разлитая во Вселенной, если ты соединяешься со всеми стихиями, приводя их в движение без посторонней помощи, если ты могущество, отрешенное от мира и носящееся над делом рук своих,— прости моей отчизне минуты забвения.

И он устремил пристальный взгляд на сверкающий облик Зевса, окруженного ореолом переливающихся лучей, как будто ждал ответа.

До него доносился немолчный, тихий шум вздохов и рыданий. Симмаху казалось, что белая волна тог и платьев, окутанная мраком вечера, удаляется, бледнеет, уходит в землю, меркнет. Его глаза, ослепленные блеском алтаря Юпитера, видели какую-то серую мглу, из которой временами выделялись неясные очертания человеческих фигур.

И внезапная боль так сильно охватила его душу, что он зашатался и упал на колени. Эти бесформенные контуры человеческих фигур произвели на него впечатление теней, исчезающих в пространстве.

Охватив голову руками, он без движения лежал на полу. Сердце римлянина было переполнено слезами, и он напрягал всю свою волю, чтобы сдержать их. Рыдания давили его грудь, теснились в горле. Он боролся с собой, чтобы не разразиться жалобами, как женщина.

— Неужели ты навсегда отвратила свой лик от детей Рима, неведомый владыка мира. Неужели ты не отменишь своего решения? — спрашивал Симмах.— Отчего?.. Отчего?..

Он обхватил грудь руками и с трудом перевел дыхание.

— Если тебя оскорбляет наше неведение, скажи, как называть тебя? Тебе служат горы и моря, солнце и звезды, ветры и молнии. Откройся нам в грохоте своих громов, бурь и ураганов. Смилуйся над Римом, над своим избранным народом! — молил он с отчаянием.

А до его слуха по-прежнему доносился несмолкаемый тихий шум вздохов и сдерживаемых рыданий, вливающийся в его душу безнадежной жалобой.

Симмах припал к пыльному полу своими седыми волосами. Он дал простор своему горю, и из его груди вырвалось отрывистое, сухое рыдание. Когда он лежал, подавленный, более жалкий, чем самый несчастный раб, к нему приблизилась белая фигура. Никомах Флавиан наклонился над своим другом, дотронулся до его плеча и проговорил тихим голосом:

— Встань и будь мужем! Пришли известия от Юлия.

Симмах вскочил на ноги.

— От Юлия? — прошептал он.

И блеск радости осветил его скорбное лицо.

— Юлий был у Арбогаста? Виделся с ним, говорил? О, если бы Арбогаст...

— Юлий был у Арбогаста в Тотонисе, откуда направился в Виенну, чтобы далее вести начатое дело,— отвечал Флавиан.— С дороги он умоляет нас быть терпеливыми и шлет слова надежды. Пишет, что душу Арбогаста уже терзает огонь оскорбленной гордости. А из этого огня для нас возникнет свобода.

— О, если бы Арбогаст...— повторил Симмах, сжимая руку Флавиана.

— Если бы Юлию удалось перетянуть Арбогаста на нашу сторону,— говорил Флавиан,— то угрозы Феодосия обратились бы против него самого. В союзе с Арбогастом мы без особых усилий одолеем восточные префектуры.

— А без Арбогаста?

— Без Арбогаста нам остается обратиться только к помощи наших богов.

— Боги Рима уже давно покинули нас,— отвечал Симмах со скорбной улыбкой.

— Нам остается только победа или почетная смерть. Иного исхода нет после ответа Феодосия.

— Теперь настала твоя очередь, Вирий.

— Что было в моих силах, я сделал. Легионы Италии — на нашей стороне, префект Африки обещал прислать из Египта столько хлеба, сколько нам потребуется; денег и оружия у нас достаточно; сторонники прежнего порядка, разбросанные по целому государству, ждут из столицы сигнала.

Флавиан поднял полу тоги и тихо опустил ее на землю.

— Подождем еще дальнейших известий от Юлия, а если они будут неблагоприятны, то вверим судьбу Рима в руки бога войны. Пусть Марс выбирает между нами и Феодосием.

— Пусть выбирает,— повторил Симмах.

III

На дворе еще не совсем рассвело, когда на следующий день ворота атриума Весты отворились, и на улицу вышла Фауста Авзония, одетая в обычное платье жрицы. Только вместо шелкового красного плаща на

ней была надета длинная епанча из толстой белой шерсти.

Она посмотрела на небо. Легкие облака, как туман, тихо тянулись над городом. С востока дул холодный, пронизывающий до костей ветер.

Перед воротами весталку ждала колесница, запряженная четверкой белых лошадей.

В ту минуту, когда Фауста садилась в экипаж, с левой стороны показались три голубя и, покружившись над атриумом Весты, исчезли за стенами храма Юпитера.

— В Тибур! — приказала она.

Она сама отвязала пурпурные вожжи и тронулась в путь. Перед ней ехал ликтор, а сзади два невольника. Все трое были верхом.

Город уже просыпался. Торговцы и ремесленники отпирали железные ставни. Везде, где проезжал экипаж весталки, суматоха начинающегося дня прекращалась. Торговцы, ремесленники и дети прижимали руки к груди и с уважением наклоняли головы. Женщины становились на колени. Городская стража отдавала честь, как префекту.

Ликтор без всякой надобности выкрикивал монотонным голосом:

— Дорогу святейшей деве Весты!

Фауста Авзония отвечала ласковой улыбкой и благосклонным взглядом царицы, привыкшей к почестям.

Вдруг она вздрогнула. На перекрестке четырех улиц стоял человек, закутанный в галльский плащ. Из-под его капюшона выбивались светлые волосы, а на смуглом лице светились блестящие черные глаза.

И он также преклонил голову.

Вожжи задрожали в руках Фаусты, горячий румянец залил ее лицо и шею.

Экипаж исчез уже за поворотом улицы, а этот человек все еще стоял на одном месте, преследуя весталку жадным взором. И, только когда стук колес затих, он отбросил назад капюшон и смешался с толпой.

То был Фабриций.

Целую ночь он не сомкнул глаз. Беспокойство подняло его с постели и выгнало из дома. Стража, расставленная на Палатине, удивлялась бдительности своего начальника. Он несколько раз обращался к ним, спрашивал пароль, бранил без всякого повода, казалось, совсем не слышал ответов и бежал далее.

Он осторожно приближался к атриуму Весты, обходил кругом обитель весталок, прислушивался, забывая о собственной безопасности. С первым лучом пробуждающегося дня он вышел на дорогу, которая вела в Тибур, и ждал.

После вчерашних происшествий он не был уверен в выезде Фаусты. Может быть, верховный жрец задержит ее в городе, может быть, она сама не захочет покинуть храм в такую грозную минуту...

Если бы она изменила свое намерение, план похищения, придуманный с таким трудом, пропал бы даром. Люди, нанятые Теодорихом, могли бы отказаться, или какое-нибудь иное непредвиденное препятствие могло освободить весталку от расставленных сетей.

Эти опасения лишили Фабриция сна, и, только увидав Фаусту, он вздохнул свободнее, но мучительное беспокойство не покинуло его окончательно.

Отъезд весталки был только началом задуманного дела. В ранние часы в Рим тянутся массы поселян. Теодорих может не найти места, удобного для нападения, а тогда...

При одной мысли о неудаче Фабриций содрогался всем телом и проклинал свое положение, которое связывало свободу его действий. Его юношеская страсть к Фаусте была такой силы, что, если бы ему приказали сейчас же выбирать между любовью весталки и наместничеством Италии, он, не колеблясь, потянулся бы за первым.

Чувствуя, что стены дома будут душить его, как тюремная крыша, он выехал за город, в лагерь, приказал войску выстроиться и в течение нескольких часов мучил солдат упражнениями.

Тем временем Фауста приближалась к Тибуртинским воротам, всюду сопровождаемая приветствиями римлян.

У самых ворот она услыхала за собой топот быстро бегущих лошадей и обернулась... Какая-то женщина мчалась, опустив вожжи. Голубой плащ, точно крылья, развевался над ее головой.

Поравнявшись с весталкой, она остановилась, бросила вожжи одному из невольников и вскочила в экипаж Фаусты.

— Не езди сегодня в Тибур, не езди...— говорила она задыхающимся голосом.

— Это ты, Порция? — отозвалась Фауста, узнав се-

стру Юлия.— Не мягка, должно быть, твоя постель, если ты покидаешь ее в такое раннее время.

— Не езди сегодня в Тибур, святейшая! — умоляла Порция, целуя руку весталки.

Фауста погладила рукой раскрасневшееся лицо девушки.

— Почему, дитя? — спросила она ласково.— От холода пасмурного дня меня охраняет одежда.

— От могущества злых демонов, которые завидуют твоей добродетели, тебя не защитит самое толстое сукно,— продолжала Порция.

И, наклонившись к уху Фаусты, она прошептала:

— Я видела тебя во сне на большом лугу... Ты собирала цветы, чтобы украсить ими алтарь непорочной Весты. Вдруг на тебя налетел огромный ястреб, схватил в когти, унес в небесную лазурь и исчез в воздухе... Сверху на землю падали цветы и лоскутья твоей жреческой одежды... И цветы и лоскутья были смяты, загрязнены. Не езди сегодня в Тибур, святейшая.

Лицо Фаусты омрачилось. Суеверная римлянка вспомнила о трех голубях, которые появились с левой стороны, и начала колебаться. Ее останавливала также и встреча с Фабрицием.

Но если она вернется в атриум Весты, что она скажет верховному жрецу, чем объяснит свое непослушание? В Тибур она ехала по его повелению. Опасение какого-нибудь неожиданного поступка со стороны воеводы не может оправдать ее, никто не должен знать о его грешных чувствах к ней. Любовь христианина была позором для весталки.

Фауста не могла вернуться назад.

— Вчерашние уличные сборища, по-видимому, настолько настращали твое молодое сердце,— сказала она,— что злоба галилеян пугает тебя даже во сне. Не бойся за меня. Наши боги еще царят в Риме и заботятся о безопасности своих служительниц.

Она поцеловала Порцию в голову.

— Завтра я буду ждать тебя в атриуме, чтобы поблагодарить за твое беспокойство.

— Возьми меня с собой, святейшая,— просила Порция.

— Ты хочешь защищать меня от этого огромного ястреба? — улыбнулась Фауста.— Если он настолько силен, как тебе представилось, то он и тебя похитит вместе со мной, а Констанций Галерий мне никогда не простит

этого. Не удерживай меня, дитя. Гелиос уже высылает вперед себя розовоперстную денницу, а дорога в Тибур гористая.

Она приказала ликтору перенести Порцию в ее экипаж и выехала за ворота.

Стража опустила перед ней мечи, а сотник приветствовал ее восклицаниями, как и своего начальника.

Дорога в Тибур шла по берегу узкой реки, извиваясь и поворачивая вместе с ней. Вначале приходилось ехать вдоль домов огородников, которые снабжали столицу овощами, но на третьей миле постройки становились все реже. Только одни виллы, летние жилища римских купцов, сверкали белизной своего мрамора из-за куп кипарисов и каштанов.

И телеги, которые прежде тянулись непрерывными рядами, попадались теперь реже. Белый пояс весталки и ленты, развеваемые ветром, издали сдерживали их движение. Путешественники, спешившие в Рим, склонив голову, ожидали, пока экипаж весталки не минует их. Наиболее усердные выходили из экипажей и падали на колени.

Фауста всех приветствовала обычной милостивой и благосклонной улыбкой важной госпожи, с малых лет привыкшей к почестям.

На четвертой миле она поравнялась с телегой, которая тащилась шагом, хотя в ней сидели только трое мужчин.

На окрик ликтора посторонилась с дороги и эта телега, но сидевшие в ней не поклонились весталке. Один из них, который правил, повернул голову в сторону, двое остальных окинули быстрым, пристальным взглядом невольников Фаусты, как бы измеряли их силу.

Когда колесница уже опередила их, то правивший телегой ударил лошадей и поехал в нескольких шагах от весталки.

День становился все светлее. Сквозь тучи, покрывающие восток, просвечивала полоса медного цвета, отблеск которой широко разливался вокруг. Ветер стих, деревья перестали шевелиться — и во всей природе воцарилась тишина.

Среди этой тишины из-за медной полосы показался край огненного шара. Сначала он выкатывался медленно, потом все быстрее и быстрее, пока над сумраком холмов, показавшихся на горизонте, не повис огромный, красный щит, и сразу исчезли последние тени ночи.

Фауста простерла руки к солнцу.

— Привет тебе, Гелиос, бог света! — заговорила она вполголоса.— Осуши своим теплом слезы моего народа. Пусть твое пламенное око сегодня глядит только на улыбки счастливых. Привет тебе, Гелиос!

Красный щит бледнел, желтел — медная полоса пропадала, расплывалась, тучки становились все легче, все прозрачнее, Ветер проснулся снова, деревья заколыхались.

Фауста плотнее закуталась в плащ и стегнула лошадей.

На сердце у нее таилось какое-то тревожное чувство, которого она не могла осилить. Ей казалось, что кто-то хватает ее сзади за платье, стараясь стащить с колесницы. Несколько раз она оглядывалась назад, и всегда ее взгляд падал на людей, которые ехали за ней следом. Они смотрели на нее с таким напряженным вниманием, с таким нахальством, что она тотчас отворачивала голову, оскорбленная их бесстыдством.

«Что это за люди могли быть?» — спрашивала мысленно она себя. Ни один из почитателей народных богов не осмелился бы приблизиться к весталке на несколько шагов. Может быть, это галилеяне?.. Но и христиане, живущие в Италии, уважали хранительниц священного огня за их чистоту, за отречение от бренного земного счастья.

Воображение рисовало перед глазами Фаусты огромного ястреба Порции. Он висел над ее головой, протягивал к ней когти... Светлые перья покрывали его голову, черные, изумительно блестящие глаза горели над кривым носом...

Фауста так сильно дернула вожжи, что лошади попятились назад.

У ястреба Порции были глаза Фабриция...

Кто эти люди? Ведь Фабриций в ту памятную ночь расстался с ней, угрожая встретиться в другом месте. Это значило, что он не потерял надежды сблизиться с ней, не взирая ни на что.

«Неужели этот галилеянин осмелится поднять руку на весталку оберегаемую всем народом?» — спрашивала Фауста.

А тревожное предчувствие, охватывающее ее с каждым разом все сильнее, отвечало:

«Кто осмелился нарушить неприкосновенность храма Весты, тот не остановится и перед насилием».

И вдруг... лицо Фаусты покрыл румянец, она улыбнулась. Весталка была женщиной, а женщине всегда льстит любовь, более сильная, чем опасение позора и смерти. Если бы она не сложила к ногам Весты мечтания своей молодости, то, может быть, не оттолкнула бы чувства, страстность которого была достойна ее взаимности.

Как раз в это время ей навстречу шла какая-то крестьянка. Увидав весталку, она преклонила на дороге колени.

Почесть, воздаваемая ее сану, напомнила Фаусте обязанности ее положения. Она тряхнула головой, точно хотела освободиться от грешных мыслей, но сердце женщины и дальше пряло золотую нить девических грез.

Фауста очнулась только тогда, когда раздался голос ликтора:

— С дороги! Место святейшей деве Весты.

Впереди по дороге ехала большая дорожная карета с опущенными шторами. Фауста хотела ее объехать, но карета помешала объезду. В то же время телега, едущая сзади, так близко придвинулась к ее колеснице, что лошади незнакомых людей почти касались ее невольников.

Напрасно кричал ликтор, ругались невольники и Фауста погоняла своих лошадей. Едущие спереди и сзади не обращали внимания на брань и крики. Когда Фауста пускала лошадей, пускали и они, когда она натягивала вожжи —и незнакомцы двигались вперед не спеша.

Упорное молчание и необычайная дерзость непрошенных попутчиков снова напомнили Фаусте ястреба Порции и угрозы Фабриция.

Она оглянулась вокруг. Окрестности были пусты и безлюдны. По дороге уже не встречались белые виллы. Только вдали, в горах, сквозь голубую мглу едва виднелись бедные деревушки.

Фаусту охватил страх. Несчастье, которое может случиться с ней, повергнет Рим в смятение.

Она напрягла зрение. Может быть, встретится какой-нибудь верный поклонник народных богов и освободит ее от такой необычной опеки.

Но по дороге, насколько хватало зрения, не было никого видно. Добраться бы только до северных деревушек, и она спасена. Она обратится к властям...

В голове Фаусты бродили беспорядочные мысли. Она все яснее чувствовала, что ей угрожает опасность. Это

подсказывали ей быстрое биение сердца и неприятный холод, пробегавший по ее телу.

— Пусть эти люди посторонятся с моей дороги. Прикажи им именем префекта преторий! — обратилась она к ликтору.

Но и имя Флавиана также не подействовало на неотвязчивых попутчиков. Карета двигалась в молчании, как будто в ней никого не было.

Окрестности становились все пустыннее, глуше. Направо и налево тянулись безлесные луга. Холодные и сумрачные горы, уходящие в облака, становились все ближе.

В сердце Фаусты боязнь уступила место гневу. Эти наглецы стесняли ее свободу, пренебрегали ее приказаниями.

Она нагнулась и отпустила вожжи.

Произошло что-то странное. Карета, колесница и телега, вытянувшись в одну линию, мчались и как бы состязались в цирке перед лицом римского народа: лошади фыркали, люди молчали, из-под копыт летели искры, тучи пыли поднимались кверху.

Фауста, бледная, с глубокой складкой на лбу и раздувающимися ноздрями, старалась во что бы то ни стало обогнать карету, но незнакомый путешественник мчался так же быстро, как и она.

Вдруг в том месте, где дорога разветвлялась на две стороны, карета остановилась так неожиданно, что лошади Фаусты наскочили на нее. Одна из них упала на землю, остальные бросились в сторону, вожжи перепутались.

Прежде чем Фауста успела опомниться, за ее плечами раздались громкие голоса. Она оглянулась... Один из ее невольников плавал в крови, другой оборонялся от двух нападающих.

Она выхватила из-за туники стилет, но в эту же самую минуту кто-то вскочил в ее колесницу, набросил ей на голову покрывало, и двое сильных рук подняли ее в воздух.

Несколько минут спустя карета и телега мчались по боковой дороге к северу. Густые клубы пыли вскоре закрыли удалявшихся.

Ни нападавшие, ни защищавшие не заметили, что испуганные глаза какого-то старика видели насилие, которому подверглась весталка.

За кустом сидел нищий, который чинил свою одежду. Когда карета исчезла в отдалении, он вышел из-за прикрытия, положил трупы ликтора и невольников на колесницу, отрезал постромки убитой лошади и направился к Риму.

* * *

В то время как это происходило на дороге в Тибур, воевода в Риме, в лагере за городом, испытывал выносливость своих солдат. Пройдя с ними обычные упражнения, он приказал им воспроизвести штурм крепости. Сам он шел пешим во главе атакующих и бросался на воображаемых врагов с таким бешенством, будто они были действительными врагами. Он взбирался по лестнице на стены, брал осадные машины, бранил отсталых или неловких, кричал, командовал.

Трибуны и сотники в изумлении переглядывались друг с другом. Еще никогда воевода не обнаруживал такого рвения.

Подчиненные не знали, что мысли их начальника в беспокойстве и тревоге устремлялись постоянно на Тибуртинскую дорогу.

— Теперь они должны быть на второй миле, теперь на третьей, на четвертой, на пятой... Как бы только им не помешал какой-нибудь случай... Почему я сам не могу участвовать в похищении... Не следовало доверять негодяям такого важного дела... Теодорих уже стареет...

Неуверенность, опасение, надежды сменялись в сердце воеводы и увлекали его с места на место. Но в этот хаос внутренней борьбы иногда проникал и голос рассудка.

— А если по дороге встретится кто-нибудь, знающий Теодориха, или если эти нанятые негодяи отступят в последнюю минуту...

Неудавшееся нападение принудит императорского уполномоченного к позорному бегству из Рима, заставит бросить пост, на котором он должен был служить своей вере и христианскому правительству.

Был уже полдень, когда воевода разрешил солдатам вернуться в казармы. Он хотел дальше продолжить учение, но рядовые начали роптать. Они падали от голода и усталости.

Фабриций возвращался в город один, без свиты. Взгляды подчиненных раздражали его.

Когда он проезжал ворота, ему показалось, что стража смотрит на него иначе, чем обыкновенно.

В городе его поразила тишина, царящая на улицах. Люди собрались в кучки и шептались о чем-то.

На ступенях храмов, перед статуями обоготворенных императоров лежали женщины с распущенными волосами. Лавки и магазины быстро запирались, мелкие торговцы складывали свои палатки.

Фабриций чувствовал, что этот переполох находится в связи с Фаустой Авзонией, и все большая тревога перепутывала его мысли.

— Может быть, она защищалась,.. может быть, ее ранили... убили... может быть, она вырвалась из рук похитителей и вернулась в Рим?

Он подозвал городского сторожа.

— Я вижу, что город одевается в траур,— спросил он подбежавшего к нему сторожа.— Разве умер кто-нибудь из знатных?

— Боги наслали на Рим страшное несчастье, знаменитый господин! — ответил старик.

— Несчастье?

Фабриций силился сохранить спокойствие.

— Несчастье, говоришь ты? — повторил он беззвучным голосом.— Разве ангел смерти коснулся своими крылами кого-нибудь из сенаторов?

Он затаил дыхание и ждал, хотя нетерпение терзало его нервы, как ветер листья осины.

— Какие-то злодеи на Тибуртинской дороге напали на святейшую Фаусту Авзонию и увезли ее на север.

Сторож поднял руки к небу и воскликнул от души:

— Будь они прокляты! Пусть после смерти земля выбросит их из своих недр, чтобы они не знали покоя в царстве теней! Пусть отец богов осудит их на муки Тантала за оскорбление, горе и позор Рима!

На глазах язычника блеснули слезы.

Фабриций перевел дыхание.

— Кто же принес эту печальную весть в город? — спросил он.

— Свидетелем безбожного насилия был какой-то старик.

— Может быть, он узнал похитителей? — быстро перебил Фабриций сторожа.

— У злодеев на головах были капюшоны, а на лицах черные маски. Пусть их поразят громы Юпитера!

Фабриций пришпорил лошадь и поскакал к Палатину. Везде по дороге виднелись запертые магазины, мастерские и погруженные в печаль люди. Мужчины, одетые в черные тоги, спешили в храмы. Женщины из народа вопили на улицах, рвали на себе волосы, посыпали пылью одежду.

Воевода, глядя на это искреннее отчаяние, понимал, как тяжело он оскорбил чувства язычников.

Напрасно он убеждал себя, что оскорбление, нанесенное идолопоклонникам, не есть оскорбление, что, обращая весталку в христианство, он оказывает услугу своей вере. Проклятия сторожа звенели в его ушах, проникали в его мозг, в его сердце, пробуждая в нем совесть солдата.

Он похитил Фаусту, как потаенный убийца, вступил в союз с простыми разбойниками. Не в открытой битве он вырвал из пасти судьбы свое счастье.

Когда он въезжал на Палатин, навстречу ему выехал отряд конницы. Это Флавиан послал их в погоню.

Румянец стыда залил лицо Фабриция.

Теперь он был лжецом, он, который укорял Флавиана в предательстве. И лжецом, во сто раз более достойным презрения, ибо если префект претории старался усыпить его бдительность, то делал это из любви к родине, а его преступление породила обыденная человеческая страсть.

Опустив глаза, Фабриций отдал прислуге лошадь. Ему казалось, что все удивленными взглядами следят за его движениями.

Он не вошел в дом. Начальник его канцелярии предстал бы немедленно перед ним с новостью, которая потрясла весь город. Усердный чиновник будет ему говорить о Фаусте Авзонии, будет строить предположения, мучить его догадками. А может быть, он спросит его о Теодорихе и аллеманах, посланных вчера ночью без его ведома.

Фабриций не чувствовал себя достаточно спокойным, чтобы удерживать любопытство своего чиновника в должных границах. Он хотел прийти в себя, восстановить нарушенное равновесие.

Быстро пройдя переднюю, он по боковым коридорам направился в сад, в котором невольники-германцы обрезали сухие ветки деревьев и подметали дорожки.

Он подошел к стене, оперся на нее и стал прислушиваться.

Снизу на него веяла неприятная, глухая тишина кладбища. В городе замерла всякая жизнь. Люди забыли о труде, о нуждах дня, о своих делах, угнетенных тяжестью всенародного несчастья.

И Фабриций все яснее понимал ужас своего поступка. Хотя он знал, что язычники окружают весталок особым суеверным уважением, но не представлял себе, что они так глубоко примут к сердцу оскорбление, нанесенное традициям долгих веков.

Он уже не мог отступить. Проступок, раз совершенный, влек за собой цепь лжи и низости. Его деятельность в Риме окончилась бы в ту минуту, когда язычники узнали бы о его безрассудстве. Говорил же ему граф Валенс, что отказ Феодосия не будет еще последним триумфом нового порядка. Пока Флавиана не заменит другой префект претории, до тех пор законы идолопоклонников не перестанут быть обязательными для древней столицы государства.

Пока Фабриций раздумывал о средствах сохранить тайну до полного обращения Фаусты, к нему осторожными шагами лисицы приблизился человек, одетый в дырявую тогу. Он самодовольно усмехался и шевелил пальцами, как бы считал деньги, и шел так тихо, что обратил внимание воеводы только тогда, когда проговорил:

— Привет твоей светлости приносит твой нижайший слуга,— сказал он слащавым голосом, весь согнувшись в дугу.

Фабриций обернулся. Перед ним стоял Симонид.

— Что тебе надо? — спросил он резко.

— С чем же иным мог бы такой ничтожный червь, как твой преданнейший раб, прийти к такому сильному вельможе, как не с униженной просьбой,— отвечал Симонид, наклоняясь почти до земли.— Я ищу ключ от твоего милосердного сердца.

— Ты хочешь сказать, что ищешь ключ от моей шкатулки. Говори, чего ты хочешь, только короче, времени у меня мало.

— Добрый Пастырь одарил твою светлость не только богатырской отвагой, но и разумом мудреца, око которого читает в душе смертных, как в открытой книге,— продолжал Симонид, не переставая кланяться.— Ты знаешь, господин, что денежки дают бедному уважение людей. Без золота до сих пор никто не был ни добродетельным, ни щедрым, ни...

— Слишком много слов выходит из твоих уст,— пре-

рвал его Фабриций.— Ты хочешь денег? Сколько?

Симонид молчал, глядя исподлобья на воеводу. Его косые глаза бегали, брови двигались то вверх, то вниз, руки загребали что-то к себе. Он, видимо, обдумывал цифру, которую хотел потребовать.

— Сколько? — с нетерпением крикнул Фабриций.

— Я трудился всю жизнь как невольник,— начал Симонид, указывая на свою дырявую тогу,— и заработал себе вот это рубище. Старость клонит меня к земле, притупляет взор, обессиливает ноги и руки. Я хотел бы обладать на склоне дней собственным домиком и невольницей, чтобы остаток жизни мог...

Он остановился, неуверенным взглядом посмотрел на воеводу и проговорил дрожащим голосом:

— Сто тысяч сестерций вполне бы обеспечили спасение моей души.

Фабриций насмешливо улыбнулся.

— Почему не миллион, не два, не три? — сказал он.— Дорого ты ценишь свою подлую душу, если требуешь столько, чтобы откупиться от когтей злых демонов. Уйди, глупец, пока мои рабы не показали тебе дорогу на улицу.

Симонид, который до сих пор стоял, покорно согнувшись, медленно выпрямился. Его хитрые глаза сделались злыми, нижняя губа выдвинулась, как у кошки, собирающейся укусить.

— Однако я бы советовал твоей светлости,— сказал он сухим голосом, процеживая слово за словом,— чтобы ты смилостивился над моей грешной душой. И самый маленький червяк может чувствительно укусить самого сильного зверя.

Фабриций был удивлен внезапной переменой, происшедшей в фигуре и голосе грека. Этот бездельник грозил ему, хотел выманить у него деньги. Неужели он знает больше, чем нужно?

— Ты угрожаешь мне? — сказал он, нахмурив брови.

— Я не угрожаю, а только советую,— отвечал Симонид.— Ведь я служил тебе верой и правдой. Без меня ты не узнал бы, по каким дням Фауста Авзония стережет священный огонь идолопоклонников, без моей помощи Теодорих не нашел бы тех молодцов...

Побледневшее, почти синее лицо воеводы, стиснутые губы, нахмуренные брови и глаза, горящие холодным огнем, говорили ему что-то такое страшное, что он затрясся, как будто его охватил внезапный холод. Он хотел бе-

жать — ужас приковал его ноги к земле, хотел звать на помощь — страх схватил его за горло.

С разинутым ртом, с широко раскрытыми глазами он стоял под взглядом Фабриция, парализованный его угрожающим видом.

Несколько минут эти два человека смотрели друг на друга затаив дыхание. Наконец воевода сказал:

— Как человек умный, ты должен знать, что тайны сильных убивают таких ничтожных, как ты. Ты следил за мной и Теодорихом, чтобы заработать деньги для покупки собственного дома и невольницы. У тебя будет самый крепкий дом, и никакая сила не выгонит тебя оттуда...

Грек упал на колени и застонал:

— Я не знаю ничего... Я никогда не знал ничего... И знать не буду... Я лгал... согрешил... Фаусту Авзонию похитили торговцы невольниками... Я их видел... разговаривал с ними вчера... и хорошо их знаю... Смилуйся над бедняком... Такой червь, как я, не может ничего знать... мне никто не поверит... Смилуйся, божественный, бессмертный государь...

И он извивался у ног воеводы.

Но Фабриций продолжал со страшным спокойствием судьи, изрекающего смертный приговор:

— И ты, такой сообразительный, думал, что Винфрид Фабриций отдастся в твои грязные руки, как связанный баран? Ты, такой проницательный, полагал, что я соглашусь зависеть от твоей милости, от милости шпиона и предателя? Как же ты глуп, мудрый грек!

— Смилуйся над своим верным слугой, божественный, вечный, святой господин,— умолял Симонид.— Я ничего не знаю, ничего, ничего...

— Ты скоро будешь таким молчаливым, что силы всего света не вырвут из тебя моей тайны. Минуты твои сочтены.

Симонид оглянулся вокруг. Перед ним была стена, за спиной тянулся сад, над ним стоял воевода с мечом.

Он понял, что ему остается только быстрая оборона.

Сделав вид, что он молится, он осторожно опустил руку за пазуху и вдруг вскочил, ударив стилетом в грудь воеводу. Сталь зазвенела, ударившись о кольчугу, скрытую под туникой.

Симонид произнес проклятие и хотел повторить удар, но, прежде чем он успел поднять руку, его горло стисну-

ли такие ужасные клещи, что кровь брызнула у него из носа.

Фабриций поднял его кверху и душил, не помня себя от гнева. Глаза грека выкатились из орбит, язык высунулся изо рта, хриплое дыхание вырывалось из груди.

Фабриций потрясал им в воздухе, как тряпкой. Кровь Симонида обагрила его белую тунику.

Он еще раз сжал горло грека и бросил его трепещущее тело о каменную стену.

— Пусть пожрет тебя ад, шпион! — прошептал он сквозь стиснутые зубы.

Фабриций кликнул невольников и, когда они прибежали, проговорил:

— Этот пес поднял руку на вашего господина.— И он указал на стилет Симонида.— Я покарал его. Закопать его тотчас же в саду, и пусть память о нем навсегда останется в этих стенах.

Войдя в дом боковыми дверями, он снял с себя окровавленную тунику, умылся, переоделся и удалился в свой кабинет.

Глашатаю, который дремал у порога, он сказал:

— Сегодня я не принимаю никого. Ты можешь идти.

— Начальник канцелярии твоей знаменитости просит о докладе,— сказал невольник.

— Я говорю — никого! — крикнул воевода.

Он сел, обхватил голову обеими руками и мысленно стал вспоминать события последнего дня.

Вчера у него на совести еще не было ни одного пятна. Если он был беспощаден к язычникам, то исполнял только обязанности цезарского уполномоченного.

Сегодня он совершил гнусное насилие, побратался со злодеями, умышленно лгал, жестоко оскорбил несчастный народ и в конце концов убил старика...

Со стены на него смотрел Спаситель.

Фабриций отвернулся, чтобы не встретиться глазами с печальным взором Христа.

— Дорого плачу я за твою любовь, о Фауста! — простонал он, закрывая лицо руками.

IV

Палящее солнце погожего мартовского дня заливало потоками лучей «прекрасную Виенну», которая широко развернулась по обе стороны Роны.

Поэт Марциал справедливо назвал эту старую римскую колонию «прекрасной». Императоры и наместники Галлии украсили свою любимую резиденцию таким множеством церквей, храмов и памятников, что ни один провинциальный город не мог сравниться с Виенной. Ее украшали Юлиан Отступник, Грациан, Максим и Валентиниан.

По примеру государей и их сановники строили великолепные дворцы, бани и театры, выпрямляли улицы, содержали площади и базилики в величайшем порядке.

Над самой рекой, в саду, находилось большое здание, окруженное высокой стеной с острыми железными шипами наверху.

Кай Юлий и Констанций Галерий в утреннюю пору подходили к воротам этой стены. Они шли пешком, без прислуги, одетые в обыкновенные сенаторские тоги, в высоких шнурованных башмаках из белой тонкой кожи.

Два старых солдата, исполняющих обязанности привратников, загородили им дорогу.

— Нельзя,— сказал один из них.— Покажите разрешение графа священного дворца.

— У нас есть разрешение самого императора,— сказал Юлий с иронической улыбкой, сунув в руки сторожей по золотой монете.— Рассмотрите этот пергамент за бутылкой хорошего вина. Там не только имя, но и лик нашего божественного государя.

Солдаты, оглянувшись, быстро сунули монеты за туники и пропустили сенаторов.

Через каждые десять шагов вдоль широкой аллеи, усаженной каштанами, стояли заслуженные солдаты с обнаженным оружием в руках, и каждый из них требовал разрешения графа.

Юлий уже не утруждал себя ответами, он совал направо и налево в грубые руки бородатых солдат деньги с такой ловкостью, точно ничего другого в жизни не делал.

— Я не был бы так искусен,— заметил Констанций.

— Если бы ты пожил подольше в Виенне или Константинополе, то научился бы этому очень скоро,— ответил Юлий.— И я сначала удивлялся бесстыдству этого сброда, а теперь, как видишь, забавляюсь этим.

По мере того как они поднимались вверх, аллея расширялась, соединяясь перед самым дворцом с широким

квадратным двором, который кишел людьми разных чинов и должностей.

Невольники в красных туниках, обшитых золотой бахромой, стройные сирийские юноши, безусые евнухи, черные нубийцы с кольцами в ушах, рыжие галльские стрелки сновали из стороны в сторону. Военные высших чинов в серебряных шлемах и латах, опоясанные голубыми, желтыми и красными шарфами; чиновники в длинных шелковых плащах с нашитыми на них драгоценными камнями, суетились перед дворцом, сверкая на солнце всеми цветами, как блестящие жуки.

Белые тоги сенаторов бесследно потонули в этом море ярких красок и ослепительного блеска. Никто не обращал внимания на римских патрициев, у которых не было ни медалей, ни наплечников, ни даже портретов императора. Низший из слуг императора затмевал Юлия и Галерия богатством одежды.

К дворцу вели широкие мраморные ступени, охраняемые с обеих сторон «протекторами» и «доместиками» [12]. Сыновья французских, аллеманских и галльских вельмож, все молодые и рослые люди, нарочно избранные для украшения портика цезарского дворца, внимательно вглядывались в каждого, кто проходил мимо них. Христианские монограммы, выложенные рубинами, искрились на их золоченых шлемах и щитах, желтые шелковые плащи шелестели при каждом их движении.

Юлий приблизился к одному из них, который отличался пурпуровым поясом, и сказал:

— Кай Юлий напоминает о себе знаменитому Рикомеру.

Знаменитый Рикомер, сотник доместиков, окинул взором сенатора, не переменив даже своего положения. Опершись плечом о колонну, он небрежно отвечал:

— Мне говорили, что ты вернулся в Рим.

— От Виенны до Рима дорога не дальняя. Я приехал, чтобы получить аудиенцию у нашего божественного государя.

— Это будет трудно. Его вечность теперь приготовляется к принятию святого крещения. Сам архиепископ Медиоланский будет совершать обряд.

— Я слышал, что религиозные обряды не освобождают мысли нашего императора от государственных занятий.

— Текущими делами заведуют графы.

---

[12] Гвардия христианских цезарей: прежние преторианцы.

Рикомер посмотрел на Юлия сквозь полуопущенные веки. По его губам пробежала пренебрежительная улыбка.

Юлий приблизился к нему и сказал тихим голосом:

— Я помню, что тебе когда-то нравились мои испанские лошади. Если у тебя не переменился вкус, то я буду очень счастлив, если ты их запряжешь в свою колесницу.

В глазах Рикомера мелькнул мимолетный блеск радости. Однако он ответил равнодушно, как будто щедрый подарок не доставил ему никакого удовольствия:

— Благодарю твою светлость от имени моего кучера, который влюблен в испанских лошадей. Что же касается меня, то я предпочитаю британских. Они рослее и сильнее.

— Если бы ты устроил мне свидание с камергером священной ложницы [13],— сказал Юлий,— то, может быть, в моей конюшне нашлись бы также и британские кони.

— Великий камергер сейчас покинет священные покои его вечности,— сказал он.— Я поставлю тебя на такое место, чтобы он увидел тебя.

Он взял Юлия под руку, кивнул головой Галерию и повел сенаторов через портик к дворцу.

В передней царило постоянное движение. Всюду переливались и искрились яркие краски, шелестел шелк, сверкали золотые шлемы, горели рубины, изумруды, сапфиры. Поминутно черные евнухи отодвигали пурпуровые занавески на дверях, и из покоев Цезаря выходили разные сановники. Они шли, высоко подняв головы, вдоль блестящих рядов протекторов и доместиков.

Рикомер шепнул несколько слов сотнику дворцовой стражи и показал знаком сенаторам встать около него.

— Оттуда должен выйти главный камергер,— пояснил он Юлию.

Время от времени в глубине передней показывался глашатай и громко выкрикивал чье-нибудь имя. Счастливый подданный его вечности, которому после долгих мытарств удалось достигнуть желанной цели, протискивался за невольником через толпу. Его провожали завистливые взгляды тех, кого ему удалось опередить.

Римские сенаторы, сдавленные со всех сторон, стояли, глядя на двери, откуда должен был показаться сановник.

---

[13] Камергер священной ложницы был личным камергером императора.

Лица их с каждой минутой становились сумрачнее. Губы у Юлия начали дрожать; Галерий кряхтел и оглядывался кругом, как пойманный тур.

Ни тот, ни другой никогда не толкались в чужих передних. Чтобы избежать этого, они всегда держались вдали от цезарского двора, предпочитая расположению Феодосия и Валентиниана свою самостоятельность.

— Уйдем! — проворчал Галерий.

Юлий удержал его за тогу.

— Мы для Рима переносим это унижение,— прошептал он.

— Я задыхаюсь...

Нетерпение начало овладевать и Юлием. В это время занавеска раздвинулась, и головы всех преклонились перед молодым, рыжим мужчиной, который окинул собравшихся надменным взглядом.

— Его вечность, наш божественный государь сегодня не примет к себе больше никого,— произнес главный камергер.

Он хотел пройти сквозь блестящий ряд ожидающих, но, заметив Юлия, остановился и покровительственно потрепал его по плечу.

— Кай Юлий? — сказал он.— Приветствую тебя в Виенне! Тебе нужно что-нибудь от меня?

— Привет и тебе,— ответил Юлий.— Мои очи жаждут видеть божественный лик нашего бессмертного государя.

— Хорошо, хорошо, но только не сегодня и не завтра, а послезавтра. Запишись на листе желающих получить аудиенцию и терпеливо жди своей очереди.

Камергер кивнул головой Юлию и удалился, предшествуемый ликторами.

— Зачем мы унижаемся перед этим сбродом? — вскричал Галерий, размахивая руками.— Зачем мы стучимся в двери, которые для нас никогда не отворятся? Я давно говорил тебе: бить и бить! А вы напрасно тратите время, забавляетесь какой-то игрой. Наши отцы иначе разговаривали с врагами Рима.

— По приказу наших отцов вооружался весь цивилизованный мир,— ответил Юлий с печальной улыбкой.— А за нами не пойдут даже легионы Империи.

— За нами пойдет Италия.

— Арбогаст раздавит Италию в одной битве. Без его помощи мы не можем начать войны с Феодосием, а Арбогаст перейдет на нашу сторону только тогда, ког-

да будет страшно обижен Валентинианом. Нужно как-нибудь ускорить это

— Мне надоела эта фальшивая игра.

— Она оскорбительна и для моей гордости, но, увы, ложь — это оружие слабых.

Сенаторы, насупившись, шли по улицам Виенны, в которой кипела такая жизнь, как будто она была столицей государства.

Разноцветная и разноязыкая толпа заливала все тротуары. Посередине улицы тянулись носилки, переносные кресла, колесницы, кареты, повсюду бежали скороходы в пестрых платьях, кричали глашатаи, ликторы, расчищая дорогу для придворных сановников.

На площади перед храмом обоготворенных Августа и Ливии внимание сенаторов обратили на себя носилки необычной формы. Они напоминали форму лебедя, и все были украшены страусовыми перьями. Их несли шесть невольниц в грязных, растерзанных платьях римских плакальщиц.

Прохожие останавливались, таращили глаза, шептались и указывали пальцами друг другу на оригинальные носилки.

Но это, должно быть, не особенно интересовало их хозяйку — молодую женщину, которая небрежно раскинулась на желтых вышитых подушках и презрительно смотрела на любопытную толпу.

— Эмилия! — воскликнул Юлий.— Как эта блудница попала в Виенну?!

Актриса Эмилия, увидев сенаторов, издалека послала им поцелуй.

— Здравствуйте! — радостно крикнула она.

Когда они приблизились к ней, она произнесла:

— Как хорошо, что вы приехали в Виенну. Надеюсь, что вы навестите меня сегодня. Мне так здесь надоело, что я готова в присутствии всего города обнять вас и расцеловать.

Сенаторы быстро отстранились от носилок.

— Вы боитесь? — засмеялась Эмилия.— Не бегите от меня, если вы любите Рим, а я знаю, что вы его любите. И я теперь люблю наш священный вечный город, хотя клеветала на него в минуту разлуки. Только вдали от родины начинаешь ценить ее. Не смотрите на меня так сурово. Я не буду раздражать и смущать вас. Клянусь тенью Софокла, я не буду оскорблять ваших чувств и

горестей. Я римлянка, и душа моя жаждет римских воспоминаний. Приходите ко мне...

Она оживилась и говорила горячо, сердечно, с искренней просьбой в глазах.

— Вы не поверите, какое наслаждение встретить своих в толпе чужих людей! И актеры умеют любить родной город.

Сенаторы, которые сначала недоверчиво смотрели на Эмилию, теперь улыбнулись.

— Я не думаю, чтобы в Виенне ты получила столько золотых венков, как в Риме,— сказал Юлий, снова приблизившись к носилкам.— Галилеяне не любят вашего искусства.

— Не за венками и аплодисментами я приехала в Виенну,— ответила Эмилия.— Я по приказанию его вечности должна каяться за грехи молодости, должна обильными слезами смыть с души все пятна и умолять Бога галилеян, чтобы Он смилостивился надо мной. Вот я и каюсь и, как видите, лью слезы, даже на улице.

Она показала рукой на своих невольниц, переодетых плакальщицами.

Констанций и Галерий весело рассмеялись.

— Ты, должно быть, никогда не мечтала о такой роли,— сказал он.

— А тебя это забавляет! — Эмилия погрозила ему пальцем.— В наказание тебя следовало бы хоть в течение дня продержать на той пище, которой меня угощают галилеяне. Представьте себе, что эти постники, эти плакальщицы в мужском платье, беспрестанно навещают меня по приказу его вечности и мучают меня несносной болтовней о каком-то милосердии какого-то Бога, который сжалился даже над блудницей. Вы понимаете?

— А что же ты ответила на это? — перебил Юлий, с губ которого не сходила тонкая улыбка.

— Сначала я внимательно слушала,— что же мне делать в этой трущобе? Но когда мне надоедает их глупая речь, я начинаю защищаться по-женски. Я как будто нечаянно расстегиваю тунику, выставляю из-под платья ногу, приближаюсь к святому мужу, прижимаюсь к нему, кладу руки ему на плечи...

— И святой муж забывает о своей святости,— перебил Галерий, который задыхался от смеха.

— Как бы ни так. Святой муж собирает свои священные книги и уходит, преисполненный священного гнева.

— И все они делают так? — спросил Юлий.

— До сего дня убежало восемь человек. Завтра мне собираются прислать какого-то усмирителя всякого греха. Говорят, что этот неустрашимый герой питается кореньями и акридами, пьет только воздух, дышит запахом неба, а с богами разговаривает так же свободно, как я с вами. Мне становится весело, когда я подумаю о стычке с этим мешком, набитым голодом, жаждой и добродетелью. Приятное развлечение в моем одиночестве.

— Если вы не пренебрегаете моей компанией, славные отцы,— проговорила она, глядя на сенаторов умоляющими глазами,— то я пойду с вами пешком. Я знаю, что болтовня гистрионки смущает ваши важные мысли, но мы находимся в чуждой для нас среде. Римляне, будьте снисходительны к римлянке.

Сенаторы не отказали актрисе в чести, о которой она умоляла и взором и голосом. Они пошли рядом с ней, не обращая внимания на шепот толпы.

— Скажите, зачем вы сюда приехали? — продолжала Эмилия.— Римляне не для одного удовольствия приезжают в Виенну. Может быть, я буду в состоянии помочь вам. Меня окружают разные люди, которые обыкновенно толкутся около молодой женщины, если молва разгласила о ее таланте и веселой жизни.

Юлий и Галерий вопросительно посмотрели друг на друга.

Они знали Эмилию по театру, встречали ее иногда у кого-нибудь из своих родственников или друзей, но никогда не принадлежали к числу ее поклонников. Ревностные язычники, подражающие Марку Аврелию и Юлиану Отступнику, они сторонились шумных забав и развязных женщин.

Эмилия отгадала причину их нерешительности.

— Если бы я вам сказала, что мое пребывание в Виенне пробудило во мне римлянку старых времен, вы могли бы не поверить мне. Я все та же Эмилия, которую породили Вакх и Венера. Я не люблю Капитолийского Юпитера за его гром и молнии. Я не понимаю, как вы, молодые и богатые, обладающие всеми средствами для того, чтобы выпить из жизни всю ее сладость, можете проходить мимо человеческого счастья. Я ненавижу печаль, важность, обязанности, но еще больше, чем вы, ненавижу галилейскую веру, превращающую цветущую землю в угрюмую темницу. Наши боги принимают участие в радостях людей и не грозят им постоянно загроб-

ной карой за какое-нибудь пустое прегрешение. Наши боги не требуют от смертного, чтобы он для какого-то небесного венца, витающего в облаках, отказался от своей плоти, сделался мумией, увядшим листом, камнем, пеплом. Если безусловно нужно, чтобы какие-нибудь боги вмешивались в дела людей, то пусть уж это будут жители Олимпа. Их легче умилостивить, смягчить их гнев, наконец, обмануть их. За несколько белых телиц, зарезанных в Капитолии, даже громовержец Юпитер проясняет свое громоносное чело. А галилейский Бог сразу требует, чтобы ему посвятили всю жизнь, все помыслы и пожелания, и обещает за это только награду в царстве теней.

— А ты предпочитаешь быть лучше актрисой на земле, чем царицей по другую сторону Стикса,— сказал Галерий.— Плохо же тебя обучают галилейские священники.

— Если они будут меня долго мучить, то я соблазню самого святейшего из них и за уши приведу его в Рим.

— Ну, этого тебе не удастся сделать.

— Не удастся? Кто не боится женщины, или, как они говорят, сатаны, тот не бежит от соблазнов. Если бы я только захотела...

— Ты говоришь о молодых, здоровых людях. В таких в Виенне нет недостатка.

Эмилия презрительно улыбнулась.

— Ну, они не стоят моих взглядов и ласк,— сказала она, пожав плечами.— Да кому они нужны в этой трущобе? Истинные галилеяне те, которые чтут своего Бога, избегают меня как прокаженную. От меня сторонятся также все богатые и независимые варвары. Представьте себе, что эти франконские и аллеманские медведи сохраняют верность своим женам и называют преступлением свободную любовь. Что это за страна, что за понятия и обычаи? Я даже и не воображала о таком захолустье. Боги сурово наказали меня за клевету, которую я бросила Риму в минуту моего отъезда. У нас не так. У нас еще есть люди умные, снисходительные, щедрые, которые умеют еще платить за одно обещание тысячами, десятками тысяч.

Сенаторам это не понравилось. Эмилия, говоря о духовной силе новых людей, сама не зная, коснулась их больного места.

— А тут что? — продолжала болтать актриса.— Император, молодой и красивый, по целым дням сидит со

священниками и занимается набожными разговорами; знатные варвары ходят по улицам нахмуренные, важные, как будто внутри них хранится вся добродетель; женщины закрывают себе глаза, когда встречаются со мной; чернь показывает на меня пальцами. Только этот льстивый, блудливый придворный сброд льнет ко мне и то урывками — по вечерам. Что же это такое? Преступница я, что ли, или старая, безобразная баба, от которой нужно бежать, чтобы она не напустила каких-нибудь чар? Не выношу я их, ненавижу, презираю! — закричала вдруг Эмилия, топая ногами. Если бы я могла насолить им, то послала бы в Луглун Венере десять телиц.

И снова, без всякого перехода, лицо ее изменилось. Из разгневанного, мстительного оно сделалось ласковым и добрым.

— Я ожидаю вас сегодня, славные отцы,— заговорила она мягко, сложив руки, как на молитве.— Не к обеду, потому что это не доставит мне никакого удовольствия. Я знаю, что в еде вы умереннее моих невольников. Я жажду только видеть римские лица и слышать римскую речь. Вот моя темница.

Она сделала гримасу избалованного ребенка и ударила молотком в ворота сада, в котором находилась маленькая вилла.

Когда она скрылась в доме, послав сенаторам воздушный поцелуй, Галерий сказал Юлию:

— Мы можем воспользоваться для наших целей связями этой блудницы и ее ненавистью к здешним придворным.

— И я думаю о том же,— отвечал Юлий.— Если бы нам удалось раздразнить этого рыжего кота, как Эмилия называет камергера, против Арбогаста, то половина дела была бы сделана. Ближе всех стоящий к Валентиниану, посвященный во все его замыслы и тайны, камергер лучше меня нашел бы дорогу к его надменности и подозрительности. Надо непременно отправиться к Эмилии.

На заезжем дворе под вывеской «Красный Олень», где остановились Юлий с Галерием, их ожидал римский курьер. Посланный Флавиана, увидев сенаторов, поспешно отдал им пергамент, перевязанный золотым шнурком.

Юлий развернул письмо Флавиана, прочитал его и снова начал пробегать глазами строки, как будто хотел убедиться, что глаза не обманывают его. Лицо его было

спокойно. Только брови его незаметно сдвинулись. Флавиан извещал о похищении Фаусты.

— Префект послал погоню за похитителями? — спросил он курьера.

— Сыщики префекта нашли их следы на Аурелийской дороге, но потеряли их за Генуей,— отвечал курьер.

— За Генуей? — повторил в раздумье Юлий.— А Винфрид Фабриций в Риме? — спросил он после некоторого молчания.

— Воеводу я видел неделю назад на Марсовом поле.

— Но, может быть, Рим оставил кто-нибудь из его слуг?

— Разведчики донесли префекту, что воевода за день до похищения выслал по Аурелийской дороге несколько телег с невольниками и десять аллеманов из своей личной стражи. И его любимого слуги, старого Теодориха, давно уже не видно в городе.

— Хорошо. Отдохни сегодня, чтобы завтра ты мог вернуться в Рим. Ты отвезешь от меня письмо к префекту.

Когда он остался наедине с Галерием, то подал ему письмо Флавиана.

Галерий, прочитав, скомкал пергамент и бросил на пол.

— Я говорил и говорю постоянно,— вскричал он,— напоминаю без устали, что нужно бросить эту работу крота. Мы подкапываемся под них, а они в это время оскорбляют самые дорогие наши чувства. Если мы и дальше будем только совещаться, вместо того чтобы действовать, они скоро начнут разрушать наши храмы. Надо во что бы то ни стало вырвать Фаусту Авзонию из их святотатственных рук.

— Надо, но как? — спросил Юлий, глядя на Галерия со снисходительной улыбкой.— Гнев не покажет нам дороги к месту, где спрятана Фауста, не найдет преступника.

— Ее похитили галилеяне...

— Несомненно, но кто именно? Галилеян в государстве тысячи тысяч.

Галерий молчал, не зная, что сказать.

— Ты постоянно кричишь, а я думаю. Хочешь знать, кто похитил Фаусту?

Галерий вытаращил на него глаза.

— Ты помнишь, как Фабриций явился в атриум Ве-

сты? Припомни-ка хорошенько, как вел себя воевода.

— Он пожирал Фаусту жадным взором. Помню, он не хотел уходить, хотя мы не были особенно любезны с ним.

— Значит, кто же похитил Фаусту?

— Фабриций!

— Вот видишь, что иногда лучше спокойно подумать, чем громко кричать. Через несколько часов я скажу тебе, что надо сделать, чтобы Фауста вернулась к своим священным обязанностям, а теперь прикажи подать обед.

Месяц уже серебрил кровли Виенны, когда сенаторы постучали в двери Эмилии. Им отворил тот самый невольник, который сторожил в Риме вход в дом актрисы.

В передней Юлий шепнул Галерию:

— Если мы застанем у Эмилии кого-нибудь из придворных, то прошу тебя следить за своим лицом и движениями. Лучше всего тебе ничего не говорить, чтобы каким-нибудь неосторожным словом не пробудить подозрительности этих лисиц.

Прислуга актрисы, должно быть, была предупреждена о посещении сенаторов, потому что глашатай, не спрашивая, тотчас же повел их через несколько комнат, освещая дорогу цветным фонариком.

— У твоей госпожи есть гости? — спросил его Юлий.

— Главный камергер священной ложницы прибыл после захода солнца,— ответил невольник, и, указав на светлое пятно, вырисовывающееся на темном фоне, тихо удалился.

Юлий приподнял шелковую занавеску и остановился на пороге маленькой комнаты. На софе лежала Эмилия, а у ее ног на коленях стоял главный камергер.

— Почему ты постоянно откладываешь до следующего дня? — говорил сановник дрожащим голосом.— Если ты еще будешь мучить меня, то я силой сломаю твое упорство.

Он хотел обнять актрису, но она увернулась с ловкостью змеи.

— Если бы божественный Валентиниан узнал о твоем греховном вожделении, то несомненно лишил бы тебя обязанности охранять свою священную ложницу. Ваши священники поучают, что тот нарушает закон галилейского Бога, который смотрит на женщину с вожделением.

— О правилах нашей веры ты можешь говорить с

епископом, когда это тебе потребуется, со мной же говори языком Анакреонта, Катулла и Тибулла.

— Ваши священники называют этих поэтов развратителями общества.

В ответ на это великий камергер схватил Эмилию в объятия и старался ее поцеловать. Она, извиваясь, заслоняла рот рукой и поворачивала голову в сторону дверей, как бы искала помощи.

Юлий быстро опустил занавеску, но Эмилия уже заметила его.

— Привет вам, славные отцы! — крикнула она громко.

Камергер вскочил на ноги и бросил на сенаторов, когда они вошли в комнату, взгляд злой собаки, отогнанной от кости. Со стыда он не знал, что делать. Он кусал губы, озирался, поправлял на себе тунику.

Эмилия с лицом, озаренным искренней радостью, подбежала к своим землякам. Схватив их за руки, она проговорила:

— Благодарю вас, благодарю, благодарю... Мне кажется, что вместе с вами в мой дом вошла моя семья. Скажите, чем я могу вам служить. Я привезла с собой из Рима амфоры с вином времен Диоклетиана...

Она выбежала из комнаты и, вернувшись, показала рукой на скромную обстановку.

— Если я пробуду дольше в Виенне,— говорила она, язвительно улыбаясь,— то меня Бог галилеян возьмет живой в свое царство. Я лью слезы на улицах, живу хуже любого сапожника на Субуре, питаюсь разговорами с благочестивыми людьми. Я чувствую сама, что добродетель начинает хозяйничать во мне, как у себя дома. Видите, грешные смертные уже начинают молиться мне на коленях.

И она взглянула на царедворца, который, ответив легким кивком головы на вежливые поклоны сенаторов, без приглашения развалился на единственной софе, которая находилась в комнате.

Эмилия сама пододвинула гостям кресла.

— Вы давно оставили Рим? Расскажите мне, что играют с нового года в театре? Довольны ли вы моей заместительницей? Я не думаю, чтобы эта толстая корова сумела воплотить великие образы греческой трагедии. Ливия не умеет даже ходить в котурнах.

— В этом отношении мы не можем удовлетворить твое любопытство,— ответил Юлий.— Мы выехали из

Рима в первой половине ноября, а дорога нам предстояла тяжелая. Мы были на севере Аллемании, в Тотонисе, у короля Арбогаста.

Говоря это, он следил незаметно за камергером.

Придворный слушал внимательно.

— В Рим прибыл молодой воевода, какой-то Винфрид Фабриций, аллеман или франк — этих новых римлян столько набирается из разных стран, что никогда точно неизвестно, какого они происхождения,— и начал держать себя у нас точно в завоеванной стране. Мы принесли на него жалобу Арбогасту.

— И что же Арбогаст ответил вам? — спросил камергер, приподнимаясь на подушках.

— Он отвечал, что отзовет Фабриция из Рима и в скором времени возвратится в Виенну, чтобы водворить здесь порядок. Совершенно не понимаю, что такое он подразумевает под этим. Всем верноподданным его вечности известно, что в Виенне повелевает божественный Валентиниан. Неужели этот гордый варвар хочет навязать свою волю нашему государю?

Камергер подозрительно, с недоверием всматривался в лицо сенатора, но оно было так спокойно, что на нем нельзя было ничего прочитать.

— Мы дожили до странного времени,— продолжал Юлий равнодушным голосом, как будто рассказывал об обыкновенных вещах.— В восточной половине цезарства правят, собственно говоря, готы, в западной — франки. Арбогаст говорил с нами языком императора. Узнав о назначении Фабриция, он обезумел от бешенства. Он грозил всем верным слугам нашего государства, в особенности нападая на приближенных его вечности. «Этих подлых галилейских лисиц, этот презренный придворный сброд,— кричал надменный варвар,— я брошу на съедение псам. Я очищу Виенну от этих прихлебателей, рассею на все четыре стороны эту толпу дармоедов, лжецов и взяточников, я украшу все каштаны аллеи, ведущей ко дворцу императора, графами, воеводами, камергерами, ловчими...»

Главный камергер поднялся и сел на софе. Скверная улыбка поползла по его губам.

— Смелы твои слова, сенатор,— перебил он Юлия.

Тот пожал плечами.

— Я повторяю только то, что слышал, и удивляюсь, как это вы позволили Арбогасту так зазнаваться.

Эмилия, догадавшись, что Юлий с тайной целью запускает отравленное жало в душу камергера, не вмешивалась в разговор. И она внимательно слушала, подливая в кубки столетнее вино.

— Повторил ли бы ты то, что говоришь мне, его вечности? — спросил камергер.

Юлий ответил без колебания:

— С этой целью я и прибыл в Виенну. Меня возмутила надменность Арбогаста.

Его лицо было все время спокойно, голос неизменно равнодушен.

— Я не знаю, чем особенно ты провинился перед Арбогастом, что так особенно пришелся по вкусу его ненависти. Он обещает заставить тебя танцевать с медведями на арене амфитеатра.

Камергер вздрогнул и быстро поднялся с софы.

— С ним потанцует сперва король Фравитта,— пробормотал он.— Мы постараемся, чтобы Арбогаст не вернулся в Виенну. Прежде чем снег растает, от его франков не останется и следа. Подкрепления мы ему не пошлем.

— Фравитта будет танцевать с Арбогастом, но только на дружеском пиру. Арбогаст заключил с ним союз.

Кубок затрясся в руках камергера, вино пролилось через край.

Наперсник Валентиниана подошел к Юлию и вперил в него пораженные ужасом глаза.

— Берешь ли ты на свою ответственность это известие? — проговорил он, бледнея.— Божественный император сурово наказал бы себя за легкомысленную ложь.

— Я сам присутствовал при том, как Арбогаст посылал к Фравитте посольство с дарами и дружескими словами. Через несколько недель главный вождь военной силы западных префектур станет перед воротами Виенны. Приготовьте для него триумфальную арку, чтобы у него была готовая виселица для тех, кого он особенно возлюбил.

Камергер, который в это время пил вино, захлебнулся. Он посмотрел змеиным взглядом на сенатора и простился с Эмилией.

За спиной раздался смех Галерия и актрисы.

— Едва ли он будет спать спокойно после твоих новостей,— воскликнула Эмилия.— Из того, что я слышала, я догадываюсь, что вы приехали в Виенну с целью возбудить гнев Валентиниана. Я не спрашиваю, зачем

вам это нужно, и не требую, чтобы вы посвятили меня в свои тайны, я только прошу, умоляю, научите меня, что мне делать, чтобы эта придворная челядь танцевала с медведями и львами на арене амфитеатра. Я буду рукоплескать как сумасшедшая и не подниму руки кверху, о нет! Сброд! Они хотят меня заставить подчиниться, меня, у ног которой перерезали жилы римские патриции. Они называют меня распутной публичной женщиной... Негодяи!

— Если ты хочешь заслужить вечную благодарность Рима,— ответил Юлий,— то говори каждому из придворных, что Арбогаст поклялся всех наушников Валентиниана предать позорной и мучительной смерти. Повторяй им это постоянно, при каждой встрече стращай их гневом Арбогаста, возбуждай их трусость, подлость и алчность, и мы, когда ты снова вернешься к нам, мы засыплем тебя градом золотых венков.

— Вы можете быть уверены, что я не буду щадить этих холопов. Сцена научила меня многим словам, которые могут растерзать грудь человека. А когда боги позволят мне снова выступить перед вами на сцене Помпея, то я щедро заплачу вам за ваше хорошее отношение ко мне. Из моих уст на римский народ польется пламя Тиртея.

Она встала посреди комнаты, выпрямилась, откинула голову, протянула руки вперед и начала декламировать...

Черные брови Эмилии слились в одну линию, глаза засветились угрюмым огнем, черты лица окаменели. Голосом, полным, сильным, который лился из ее груди потоком, она читала «Боевой клич» Тиртея.

На лицах сенаторов выступил румянец, они гордо подняли головы; их ноздри раздувались. Сверкающими глазами смотрели они на актрису, которая, казалось, выросла и стала выше.

От Эмилии не укрылось впечатление, которое она произвела. Она довольно улыбнулась и сказала:

— Видите, и худшая из дочерей Рима может вам на что-то пригодиться.

Когда сенаторы возвращались в свою гостиницу, Галерий сказал по дороге:

— Ты хотел мне сообщить, что нужно сделать, чтобы Фауста Авзония вернулась к своим священным обязанностям.

— Ты завтра поедешь в Лугдун, наймешь в гладиа-

торской школе пятьдесят лучших гладиаторов и освободишь Фаусту из плена Фабриция.

— Ты знаешь место, где Фабриций скрыл Фаусту?

— Префект Виенны, которого я просил разузнать, сообщил мне, что у воеводы есть имение в Аллеманнии, в Южной Галлии, и какая-то уединенная вилла вблизи Ницеи, в окрестностях Цеменела, настолько затерявшаяся в горах, что даже сборщики податей о ней забыли. В Аллеманнии теперь свирепствует война, а в Южной Галлии, густо заселенной нашими сторонниками, Фабриций не нашел бы более безопасного уголка для такой ценной птицы. Значит, остается только эта вилла, которую ты отыщешь и нападешь на нее ночью.

— Почему непременно ночью? — спросил Галерий.

— Потому, что ночью ты легче справишься с аллеманами и слугами Фабриция. Один регулярный солдат в открытом бою осилит пятерых гладиаторов. Будь осторожен, держи свою стремительность на уезде.

— Всегда эта осторожность,— проворчал Галерий.

V

— Я не спорю, что ваш Бог — Бог добра и милосердия, но до сих пор не вижу воплощения его добрых заповедей,— говорила Фауста.— Поэтому не трудись напрасно. Твои слова сбегают по моей душе, как дождь по покатой крыше.

Она сидела на вершине высокой скалы, составляющей последнее звено горной цепи, которая отделяла Вендианцию от Лигургии. Перед ней расстилалось Средиземное море, за ней высились Альпы, над ее головой сияло голубое небо, испещренное легкими облачками.

— Я до тех пор буду стучаться в сердце твоего святейшества,— отвечал Прокопий,— пока оно не откроется для нашей истины.

— Ты забываешь, что стоишь перед весталкой, с корой говорят только тогда, когда она дозволит это.

— Если бы твое святейшество пожелало...

Фауста прервала Прокопия нетерпеливым движением руки.

Солнце зашло за гору, оставив за собой золотистую полосу. Скалы, изгибы прибрежья, стены домов, обращенных к западу, еще светились. На море, настолько голубом, что даже небесная лазурь бледнела перед ним,

белели клочки пены, издали похожие на чаек, которые целыми стаями носились над волнами.

У ног Фаусты лежали свитки пергаментов. Она подняла один из них, развернула его и начала просматривать.

— Если бы правила, находящиеся в этих книгах, стали когда-нибудь законом живых, прочувствованным и исполняемым без принуждения, то на земле воцарилось бы Царство Божие. Но люди — это совокупность страстей, которые сдерживаются только страхом наказания на земле или после смерти.

— Исповедующие истинную веру стараются достичь высокого примера, указанного Господом нашим Иисусом Христом,— сказал Прокопий.— «Не заботьтесь для души вашей, что нам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться, ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».

Фауста, опустив голову на руки, глядела в пространство, вслушиваясь в шум моря, которое неустанно стремилось с юга на север, как будто хотело разорвать скалистые оковы и разлиться вокруг.

Но оно не разлилось бы далеко, ему преграждали путь альпийские исполины. Если бы даже море и одолело первую низшую гряду, поросшую дубами и елями, то его остановила бы вторая, настолько высокая, что на ее нагих вершинах, убеленных вечным снегом, не мог расти даже вереск.

На западе уже погасла золотая полоса. Вечерний сумрак поглотил все краски дня. Голубые волны приняли цвет стали; зелень деревьев потемнела.

Не первый уже раз грустные мысли Фаусты с этого места устремлялись к югу. Она приходила сюда со скрытой надеждой, что кто-нибудь увидит и освободит ее.

Внизу, вдоль берега моря, извивалась дорога, соединяющая Италию с западными провинциями цезарства. По этой дороге мчались в Виенну курьеры Флавиана, тянулись римские купцы, из которых каждый, если бы только узнал, что почти касается тюрьмы оплакиваемой в Риме весталки, сейчас бы обратился к властям за помощью, чтобы вырвать ее из рук тюремщиков.

— Я не хочу признать милосердия вашего Бога. Я его почитаю, женскую душу не может не тронуть милосердие его учения, но любить его я не могу. Завтра запри свои книги в сундук. Я не буду больше слушать тебя.

Потом она сказала Теодориху:

— Проводи меня, страж моей темницы.

Старый аллеман зажег факел и пошел вперед.

Скала соединялась с предгорьем, западный отрог которого постепенно спускался в широкую равнину.

Теодорих останавливался там, где вода размыла землю или нагромоздила камни, и светил Фаусте, заботливо следя за каждым ее шагом.

За каменной стеной природной крепости, среди померанцевой рощи, стояла вилла Фабриция. Перед ее портиком горел костер, около которого сидели аллеманы охранной стражи воеводы Италии.

— Погасить немедленно огонь! Собак запереть, наблюдать за малейшим шумом! — крикнул Теодорих.

Он вошел с Фаустой в виллу, миновал боковые коридоры и остановился только на крытом дворе.

Четыре большие хрустальные лампы, заслоненные индийскими тканями, освещали залу розовым светом. Мягкие восточные ковры покрывали весь пол, вьющиеся растения обвивали колонны из белого мрамора.

Фауста, оправив на себе складки платья, устремила на Теодориха гневный взгляд.

— Долго ли ты будешь оскорблять мой жреческий сан? — спросила она.

Теодорих пожал плечами.

— Не дело солдата и слуги отгадывать намерения вождя и господина. Я делаю только то, что мне приказано.

— Старик, ты исполняешь позорные приказания.

Теодорих молчал.

— Ты знаешь, что я посвящена богам,— говорила Фауста,— а всякая собственность богов священна. И твой Бог не может оправдать насилия Фабриция. Разве тебя не страшит суд твоего Бога? Только миротворцы будут названы его сынами, как написано в ваших книгах.

Теодорих опустил голову.

— Длинный ряд годов убелил твою голову. Скоро ангел смерти угасит огонь твоей жизни, а ты, к которому духи предков уже простирают руки из царства теней, пятнаешь свою душу святотатством и навлекаешь на себя проклятие служительницы Бога. Мое проклятие сойдет за тобой в подземный мир, в твою одинокую могилу, и отнимет спокойствие у твоего праха.

Теодорих перекрестился. На его лице возник ужас.

Он протянул руки к Фаусте и отвечал умоляющим голосом:

— Не проклинай меня, не брани старого слугу. Я нян-

чил воеводу, качал его в колыбели. Он был самым дорогим моим сыном, когда нуждался в моей помощи, а теперь, когда годы дали ему силу и отвагу, стал добрым господином. Его счастье — мое счастье, его печаль — моя печаль.

Приблизившись к Фаусте, он встал на колени и с искренностью продолжал:

— Его ли вина, что злые демоны поставили тебя на дороге его молодых лет? Он полюбил тебя всей силой своего неукротимого сердца. Твой божественный лик затмил перед его глазами Царство Небесное и обязанности наместника цезаря. Без тебя он не может и не хочет жить. Я его знаю. Что раз он решил, от того не отступит, хоть бы ему пришлось погибнуть. Неужели твоим богам во что бы то ни стало необходима гибель моего господина?

Он поцеловал край платья Фаусты.

— Смилуйся над воеводой и надо мной, святейшая госпожа. Возврати его сердцу покой, а с меня сними бремя твоих угроз. Не проклинай меня! В лесах Аллемании презрение следует по пятам воина, который покинул своего вождя в минуту опасности. Я знаю хорошо, что грешу, держа тебя в заключении, знаю, что несу позорную службу, помогая воеводе, но счастье моего сокола мне дороже спокойной смерти. Добрый Пастырь простит мне святотатство, ибо Его милосердие так же безбрежно, как северное море. В нем потонут все злодеяния рода человеческого. Не наказывать Он пришел, а прощать

Фауста без гнева спросила его:

— В лесах Аллемании воин, покинувший своего вождя в тяжелую минуту, наказывается презрением, а какая же кара должна постигнуть жрицу, нарушившую священный обет?

— Воевода верит, что твоя суровая римская добродетель смирится перед кротостью Доброго Пастыря,— отвечал Теодорих, не глядя в глаза Фаусте.— Если бы твое сердце полюбило нашего Бога, то с твоей совести спали бы языческие обеты.

— Но ты теперь знаешь, что меня даже угроза загробной мести не отклонит от моих богов. Зачем же ты держишь меня в неволе?

— Я сказал уже, что делаю только то. что мне приказано.

Фауста указала ему рукой на дверь.

— Уйди, презренный шпион, и стереги меня с этих

пор еще бдительнее. Знай, что я употреблю всю женскую хитрость, чтобы освободиться от твоего надзора.

Старый аллеман, шатаясь, вышел со двора.

Фауста, закрыв глаза, легла поудобнее на софу.

Прошел уже месяц с тех пор, как Теодорих похитил ее на Тибуртинской дороге. Он ехал с ней по ночам, минуя города и села. Всякий раз, как он встречался с каким-нибудь экипажем или приближался к людскому жилью, он закрывал ей голову плащом. В горах Вендианции он окружал ее еще более бдительным надзором. Без его ведома она не могла переступить порога виллы. Даже дома за ней всюду следили скрытые взгляды. Кроме Прокопия и Теодориха, с ней никто не разговаривал. Женская прислуга отвечала только на вопросы: аллеманы делали вид, что не понимают латинского языка.

Отрезанная от света, Фауста не имела ни малейшего известия из Италии. А ее мысли постоянно стремились к Риму, который она оставила в такое тяжелое время. Пылает ли еще священный огонь на алтаре Весты? Может быть, уже льется кровь ее братьев, может, падают в прах храмы народных богов.

Над Вечным городом носятся рыдания угнетаемого народа, а она, патрицианка и весталка, ведет споры с галилеянином, врагом ее родины, словно наемный греческий ритор. Этот первобытный человек с утра до ночи говорил ей о какой-то всемирной любви, которая должна обуздать человеческие страсти и низвести на землю Царство Божие.

— Царство Божие!

На губах Фаусты появилась недоверчивая улыбка.

Дочь народа, давшего человечеству закон, самую совершенную узду, сдерживающую человеческую злобу, знала лучше, чем потомки обездоленных людей стареющего мира, какими кровавыми путями до сих пор шла история.

Ее предки огнем и мечом склоняли побежденных к покорности и гражданской дисциплине. Не всепрощающая любовь торжествует на полях битв и восседает на кресле судьи-претора.

Какой бесплодной представлялась Фаусте эта всеобщая любовь!

Она срослась всем своим существом с угасающим порядком, она не хотела понимать, что для всяких новых истин нужны целые века, чтобы они стали плотью.

Она не замечала, что заповеди христианской веры проникали в жизнь, и не верила в ее божественное происхождение.

Наконец эта всеобщая любовь, опирающаяся на доброту и всепрощение, была противна ее римской душе, потому что она сравнивала с творцами Империи отребье разных племен, до тех пор презираемых победителями.

Себялюбивый римский гений, обрекающий весь мир на служение своим целям, изо всех сил противился учению, которое распространяло права человека на всех людей, каково бы ни было их происхождение.

Эта всеобщая любовь была враждебна римской традиции. Это она мало-помалу разрушала понятия, представления и обычаи догорающей цивилизации, с постоянством ржавчины подтачивала связки здания, воздвигнутого покорителями Италии, открывала глаза отверженным.

Фауста не признавала, что новые племена могут быть равны с римлянами, и не хотела понимать голоса своего времени. Если прежний порядок должен уступить место другому, пусть свершится воля богов, но она не увеличит горя своего народа. Измена весталки покрыла бы трауром все храмы Империи.

Какое дело ей, римской весталке, до благости заповедей галилейской веры? Ведь эта благость разрушила в прах алтари ее храмов. Она не должна покидать последние ряды «волчьего племени», даже если бы перемена религии дала бы ей наивысшее наслаждение, доступное женщине.

Шум шагов прервал горькие размышления Фаусты.

Из-за колонн выглянула молодая невольница. Приблизившись к софе, она скрестила руки на груди и ожидала вопроса госпожи.

Фауста с минуту смотрела на невольницу, как будто не узнавала ее. Потом она мягко сказала:

— Что приказывает мне Теодорих через тебя, Ликарида?

— Ты знаешь, госпожа, что твое святейшество ждет ужин,— отвечала гречанка.

— Я и так сегодня насытилась желчью,— отвечала Фауста с горькой усмешкой на губах.— Я позову тебя, когда захочу спать.

Невольница удалилась тихими шагами.

Фауста снова сомкнула глаза, и вновь перед ней потянулась нить горьких размышлений

Бесцветно текла ее жизнь, лишенная сердечной теплоты, несмотря на внешний блеск. Вельможи склоняли перед ней голову, бедные падали ниц, но ни одна дрожащая рука до сих пор не обняла ее, не привлекла ее к груди, дышащей страстью. Только один он...

Фауста широко раскрыла глаза, пораженная образом, выплывшим из сокровеннейших уголков ее сердца.

Этот образ преследовал ее с настойчивостью затаенной страсти. Постоянно отталкиваемый, отгоняемый с с презрением, он прятался, отдалялся, бледнел, но в минуты одиночества возвращался опять и сам манил Фаусту чарами счастья .

Холод жизни еще не остудил ее крови. Под одеждой весталки и язычницы билось молодое женское сердце, возмущавшееся против суровости ее обязанностей.

Напрасно Фауста убеждала себя, что Фабриций оскорбил ее, обесчестил, заслужил ее ненависть. Отважный воин, который ради любви к ней отважился вторгнуться в атриум Весты, хотя знал, чем Рим заплатит за такой поступок, который вступил в борьбу с традициями долгих веков и хотел принудить ее к покорности,— ее женскому сердцу он был ближе, чем она хотела признаться в этом перед собой. Римская патриотка преклонялась пред силой и решительностью.

Случалось, что Фауста, прислушиваясь к шуму прибоя морских волн, без неприязненного чувства вспоминала все подробности той осенней ночи, когда Фабриций открылся ей в своей любви; случалось, что она повторяла с улыбкой счастья его пламенные слова. Лишь он один говорил с ней языком страсти, лишь он любил ее безгранично, больше своей жизни...

Эти минуты продолжались недолго... Но если бы Фабриций вдруг появился перед Фаустой, если бы он обнял ее дрожащими руками и прижал к своей груди...

Фауста поднялась с софы.

Воевода мог предстать пред нею и сегодня и завтра. Не затем он похитил ее из Рима, чтобы его отделяли от нее горы и море. Конечно, он выберет минуту, чтобы навестить свою пленницу. Если он еще не сделал этого, значит, его удерживают важные дела.

Душу Фаусты охватила тревога. Устоит ли ее римское самолюбие против сладких слов этого воина с глазами Аполлона, удержится ли ее женское сердце против любви? Весталка не может быть слабой, не может...

Фауста начала быстро ходить по комнате, спотыкаясь о попадающуюся мебель, словно пойманная птица.

— Не может!..— повторяла она задыхающимся голосом.— Не может!..— Голос ее становился все тише...

Она бросилась на софу, спрятала лицо в подушки и начала горячо молиться.

— Сохраните меня от позора, духи — покровители моего рода, не допустите меня до измены, дайте мне силы мужей, которые слагали на алтарь отечества свое личное счастье. Я кровь от крови вашей, кость от костей ваших, герои Рима. Не допустите, чтобы я для скоропреходящего телесного наслаждения опозорила свое жреческое достоинство. Охраняйте меня, духи, светлые, счастливые, свободные, от страстей этой земли. Вас молит весталка, оберегающая священный огонь, который озарял и вас...

VI

В Латеранской базилике в Риме, на ступенях мраморной ограды, стоял на коленях Фабриций, устремив взор на Распятие.

Он припал к стопам своего Бога с сердцем, полным тревоги.

Сын варвара был обязан Христу не только истинной верой, не только надеждой на Царство Небесное, но и положением, которое он занимал в государстве. Без Христа, учение которого сломило обособленность старого мира и разрушило стену привилегий римских граждан, аллеман не был бы никогда воеводой Италии. Христос сравнял его с аристократией самого славного народа, поставил его выше «владык света», сделал его их повелителем.

Недавний варвар отлично понимал эти практические результаты всеуравнивающей христианской веры, когда извлекал из ее плодов свою выгоду. Он понимал также, что последователи новой веры, которым еще со всех сторон угрожали язычники, должны слиться в единое братство, сплоченное общей целью. Солдат знал силу сомкнутых рядов. А он, послушный сын Христа, убил христианина в себе...

Терзаемый сомнениями, Фабриций углубился в первый раз в жизни в священные книги своей веры. Прав-

да, когда-то в детстве его учили заповедям Христовым, но это было так давно, что он забыл о них.

Каким-то странным языком говорили творения апостолов и отцов церкви. На каждой странице он встречался с требованиями, которые сокрушали его ожесточение. На пергаментах были начертаны столь кроткие слова любви и всепрощения, они так резко противоречили тому, что он считал своими обязанностями, что его изумленные мысли остановились на распутье сомнений.

Как же так, он, который, казалось, должен быть ревностнейшим последователем учения Христа, постоянно расходился с Его повелениями? Как это могло случиться? Он этого не хотел, он искренне стремился заслужить на земле право войти в Небесное Царство и был убежден, что точно исполняет предписания своей веры. Он искренне любил Бога новых народов. Значит, его ненависть к язычникам, солдатская жестокость, презрение к черни, даже любовь к Фаусте должны считаться грехом, преступлением? Значит, он должен бросить свой меч, снять богатые одежды, признать в невольнике брата, переносить терпеливо обиды иноверцев, вырвать из своего сердца образ любимой женщины?

В душе Фабриция поднялась буря. Понятия солдата, унаследованные от предков инстинкты варвара, стремление молодости, опасения за участь христианства смешивались друг с другом и волновали его душу.

Фабриций, терзаемый сомнениями, которых он не умел ни разрешить, ни успокоить, ежедневно вечером приходил в Латеранскую базилику и устремлял свой взор на распятого Спасителя, в надежде, что с Креста на него снизойдет истина и возвратит равновесие его расшатанной душе.

Христос, распятый на Кресте, ясно отвечал на его немые вопросы, подтверждая заповеди любви и прощения, но молодая горячность Фабриция, не сломленная еще житейским горем, не понимала этой сладкой речи, проникнутой слезами. Он только чувствовал, что между правилами веры, к которым он хотел приспособиться, и его поступками не было ничего общего. Епископ Сириций говорил то же самое, а граф Валенс не одобрил его усердия.

В обширном здании было почти совершенно пусто. Только кое-где верные, прислонившись к колоннам, отдавали свою скорбь в руки Бога милосердия и любви.

Вечерняя темнота наполнила храм, смягчая резкую белизну нагих стен и колонн. Тишиной катакомб веяло в величайшем римском храме.

Фабриций, измученный своими размышлениями, приник головой к холодному мрамору.

Беспокойство, которое отнимало у него самообладание, начало приводить его в нетерпение. Его солдатский характер не выносил внутреннего разлада.

Снедаемыей невозможностью решить разнообразные противоречивые вопросы, он мысленно искал человека, который вывел бы его из этого лабиринта сомнений. Епископ Сириций осудил бы его нетерпение. Фабриций знал, что не найдет снисхождения у христианского первосвященника. Один Амвросий, не только муж святой, изучивший Священное Писание, но вместе с тем и великий устроитель Церкви, поймет и оправдает горячность воина. Он, укротивший императора, умеет быть решительным.

— Я тотчас же отправлюсь в Медиолан,— решил Фабриций.—Пусть Амвросий возвратит спокойствие моей душе.

Он поднялся с колен и вышел из церкви.

Перед своим домом, на Палатине, он нашел чужие носилки. Ликторы разговаривали с солдатами. Какой-то сановник приехал к нему в гости.

Он спросил привратника:

— Чьи это носилки?

— Префект Флавиан ждет твою знаменитость,— отвечал слуга.

Флавиан?.. Фабриций нахмурился. Префект претории никогда не искал его общества. Когда государственные дела заставляли его общаться с воеводой Италии, он делал это всегда через своих секретарей.

— Префект давно ждет меня? — спросил он.

— Он приехал час тому назад.

Уже час?.. Что-то более важное, чем обыкновенные государственные дела, привели Флавиана к христианину.

Фабриций нарочно разговаривал со слугой дольше, чем обыкновенно. Он хотел оправиться от неприятного предчувствия. Ни одно содрогание мускула не должно возбудить подозрения Флавиана.

Подавив в себе беспокойство, он вышел в приемную залу.

Флавиан, который с иронической улыбкой присматривался к рисункам, изображающим битву Давида и Голиафа, начал без обычного приветствия:

— Ты догадываешься, воевода, что только очень важное дело заставило меня переступить твой порог.

— Я в твоем распоряжении, префект,— ответил Фабриций. И он указал рукой на софу, но Флавиан не воспользовался его любезностью.

Стоя, он заговорил, устремив свой взор на лицо хозяина:

— Траур Рима не может быть чужд тебе, ты с неусыпной бдительностью врага следишь за каждым нашим шагом. Ты, наверно, знаешь, что несчастье, которое постигло Фаусту Авзонию, повергло в глубокую печаль всех поклонников народных богов.

Эти слова были так неожиданны для Фабриция, что разрушили его деланное спокойствие. Он почувствовал, что горячая кровь заливает его лицо, быстро подошел к двери и позвал слугу.

Долго отстегивал он меч, медленно снимал с шеи золотую цепь и отдал оружие и знаки отличия невольнику только тогда, когда совершенно пришел в себя.

Обернувшись к префекту, он отвечал:

— Охрана весталок не принадлежит к числу моих обязанностей.

И хотя он уже владел собой, голос его все-таки дрожал.

— Кай Юлий пишет мне из Виенны,— продолжал Флавиан,— что ты один только можешь назвать святотатственных похитителей весталки. Не знаю, на чем претор основывает свои соображения, но его догадки обыкновенно бывают верны.

Воевода напряг все усилие воли. чтобы выдержать испытующий взор префекта.

Он пожал плечами и ответил:

— Я не понимаю, почему догадки Кая Юлия остановились именно на мне. В Риме всем известно, что меня с атриумом Весты никогда не связывали близкие отношения. Я разделяю ваше горе...

Но он не мог дальше лгать. Его остановил стыд. Солдат убивал без рассуждения, но предательство было противно его душе.

— Кай Юлий также извещает меня,— продолжал Флавиан,— о существовании какой-то виллы в горах Ве-

дианции, в которой могут скрываться подозрительные люди.

Он приблизился прямо к Фабрицию и спросил его холодным голосом, в котором слышалась язвительная насмешка:

— Ты ничего не слыхал об этой вилле? По-видимому, это довольно укромный уголок. Мне говорили, что твой отец когда-то долго жил у берегов Средиземного моря, чтоб без свидетелей наслаждаться любовью похищенной дочери иберийского жреца.

Фабриций молчал. Ошеломленный внезапным нападением, он искал выхода из западни. Из того, что он слышал, он понял, что префект или уже все знал, или угадал в нем виновника насилия. Но кто выдал эту тайну?

— Присягни на кресте твоего Бога, что ты ничего не знаешь о злодеях, которые так тяжко оскорбили римский народ,— продолжал Флавиан.— Я поверю присяге христианина и аллемана.

В душе Фабриция страх перед местью римлян боролся с честью варвара и совестью христианина. Если бы он присягнул, то выиграл бы время и мог бы спрятать Фаусту в другом месте.

— Присягай! — настаивал Флавиан.

Но клятвопреступничество закрыло бы перед христианином врата Царства Небесного.

Фабриций гордо поднял голову. Он не предаст своего Бога язычникам, хотя бы за верность Ему должен поплатиться своей жизнью.

— Только император или король Арбогаст имеют право требовать от меня присяги,— отвечал он.— Ты мне не судья. Если Кай Юлий нашел место, где скрыта Фауста Авзония, пошли туда своих шпионов и вскоре узнаешь, не обманула ли претора его прозорливость.

— Невинные не боятся присяги.

— Ищи виновного.

— Я уже нашел его.

— В таком случае делай, что нужно.

Фабриций глядел префекту прямо в лицо со спокойствием отважного солдата, которому большая опасность возвращает присутствие духа.

Флавиан ответил:

— Я мог бы стать на главном рынке и бросить народу имя святотатца. Римляне побили бы его камнями как бешеную собаку. Я мог бы обратиться к помощи войска. Начальники римского гарнизона выдали бы в мои руки

виновного, хотя бы даже это был их воевода. Понимаешь ли ты меня, воевода Италии?

На титуле Фабриция он сделал особое ударение.

— Я понимаю римскую речь,— равнодушно отвечал Фабриций.

— Я не брошу толпе имени святотатца, я не хочу, чтобы Феодосий мстил римскому народу за его справедливый гнев, но если Фауста Авзония не вернется в течение двадцати дней в атриум Весты, я тебя, воевода Италии, прикажу твоим же трибунам заковать в цепи и отвести к Арбогасту.

С этими словами Флавиан вышел из залы.

Фабриций долго стоял на том же самом месте, на котором оставил его префект.

Только перед одним человеком содрогалась его молодая отвага. Ни за что на свете он не хотел бы предстать пред лицом Арбогаста.

Как сторонник Валентиниана, он не признавал претензий короля франков, но питал к нему чувства солдата, уважающего вождя, поседевшего в победоносных боях.

Приняв из рук императора воеводство Италии, он поступил против обычаев, которые время сделало законом. Более ста лет главный предводитель военной силы в государстве был вместе с тем высшим начальником и судьей над легионами.

Арбогаст не пощадил бы гордости строптивого вельможи. Он перед всем войском сорвал бы с него знаки его достоинства, он приказал бы невольникам высечь его и повесить на сухом дереве как шпиона.

Фабриций уже был когда-то свидетелем такой позорной казни. При одной мысли о том, что могло бы его постичь, если б он попался в руки Арбогаста, лицо его побледнело.

Не без причины Флавиан ему грозил его подначальными. Эти закоренелые язычники, узнав, что он похитил их весталку, без колебания отдали бы его под суд Арбогаста. Аллеманская стража и горсть легионеров-христиан не защитили бы его от язычников.

Фабриций понял, что он стоит над пропастью. Внутри, в тайниках его совести, бушевала буря, устрашающая его гневом Бога, Которого он любил; снаружи со всех сторон ему грозила месть оскорбленных римлян. Неужели ему предстоит погибнуть, не примирившись с Христом?

Он схватился руками за голову.

Жизнь была еще ему нужна. Он не хотел уйти из этого мира без уверенности, что врата Небесного Царства будут открыты для него.

Он выбежал в переднюю... Здесь всегда дежурил один из солдат аллеманской стражи.

— Оседлай сейчас же мне и себе коней,— приказал он.— Приготовься к дальней дороге. Скажи конюшему, что мы едем в лагерь в Остию.

Он надел меч, заткнул за пояс стилет, пошел в свою канцелярию, взял со стола восковую табличку, написал дрожащей рукой несколько слов и прикрепил печать воеводы Италии.

Этим документом он на время своего отсутствия передавал команду над легионами начальнику палатинского гарнизона. После этого он пошел в спальню, надел на себя теплую тунику, набросил плащ с капюшоном и взял большой кожаный мешок с золотом.

Лошадей на дворе еще не было... Фабриций побежал в конюшню, разбудил прислугу и сам оседлал своего коня. Он так спешил, что у него все валилось из рук. Медлить ему было некогда; Флавиан мог одуматься и подбить язычников к мести.

Спустя четверть часа Фабриций мчался по Фламинской дороге.

Он бежал из города, который ему предстояло покорить, бежал ночью, без свиты, как изгнанник, осужденный людьми и законом.

Пригнувшись к коню, он мчался среди ночной темноты, наполненный роем черных мыслей. Ему не удалось сломить упорство язычников, закрыть их храмы, он обманул доверие императора — убил в себе христианина...

Со стороны Рима его преследовал свист вихря, а ему казалось, что его преследует язвительный хохот толпы.

— Я еще возвращусь к вам! — шептал он сквозь стиснутые зубы.

Со времени похищения Фаусты он не имел о ней никаких сведений. Не желая возбуждать подозрения шпионов Флавиана, он не послал в свою виллу курьера. О том, что Теодорих добрался до места, свидетельствовало его молчание. Если бы его встретило какое-нибудь препятствие, то верный слуга непременно уведомил бы об этом своего господина.

Он страшно тосковал по Фаусте, терпеливо ожидая письма Прокопия. Дьякон должен был ему донести о ре-

зультатах своего красноречия. Фабриций не сомневался, что весталка проникнется величием христианской веры и пожелает сама креститься. И только тогда он хотел предстать пред своей возлюбленной и отдать себя и ее под защиту императора.

Но неожиданные происшествия ускорили эту торжественную минуту. Он увидит Фаусту через несколько дней, прижмет ее к своему бьющемуся сердцу и получит награду за пережитые невзгоды. Только ради нее он навлек на себя месть язычников. Для нее он забыл об обязанностях цезарского наместника.

За столько жертв, которые он принес из любви к ней, может же он рассчитывать на ласки любимой женщины.

Глухо раздавался в ночной тишине конский топот. Временами слышался громкий окрик Фабриция, которым он предупреждал встречных:

— С дороги, с дороги!

Жители Италии, привыкшие к бешеной скачке правительственных курьеров, беспрекословно сторонились.

Чем большее расстояние отделяло Фабриция от Рима, тем сильнее росло его нетерпение и желание видеть Фаусту.

Он совершенно напрасно испугался подозрений Юлия. Теперь, когда он спокойно разобрался в словах Флавиана, то убедился, что это были лишь одни догадки. Если бы римляне знали, где скрыта Фауста, то освободили бы ее и без его посредничества. Префект выпытывал его, хотел его обойти, вырвать у него тайну...

Если бы даже Юлий действительно напал на след Фаусты, все равно Теодорих не дозволит вырвать из своих рук драгоценный клад. Недаром в его распоряжении был десяток храбрых аллеманов.

Фабриций прижал руки к груди, как бы обнимая кого-то.

— Я не отдам тебя никому,— шептал он.— Никто не будет лобзать твои уста, обнимать твое божественное тело, упиваться твоим голосом. Ты принадлежишь мне. Я завоевал тебя для себя.

А вихрь язвительно смеялся в листве придорожных деревьев.

Этот смех раздражал Фабриция.

Выросший в лесах и лагере, с детских лет привыкший к природе, он верил в тесную связь между человеком и тем, что его окружало.

Кто-то, должно быть, неведомые демоны, позавидовал его счастью.

— Она принадлежит мне! — вскричал он с гневом, как бы отвечая кому-то.

Вихрь усиливался, рос, шипел, точно ядовитая гадина.

Фабриций поднял кулак.

— Смеюсь я над вашей злобой!

Ветер подхватил его слова, развеял их вокруг, поглотил в себя, и снова раздался его насмешливый, язвительный хохот.

* * *

Епископ Амвросий садился уже в носилки, чтобы навестить местную больницу, как перед его Медиоланским дворцом остановились двое всадников.

Один из них соскочил с коня, бросил поводья своему спутнику и проговорил, преклонив со смирением голову:

— Винфрид Фабриций, воевода Италии, доверенный императора Валентиниана, прибегает к твоей мудрости и снисходительности с душой, полной смирения.

Епископ пытливым взглядом окинул стройную фигуру воеводы. Видимо, Фабриций произвел на него хорошее впечатление, потому что Амвросий благосклонно улыбнулся.

— Ты едешь из Рима? — спросил он.

— Я безостановочно скакал от этого гнезда языческих суеверий, чтобы сложить у ног твоих тяжесть, которая превозмогла мои силы. Сними ее с меня, святой отец.

— Ты измучен дальней дорогой. Отдохни сначала.

— Твои мудрые слова будут для меня самым сладким отдыхом,— отвечал Фабриций.

Амвросий приказал спутнику подождать.

— Иди за мной,— сказал он мягким голосом.

Он в сопровождении Фабриция прошел в свой кабинет, сел у стола, заваленного книгами, и указал гостю на большое дубовое кресло.

Но Фабриций бросился перед ним на колени.

— Будь снисходителен к моей молодости,— умолял он.

— Говори без опасения,— ободрял его Амвросий.— Господь наш, Иисус Христос, пришел на землю, чтобы

искупить от греха человеческий род. Он не отталкивает от себя никого. Ты знаешь, что на Голгофе Он простил разбойника, который уверовал в Его божественное милосердие.

Епископ облокотился на ручки кресла и приготовился слушать.

Фабриций начал.

Спеша, задыхающимся голосом, отрывистыми словами, точно опасаясь, что его покинет решимость, он с волнением и страхом Божиим передавал историю своей любви к Фаусте, давнего страшного убийства одного беззащитного язычника. Наконец он сказал последнее слово и поднял на Амвросия свой неуверенный взгляд.

Епископ сидел неподвижно, с закрытыми глазами. Его бледное, спокойное лицо ничего не говорило.

— Евангелие говорит,— начал он.— «Слышали вы, это сказано старым: не убий, а кто убьет, тот повинен суду». Ты говоришь, что язычник был только презренным червем? А что же ты такое перед величием Бога, Который повелевает солнцем, землею и звездами? Что такое твоя сила, твоя молодость, твой сан перед лицом Предвечного Творца? Удар меча, копья или метко направленная стрела сломят твою гордыню, и будешь ты слабее и ничтожнее бессловесного младенца. Как солдат, ты должен знать свою слабость человека. Смерть на твоих глазах пожирала самых отважных, бросала под копыта лошадей самых могущественных, издеваясь над пурпуром прославленных вождей и монархов. Ты говоришь, что этот язычник родился для того, чтобы его раздавила нога храброго мужа? Разве ты сотворил его, ты вдохнул душу в его тело, ты послал его на землю? Откуда ты мог знать, что наш Господь Иисус Христос хотел внезапной смерти этого римлянина. Милосердный Бог не желает гибели самых закоренелых грешников и радуется обращению и покаянию даже отцеубийц. Тяжело провинился перед Господом тот, кто воспрепятствовал падшей душе вознестись с покаянием к Вечному Свету и омыться в Его всеочищающем пламени. Ты же совершил больше, лишив истинной, вечной жизни того несчастного, отняв у него время, чтобы креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Фабриций жадно поглощал слова Амвросия. Но не все, что говорил епископ, убеждало его сердце, которое преклонялось только перед силой, отвагой и смелостью и презирало слабость. Неужели язычник мог сравнять-

ся перед Богом с ним, неустрашимым последователем истинной веры? Этот негодяй не рискнул бы своей жизнью для Христа, а Фабриций только глубже надвинул бы шлем на глаза и пошел бы за голосом своего Господа в огонь, на дно моря, в ад — всюду, куда бы ему ни приказал идти Творец мира.

Ему было понятно только одно: римлянин мог бы принадлежать к пастве Христовой и потому имел право на снисходительность, может быть, единоверца. Он мог подвергнуть его заключению, отдать под стражу Теодориха, замкнуть его зловредные уста... А он убил его и лишил возможности обратиться к Господу, примириться с Богом.

Фабриций поцеловал руку епископа и проговорил с сокрушением:

— Я тяжко согрешил, святой отец. Скажи, что я должен сделать, чтобы умилостивить Доброго Пастыря?

— Тяжко твое прегрешение,— отвечал Амвросий,— но милосердие нашего Господа, Который простил разбойника и блудницу, Который снисходит ко всякой людской слабости, простит и тебя, если ты искупишь грех. Ты согрешил по своей вспыльчивости и своеволию и должен искупить грех смирением и покорностью. Ты возложишь на себя одежду кающегося и в течение десяти дней на паперти Медиоланского храма будешь просить верных молиться о тебе. В течение других десяти дней ты будешь исполнять обязанности сторожа в моей больнице, не избегая самой унизительной службы. Потом ты на месяц удалишься в пустынь благочестивого Фомы, близ Коменского озера, и будешь там, в лесной тишине, в голоде и лишениях, вдали от соблазнов мира, размышлять о таинствах нашей веры. Смирение, покорность, телесные лишения и молитва остудят твою вспыльчивость и приблизят твою дикую душу к Христу. Страдая сам, ты познаешь страдания других и научишься обуздывать свою неукротимость.

Амвросий все это время пытливо следил за впечатлением, какое его слова произведут на Фабриция.

По мере того как он говорил, в глазах воеводы малопомалу угасал ясный огонь радости. На его чело ложилась грустная тень разочарования.

Неукротимый воин, презирающий чернь, видимо, не ожидал такого тяжелого наказания. Оказаться в руках плебеев, умолять первого попавшегося нищего о молит-

ве и милосердии, служить в больнице вместе с невольниками...

— Сжалься надо мной, святой отец! — умолял Фабриций, обнимая колени епископа.— Жизнь бездельника, которого я убил, не стоит одного часа моей жизни. Прикажи мне отдать половину моего состояния убогим — я исполню это без колебания; прикажи мне поститься, бичевать себя, молиться целый год — я без ропота подчинюсь твоей воле. Только не унижай так мою гордость.

Епископ положил руку на голову Фабриция и ответил ласковым голосом:

— Вспыльчивость и надменность искупаются только смирением и покорностью. Не противься, сын мой. Не для того, чтобы унизить тебя, я налагаю на твою воинскую гордость такое унизительное покаяние. Я хочу тебя отвратить от пути, ведущего к сатане, и научить служению Богу. Победи в себе злобу этого мира, и только тогда ты поймешь неиссякаемую благость учения нашего Господа Иисуса Христа. Ведь и Он претерпевал унижение в земной жизни, и хотя мог призвать на помощь Отца Своего Небесного, но без жалоб испил горькую чашу. Будь покорным сыном Христа, Которого ты любишь, ибо ты любишь Бога благости и милосердия. Епископ Сириций писал мне, что ты неустрашимый исповедник нашего Господа.

— Я отдам за него свою жизнь! — искренне вскричал Фабриций.

— Вот ради этой-то любви ты и принеси в жертву свою гордость,— убеждал его епископ,— чтобы глубже проникнуть в тайны нашей веры и быть полезным слугой истинного Бога. Церкви нужны такие горячие сердца, как твое. Очисти это сердце от языческой ненависти, пойми, что Христос повелел любить всех без различия, прижми всех слабых, убогих и бесприютных к своему любящему сердцу, и Бог малых не откажет тебе в своем прощении и милосердии. Смирение не унижает никого. И Феодосий, могущественнейший из государей всего мира, не устыдился принести покаяние Богу.

Напоминание о публичном покаянии Феодосия словно громом поразило гордость Фабриция. Что такое он в сравнении с Феодосием? Ради любви к Богу и для успокоения своей совести он должен покориться. Амвросий лучше его знает пути, ведущие к Искупителю.

Он вздохнул, поднялся с колен и сказал:

— Я верю, что воля твоего святейшества — воля Бога. Я сделаю, что ты приказал, но только перед тем, как уезжу в Ведианцию, чтобы обезопасить пребывание Фаусты Авзонии.

Он хотел уйти, но епископ задержал его:

— В свою виллу в горах Ведианции ты не поедешь и Фаусты Авзонии не увидишь.

Фабриций в изумлении посмотрел на него.

— Святой отец! — прошептал он.

— В Ведианцию ты пошлешь приказ, чтобы твоя прислуга немедленно освободила весталку,— говорил Амвросий все тем же спокойным, мягким, ласковым голосом.

— Этого быть не может! — запальчиво вскричал Фабриций.— Ради нее я покинул город, который благосклонность императора вверила моему попечению. Она одна осталась мне в проигранной битве. Только ее любовь заставила меня забыть справедливый гнев его вечности. Пожалей мое сердце, святейший отец.

— Если ты послушный сын Христа, то вырви из своего сердца образ Фаусты Авзонии.

— Этого не будет никогда, никогда!.. Христос не называл любовь грехом.

— Но он называл грехом всякое беззаконие. Подумай только, на что ты отважился. Представитель власти, который должен уважать закон, оскорбил священнейшее установление Италии.

— Это языческое установление,— защищался Фабриций.

— Не твое дело упреждать ход событий,— отвечал Амвросий, в первый раз возвысив голос.— Пока император не отзовет Флавиана от должности префекта претории, ты не имеешь права изменять существующий порядок. Оскорбляя священнейшее установление Рима, ты в тяжелую минуту обрек христианское правительство на непредвиденную опасность, потому что твое насилие может вызвать восстание язычников, которое задержало бы осуществление мудрых намерений Феодосия. Валентиниан послал тебя в Рим для того, чтобы ты, как ревностный поклонник Христа, служил язычникам образцом правдивости, доброты, милосердия и снисходительности, а что сделал ты? Ты поднял руку на чужую собственность, оскорбил весталку, побратался с разбойниками, убил язычника. Вместо того чтобы приобрести рас-

положение древней столицы государства, ты вооружил против себя всех справедливых людей. Для того ли наш Господь Иисус Христос умер на кресте за человеческое неистовство, чтобы оно и дальше свирепствовало на земле? Для того ли научил Он нас добродетелям, неведомым прошлым векам, чтобы они оставались только на страницах священных книг? Ты называешься христианином, сыном Бога Искупителя? Ты язычник, опутанный демонами тьмы!

Фабриций застонал.

— Ты язычник! — с силой повторил Амвросий.— Ибо не хочешь сложить своих вожделений у ног Христа. Как в сердце язычника, так и в твоем царит гнусное человеческое себялюбие, более сильное, чем любовь к Богу.

Он замолчал и с минуту, задумавшись, смотрел в пространство. Потом вновь начал прежним, мягким голосом:

— Святой апостол Павел учит: «Кто женится, старается о делах сего света, как бы угодить жене, а кто не женат, старается о делах Божиих, как бы угодить Господу». Из этого указания великого апостола выходит, что лучше сделает тот, кто отвергнет утехи любви, потому что следом за женщиной идут дневные заботы, отвлекающие душу от небесных забот. Жена приковывает мужа к земле, отдаляет его мысли от дел церкви и государства, делает его рабом суеты сего мира. Если бы ты не был воеводой Италии и ревностным слугой Христа, я не напоминал бы тебе совета святого Павла, ибо знаю, что пожертвовать любовью к женщине — это превышает силы смертного. Но тебя император поставил на страже нашей веры в стране, погрязшей в язычестве, Бог избрал тебя из числа многих, чтобы ты был послушным орудием Его святой воли. Ты не имел права отдать женщине предпочтение перед Христом, как это ты сделал.

— Любовь к Фаусте Авзонии не уменьшила моей любви к Христу,— ответил Фабриций.

— Но она отвратила твои мысли от обязанностей твоего положения и сделала то, что ты запятнал свою совесть насилием. Разве ты за этим прибыл в Рим?

Фабриций молчал.

Все, что ему говорил Амвросий, он повторял себе не один уже раз, но любовь зажгла в его девственном сердце пламя настолько сильное, что при его лучах померкли все мысли о его положении.

Неужели он должен отступить, когда ему казалось, что он уже приблизился к цели своих стремлений? Неужели он должен отказаться от Фаусты, с которой срослись все его мысли? Этого не может от него требовать никто, даже Амвросий. Епископ укорял его в насилии, но всякий решительный человек сделал бы то же самое. Люди его времени, расы и занятия восхищались дерзкими поступками. Только одни священники осуждали насилие.

Амвросий знал эту необузданность новейших римлян, скрывавших под одеждой цивилизованного народа упрямство варваров. Молчание Фабриция было для него достаточным указанием. Он отгадал, что аллеман для своей любви пожертвовал даже расположением императора. Один только Христос умел влиять на себялюбие этих неподдающихся натур.

Поэтому он поднялся с кресла и сказал повелительным голосом:

— Твой спутник немедленно поедет в Ведианцию и освободит Фаусту Авзонию!

— Не отнимай у меня моего счастья, святой отец,— умолял Фабриций.— Я буду каяться, как невольник, буду просить молитвы мытаря и сборщика податей, буду служить слугам слуг моих, но оставь мне Фаусту.

— Если Фауста не возвратится в Рим, то я закрою перед тобой двери всех христианских церквей.

Фабриций отшатнулся, как бы пораженный мечом в самую грудь. Обезумевшими глазами он смотрел на епископа, который стоял, выпрямившись во весь рост, с рукой, простертой вперед.

Это уже не был снисходительный священник, с добротой отца поучающий блудного сына,— он был князь Церкви, уверенный в своей силе, римский патриций отдавал приказание своему подчиненному.

Тщедушная фигура Амвросия, казалось, выросла, черты его одухотворенного лица окаменели, обострились.

— Удались и помни, что глаз мой с этих пор будет следить за каждым твоим шагом.

Его голос был резок, как тогда, когда он усмирял несогласия Коменской общины.

Измученный Фабриций покинул кабинет епископа. В передней дворца он упал на скамью и закрыл лицо руками. Воспрещение посещать церковь равнялось исключению из христианской общины и заслуживало презрения его единоверцев.

Тьма отчаяния охватила душу Фабриция. Последняя надежда обманула его. Великий созидатель Церкви вместо того, чтобы успокоить его, поразил его страшной угрозой.

Он сидел в немом остолбенении. В его голове кружились мысли, то тревожные, то отчаянные, то покорные, то мятежные: христианин преклонялся перед величием Амвросия, варвар, солдат подстрекали его к сопротивлению.

— По какому праву этот надменный священник разрывает нити твоего счастья? — возмущался солдат.— Дела твоего сердца — это твоя неотъемлемая собственность. Устами святого епископа говорит Христос,— отвечал христианин.

В это время к нему подошел аллеманский стражник, который сопровождал его из Рима.

— Курьер Теодориха ждет твою знаменитость,— сказал он.

— Курьер?.. Теодориха? — как бы сквозь сон проговорил Фабриций? Где?.. Откуда?

— Теодорих приказал ему ехать на Медиолан, чтобы не обратить на себя внимания сыщиков префекта претории. Я его узнал и задержал.

— Говорил ли он тебе, с чем его послал Теодорих?

— Теодорих просит прислать заместителя.

— Зачем? — вскрикнул Фабриций.

— Старик жаждет перед смертью утешить свои угасающие глаза видом своих внуков.

— Глупец!

Фабриций вскочил со скамьи.

— Спеши на почтовый двор за свежими лошадьми!— приказал он.

Опасность, грозящая его любви, взяла верх над словами Амвросия. Он потом умилостивит Христа, примирится с Ним, а теперь...

Спустя полчаса трое всадников мчались по дороге в Геную.

Впереди них ехал Фабриций.

VII

В месте заключения Фаусты царило необычное движение. Невольники укладывали в сундуки ковры, столовое белье и занавески; Теодорих заботливо осматривал колеса и оси повозок, аллеманы седлали лошадей...

— Хорошо ли отточены мечи? — спросил Теодорих старшего аллемана.

— Хорошо, будут работать,— ответил солдат.

— Не слыхал ли ты в горах каких-нибудь голосов?..

— Когда под вечер я обходил заросли, то мне несколько раз слышался чей-то шепот.

— Через час мы двинемся. Если язычники загородят нам дорогу, то прежде всего нужно защищать Фаусту Авзонию.

Приказав возницам запрягать, Теодорих дошел до цепи скал, преграждающих доступ к вилле, и напряг слух и зрение.

В течение нескольких дней за виллой следили какие-то непрошенные взоры. Вчера Прокопий на ветвях дикой розы нашел красную нитку шелка, сегодня один из аллеманов ночью на берегу моря видел кучку вооруженных людей. Псы заливались лаем с самого утра и рвались в горы.

Теодорих чувствовал, что неуловимые фигуры, кружащиеся около дома, незримо связаны с Фаустой Авзонией. Весталка была слишком важной личностью, чтобы ее единоверцы могли о ней забыть.

Они искали... нашли... и теперь будут стараться отнять свою собственность.

Если бы Теодорих знал силы неприятелей, то ждал бы их спокойно. Скалы заменяли ему сотню сильных рук.

Но скрытый враг, подбирающийся осторожно к вилле, страшил его своей таинственностью.

Взвесив опасность положения, Теодорих решил отступить в горы, разбить где-нибудь палатку и послать другого курьера к воеводе.

Безлунная ночь способствовала бегству. Небо покрылось свинцовыми тучами, которые под вечер нашли со стороны Корсики.

Теодорих вслушивался в ночную тишину, силясь уловить чутким ухом сына природы подозрительный шум... Но однообразного шелеста деревьев не нарушал никакой посторонний звук.

Когда он стоял, вглядываясь в черную бездну густой тьмы, раздался вой собаки.

Плач животного, сначала прерывистый, как бы боязливый, усиливался, становился полнее и громче, пока не перешел в жалобное стенание. Вместе с тем со стороны

моря поднялся ветер, пробежал над вершинами скал, наклонил верхушки елей, подхватил вой пса и разнес его по долине.

Казалось, вокруг зарыдали неисчислимые голоса.

Теодорих крестился, прижавшись к скале. Суеверную душу сына лесов охватил страх. В этих стонах, непрерывно повторяемых горами, он слышал голоса существ иного света: это не пес выл, а его, Теодориха, призывали души его предков.

Он опустился на колени, упал лицом на землю и горячо обнял кормилицу человеческого рода.

— Будь для меня мягким ложем, не презри моего праха,— умолял он.— Я рук не обагрил кровью невинного, совесть не запятнал несправедливостью к убогим, сердца — изменой вождю и господину...

В это время до него докатился шум, хорошо знакомый солдату. Какие-то всадники приближались к вилле.

Он быстро поднялся и свистнул. Когда на его призыв прибежали аллеманы, он поставил их под скалами, сам же вышел вперед и начал прислушиваться.

Его ухо уже отчетливо различало топот коней и стук оружия. Всадники продвигались тихо, направляясь прямо к вилле.

Теодорих обнажил меч и крикнул:

— Кто там?

Из темноты раздалося в ответ:

— Здравствуй, старик!

Изумлению Теодориха не было границ. То был голос воеводы.

— Это вы, господин? — спросил он.

Из тьмы показались три конские головы.

— Все ли в порядке? — отозвался Фабриций, наклоняясь к Теодориху.

— Пока все, но что сегодняшняя ночь скрывает в своем страшном лоне, об этом знает только Добрый Пастырь. Вы прибыли в самую пору. Через час вы бы не застали никого в своем доме. Повозки уже готовы...

— Ты хотел бежать?

— Я не знаю числа врагов, а их следы беспокоят меня уже несколько дней. Если язычники обратились за помощью к наместнику Ведианции, то я бы навлек на вашу голову наказание короля Арбогаста за сопротивление, оказанное властям.

Теодорих говорил тихим голосом, чтобы солдаты не слышали его слов. Шепотом отвечал ему и Фабриций.

— Ты поступил вполне разумно. Повозок не приказывай отпрягать. Мы тотчас же тронемся в Виенну, где скрыться легче, чем в горах.

Отдав коня одному из своих стражников, он пошел рядом с Теодорихом.

— А она,— спросил он,— Фауста Авзония, не облеклась в одежду оглашенной?

— Не облеклась и не облечется!

Теодорих рассказал воеводе о событиях последних недель, а когда дошел до угроз Фаусты, то прибавил:

— Я служил вам вернее всякого верного невольника, любил вас искреннее самого близкого друга. За эту верность и за эту любовь я заслужил награду. Позвольте мне, господин, умереть спокойно. Я не хочу предстать пред Добрым Пастырем с бременем проклятия весталки.

В тишине ночи, во второй раз, раздался вой пса. И снова ветер подхватил его и на своих крыльях разнес по скалам и горам.

Фауста Авзония сидела в спальне, на низком стуле, опершись головой на руки. Вокруг нее сновали невольницы, а она смотрела на их хлопоты тупым, безучастным взором.

Ей сказали, чтобы она была готова в дорогу. Она не спрашивала, куда ее повезут,— она знала, что и дальше ее ждет неволя. Ей говорили об этом и удвоенная бдительность Теодориха и бóльшая подозрительность слуг.

За каждым ее движением стали следить с таким вниманием, что она потеряла надежду вырваться из клетки при помощи женской хитрости. Ей нельзя уже было переступать опушки апельсиновой рощи, гулять по горам, смотреть со скал на море.

По мере того как суживались стены ее заключения, ее стала охватывать какая-то странная тревога перед неизвестным будущим. Она испытывала чувство, как будто к ней подкрадывается большая опасность. Неизменная тревога мучила ее возбужденное воображение омерзительными видениями. В ночных снах на нее нападали какие-то существа, забрасывали ее белое платье уличной грязью. Хватали ее в свои нечистые объятия. Или на ее грудь садился ястреб Юлии Порции, с глазами Фабриция, и жадно припадал к ее губам.

От чудовищ она оборонялась, а ласки ястреба переносила терпеливо.

Пробудившись, она молилась Весте, прося отогнать от нее искушения. Напрасно она поручала свое сердце богине чистоты. Уединение, тишина и весна с неожиданной силой пробуждали в ней еще не заснувшие девичьи грезы.

Хотя она старалась вселить в себя ненависть к своему похитителю, Фабриций все властнее вторгался в ее мысли.

В коридоре, отделяющем середину дома от боковых комнат, раздались быстрые шаги. Невольницы перестали шептаться.

Фауста подняла голову, и кровь горячим потоком залила ей лицо и шею. Слуги удалились. Римская жрица осталась одна с врагом своих богов.

Долго они смотрели друг на друга. Она в остолбенении, не веря своим глазам, он, погруженный в печаль.

— Перед тобой стоит несчастный,— начал Фабриций подавленным голосом,— покинутый богом и людьми. Ночью, как изгнанник, я бежал из Рима, а за мной гналось проклятие твоего народа. Подавленный укорами совести, я прибег к мудрости Амвросия, но великий епископ осудил меня и унизил. Для тебя я бросил блестящее положение, снизошел до преступления, заслужил гнев моей веры. Для тебя я пренебрег властью — блеском этой земли, Царством Небесным — наградой лучших миров. Моя любовь к тебе превозмогла любовь к славе, к долгу, сделала меня глухим, слепым, бесчувственным, охватила меня всего.

Фауста сидела без движения. Румянец сходил с ее лица, уступая место бледности.

— Я прегрешил, обезумел,— продолжал Фабриций,— но этот грех — высшая радость моей жизни. Я ставлю его выше рукоплесканий толпы, выше признательности императора, выше...

Он хотел сказать — милости Бога, но остановился, пораженный дерзостью своей страсти.

— Несчастный я, несчастный, несчастный! — жаловался он, ломая руки.

Суровые черты лица Фаусты мало-помалу смягчились.

Этот человек пожертвовал всем, что почитал и любил. Тоска согнула его стройную фигуру, стерла с его лица краски здоровья. Не дерзкого варвара видела перед собой Фауста, а несчастного человека, который страдал из-за нее и для нее.

— Ты одна осталась мне на целом свете, в тебе моя последняя надежда. Твоя любовь может вознаградить меня за гнев единоверцев и снять с моей души черный покров отчаяния.

Фабриций протянул руки к Фаусте.

— Не презирай любовь, она озарит твою молодость золотыми лучами весеннего солнца. Обязанности так трудны, слава изменчива... Одна только любовь дает смертному истинное наслаждение. Будь женщиной и загляни в свое сердце.

Фауста была в эту минуту больше женщиной, нежели сама желала. Она заглянула в свое сердце, и то, что увидела в нем, преисполнило ее страхом: в глубине его она не нашла ненависти к Фабрицию.

Она испугалась самой себя... Блуждающим взором она осмотрелась кругом, словно искала помощи. В спальне царила глухая тишина, нарушаемая только ускоренным дыханием воеводы.

Бежать?.. Но куда?.. Повсюду ее окружали стены темницы. Никто бы не прибежал на ее крики. Она находилась в неволе, в полной зависимости от гнева и милости ее похитителя.

Сладкими словами любви, понятными каждому женскому сердцу, он сковывал ее движения, усыплял ее бдительность.

— Не отталкивай меня от себя,— умолял Фабриций, припав к ее коленям.

Он схватил ее руки, прижал их к своим горячим губам, обнял ее стан.

Фауста хотела подняться, оттолкнуть его, освободиться из его объятий, но по ней уже разлилось пламя любви, пробежал не изведанный еще сладостный трепет и лишил ее силы.

Она закрыла глаза и опустила голову.

Фабриций схватил ее в объятия, как хищная птица схватывает пойманную добычу, прижал к себе, осыпал поцелуями ее волосы, глаза, шею.

— Ты моя, моя, моя! — повторял он.

В его голосе дышала торжествующая страсть.

Он искал устами ее уста...

— Я буду защищать нашу любовь повсюду — перед твоим народом, перед императором, перед Амвросием.

Имя епископа пробудило Фаусту. Она подняла голову, открыла глаза и глубоко вздохнула...

— О боги Рима, о духи моих предков! — прошептала она.

С гневом смотрела она на Фабриция, на свое смятое платье, на разорванную тунику.

Свершилось то несчастье, которое пугало ее в ночных снах. Галилеянин обнимал весталку, а она без сопротивления отдавалась его ласкам.

Она закрыла лицо руками. Сухое, отрывистое рыдание потрясло ее тело.

— Веста!

Фабриций, не отгадывая причины ее отчаяния, еще более раздражил ее своими утешениями.

— Пусть тебя не страшит кара твоих богов,— говорил он.— Возложи на себя знак Креста, и тебя прикроет могущество Бога, более сильного, чем Юпитер, Марс и Венера. Не пугайся давно исчезнувших теней.

Он наклонился к Фаусте, хотел обнять ее, но она быстро поднялась.

— За что ты меня преследуешь? — воскликнула она.

Девичий стыд сразу оттолкнул ее от человека, который с ней обращался как с купленной невольницей.

Фабриций, еще не понимая перемены, происшедшей в ее сердце, продолжал идти по своему ложному пути.

— Выслушай мою просьбу,— настаивал он,— преклонись для моего счастья перед Богом новых народов. Император не предаст христианку в руки язычников. Крещение отворит пред тобой врата вечного блаженства, а мне возвратит душевное спокойствие и прощение моей религии. Обращенная к Христу весталка загладит вину ослушавшегося христианина и восводы. Я ради тебя сделался заблудшей овцой Христова стада. Твое доброе сердце должно же смилостивиться надо мной.

Брови Фаусты нахмурились, нижняя губа презрительно выдалась вперед. Фабриций говорил с ней так, как будто она была причиной его несчастья. Он считал ее своей собственностью, требовал от нее помощи.

— В чем же моя вина? — спросила она решительным голосом.— Не я поощряла тебя сойти с пути обязанностей. Ты похитил меня, держишь против моей воли и хочешь склонить меня к чувству, которое насмехается над величайшей человеческой силой.

— Твоя покорность выдала мне твою любовь,— возразил Фабриций.

Краска гнева покрыла лицо Фаусты.

— Покорность узника, ошеломленного нападением более сильного противника, никогда не раскрывает тайны его сердца. Ты оскорбил меня своими ласками, не спрашивая, желаю ли я их. Знай, что, если бы хитрые демоны зажгли в моем сердце преступную любовь к врагу Рима, я вырвала бы это непослушное сердце из своей груди и в минуту смерти смотрела бы равнодушно на его трепетание; если бы мои мысли слились воедино с дерзкими вожделениями варвара, я размозжила бы без колебаний свой череп, чтобы в нем раз и навсегда угасло подлое искушение. Я ненавижу тебя, я презираю тебя, варвара, раба своих страстей!

Фабриций в изумлении слушал эти оскорбительные слова. Они своей резкостью и энергией скорее напоминали речь мужчины.

Неужели это была та самая женщина, которая дрожала в его объятиях, с румянцем стыда, с полным подчинением его воле?

Наконец он понял причину перемены, происшедшей в Фаусте: весталка одержала в ней верх над женщиной.

— Творец всего живущего на свете дал смертным любовь, как награду за бремя жизни,— пытался было он еще раз ее убедить.— Зачем ты ради видений прошлого хочешь лишить меня и себя высочайшего счастья?

Он снова протянул руки к Фаусте, стараясь ее обнять, но она вырвала у него из-за пояса кинжал и приставила его острие к своей груди.

— Не приближайся,— крикнула она,— если не хочешь, чтобы кровь весталки пала на твою совесть!

Фабриций в ужасе отшатнулся.

Значит, мучения многих месяцев, тревога последних дней, душевные волнения, угрозы Амвросия — все это напрасный труд. Он пренебрег обязанностями цезарского наместника ради невознагражденной любви, ради видений бессонной ночи?

Фабриций схватился за горло. Его душило бешенство варвара, в котором сопротивление пробуждало свирепость первобытного человека.

Он мрачно посмотрел на Фаусту.

Неужели эта слабая женщина сильнее его? Он принудит ее повиноваться и любить его, поступит так же, как поступил его отец с его матерью.

Он вскочил, бросился к Фаусте, вырвал у нее стилет, схватил ее на руки, как малое дитя, и прижал к себе.

— Ты моя, моей и останешься. Я добыл тебя для себя и никому не отдам.

Он выбежал из дома. передал Фаусту на руки невольницам и крикнул:

— В дорогу!

Потом он подозвал к себе Теодориха.

— Ты поедешь около кареты и будешь смотреть за римлянкой!

Старый аллеман упал перед ним на колени.

— Я просил вас, господин...— вполголоса сказал он.

— Когда мы приедем в Виенну, я отпущу тебя в наши леса.

— Ваши молодые руки лучше защитят римлянку от опасности, нежели мои. Угрозы весталки лишили меня присутствия духа. Я не хочу во второй раз слышать ее страшных проклятий.

— Не раздражай меня!

— Мне страшен ваш гнев, но еще более страшны проклятия, которые пойдут за мной и в могилу. И милосердный Добрый Пастырь не любит людской злобы.

Правая рука Фабриция, уже лежавшая на рукоятке меча, опустилась сразу.

— Выслушай меня, господин,— умолял Теодорих.

— Пусть будет по-твоему. Возьми пятерых человек и охраняй обоз.

В апельсиновой роще было так темно, что люди совсем скрылись в ней.

— Зажечь факел! — приказал Фабриций.

При мигающем свете желтого пламени, смешанного с дымом и раздуваемого ветром, обрисовались неясные контуры четырех экипажей и темные силуэты аллеманов. Солдаты, приросшие к коням, закутанные в плащи с капюшонами на головах, производили впечатление обитателей иных миров.

Пятеро из них вместе с Теодорихом заняли место во главе обоза, остальные окружили карету Фаусты. Две невольницы охраняли весталку.

Теодорих ударил мечом о щит. Аллеманы тронулись, обоз тихо, осторожно двинулся за ними.

Обоз в глубоком молчании тянулся по долине. Солдаты не разговаривали друг с другом, раздавались только стук колес, ударявшихся о камни, и тихий лязг оружия. Кони временами встряхивали головами и храпели, точно испуганные чем-то.

Теодорих напрягал весь слух и зрение. Он забыл о своих опасениях и предчувствиях — он был верным слугой, которому доверена безопасность господина.

Он уже приближался к середине долины, не заметив ничего подозрительного. Вдруг он остановился, соскочил с коня и приложил ухо к земле.

— Донеси воеводе,— сказал он одному из аллеманов,— что на нас идут вооруженные люди.

Когда Фабриций подъехал к нему, он показал на выход из долины.

На фоне ночной темноты вдали сверкало множество движущихся огоньков.

Фабриций приказал погасить факелы.

С затаенным дыханием, не спуская взгляда с огоньков, солдаты дожидались неизвестного неприятеля.

Огоньки шли прямо на виллу, увеличиваясь с каждой минутой.

Теперь при их свете была видна черная масса, впереди которой шла высокая тень. Какой-то всадник вел отряд пехоты.

В эту минуту Фабриций поднес к губам охотничий рог. Скалы и горы огласились громким звуком, леса подхватили протяжное эхо.

Черная масса остановилась.

— Кто осмеливается нарушать спокойствие во владениях воеводы Италии? — громко спросил Фабриций.

С противоположной стороны послышалось:

— Констанций Галерий идет освободить из неволи Фаусту Авзонию.

— Солдат отдаст свою добычу только победителю. Приди и отними Фаусту Авзонию, если тебе жизнь надоела.

В черной массе произошло движение. Пешие люди окружили всадника.

— Какой-то сброд,— шепнул Фабриций Теодориху.

Нападающие, видимо, никогда не участвовали в ночных стычках, и, вместо того чтобы погасить факелы и быстро рассыпаться и этим обмануть неприятеля, они столпились на освещенном месте.

Долина в этом месте переходила в ровное место, что облегчало разбег конницы.

Фабриций все это видел и пренебрежительно усмехнулся.

От черной массы начали отделяться маленькие куч-

ки. Они расходились в обе стороны и образовывали подобие цепи.

Фабриций созвал своих аллеман.

— Окружим карету и нападем на этих глупцов, прежде чем они сомкнутся полукругом,— сказал он тихим голосом.— Телеги с вещами оставить.

В это время снова раздался голос Констанция Галерия:

— Если ты добровольно отдашь Фаусту Авзонию, мы не поднимем на тебя руку. Король Арбогаст и без того справедливо накажет тебя за твое преступление.

Ему ответило только молчание.

— Готовы? — спросил Фабриций у своих аллеман.

— Готовы, воевода!

— Где Теодорих?

— С Германрихом оберегает карету.

— Хорошо... Внимание!

Он поднял меч кверху.

— За мной!

Земля задрожала под копытами лошадей, ночную тишину нарушил военный крик аллеман, железо ударилось о железо. Через минуту раздались удары мечей по шлемам и щитам гладиаторов Галерия, раздались проклятия мужчин, плач женщин.

— Бей, коли! — кричал Фабриций, напав на самую середину цепи.

Прежде чем освободители Фаусты дали себе отчет в том, что произошло, похититель со своей добычей был на другом конце долины.

Он остановился и посмотрел назад.

— Все целы? — спросил он.

— Недостает только Теодориха,— ответили ему солдаты.

— Что с ним сделалось?

— Под ним убит конь.

— Нам нельзя старого солдата оставлять в руках разбойников,— сказал Фабриций.— Двое из вас пусть охраняют карету. Остальные за мной!

И он помчался назад.

Теодорих, опершись плечами о дерево, защищался с остервенением вепря, окруженного в логовище. Со всех сторон на него падали удары коротких римских мечей, а он отражал их щитом и длинной испанской шпагой.

Усталая рука уже отказывалась служить ему. С его лба струился обильный пот, из многочисленных ран лилась кровь.

В ту самую минуту, когда Фабриций подоспел к месту стычки, он зашатался и упал на колени.

— Теодорих, Теодорих! — крикнул встревоженно воевода.— Я иду тебе на помощь!..

Старик хотел встать, но заломил руки и упал лицом на землю.

И снова раздался лязг оружия, снова посыпались проклятия. Гладиаторы, не привыкшие к неожиданным нападениям, рассыпались. Фабриций по тропинке, залитой кровью, пробился к Теодориху, поднял его на коня и протрубил в рог сигнал к отступлению.

Несколько минут спустя по дороге во всю мочь мчалась карета, увозившая Фаусту Авзонию.

Топот скачущих лошадей заглушал шум моря, взволнованного южным ветром. Пенящиеся валы громоздились друг на друга, как разъяренные гиганты.

Фабриций с развевающимися волосами мчался во главе отряда, прижимая к своей груди Теодориха.

Его не страшили разъяренные волны. И в нем все бушевало и кипело. Адская буря говорила языком его истерзанной души.

Он потерял все, что любил на земле. Он был, как корабль, который находился в море в эту минуту. Отовсюду его окружали тени его обманутых надежд. Ему казалось, что он падает в бездонную пропасть, в темную бездну вечного проклятия.

Он наклонился к Теодориху.

— Старик, старик, зачем ты покидаешь меня? — простонал он, как ребенок, рыдающий по матери.

Он прикоснулся лбом к щеке верного слуги и вздрогнул.

Лицо Теодориха было холодно.

Фабриций хорошо знал холод смерти.

И в первый раз в жизни человеческая скорбь стиснула его неукротимое сердце. Слезы, незнакомые высокопоставленному варвару, в первый раз увлажнили его ресницы.

— Да будет тебе легка земля, я собственными руками устелю тебе последнее ложе, мой верный слуга, мой преданный друг,— тихо проговорил он.— Смилуйся над его душой, Творец мира!

А море свирепело все сильнее. Валы ударялись о берег с такой силой, что казалось, что прибрежные скалы вот-вот рассыплются на куски.

Перед лицом разъяренной стихии, с трупом любимого слуги на руках, полный сердечной боли, Фабриций начал понимать все бессилие смертного человека.

— И над моей грешной душой смилуйся, о Христос, Господь несчастных,— прошептал он.

VIII

В Виенне, в цезарском дворце, в тронном зале, Валентиниан готовился принять Арбогаста, который вернулся в Галлию после окончания счастливой войны с франками...

Два ряда доместиков от главных дверей образовали сверкавший проход. Сверху, из квадратного отверстия потолка, завешенного пурпуровой тканью, лились на их золоченые шлемы и нагрудники, на шелковые плащи и рубиновые монограммы потоки солнечного света.

Они стояли неподвижно, с обнаженными мечами, похожие на мраморные изваяния. Их медали, перстни и наплечники отливали всеми цветами радуги.

В глубине залы, на возвышении, по обеим сторонам трона, сидели члены цезарского совета. Государственный министр сидел уже на своем кресле, министр двора также занял место; префекты галльской и испанской префектур ожидали прибытия «вечного и божественного государя». Среди высших чинов государства не было только Флавиана и Арбогаста.

На пороге из боковых дверей показался главный камергер священных покоев и произнес громким голосом:

— Его вечность, наш божественный государь Валентиниан!

Вдоль рядов доместиков пронесся тихий шепот, точно эхо глубокого вздоха. Советники цезаря поднялись с кресел.

Из комнат императора показалось блестящее шествие. Впереди, в две шеренги, шли пажи-сирийцы в туниках жемчужного цвета, опаленные жгучим солнцем своей родины; евнухи с безволосыми, женственными лицами в голубых туниках, испещренных серебряными блестками; за ними следовали графы и камергеры различных степеней, увешенные золотыми цепями с портретами Валентиниана.

Весь этот блестящий кортеж прошел мимо трона, отдал низкий поклон эмблемам императорской власти и расположился вдоль стен.

В самом конце выступали десять протекторов, которые предшествовали самому цезарю.

Остановившись перед возвышением, они разделились на две половины, и среди них показалась стройная фигура двадцатилетнего юноши.

То был Валентиниан.

Император западной половины Римского государства был в длинном белом платье оглашенного, сверху был надет красный плащ с вышитыми гербами провинций, находящихся под его державой. На его голове блестел венец, украшенный драгоценными камнями.

Он уверенными шагами взошел по мраморным ступеням, покрытым персидским ковром, сел на трон и поднял руку в знак того, что аудиенция начинается.

Все глаза обратились в сторону главных дверей. На губах членов цезарского совета и придворных сановников появилась злобная улыбка.

Валентиниан, подговоренный своими наушниками, отберет сегодня у Арбогаста власть над войском и столкнет его с вершины славы в прах забвения.

Так было решено на последнем заседании совета.

Через минуту господство надменного франка кончится, в прах разлетится могущество человека, ненавистного толпе, окружающей императора. Арбогаст перестанет существовать, а с ним вместе исчезнут опасения, которые давно уже не давали покоя советникам Валентиниана.

— Скоро ты увидишь, кто из нас сильнее,— говорила улыбка сановников.

В дверях показался глашатай и бросил в залу имя, славное во всем государстве.

— Король Арбогаст! — провозгласил он.

В глазах членов совета и придворных сановников промелькнула радость. Как приятно видеть унижение ненавистного врага!

Но эта радость уступила место удивлению, лишь только занавеска взвилась кверху.

Вдоль блестящих рядов охранной стражи приближался к трону Арбогаст, закованный в латы, окруженный своими графами и воеводами. И главный вождь легионов и его подчиненные были в полном вооружении, с мечами у пояса, хотя обычай не дозволял никому являться перед лицом императора в походном вооружении.

— Какая дерзость! — перешептывались друг с другом сановники.

— Какая дерзость! — видимо, подумал Валентиниан, потому что нахмурил брови и закусил губы.

Высокая фигура франка отчетливо вырисовывалась на красном фоне. Он шел медленно, с высоко поднятой головой, а за ним следовала цепь вооруженных людей. Тяжелые солдатские шаги раздавались глухо в громадном зале. Им вторил тихий звон мечей, которые доместики склоняли перед главным вождем.

Арбогаст остановился перед троном. Он не преклонил перед императором колени, не коснулся головой верхней ступеньки, как предписывал придворный церемониал.

— Привет тебе, божественный государь,— произнес он холодно.

Так же холодно ответил и Валентиниан:

— Здравствуй, король!

Арбогаст с минуту смотрел на Валентиниана, потом заговорил:

— Я прихожу не за наградой за победы, одержанные над врагами государства, потому что сделал только то, что должен был сделать. Я прихожу к тебе с жалобой на графа Галлии, который не прислал мне подкреплений в тяжелую минуту. Отдай графа в мое распоряжение, чтобы я мог его наказать по законам, установленным для римских легионов.

— Графа Галлии вчера я послал на границы Реции и приказал усмирить варваров,— ответил Валентиниан.

Арбогаст нахмурился.

Император, без его ведома доверив непослушному графу оборону таких важных границ, унизил его, сознательно оскорбил. Значит, предостережения Кая Юлия не были предательством римлянина, в планы которого входило поссорить главного вождя с христианским правительством? Значит, Валентиниан действительно хочет устранить его от кормила правления.

— Из Тотониса были посланы курьеры в Виенну с донесениями о вине графа Галлии. Неужели их не допустили к твоей божественности? — спросил Арбогаст.

Правая рука Валентиниана, которой он опирался на подлокотник трона, начала судорожно теребить золотую бахрому. Арбогаст допрашивал его, требовал объяснения, задавал ему, императору, вопросы, а он унаследовал от отца только надменность тирана, еще не сдержи-

ваемую правилами учения Христа, к которому стремился всей душой.

— Не твое дело разбирать проступки моих графов,— резко ответил Валентиниан.

— Проступки военных графов подлежат суду главного вождя,— сказал Арбогаст.

— Главным вождем военной силы всегда был император.

— Главным вождем всегда был тот, кто водил легионы в битву.

Жилы на висках Валентиниана налились кровью. В нем заговорила необузданная кровь его отца, а возле трона не было никого, кто бы мог остановить его разумным словом.

Вызывающие улыбки всех окружающих подбивали Валентиниана привести к исполнению то намерение, которое давно уже мерещилось его ребяческой гордости.

Какой он император? Правда, он восседал на троне, подписывал красными чернилами правительственные распоряжения, видел на знаменах свое изображение, но не он одерживал победы на поле битвы, не он командовал в лагерях, не он заключал мирные договоры, не он раздавал наградные венки. Провинциями западного государства правил Арбогаст, приставленный к нему Феодосием.

Старый вождь железной рукою держал кормило правления Италии, Испании, Галлии и Британии, не допуская к участию в делах «божественного и вечного» государя.

А грудь молодого монарха томила жажда подвигов и славы. Ему опротивели пурпур без власти, корона без блеска. Он не был уже малолетним мальчишкой, каким его считал Феодосий.

Злоба придворных, искусно раздутая Юлием и Эмилией, пала на хорошо подготовленную почву. Нашептывания членов совета и камергеров, неприязненно относящихся к Арбогасту, только ускорили взрыв давно сдерживаемого гнева Валентиниана.

— Ты говоришь, что главным вождем всегда был тот, кто водил легионы в бой? — проговорил Валентиниан сквозь стиснутые зубы.— Хорошо. Ты указываешь мне дорогу, по которой должен идти римский император? Хорошо. С этой минуты я сам буду предводительствовать войсками западных префектур, как делал когда-то мой великий отец. Ты не нужен мне больше. Твои почтенные

лета требуют отдыха после жизни, полной славы и заслуг. Ты можешь возвратиться к кострам своего народа.

Он поднялся с трона и подал Арбогасту пергамент с большой красной печатью.

— Читай! — повелительно сказал он.

По губам придворных снова пробежала улыбка торжествующей злобы. Они знали, что заключается в этом документе.

Он освобождал Арбогаста от всех занимаемых им должностей в государстве, лишал его власти и почестей.

Но все эти улыбки вдруг исчезли. Произошло нечто необычайное.

Арбогаст, пробежав глазами цезарский указ, разорвал его и бросил лоскутья пергамента к ногам Валентиниана.

— Не ты поручил мне правление западными префектурами, не ты и отнимешь его у меня,— сказал он спокойным голосом.

Он стоял, величественный, грозный, с рукой на мече, окруженный своими графами и воеводами, которые столпились вокруг него.

Валентиниан смотрел на него недоумевающим взглядом. Его глаза налились кровью, губы посинели.

— Дерзкий! — крикнул он и, вырвав из рук одного протектора меч, бросился на старого вождя.

Но прежде, нежели он успел сбежать со ступенек трона, между ним и Арбогастом образовалась стена людей, закованных в железо. Чьи-то руки схватили его и отпихнули с такой силой, что он упал бы, если б его не подхватили протекторы.

В зале опять воцарилась тишина, но это была тишина могилы, преисполненная страха.

В государстве, в котором войско давно уже распоряжалось императорским венцом, главным лицом был любимец легионов, а представители вооруженной силы стояли не на стороне Валентиниана.

Придворные поняли это, и смертельный страх покрыл бледностью их лица и сковал члены.

И молодой император понял, что трон под ним колеблется. Он опустился на кресло, украшенное символами императорской власти, поник головой и устремил тупой взгляд на ковер, как будто перед ним разверзалась пропасть.

Среди зловещей тишины раздался громкий голос Арбогаста:

— Император Валентиниан с нынешнего дня лишает меня власти над войском западных префектур. Это делается с вашего соизволения, мои верные товарищи? Если вы предпочитаете молодого вождя старому, я уйду и не стану роптать.

— Слава тебе, отец войска! — крикнули графы и воеводы.— Только ты один будешь указывать нам путь к славе и победе!

Валентиниан склонил голову еще ниже. Он чувствовал над собой дыхание смерти. Ответ графов и воевод для него был приговором.

— А вы,— с угрозой обратился Арбогаст к свите императора,— вы, которые для удовлетворения своей злобы навлекли на государство неожиданную бурю, покайтесь в своих грехах! Моя карающая рука скоро обрушится на ваши преступные головы.

И он удалился, проходя вдоль ряда сановников.

Робко прижимаясь к стене, за ним выползли члены совета и придворные.

При покинутом государе остались только близкие слуги и с плачем припали к ступеням трона.

— В лагерь! — скомандовал Арбогаст, садясь на коня.— Франки и аллеманы пусть будут готовы! Всякого, кто станет возмущать войска, убивать без суда. Сотникам галилейского исповедания не доверять ночной стражи.

С быстротой вихря пробежала по городу весть о бунте Арбогаста. Ее распространяли придворные, бежавшие из дворца, как из горящего дома. Улицы сразу опустели. Купцы поспешно запирали лавки, носилки и рыдваны прятались под надежный кров, солдаты сходились в казармы.

Прекрасная, веселая Виенна в течение одного часа превратилась в громадное кладбище. Казалось, вся жизнь замерла в плененной резиденции императоров.

Не первый раз белый город над Роданом видел борьбу из-за короны. Здесь жил Грациан, пока ненависть сторонников старого порядка не перерезала нити его молодой жизни; отсюда Максим выступал в свой несчастливый поход, и всякий раз здесь проливалась кровь виновных и невинных. Междоусобная война не щадила никого, она была более свирепа, чем голодные обитатели лесов.

Молчаливое ожидание нависло над городом. Никто не осмеливался удовлетворять свое любопытство. Даже

легкомысленная чернь, обыкновенно извлекавшая пользу из смут, забилась в свои норы, испуганная гневом Арбогаста.

Гнев оскорбленного короля передавали зловещие звуки франконских рогов. По пустым улицам мчались трубачи, созывая солдат в лагерь.

В домах христиан отцы семейств поручали свою участь милосердию распятого Бога. Арбогаст не благоволил к новой вере. С той минуты, как он воссядет на трон, с войсковых знамен исчезнут монограммы Христа. А что войско провозгласит его императором, в этом никто в Виенне не сомневался.

В городе водворилась тишина, как в катакомбах первых христиан. В гордых дворцах и убогих хижинах царило одинаковое разочарование. Последователи Христа рассчитывали, что сын Юстины окончательно подавит языческого змия, а теперь здание, воздвигнутое тщанием Валентиниана, разрушалось.

Только в гостинице «Красного Оленя», где до сих пор жили Кай Юлий и Галерий, не опечалилось ни одно сердце. Слуги римских патрициев веселились, как на свадьбе.

Когда невольник предстал перед Юлием с желанной новостью, господин одарил его кошельком, полным золота, и сказал:

— Пусть хозяин отворит для вас свой погреб. Радуйтесь, потому что сегодняшний день будет записан в римской истории золотыми буквами.

И, обернувшись к Галерию, он добавил:

— Наши боги еще не умерли. Они живы и заботятся о своем святом городе. Победа!

Неповиновение Арбогаста было действительно победой для сторонников прежнего порядка. Главный вождь, который в присутствии двора унизил императора, не мог уже сойти со скользкого пути. Как бы то ни было он должен пасть в объятия врагов христианского правительства. Другого исхода, кроме явного бунта, у него не было. Даже расположенный к нему Феодосий не мог бы одобрить его ни на чем не основанной гордости.

Лопнула связь взаимных обязательств, соединяющих короля франков с Виенной и Константинополем. С тех пор Рим являлся естественным союзником Арбогаста, а король по необходимости должен защищать его.

— Я пошлю жрецам Гермеса сто белых телиц,— дал

обещание Юлий,— именно он дал моим мыслям прозорливость, а языку — гибкость. Если бы только не твоя неловкость, мы могли бы вернуться в Рим; в Виенне мы уже не нужны. Остальное докончит Арбогаст.

— Кто же мог предположить, что сам Фабриций загородит мне доступ к весталке? — оправдывался Галерий.

— Хороший предводитель должен быть на все готов. Но лучше не будем говорить об этом; впредь будь осторожней.

— Я пожертвовал бы много золота в храм Юпитера Капитолийского, если бы еще раз мог встретиться с Фабрицием. Позорное поражение не дает мне покоя и ночью.

— Отложи свою месть до будущего времени, а пока подумай о том, как освободить Фаусту Авзонию из когтей Фабриция; без весталки мы не можем вернуться в Рим.

— Я даже не могу сообразить, куда Фабриций девался с Фаустой Авзонией,— сказал Галерий.— Я знаю только, что он направился в сторону Цеменела, но с большой дорогой соединяется столько дорог, что он мог куда-нибудь свернуть в сторону.

— Следы хищника отыщут сыщики Арбогаста. Нужно обратиться к помощи короля, чтобы не дать Фабрицию времени скрыться в лесах Аллемании.

Юлий сам пошел в конюшню, чтобы приказать запрячь лошадей.

Когда сенаторы садились в экипаж, мимо гостиницы проезжал сотник доместиков Рикомер. Он ехал верхом. Увидев римлян, он остановился, точно желая повернуть назад, но, подумав, приблизился к ним с любезным приветствием.

— Кажется, ты когда-то был в большой дружбе с Фабрицием,— сказал Юлий.— Не имеешь ли каких-нибудь известий от воеводы Италии?

Сотник нагнулся и начал поправлять уздечку.

— Из Рима давно уже не было курьеров,— ответил он неуверенным голосом.

Юлий внимательно посмотрел на него, но Рикомер повернулся в сторону, присматриваясь к вывеске гостиницы, точно видел ее в первый раз.

— И ты не знаешь, что Фабриций убежал из Рима? — допытывался Юлий.

— Фабриций убежал из Рима? — притворно удивился Рикомер и пожал плечами.— Ничего не слыхал... Разве он провинился в чем-нибудь?

По губам Юлия пробежала незаметная улыбка.

— Узнай, где теперь находится Фабриций,— сказал он,— и сообщи своему приятелю, что король Арбогаст послал отыскивать его лучших сыщиков из своры Евгения.

Рикомер бросил на сенатора искоса недоверчивый взгляд и потихоньку удалился.

Когда он скрылся за углом, Юлий сказал Галерию:

— Он знает, где спрятался Фабриций. Нужно обратить на него внимание Арбогаста.

Рикомер ехал шагом, постоянно оглядываясь, не следит ли за ним кто-нибудь. И, только выехав за ворота, он галопом пустился к Родану.

Вдоль реки, среди благоуханных цветущих садов, виднелись белые виллы. До этих отдаленных уголков не дошел еще звук труб и рогов. Дети весело играли на лужайках, невольники грелись перед портиками под лучами теплого майского солнца.

В двух милях от Виенны, в роще из акаций, которая издали производила впечатление букета розовых цветов, стоял дом, окруженный высокой оградой.

Здесь Рикомер остановился.

Соскочив с коня, он быстро вбежал в сад.

— Где всадник, который приехал вчера ночью?— спросил он привратника.

— Гость твоей знаменитости отдыхает у фонтана,— отвечал слуга.

Рикомер направился к указанному месту.

На каменной скамье, под развесистой липой, сидел Фабриций, охватив голову руками. Он был так погружен в раздумье, что не обратил внимания на приближающиеся шаги.

Рикомер наклонился к нему и сказал задыхающимся голосом:

— Беги! Беги сейчас же!

Фабриций поднял голову. Глубокая тоска просвечивала в его глазах, обрамленных синими кругами.

Он провел рукой по глазам и глубоко вздохнул.

— Вот уже несколько недель я только и делаю, что бегу,— сказал он измученным голосом.— Я думал, что могу отдохнуть под твоей охраной.

— И мне и тебе — нам всем грозит великая опасность... Арбогаст поднял руку на императора... Графы и

воеводы явно, при всем дворе, перешли на его сторону... В городе переполох... Трубы и рога трубят тревогу... Солдаты сбегаются в лагерь... Валентиниан потерял присутствие духа... Придворные и советники покинули его... Беги... сегодня, завтра войско провозгласит Арбогаста императором... Не теряй времени... Юлий и Галерий едут в лагерь...

Рикомер говорил торопливо, но, несмотря на это, Фабриций уловил смысл его слов.

Он вскочил со скамьи и вскричал:

— Надо спасать императора! С его особой соединены надежды нашей святой веры.

— Поздно! — ответил Рикомер.— Арбогаст стоит у ворот города со всей вооруженной силой, с франками и аллеманами. Большая часть легионов Галлии также находится в его лагере. Оскорбление так тяжело, что смыть его может только кровь императора или короля. Ты так же хорошо, как и я, знаешь, кто возьмет верх в этой рискованной игре.

Фабриций слишком хорошо знал любовь войска к старому вождю, чтобы обольщать себя надеждой на победу Валентиниана.

— Поздно...— повторил Фабриций подавленным голосом.— Только один Бог может спасти Валентиниана для нашей святой веры.

Среди моря римского войска он был только одной волной, которую другие все равно захлестнули бы, если бы она вздумала идти против течения. Под рукой у него не было ни одной когорты.

— Беги, беги тотчас же! — умолял его Рикомер.— Над тобой страшно разразится гнев Арбогаста. Спрячься пока в Иберийских горах. Может быть, буря минует так же быстро, как и пришла. Курьер Валентиниана уже поскакал в Константинополь. Феодосий не примирится с победой язычников.

Он обернулся в сторону города и стал прислушиваться.

— Ты слышишь! — сказал он.

Издалека, через сады и виллы, доносился звук рогов. Трубачи Арбогаста вносили смятение уже в предместья.

— Тебя кто-нибудь может узнать и предать в руки короля. Бледный страх трусости будет стараться приобрести расположение нового императора подлостью. Не теряй времени! — настаивал Рикомер.

Но Фабриций ответил:

— Оставь меня одного! Я хочу поговорить с моим Господом.

— С Богом ты поговоришь в дороге...

— Сделай то, о чем я прошу...

Когда Рикомер отошел, Фабриций пал на колени, простер руки к небу и начал молиться из глубины погруженной в отчаяние души.

— Бог новых народов! Ты, Который осветил солнцем Своей благости глухие леса варваров, смилуйся над нами! Бог отверженных, Который возвел на трон Римского государства потомков невольников, смилуйся над нами! Бог униженных и оскорбленных, Который призвал к правам человечества все народы, смилуйся над нами! Не допусти, чтобы гордость Арбогаста поколебала дело Твоей мудрости и обратила в прах плоды кровавого труда трех веков. Смилуйся над нами, ибо Ты всесилен!

Новый римлянин в ту минуту был только христианином, перед которым опасность, грозящая его Доброму Пастырю, поглотила его личные огорчения. С падением Креста падало здание существующего порядка — возвращались кастовое различие и надменность римских богов.

Воспитанник христианского правительства, он отдавал себе полный отчет о том, что случится в результате переворота, который подготовлялся в лагере Арбогаста. Неожиданное изменение порядка вещей раздуло в его сердце пыл неофита, угасший под пеплом эгоизма любви. Он не мог допустить, чтобы Церковь могла поколебаться, как хрупкое творение рук человеческих. С самой колыбели он созерцал ее силу. А тем не менее произошло то, что его вера не предусмотрела.

Надменный солдат смертельно оскорбил «божественного и вечного государя», который был для нового римлянина олицетворением всего земного могущества; язычник в священной особе императора попирал учение Христа; общественный порядок, установленный усилиями долгого рода поколений, расползался по всем швам.

— Неужели это правда?..— говорил Фабриций, не отрывая глаз от неба.

Кругом него благоухала и пела весна. Деревья, покрытые белым пухом, кусты, усыпанные цветами всевозможных оттенков, луга, одетые молодой свежей зеленью, птицы, радостно щебечущие — вся природа радовалась, как будто сегодняшний день был похож на вчерашний. Ни один лист не отделился от ветки, насыщенной слад-

ким соком, хотя смерть еще простирала над Виенной свои черные крылья.

Фабриций удивлялся солнцу, что оно светило и было так ярко. Его раздражали яркие краски весны. Он жаждал темноты ненастной ночи, чтобы остаться наедине со своей тоской.

Он теперь был настоящим изгнанником, лишенным права дышать воздухом Римского государства. С падением Валентиниана для него будут закрыты даже самые отдаленные уголки западных префектур. Где бы он ни спрятался, его везде найдут сыщики Евгения, если этого захочет Арбогаст.

Все свои надежды он основал на дружбе, которая его соединяла с молодым императором. Он ехал в Виенну с целью умолить Валентиниана о помощи смягчить Амвросия. «Божественный государь», который так же, как и Фабриций, ненавидел римлян старого обычая, простит ему безрассудные проступки и возвратит свое расположение.

Но милость Валентиниана уже перестала быть источником счастья для его подданных.

Теперь у Фабриция остался только Бог, последнее убежище человека, потерпевшего крушение и отвергнутого людьми.

Бог...

Но и Добрый Пастырь отказал ему в Своем милостивом лоне. Рикомер говорил ему, что из Медиолана до епископа Виенны уже дошла весть о его неповиновении. Если бы он осмелился приблизиться к Божьему дому, привратник не допустил бы его даже на паперть.

Фабриций пал лицом на землю. Он чувствовал себя ничтожнее самого малого червя, более убогим, чем нищий, протягивающий руку к проходящим под портиками храмов. События последних недель угнетали его больше, чем его прежняя неукротимость. Бегство из Рима, презрение Фаусты, смерть Теодориха нанесли последний удар его гордости, а угрозы Амвросия и поражение Валентиниана сломили ее окончательно.

Горе начало приближать его к истинному пониманию учения Христа, которое до сих пор он считал только знаменем новых новых народов, выходящих на борьбу с Римом.

— Нет, я не любил Тебя, Милосердный Агнец,— исповедовался он перед собой,— я согрешил против Твоей

благости. Скажи мне, что надо сделать, чтобы двери Твоих палат снова открылись передо мной?

Ему казалось, что он слышит над собой голос Амвросия, который напоминал ему: «Ты прегрешил своею надменностью и строптивостью и должен искупить свой грех покорностью и смирением».

— Я буду покорным и смиренным,— дал себе обет Фабриций.

IX

В тревоге прожила Виенна два долгих дня. Торговля остановилась, ремесленники сидели без дела, учреждения не разрешали текущих дел. Никто не выходил на улицы, все с минуты на минуту ждали нападения Арбогаста.

Город со всех сторон опоясывала страшная цепь франков, аллеманов и галлов. Насколько хватало зрения везде белели палатки, блестели на солнце оружие, мечи и щиты. Достаточно было одного сигнала, чтобы эта цепь стиснула резиденцию императора и обратила ее в кучу развалин, обагренных кровью невинных и виновных.

Из цезарского дворца в лагерь шли послы с обещаниями прощения и милости. Испуганный Валентиниан смирился перед войском и вел переговоры с начальниками отдельных племен, как равный с равными.

Но послы возвращались с омраченными лицами. Их красноречие и просьбы были напрасны.

Графы и воеводы Арбогаста не питали ни малейшей привязанности к Валентиниану. Не он вместе с ними переносил голод, жажду и все лишения войны, не его голос воспламенял их в битвах и благодарил после одержанной победы.

Франконские, аллеманские и галльские вельможи равнодушно выслушивали щедрые обещания послов, зная хорошо по опыту, что каждый император до тех пор благоволил к представителям вооруженной силы, пока их боялся, а потом жестоко мстил за испытанный им страх и оскорбленное самолюбие.

В конце концов Валентиниан не мог им дать ничего более того, что они уже получили от главного вождя. Они служили государству из-за почестей и денег, а Арбогаст никогда не скупился ни на то, ни на другое. Наи-

более важные места он предоставил своим друзьям, всю приобретенную добычу отдавал солдатам, отличал и награждал всякую заслугу. Он жил так же скромно, как Марк Аврелий и Юлиан Отступник, пренебрегал золотом и довольствовался только славой.

Приверженность молодого императора к учению Христа не могла благоприятно влиять на войска западных префектур, еще погрязающего во мраке идолопоклонства. Почти все франки и аллеманы молились своим богам. Только среди галлов новая вера насчитывала многих сторонников, но христиане предпочитали мирный труд кровавому ремеслу солдата. Под римскими знаменами их было очень немного.

Виенна с томительным беспокойством ждала рокового исхода. Христиане смотрели на Валентиниана как на восходящее солнце. Если эта ясная звезда преждевременно угаснет, всю Галлию снова охватит мрак язычества.

А звезда императора светила с каждым часом все слабее.

«Пусть Валентиниан положится на суд и милость короля»,— отвечали послам графы и воеводы. Это на безжалостном языке четвертого столетия означало: пусть он сойдет с дороги нового повелителя, иначе мы его сами удалим.

Город уже в первый вечер перестал обольщать себя надеждой. Христиане видели, что никакая человеческая сила не спасет Валентиниана. Все споры между римскими императорами и вождями разрешала смерть более слабого. Побеждал обыкновенно сильнейший, а молодого монарха нельзя было считать таковым.

И никто не удивился, когда префект Виенны на третий день оповестил с кафедры главного рынка, что «его вечность, божественный Валентиниан вчерашней ночью внезапно покинул этот свет».

Никто не спрашивал о причинах этой «внезапной смерти», от которой в правительственных донесениях умирали все императоры, убитые явным или скрытым врагом, потому что неосторожные люди за праздное любопытство платились жизнью [14].

---

[14] Действительного виновника смерти Валентиниана, которая наступила 15 мая 392 года, историки не открыли еще до сих пор. Одни говорят, что он был убит по приказанию Арбогаста, другие — что его убили придворные, желая таким способом заслужить расположение нового государя, третьи — что он сам лишил себя жизни. Даже не известно, как он умер. По одним источникам, его нашли задушенным в постели, по другим — повешенным в саду.

Христиане молча разошлись по домам.

Вслед за этим на улицах показались доместики и протекторы, идущие сомкнутыми рядами. Во главе их шел Рикомер, который нес императорский венец и багряницу.

Охранная стража цезаря направлялась в лагерь с верноподданническим приветом. Избранник войска был ее законным государем.

Известие о смерти Валентиниана застало Арбогаста в палатке. Он сидел на складном походном стуле, а вокруг него стояли его советники и воеводы. В числе их были Юлий и Галерий.

Смерть императора на окружающих короля не произвела ни малейшего впечатления. Ее ожидали уже два дня. Печальная весть была принята с таким равнодушием, как будто случилось что-то самое обыкновенное.

Рикомер, повторив слова префекта города, преклонил колени перед Арбогастом и провозгласил:

— Привет тебе, божественный и вечный государь!

То же самое сделали графы, воеводы и советники.

Но Арбогаст не взял венец и пурпуровый плащ.

— Встаньте,— сказал он.— Не для меня умер Валентиниан.

На лицах его подчиненных выразилось изумление; самый старший из них, франк Баут, воскликнул вторично:

— Привет тебе, божественный и вечный государь! Только твоим приказаниям мы хотим повиноваться на поприще славы.

— Око мое будет всегда бодрствовать над вами,— сказал Арбогаст,— но вероломством я не запятнаю своих седых волос. Я поклялся Феодосию, что никогда не возложу на себя римскую корону, и клятву эту сдержу. Я останусь вашим вождем, отцом во время мира и полководцем во время войны, а в римский пурпур мы облечем римлянина.

Кай Юлий и Галерий переглянулись друг с другом. Неужели Арбогаст хотел провозгласить императором Флавиана или Симмаха? Только один из них мог бы с достоинством стать наравне с Феодосием.

Графы и воеводы начали шептаться между собой, они, видимо, были недовольны решением короля.

— Последние поколения видели на троне цезарей много императоров, которые не происходили из римской крови,— отозвался граф Баут.— Кто защищает Римское

государство от неприятелей, тот и есть римлянин. Будь нашим императором, вождь!

— Будь нашим божественным государем,— умоляли подчиненные Арбогаста.— Твоя слава и справедливость будут вернейшим щитом войска и государства.

Арбогаст отрицательно покачал головой.

— Вы хотите, чтобы ваш старый вождь,— сказал он громко,— заслужил презрение Феодосия? И вы уважаете великого императора, корону которого украшают многочисленные победы? Король Арбогаст не может нарушить данного слова.

Графы и воеводы молчали. Их девственные варварские сердца питали священное уважение к данному обязательству. Каждый из них сделал бы то же самое.

— Не бойтесь,— продолжал Арбогаст.— Император, которого я вам выберу, будет также твердо держать свое слово.

Он окинул присутствующих пытливым взором и, остановив его на начальнике своей канцелярии, скромно державшемся в стороне, указал на него рукой и произнес:

— Вот ваш император! Подайте венец Евгению!

В первую минуту графы и воеводы думали, что король шутит. Евгений был последним, на ком бы они остановились, если бы им приказали выбирать императора.

Он происходил действительно из знаменитой римской фамилии, но бедность сравняла его с плебеями.

Ритор по профессии, он служил при дворах знатных варваров в качестве учителя их детей, прежде чем Арбогаст не взял его к себе. Преданный главному вождю всей душой, способный и верный, он быстро шел по лестнице чиновничьей иерархии.

— Евгений — император? — с недоверием спросил Баут.

Подчиненные Арбогаста презрительно пересмеивались.

Только Юлий нахмурился. Он сразу догадался, куда метит король франков. Жадный к власти старик намеренно возводил на римский трон своего слугу, чтобы потом править за него. Таким образом он сдержит слово, данное Феодосию, и не выпустит из рук кормила правления. Флавиан или Симмах не были бы таким послушным орудием гордого солдата.

Сам избранник Арбогаста так перепугался неожиданного почета, что побледнел и подался к выходу из палатки, точно хотел убежать.

— Отврати свои мысли от меня, король,— умолял он.— Бремя императорской власти слишком велико для моих слабых плеч.

— Никакая власть не тяжела, когда ее поддерживает Арбогаст — отвечал король.— Ты будешь императором, Евгений.

— Оставь меня на должности, где я полезен тебе и государству. Мне чуждо искусство управления.

— Но тебе не чуждо искусство подписывать государственные пергаменты. Ты переменишь только черные чернила на красные. И тебе не чуждо также искусство говорить гладким языком речи посольствам. И Валентиниан не делал большего, а был нашим божественным и вечным государем.

Последние слова Арбогаст подчеркнул насмешливой улыбкой.

Теперь и его подначальные поняли, почему он выбрал Евгения. Мудрый король хотел сохранить существующий порядок, не подводя их и себя под гнев Феодосия.

— Да здравствует божественный император! — воскликнули графы и воеводы.

Но ни один из них не преклонил колени перед новым императором.

Баут взял из рук Рикомера цезарский плащ и приблизился к Евгению. Ритор, возведенный капризом представителей военной силы на трон, вздрогнул при виде красного платья. С него капала кровь многих императоров. Еще не остывший труп Валентиниана предостерегал его от опасного высокого положения. Историю Рима он знал лучше франков и аллеманов.

Он протянул руки вперед и воскликнул с отчаянием:

— Я не могу... Я христианин!

— Ты, галилеянин? Ты ничего не говорил мне об этом,— удивился Арбогаст.

— Христианскую веру я принял в Константинополе.

— В Константинополе все разделяют галилейское суеверие из страха перед Феодосием. Тебе не трудно будет вернуться к вере предков. Не упорствуй, Евгений.

— Не упорствуй! — вторили Арбогасту его подначальные, стуча мечами.

Евгений видел вокруг себя грозные лица и слышал стук оружия. У выхода из палатки стоял Баут, преграждая ему путь.

— Имейте сожаление ко мне,— умолял он.— Столько других облекутся без страха в царственный пурпур. За-

чем вы желаете непременно моей гибели? Я служил вам верно...

Но Баут уже набросил ему на плечи красный плащ, а Арбогаст надел на его голову блестящий венец.

Он стал римским императором.

Юлий со стыдом смотрел на эту похоронную сцену.

Варвары раздавали корону Священного, Вечного Рима, помыкая ею как предметом, не имеющим ценности. Каждый храбрый франк, аллеман, гот или вандал мог посадить на трон Юлиев, Клавдиев, Флавиев и Антонинов первого встречного, который потребовался бы для его целей, а потомки завоевателей мира не обладали уже силами, чтобы воспротивиться этому своеволию. Их изнеженные руки уже более ста лет назад уступили меч наемникам.

Арбогаст, усадив Евгения на свое кресло, сказал:

— Повелевай, божественный государь!

«Божественный государь» беспомощно смотрел на короля. Не посвященный в дальнейшие планы своего благодетеля, он не знал, чем ему можно было повелевать.

— Твоя опытность укажет нам путь, ведущий к упрочению нового правительства,— отозвался он после краткого размышления.

— Прежде всего надо снискать благосклонность Феодосия,— сказал Арбогаст.— С этой целью мы отправим тело Валентиниана в Медиолан, чтобы Амвросий схоронил его в гробнице императоров согласно галилейскому обряду. В Константинополь потом отправится посольство, которое будет стараться убедить старшего императора, что положение минуты требовало немедленного замещения осиротевшего трона. Прирейнские франки согласились только на перемирие, квады снова грозят нападением. В такое время споры за корону не должны подрывать целостности правительства; Феодосий поймет это, особенно когда мы оставим ему верховную власть над всем государством.

Римские сенаторы ожидали не такого оборота дела. Верховенство Феодосия сохраняло в силе его эдикты, упразднявшие их храмы.

— Ты говоришь, как галилеянин,— заметил Юлий.

Графы и воеводы нахмурили брови, но Арбогаст возразил без гнева:

— Я говорю как советник императора, обязанность которого — заботиться о благе государства. Только неразумная молодость или слепая ненависть умножают

без надобности своих врагов. Пока Феодосий не перейдет с оружием в руках границ западных префектур, до тех пор у нас нет никакого повода раздражать его всем известную вспыльчивость.

— Феодосий не признает Евгения,— сказал Юлий.

— Но он признает силу моих легионов. Я не думаю, чтобы он вторично захотел подвергнуть себя превратностям войны. У него было достаточно неприятностей с Максимом.

— Я ехал в Тотонис с другими надеждами,— с сожалением проговорил Юлий.

— Часть твоих надежд уже осуществилась,— утешал его Арбогаст,— с той минуты, когда Валентиниан окончил свою бесславную жизнь. Император Евгений не отнимет у Флавиана префектуры Италии, Иллирии и Африки, не будет посылать в Рим Фабрициев, возвратит вашим жрецам отнятые Грацианом имения и не закроет ваших храмов. Остальное предоставьте времени. За уважение к вашим богам император ждет от вас благоразумия и спокойствия. Поймите, что правитель страны, в которой скопились разнообразнейшие народности и религии, не может потворствовать племенным и религиозным распрям. Не вы, римляне, в настоящее время образуете большинство в государстве и не ваши боги безраздельно управляют душами. Поэтому император Евгений повелевает вам, чтобы вы жили в согласии со всеми народами и религиями. Если кто во что-нибудь верит — то пусть верит, если почитает что-нибудь — пусть почитает, лишь бы его вера и поклонение не угрожали безопасности государства. В основу правления императора Евгения ляжет Медиоланский эдикт Константина, обеспечивающий всем вероисповеданиям свободу и равноправность. Откажитесь от неприязни к галилеянам: они размножились настолько, что их уже нельзя преследовать. Неразумное гонение вызвало бы домашнюю войну, которой император не желает.

Юлий слушал с величайшим вниманием, удивляясь предусмотрительности Арбогаста. Новый правитель прежде всего хотел избежать внутренней смуты, чтобы укрепить свое господство.

Веротерпимость цивилизованного франка ничуть не удивила римского сенатора. Эта добродетель была не редкой на троне императоров. Феодосий, который соединял в одном лице дарования воина и религиозный энту-

виазм, в истории Империи принадлежал к немногочисленным исключениям.

Обещания Арбогаста успокоили Юлия. Они равнялись отмене эдиктов Феодосия и уничтожали всю работу Грациана.

— Изо всех храмов Италии к небу пойдут молитвы, испрашивающие долгие лета вечному Евгению,— сказал Юлий, преклоняя голову перед Арбогастом.

— Отвези Риму от нового императора привет и слова искренней приязни,— отвечал Арбогаст.

— Наша благодарность не знала бы границ, если бы божественный император разрешил поставить в курии сената статую победы, удаленную по приказанию Грациана.

Божественный император сидел в это время, не зная, что делать. Он чувствовал свое смешное положение, но у него не было храбрости противиться. Привыкший повиноваться Арбогасту, он не смел открыть рта, когда к нему не обращались с вопросом. Он вертелся на кресле, бледнел, краснел, поправлял на голове корону. Его мучили улыбки графов и воевод, которые забавлялись его замешательством.

Он задрожал, когда Арбогаст произнес:

— Пусть заиграют трубы и рога, и пусть войско преклонится перед императором.

У римских войск бывали свои чудовищные капризы. Случалось, что новый император не выходил живым из лагеря, если не приходился по вкусу солдатам.

Около палатки все шумело, точно Родан вышел из берегов.

Известие о смерти Валентиниана шло от костра к костру и везде возбуждало крики радости. Франки и аллеманы поспешно хватали мечи и щиты и строились под знаменами.

Когда Арбогаст показался у входа палатки, затрубили рога, заиграли трубы, а цезарские орлы склонились перед ним.

— Да здравствует божественный император! — кричали доместики, протекторы и легионеры.

И прежде чем король мог помешать, дворцовая стража схватила его на руки, посадила на щит и понесла по лагерю.

— Да здравствует! — кричал вместе с остальными и Евгений, который снял корону и мантию, чтобы не обратить на себя внимания солдат...

Рикомер, пользуясь суматохой, царившей в лагере, выбрался незаметно из толпы, сел на лошадь и пустился к Родану.

Предместья уже были заняты войсками Арбогаста. Последние ряды палаток доходили почти до рощи из акаций. Когда Рикомер подъехал к своей вилле, то перед воротами ее увидел высокую мужскую фигуру.

— Сумасшедший! — проворчал он, оглядываясь с беспокойством назад.

Опасения его были напрасны. Волнение, которое охватило весь город, смело с улицы всякое живое существо. Даже собаки и те спрятались под кровли домов.

— Спрячься, безумец! — кричал Рикомер издалека. Фабриций не трогался с места, как бы не слыша предостережений сотника.

— Что значит это волнение? — спросил он и указал рукой на громадную ленту палаток.

— Это волнение — погребальная песня покровителю нашей веры,— отвечал Рикомер.— Валентиниан убит.. Арбогаст провозгласил императором своего слугу, патриция Евгения.

— Убит?..

В голосе Фабриция слышалось искреннее сожаление.

Правда, он не надеялся на другой исход спора Арбогаста с Валентинианом, но обольщался до последнего момента, как обольщает себя приговоренный к смерти, которому нечего уже больше терять. Может быть, императорским послам какими-нибудь обещаниями удастся привлечь взбунтовавшихся графов и солдат на сторону Валентиниана? Может быть, какая-нибудь непредвиденная случайность отвратит несчастье от христианского правительства?

Смерть Валентиниана положила предел его скрытым надеждам. Теперь он должен бежать, если хочет сохранить свою воинскую отвагу для истинной веры.

Никем не предвиденный триумф язычников привел его в сознание и возвратил присутствие духа. Теперь он снова стал ревностным поклонником Христа, который соединял все свои помыслы с Богом новых народов.

Выжидая развязки трагедии в цезарском дворце, Фабриций окинул оком кающегося грешника последние прожитые им месяцы. Как это могло случиться, чтобы он, верный сын Церкви, подвергся наказанию, которое епископы применяли только к самым закоренелым пре-

ступникам? Неужели он так сильно провинился? — спрашивал он себя в изумлении.

А совесть христианина отвечала ему словами Амвросия: «Валентиниан послал тебя в Рим, чтобы ты был для язычников ярким образцом правдивости, доброты, милосердия и снисходительности, а что сделал ты? Ты поднял руку на чужую собственность, обесчестил весталку, братался с разбойниками...»

Чего раньше он, ослепленный страстью, не замечал, то сейчас, когда несчастье постигло его, видел ясно и чувствовал глубоко. Не посланцем христианского правительства был он в Риме, но диким солдатом, ставящим себя выше закона, свои желания выше служебных обязанностей.

— Я согрешил,— каялся перед собой Фабриций.— Языческие демоны отняли у меня рассудок, и я блуждал в потемках.

«Не языческие демоны отняли у тебя рассудок,— возражала ему совесть христианина,— это сделала твоя несдержанность, которая не могла господствовать над твоими вожделениями. Ты любил больше себя, чем Христа».

И снова память нашептывала ему слова Амвросия: «Жена приковывает мужа к земле, отдаляет его мысли от дел церкви и государства, делает его рабом суеты этого мира. Если бы ты не был воеводой Италии и ревностным слугой Христа, то я не припоминал бы тебе совета святого Павла, ибо знаю, что пожертвовать любовью к женщине — это превышает силы смертного. Но тебя император поставил на страже нашей веры в стране, еще до сих пор погрязающей в язычестве. Бог избрал тебя, чтобы ты был послушным орудием Его святой воли. Ты не имел права отдавать предпочтение женщине пред Христом, как это ты сделал».

То, что Фабриций еще неделю назад называл ворчанием священника, лишенного человеческих чувств, теперь начало убеждать его. Ввиду опасности, угрожающей его вере, яркие краски любви бледнели, жар ее остывал. Труп убитого защитника христианства заслонял перед ним образ Фаусты. Звук ее голоса заглушался криком торжествующих язычников.

Если бы все, как и он, пожертвовали Христом для своих вожделений, то церковь пала бы, еще слишком молодая для того, чтобы существовать без доблестей первых христиан. Победа Арбогаста, одержанная без вся-

кого сопротивления, обнаружила, что новая вера требовала еще подвигов и отречения от земного счастья.

Два дня тревоги уничтожили в сердце Фабриция остатки грешных вожделений. В нем умирал обыкновенный человек и возрождался христианский борец, приносящий свой меч к подножию Креста. Кому же тогда защищать истинную веру, если такие ревностные последователи, как он, покидали Бога для наслаждений этого мира?

Со спокойствием, которое удивило Рикомера, Фабриций сказал:

— Прикажи заложить мою дорожную карету и приготовить мне одежду плебея.

— В тяжелой карате не бежит тот, кого может спасти только быстрота и осторожность,— предостерегал Рикомер.— Не забывай, что через несколько часов курьеры Арбогаста помчатся по всем дорогам западных префектур.

— Не опасайся за меня,— отвечал Фабриций.— Добрый Пастырь снова возвратит мне глаза солдата, привыкшего к осторожности. Я буду избегать опасности так заботливо, как этого не делал еще до сих пор, потому жизнь моя теперь нужна нашему Богу.

— Но эту римскую весталку ты не можешь взять с собой сейчас же,— заметил Рикомер.— Она и ее невольницы связали бы тебя по рукам и ногам. Что ты думаешь с ней сделать?

— Не спрашивай. Через час я, пожалуй, не мог бы переправиться через Родан.

Сотник хотел еще что-то спросить, но Фабриций быстро ушел в дом.

За кухней виллы была маленькая комнатка, в которую Рикомер запирал провинившихся слуг. Здесь похититель поместил свою пленницу и поставил у дверей стражу из двух невольниц.

Когда Фабриций вошел, Фауста лежала на соломенной подстилке, покрытая грязным одеялом. Хотя заржавевшие петли громко заскрипели, она все-таки не подняла головы.

Она лежала с закрытыми глазами, со следами изнурения на исхудалом лице. Долгое горе посеребрило ее волосы на висках. Рядом с ней на деревянном стуле стояли глиняные сосуды с нетронутой пищей.

Ее, как преступницу, заперли в зловонной норе, лишили света и воздуха. «Я сломлю твое упорство и за-

ставлю быть покорной!» — кричал ей Фабриций. Чтобы она не могла лишить себя жизни, ей связали руки веревкой, которая впилась в ее тело.

Фабриций повесил фонарь на стену и взглянул на Фаусту. Вид нужды, которая окружала патрицианку и весталку, чтимую целым народом, стиснул его сердце. Собственные невзгоды сделали для него понятными страдания других. И только теперь он понял, как тяжело он оскорбил женщину, от которой жаждал высшего счастья жизни. Вместо того, чтобы снискать ее любовь добротой, он издевался над ней с безжалостностью господина, который наказывает строптивую невольницу. А Фауста не была его собственностью, он не имел на нее никаких прав.

Он приблизился к ее убогому ложу, склонил колени и сказал покорным голосом:

— Прости меня...

На щеках Фаусты выступил бледный румянец.

— Сними с моей совести свой справедливый гнев, ибо причиненное тебе насилие гнетет меня бременем смертного греха,— умолял Фабриций.— Сатана, враг человека, закрался в мое сердце и зажег в нем нечистые помыслы. Я был как помешанный, у которого страшная болезнь порвала нить разума, как слепой, который не видит прямой дороги.

Фауста открыла изумленные глаза, а Фабриций продолжал:

— Я обесчестил тебя, оскорбил, провинился перед тобой, но не злоба руководила моими преступными деяниями. Я любил тебя больше добродетели, больше долга, больше праха отца, даже больше Христа, и думал, что покорю твое сердце постоянством. Прости меня, ибо много прощается тому, кто горячо любит.

Фауста молчала. Просьба Фабриция была для нее так неожиданна, что она не верила ей. Не далее как вчера этот же самый человек грозил ей насилием.

Воевода, отгадав причину ее молчания, умолял:

— Будь великодушна, римская патрицианка, к сыну народа, которого долгие годы гражданской дисциплины не приучили господствовать над страстями, будь снисходительна к варвару. Я поступил с тобой, как варвар.

Все большее и большее удивление охватывало Фаусту. Воевода не хвалился своим варварским происхождением и искренне обвинял себя перед ней. Об этом сви-

детельствовал его голос, который дрожал от пережитого страдания.

— Что вам, потомкам великого народа, дал пример бесчисленного ряда поколений, воспитанных в уважении закона,— говорил Фабриций,— то Христос вселил в нас мощью своего Божественного благоволения. И мы умеем возноситься над наслаждениями этой земли, когда истинно любим нашего Бога. Я согрешил по своей преступной необузданности, ибо забыл о Христе. Но великое несчастье, которое пало на Церковь, сняло с моих глаз завесу себялюбия, и я снова стал верным сыном распятого Господа, Который больше всего любит кротких духом и творящих мир. Перед тобой кается христианин, умоляет о помиловании блудный сын Церкви. Сними с моей совести бремя твоего справедливого гнева, чтобы Бог добра не записал твою обиду в книгу моей жизни.

Фауста терялась в догадках. Что Фабриций искренне просил ее о прощении, она уже не сомневалась, но не умела себе объяснить такой быстрой перемены. О каком несчастье говорил воевода? Неужели Феодосий?..

При одной мысли о смерти старшего императора сердце римлянки забилось быстрее.

Фауста, окруженная неусыпным надзором в течение двух месяцев, ничего не знала о последних событиях.

— Прости меня...— умолял Фабриций.

Фауста протянула к нему связанные руки и ответила:

— Закон дозволяет только свободным людям отпускать чужую вину. Единственное право узников — это испытывать презрение к своим тюремщикам.

Фабриций быстро разрезал веревку стилетом.

— Ты свободна,— смущенно проговорил он.— Перед моим домом стоит карета, которая отвезет тебя, куда ты прикажешь.

Фауста снова окинула его изумленным взором. Да правда ли это? Неужели она может уйти из этой зловонной норы? Значит, в Империи произошло что-то необычайное, о чем она не знала и что сокрушило упорство воеводы? Только какое-то особенное происшествие могло сломить гордую душу варвара.

— Неужели Феодосий?..— спросила она, удерживая дыхание.

— Феодосия Бог сохранил, чтобы он отомстил за Валентиниана.

— Валентиниан?..

— Он убит... Теперь владыка Италии, Галлии, Испании и Британии — Арбогаст.

Фауста с минуту смотрела на Фабриция тупым взглядом, как будто не понимала его слов, потом встала на колени на своей постели и подняла освобожденные руки кверху.

Неясный свет фонаря падал на резко обрисовывавшийся профиль ее лица, озаренного огнем вдохновения.

Ни малейшего шепота не было слышно из ее раскрытых губ.

Сосредоточенная, отрешенная от мира, она благодарила богов Рима немой молитвой за поражение галилеян.

Но прошло несколько минут, и ресницы ее задрожали. На них блеснула слеза, за ней показалась другая, третья... Все быстрее и быстрее наплывали они на глаза... и вдруг рыдание потрясло грудь Фаусты.

Но это рыдание не было горьким — это была радость патриотки.

Фабриций с жалостью смотрел на Фаусту. Ее слезы оскорбляли его ревность христианина и вместе с тем напоминали, что его греховная любовь не принесла никаких плодов. Напрасно он бросил пост, на котором должен был оставаться до конца, напрасно навлек на себя проклятие Церкви. Его избранница осталась непримиримым врагом всего, что он любил и почитал. Его усилия не изменили ее сердца, не уничтожили той пропасти, которая его отделяла от нее.

Еще несколько дней назад ее радость пробудила бы в нем варвара, сегодня же он принял ее со смирением кающегося, который смотрит на каждое страдание как на заслуженное наказание.

Он ради своих вожделений отрекся от Христа, забыл о своих обязанностях Его последователя и потому несет заслуженную кару.

Рыдание Фаусты слабело, грудь стала подниматься ровнее, слезы высохли на ресницах.

Сердце римлянки, внезапно охваченное неожиданным счастьем, успокоилось, обессиленное душевным волнением.

— Прости меня, минуты, которые я могу провести в границах государства, где повелевает Арбогаст, сочтены.

Фауста молчала, жадно вдыхая воздух.

— Если ты не простишь меня, Бог милосердия оттолкнет меня от своего лона, и я не найду покоя на всей

земле. Будь патрицианкой и прости несчастного человека,— молил Фабриций.

— Я прощаю тебя,— беззвучным голосом проговорила Фауста.

Фабриций хотел взять ее руку, но она быстро отдернула ее.

— Я снова жрица Весты,— проговорила она.— Уважай во мне мой сан.

Ее лицо приняло твердое выражение достоинства.

Фабриций вздрогнул. В его черных глазах засветился гневный огонь. Он наклонился над весталкой, как будто хотел броситься на нее... Но это продолжалось только одну секунду.

Христианин поборол в нем варвара. Он встал с колен и сказал:

— Ты находишься в двух милях от Виенны, где в гостинице под вывеской «Красный Олень» живут Кай Юлий и Констанций Галерий. Их охрана тебе будет приятнее, чем моя.

И он неуверенными шагами приблизился к двери, но у порога вновь остановился и посмотрел на Фаусту. Она лежала, обернувшись к стене, без движения, молча. Он любил по-прежнему эту непреклонную девушку, любил ее даже в ту минуту, когда должен был покинуть ее, любил, может быть, пламеннее, страстнее, чем когда-нибудь, и призывал на помощь Доброго Пастыря, чтобы Он избавил его от этой любви...

Он обесчестил ее, похитил насильно, держал в заточении, издевался над ее гордостью, и все эти грехи проистекали из его грешной любви. Может быть, она его презирает, обвиняет в трусости, может быть, думает, что он возвращает ей свободу единственно из боязни перед карающей рукой Арбогаста?

— Я мог бы убежать с тобой в мои отцовские леса и отдаться под защиту свободных аллеманов, которые не выдали бы потомка вождей их племени,— сказал он мягким голосом.— Я мог бы скрыть тебя в глухих пущах франков, принимающих охотно каждого, кто приходит из цезарства. О перемене правления я знаю уже давно. Но Арбогаста ты должна благодарить за свое освобождение. Двери твоей темницы открыл епископ Амвросий...

Фабриций вышел.

Он не видел, как Фауста протянула за ним руки, словно благословляя его.

Спустя час из виллы Рикомера вышел старик с длинной седой бородой, в темной одежде бедного плебея. Его голова была покрыта капюшоном полотняного плаща, в левой руке он нес узелок, в правой держал толстую палку, окованную железом.

Он шел тихо, согнувшись, волоча ноги, но когда миновал последние дома предместья, то выпрямился и быстро зашагал по направлению к Родану. На берегу реки он снова согнулся и приблизился к человеку, лежавшему на песке под доской, подпертой кольями.

— Это твоя лодка? — спросил он, указывая на выдолбленное бревно, привязанное к колу.

Рослый и сильный рыбак смерил его исподлобья с ног до головы.

— А то чья же? — небрежно ответил он.

— Я хотел бы переправиться на другую сторону.

— А разве в Виенне нет моста? Тоже, приятно перевозить всякого нищего...

— Но меня ты перевезешь немедленно,— сказал повелительно нищий.

Он показал рослому рыбаку золотую монету, и тот, изумленный, без дальнейшего сопротивления отвязал лодку.

Далее нищий направился пешком к ближайшей станции. Тут он предъявил собственноручное предписание графа Валенса на пользование цезарской почтой.

Так как новый император не имел еще времени отменить силу подписей советников Валентиниана, был отдан приказ запрячь немедленно легкую двухколесную тележку, в которой обыкновенно ездили цезарские курьеры.

В старике никто не узнал бы воеводу Италии. Фальшивая борода, седой парик, накрашенные брови и убогое одеяние изменили его до такой степени, что он мог не бояться встречи даже с близкими знакомыми.

Фабриций ехал в Медиолан, чтобы испросить прощение Амвросия. Он совершит покаяние, примирится с Церковью, а потом поступит в легионы Феодосия.

Так он решил, с Божьей помощью, твердо.

Он мчался днем и ночью с быстротой правительственных курьеров, спал и ел в тележке, на станциях сам запрягал лошадей.

На пятый день рано утром он миновал уже горы, в которых скрывалась его вилла, посмотрел на скалы, вздохнул и двинулся дальше.

— Трогай, трогай! — кричал он на кучера.

Тележка уже приближалась к Альбигауну, когда громкие крики вывели Фабриция из глубокого раздумья.

— С дороги! Место святому епископу!

Из города выезжали три экипажа с конными стражниками впереди. Воевода издали увидел, что в среднем экипаже сидит Амвросий, и вспомнил, что крещение Валентиниана назначено было на конец мая. Епископ ехал в Виенну, чтобы исполнить священный обряд.

Остановив верховых, Фабриций подошел к экипажу епископа.

— Возвращайся в Медиолан, святой отец,— проговорил он надорванным голосом.— Император Валентиниан не нуждается уже в твоей благости. Место нашего убитого государя занял Евгений, возведенный на трон Арбогастом.

Амвросий грозно посмотрел на старого плебея.

— Кто ты такой, что осмеливаешься распространять вести, за которые расплачиваются жизнью? — спросил он.

Фабриций сбросил капюшон и снял парик и бороду.

— Воевода Италии? — прошептал епископ, и бледность покрыла его худое, аскетическое лицо.

Он больше не расспрашивал Фабриция: конечно, верный слуга Валентиниана не лжет.

Он склонил голову и начал читать псалом Давида.

— «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! Ибо я к Тебе молюсь. Господи! Рано услышь голос мой,— рано предстану пред Тобой, и буду ожидать. Ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь... Ибо нет в устах их истины: сердце их пагуба, гортань их — открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих; по множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; благоволением, как щитом, венчаешь его».

И, протянув руки к востоку, епископ долго молился.

Его горячей молитве вторили тихие рыдания священников и слуг, которые встали на колени.

— Уповайте на милость Божию! — воскликнул Амвросий, поручив свое горе Господу, ибо Его всемогущество ниспровергает и величайшую силу человеческую.

— В Медиолан! — приказал он.

X

И снова Рим гудел, как лес в жаркий июльский день, и снова раздавался на улицах шумный говор бесчисленных голосов, проникая в самые тесные закоулки.

Как в то время, когда Флавиан и Симмах призвали на погребение убитых язычников всю Италию, так и теперь с запада и востока, севера и юга во все ворота валили такие толпы, что в течение нескольких часов залили столицу. Повсюду виднелись носилки и экипажи, покрытые пылью далекой дороги, пешие и конные, сенаторы, всадники, плебеи, горожане и крестьяне.

И, как в то время, более бедные располагались под открытым небом, на площадях перед храмами, на рынках, на Марсовом поле, в общественных садах, везде, где можно было поставить телегу или разбить палатку.

Жители Рима принимали прибывших гостей с таким же радушием. Слуги выносили на улицы столы, женщины угощали голодных теплым вином, жареными бобами, хлебом, овощами, дети кормили коней и мулов сеном, незнакомые приветствовали друг друга, как старые друзья.

«Откуда едешь?.. Долго ли прогостишь у нас?.. Что нового слышно в нашей стороне?» — сыпались вопросы, и во всех вопросах и ответах слышалась радость.

Завтра, едва первые лучи солнца позолотят вершины Албанских гор, Флавиан вынесет из Капитолия статую богини Виктории-Фортуны и поставит в храм курии Гостилия.

Виктория-Фортуна в течение долгих лет занимала главное место при совещании отцов отечества. Новые сенаторы клялись ее головой, у ее стоп полководцы слагали свои трофеи, прежде чем посвятить их Юпитеру. Она была эмблемой римского могущества, покровитель-

ницей легионов, воплощением мужества «волчьего племени».

Верный своему Медиоланскому эдикту, Константин не поднял на нее руки, но Констанций уже запретил жертвоприношения перед ее алтарем. Магненций возобновил ее почитание, а Констанций снова изгнал ее из сената. Иовиан и Валентиниан I сохранили в силе распоряжение Юлиана Отступника, который взял Викторию-Фортуну под свою защиту, но Грациан не имел их снисходительности. Что воздвиг Максим, то разрушил Феодосий.

Преследуемая одной стороной, боготворимая другой, золотая статуя богини переходила из курии в Капитолий, из Капитолия в курию, объединяя вокруг себя сторонников прежнего порядка. Виктория-Фортуна, храм Юпитера и атриум Весты были последними твердынями догорающего язычества.

Поэтому-то и прояснилось хмурое лицо Италии, когда Арбогаст позволил снова поставить эмблему римского могущества в храме сената. С Викторией-Фортуной в попранную столицу мира возвратится старое счастье квиритов — древних римлян.

Вожди народной партии отворили кладовые, чтобы отпраздновать торжественный день. Сам Симмах назначил на народные игры две тысячи фунтов золота.

— У нас будут такие игрища, каких Рим давно уже не видел,— рассказывали жители столицы своим гостям из провинции.— Симмах вывез из Британии собак, приученных к охоте на людей, Арбогаст прислал пятьдесят франконских пленников. Юлий, Галерий и Клавдиан устраивают морскую битву с акулами.

И теперь, как в день погребения убитых язычников, из улицы в улицу, с рынка на рынок, с площади на площадь переливался однообразный шум смешанных голосов, издали похожий на жужжание лесных насекомых, с наслаждением купающихся в теплых волнах воздуха, насыщенного запахом смолы.

Городская чернь, беспомощная при невзгодах и беззаботная при удаче, позабыла о треволнениях последних лет и толковала о гладиаторах, билась об заклад, шутила, как в старое доброе время, довольная, что проведет благодаря сенаторам несколько веселых дней.

Три столетия бесследно прошли над ней, не смягчили ее диких инстинктов, не отняли вкуса к кровожадным зрелищам. Римский плебей в четвертом столетии с та-

ким же жаром рукоплескал при всяком жестоком зрелище, как и в первом.

Ему казалось, что смерть Валентиниана навсегда отстранила угрозы нового порядка, который не оказывал для праздной толпы щедрости и потворства Юлиев, Клавдиев и Флавиев.

С римским правлением в Рим вернутся те праздники, длящиеся по нескольку недель, те гостеприимные столы, расставляемые патрициями для народа. «Цари мира» в дырявых тогах снова будут пользоваться заслугами своих предков.

И улица веселилась и оглашалась легкомысленным смехом; убогие домики предместья украшались зеленью и цветами.

Украшались зеленью и цветами и дворцы вельмож, но заботы не покидали их богатых зал. На Виминале, в доме Флавиана, собрались вожди староримской партии. Явились Симмах и Юлий, Галерий и Руффий, который ездил в Константинополь с посольством Евгения.

Новый император по наущению Арбогаста старался всевозможной предупредительностью снискать расположение Феодосия.

— Феодосий уже знал о смерти Валентиниана,— рассказывал сенатор Руффий.— Его предупредил Амвросий. Когда мы предстали перед его лицом, он принял нас так спокойно, точно перемена императора совершенно не касалась его. Покорное письмо Евгения он прочитал равнодушно, а письмо Арбогаста приказал вручить графу священного дворца.

— Он не разгромил вас, не вспылил по своему обыкновению? — спросил Симмах.

Руффий отрицательно покачал головой.

— Я не узнал его,— ответил он.— С галилейскими священниками, присланными Евгением вместе с сенаторами, он разговаривал очень благосклонно, графа Баута поцеловал, аллеманским воеводам пожимал руки.

— А по отношению к тебе как он держался? — перебил Юлий.

— На меня и советников Евгения он не обратил никакого внимания и делал вид, что не замечает нас.

— А посольству он дал какой-нибудь ясный ответ?

— Он ответил, что напишет Евгению.

Сенаторы переглянулись друг с другом.

— Спокойствие Феодосия — это предвестник бури,— отозвался Флавиан.— До тех пор, пока страстный испа-

нец гневается, его еще можно чем-нибудь убедить, но когда он молчит, то никто уже не отклонит его от принятых намерений.

Сенаторы не спорили. Зная отношение Феодосия к язычеству, они не обольщали себя его видимым спокойствием.

— Мы ждем твоих распоряжений,— сказал Симмах Флавиану.

Префект не долго думал.

— Если бы я верил, славные сенаторы, что вы разделяете бессмысленную радость темной толпы, то я оскорбил бы ваше благоразумие. Смерть Валентиниана лишь начало совершившегося переворота. Она ничуть не отвратила опасности, которая висит над Римом с начала царствования Диоклетиана, но лишь отдалила ее на неопределенный срок. Продолжительность перерыва, отделяющего нас от войны, будет зависеть от расположения готов. Если варвары согласятся на новый поход, то мы скоро увидим Феодосия у подошвы Юлийских Альп.

— Наемники восточных префектур ропщут еще до сих пор, недовольные платой за участие в войне с Максимом — заметил Руффий.— Их подбивает молодой Аларих, любимец визиготов.

— Риму оказал бы большую услугу тот, кто перетянул бы Алариха на нашу сторону,— заметил Симмах.

Но Флавиан сказал:

— Феодосий чересчур опытен, чтобы упустить из своих рук готов, которые составляют ядро его войск. Если он до сих пор мало обращал внимания на их безрассудные желания, то тянул это только потому, что думал, что не будет нуждаться в их помощи. Но теперь, застигнутый непредвиденными случайностями, он снимет с себя последний наплечник и отдаст его варварам. Мы все его знаем. Прежде чем наши послы успеют добраться до Фракии, готы станут снова его послушным орудием. Значит, не на восточные префектуры нам нужно обратить все внимание. Надо прежде всего напомнить римлянам доблести их предков и набрать из поклонников народных богов столько легионов, сколько нам удастся вооружить. Пусть сами римляне сражаются за свои алтари и домашние очаги.

— С нами говорит римлянин, сенаторы! — вскричал Галерий.— Неужели мы всем должны быть обязаны Арбогасту?

— Коварная предосторожность последних императоров вырвала оружие из наших рук,— сказал Юлий.— Мы отвыкли от щита и меча. Не лучше ли нам было бы приобрести здоровые руки свободных франков?

— И ты не веришь в отвагу римлян, ты, живое свидетельство этой отваги? — с негодованием сказал Галерий.

По губам Юлия пробежала горькая улыбка.

— Я только живое свидетельство любви к Риму, отечество до сих пор еще не требовало от меня отваги. Я сомневаюсь, выдержит ли мое немощное тело тягости войны. Но приказывай, префект. Твоя воля будет моей волей.

— И нашей,— подтвердили остальные сенаторы.

— Опасения Юлия не безосновательны,— сказал Флавиан,— но безысходная нужда порождает часто необычайные подвиги. Когда Италия поймет, что ее мужество может решить участь Рима, то в ней проснется та старинная доблесть, что занесла наши законы на окраины мира, всегда победоносная, принуждающая к повиновению. Мы не можем постоянно зависеть от милости наемников. Сегодня нас от ненависти Феодосия охраняет слава Арбогаста, завтра же престарелого короля сменит какой-нибудь молодой вождь, который заключит договор с нашими врагами или, что еще хуже, посягнет на императорский венец. В диких сердцах варваров с каждым днем возрождаются все более дерзновенные надежды. Им уже мало нашего золота. Этот Аларих, видимо, мечтает о разделе Империи.

— Дерзкий! — вскричал Галерий.

— Дерзости не укротишь ни негодованием, ни проницательностью,— сказал Флавиан.— Только сила держит в узде нечестивые надежды, а силу в каждом государстве составляет войско. Эту силу мы должны образовать сами, чтобы не опасаться перемен в лагере наемников. Легионы Италии должны снова вести народы к славе, быть школой дисциплины и мужества. Без собственного войска мы никогда не будем уверены в завтрашнем дне.

Между сенаторами не было никого, кто бы не разделял мнения префекта, но не все верили в возможность осуществления этих спасительных мер. Военная доблесть Италии давно уже принадлежала славному прошлому.

С того времени, когда Марк Аврелий дозволил маркоманам поселиться на римских землях, германская раса начала мало-помалу вытеснять из легионов латинскую. За маркоманами в Империю вторглись квады, за

ними — готы, аллеманы, франки, и каждое новое племя предъявляло все большие требования.

Маркоманы и квады еще довольствовались крохами римской милости и не вылезали вперед. Поставленные в положение колонистов между свободными и рабами, они считали за особый почет, когда государственная необходимость призывала их под знамена вспомогательных войск и давала возможность за обильно пролитую кровь приобретать права гражданства, но готы уже не хотели сражаться на флангах войск.

Поддерживаемые императорами, которые предпочитали зависеть скорее от покорности платных наемников, чем вечно опасаться вспыхивающей время от времени гордости наследников римской славы, варвары в четвертом столетии стали щитом и дланью государства.

Изнурившие себя в тысячах битв, римляне без сопротивления уступали свежим людям места в легионах, особенно потому, что чужеземцы, поселившиеся в границах государства, старались тотчас же забыть о своем варварском происхождении.

Этот наплыв чуждых пришельцев, сливающихся безустанно с римлянами, остановился только в последнее время. Когда варвары начали входить в государство большими толпами, они медленнее утрачивали свою обособленность. От них отпадали только единицы, ядро же оставалось неприкосновенным. Новых римлян с каждым годом прибывало все меньше, а численность наемников, становившихся все более и более разнузданными, росла.

Флавиан предчувствовал все последствия этой грозной перемены.

— Я читаю в ваших мыслях — отозвался он, когда ни один сенатор не стал ему возражать,— и разделяю ваши опасения. Для народа, которому стали чужды военные подвиги, потребуется дольше времени для того, чтоб снова привыкнуть к неудобствам лагерной жизни, но привыкнуть он должен, если не хочет в скором времени плакать на развалинах своих храмов. Не будем обольщать себя, сенаторы. Теперь дело идет совсем не о том или другом императоре, не о том, будет ли западными префектурами повелевать Арбогаст, Евгений, Феодосий или иной любимец войска. Если бы Феодосий был только мужем сестры Валентиниана, он не отважился бы во второй раз на битву с опасным противником. Он знает очень хорошо орлиное око Арбогаста и дисциплину его легионов, для того чтобы рассчитывать

на легкую победу. Он знает, что его готы не опрокинут соединенной силы галлов, франков и аллеманов. Но Феодосий рассчитывает быть посланником бога лучшего, более могущественного, чем Юпитер, исполнителем воли Христоса, зиждителем какого-то нового времени, и потому его ненависти не удержат ни слава Арбогаста, ни храбрость легионов западных префектур. Этот яростный галилеянин не будет знать отдыха до тех пор, пока не разрушит наших храмов или сам не погибнет на кровавом поле.

— Пусть его тело разнесут на клочки вороны, чтобы он не нашел спокойствия под землей! — вскричал Галерий.

— Пусть так будет! — подтвердил Симмах.

— Если бы горячие пожелания убивали врагов Рима,— продолжал Флавиан,— то Феодосий давно был бы для нас безвреден, ибо среди нас нет никого, кто пожелал бы ему долгих лет. Но горе не выигрывает битв. Против Феодосия нужно вооружить всех приверженцев, народных богов, созвать под знамена всех римлян. Если Италия вспомнит доблести предков, то ее не одолеет Феодосий. Вместе с легионами Арбогаста мы составим такую силу, что мир снова задрожит перед гением квиритов и будет повержен к нашим ногам.

При этих словах Флавиан поднялся с кресла, на котором сидел.

— Покровители Рима еще не покинули своих верных детей,— произнес он голосом, полным уверенности.— Это они устранили с нашей дороги Валентиниана и связали с нашей судьбой мужество Арбогаста. Они зажгут снова в сердце Италии ясный пламень прежней доблести, и мы будем светочем человечества, каким наши предки были в течение целого ряда веков.

— Зажгут! — воскликнули сенаторы, убежденные уверенностью Флавиана.

Один только Юлий усмехнулся с недоверием. Он знал лучше всех, кто ускорил падение Валентиниана и приковал Арбогаста к неверному будущему Рима.

— А все-таки я советовал бы привлечь на свою сторону возможно больше варваров,— сказал он спокойно,— и как можно меньше рассчитывая на воинственность Италии.

Флавиан с укором посмотрел на него.

— Чрезмерная осторожность в военное время не

служит хорошим советчиком. Когда нужно действовать быстро, то нет времени для долгих размышлений.

— Осторожность не мешает никогда,— заметил Юлий.

Флавиан нахмурил брови.

— Избрав меня своим предводителем на случай войны с Феодосием, вы передали в мои руки заботу о защите наших алтарей,— ответил он с легким раздражением в голосе.— Без доверия страны никто не может быть полезным вождем.

Юлий склонил голову.

— Если ты говоришь как избранный нами вождь,— сказал он,— то я беру свой совет назад и беспрекословно повинуюсь твоим приказаниям. Что бы ты ни постановил, я исполню безотлагательно. Распоряжайся мной и моим имуществом.

— Теперь я уже говорю как избранный вами вождь,— продолжал Флавиан,— ибо, по моему мнению, в западных префектурах военное положение началось с той минуты, как Феодосий узнал о возмущении Арбогаста. И как вождь я приказываю вам, чтобы вы верили в победу и старались влить воодушевление в сердца сомневающихся. Уверенность в успехе дела — это половина победы. Вот все, что я пока от вас требую. Остальное предоставьте моей опытности в военном деле и моей любви к Риму.

Простившись с префектом, Юлий с Галерием сели в носилки, которые ждали их перед дворцом.

Улицы, переполненные народом, приветствовали известных римлян громкими криками. Со всех сторон к ним обращались лица, разгоряченные вином, озаренные радостью.

— Ведите нас на галилеян! — кричали там, где собиралась большая толпа.

— И ты сомневаешься в неисчерпаемой силе Италии? — сказал Галерий, приветствуя народ наклоном головы и движением руки.— Увядшая старость не рвется так охотно в бой.

— Радость и вино на время одушевляют даже трусов,— отвечал Юлий.— Не забывай, что в твоих жилах течет свежая кровь маркоманов, которая не имела еще времени остыть и обессилеть. Ты слышал, что я беспрекословно подчинюсь воле Флавиана, потому что это мне предписывает обязанность римского гражданина, но мое сомнение устранят только победы на поле битвы.

— Даже отвага и та опустила бы руки, если бы подольше побыла с тобой.

Юлий пожал плечами.

— Я не могу иначе,— сказал он.— Я верю только в то, что вижу, а в Италии я не нахожу хороших солдат.

— Воодушевление вспыхивает, как огонь Везувия,— перебил Галерий.

— И быстро гаснет, как тот же огонь, когда его не поддерживает действительная сила. Феодосий слишком сведущий вождь, чтобы сейчас напасть на Италию. Он подождет, пока огонь первого воодушевления остынет, а тогда...

— А тогда?..— подхватил Галерий, но Юлий молчал и задумчиво глядел в пространство.

— ...А тогда дорогу ему преградит Арбогаст.

На следующий день еще не рассвело, когда гости из провинции окружили Новую и Священную улицы с обеих сторон. Язычники надели на себя праздничные тоги и украсили головы венками.

Со стороны Капитолия послышались резкие звуки сигнальных труб.

Ленты, тянущиеся по Новой улице вплоть до базилики Юлиев, заколебались и заволновались, точно по ним прошел легкий ветерок. Исполинская грудь глубоко вздохнула.

Со склонов Капитолийского холма тихо спускалось торжественное шествие. Шли жрецы всех храмов, преторы и префекты, шли весталки с Фаустой Авзонией во главе. Вслед за хранительницами священного огня сияла золотая статуя Виктории-Фортуны, которую несли четверо юношей сенаторского звания.

Там, где проносили эту статую, лента разрывалась, мужчины падали на колени, поднимая руки кверху, женщины повергались лицом на землю. Громкие рыдания встречали освобожденный символ римского могущества. С крыш всех домов на процессию сыпались цветы и лавровые венки.

Эхо этого шествия широко разливалось по городу и достигло наконец до Латеранского дворца, где епископ Сириций прижимал к груди распятие и шептал побледневшими устами:

— Смилуйся над своей паствой, о Бог обездоленных.

Изумление и ужас охватили паству Христову.

В течение почти столетнего правления христианских императоров, прерванного кратким царствованием Юлиана Отступника, после эдиктов Грациана, Феодосия и Валентиниана II, которые занесли эллинизм в список преследуемых сект, никто уже не рассчитывал на торжество язычества.

Этот триумф даже самим его виновникам казался настолько странным, что они в первое время старательно обходили все, что могло бы оскорбить чувства их противников. Флавиан и Симмах строго держались Медиоланского эдикта Константина. Арбогаст и Евгений старались умилостивить Феодосия. Из Виенны в Константинополь постоянно снаряжались посольства, но каждое из них возвращалось без благосклонного ответа. Даже когда Евгений объявил Феодосия консулом на 393-й год, старший император не поблагодарил его ни единым приветливым словом.

Феодосий молчал и готовился к войне.

На кого только можно было — на общины, государственные и частные заводы, на богатых патрициев и купцов,— он налагал высокие налоги, чтобы наполнить государственную казну. Он удовлетворил чрезмерные требования готов, нанял аланов, гуннов, сарацин; легионы восточных префектур, разбросанные по городам и местечкам, он стянул в лагеря во Фракию.

Арбогаст, поняв, что тратит бесполезно время в старании приобрести расположение непримиримого врага, начал меньше скрывать свое недоброжелательство к христианству. Хотя он не ограничил действия эдиктов о веротерпимости, зато окружил попечением и предупредительностью исключительно сторонников старого порядка. Языческим храмам он вернул все преимущества и привилегии, влиятельные должности Италии поручил римлянам, а Евгения убедил отречься от веры Христовой.

Тревога христиан росла с каждым месяцем. Более ревностные убегали в провинции, подвластные Феодосию, более равнодушные перестали посещать церкви, а обманщики, принявшие крещение из-за выгод, толпами возвращались к римским богам.

Язычники, сперва скромные, занятые своим личным счастьем, начали объединяться. На улицах Рима снова стали раздаваться зловещие крики: «Христиан на арену!» В городах и деревнях со смешанным населением увеличивались кровавые стычки, чернь оскорбляла епископов и священников.

Одного года достаточно было, чтобы уничтожить работу трех поколений. На всем пространстве западных префектур возносились курения, возжигаемые в честь языческих богов; с войсковых знамен и с фронтонов общественных зданий исчезли монограммы Христа; на священных креслах префектов, наместников и преторов сидели правоверные римляне; в амфитеатрах умирали гладиаторы на забаву «властелинов мира».

Феодосий смотрел издали на это необычное зрелище, считал деньги и собирал вооруженных людей.

XI

После смерти Валентиниана прошло два года.

В границах Римского государства царила такая тишина, как будто все цивилизованное человечество затаило дыхание, с бьющимся сердцем ожидая развязки страшной трагедии. Театры, цирки, амфитеатры закрылись, замолкли кафедры греческих риторов и христианских дьяконов, скрылись в ящиках музыкальные инструменты. Правительственные учреждения прекратили свою деятельность, торговля забыла о дарах золотого тельца, землепашец не радовался виду нивы.

С трех сторон, с запада, юга и востока, из Галлии, Рима и Фракии, к Юлийским Альпам тянулись огромные полчища, а над этими войсками носилось неизвестное будущее, ведомое только одному Богу. Арбогаст вел всю вооруженную силу Испании, Галлии и Британии; Флавиан шел во главе сынов Италии; Феодосий приближался с необозримыми толпами готов, алан, гуннов, иберийцев, греков и сарацин.

Небывалый спор за трон превратил все государство в один громадный лагерь и обезлюдил леса соседних варваров.

Двум цивилизациям предстояло вступить в окончательное состязание, две эпохи должны были заключить друг друга в смертельные объятия. На штандартах Феодосия блестели монограммы Христа; на знаменах Арбогаста и Флавиана язычников поощрял к мужеству молодой Геркулес, держащий за золотые рога оленя Дианы.

Старый и новый строй шли навстречу друг другу.

Все подданные Империи, начиная с самых знатных

и кончая последним бедняком, чувствовали это, и потому на римских землях воцарилась тишина напряженного ожидания. Ни у кого не было охоты веселиться и работать, никто не заключал договоров, браков, никто не добивался золота и почестей, потому что никто не был уверен в завтрашнем дне.

Победитель, раздраженный ненавистью к противнику, несомненно разорит храмы побежденного и повергнет мир под ноги своего Бога. Недаром Флавиан приказал поставить на вершинах Юлийских Альп статуи Юпитера в знак того, что отдает западные префектуры под покровительство римской религии, а Феодосий в последнем году в своих провинциях издал более суровые эдикты, направленные против язычников и еретиков.

Цивилизованное человечество знало, что на границах Италии разрешаются судьбы будущих поколений.

Пройдет несколько месяцев, и вся Империя будет лежать у подножия Креста или над ней снова загремят перуны разгневанного Юпитера.

В первый раз новый порядок возложил на свою голову шлем и препоясал к боку меч, в полном сознании своего могущества и права. Правда, под знаменами Феодосия шли аланы и гунны, еще не озаренные светом истины Доброго Пастыря, но значительное большинство восточного войска исповедовало христианскую веру. Даже готы, обращенные последователями Ария, не были уже язычниками.

Христианство, до сего времени сражающееся только мученичеством, молитвой, словом и добродетелью, подкрепленное государственным тактом Константина и усердием Грациана и Феодосия, должно было, наконец, помериться с оружием в руках с своим наследственным врагом.

Феодосий долго думал, прежде чем отважился на решительный шаг. Слава Арбогаста не давала ему надежд на легкую победу. Он по собственному опыту знал военное счастье короля франков и неоднократно видел его легионы на поле битвы. Но из Медиолана к нему шли непрестанно письма. Епископ Амвросий торопил его и укорял в нерадении служения Богу.

Любовь к Христу превозмогла опасения старого воина. В мае триста девяносто четвертого года Феодосий распределил государственные дела и покинул Констан-

тинополь. Почти одновременно и Арбогаст тронулся из Виенны.

Войска двух главных противников совершили уже половину пути, когда Флавиан в Риме дал сигнал к походу. Его замедление объяснялось более коротким расстоянием, отделяющим его от сборного пункта. В Медиолане ему предстояло соединиться с Арбогастом.

Пятнадцатого июня весь языческий Рим молился в своих храмах. Сотни белых телиц пали под ножами жрецов, все благовонные курения, какие только могли достать торговцы, были сожжены на жертвенниках.

Флавиан по обычаю вождей старого, богобоязненного Рима провел всю ночь под открытым небом: следил за полетом птиц, всматривался в облака, прислушивался к шуму природы. Но боги не отвечали на его горячие мольбы ясными предзнаменованиями.

Не заметил он ничего такого, из чего бы мог вывести благоприятный ответ.

Ничего не говорили и внутренности, которые он доставал собственной рукой из телицы, не отмеченной ни единым пятном. Даже прорицатели не могли ничего вычитать в них.

Сначала Флавиан хотел взять назад приказ к выступлению, но, заметив, что его колебание неблагоприятно подействовало бы на войско, замкнул тревогу в самом себе и с ясным лицом направился в лагерь за Номентанскими воротами, где его ждали легионы Италии, готовые к выступлению.

Толпы старцев, женщин и детей теснились к солдатам. Отцы возбуждали мужество сыновей, жены ободряли мужей, невесты женихов.

— Возвращайтесь благополучно... Да управляют вами боги... Не забывайте о нас...— весело кричали остающиеся, как будто солдаты шли на короткие маневры.

Жар возбуждения охватил всех римлян и заставил их забыть о смерти — родной сестре войны. Язычники были так уверены в победе, что пренебрегали трудом, который ведет к славе.

Почти три четверти вооруженной силы Италии не имели представления об ужасах кровавой битвы, потому что никогда не принимали в них участия, а неведение опасности даже труса делает храбрецом. Это были охотники, собранные из всех сословий, незнакомые с военной службой. Шлем был для них тяжел, к железному вооружению они не привыкли, большой щит стеснял свободу

их движений. Поэтому им дали кожаные латы, легкие мечи и небольшие круглые щиты.

Во главе такого отряда, собранного лишь месяц назад, стоял Констанций Галерий. Он сформировал его, одел и шел с ним сам на поле битвы.

— Если твои благожелательные мысли пойдут за мной, то я уверен, что вернусь счастливо домой,— говорил он Порции Юлии.

— Ты знаешь, что я никогда не желала тебе несчастья,— отвечала девушка, опустив глаза.

— Твое доброе сердце жалело бы и невольника, если б Парки внезапно перерезали нить его жизни. Я не о том прошу тебя. Позволь мне в тяжелые минуты утешать себя надеждой на твою любовь. Может, мои глаза видят тебя в последний раз...

— Возвращайся счастливо,— перебила его быстро Порция, побледнев.— Я буду молиться Марсу, чтобы он защищал тебя своим щитом.

Констанций взял руку Порции.

— Я буду сражаться за твой и мой очаг, за наш очаг,— радостно сказал он,— я буду...

В это время раздались звуки рогов. Префект лагеря созывал войска в шеренги.

— Да осветит молния Юпитера твой путь,— проговорила Порция.

— А если бы галилеяне поломали мне кости? — спросил Галерий.

— Раны, полученные в защите отечества, еще более украшают мужа в глазах римлянки.

Сигнал прозвучал во второй раз.

— Готовы, готовы! — кричали солдаты.

— Не забывай обо мне,— попросил Констанций.

Он прижал руку Порции к губам, сердечно обнял Юлию и вскочил на лошадь.

Рога зазвучали в третий раз; первые отряды регулярной конницы уже выходили из главных ворот лагеря.

Когда передовой отряд войска показался на улицах города, его встретила буря рукоплесканий. Народ плечом к плечу толпился на тротуарах вдоль домов, украшенных венками из дубовых листьев.

Солдаты, воодушевленные, упоенные радостными кликами, поднимали головы, гордые, уверенные в своей силе.

— В Константинополь! — ревел римский народ.

— В Константинополь! — отвечало войско.

— Привезите нам голову Феодосия!

— Привезем, привезем!

В эту минуту среди язычников не было никого, кто сомневался бы в победе старых богов. Давно уже Рим не видел столько вооруженных людей.

За конницей шла часть регулярной пехоты, пращники, лучники, копейщики, легионы охотников со знаменами своих провинций, а сзади следовали полевые и осадные машины.

Дети Италии так весело, так бодро, с таким огнем в глазах оставляли «священный и вечный город», что казалось, они возвращаются с триумфом с победоносной войны.

Ничто не устоит против нашего мужества, говорили их гордые движения и вызывающие взгляды.

Ничто не устоит против их силы, подтверждали радостные улыбки римлян.

Флавиан вел в бой пятьдесят легионов.

Правда, то не были легионы времен республики и первой Империи, заключавшие в себе по нескольку тысяч человек,— огромные полчища, закованные в железо, с виду тяжелые, а на самом деле ловкие, легкие, снабженные всем, что требовала война. Опасение самодержавных императоров, которое отделило военную власть от гражданской, отняло у них конницу, отрезало фланги, разбило на мелкие отряды и разбросало по городам, чтобы лишить знаменитых вождей и честолюбивых наместников возможности быстро собрать воедино большую военную силу.

Легион в четвертом столетии не превышал тысячи мечей и, несмотря на то, шел значительно медленнее, чем прежде, потому что его движения связывал обоз, незнакомый творцам величия Рима.

Изленившийся солдат уже не нес на себе провиант, топоры, котлы, лопаты и метательные снаряды. Ранцы и узлы, даже наиболее тяжелое вооружение за ним везли мулы и лошади; даже и палатки расставляла прислуга; для обнесения лагеря валом также требовались особые люди. Хвост, тянувшийся за легионом и состоявший из рабов, прачек, торговцев и маркитанток, был длиннее самого войска.

Из Рима выходило не более пятидесяти тысяч солдат, а шествие производило такое впечатление, как будто половина Италии двинулась против Феодосия.

Солнце уже высоко стояло на небе, когда последний регулярный легион, составляющий арьергард, оставил город.

День был жаркий. Ни малейшее дуновение ветерка не обвевало солдат, со лба которых катился обильный пот.

Пока на войско с обеих сторон Фламинской дороги смотрели виллы предместья, так же украшенные и шумные, как и дома столицы, дети Италии шли без команды и в строевом порядке. В особенности охотники не изменяли своей горделивой позы.

Но когда жилища стали реже, когда любопытных стало попадаться меньше, потребовались понукания трибунов и сотников.

Солдаты перекинули шлемы через плечо, расстегнули латы, заслонили головы плащами и шли врассыпную.

Окрики начальников, все более и более гневные и отрывистые, увеличивались с каждой минутой. Охотники, обливающиеся потом, покрытые пылью, останавливались, чтобы вздохнуть свободнее. То тот, то другой снимал латы и отдавал их рабам.

— Равняйся, равняйся! — раздавалось повсюду.

Солдаты с тоской смотрели на солнце.

Оно едва только перешло на вторую половину небесного свода и было так ярко, что ослепляло человеческое зрение, и так горячо, что даже листья придорожных деревьев свернулись от жары. Даже вода в ручьях, казалось, текла тише и ленивее, чем обыкновенно.

Легионеров молодого Рима не пугал ни жар, ни морозы. Хотя они несли на себе, кроме железного или медного вооружения, шестьдесят фунтов разных предметов, это не мешало им пробегать летом и зимой в течение пяти часов около двадцати пяти римских миль и, отдохнув на привале, еще работать до вечера на окопах.

Но Италия четвертого столетия давно уже перестала быть страной силы и здоровья. Не многие из числа тех, которые обещали столице «привезти голову Феодосия», обладали требуемым ростом. Низкорослые, с плоской грудью, с руками без мускулов, они уже на пятой миле еле тащились, и шли все с большим трудом. Будущие победители Константинополя истощили все силы на первом перегоне.

Окрики начальников оказывали мало действия. Пристыженные солдаты старались идти в порядке, но телесная немощь оказывалась сильнее добрых намерений.

Повсюду раздавались крики: «Воды!.. Я задыхаюсь!.. Солнце убьет нас!..»

Отряды охотников останавливались и разрывали цепь.

Трибуны грозили им наказаниями, сотники ругались.

— Мы не наемники... Ты не смеешь нам грозить палкой,— отвечали охотники.

Ропот недовольства шел дальше, к авангарду, где Флавиан, окруженный знаменосцами и трубачами, ехал на каурой лошади в полном вооружении полководца старого Рима. Несмотря на жару, он не снимал серебряного шлема, не расстегивал золоченых лат. Хотя и по его лицу текли ручьи пота, на нем не было видно усталости. В молодости он служил под знаменами Юлиана Отступника и приучился переносить невзгоды войны.

Оглянувшись и увидев, что делается за ним, он галопом помчался вдоль отрядов.

Там где ряды были приведены в большее расстройство, он привставал на стременах и восклицал:

— Воины, Рим смотрит на вас!

Вид седого вождя восстанавливал на минуту порядок.

— Честь тебе, отец отечества! — кричали молодые солдаты и, собрав все силы, снова бодро шли вперед.

Флавиан, сойдя с лошади, тоже пошел пешком.

Однако жар, пыль и усталость не были благосклонны к искреннему воодушевлению сынов Италии. Они падали действительно под убийственными лучами солнца, которое склеивало их веки и жгло голову.

— Воды! Воды! — раздавалось все чаще, все отчаяннее.

То тут, то там падал человек на землю, а когда его поднимали, он жадно ловил губами воздух и смотрел вперед бессмысленными, безжизненными глазами.

Повозки, тянувшиеся за легионами, наполнялись больными.

Флавиан видел и слышал все, что делалось вокруг него, и облако тяжелой печали омрачило его орлиное лицо. Потомок воинов мужественного Рима понял, что с таким войском не выигрывают битв.

Он отдал приказ одному из подчиненных:

— Остановить поход и разбить палатки! Мы двинемся дальше после захода солнца.

Могучий голос буйволовых рогов проплыл над отрядами охотников и был встречен криками радости.

Кого не одолело солнце, тот доползал до обоза, хватал амфору с водой и пил, а утолив жажду, сбрасывал с себя кожаные латы, тяжелые походные сапоги, даже тунику и все, что ему мешало.

Только Флавиан не снял с себя вооружения.

Под пурпуровой палаткой главного вождя он сел на складной стул, опустив голову на руки, и чувствовал, что вот-вот упадет под тяжестью невыносимых страданий.

Он так же хорошо, как и Юлий, знал что «волчье племя» выродилось, но думал, что любовь и отчаяние возвратят ему прежнюю юность.

— Отвернулся ты от нас, Марс! — скорбно проговорил он.— Покинул ты народ, который столько веков так верно служил тебе.

В палатку вошел Галерий.

Римляне посмотрели друг на друга. Губы младшего дрогнули, как у ребенка, который подавляет едва сдерживаемое рыдание; старший закрыл лицо краем своего красного плаща.

— Погибнем за честь Рима, отец! — произнес Галерий дрожащим голосом.

— Погибнем! — глухо ответил Флавиан.

XII

Третьего сентября, около полудня, со стороны Эмоны, к Юлийским Альпам приближался отряд конницы с проводником-горцем.

Впереди на испанском жеребце ехал молодой воевода Римского государства. Черные глаза его искрились, кудри светлых волос выбивались из-под золоченого шлема.

То был Фабриций.

Отбыв покаяние, наложенное на него Амвросием, он поступил в легионы Феодосия. Император назначил его начальником авангарда и приказал ему очистить дорогу. Следом за ним тянулась вся вооруженная сила восточных префектур под предводительством самого императора.

Феодосий рассчитывал встретить Арбогаста уже в Паннонии. До сих пор он видел страну тихую, посвятившую себя мирному труду. Нигде не было видно ни одного меча, не слышно было труб и рогов. Христианское

войско без малейшего препятствия дошло почти до границ Италии.

— Ты говоришь, что за этими горами ждут нас язычники? — спросил Фабриций горца.

— Их столько, сколько елей в наших горах,— отвечал разведчик.

— По твоим словам, язычники вот уже месяц стоят лагерем у реки Фригида?

— Король Арбогаст расположился в нашей долине в первых числах августа. Горные проходы занял префект Флавиан.

— А по эту сторону гор никого нет? Помни, что за ложные сведения на войне платятся головой.

— Я христианин, господин. Добрый Пастырь вверг бы меня в адский огонь, если бы я обманул единоверца. Вы можете наблюдать войско язычников без опасения. С этой стороны стража стоит только ночью.

Отряд остановился у подножия маленького холма. Фабриций сошел с коня и полез на скалу вслед за горцем.

Когда он взобрался на вершину, из его груди вырвался крик изумления. Перед ним, на несколько миль вокруг, расстилалась такая ровная долина, как будто она была нарочно создана для большого сражения.

Глаза Фабриция восхищались выбором места.

Полный свет погожего дня падал на его лицо.

Это было то же самое мужественное, прекрасное лицо, которое в часы уединения так тревожило Фаусту Авзонию, только суровое выражение этого лица теперь смягчилось. Какое-то глубокое горе прошлось по этим вызывающим глазам, по надменным устам и стерло с них непреклонность молодых лет.

— Посмотрите туда, господин.— И лазутчик показал рукой на западный край долины.

Но Фабриций и сам уже заметил лагерь Арбогаста.

Вдали копошился какой-то громадный муравейник. Острое зрение воеводы различало окопы, охранные башни и метательные машины.

— Будь с нами завтра, Господь истины, ибо без Твоей помощи из этой западни не выйдет ни один христианин,— молился Фабриций, спускаясь с горы.

Внизу он вскочил на коня и пустился в карьер к Эмоне.

Весь восточный край неба казался покрытым туманом, придвигающимся к Юлийским Альпам. Временами туманная завеса разрывалась, и тогда вдали виднелись

бесчисленные светлые пятна: это по всем дорогам и тропинкам широкой лавиной шло войско Феодосия.

Фабриций, приказав авангарду остановиться, направил коня туда, откуда поднимались наиболее густые клубы этого тумана. По мере того, как он приближался к нему, он редел и поднимался кверху. От светлого фона полей и лугов отделялись темные линии, которые вскоре начали принимать определенную форму. Из облаков пыли мало-помалу стали выделяться головы людей и животных.

Их было так много, что, казалось, они только одной своей численностью могут преодолеть всякую преграду. Они с яростью водопада хлынут в долину, занятую Арбогастом, и зальют язычников, но Фабриций, видимо, думал не так, и облако заботы не сходило с его лица. Регулярный солдат не доверял нестройным массам гуннов, алан и сараций, и римский воевода знал, что легионы восточных префектур изленились больше западных. С франками в открытом бою могли бы помериться только одни готы, если бы их вела рука такого вождя, каким был Арбогаст.

Фабриций остановился на половине дороги.

С противоположной стороны приближался отряд, состоящий только из одних трубачей и знаменосцев. Ему предшествовала небольшая группа людей, идущих пешком.

Уже издалека обращала на себя внимание высокая фигура, одетая с ног до головы в платье багряного цвета.

Этот сановник не имел на себе оружия. Золотой шлем он нес в руках и двигался вперед с достоинством человека, привыкшего к почету и уважению.

Фабриций, соскочив с лошади, упал перед этим человеком на колени.

— Сведения лазутчиков верны? — раздался твердый голос.

— Ты знаешь, божественный и вечный государь,— отвечал Фабриций, поднимаясь с колен, и замолчал, потому что стоял перед Феодосием, которому отвечали только на вопросы.

— Остановить поход! — сказал император.

Трубачи разбежались по обеим сторонам.

— Авангард Арбогаста защищает горные проходы? — спросил Феодосий.

— Язычники расположились лагерем по другую сторону Альп. Защищенные окопами, они чувствовали себя

в такой безопасности, что даже не расставили стражу по эту сторону. Их стан можно видеть вблизи.

Спустя два часа восемь человек взобрались по тем же самым скалам, по которым Фабриций влез на вершину холма, и такими же криками изумления приветствовали картину, которая представилась глазам опытных военачальников.

Рядом с Феодосием находились главные вожди восточных префектур. Здесь был старый Гайнас и воинственный Бакурий, вандал Стилихон, муж его племянницы Сирены, Саул, и молодой Аларих. Все эти варвары были в римской одежде, только один Аларих, восемнадцатилетний князь готов, не снял со своего шлема орлиных крыльев германского короля и не переоделся в тунику.

Вожди долго молчали. И они видели укрепленный лагерь Арбогаста, башни и метательные машины, установленные на насыпях.

— Нас ждет тяжелая работа,— отозвался Бакурий.

— Этот старый волк окопался, точно барсук,— заметил Стилихон.

— И дал возможность солдатам отдохнуть,— прибавил Гайнас.

Феодосий, скрестив руки на груди, осматривал местоположение. Горы в этом месте не были ни высоки, ни обрывисты. Они сливались покатой линией с равниной, тянущейся вплоть до Аквилеи. Переправа войска не представляла никаких затруднений. В долину можно было попасть тремя широкими удобными проходами.

Осматриваясь вокруг, император составлял план битвы. Его сухое, бритое лицо точно окаменело от напряжения. Он был так занят своими мыслями, что не слыхал даже замечаний вождей. Только изредка его черные большие глаза сверкали живее да вздрагивали тонкие губы.

Вдруг его высокий лоб покрылся гневными морщинами.

— Юпитер? — спросил он, указывая рукой на белую статую, которая светилась на вершине соседней горы.

— Флавиан осквернил все вершины Юлийских Альп статуями этого демона,— отвечал Фабриций.

Феодосий закашлялся, точно его что-то душило, потом обратился к своим подчиненным и сказал:

— Завтрашний день будет днем молитвы и отдыха. Послезавтра Фабриций с гуннами и сарацинами обой-

дет горы и очистит вход в долину. С воеводой пойдет граф Гайнас с своими готами. Если Арбогасту удастся расстроить ряды готов, то граф Бакурий пополнит их иберийцами.

— А римляне?

Вожди в изумлении переглянулись друг с другом.

Вопрос этот выкрикнул молодой Аларих, который стоял, прислонившись спиной к скале.

— Я спрашиваю, какую часть ужасного дня ты предназначаешь для своих легионов, римский император? Ведь послезавтра должны решиться судьбы Римского государства?

Лицо Феодосия покрылось румянцем.

— Ты еще не имеешь права голоса в совещании вождей. Ты еще не король,— проговорил Феодосий беззвучным голосом.

— Ты хочешь, чтобы это случилось еще сегодня? — воскликнул Аларих, поднимая гордо голову.

Феодосий побледнел.

Князь не хвалился бы без основания. Готы уже несколько раз предлагали ему корону, но он ее не принимал, щадя старого короля. От него самого зависело протянуть руку за короной и скипетром и расторгнуть союз, заключенный с императором. Присяга предшественника не была обязательной для его преемника.

— Князь,— отозвался теперь Фабриций.— С неба на нас глядит Христос и во второй раз умирает на кресте, измученный раздорами своей паствы. Не забывайте, что в ваших руках находятся судьбы нашей святой веры. С Арбогастом идут языческие демоны, нас же ведет истинный Бог.

Воевода стал на колени перед князем.

— Не задерживайте торжества Христа! — умолял он.

Аларих колебался. И он был христианином, хотя придерживался ереси Ария, занесенной к готам священниками, которых сторонники святого Афанасия изгнали из пределов Империи.

Наконец он вздохнул и сказал:

— Послезавтра кровь моего народа обильно оросит эту несчастную долину, но пусть свершится воля Бога.

Солнце как раз в эту минуту заходило за горы, окруженные венцом пурпурных облаков. Розовый отблеск окрасил все выступы скал и разлился над долиной в зеркале реки.

XIII

В глубине долины стоял Арбогаст, окруженный своей свитой. С верха палатки свешивалась длинная красная полоса — знак войны; над головой короля развевалось красное знамя — знак битвы.

Опершись правой рукой на меч, старый вождь молча и сосредоточенно в последний раз пытливым взглядом окидывал боевой строй.

Ни одна морщина не хмурила его чела. Он был вполне доволен.

Пехота франков, вступивших в союз с Римом, расставленная двенадцатью рядами в шахматном порядке, перерезала всю равнину, начиная от реки Фригида, вплоть до подошвы гор; перед ним, на той же самой линии, направо и налево, на высоких насыпях, сверкали гигантские баллисты; за ним, охраняя лагерь и обоз, расположилась галльская конница. Правое крыло прикрывали аллеманы, левое — свободные франки.

Римского императора не было в долине. Арбогаст приказал Евгению занять с римскими легионами ближайшие холмы и следить за битвой издали. Римляне должны были прийти на помощь только в случае, если бы неприятель расстроил ряды франков.

Арбогаст осматривался вокруг со спокойным сознанием силы, уверенный в победе. Более ста больших и малых битв он выиграл с своими франками и до сих пор еще ни разу не убегал с кровавого поля битвы.

Почему же ему теперь следует уступить пока еще сомнительной силе противника? Он сделал все, что требовала опытность старого вождя. Он выбрал превосходное место, дал солдатам время отдохнуть, снабдил машины достаточным количеством метательных снарядов. Правда, Феодосий привел с собой такие толпы, каких не видели со времени Траяна, но и он усилил свое войско наемниками. С ним пришли свободные франки и аллеманы, более полезные в бою, чем гунны и сарацины.

По опыту великих полководцев Рима он поставил свою пехоту в тройном порядке. Если неприятель сломит первый ряд, то его заменит второй, а битву в самом безысходном случае решит третий. Так поступали Сципион, Эмилий, Юлий Цезарь и всегда оставались победителями.

Арбогаст поднял руку кверху. По этому знаку трибуны вынули из-за пояса восковые таблички.

— Если авангард Феодосия откроет проход в долину, то пусть его удержат лучники и пращники,— диктовал Арбогаст.— Копейщики не тронутся с места, даже если неприятель приблизится к ним на длину меча. Кто выйдет из шеренги до сигнала, тот будет изменник. Одновременно с первыми сигналами конница свободных франков начнет развертываться вдоль гор, а аллеманская — вдоль реки, двигаясь вперед полукругом. Вспомогательная пехота останется на месте.

От свиты короля отделилось несколько трибунов и трубачей. Гонцы понесли распоряжение вождя его подчиненным.

Арбогаст сел на коня и поскакал на другой конец долины.

Здесь, у преддверия Юлийских Альп, разделенные на три части, стояли дети Италии.

Флавиан довел до Медиолана лишь только половину воинов. Остальные отстали по дороге, пораженные солнцем, обессиленные трудным походом.

За средним отрядом возвышался дорожный жертвенник, с которого струилась душистая лента голубого дыма. Флавиан собственной рукой сыпал на огонь благовония.

Арбогаст приблизился к префекту и наклонился к нему:

— Твои новобранцы не выдержат первого натиска неприятеля. Жаль этих бедных, которым прялка более идет к лицу, чем меч.

Губы Флавиана болезненно вздрогнули.

— Если не настаиваешь, позволь мне ослушаться тебя,— сказал он.— В бою за старых богов Рима римляне должны гибнуть первыми.

— Да если бы они погибли!.. Но они побегут.

— Король!

Римлянин с укором посмотрел на варвара.

Арбогаст пожал плечами.

— Не оскорбить тебя я хотел, а спасти. Делай, что ты считаешь своей обязанностью, как и я сделаю, что найду нужным. Помни, однако, что я нисколько не рассчитываю на твою помощь. Ты можешь отступить в каждую минуту.

Когда Арбогаст удалился, Флавиан накрыл голову плащом и наклонился над жертвенником. Если бы не присутствие свиты, он бросился бы на землю и в громкой жалобе излил бы все горе, накопившееся в сердце.

Целых два месяца он испытывал только унижения и разочарования, оскорбляющие его римскую гордость. Римские воины падали на дороге, убегали ночью, не хотели работать на окопах, учение отбывали лениво. Наказанные грозили сотникам местью.

Флавиан уже не обольщался. Народ, который не умеет волей подкрепить свою силу, теряет право стоять во главе мира.

Римлянин, сын войны и воздержанности, понимал это.

— Если решено на вашем совете, о неблагодарные боги,— шептал Флавиан,— чтобы мы уступили новым народам господство над миром, дозвольте нам по крайней мере без позора сойти с арены истории. Будьте к нам еще раз, последний раз, снисходительны и пошлите нам почетную гибель.

Он прижал руки к груди.

— Избавьте свой народ от насмешек варваров, о боги Рима! — молил он со всем отчаянием наболевшей души язычника.

К жертвеннику приблизился Галерий.

— Вождь, сверху доносится подозрительный шум,— сказал он.

Флавиан сбросил плащ с головы.

Хотя солнце давно стояло над долиной, ни малейший шорох не обнаруживал близости неприятеля, расположившегося по другую сторону Юлийских Альп.

Горы, окруженные голубоватым, прозрачным туманом, стояли тихие, сонные, как будто наслаждаясь теплом и блеском погожего дня. Даже ветерок не колыхал верхушки елей.

Из глубины прохода доносился протяжный свист, смешанный с неопределенными звуками. Флавиан дал знак трубачам.

— Трубить в буйволовые рога! — скомандовал он.

Угрюмые звуки отразились от скал и разлились по долине. С двух сторон, с запада и севера, им отвечало замирающее вдали эхо.

Флавиан тихо ехал вдоль фронта войска, поставленного так же, как и франки Арбогаста. Только здесь сзади, прямо за последней шеренгой, расположилась регулярная конница.

— Тысяча лет славы и побед смотрят на вас, римляне! — восклицал Флавиан.

Знаменосцы несли перед ним статуи Юпитера и Геркулеса, музыка играла гимн Италии.

Страшный шум в ущелье все увеличивался. Слышался свист, вой, точно надвигалось огромное стадо диких зверей.

Римляне переглядывались друг с другом. Первый раз в жизни им, здоровым, молодым, приходилось встречаться со смертью.

— Как ты бледен! — сказал сосед соседу.

— И ты... и ты...

Флавиан занял свое место между пехотой и конницей.

Он забыл о своих заботах и сомнениях. Он слышал приближение врага. Теперь уже не было времени для жалоб и молитв.

У входа в ущелье показалось несколько всадников. Они сидели на маленьких лошадях с косматыми гривами. Черные косые глаза сверкали на их желтых лицах, густо обросших волосами. На голове у них были бараньи шапки, на плечах кожаные плащи.

Флавиан крикнул:

— Слушай!

Сигнал главного вождя донес его приказ до первых шеренг. Его подхватили трубы трибунов и сотников. Команда шла вдоль строя.

Воющая толпа, вооруженная длинными копьями, короткими дротиками, топорами и палицами, спускалась в долину тремя скалистыми проходами. Сойдя вниз, она раскинулась цепью по обе стороны гор.

Римляне с бьющимися сердцами присматривались к диким фигурам, которые двигались с быстротой мошек.

Сзади опять раздалась труба Флавиана.

— Стрелки, слушай!

Лучники и пращники дрожащими руками стали натягивать тетиву и накладывать на нее камни.

В ту же минуту земля загудела, поднялись клубы пыли. Гунны летели прямо на римлян.

Те, перепуганные, пускали стрелы, бросали камни, не смерив даже глазом пространства, но когда же, спохватившись, посмотрели вперед, то пришли в изумление. Неприятель отступал назад с поспешностью, которая походила на бегство.

Подобное примерное нападение они повторили несколько раз, и всякий раз молодые солдаты стреляли слишком рано. Метательные снаряды безвредно пролетали над головами гуннов.

С каждым разом неприятель приближался все ближе и ближе. В передние ряды уже попало несколько дротиков.

В то время из прохода показались сарацины.

Закованные с ног до головы в железо, они сверкали издали, точно светящиеся жуки. Закрытые гуннами, они беспрепятственно проникали в долину.

Подвижные кочевники нападали и отступали, держа внимание римлян в постоянном напряжении. Стрелки Флавиана неблагоразумно тратили свои снаряды, копейщики стояли безучастно.

А дротики гуннов сыпались все чаще, все метче.

Спереди, с гор, донеслись три короткие, открывистые звука рогов.

Цепь гуннов лопнула пополам и с необычайной быстротой свернулась в два клубка.

В открытом поле показались три колонны, построенные клином. Во главе средней сверкало золоченое вооружение начальника.

Регулярная конница Италии узнала в нем своего бывшего вождя.

Снова раздалась команда Флавиана:

— Слушай!

Вдоль фронта полетела команда трибунов и сотников:

— Сомкнись!

Римляне, вместо того чтобы соединиться, бледные, беспомощные, лишь оглядывались назад.

Фабриций поднял меч кверху — колонны двинулись: сперва тихо, тяжело, как большая птица в начале полета, потом все быстрее, быстрее.

— Сомкнись, сомкнись! — слышалась команда.

— Копейщики, вперед! — дал сигнал трубой Флавиан.

Страх отнял у римлян присутствие духа. Копейщики, оттесняемые стрелками, напирали на мечников, мечники смешивались с арьергардом.

А три громадные железные тарана приближались со всего разбегу. Земля стонала, оружие стучало, лошади храпели.

Напрасно раздавалась команда, звучали трубы. Охотники, пораженные ужасом, сбились в кучу, как всполошившиеся овцы.

Сарацины сразу ударили в трех местах на римский четырехугольник. Первый ряд рассыпался без всякого сопротивления, второй заколебался, только третий, поддержанный конницей, остался в порядке.

Но мечи сарацин уже начали свою работу. Они падали сверху на римскую пехоту, пробивали одним ударом кожаные шлемы и панцири.

— Спасайся, кто может! — простонал чей-то отчаянный голос.

— Спасайся! — подхватили другие голоса.

Римляне бросали оружие, щиты и показывали неприятелю тыл, напирая на третий ряд.

Труба главного вождя замолкла, не стало слышно команды трибунов. Проклятия сотников смешивались с криками солдат.

Страх трусов передался и храбрым. Рассыпались и остальные сомкнутые шеренги, порвалась цепь регулярной конницы.

Римляне в паническом страхе бежали с поля битвы.

Фабриций не преследовал их, он исполнил только то, что было ему приказано. Он открыл проходы Юлийских Альп, очистил дорогу для готов, поэтому остановил сарацин и стал ждать сигнала от Гайнаса, который как раз в это время показывался из прохода.

Но гунны, жадные к легкой добыче, погнались за римлянами.

Флавиана унес конь, подхваченный людской волной.

Когда старик успел наконец остановить разъяренное животное, он был уже далеко от места поражения. Он осмотрелся вокруг: защитники народных богов бежали в беспорядке. И два других отряда подверглись той же участи, что и первый.

Вокруг себя Флавиан видел только нескольких молодых патрициев, принадлежащих к его свите.

— Доведите до сведения Арбогаста о нашем позоре,— сказал он надломленным голосом.

— Мы не покинем тебя, вождь! — отвечали патриции.

— Я иду в дальний путь.

— И мы погибнем с тобой, вождь.

Флавиан сложил руки на гриве лошади и опустил голову.

Рухнули все его надежды; храм римской славы погиб от единого толчка сильной руки, как жалкая мазанка бедняка. И уж никогда не воздвигнется этот храм, ни-

когда... Буйные вихри расшатали его, века изгрызли его стены, дряхлость наклонила его к земле.

Напрасно патриоты старались пробудить прежнюю доблесть квиритов, поднять то, что упало, оживить то, что умирало.

Флавиану казалось, что он слышит за собой насмешливый хохот варваров.

— Нет, они не погибнут... они побегут,,,— издевались новые люди.

Закрытые глаза Флавиана наполнились слезами. Две большие холодные капли тихо скатились по лицу последнего вождя языческого Рима.

И в эту ужасную минуту душа его ясно увидела все. Теперь он знал, что обольщал себя, что хотел вдохнуть жизнь молодости в тело дряхлого старца.

И вдруг с глаз римлянина спала завеса, до сих пор мешавшая ему заглянуть в будущее.

Уже почти четыреста лет христианство с терпеливостью крота подкапывалось под здание общественных учреждений греко-римского мира. Преследуемое, унижаемое, спустившееся до низших слоев населения, оно потихоньку все двигалось и двигалось вперед, жертвами и мужеством завоевывало себе одну пядь римской земли за другой, становясь с каждым поколением все сильнее и с каждым столетием все увереннее. Оно охватило уже весь Восток, на Западе оторвало от народных богов необъятное число сердец, пробилось в темные леса варваров... Ему противились только Италия и Греция.

Греция вот уже несколько веков, как обратилась в торгаша, гистриона, музыканта и ритора цивилизованных людей, а Италия?..

Грудь Флавиана поднялась от глубокого вздоха.

Италия без битвы отдала свои знамена в руки варваров. Народ, который забыл, как умирают для славы, сам себя сверг с трона предков. Только презрение к смерти и к земным благам, только горячая любовь к долгу и гражданская дисциплина дают право повелевать человечеством.

Флавиан в данную минуту совершенно ясно видел будущее, видел, чувствовал, осязал его. Если даже Арбогаст одолеет Феодосия, он победу одержит не для Рима. Заслуженные плоды кровавой нивы соберут франки, аллеманы, галлы, а эти франки, аллеманы и галлы не

могли благосклонно относиться к прошлому Рима, который всегда отказывал им в человеческих правах. Их богом не был Юпитер, снисходительный только к квиритам. Раньше или позже они бросятся в объятия покровителя обездоленных, разрушителя римской обособленности. Если они до сих пор еще не сделали этого, то только потому, что до них еще не достигли лучи галилейского солнца.

Горе одарило Флавиана ясновидением.

Свежие, здоровые племена со всех сторон окружили одряхлевший Рим, а над шумящими волнами этих новых владык мира, в блеске торжества сиял Крест, победный символ новых понятий, представлений, добродетелей и обязанностей.

Флавиан поднял руки к небу и воскликнул громким голосом, полным отчаяния и ненависти:

— Ты победишь, галилеянин!

С поля битвы прямо на него мчалась толпа гуннов.

Он мог избежать их... Еще было время... Но он не хотел смотреть гаснущими глазами старца на позор своего народа, не хотел быть немым свидетелем торжества галилеян.

Он достал меч, стиснул коленями лошадь и бросился в самую середину толпы. За ним последовали молодые патриции.

Некоторое время пурпуровая тога Флавиана еще алела на грязном фоне движущейся массы, еще блестело золоченое вооружение его товарищей. Но темные кожаные плащи варваров были так многочисленны, что вскоре покрыли и тогу и вооружение.

Последний вождь языческого Рима без жалоб умер под топорами гуннов.

Арбогаст видел бегство римлян и ничуть не встревожился поражением авангарда. Еще в Медиолане, когда Флавиан представил ему свое войско, он исключил его из планов битвы.

Ему нисколько не были важны Альпийские проходы. Он знал, что ему не миновать битвы с Феодосием не на жизнь, а на смерть, что он должен победить его, и предпочитал это сделать в открытом поле, где его движений не связывали бы никакие препятствия, где он мог бы развернуться и биться до конца.

Равнодушно он смотрел на готов, которые в таком множестве выходили из проходов, что вскоре заполнили

все подножие восточной гряды гор. Он приказал итальянским беглецам отступить в укрепленный лагерь, чтобы они не мешали ему, и терпеливо ждал событий.

И его франки держались так спокойно, как будто присутствовали при самом обычном зрелище.

Перед ним Гайнас ставил в боевой порядок готскую пехоту, Аларих приводил в порядок конницу. Скоро зазвучит рог войны, и смерть начнет свою ужасную жатву — тысячи человеческих сердец перестанут биться навсегда, а франки, став на одно колено, опершись головами о щиты, шутили вполголоса, забавляясь видом противника. Одетые и вооруженные по-римски, они смеялись над варварским вооружением готов.

— Феодосий отворил все свои хлева, чтобы у нас не было недостатка в мясе,— передавали они друг другу.

Готы, зашитые в кожи, вывернутые волосом кверху, с турьими рогами на головах производили издали действительно впечатление огромного стада быков.

Но эта «скотина» обученная в римской школе, с вниманием и быстротой регулярного легиона подчинялась сигналам и команде. Нестройные толпы начали принимать определенные формы. И Гайнас поставил свое войско четырехугольником в три линии.

Несмотря на искусство вождей и солдат, прошло несколько часов, пока клубки готов размотались. Франки беспрепятственно съели обед, который разносили рабы.

Солнце прошло уже три четверти своего дневного пути, когда на равнине прекратился шум передвигающихся отрядов.

Теперь и Арбогаст выехал к войску. Он ехал на пегом коне в пурпуровой тоге, с королевской короной на золотом шлеме. Перед ним несли красное знамя, украшенное изображением непобедимого Геркулеса. За ним следовали блестящая охранная стража главного вождя и толпа трубачей с львиными пастями на голове.

Он полным галопом проскакал по всему фронту, но не обращался к солдатам, не воспламенял словами их мужества. Он хотел только своим присутствием напомнить войску, что заботится о его безопасности.

Там, где стоял отряд, отличившийся в прежних боях, Арбогаст останавливался и склонял свой меч. Немой почет знаменитого вождя производил впечатление более сильное, чем самые красноречивые слова. Солдаты вспыхивали от радости и благодарили своего короля взглядами, полными преданности.

Аргобаст, сделав последний осмотр, вернулся к своей палатке. С высокой насыпи, находившейся на самой середине между франконской пехотой и галльской конницей, он охватил взглядом все поле.

Над долиной, до сих пор полной шума и криков, теперь воцарилась тишина. Готы были неподвижны, франки на коленях стояли в глубоком молчании. Они уже не шутили и, затаив дыхание, ждали сигнала.

С трех сторон на вооруженные войска смотрели горы, все такие же сонные, ленивые, окутанные голубой мглой. Казалось, и они сознавали важность минуты.

Как полевой мак над нивой, так над войском Арбогаста колебались красные знамена римской пехоты. Тут и там сверкал золотой орел или белела статуя Юпитера.

Над войском Алариха блестели монограммы Христа, похожие на огненные звезды.

Язычество и христианство, прошлое и будущее были готовы к битве.

Вдруг тяжелую тишину нарушили буйволовые рога готов. Глухой звук пронесся по всей долине. Отраженный западным склоном гор, он вернулся и расплылся над войсками.

Альпы проснулись, леса ожили, воздух задрожал. Эхо, повторяемое горами и лесами, разнесло ужасную песнь войны. Точно заглушенный плач невидимых существ, прерываемый вздохами, раздался над долиной.

Снизу к нему примешивался стук оружия. Готы двигались вперед. Они шли без крика, ровным шагом, держа перед собой большие щиты, покрытые кожей. Из массы пехоты выделялись всадники. Орлиные крылья на шлемах начальников то развертывались, то складывались вновь.

Франки не трогались с места. Лучники Арбогаста, лучшие стрелки того времени, измеряли взглядом пространство; копейщики даже не приготовили дротиков, воткнутых острием в землю.

Мерил взором пространство и старый король. Прикрыв глаза рукой от солнца, он глядел из-под нахмуренных бровей на кишащий перед ним муравейник. Его ноздри дрожали, губы сжались, орлиный нос загнулся еще больше.

Из равнины уже явственно доносился стук оружия.

— Машины! — крикнул Арбогаст.

Пронзительный звук рожка передал приказ вождя ближайшим трубам. Резкие звуки побежали направо и

налево, а следом за ним заскрипели машины. Град камней пролетел над головами франков прямо на готов. Щиты трещали, мечи ломались; люди и лошади падали, как пораженные молнией.

Пехота Гайнаса без команды подняла щиты кверху, образовав над собой подобие крыши. Но обломки скал были так велики и вылетали из машин с такой силой, что раздробили даже железные доспехи.

Гайнас знал об этом.

— Спеши, спеши,— говорили его рожки.

Под не перестающим ни на минуту градом метательных снарядов готы шли на штурм ускоренным шагом. Метательные машины Арбогаста рвали их ряды, а они двигались вперед сильнее самой смерти.

Но их остановил сигнал вождя.

Они остановились... Неприятель был уже перед ними...

На несколько секунд снова воцарилась тяжелая тишина, потом воздух загудел...

Солнце затмилось какой-то густой сеткой. Лучники и пращники с обеих сторон начали свою кровавую работу.

Повсюду скрещивались стрелы, свистели мелкие, круглые камни, а сверху на готов падал губительный дождь, с глухим треском летящий на щиты последующих рядов.

Франконские копейщики и мечники еще в полном порядке стояли, преклонив колени, когда вдоль фронта готов раздалась команда «Сомкнись».

Стрелки Арбогаста не могли промахнуться.

Поражаемые сверху и спереди, готы нетерпеливо ожидали сигнала к рукопашной битве. Гайнас держал их на привязи, а они так и рвались в бой. Лица воинов побледнели от бешенства. Глаза варваров налились кровью, руки их судорожно сжимали рукоятки мечей.

Сколько их товарищей валялось на земле!.. Ряды таяли с поражающей быстротой... Кто бы мог устоять против стрелков Арбогаста? Быстрокрылый орел, легконогий олень и тот не избежит их стрел.

Наконец...

Трубы издали четыре звука — два коротких, два длинных.

— Копейщики, вперед! — командовал Гайнас.

— Вперед, вперед! — вторили трубы Арбогаста.

Из сотни тысяч диких, переполненных ненавистью грудей вырвался военный крик,

— Христос и Феодосий! — кричали готы.

— Юпитер и Евгений! — отвечали франки.

И два воинственных германских племени ринулись друг на друга для славы римского имени.

Лучники и пращники отступили назад за первый ряд; франконские копейщики поднялись с колен; туча дротиков снова затуманила солнце.

Раздался стук железа, ударяющегося о железо. Копейщики взялись за мечи, оружие сцепилось с оружием, грудь с грудью.

По всей линии закипел яростный, беспощадный бой, точно сражавшиеся знали, что от их мужества зависит судьба далеких поколений, что они сражаются на переломе двух эпох. Гот набрасывался на франка с бешенством варвара, франк оборонялся от гота с хладнокровием опытного солдата, который не тратит сил без надобности.

Место копейщиков Арбогаста заняли его мечники. Их доспехи были украшены медалями, свидетельством побед; их обнаженные руки были покрыты шрамами, следами многих битв.

Они шли под звуки музыки, провожаемые взглядами Арбогаста.

За их движением следила пара холодных, пытливых глаз, которые видели все.

Старые воины чувствовали на себе взгляд любимого вождя.

«Не бойся! Мы не обманем твоего доверия, отец войска»,— говорили их угрюмые лица.

Страшны были удары их длинных обоюдоострых испанских мечей. Первая линия готов дрогнула, как подрубленное дерево.

— Сомкнись! Сомкнись! — поддерживали их трубы Гайнаса.

— Бей, убивай! — подхватывали греческие музыканты Арбогаста.

Копейщики другой линии готов с яростью бросились на франконских мечников. Но этот крик не напугал поседевших в бою воинов. Покрытые пылью, обрызганные кровью, они все двигались вперед, врезаясь все глубже в трепещущее тело христианского войска.

По долине, с одного конца на другой, теперь безустанно переливался грохот битвы. Крик людей, ржание лошадей, стук оружия, звуки музыки, треск машин, голоса команды — все слилось в однообразный шум, ко-

торый с ревом морских волн, вздымаемых вихрем, отражался от гор и лесов. Время от времени из этого шума выделялся точно протяжный стон исполинской груди.

Два римских императора с двух противоположных холмов смотрели на это ужасное зрелище. Феодосий и Евгений, окруженные легионами Империи, вручили свою судьбу варварам.

Увлеченные пылом битвы, сражавшиеся не заметили, что солнце постепенно сходило с небосклона. Тени малопомалу охватывали восточную гряду Альп и лагерь язычников. Свет падал только на западную половину долины, где люди сплелись в клубок и убивали друг друга без всякой команды.

Бешенство готов не одолело хладнокровия франков.

Напрасно рожки Гайнаса призывали к порядку, напрасно графы и воеводы бросались вперед.

Солдаты, изнуренные далеким походом, осыпаемые снарядами баллист Арбогаста, поражаемые его мечниками, стрелками и лучниками, слабели, путались и расстраивали ряды.

Этой минуты только и ждал Арбогаст. С двух сторон, с юга и севера, готов стиснула его вспомогательная пехота. Теснимые отовсюду, фланги войска разорвались и были отброшены к центру.

Еще раз к небу вознесся страшный крик, последние проклятия погибающего войска, еще раз оружие померилось с оружием, победитель с побежденным; потом замолкли и крики и сигналы.

Готы отступили с поля битвы.

Бакурий с своими иберийцами чересчур поздно показался в тылу христиан. Прежде чем он успел водворить какой-нибудь порядок, на него с правой и левой стороны ударила вспомогательная конница Арбогаста.

Последние лучи заходящего солнца озарили триумф свободных франков, которые оканчивали свое кровавое дело.

Десять тысяч готов, не считая сарацин, гуннов и иберийцев, устилали своими трупами равнину.

Буйволовые рога Арбогаста положили конец битве.

Язычники с радостными криками возвращались в лагерь, чтобы насладиться действительно заслуженным отдыхом.

Только галльская конница не сходила со своего места. Она не участвовала в битве и терпеливо ждала сигнала,

К ней-то и приблизился Арбогаст и позвал ее начальника.

— Приказывай, божественный государь,— отозвался воевода Арбитр, тот самый, которого король как-то обидел в Тотонисе.

— Ты сейчас же двинешься вдоль берега реки,— сказал Арбогаст,— обойдешь с юга восточную гряду Альп и замкнешь с другой стороны все проходы. Завтра, после восхода солнца, ты придвинешься к самым горам. Когда твоя стража донесет, что началась битва, ты вторгнешься в долину и отрежешь неприятелю отступление. Сделай это хорошо, Арбитр, и я награжу тебя саном графа.

— Прежде чем зайдет луна, я буду по ту сторону Альп,— отвечал Арбитр и тотчас же дал знак к выступлению.

Ночная темнота быстро спускалась с гор, набрасывая на дело человеческой злобы серый покров. Где еще час назад свирепствовала буря войны, там теперь воцарилась торжественная тишина ночи.

На холме, занятом Евгением, засверкали многочисленные огни. Римский император благодарил богов за победу.

Феодосий сидел в своей палатке, на кресле из слоновой кости, окруженный князьями, графами и воеводами. На его призыв не явился только один Бакурий — он предстал уже перед более могущественным Владыкой. Храбрый граф погиб во главе иберийцев.

— Твоя божественность спрашивает нашего совета? — удивился Стилихон.— Если бы ты хотел послушаться голоса благоразумия, то приказал бы нам сняться лагерем. Чем скорее мы покинем эту несчастную долину, тем лучше для нас и тебя. Арбогаст не пойдет за нами во Фракию.

— И я разделяю мнение Стилихона,— сказал граф Тимазий, единственный римский вождь при римском императоре.— Мы потерпели столь ощутительное поражение, что солдатам нужно дать отдых. Когда раны готов заживут, у нас будет время для расплаты. Мы вернемся через год, два, с новыми, свежими силами и отомстим за сегодняшний день.

— А ты, Гайнас? — спросил Феодосий.

— Ты купил наши мечи для войны с Евгением,— отвечал вождь готов.— Твое дело приказывать, наше — ис-

полнить договор, хотя бы ни единый гот не вышел из этих проклятых гор.

Феодосий молчал. После долгого молчания он сказал:

— Оставьте меня одного.

Когда вожди покинули палатку, он вскочил с кресла и с бешенством крикнул:

— Где же ты был, Христос? Ведь этот старый волк душит Твоих овец. Твои же поклонники гибли под Твоими знаменами, а Ты...

Лицо его дрожало, как во время угроз Алариха.

— Епископы учили меня, что Ты могущественнее Юпитера, Марса и всех богов Олимпа. Где же Твое могущество, Твоя сила, Твоя справедливость? Амвросий уверял меня, что Ты будешь со мной. Я не вижу Тебя, не слышу, не чувствую. Неужели Ты всегда будешь Богом нищих и трусов, с покорностью невольников лобзающих ноги язычников? Дай мне знак Твоей силы, чтобы я мог в Тебе...

Он остановился и побледнел... обхватил голову руками и простонал дрожащим голосом:

— Прости меня, Боже. Прости отчаявшемуся его безумие, забудь мое богохульство, ибо Ты знаешь, что не для себя я жажду победы. Я хочу вознести Твое знамя, водрузить превыше всех его царственных венцов этой земли, дабы Тебе поклонялись многие народы и правнуки наших правнуков.

— Однако... Ты все-таки должен был быть с моими готами! — вновь вскипел Феодосий, хмуря брови.— Они сражались за Тебя. Почему Ты не был с Гайнасом?

— Мой грех, мой грех, мой великий грех! — шептал он через минуту, ударяя себя в грудь.— Прикажи, о Господи, моему сердцу быть покорным и терпеливым.

В душе Феодосия учение Христа боролось с его врожденной неукротимостью. То одно, то другое брало верх поочередно.

Великий император обладал той же самой живой искренней верой, которая вела первых христиан на арену амфитеатров и заглушала в них страх перед мучительной смертью. Он любил Христа, как Амвросий и Фабриций, и отдал Ему все свои помыслы. С той минуты, как он вступил на трон, он только и думал об окончательном торжестве нового Евангелия, и в Аквилею пришел в полном убеждении, что Христос потребовал от него окончательной расправы с язычниками, только потому он и приказал тотчас же ударить по Арбогасту, хо-

тя, как опытный солдат, не относился легкомысленно к силам противника.

— Христос будет со мной,— верил он, точно ребенок.

Потерпев сильное поражение, он очутился в положении человека, внезапно свергнутого в пропасть. Вокруг себя он не видел ничего—ни расщелины, в которую проникал бы свет, ни ветки, за которую бы мог ухватиться. Он все глубже падал в темную пропасть и терял сознание.

Он хорошо знал Арбогаста. Мстительный франк, оскорбленный в том, что считал своим правом, не остановится на половине дороги. Если он победит, то уничтожит дело христианских императоров, хотя бы только для того, чтобы досадить ему.

Неужели в западных префектурах снова должен был воцариться прежний порядок? Неужели язычники будут опять оскорблять Христа своими суевериями?

При одной мысли об этом его ревностная вера приходила в неистовство, его страстная испанская кровь кипела ключом.

— Этого быть не может, этого никогда не должно быть, никогда,— повторял он и метался по палатке.— Где ты был, Христос?.. Прости меня... Почему?.. Смилуйся надо мной... Мой грех, мой грех, мой великий грех!

Он бросился на ковер и начал молиться отрывистыми словами.

Он молился не за себя. Если Арбогаст оторвет от Империи западные префектуры, ему все-таки останется столько земли и народов, что он не перестанет быть могущественным государем.

Впрочем, он уже не жаждал земного блеска. Проведя почти всю жизнь на коне, в лагере, под градом метательных снарядов, он устал от постоянных битв и кровопролития. Он хотел последние свои дни посвятить Богу, вдали от дел государства. Иоанн Пустынник предсказал ему преждевременную смерть.

Если такова будет воля Христа, он без сожаления, в расцвете сил, ляжет в склеп Константина, где он приготовил себе скромное ложе, но перед смертью пусть его глаза еще раз возрадуются торжеству Креста.

— Освети меня, Господи! — умолял он.— Скажи, что мне делать. Смилуйся над Своей паствой. Не презри тех, кто на Тебя уповает. Будь Богом сильных, счастливых... Столько слез уже пролилось для Твоей славы.

И он бился головой о землю.

Когда он лежал, бессильный, покорный, угнетенный страданием всего христианства, в его душу мало-помалу начало спускаться спокойствие. Ему казалось, что кто-то мягкой дланью касается его разгоряченной головы, охлаждает ее, снимает с нее всю тяжесть забот.

— Это Ты, Господи? — проговорил он шепотом.— Я верю в Тебя, верю, верю. Прости мне мою человеческую гордыню. Грешил не Твой сын, а император и солдат. Воззри милосердно на Своих детей, и я буду таким же смиренным, милосердным миротворцем, как и Ты. Я не буду мстительным, не запятнаю руки кровью слабых или побежденных. Я прошу всех, как Ты, чтобы Твои враги благословляли Тебя.

Он встал и приказал позвать военачальников.

— Завтра с рассветом,— сказал он, когда князья, графы и воеводы предстали перед ним,— Гайнас во второй раз вступит в бой с Арбогастом.

Вождь готов склонил голову в знак повиновения.

В это время в палатку вошел Фабриций, который был назначен начальником ночной стражи.

Он остановился на пороге и ждал.

Феодосий, заметив его, спросил:

— Ты принес какое-нибудь неожиданное известие?

— Неприятель отрезал нам отступление, божественный и вечный государь,— ответил Фабриций.— Вся галльская конница замкнула Альпы с восточной стороны.

Вожди с укором посмотрели на императора.

— Я советовал торопиться,— сказал Стилихон.

— Арбогаст передушит нас, как лисиц, захваченных в яме,— прибавил Тимазий.

— Будет то, что решил наш Господь Иисус Христос,— сказал Феодосий спокойным голосом.

И, обернувшись к Фабрицию, он спросил:

— Ты знаешь имя начальника галлов?

— Над галльской конницей начальствует Арбитр.

— Арбитр?

Феодосий задумался на минуту.

— Какой-то Арбитр два года тому назад обращался ко мне,— сказал он.— Он хотел служить под моими знаменами. У него было какое-то столкновение с Арбогастом.

Он взял со стола навощенную табличку, начертал на ней палочкой несколько слов и вручил ее Фабрицию.

— Отнеси этому Арбитру мой привет и назначение на должность графа Галлии. Его трибунам от моего имени обещай золотые цепи, а солдатам щедрую награду. Да вдохновит тебя Христос силой убеждения. Если тебе удастся привлечь Арбитра на нашу сторону, то велика будет твоя заслуга перед истинным Богом. Мир с тобой!

Фабриций помнил Арбитра со времени первой молодости. Он служил вместе с ним в дворцовой страже, а потом в качестве трибуна в том же самом легионе. Он также знал, почему известный всем любимец Арбогаста хотел покинуть знамена своего благодетеля. Еще в Виенне Рикомер рассказывал ему о происшествии в Тотонисе, о котором говорил сам Арбитр, жалуясь на несправедливость короля.

Фабриций без опасения шел в лагерь неприятеля. Конечно, товарищ по оружию не окажет ему дурного приема. Когда-то они с Арбитром были в хороших отношениях.

Тишина ночи и только что испытанное жестокое разочарование царили над легионами Феодосия. Солдаты не болтали у костров, не шутили с маркитантками. Когда буйволовые рога возвестили час отдыха, они тотчас улеглись спать, чтобы как можно скорее позабыть о поражении минувшего дня.

В сопровождении двух лазутчиков, которые освещали ему дорогу факелами, Фабриций быстро спускался в долину. Вечерние сигналы прозвучали уже давно, а до первой линии язычников его отделяло добрых четыре римских мили. Нужно было спешить, чтобы к полуночи вернуться в лагерь.

Он молча шел за горцами, а сердечная боль терзала его по-прежнему.

То, что Арбогаст будет биться до последнего издыхания, что он прольет целое море христианской крови, прежде чем рухнет сам, в том Фабриций не сомневался. Но он никак не мог примириться с мыслью о поражении.

И его так же, как и Феодосия, по дороге в Италию согревало пламя веры, и он так же был убежден, что Бог нарочно встревожил своих верных бунтом Арбогаста и Рима, чтобы принудить их к окончательной расправе с язычниками.

Неужели это было еще слишком рано?

Фабриций не метался и не богохульствовал, как Феодосий.

Унизительное публичное покаяние, которому он подвергся, тяжелая служба в госпиталях, долгое время, проведенное в лесной тишине в обществе благочестивого пустынника, среди умерщвления плоти и духовных размышлений, больше, чем ненависть к язычникам, приблизили его к сущности учения Христова.

Медиоланский епископ хорошо знал человеческую натуру, когда решил сломить гордость молодого воеводы с помощью чрезвычайных мер. Только страдания облагораживают силу.

Выйдя из суровых рук Амвросия, Фабриций уже иными глазами смотрел на свет и на людей. Что прежде ему представлялось правдой и добродетелью, то теперь оказалось ложью и преступлением; что прежде возмущало его, то теперь пробуждало сочувствие и снисходительность.

Ревностный христианин с изумлением понял, что заповеди Христова учения лишь в малой степени коснулись своих последователей. Новая вера не отняла у человека его страстей, не искоренила гордости, зависти, себялюбия, не сравняла сильного со слабым, убогого с богатым, как повелевал Христос.

Вокруг себя Фабриций видел людскую злобу, бушующую с таким бешенством, как будто бы на земле ничего не изменилось. Человек заботился о земных благах, лгал, крал, обманывал, для удовлетворения своих похотей допускал злодейства, ненавидел ближнего — оставался таким же алчным, жестоким, беспощадным. Истинных христиан было так мало, что они тонули в толпе хищных зверей, пожирающих друг друга.

Чем больше Фабриций углублялся в священные книги и сравнивал их требования с деяниями, на которые наталкивался на каждом шагу, тем более противны становились ему все окружающие. Разногласие между верой и жизнью уничтожало его христианскую ревность. Да ведь и сам он также не исполнял требований Бога, хотя ему казалось, что он является Его избранным, Его детищем.

И только теперь ему стали понятны жалобы Сирия, укоры графа Валенса и наставления Амвросия. Он не был христианином, как не были христианами ни один из его товарищей; он не любил Христа и ничего не сделал, чтобы удостоиться живота вечного. Он любил только самого себя, свои страсти.

Одновременно с осознанием своей вины в нем росла снисходительность к чужим заблуждениям и уважение к человеческому достоинству вообще. Он, как и прежде, жаждал победы Креста и верил, что только учение Христа открывает врата в Царство Небесное; только оно одно истинно, божественно, бессмертно; но он не закрывал глаза и на достоинства язычников. Для него, просветленного истиной и справедливостью, последние римляне представлялись совершенно другими, чем прежде, когда он смотрел на них сквозь сеть ненависти. Обреченные на гибель представители великого народа жертвовали для своих традиций всем — имуществом, почестями этого мира, даже жизнью. Какая жалость, что истинному Богу не служат такие герои, как Флавиан, Симмах, Фауста Авзония...

Фауста Авзония?

Фабриций постоянно носил в сердце ее образ, но теперь это был уже другой образ, более чистый, более светлый. То, что раздражало надменного солдата, перед тем преклонялся христианин, очищенный страданиями и размышлениями. Сопротивление весталки, отказывающейся от высшего счастья женщины ради долга, окружало Фаусту орелом святости.

Фабриций теперь знал, почему весталка отталкивала его любовь, и любил ее за это еще сильнее, ибо к его чувству присоединялось уважение к ее воле, поборовшей все искушения.

Память о Фаусте сопутствовала ему по дороге в Италию. С надеждой на победу его неостывшая любовь соединяла надежду на обладание любимой женщиной. В Константинополе всем было известно, что Феодосий решил во что бы то ни стало закрыть все храмы язычников. Если бы Гайнас сегодня разбил Арбогаста, то завтра в Рим уже мчались бы курьеры с приказами императора. А эти приказы обратили бы в ничто все обеты, уничтожили бы все законы прошлого. Фауста, освобожденная от присяги, может быть, откликнулась бы на его любовь.

Фабриций, идя следом за горцами, вспоминал, как он прощался с Фаустой. В ее голосе тогда не было сурового гнева. В нем скорее слышалась сдерживаемая скорбь о чем-то желанном, но, увы, неосуществимом.

— Твоя знаменитость и дальше пойдет пешком? — спросил один из лазутчиков.— Мы уже спустились вниз.

В долине царила совершенная темнота.

Фабриций приложил руку к губам и крикнул:

— Саул!

— Это ты, воевода? — отвечал кто-то по-готски.

Через минуту возле Фабриция выросла высокая фигура с турьими рогами на голове.

— Все в порядке? — спросил Фабриций сотника.

— Неприятель до сих пор не придвинулся ближе.

— Дай мне своего коня.

Вдали мигала длинная цепь красных точек — к этим-то огонькам и направился Фабриций. Когда он приблизился к ним, его остановил грозный окрик:

— Кто там?

— Воевода Винфрид Фабриций пришел со словом мира и дружбы к воеводе Арбитру! — отвечал Фабриций.

Из мрака показались два всадника. Один из них поднял фонарь и внимательно осмотрел Фабриция.

— Проводи! — коротко сказал он своему товарищу.

* * *

Галлы, закутавшись в плащи, кучей лежали на голой земле и спали крепким сном солдат, утомленных напряженным днем. Посреди лагеря, перед не догоревшим еще костром, сидел Арбитр в полном вооружении на опрокинутом ведре. Он оперся головой на руки и дремал.

Его пробудил шум шагов.

— Что там такое? — проворчал он, протирая глаза.— Винфрид? — Он узнал воеводу.— Откуда ты и по какому делу?

— Друзья обыкновенно навещают друзей,— ответил Фабриций.

Арбитр многозначительно улыбнулся.

— Ты выбрал хорошую минуту и хорошее место для свидания,— сказал он.— Отойди в сторону! — крикнул он солдату, который привел нежданного гостя.

Оставшись вдвоем с Фабрицием, он спросил тихим голосом:

— С чем пришел ты? Времени у меня мало. Я знаю, что ты служишь у Феодосия, и видел тебя сегодня на поле битвы.

Фабриций наклонился к нему.

— Я пришел спросить, вознаградил ли тебя Арбогаст за нанесенную обиду?

Фабриций не докончил. Арбитр посмотрел на него с таким бешенством, что он приложил руку к мечу.

Воевода Галлии молчал несколько минут, закусив нижнюю губу, потом сказал:

— Тебя прислал Феодосий? Чего он хочет от меня?

Вместо ответа Фабриций подал ему навощенную дощечку.

Арбитр долго читал письмо императора. Его лоб нахмурился, рука теребила бороду.

— Это все?

— Твоих трибунов Феодосий украсит золотыми цепями, а солдат осыплет деньгами. Ты знаешь, что император сумеет быть щедрым.

Старые товарищи по оружию опять замолчали. Арбитр неподвижно уставился глазами в кровавый блеск огня.

— Что мне отвечать Феодосию? — шепотом спросил Фабриций.

Арбитр осторожно осмотрелся кругом.

— Я не знаю — это зависит не от одного меня. До завтра осталось много времени. А теперь возвращайся к своим — нас может кто-нибудь подслушать. До свидания по ту сторону гор.

Он хлопнул в ладоши.

— Проводить воеводу до последней стражи! — приказал он солдату.

Еще утренняя мгла висела над долиной, а оба войска уже готовились к новой битве.

Над восточным хребтом Альп стояло огромное красное солнце, окруженное золотистым ореолом.

— День будет ветреный,— говорил Арбогаст своим окружающим.

— Ветер охладит воздух,— отозвался старый граф Баут.— Вчера было уж очень жарко. Солдаты изнемогли под конец работы.

Туман редел и медленно падал вниз, образуя крупные капли на траве и листьях деревьев. Горы курились, точно в глубине лесов горели скрытые огни. Из-за Альп выползали черные тучи, которые быстро охватывали восточную часть неба.

— Дело идет к буре. Надо спешить,— сказал Арбогаст.

— К полудню все будет готово,— отвечал Баут.— Готского сброда остается немного, а об остальных не стоит и думать.

— Чтобы только Арбитр появился в решительную минуту.

— Он не опоздает, не упустит времени. А хоть бы он и опоздал, мы обойдемся и без него. Не хмурься, король. Бог войны с горя поступил на службу к старой, беззубой бабе, если эти быки прогонят нас за горы. Еще ни один враг не видал тыла франков.

Мгла опадала, бледное солнце точно ощупью пробивалось сквозь тучи, заполонившие всю долину.

— Ты видишь его? — спросил Арбогаст.

Баут с минуту смотрел по направлению руки короля; вытянутой к правому крылу христианского войска.

— Вижу. Страшно ему одному в долине. Он хороший солдат, только не с нами ему вступать в состязание.

Вдали, на сером фоне готской пехоты, ярким пятном светился золотой всадник, окруженный многочисленной свитой. Он ехал вдоль фронта, останавливался, что-то говорил, и ему отвечали криками.

Арбогаст презрительно засмеялся.

— Эти римляне все только болтают. Болтай себе, Феодосий, а я буду бить. Посмотрим, кто кого переговорит.

В это время с противоположной стороны заиграли буйволовые рога.

— Смирно! — приказал Арбогаст.

— Смирно! — прозвонили рожки и трубы.

— Смирно! — подхватили горы, леса и эхо.

Гайнас уже приближался со своими готами.

Повторилось вчерашнее зрелище.

Готы с удвоенной яростью бросались на франков, франки с удвоенным хладнокровием отражали готов. Два раза Гайнас возвращался на поле битвы, и два раза Арбогаст оттеснял его оттуда.

Баллисты франков, как буря, расстраивали ряды готов, удары их мечей напоминали удары молнии. Лучник попадал в цель без промаха; где останавливался мечник, там в живой стене образовывался пролом.

Гайнас сам взял знамя, его воеводы сражались и гибли вместе с рядовыми; сотники сзади били палками убегавших с битвы.

Ничто не помогало...

Арбогаст подвигался все вперед, а его свободные

франки и аллеманы заходили с правого и левого флангов, чтобы выжать остаток жизни из окровавленного тела христианского войска.

В середине долины он остановился. Пусть утомленные солдаты отдохнут, пусть соберут силы для последнего натиска. Надменный враг уже не ускользнет из страшных объятий — у подножия гор стоят галлы Арбитра.

Бдительный воевода не опоздал. Он явился в самую пору.

Феодосий видел, что Арбогаст окружил его со всех сторон, и никакая человеческая сила не освободит его из этой западни. Он погибнет со всем войском, а с ним вместе рухнет в прах и Крест, чтобы никогда не подняться.

Он протянул руки к небу и воскликнул страдальческим голосом:

— О Христос, Христос, Христос!..

С ним вместе молилось и все войско:

— Смилуйся над нами!

Все готы, иберийцы, сарацины — вся паства Христа слилась в одну молитву, и отголосок этой молитвы донесся туда, где старый король с презрительной улыбкой прислушивался к молитве враждебного войска.

— Ты меня хотел побить, ты? — шептал Арбогаст, следя за движениями Арбитра.— Лучше было бы тебе сидеть в Константинополе, в твоем раззолоченном дворце, среди тысячи евнухов и наслаждаться отдыхом после трудовой жизни, полной славы, нежели становиться на моей дороге. Мне жаль тебя, ты всегда был храбрым солдатом и справедливым вождем, но помочь тебе я не могу. Ты понапрасну погибнешь вместе с своим галилейским демоном.

Он поднял руку, чтобы дать знак к последнему натиску, но вдруг наклонился вперед и напряг зрение.

Галлы Арбитра, вместо того чтобы ждать начала боя, шли прямо к левому флангу неприятельского войска, где стоял Феодосий.

— Что делает этот глупец? — вскричал Арбогаст.

Он заметил во главе галлов Арбитра, а над ним — белый флаг, привязанный к древку знамени.

— Изменник! — крикнул он.

Арбитр, приблизившись к христианам, соскочил с коня и пал к ногам императора.

— Не поможет тебе измена этого бездельника,— говорил Арбогаст.— К работе! Повергнуть мне под ноги этот сброд! За измену этого неблагодарного пса я никого не пощажу сегодня.

Но в эту минуту произошло что-то необычайное.

Леса на горах наклонились, вода в реке закипела, как раз перед франками поднялись тучи пыли, в воздухе раздался страшный треск, как будто Альпы разрушились в прах. С востока на крыльях вихря мчалась буря со свистом, ревом и адским шумом.

— Смирно, смирно! — предостерегали рожки Арбогаста.

Но их никто не слышал.

Ветер подхватывал слабые голоса, смешивал их, разносил во все стороны.

— Вперед, вперед! — звали трубы.

Но их никто не слушал.

Ветер вырывал из рук солдата щит, сдергивал с головы шлем, сыпал в глаза песком, бил по лицу обломками сучьев.

— Сомкнись, сомкнись! — кричали сотники.

Но напрасно они старались восстановить порядок. Ряды солдат колебались, гнулись, как лес на горах, волновались, как вода в реке. Перепуганные лошади понесли всадников, люди падали и хватались за землю.

Над пехотой Арбогаста пронесся крик тревоги.

— С нами сражаются галилейские демоны! — в отчаянии жаловались язычники.

А с противоположной стороны наступали христиане. Ветер нес их стрелы и камни прямо на франков. Язычники гибли, не видя перед собой врага, беззащитные, преследуемые силой, превышающей человеческую.

Перед этой силой побледнели даже самые храбрые, самые опытные воины забыли о дисциплине. Инстинкт самосохранения превозмог гордость храбрых солдат.

Франки бежали толпами, беспорядочно, преследуемые конницей Феодосия [15].

— Не ты меня победил, Феодосий, не ты,— говорил самому себе Арбогаст.

Он сидел на стволе срубленного дерева, глядя в звездное небо.

---

[15] Такой же вихрь способствовал победе Мария в кровавой битве с кимврами и тевтонами.

У его ног шумел ручей, спадающий белой пеной в долину; вокруг него высились Альпы, тихие, задумчивые, осыпанные серебристой пылью.

С поля поражения свита увела его насильно. Когда он пробился в первые ряды, чтобы удержать перепуганных солдат, старый Баут крикнул:

— Феодосий не будет любоваться видом окровавленной головы нашего короля!

Франконские вожди окружили своего короля и принудили его к отступлению.

Целую ночь и целый день Арбогаст скитался по горам, преследуемый отголосками погони.

Его сопровождала только незначительная кучка графов и воевод, еще вчера таких могущественных, уверенных в своей силе, а сегодня таких ничтожных, не знающих, что с ними будет завтра. Грязь и пыль покрывали их золоченые доспехи, тяжелая печаль заставила опустить их гордые головы.

* * *

К вечеру другого дня отголоски погони смолкли. Буря прошла, радость победителей была насыщена.

Усталый старец мог наконец отдохнуть и собраться с мыслями.

Но не успокоительны были мысли, которые сталкивались в голове могущественного короля, внезапно низвергнутого с высот почести, власти и славы.

Еще несколько дней тому назад Арбогаст царил над многочисленным народом и обширной страной. Только от одного него зависело возложить на себя корону римского императора и сделать свою волю обязательной для всего цивилизованного света.

Он был так уверен в победе, что в первые минуты потерял даже сознание. Его войско, его старое, испытанное войско бежало, а он, до сих пор не победимый никем, скитался по дебрям, прятался в лесах и обходил села и города с осторожностью шпиона.

Как все это случилось? Ведь он сделал все, что должен был сделать человек храбрый и предусмотрительный, когда он собирается к решительной битве с могу-

чим противником. Он не забывал даже о малейших мелочах, в которых солдат может нуждаться на войне.

И его франки сделали все, что могли. Их не сломил натиск готов, их не испугали массы неприятеля. Три раза они овладевали полем битвы с хладнокровием и выправкой опытных мастеров, умирали без жалоб, падали без проклятий.

И все-таки!..

Арбогаст стиснул кулаки.

— Не ты меня победил, Феодосий, не ты!..— повторял он с упрямством осужденного, уверенного в своей невиновности.

Если бы не эта проклятая буря, Римская Империя лежала бы сегодня у его ног и умоляла бы о снисхождении. Эта буря победила его, разрушила сверкающее здание его славы, не запятнанное ни единым поражением.

Он бросил на небо взгляд, полный ненависти.

— Теперь ты, подлый предатель, молчишь и усмехаешься улыбкой размечтавшейся девы, теперь ты глядишь на землю с такой благостью, как будто никогда не видел отчаяния человека, а вчера?..

Арбогаст заскрежетал зубами.

Всю свою жизнь он повелевал, побеждал, удалял со своей дороги все, что ему мешало, и считался только с самим собой. Никогда не покидавшее его счастье не научило его покорности, не смягчило гордости владыки, рожденного на троне.

Феодосий мог сложить свое горе к стопам Бога смирения и утешиться учением веры, которая слабых любит больше, чем сильных, но для смертельно пораженной гордости язычника не было такого прибежища. Его боги, дикие, беспощадные, как их поклонники, были благосклонны только к победителям.

Тихая лунная ночь, вместо того чтобы успокоить раздраженное сердце Арбогаста, пробуждала в нем гнев, тем более яростный, что он был бессилен.

Старый король осматривался вокруг взором хищного зверя, попавшегося в западню.

Небо было такое синее, месяц плыл так легко среди серебристых облаков, ручей и лес шумели так сладко, такое дивное, таинственное спокойствие охватывало природу, что все навевало на человека добрые чувства, склоняло к мягкому шепоту любви и всепрощения.

Но в сердце Арбогаста немолчно шипела змея смертельно оскорбленной гордости.

— Он проиграл битву? И кому? Этой готской сволочи, зашитой в шкуры, этим трусам фракийцам, сирийцам и грекам, что всегда показывали тыл?.. Нет не от них бежало его войско... Кто-то иной, более сильный, чем он и Феодосий, надсмеялся над его человеческой прозорливостью и попрал его славу. Кто же этот мощный?..

Арбогаст не покорялся, не просил пощады. Язычник и варвар проклинал ту силу, которая пришла его противникам на помощь в самую решительную минуту.

— Я не знаю, кто ты, завистливый демон, но ненавижу тебя! — шептал он.

Вдали, за елями, раздался троекратный крик совы.

Арбогаст прислушался.

Несколько темных фигур отделилось от деревьев и приблизились к нему.

— Это знак Мельтобальда и Сунны,— сказал граф Баут.— Сейчас они появятся на горе.

Арбогаст послал двух молодых воевод в долину, чтобы они достали «языка» — у него не было никаких известий о дальнейшем ходе битвы.

Когда лазутчики появились, он сказал:

— Говорите все без опасения. Я знаю, что победители не щадят. Что сталось с моим войском?

— Наша пехота,— отвечал воевода Сунна сдавленным голосом, очнувшись от первого страха,— силилась дать отпор. Разбитая на кучки, она пала под мечами многочисленного неприятеля. Почти все наши мечники пируют теперь в Валгалле с душами предков. Свободные франки и аллеманы выбрались благополучно. Легионы западных префектур убили Евгения и перешли на сторону Феодосия.

Арбогаст поник головой на грудь.

Известия, принесенные воеводами, отнимали у него последние надежды. «Может быть, испуганное войско соединилось и пришло в порядок по другую сторону западного хребта гор,— обнадеживал он себя.— Может быть, Феодосий не осмелился преследовать его франков».

Он был решительно разбит и лишен всего, что связывало его с жизнью: славы, власти, своего войска.

— А Феодосий? — спросил он, не поднимая головы.

— Феодосий направился в Медиолан и прежде всего выслал Фабриция в Рим с приказом закрыть храмы народных богов. Прежде чем оставить поле битвы, он об-

народовал полное прощение всем князьям, графам, воеводам и сенаторам, которые принимали участие в войне. Мы можем возвращаться домой, король. Никто нас не задержит по дороге.

— Прощение, говоришь ты? — сказал Арбогаст голосом, в котором кипел сдержанный гнев.— Феодосий прощает меня, своего победителя? Он к поражению хочет прибавить еще унижение? Как же ты глуп! Никто на всем свете не имеет права миловать Арбогаста. Только он один может мерить себя той меркой, какой ему будет угодно.

И, прежде чем Бауг успел помешать, он вонзил себе меч в левый бок.

— Король! Отец наш! — воскликнули франки, упав на колени перед Арбогастом.

Он зажал рукой рану и сказал:

— Я уже стар... мстить не могу... У меня не хватило бы времени... Сделайте это за меня вы, когда настанет удобная минута... Задушите этого римского вампира, который сосет нашу кровь, хотя...

Голос его угасал, слова прерывались.

— Хотя... хотя...

Он схватился за грудь.

— Я давно... уже... бессильный старик...

Он приподнялся, вторично ударил мечом в грудь и рухнул лицом на землю.

Месяц освещал молчаливую кучку людей, погруженных в глубокое горе. Только кони тихо и жалобно ржали, теснясь друг к другу, точно понимали, что свершилось что-то необычайное.

XIV

В атриуме Весты царила гробовая тишина. Прислуга разбежалась по городу, весталки, замкнувшись в кельях, проводили долгие часы в немом отчаянии.

Тысячу сто сорок лет под золотым куполом храма теплилось пламя народного огня. Почти тридцать поколений оно озаряло своим чистым светом, уважаемое даже самыми жестокими и дикими тиранами, которые попирали все божеские права; даже в варварах оно про-

буждало суеверные опасения, а теперь оно должно было угаснуть навсегда, как гаснет людское око, к которому прикоснулось крыло смерти.

Вчера в Рим прибыл Винфрид Фабриций, который во главе фракийских легионов принес приказ Феодосия.

Все храмы народных богов должны будут закрыться, жертвоприношения прекратятся; в куриях и публичных заведениях замолкнут языческие молитвословия навсегда. Кто не хочет отступить от традиции предков, тот может воздавать им поклонение только в стенах своего дома.

Религией государства, признанной императором, раздававшей милости трона, на всем пространстве Римской Империи будет христианство.

Так решил Феодосий.

Сегодня утром Фабриций явился в курию Гостилия и объявил собравшимся сенаторам волю «божественного и вечного государя». Сенаторы христиане приняли радостное известие продолжительными рукоплесканиями, а язычники унылым молчанием бессилия.

Они сделали все, что им повелевала любовь к Риму, вооружили Италию, приобрели помощь Арбогаста.

Надежды их обманули, расчеты оказались ошибочными, боги бессильными. Галилейский демон победил Юпитера, будущее задушило прошедшее.

В Италии они не нашли бы уже рук для дальнейшего сопротивления. Бежавшие охотники разнесли по стране панику, а поражение и смерть Арбогаста отняли отвагу у самых стойких римлян.

Во второй раз им уже не собрать такого многочисленного и храброго войска. Арбогаста не заменит ни один из его графов и воевод, ибо ни один из них не обладает дарованиями знаменитого короля.

Они были побеждены окончательно, повалены на землю, как смертельно раненный гладиатор.

Римские патриоты молча вышли из курии, молча прощались, пожимая друг другу руки. В глазах стариков виднелись слезы, губы молодых болезненно вздрагивали.

Спустя несколько часов по улицам Рима потянулись

кареты, рыдваны, носилки. Языческие сенаторы покидали город, чтобы не видеть торжества галилеян. Симмах уезжал в свои сицилийские имения, Клавдиан — в Африку, Руффий — в Галлию.

Только весталки, прикованные своими обетами к алтарю, не могли избавиться от ужасной минуты.

Им было объявлено, что наместник императора сегодня же погасит священный огонь и возвратит им свободу. Пораженные такой неслыханной угрозой, они в тревоге ожидали представителя светской власти.

* * *

Посредине храма, на золотом кресле, сидела Фауста Авзония, исполняя свою жреческую обязанность. На алтаре тлел слабый огонек, поддерживаемый лавровыми ветками, которые Фауста время от времени бросала на раскаленные угли.

У ее ног, на скамейке, сидела Порция Юлия, положив руки к ней на колени.

— Мы навсегда покидаем этот несчастный город,— говорила сестра Юлия.— Боги отдали его на съедение галилеянам. Мы едем далеко, за границы Империи, в Квадию, где Констанций купил землю. Бедный, он не предчувствовал, что эта пустыня, когда-нибудь будет казаться ему раем. Там нас не будет преследовать рука Феодосия, там нашего спокойствия не нарушат галилейские жрецы. В лесной тиши мы беспрепятственно будем поклоняться нашим пенатам и оплакивать несчастье отчизны.

Порция скрыла лицо в складках платья Фаусты.

— Кто бы это ожидал...— рыдала она.

— А Гименей пойдет с тобой в чужие края? — спросила Фауста, ласково проводя рукой по волосам Порции.

— Да, госпожа,— ответила Порция.— Констанций заслужил мою любовь своим терпением и мужеством. Правда, он не погиб смертью героя, как Флавиан, но только потому, что неприятельская стрела лишила его чувства в ту минуту, когда он хотел броситься за префектом в толпу варваров. Его подняли лучники Арбогаста и передали в руки врачей. За одну руку, которой он пожертвовал Риму, я ему отдаю обе мои. На чу-

жой земле мы устроим себе новую родину, убежище для всех, кого галилеяне изгонят из Италии. Кай берет с собой статуи Юпитера, Юноны, Марса и Весты, с ним идет множество клиентов, которые остались верны народным богам. Поедем с нами, святейшая! Может быть, Юпитер когда-нибудь сжалится над своим народом и дозволит нам вернуться в священную столицу Клавдиев, Юлиев и Антонинов.

Фауста указала рукой на огонь.

— Пока этот огонь пылает на алтаре Весты, до тех пор я его раба,— ответила она.

— А когда его погасят наши враги? — вполголоса спросила Порция.

Фауста ответила не сразу. Нахмурив брови, она с минуту смотрела на статую Весты. Наконец ее лицо приняло выражение решимости.

— Они его не погасят,— сказала она твердым голосом.— Огонь Весты погасит только сама Веста. Ни одна рука не дотронется до самой дорогой святыни нашего народа. Пусть они придут!

— Винфрид Фабриций сегодня же должен исполнить повеление Феодосия.

Лицо Фаусты залил горячий румянец. Она наклонила голову, а когда подняла ее, то была бледна, как мраморная статуя самой богини.

— Пусть придут! — шептала она дрожащими губами.

Она обняла Порцию, привлекла ее к себе и сказала нежно и ласково:

— Пусть любовь Констанция устелет твой жизненный путь благоуханными цветами.

В это время в залу вбежала весталка.

— Галилеяне идут! — крикнула она.

Порция вскочила со скамейки и торопливо заговорила:

— Поедем с нами, святейшая! Возьми с собой огонь Весты, чтобы святое пламя разгоняло мрак нашего изгнания. Если ты, ясный и чистый отблеск нашего великого прошлого, будешь с нами, мы легче перенесем отчаяние побежденных. Мы будем ждать тебя неделю, две, сколько прикажешь. Мы не оставим тебя одну на могиле отчизны. Пожалей себя!

Но Фауста ответила:

— Не ждите меня... Оставьте меня моему предназначению, которого не избежит ни один человек, потому что

носит его в самом себе. Возвращайся домой, Порция, и скажи Констанцию, что Фауста Авзония просит его, чтобы он любил тебя сильно, сильно. Иди, иди...

— Мы будем тебя ждать; я приду завтра.

Когда Порция ушла, Фауста обратилась к весталке, которая принесла известие о приходе галилеян, и сказала:

— Окружите Пульхерию Плациду всевозможными попечениями в эту тяжелую минуту. Пусть угасающие глаза верховной жрицы не смотрят на насилия галилеян. Священный огонь я буду стеречь сама.

Она завернулась в пурпуровый плащ, прислонилась головой к спинке кресла и устремила свой взгляд на священный Палладиум.

И для нее, как для Флавиана и Арбогаста, кончилось все, что привязывало ее к жизни. Старый Рим, владыка и законодатель мира, перестал существовать и лежал во прахе у ног галилеян.

Чужие люди придут и завладеют плодами тысячелетней работы. Новые боги, новые обычаи и привычки, понятия и цели расцветут на развалинах старого порядка. Те, кто был слугами, теперь будут господами, а те, кто с незапамятных времен шел во главе человечества, неизвестные, забытые, рассеются по свету.

Нить, соединявшая Фаусту с землей, порвалась.

С той минуты, когда весталка силой воли подавила в себе девичьи мечты, огонь ее жизни поддерживала только любовь к прошлому Рима. Это был единственный светоч, озаряющий ее одинокую долю.

Единственный ли?

Фауста прижала руку к сердцу.

— Успокойся... перестань... Скоро ты замолкнешь навсегда... И не будешь больше искушать меня обещаниями скоропреходящего счастья,— говорила она своему сердцу.— Все, чего жаждет тело, все проходит, все становится ничтожным при взгляде старости; вечно живут только творения души. Не из души появилась любовь женщины к мужчине.

По коридору, прилегавшему к храму, раздались чьи-то быстрые шаги.

Фауста вздрогнула, еще плотнее закуталась в плащ и наклонила голову.

Она знала эту поступь. Эти шаги не раз нарушали ее спокойствие.

Сердце ее билось так сильно, что она слышала каждый его удар. Она еще сильнее прижала руку к груди.

— Успокойся, подлое, преступное, это враг Рима, это галилеянин!

Она нахмурила брови и закрыла глаза. Вся кровь отлила от ее лица.

Гробовая тишина охватила храм. Было слышно только тяжелое дыхание Фаусты.

Шаги смолкли на пороге. Кто-то вошел в обитель Весты. Хотя весталка не обернулась в сторону дверей, но как-то невольно догадалась, что перед ней стоит Фабриций. Она чувствовала на себе его взгляд и удерживала дыхание.

Несколько минут продолжалась тишина, потом ее нарушил звучный мужской голос:

— Я искал тебя не затем, чтобы издеваться над твоим горем, Фауста,— начал Фабриций.— Мое сердце уже не ищет страданий ближнего. Оно разделяет всякое горе, как повелевает мой Бог Иисус Христос. Не бесстрастный солдат, которому чуждо сожаление, стоит перед тобой, а христианин, для которого нет ни врагов, ни друзей, а есть только человек. И этот христианин просит тебя, чтобы ты оставила атриум Весты до захода солнца, потому что завтра, когда утренняя заря разгонит ночную темноту, ваш священный огонь угаснет навсегда. Щадя вас, я хочу предохранить вас от тяжелой необходимости.

— Ты знаешь, что я поклялась тридцать лет служить священному огню Весты,— ответила Фауста, не глядя на Фабриция.— Этот срок еще не прошел.

Фабриций протянул к ней руки.

— Подчинись приговору Бога,— умолял он,— не противься силе, превышающей человеческую. Эта сила победила вас, замкнула ваши храмы и погребальным покровом покрыла ваше прошлое. Новое солнце светит уже над миром, единственное, победоносное. Ваши боги умерли бесповоротно, ваши традиции развеялись, как туман перед рассветом. Я говорю это не затем, чтобы удовлетворить свою месть. Я хотел бы бросить к твоим ногам

все цветы земли, окружить тебя благоуханием, всеми песнями полей и лесов. Мою любовь к тебе не заглушили тревожные события последних двух лет. Я люблю тебя той же горячей любовью, которая когда-то пугала тебя своей необузданностью. Теперь я буду терпеливо ждать, пока твое сердце не преклонится ко мне и не наградит за тысячу дней, проведенных без радости.

Он не склонялся к коленям Фаусты, как прежде, когда вторгнулся ночью в храм Весты, и не грозил ей позором. Он стоял на пороге, ожидая одобряющего слова. Только его голос, сначала глухой и мягкий, становился все более и более стр стным.

— Ты свободна,—говорил он.— Языческие обеты теперь уже не обязательны ни для кого. Ты можешь быть счастлива счастьем женщины.

Фауста молчала. По ее лицу пробегали первые судороги, словно отблески молний, перекрещивающихся в ее душе. Легкий румянец окрасил ее щеки и снова исчез, уступив место смертельной бледности.

Наконец она поднялась с кресла и, подойдя к алтарю, оперлась на его угол.

Она до сих пор еще ни разу не взглянула на Фабриция. Его вид страшил ее. Этот человек любил ее, а она?..

Весталка глубоко вздохнула.

— И ты, христианин, думал, что Фауста Авзонія,— начала она своим полным, альтовым голосом, который звучал, как погребальный звон,— воспользуется несчастьем своей отчизны. Ты думал, что я потянусь презренной рукой за цветком счастья, который вырос на развалинах Рима? О наши победители! Пройдут еще века, прежде чем вы научитесь понимать и уважать душу народа, который дал миру законы, понятие о гражданском долге и любви к родине. Новое время столкнуло нас в могилу забвения, но когда это самое время отрезвеет от чада победы, когда без ненависти оглянется назад, тогда все покорно склонят головы перед творением римского гения! Ты говоришь, что наши традиции развеялись, как туман перед утренней зарей, а я скажу тебе, ревностный поборник нового порядка, что будущие поколения станут удивляться добродетели римлян, которые сумели пренебречь счастьем этого мира для всеобщего блага. Тело наше одряхлело и умирает, но дух наш не умрет никогда, никогда, потому что в минуты величия Рима он был властелином тела.

Склонив голову, она сложила руки, ее губы шевелились. Она молилась духам предков. Во всей ее фигуре было что-то царственное, по лицу разлилось такое скорбное величие, что Фабриций не осмелился нарушить ее тихой молитвы ни малейшим движением. Он стоял у дверей и с немым восторгом смотрел на Фаусту.

Она снова тяжело вздохнула, потом проговорила беззвучным голосом:

— Ты говоришь, что, когда утренняя заря разгонит ночную темноту, тогда навсегда погаснет наш священный огонь. Это будет раньше... сейчас... но не вы, христиане, совершите это ужасное дело. Огонь погасит сама богиня через свою служительницу... Погасит его кровь последней римлянки.

Она еще ниже склонилась к алтарю и приблизила грудь к огню.

Сверкнул стилет. Фауста вскрикнула, и из груди ее на горящие угли брызнула струя крови.

Фабриций подскочил и схватил Фаусту в объятия...

Теперь только она взглянула на него, и с ее губ сорвались два слова, последние слова с ее замерших уст:

— Я лю-би-ла тебя...

— О, о, о! — вырвался нечеловеческий вопль из груди Фабриция, и он рухнул вместе с трупом Фаусты на мозаичный пол храма.

Залитый кровью Фаусты, священный огонь римского народа шипел еще несколько минут, потом угли почернели, и гробовая темнота разлилась в обители Весты.

Фабриций приложил к губам край одежды Фаусты, поднялся и покинул атриум.

На дворе его приветствовали крики христиан, но он не слышал радостного шума, не ответил толпе благосклонным взглядом. Он шел быстро по улицам Рима со взором, просветленным каким-то дивным светом, шел к Целийскому холму, а когда остановился перед Латеранским дворцом, то приказал доложить о себе епископу Сирицию.

Епископ тотчас же принял наместника императора.

Фабриций снял с себя золотую цепь, наплечники, медали, пурпуровый пояс, меч, украшенный драгоценными камнями, и, сложив все знаки своего светского достоинства у ног христианского архиепископа, сказал голосом, полным слез и горя:

— Святой отец, отдай все это бедным, а меня прими в число своих служителей и научи творить мир. До сих пор я смотрел только на кровь, слышал только проклятия умирающих и стоны побежденных. Я не хочу больше смотреть на человеческую кровь, не хочу слышать проклятий и стонов несчастных... Я хочу быть избранным сыном нашего Господа Иисуса Христа.

Он обнял колени епископа и умолял:

— Не отталкивай меня от себя, святой отец.

Сириций сотворил над ним крестное знамение и произнес:

— Господь наш Иисус Христос возлюбил тебя, ибо только миротворцы нарекутся Его сынами.

СОДЕРЖАНИЕ

Г. ВЕСТБЕРИ. Актея.

Книга первая 7

Книга вторая 107

Т. ЕСКЕ-ХОИНСКИЙ. Последние римляне.

Часть I 213

Часть II 390

Литературно-художественное издание

Гюг Вестбери

АКТЕЯ

Перевод с английского

Теодор Еске-Хоинский

ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ

Перевод с польского

Редактор В. Котов
Художник Н. Егоров
Технический редактор Б. Шаргородская
Корректор В. Викулкина

Сдано в набор 19.03.93. Подписано к печати 27.05.93.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 30,24. Тираж 40 000 экз. Заказ 423. Цена договорная.
Издательский дом «Дрофа»: 105318, Москва, ул. Щербаковская, д. 3.
АО издательство «Новая книга»
Москва, ул. Академика Челомея, 4, а/я 489.

Отпечатано в ИПП «Зауралье». 640627, г. Курган, ул. К. Маркса, 106

